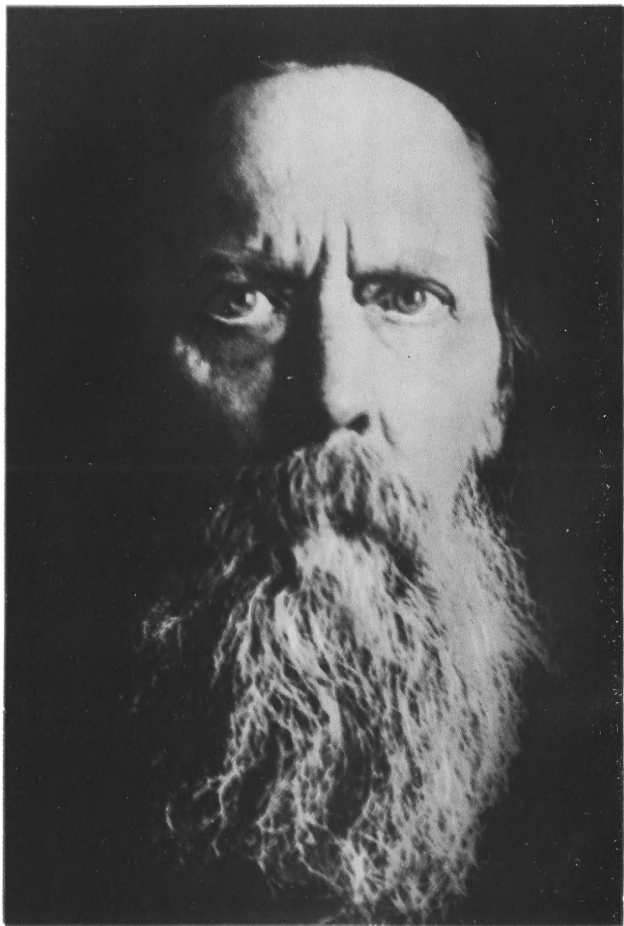


С.Макашин

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
1875-1889

БИОГРАФИЯ



М. Е. Салтыков. Фотография Е. А. Болтиной. 1889 г.

С.Макашин

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

1875- 1889

БИОГРАФИЯ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1989

ББК 83.3Р1
М15

Рецензенты:
В. А. ТВАРДОВСКАЯ, А. М. ТУРКОВ

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

М $\frac{4603020101-274}{028(01)-89}$ 192-89

ISBN 5-280-00913-X

© Издательство «Художественная
литература», 1989 г.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга посвящена последнему периоду жизненного и творческого пути М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) — великого деятеля не только русской литературы, но и всей русской жизни XIX века*.

В хронологическом отношении содержание книги охватывает 1875—1889 годы. Это годы высочайших достижений Салтыкова-художника и (за вычетом последнего пятилетия) напряженной редакторской деятельности. Вместе с тем это драматический период как в личной биографии писателя, так и в «биографии» страны, вступившей после 1 марта 1881 года в полосу глубокой реакции.

Что конкретно служит предметом освещения в данной книге?

В редакторской деятельности Салтыкова, которой он придавал большое значение, — это руководство им после смерти Некрасова «Отечественными записками», крупнейшим демократическим журналом своего времени.

В литературе — это достижение таких вершин, как «Господа Головлевы» (окончание романа), «Убежище Монрепо», «За рубежом», «Письма к тетеньке», «Сказки», «Мелочи жизни» и предсмертная «Пошехонская старина».

В личной жизни и домашнем быту — это катастрофическое ухудшение здоровья, сопровождавшееся мучительными страданиями, поездки с лечебными целями за границу, драматические неурядицы в отношениях с женой и детьми, названные Салтыковым «адом семейной жизни».

В идейном отношении — это время подведения итогов уходящего бытия, — философско-исторических и личных, с элементами трагического самоанализа, «самокритики».

В целом восьмидесятилетие, особенно после правительственного прекращения «Отечественных записок» в 1884 году, — самые трудные и мрачные годы в биографии Салтыкова. Вместе с тем — и это одно из наиболее поразительных противоречий жизни и судьбы «русского Езоп» — это годы апогея внимания к нему читателей, годы его наибольшей известности, славы, идейного могущества.

* Освещению предыдущих периодов посвящены мои книги: Салтыков-Щедрин. Биография (1826—1856). М., Гослитиздат, 1949, 2-е изд. 1951; Салтыков-Щедрин на рубеже 1850—1860-х годов. Биография. М., Художественная литература, 1972; Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860—1870-е годы. Биография. М., Художественная литература, 1984.

Человек духовно бесстрашный и ко всякой лжи нетерпимый, Салтыков стал в литературе того времени главной силой в духовной борьбе с восьмидесятичной реакцией. Он наносил своими мощными обличениями разрушительные удары по всем главным ее основам: правительственному курсу, идеологии и «молчалинству» тех, кто своим приспособленчеством или пассивностью поддерживал реакцию в обществе. Вместе с тем его произведения помогали людям, в сердцах которых — по слову Александра Блока — «царили сон и мгла», сохранять веру в то, что лучи света и надежды существуют и что зло и тьма не победят добра.

По своему принципиальному подходу и построению настоящая книга (как и ее предшественницы) соединяет в органическом сплаве два главных вида жизнеописательных трудов — собственно биографическое повествование и осмысление его с точки зрения *основной* идеи жизни писателя.

Главной идеей жизни Салтыкова была идея общественно-го служения литературы. Приверженцами этой идеи были и другие великие писатели России. Но у Салтыкова она получила самое сильное и непосредственное выражение. Этим объясняется преимущественный интерес писателя к изображению и анализу не индивидуальной, а общественной жизни, психологии и поведения людей — разных социальных групп и даже целых классов. Тут он близок к Бальзаку. В современной Салтыкову общественной жизни России нет буквально ни одного сколько-нибудь значительного явления, мимо которого он бы прошел, не дав ему, в той или иной форме, своей характеристики и своей оценки. В целом он создал самый широкоохватный образ целой эпохи русской жизни. По этой причине в настоящей книге уделено немало внимания исторической обстановке, преломлявшейся в салтыковском творчестве и питавшей его.

Вместе с тем в ней, как и в предшествующих ей, автор стремится показать Салтыкова не только как историческую фигуру, но и как живую личность со всеми ее противоречиями в характере и поступках, ничего не утаивая.

Все, что сообщается в этом труде о самом Салтыкове, его окружении, его времени, — все основано на объективных, документальных источниках и на проверенных разными способами свидетельствах осведомленных современников и, конечно, на книгах и письмах самого писателя, богатых автобиографическим материалом.

Этой книгой завершается труд автора над биографической тетралогией, посвященной Салтыкову-Щедрину, занявший в общей сложности (собрание материалов для нее и написание) более полувека.

ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ
1875-1876

Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше потому, что больнее. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, а именно — логика любви.

Салтыков. Убежище Монрепо

1. БАДЕН-БАДЕН

Почти до полувека своей жизни «западник» Салтыков не бывал за границей, да и не стремился туда. Тех же русских, которые любили ездить в зарубежные страны и годами жили на чужбине — *in partibus infidelium*, — он не понимал. Обращаясь в 1870 году к поэту А. М. Жемчужникову, он писал ему в Швейцарию: «Скажите серьезно: будете ли Вы когда-нибудь в России? Что до меня, то я с ума бы, кажется, сошел от ностальгии» (XVIII-2, 58)*.

Будущее показало, что ностальгия действительно оказалась почти постоянной спутницей Салтыкова в его зарубежных поездках (всего их было пять), начавшихся в 1875 году. Они были вызваны не собственным его желанием, а требованием врачей. Для него, как для новгородского богатыря Василия Буслаева, поездки эти почти всегда были «гуляньем неохотным» по чужим краям. Несмотря на присущий ему общественный темперамент, сильный интерес ко всем новым явлениям социально-политической действительности, Салтыков тосковал за границей, особенно в прославленных курортных центрах Западной Европы — Баден-Бадене, Ницце, Эмсе, Висбадене и др. Он обзывал их «лакейскими городами», «благовонными дырами», «непотребными местами» и чуть ли не с первых дней начинал нетерпеливый отсчет времени, оставшегося до намеченных сроков возвращения домой, в туманный, хмурый Петербург, к «Отечественным запискам», к своему письменному столу. К нему полностью применимы слова, сказанные Тургеневым о Белинском после их совместного в 1847 году пребывания в Зальцбрунне, а затем проезда по Германии и жизни в Париже: «Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе»¹.

При всем том Салтыков высоко ценил исторические заслуги Запада. «Святые камни Европы», особенно Париж и Франция, были дороги ему, одному из великих русских наследников западноевропейского Просвещения, основопола-

* См. «Условные обозначения...» в конце книги.

гающих принципов 1789 года и учений утопического социализма. Но до поездки на Запад он знал его лишь книжно, теоретически и, подобно молодому Герцену, любил его преимущественно ненавистью к царскому самодержавию и петербургским порядкам. Непосредственное же знакомство с общественно-политической жизнью Запада 70—80-х годов XIX века дало писателю материал для его широкоохватных анализов европейской социальной действительности того времени, глубокой критики буржуазного мира, достигшего к тому времени, в такой стране, как Франция, своей полной зрелости.

Главным литературным итогом заграничных поездок Салтыкова стало его «За рубежом». Но это позднее. В первые же дни и месяцы встреч с за границей Салтыкову было не до наблюдений. И тем более не до писаний. Он был тяжело болен. После жестокой простуды, полученной при поездке в деревню на похороны матери, во время лютых декабрьских морозов, «у него открылся сильный ревматизм суставов, осложненный воспалением сердца» (диагноз доктора Н. А. Белоголового)².

Поэт Н. С. Курочкин, врач по образованию, обнаружил болезнь сердца у Салтыкова еще в то время, «когда тот был совсем молодым человеком». Он нашел у него «такой порок сердца, от которого давно умер бы всякий обыкновенный смертный». Н. С. Курочкин говорил это в подтверждение своих наблюдений над жизнеспособностью очень талантливых людей³.

Салтыков выехал из Петербурга в назначенную ему врачами Южную Германию 12/24 апреля 1875 года. Вместе с ним — его семья: жена, Елизавета Аполлоновна, маленькие дети — Костя и Лиза и при них нянька-немка. Врачи, с удивляющей нас сегодня беспечностью, отправили тяжелобольного писателя в нелегкое тогда путешествие прямо с постели. «Бойкий народ петербургские доктора, — скажет по этому поводу П. В. Анненков. — Мертвеца, с рук долой, посылают в дальний чужестранный город»⁴.

Из кареты, доставившей отъезжающих к вокзалу Варшавской железной дороги, Салтыкова довели до вагона под руки⁵. К цели путешествия, в Баден-Баден, прибыли 15/27 апреля. Здесь Салтыков и его семья были встречены Анненковым и препровождены им в небольшой, весьма скромный Hôtel de St. Pétersbourg, типа семейного пансионата. «Наконец, прибыл сюда Салтыков, — сообщал Анненков Тургеневу в Париж, — в наиплачевнейшем состоянии, с болезнью сердца и с ревматизмом в руках, ногах, плечах и повсюду — да каким! Воет, на стены лезет, ругает жену, доктора и людей, пославших его сюда, и меня, встретившего его здесь». И в следующем письме: «Салтыков чуть не умер на моих руках и только благодаря дикой природе своей устоял на ногах»⁶.

Состояние Салтыкова было действительно критическим.

«Натура его надорвана, — сообщал все тот же Анненков Некрасову, — а последний, совершенно безумный его вояж, отнял у ней и оставшиеся жизненные капиталы. Подумайте, прямо из Петербурга продрал, как фельдьегеръ из Чухны — прямо в Баден, по холодным ночам, в нетопленных вагонах, без сна и еды. В Берлине провел только день — мы приняли его здесь из кареты, да в постель»⁷.

В эти тревожные дни, когда Салтыков временами переставал даже стонать и впадал в длительное беспамятство, Анненков оказал ему неоценимую помощь. В ожидании надвигавшегося несчастья он, хотя и сильно напуганный, не растерялся и сделал все от него зависящее, чтобы предупредить катастрофу. Главнейшее, что он предпринял — сразу же пригласил к Салтыкову врача Гейлигенталь*, лучшего баденского медика. В течение нескольких дней Гейлигенталь, по свидетельству Елизаветы Аполлоновны, приезжал к больному по пяти — семи раз в сутки и сам с помощником переносил его с одной кровати на другую. Он «спас <его>, — писала она, — так как был один день ужасно опасный <...> меня уже предупредили, что очень мало надежды» (XVIII-2, 344)⁸.

Анненков взял под свою опеку также и семью Салтыкова и обеспечил ей в чужеземной обстановке необходимое бытовое устройство. Выйдя из кризиса, Салтыков писал Анненкову, уехавшему в начале июля в Россию: «Начинаю мое настоящее письмо теплейшею благодарностью за то участие, которое Вы выразили мне, умиравшему. Вы поддержали меня, Вы устроили и обставили меня. Серьезно говоря, я чувствую себя обязанным Вам бессрочно» (там же, 207). Дружеские отношения между Салтыковым и Анненковым сложились много раньше. Но пережитое в Баден-Бадене весной 1875 года еще больше сблизило их. Начиная с этого времени Анненков все чаще появляется на горизонтах биографии Салтыкова как один из наиболее близких ему людей.

Говоря об Анненкове, необходимо сказать еще об одном его добром намерении, правда, мы не знаем, осуществилось ли оно. Намерение это — поддержать бодрость духа Салтыкова, выступив с ним в заграничной печати. Статья была написана. Сохранилась ее рукопись — автограф Анненкова. Из содержания статьи видно, что ее следует датировать 1875 годом и что предназначалась она для какого-то иностранного издания на французском языке. Задачей статьи, по определению ее автора, было «познакомить Европу с именем писателя, еще неизвестным ей». Анненков относит здесь Салтыкова «к числу замечательнейших юмористов и сатириков», сообщает основные факты жизненной и литературной биографии писателя и определяет его общее значение как «цензора нравов, на-

* Так писали по-русски фамилию врача Салтыков и Анненков вместо правильного Хейлигенталь (Heiligenthal).

правлений и разных пороков своей эпохи». По убеждению Анненкова, «многочисленные поклонники Салтыкова совершенно правы, когда утверждают, что веселые книги его представляют со временем будущему исследователю русского общества такое же серьезное свидетельство, как и любой исторический памятник». Статья заканчивается сентенцией, весьма близкой к высказываниям самого Салтыкова: «Участь серьезного писателя, а особенно сатирика, вообще не легка и в Европе, но вряд ли в отечестве Салтыкова она не вдвое тяжелее и опаснее». В существующих салтыкововедческих библиографиях указание на публикацию статьи в изданиях того времени отсутствует. Не исключено, что она все же появилась где-то в западной печати, но осталась неразысканной⁹.

Вернемся, однако, к первым дням пребывания Салтыкова в Баден-Бадене. Тревогу и напряжение этих дней дают ощутить тогдашние письма Некрасова — ответы на не дошедшие до нас телеграммы Анненкова. Вот три отрывка из этих писем:

А. Н. Пыпину: «...третьего дня было о Салтыкове из Баден-Бадена известие почти безнадежное...»; А. Н. Островскому: «Еду в Карабаху, если не придется сначала поехать в Баден-Баден к несчастному Салтыкову...»; П. В. Анненкову: «Нечего Вам говорить, как уничтожает меня мысль о возможности его смерти теперь, именно: уничтожает. С доброй лошадию и надорванная прибавляет бегу. Так было со мной в последние годы. Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли. Не говоря уже о том, что я хорошо его узнал и привязался к нему»¹⁰.

В этом же письме Некрасов разъяснял смысл и причину своего запроса Анненкову, переданного экстренно по международному телеграфу тремя днями раньше: «Faut-il que la famille quitte Saltykoff, consent-il? Question grave, reponse payée»*. «Надо Вам сказать, — писал Некрасов, — что последняя моя телеграмма (о семействе) вызвана была некоторыми особыми соображениями. Между нами, в семейном быту его происходит какая-то неурядица, так что он еще здесь колебался — не ехать ли ему одному. Я подумал, не назрел ли вопрос окончательно, и в таком случае немедленно поехал бы, чтобы взять от него элемент, нарушающий столь необходимое для него спокойствие. Но ехать за семейством в случае несчастья мне самому не было бы резону, мы найдем, кого послать»¹¹.

«Неурядица» в семейном быту Салтыкова действительно происходила. Она была вызвана пережитым Елизаветой Аполлоновной в начале 1870-х годов увлечением Павлом Ивановичем

* «Не надо ли удалить семью Салтыкова, согласен ли он? Вопрос важный, ответ оплачен» (*фр.*).

чем Танеевым, адвокатом и писателем (братом композитора Сергея Ивановича и философа-социолога Владимира Ивановича Танеевых), что не осталось тайной для Салтыкова. Он даже подозревал, что это П. Танеев, а не он — отец родившейся у Елизаветы Аполлоновны в 1873 году девочки. Слухи эти отразились в воспоминаниях М. Унковского и В. И. Танеева¹². Не подлежит, однако, сомнению, что Михаил Евграфович вскоре убедился в неосновательности своих подозрений. Но они сильно отравили семейную жизнь Салтыкова и принесли ему немало горя.

Вопрос Некрасова к Анненкову «не надо ли удалить семью» от больного? объяснялся, по-видимому, тем, что, незадолго до отъезда за границу, Салтыков по какому-то поводу пережил новую вспышку ревности, что породило желание на время разъединиться с Елизаветой Аполлоновной, о чем стало известно Некрасову. До этого, однако, не дошло, хотя раздражение Салтыкова против жены было настолько сильным, что, по-видимому, заставило Анненкова устроить ее на время от ухода за больным. Кажется, именно так следует понимать его слова из письма к Некрасову: «Зерно семейной неурядицы чувствуется под почвой, но ростков еще не дало, если исключить страшное раздражение <...> проявившееся вспышками гнева и прочего, но мы приставили к нему Моравку, которая умеет его улаживать»¹³. В сохранившихся письмах Салтыкова этого времени нет ни единого упоминания имени Елизаветы Аполлоновны, как будто она и не сопутствовала мужу в его поездке в Баден. Но сама она, обращаясь к А. Ф. Каблукову, писала, что переживает «такое тяжелое время», и выражала надежду, что ее «пожалуют» (XVIII-2, 344).

Вопреки пессимистическим ожиданиям врачей и самого Салтыкова, вспоминая, что был «так болен, что даже чувствовал себя на лоне Авраамовом» (XIX-1, 17), вскоре в течении болезни произошел благодетельный перелом (случилось это в конце апреля). Угроза худшего миновала, но полностью писатель к прежнему состоянию не вернулся. Анненков писал Некрасову: «Увы! Никогда уже он не будет тем чудесным кровным скакуном, который в крови и пене всегда приходил первым к цели и так восхищал всех»¹⁴.

Так думал не один Анненков. И если говорить собственно о физическом состоянии Салтыкова, то будущее подтвердило такой взгляд. Он был удостоверен самим писателем, определившим пережитое им в 1875 году как «погром, нанесенный его здоровью» (XIX-1, 25). А в составленной им незадолго до смерти «Оправдательной записке» сказано: «...с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно»¹⁵. Но по отношению к творческой силе писателя предсказание Анненкова не оправдалось. Художественное воображение не только сохранялось, но и продолжало неуклонно подниматься. Выходившие из-под

его пера произведения шли от одной вершины к другой, еще более высокой, — от великого романа «Господа Головлевы» до гениальных «Сказок», от трагических «Мелочей жизни» до монументального эпоса «Пошехонской старинь». И так буквально до конца его жизненного пути, до предсмертных дней, когда было начато новое большое сочинение «Забутые слова», задуманное как духовное завещание писателя русскому обществу. Обо всем этом речь будет впереди. А сейчас вернемся в Баден-Баден конца апреля — начала мая 1875 года.

Вскоре Салтыкову разрешено было вставать с постели. Но ходить он еще не мог. Первые мысли его при начинавшемся выздоровлении были о прерванном писательском труде. Мысли невеселые. «Я с некоторым ужасом размышляю о том, когда я буду в состоянии приступить к работе. Теперь этот ужас один у меня в голове», — писал он Некрасову (XVIII-2, 184). Через неделю его стали вывозить в кресле-каталке к водолечебнице, для приема минеральных ванн, и даже к концертной «раковине», для слушания музыки, и на прогулки. Во время одной из них, на знаменитой баденской «Променаде», всегда заполненной интернационально-курортной толпой, к Салтыкову подошел князь А. М. Горчаков, министр иностранных дел и государственный канцлер, лицейский товарищ Пушкина, и, обращаясь к больному, сказал: «Позвольте мне, как русскому, порадоваться выздоровлению знаменитого писателя и от души позать Вашу руку». Салтыков не только не любил, а прямо-таки ненавидел какие-либо публичные проявления внимания к своей особе. Не составлял исключения и данный эпизод. Когда сообщение о рукопожатии канцлера появилось в одном из фельетонов Суворина в «Новом времени», Салтыков писал Некрасову: «...неприличная выходка Суворина, сделавшая из меня предмет негушательства кн(язя) Горчакова, есть геркулесовы столпы фельетонного легкомыслия...» (XVIII-2, 284). А вот другой рассказ об этом же эпизоде. Источник: запись А. Н. Пыпина разговора с П. В. Анненковым 11 июня 1875 года, состоявшегося после приезда последнего из Баден-Бадена: «О Салтыкове — он очень поправился, хотя еще болен, хочет работать, доктора запрещают, Салтыков бранит их, что-де подлецы, ничего не понимают и т. д. Рассказывал Анненков между прочим о любезности к Салтыкову Горчакова, который, увидев его привезенного в коляске на музыку, сам подошел к нему и выразил ему свое сочувствие как знаменитому русскому писателю. Салтыков ответил, что, конечно, его сиятельство видит, в каком он положении, и что он не может явиться к нему с выражением благодарности за внимание. Горчаков ответил, что он и не думает этого требовать. Потом Салтыков же бранил его, что-де в Петербурге не пустит и к своему дворнику, а здесь любезничает»¹⁶.

Во второй половине мая, по дороге из Парижа в Карлс-

бад, заезжал в Баден-Баден Тургенев. Тогда же там должен был появиться Писемский. Сообщая Некрасову о своих предполагаемых встречах с последним, Салтыков ставил вопрос о возможности привлечения автора «Тысячи душ» к сотрудничеству в «Отечественных записках». Этот факт тем более любопытен, что, как известно, Михаил Евграфович в 1863 году опубликовал в «Современнике» свое литературно-критическое выступление против «Горькой судьбины». Состоялись ли переговоры с Писемским и, если состоялись, почему остались безрезультатными, сведений нет.

Улучшение состояния здоровья Салтыков во многом относил за счет врачебного искусства и стараний доктора Гейлигентала. Писатель высоко ценил его и обращался к нему за медицинскими советами также и впоследствии. Друзья Салтыкова — Некрасов, Елисеев, Ераков и Унковский — публично, на страницах газеты «Голос», выразили Гейлигенталу благодарность и приобрили для него в складчину дорогой подарок — большой серебряный с позолотой «кубок», в старом русском стиле, — и выгравировали на нем соответствующую надпись¹⁷. Кубок привез в Баден-Баден и вручил по назначению А. М. Унковский¹⁸, пребывание которого на курорте ознаменовалось комическим эпизодом, привлечшим к себе внимание местной печати и отразившимся в написанной вскоре главе IV «Господ Молчалиных» (XII, 96). Происшествие заключалось в том, что на прогулке с Елизаветой Аполлоновной Унковский, когда пошел дождь, широким движением распахнул над ней... брюки Салтыкова, по рассеянности взятые им вместо предполагавшегося пледа, чем и обратил на себя и свою сконфуженную спутницу веселое внимание гуляющей толпы¹⁹.

Вслед за Унковским, также специально для свидания с Салтыковым, в Баден приехал его близкий знакомый по Пензе барон Г. О. Розен²⁰. Он звал Салтыкова в Тироль, в Зальцбург и получил на это согласие, но по какой-то причине поездка не состоялась. Позже, в начале русского августа, приезжали навестить выздоравливающего писателя Г. З. Елисеев и Н. А. Белоголовый. Последний «принял» от Гейлигентала своего петербургского пациента под свое медицинское и бытовое покровительство. Благодаря его за эти заботы, уже в письме из Ниццы, Салтыков сделал в этой связи одно важное автобиографическое признание: «Я на Вас убедился, — писал он, — что на свете не перевелись еще добрые люди и что это хорошо. Я сам в этом отношении несколько попорчен: очень подла уж была среда, в которой я провел большую часть своей жизни, и порядочно-таки она меня раздражила...» (XVIII-2, 227).

Другими словами, Салтыков объяснял происхождение своей из ряда вон выходящей раздражительности и грубости социальными обстоятельствами своей биографии — детством, прошедшим в обстановке пошехонско-крепостнической среды,

и службой в провинции. Но нельзя, конечно, сбрасывать со счетов наследственные психофизические качества его характера (талантлива, своеобразна, но груба и раздражительна была мать писателя). Теперь же его нервная возбудимость обострилась болезнью и была столь велика, что многих отпугивала от личного общения с ним. Об этом косвенно можно судить по его письмам с их постоянными жалобами на скуку и одиночество: «Скука страшная, и при этом насильственное бездействие», «Трактирная жизнь мне несносна...», «время <...> провожу в величайшем уединении», «скука <...> подавляющая», и как общий итог: «Никогда я так не скучал, как ныне, и, откровенно говоря, никогда не сознавал жизнь столь ненужною. Во всяком случае, умирать в Россию уеду» (XVIII-2, 184, 190, 194, 188, 197).

Таким настроением содействовала со своей стороны погода, к состоянию которой был очень чувствителен организм Салтыкова («ненастье ли, ведро ли — все по себе чувствую»). Все тогдашнее лето в Бадене шли дожди. «Ни луча солнца, и холод чисто осенний», — жаловался Салтыков (XVIII-2, 190). Постоянным источником раздражения и отрицательных эмоций продолжала оставаться Елизавета Аполлоновна. «Я не знаю, — писал по этому поводу Салтыков Некрасову, — можно ли было набрести на более несчастную мысль, как уснуть меня за границу. Каждый день я все более и более раздражаюсь. В Петербурге я мог, по крайней мере, куда-нибудь уйти; здесь же я положительно осужден на бессменный tête à tête (с Елизаветой Аполлоновной)» (XVIII-2, 187).

При всем том владевшая Салтыковым «потребность» в писательском труде скоро взяла верх над его трудными настроениями и опасениями, что болезнь «убила (в нем) страсть к работе» (там же, 207). В начале июня Анненков писал Тургеневу: «Салтыков завел уже огромный письменный стол и ругает своего спасителя-доктора. «Скотина эдакая — говорит — писать не позволяет. Да он, животное, не знает, что я литературой деньги приобретаю»²¹. На это Тургенев отвечал Анненкову: «Поклонитесь от меня Салтыкову — пусть он работает, но умеренно! Браниться же может неумеренно»²².

Первым после болезни произведением, написанным в Баден-Бадене, был рассказ «Сон в летнюю ночь» (1875), причислявшийся писателем к ряду самых любимых своих произведений. Разъясняя идею рассказа, Салтыков писал Некрасову, что мания на всякого рода юбилей дала ему идею сопоставить обычный юбилей петербургского департаментского чиновника из рядовых с воображаемым, происходящим в сновидении, в реальности же невысказанным, «юбилеем» простого крестьянина Мосеича, полвека несущего тягло мужичьего труда, не помышляющего о каком-либо общественном признании его работы да и не имеющего никакого понятия о таком призна-

нии. Рассказ завершился взволнованной, по отзыву Михайловского, «сверкающей слезами» речью учителя Крамольникова (своего рода скрытый псевдоним Салтыкова на страницах его сочинений) в честь «почтенного, изнуренного, но все еще не забитого и бодрого русского крестьянства» (XII, 362). Речь эта имеет всю цену исповедания веры самого Салтыкова. А крестьянин Мосеич — едва ли не самый положительный образ человека из народа, созданный писателем. «Сон в летнюю ночь» — некая вариация на главную тему всего творчества Салтыкова: социальной несправедливости векового «порядка вещей», при котором материальные и духовные блага жизни достаются «привилегированному, культурному слою» и минуют «внекультурных» людей трудового «муравейника жизни». Возможно, что непосредственным толчком к возникновению замысла рассказа послужили мысли Салтыкова, возникшие во время его экскурсионных посещений окружающих Баден-Баден средневековых замков *Altes-Schloss*, *Eberstein-Schloss*, *Rothenfels* и *Favorite* — наследия баденских маркграфов и маркграфинь (см. XIV, 68). В пользу такого предположения свидетельствуют не только время и место написания рассказа, но и присутствие в нем следующей, явно автобиографической сентенции: «Вам показывают разные запустелые шлоссы, в которых когда-то жил культурный человек и оставил следы своего культурного существования (...). Знание домашнего быта канувших в вечность маркграфинь, конечно, имеет свой исторический интерес; но спрашивается, почему же представители культуры так ревниво сохранили, во всей их неприкосновенности, старые дворцы и замки и не позаботились о сохранении хотя одного экземпляра мужицкого жилища, современного этим дворцам и замкам?» (XII, 344—345).

Сохранился еще не бывший в печати любопытный отзыв о Салтыкове, возникший в связи с чтением «Сна в летнюю ночь», — в письме некоего Ф. И. Китаева, человека несомненно демократических взглядов, к Е. С. Некрасовой, известной общественной деятельнице, большой почитательнице Герцена и самого Салтыкова.

«О произведении Щедрина «Сон в летнюю ночь», — читаем в письме, помеченном 21 ноября 1875 года, — Вы меня спрашивали еще в то время, когда я был у Вас. Я хочу повторить, что я давно ничего столь хорошего не читал. Столько же удовольствия доставил мне и его последний рассказ*. Щедрина я помню с «Губернских очерков», которые я читал в детстве, и с тех пор в ряду современных писателей я его ставлю очень высоко, как по мастерскому и широкому его языку, так и за его глубокие мысли. Мне нравится Слепцов, Глеб Успенский, но они гораздо мельче плавают, чем Щедрин. Лю-

* Имеется в виду «Семейный суд». — С. М.

бовь к народу выражается у них так же неразумно, как любовь старой няньки к ребенку. Щедрин же не плачет, не просит, а своими едкими насмешками указывает на недостатки общества и, вероятно, очень многих заставляет рвать на себе волосы. Да, он так щекочет прелюбезный свой народ головотяпов (глуповцев), что им, бедным, думаю, не до смеху. Он так способен, подобно древнему Бояну, растекаться мыслию по древу, серым волком рыскать по полю и сизым орлом парить в воздухе, что удивляешься только, как богат, широк и оборотлив наш православный язык»²³.

Однако некоторые читатели усмотрели в «Сне в летнюю ночь»... сатирическое осмеяние моды на юбилеи, не более того, что сильно огорчило Салтыкова. Особенно задело его непонимание содержания рассказа Тургеневым или просто невнимание. «Хотелось бы, чтобы Вы прочитали в августовской книжке «Сон в летнюю ночь», — писал Салтыков Анненкову. — На Ваш критический смысл я вполне полагаюсь. Тургенев до крови обидел меня, сказавши, что этот рассказ забавный; едва ли он дочитал его» (XVIII-2, 207).

Вообще письма Салтыкова этого периода очень интересны. В биографическом отношении они дают наиболее полное и конкретное представление о пребывании писателя за рубежом в 1875—1876 годах. Когда он впервые оказался за границей, она предстала перед ним сначала в специфических рамках одного из известнейших курортов Западной Европы. В Баден-Бадене было немало того, чем можно было восхищаться. Благоприятный климат, красивое месторасположение среди гор и долин живописнейшего Шварцвальда, богатство исторических достопримечательностей, наконец прославленная бальнеологическая репутация и высокий уровень медицинско-гигиенического, бытового и культурного обслуживания делали это место привлекательным для множества людей из разных стран, в том числе и из России. Тургенев и Анненков любили Баден-Баден и подолгу жили здесь. Салтыков же удивлялся их верности этому городу, который он называл потом, за бедность духовной жизни, «немецкой Сызранью» (XIX-1, 32).

Как всегда и во всем, Салтыков воспринял новую для него обстановку своеобразно, всей сутью своей натуры — демократа-просветителя и социального критика действительности. Присущий ему скептический взгляд как бы устранял из его восприятия мира многие его светлые тона и концентрировал все, что, с его точки зрения, подлежало осуждению и отрицанию. Очевидно, что при таком угле зрения картины жизни во всей их широте и многоцветности сильно суживались и омрачались, заключались в своего рода «траурную» рамку. Это была немалая, исполненная своеобразного трагизма плата писателя за дарованный ему природой талант скептика и глубочайшего критика всех социально-темных сторон жизни.

В Баден-Бадене Салтыков оказался в совершенно новой и глубоко чуждой ему обстановке курортно-космополитической, праздной и богатой светской этикетности. Посетивший здесь Салтыкова Елисей писал Некрасову об этом городе-курорте: «Местность очень красивая, но жить там долго нельзя. Очень там уж все нарядно, парадно и публично. Как место для временного гулянья Баден хорош, но для постоянного или долгого житья он не уютен. По блеску, роскоши и разным светским этикетам он, пожалуй, похож на столицу, а по бессодержательности и мелкоте жизни ничем не отличается от уездного города. Ежедневные беседы, как и во всяком уездном городе, поддерживаются новостями или сплетнями проживающих в Бадене друг о друге»²⁴.

Неудивительно, что такая обстановка, как только выздоравливающий Салтыков соприкоснулся с ней, вызвала в нем публицистическую ярость и сатирический гнев высших степеней. И направлены они оказались прежде всего против соотечественников. Подводя итоги своим баденским впечатлениям, Салтыков писал Анненкову: «Такого совершеннейшего сборища всесветных хлыщей я до сих пор еще не видал и вынес из Бадена еще более глубокую ненависть к так называемому русскому культурному слою, чем та, которую питал, живя в России. В России я знаком был только с обрывками этого слоя, обрывками, живущими уединенно жизнью и не показывающимися на улице. В Бадене я увидел целый букет людей, довольных своею праздностью, глупостью и чванством» (XVIII-2, 207). Столь беспощадные оценки русских в Бадене вовсе не удивительны для Салтыкова. Ведь даже Тютчеву Баден запомнился «суетливым бездельем всего этого люда, более чем наполовину состоящего из сброда...»²⁵ А деликатнейший Тургенев почти в щедринском злом ключе представил в «Дыме» русских в Бадене, в частном же письме отзывался о них так: «Русских много — но все — высшего полета — и потому низшего сорта — и я их избегаю»²⁶.

Были в негодовании Салтыкова на русских в Бадене и личные мотивы. «Я озлоблен на Баден или, собственно говоря, на русских откормленных идиотов, здесь живущих, — писал он Некрасову. — Представьте, только поп да кн<язь> Горчаков заявили мне о своем участии, когда я здесь издыхал. Из прочей массы свиней ни одна не шелохнулась. Каково бы ни было достоинство моих литературных занятий, но несомненно, что публика меня читает. И ни единого звука» (XVIII-2, 190).

Вскоре, однако, высказанная Салтыковым уверенность, что публика его читает, уступила место сомнениям в этом. «Знаете ли, — делится он с Анненковым своими новыми переживаниями, — я начинаю думать, что моими писаниями никто не интересуется, и что «Отч(ественные) записки» ^{никого} никто не читает. Т. е. читает какой-то странный читатель, ~~который~~

ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может» (XVIII-2, 195).

Из этих горьких раздумий родилась тогда же в Бадене замечательная «беседа» Салтыкова с читателем о драматическом положении русской литературы и русского литератора. Она вошла главой IV в цикл «Между делом» (XV-2). Кажется, ни один другой писатель, за исключением в будущем Горького, не ставил литературу так высоко и не придавал такого большого значения читателю, как Салтыков. Вместе с тем никто и не критиковал читателя с такой резкостью и болью, как Салтыков. Станный это был «роман» «убежденного писателя» с литературой и читателем, исполненный и в этой области его духовной жизни столь характерных для него противостоятелей любви и ненависти, «аллилуйи» и «анафемь».

При всем свойственном ему суровом реализме Салтыков не был свободен в своих взглядах от элементов идеализации и утопизма. Особенно сильны они в его понимании литературы. В ней он усматривал (после того, как освободился от иллюзий, связанных с государственной службой) не только практически единственную область социальной активности, доступную в условиях самодержавия для демократа, не уходящего в прямую революционную борьбу. Литературу он вообще считал высшей формой человеческой деятельности. Это была одна из просветительских идеализаций или утопий писателя. Но современная литература не удовлетворяла его в отношении тех требований прямой результативности, которые он предъявлял ей. В главе четвертой «Между делом», о которой идет речь, он упрекает тогдашнюю литературу в общественном «бессилии», главную же причину этого усматривает в отсутствии у нее «достоверного читателя, на которого она могла бы опереться» (XV-2, 192). «Современный русский читатель, — заявляет Салтыков, — неуловим и рассеян по лицу земли, как иудеи. Он читает в одиночку, он ничего не ищет в литературе и ни с кем не делится прочитанным. Печатное русское слово не зажигает сердец и не рождает подвигов. Нигде и ни на чем не увидишь ты следов влияния действующей русской литературы» (там же, 191).

Так писал Салтыков в 1875 году, когда редактировавшие при его участии «Отечественные записки» находились в апогее своего идейного могущества, оказывая, в частности, прямое воздействие на такое крупное освободительное движение эпохи, как «хождение в народ», когда стихи Некрасова именно «зажигали сердца» всех демократически настроенных людей, особенно молодежи, когда произведения самого Салтыкова, а также Елисеева и Михайловского находились в центре общественного внимания всей тогдашней русской «левицы», когда, наконец, и за пределами литературы, «действующей» со страниц «Отечественных записок» и других демократических изданий, существовали такие могущественные

источники идейно-художественных воздействий на русское общество, как произведения Тургенева, Достоевского, Толстого... Скептические и отрицательные оценки Салтыкова далеко не соответствовали действительности. Они определялись не столько реальным положением тогдашней литературы, сколько идеальной высотой требований, к ней предъявлявшихся. Требования эти были рождены тоской Салтыкова по идейно-гражданственной силе литературы и по созидающей эту силу связи писателя с активным «читателем-другом». Сколько-нибудь развитых действующих форм таких связей тогдашнее время не знало.

Объясняя в той же баденской главе «Между делом» причины «раздвоенности», то есть недостаточной ясности некоторых своих сочинений, Салтыков впервые всенародно объявляет себя «русским Эзопом», то есть писателем, вынужденным излагать свои мысли в «рабской манере» при помощи «подставных слов», оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих «обманных средств». Глава начинается словами, которые могут быть поставлены эпитафией ко всей писательской биографии Салтыкова: «Я — русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать» (XV-2, 185). И это — утверждает он — не только потому, что существует цензурное ведомство, но главнейше потому, что не родился еще на Руси читатель, которого «страшными словами»* не удивишь и по отношению к которому была бы уместна прямая, «ясная речь» (XV-2, 185). По прочтении этой «беседы» упомянутая выше Е. С. Некрасова записала у себя в дневнике: «Просмотрела сентябрьскую книжку «Отечественных записок». Прочла в ней «Между делом» Щедрина — хорошо, хорошо, только «умей читать между строк»²⁷.

С улучшением здоровья Салтыков все больше времени проводит за письменным столом. Помимо названных выше вещей и замыслов, рожденных непосредственно баденскими впечатлениями, он возобновляет работу над продолжением ранее, еще в России, начатых произведений. Он пишет в Бадене очередную, четвертую по счету статью для цикла «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» («Господа Молчалины») и большую часть рассказа «Семейный суд», законченного уже в Париже**.

Что касается четвертой статьи цикла «Экскурсий...», предназначавшейся для сентябрьской книжки «Отечественных записок» (1875), то присланная в Петербург рукопись вызвала своей резкостью и широтой сатирических обобщений цен-

* Имеются в виду слова, преследовавшиеся правительственной цензурой и охранительной идеологией (свобода, революция, социализм, равенство и др.). — С. М.

** О рассказе «Семейный суд» см. дальше, с. 36—37

зурные опасения у самой редакции. Некрасов хотел даже ехать к Салтыкову за границу, чтобы совместно с автором найти пути «приспособления» статьи к требованиям цензуры²⁸. Поездка, однако, не состоялась. Решение этого вопроса осложнилось одним несколько загадочным эпизодом. В редакцию «Отечественных записок» пришел Унковский и сообщил о полученной им просьбе Салтыкова передать «Экскурсии...» Суворину для напечатания в «Биржевых ведомостях». Откликаясь на это решение Салтыкова, Елисеев писал ему в Ниццу: «Это удивило как самого Унковского, так и всех в редакции, кроме меня, так как Вы мне прежде об этом писали и просили заняться этим делом. Но я не только этим не занялся, а даже и не сказал никому о Вашем странном желании, полагая, что оно появилось у Вас случайно и пройдет быстро, так что Вы, пожалуй, будете потом просить меня же остановить дело передачи Вашей статьи в «Биржевые ведомости». В самом деле, разве можно всерьез думать, чтобы статью, которую боится напечатать «Отечественные записки», решился напечатать Полетика? * — Потом, с какой стати, не компрометируя себя, Вы будете освящать то место, где гадит Полетика? — А все виноват всех и все устрояющий Владимир Иванович <Лихачев>!»²⁹

Скорее всего, однако, дело тут было не в инициативе «все устрояющего» и со всеми ладившего В. И. Лихачева (действительно близко знакомого с В. А. Полетикой) и не в иллюзиях относительно цензурных возможностей «Биржевых ведомостей», а в своего рода рецидиве одного ранее возникшего у Салтыкова и Некрасова замысла, а именно — создания не только журнальной, но и газетной трибуны для литературных сил демократического лагеря. Потерпев неудачу в получении разрешения на свою собственную газету, они задумали проинициативировать писательскими силами «Отечественных записок» в одну из существующих газет умеренно-либерального направления для пропаганды там взглядов своей общественной группы. С этой целью Некрасов и Салтыков рекомендовали новому владельцу газеты привлечь к работе ряд сотрудников «Отечественных записок», в том числе Демерта, Михайловского, Плещеева, Скабичевского и др. Из стратегии этой практически ничего не вышло. Но заслуживает быть отмеченной сатирическая дерзость намерения Салтыкова-попытаться заклеить «литературное молчалинство», то есть приспособленчество народившейся в России либерально-буржуазной печати на страницах одного из главных тогда ее органов, «Биржевых ведомостей» Полетики. Намерение это, однако, не было осуществлено. Четвертый очерк «Экскурсий...» появился, хотя и в сильно цензурно смягченном виде, в «Отечественных записках» через год, когда Салтыков уже вернулся в Россию**.

* В 1874 г. газета была приобретена В. А. Полетикой. — С. М.

** Историю публикации очерка см. дальше, с. 73—74.

2. ПАРИЖ

Еще в Петербурге врачи предписали Салтыкову после завершения курса лечения в Баден-Бадене провести зиму в Риме или в Южной Италии. Но когда в конце баденского пребывания здоровье Салтыкова пошло на поправку, у него возникло желание перезимовать в Париже. «Решительно уеду в Париж, что бы ни говорил Белоголовый», — писал он Некрасову (XVIII-2, 190). Однако приехавший в Баден в конце июля Белоголовый настоял на отказе от этого намерения. Он разрешил Салтыкову лишь кратковременную, на две недели, поездку в Париж, местом же его пребывания на осень и зиму назначил вместо Рима Ниццу. Салтыков согласился подчиниться новым рекомендациям, но не был пунктуален в их выполнении. В Париже он пробыл вместо двух недель полтора месяца, а именно с 25 августа /6 сентября по 8/20 октября 1875 года.

Первым парижским жильем Салтыкова стал рекомендованный ему Белоголовым Hôtel Mecklembourg, на rue Laffite, 38. В этом небольшом отеле, пятиэтажном, но очень узком, шириной всего в три окна по фасаду, Салтыков с семьей занял апартаменты из четырех комнат — целиком два этажа: третий и четвертый по русскому счету, первый и второй по французскому. Здание сохранилось. Оно и теперь занято гостиницей, только с другим названием — Hôtel Laffite. «Квартира у меня очень хорошая, — писал Салтыков Некрасову, — в двух шагах от Итальянского бульвара <...>. Я один в целом этаже, никого не беспокою, и меня никто не тревожит <...>. Одно скверно — это уличный шум, к которому после баденского затишья никак не могу привыкнуть» (XVIII-2, 202). В том же отеле вместе с Салтыковыми, этажом выше, поместились сначала чета Елисеевых и Белоголовый, а затем В. И. Лихачев. В обществе последнего прошла большая часть парижского пребывания писателя.

«Вот уже четвертый день, как я в Париже, многоуважаемый Николай Алексеевич, — писал Салтыков Некрасову, делаясь первыми впечатлениями от французской столицы, — видел еще очень мало, но то, что видел, — просто прелестно» (XVIII-2, 201). Эта оценка — редчайшая у Салтыкова — стала

своего рода камертоном, по которому определилась настройка всех первоначальных парижских впечатлений писателя. Обобщая их впоследствии, Салтыков сложит в «За рубежом» исполненную радостного восхищения хвалу Парижу — один из многих русских гимнов великому городу, совершенно необычной для автора «Господ Головлевых» светлوماжорной тональности. «Солнце веселое, воздух веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади — все веселое» (XIV, 117), — передает Салтыков свое восприятие от столицы Франции, повторяя слово «веселый» и производные от него десятки раз. «Самый угрюмый, самый больной человек, — замечает Салтыков, — и тот непременно отыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа, а в особенности на его истинно сказочных бульварах» (там же). Вспоминаются слова Хемингуэя о Париже: «Праздник, который всегда с тобой».

Конечно, не малое значение в этой парижской эйфории Салтыкова осени 1875 года — в дальнейшем она уже не повторялась — играло состояние его здоровья. Ведь он приехал во Францию после того, как, по словам Анненкова, «перескочил через гроб»¹, и теперь весь его организм, физический и духовный, радовался возвращению к жизни. Но чтобы понять до конца источник высокого светлого лиризма, охватившего тогда Салтыкова, нужно вспомнить о той роли, которую сыграла в идейном развитии писателя социалистическая и революционная Франция его юности, Франция Сен-Симона и Фурье, Консидерана и Жорж Санд, Франция 1848 года. О том, чем была эта передовая Франция для оппозиционно настроенных молодых образованных русских людей второй половины 1840-х годов, активным ядром которых был социалистический кружок Петрашевского, Салтыков, принадлежавший к одной из филиаций этого кружка, написал удивительные, незабываемые слова в знаменитой четвертой главе «За рубежом». «С представлением о Франции и Париже, — читаем эти слова, — для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание (...). Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное — все шло оттуда (...). Франция казалась страной чудес» (XIV, 111—113). «Он, — пишет в своих воспоминаниях Н. А. Белоголовый об отношении Салтыкова к Парижу, — с ранней молодости любил этот город и поклонялся ему заочно как великой лаборатории европейской политической жизни»².

После трагического исхода 1848 года и последующих со-

бытий восторженная вера в революционную Францию не могла не потерпеть крушения у Салтыкова, как это произошло с Герценом, хотя и без трагического кризиса, пережитого последним, находившимся в эпицентре событий. Но ни «июньские дни», когда буржуазия руками Кавеньяка с неслыханной жестокостью подавила восстание парижского пролетариата, ни «позор 2-го декабря», когда, по словам Салтыкова, «Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию» (XIV, 112), ни зверства «одичалых консерваторов — версальцев» в дни Коммуны, ни наступившие затем «скверные годы» — годы торжества победителей над теми, кто «штурмовал парижское небо» в 1871 году, — не вытеснили из благодарной памяти писателя лучезарный образ «страны чудес», «страны начинаний», «страны упований» его юности... Представление о Франции как о «светочах, лившем свет согам *hominibus*» — всему человечеству (там же, 131), на всю жизнь сохранилось у Салтыкова, хотя он и понимал со всей ужасающей его очевидностью, что «светоча» уже нет более и что теперь на том месте, где он горел, «сидят ожиревшие меняла и курлыкают» (там же).

Вскоре Салтыков начнет, сначала в письмах к друзьям из Ниццы, а затем на страницах своих произведений, изумительную по глубине и силе исторической проницательности критику современного ему буржуазного мира, основанную на его впечатлениях от социально-политического быта французской Третьей республики. Но и тогда воспоминания о «светочах» не будут забыты. Они останутся контрастным фоном великого прошлого, светлой *arrière-pensée** по отношению к «сытому» и «безыдейному» настоящему — буржуазно-мещанскому быту Франции Третьей республики.

Из сказанного не следует, что восхищение Парижем, при первой встрече с ним, определялось только или преимущественно идеологическими и сентиментальными воспоминаниями писателя о Франции его юности. Нет, конечно. Ему многое понравилось в этом городе (нравилось и в последующие приезды) *непосредственно*, зримо и вещно, социально и художественно. Прежде всего это относилось к жизни парижских улиц и бульваров с их раскованной, свободно двигающейся и говорящей толпой, что так противостояло светски-этикетному, бюрократически-субординированному, чиновному и плац-парадному императорскому Петербургу. Последующие высказывания Салтыкова показывают, однако, что от первой встречи с Парижем он испытал не только радостное, светлое переживание, но и то горькое «чувство зависти к этой молодой, сильной, свободной жизни», которое испытал Толстой, записывая об этом в своем дневнике заграничной поездки 1857 года³. Чувства эти оставили свой след в мыслях и настрое-

* подоплекой (*фр.*).

ниях Салтыкова, писавшего А. М. Жемчужникову из Петербурга спустя полгода после возвращения в Россию: «Вообще, живется здесь плохо, особенно после полуторагодового заграничного житья» (XIX-1, 17).

Не остался Салтыков равнодушен и к прославленным архитектурным ансамблям и пейзажам Парижа. «Я никогда не мог себе представить, чтоб можно было ощущать веселое чувство при виде площади, — делится своими впечатлениями Салтыков, — но, очутившись на Place de la Concorde*, по истине убедился, что ничего невозможного нет на свете. И тут же рядом, налево — веселый Тюльерийский сад <...>, направо — веселая масса зелени, в которой, как в мягком ложе из мха, нежится квартал Елисейских полей. Затем пройдите через Тюльерийский сад, встаньте спиной к развалинам дворца** и глядите вперед по направлению к Arc de l'Etoile***. Клянусь, глаз не оторвете от этого зрелища. Какая масса пространства, воздуха, света» (XIV, 117—118). Как удивительно далека эта картина и по краскам, и по общему тону от другой, на которой Салтыков изобразил также всемирно прославленный архитектурный пейзаж, но отечественный, — Дворцовую площадь Петербурга. Огромность этой главной площади Российской империи воспринята им как «неоглядная пустыня», а бесчисленные темные окна обрамляющих ее зданий присутственных мест породили жестокий, страшный образ «выколотых глаз». Все же вместе вызвало «ощущение какой-то упрямственности» (XII, 111).

Как все любознательные иностранцы, впервые оказавшиеся в Париже, Салтыков вначале несколько захлебнулся от множества впечатлений. «В десять дней, — жаловался он Некрасову, — я почти ничего не успел видеть, а за всем тем свободного времени — ни минуты. Таково свойство этого города» (XVIII-2, 204). И о том же Анненкову: «Скоро уж три недели, как я в Париже, и признаюсь откровенно, очень мало еще видел. И в то же время целый почти день вне дома...» (там же, 207). Все же, помимо улиц, площадей и бульваров, он побывал в первые дни в знаменитом театре Vaudeville («вышел в восхищении от актеров»), затем в Jardin d'acclimation**** — и совершил вместе с Белоголовым и Елисеевым поездку в Версаль, где были осмотрены дворец, парк, Трианон и другие исторические достопримечательности. Была также отдана дань «бродяжничанью» по кафе, кабачкам («débîts de vin») и ресторанам — общедоступным, как «Diners de Paris» («за 5 франков подают удивительный обед») и таким знаменитым и дорогим, как «Vefour», «Café de l'Opéra» и «Café Riche»;

* Площадь Согласия (фр.).

** Тюльерийский дворец был разрушен в дни Парижской коммуны. — С. М.

*** Триумфальная арка (фр.). — С. М.

**** Зоологический сад (фр.).

последнее на Итальянском бульваре. Салтыков встречался здесь с находившимися тогда в Париже русскими — друзьями и знакомыми, с упомянутыми Белоголовым, Елисеевым и Лихачевым, а также с Н. А. Ратынским, Н. В. Ханьковым, М. М. Стасюлевичем и с Тургеневым. Встречи с последним были главнейшими. Они развили и закрепили их дружеские отношения — важное обстоятельство в биографиях обоих писателей. По подсчету Салтыкова, тогда, осенью 1875 года, он встречался с Тургеневым шесть раз (XVIII-2, 214). Сначала Тургенев нанес визит в «Hôtel Mecklembourg» к только что появившемуся в Париже Салтыкову⁴. Затем последний два раза ездил в Буживаль, в усадьбу Полины Виардо «Les Frênes», где Тургенев принимал его в только что отстроенном им для себя «chalet», или «избе» («Прелестная дача и огромный парк»). Остальные встречи были в парижской квартире Тургенева на rue de Douai, 50, и за ресторанными завтраками или обедами, один из которых, в «Café de l'Oréga», Тургенев назвал, по какой-то причине, «эпическим»⁵.

Делясь с Анненковым впечатлениями о свиданиях с Тургеневым, Салтыков писал: «Человек этот одарен всеми дарами природы, кроме одного: нет у него брезгливости. От этого всякое ничтожество находит к нему доступ и, по-видимому, даже может занимать и тешить. Был я у него в Буживале — живет, как принц крови. Впрочем, отчего же и не жить хорошо, коли средства есть; но все это невольно ставит вопрос: неужели же он никогда не возвратится в Россию?» (XVIII-2, 208). Недостаточная — в глазах Салтыкова — разборчивость Тургенева в сближениях с людьми и его жизнь вне России были и остались главными упреками, предъявлявшимися ему Салтыковым. Основанность последнего из этих упреков признавалась самим Тургеневым. В письме к А. В. Головнину он писал: «...я вынужден сознаться, что, живя почти постоянно за границей, я не в состоянии продолжать тех пристальных наблюдений над русской жизнью, без которых невозможно воспроизводить ее с достаточной верностью и точностью»⁶.

Второе посещение Буживаля было предпринято Салтыковым в ответ на просьбу писателя графа В. А. Соллогуба присутствовать на чтении его нового произведения у Тургенева. Причастный в 1840-х годах к «натуральной школе» (повесть «Гарангас» и др.), Соллогуб впоследствии отошел от прогрессивной литературы и стал светским литератором. Свое салонное писательство он совмещал с занятиями правительственного эксперта по устройству тюрем («вероятно, потому, — саркастически комментировал Салтыков, — что его самого нужно посадить в тюрьму» — там же, 195). Находясь в Париже, он сочинил пьесу и захотел прочитать ее Тургеневу и Салтыкову, а также их общему знакомому, бывшему петрашевцу Н. В. Ханькову. Чтение состоялось и ознаменовалось происшествием, получившим немалую огласку в «русском Па-

риже» и в литературно-общественных кругах Петербурга и Москвы. Соллогуб прочитал «комедию», которая оказалась «памфлетом» на молодое поколение разночинцев-демократов — «пошлым и подлым», по оценке Салтыкова. Вот как изобразил его реакцию на услышанное Тургенев в одном из писем: «Салтыков взбесился, обругал его <Соллогуба>, да чуть с ног не свалился от волнения: я думал, что с ним удар сделается... Он мне напомнил Белинского...»⁷ и о том же в другом письме: «Это было <...> нечто потрясающее! Он мне напомнил Виссариона»⁸. А вот рассказ самого Салтыкова об этой истории: «Я поехал в Буживаль <...> никак не полагая, чтобы Соллогуб позволил себе привлечь меня к слушанию какой-нибудь подлости. Но оказалось, что Соллогуб не имеет никакого понятия о том, что подло и что не подло. В комедии действующим лицом является нигилист-вор. Можете себе представить, что сделала из этого кисть Соллогуба! Со мной сделалось что-то вроде истерики. Не знаю, что я говорил Соллогубу, но Тургенев сказывает, что я назвал его бесчестным человеком <...>. И если бы Вы видели самое чтение: он читает и сам смеется и на всех посматривает. И Тургенев, как благовоспитанный человек, тоже улыбается и говорит: да, в этом лице есть задатки художественного характера!» (XVIII-2, 218—219).

Сближение Тургеневым Салтыкова с «неистовым Виссарионом» дает почувствовать всю меру страстной и гневной непримиримости писателя к идейно враждебным ему явлениям. Возвращаясь несколько позже к вопросу о «благовоспитанности» Тургенева и усматривая в ней светскую маску для прикрытия истинных мыслей и настроений, что было так чуждо прямоте Салтыкова, он писал Анненкову: «Есть в Тургеневе и малодушие и скрытность. Вся дрянь, все отребье человечества, вроде Соллогуба, так к нему и льнет. И он как будто бы в своей тарелке тут и, что всего хуже, хочет показать, что они ему в тягость, что они навязываются и он не знает, как отделаться от них <...>. Может быть, это есть признак благовоспитанности, но, признаюсь откровенно, для меня ничего нет противнее благовоспитанности. Конечно, я мужик, не имеющий понятия о хорошем обществе, но в существе, мне кажется, я прав. Я однажды ему в письме предлагал вопрос: отчего он не воспитатель наследника-цесаревича? По-моему, это вопрос обидный, и я мужик» (XVIII-2, 275). О великосветских же визитах писателя по приезду в Петербург Салтыков отзывался так: «Здесь Тургенев. Ездит и предъявляет свое сердце» (XIX-1, 137).

Письма Салтыкова, а также эпистолярные и мемуарные свидетельства современников содержат немало таких и еще более резких и ядовитых его суждений о Тургеневе. Иные из них прямо-таки ошеломляют. Таковы, например, заявления: «В нем совсем нет ничего симпатичного» (XVIII-2, 213), и уже

совсем ошарашивающее: «Это какой-то необыкновенный человек: лгун и лицемер...» (XVIII-2, 292). На основании таких действительно удивительных отзывов не раз делались выводы об отрицательном в целом отношении Салтыкова к Тургеневу. Однако выводы эти совершенно не верны. Давно уже пересмотренные в специальной литературе, хотя и недостаточно решительно, они все еще появляются в некоторых книгах и статьях. Авторы таких суждений забывают или далеко не в полной мере принимают во внимание, что грубые «пошехонские» формы присущей Салтыкову раздражительности выражались в не предназначенных к публичному оглашению словах, устных или эпистолярных. Но ведь в частном письме или разговоре с близким человеком мало ли что иногда не пишется и не говорится. Срывавшиеся у Салтыкова под первым отрицательным впечатлением донельзя резкие, бранные отзывы далеко не всегда соответствовали его истинным оценкам. В них сильно гиперболизировались и обобщались какие-то раздражавшие Салтыкова частности. Чаще всего такие предельно заостренные высказывания тут же и умирали, то есть больше не повторялись или повторялись в значительно смягченном виде.

Что касается до истинного отношения к Тургеневу, то оно выражено Салтыковым в ряде публично заявленных высоких признаний литературной деятельности автора «Отцов и детей» как «руководящей» для русского общества (IX, 457). О многом говорит и предсмертное желание Салтыкова быть похороненным рядом с могилой Тургенева.

Верно, однако, что по характеру, мировоззрению, политической позиции, творческой индивидуальности, по всему жизненному обиходу Салтыков и Тургенев были своего рода антиподы, — так много между ними было несхожего. При всем том они были едины в основном, что определяло их биографии, — в осознании своей писательской деятельности как общественного служения коренным интересам своей страны, солидарно понимаемым в широких рамках ее прогрессивного национального развития. Каждый пристально следил за произведениями другого, оценивая их с точки зрения своих идейных и художественных требований, и каждый же, вольно или невольно, пытался воздействовать на другого в соответствующем направлении. Особенно это относилось к Салтыкову, чья позиция в этом отношении была более активной. После Пушкина и Гоголя Тургенев был для него крупнейшим писателем России. Он видел в нем большую силу и хотел, чтобы эта сила действовала в направлении тех идеалов и того понимания задач, стоящих перед общественно-политической жизнью страны, которые были близки ему, Салтыкову. Он хотел другого «устройства» Тургенева в русской литературе*.

* См. слова о Тургеневе в одном из писем Салтыкова к Некрасову 1876 г.: «Я на днях ему напишу и изображу, что такое за популярность, в которую он верит. И еще напишу, как он мог бы хорошо себя устроить в рус-

Когда же их взгляды расходились по принципиально важным вопросам, Салтыков вступал в полемику. И не только в личной переписке, о которой речь будет ниже, но иногда и в печати. Однако в последнем случае он придавал своим выступлениям форму принципиального («проблемного») обсуждения предмета разногласий, а не личных контрвергов или литературно-критического разбора тургеневского произведения, в которых эти разногласия выявились*. Наиболее показательный здесь пример — рассказ «Чужую беду — руками разведу» (в переработанной редакции «Чужой толк»). Он возник по поводу тургеневской «Нови». Пример другого рода — несомненное присутствие элементов полемики с Тургеневым, связанной с критикой Салтыковым политического режима французской Третьей республики и одного из ее лидеров Гамбетты («Отрезанный ломоть», «За рубежом» и др.)**.

Тургенев, разумеется, знал о продолжавшихся по разным поводам саркастических выпадах против него Салтыкова. Но они не нарушали их прочно установившихся дружеских отношений. Искренность этих отношений со стороны Тургенева демонстрируется и удостоверяется следующими его словами из письма к Анненкову: «Очень я люблю этого человека — как он ни вращает глазами и ни старается быть «букой». Он очень наивен и добр. И ругается он от избытка этих двух качеств»¹⁰.

В Париже, как до него в Баден-Бадене, а затем в Ницце и вообще во всех своих последующих поездках за границу, Салтыков, с пристальным интересом наблюдая чужеземную действительность, духовно продолжал жить в России. Он общался почти исключительно с русскими людьми (хотя отлично знал французский), выписывал несколько русских газет (всегда «Голос» Краевского и «Московские ведомости» Каткова), продолжал в письмах к Некрасову редакторское наблюдение за «Отечественными записками», каждая новая книжка

ской литературе...» (XVIII-2, 244). Вряд ли, однако, такое письмо было написано и послано.

* Сказанное, впрочем, относится ко времени 70-х годов. Раньше, в боевые 60-е годы, Салтыков спорил с Тургеневым на страницах «Современника» в открытой и резкой форме (полемика вокруг «Отцов и детей», нигилизма, образа Базарова и др.).

** В печати эти выпады почти всегда настолько замаскированы, что если адресат их и угадывался, так только самим Тургеневым и узким писательским кругом. Заостренность против Тургенева некоторых сатирических страниц с трудом и лишь предположительно раскрывается позднейшими комментариями. Таков, например, следующий случай. Делясь с Анненковым впечатлениями от чтения главы «Войны за просвещение» из «Истории одного города», Тургенев писал: «Во втором номере «Отечественных записок» я уже успел прочесть продолжение «Истории одного города» Салтыкова и хохотал до чихоты. Он нет, нет да и заденет меня, но это ничего не значит: он прелестен». В комментарии к этому письму А. П. Могилянский полагает, что в названной главе Тургенев усмотрел элементы пародии на его повесть «Призраки», которую Салтыков не любил⁹. Однако основательность такого предположения не аргументирована сколько-нибудь убедительно.

которых неукоснительно посылались ему, и в меру возможности участвовал в делах редакции, относящихся к ее заграничным связям. Главнейшим из этих дел были проведенные им переговоры о дальнейшем сотрудничестве в «Отечественных записках» обозревателя французской жизни, демократического публициста и историка Шарля-Луи Шассена. С ним Салтыкова свел живший тогда в Париже Н. С. Курочкин, старый знакомый Шассена и переводчик его «обозрений» в «Современнике» и «Отечественных записках». Ученик и последователь Мишле, автор ряда работ о 1789-м и 1848 годах, написанных с сочувствием и даже с пафосом по отношению к революции, участник журнальной борьбы республиканской оппозиции в эпоху Второй империи, связанный в своей деятельности с Гюго и Гарибальди, с Герценом и Бакуниным, Шассен был далеко не последней фигурой среди западноевропейских демократов того времени.

Находясь в Париже, Салтыков намеревался, при посредстве Тургенева, пригласить к сотрудничеству в «Отечественных записках» Эмиля Золя. Но его не было в городе, и встреча с ним тогда не состоялась.

В Париж Салтыков приехал с конкретным планом писательской работы. Он хотел закончить здесь почти уже готовый еще в Бадене рассказ «Семейный суд» для «Благонамеренных речей» и написать для того же цикла еще два задуманных рассказа — «Непочтительный Коронат» и «Породственному». Сверх того, он надеялся послать из Парижа одну или две статьи для сборника «Между делом» (XVIII-2, 203). Но ему удалось выполнить лишь первый пункт этого плана — дописать «Семейный суд». Посылая рассказ Некрасову, Салтыков жаловался: «Как ни хорошо за границей, а все-таки чувствуешь себя не на месте. Это и по писаниям моим, я думаю, Вы замечаете. Не клеится, не пишется, не хочется» (XVIII-2, 210—211). В этом ослаблении творческого тонуса сказывались, несомненно, последствия болезни. Со своей стороны, мало благоприятствовали писательской работе бытовые условия — маленькое помещение, небольшой гостиничный и не привычный письменный стол, дети, постоянный уличный шум (см. там же, 204). Но главное — отвлекал сам Париж. Он и после полутора месяцев жития в нем оставался для Салтыкова «прелестным» городом, с которым «жаль расстаться». Вместе с тем это и «дурацкий город», в котором «не понимаешь, куда время уходит», и который не позволяет взяться ни за какую большую работу (XVIII-2, 210, 214). Затягивавшаяся пауза в литературном труде тревожила Салтыкова. Он хотел бы поскорее в Петербург, где ему лучше всего писалось. Как прежде в школе он отмечал дни, оставшиеся до праздников или летних каникул, так теперь он начинает считать дни до возвращения в Россию, откуда он уже почти полгода. Но этих дней оставалось еще много, целых семь меся-

цев. Впереди Ницца, где ему предстояло провести всю зиму (1875/1876 года).

Ехать в Ниццу ему не хотелось. «Не знаю, что мне в Ницце делать? (...)» — писал он Г. З. Елисееву. — Для болезней сердца этот город вредный, а с марта и вообще для жизни негодный» (об этом он вычитал в путеводителе Элизе Реклю, ссылавшегося на свидетельства знаменитых врачей — XVIII-2, 211). Он хотел еще пожить в Париже, но становилось уже холодно, и решение об отъезде было принято. Единственное, что несколько примиряло его с Ниццей, — то, что в зимний период фешенебельный курорт делался, как ему говорили, полупустынным и тихим местом*. Это давало надежду, что там, в уединении, он сможет приняться за большую работу и наверстать упущенное за время болезни и пребывания в Париже.

Двадцатого октября 1876 года по новому стилю Салтыков с женой, детьми и немецкой няней-гувернанткой выехал с Лионского вокзала на юг Франции.

* «Ницца все-таки не что иное, как самое живописно-поэтическое, лучезарно-благополучное захолустье», — писал о зимней Ницце Тютчев¹¹.

3. НИЦЦА

В то время на железных дорогах еще не было спальных удобств. После памятного ему двухсуточного путешествия из Петербурга в Баден-Баден, совершенного сидя, без сна в неотпливаемом холодном вагоне, Салтыков боялся больших переездов. На пути из Парижа в Ниццу он решил сделать две остановки — на день в Лионе и на неделю в Марселе, для осмотра города и его окрестностей. «Пробыл 5 дней в Марселе, — писал он Некрасову, — ездил на Корниш в ресторан, ел на берегу моря *bouille-abeisse** и думал о вечности» (XVIII-2, 220). В Ниццу Салтыков и семья его прибыли 15/27 октября 1875 года. Остановились сначала в дорогом отеле «Windsor», на фешенебельной *Promenade des Anglais* — ниццкой набережной. Но на другой же день переехали в русский пансион «Вилла Оазис» («*Villa Oasis*»), на который Салтыкову еще в Париже указал его петербургский знакомый доктор П. Г. Гагаринов. Пансион помещался в небольшом трехэтажном доме, на короткой и узкой улочке *Petite rue St. Etienne*. При доме был сад, тоже небольшой. В этом пансионе когда-то ненадолго останавливался Герцен¹. Сначала рекомендованная Салтыкову квартира не понравилась ему: «Место невзрачное (...) в полном смысле дыра» (там же). Но, осмотревшись, он изменил свое мнение и писал Анненкову: «Поселился я здесь довольно удобно, хотя и в захолустье. Нашел здесь Тамбовскую губернию в первобытном виде. Хозяйка у нас русская, г-жа Данилова, которая по преданию называет служанок «девками» (там же, 226). О том же Салтыков писал Тургеневу, на что последний отозвался: «Радуюсь, что Вы нашли себе уголок по вкусу в Ницце...»² Кроме Салтыкова и его семейства в пансионе жил еще какой-то генерал Быховец, которого вскоре сменил помещик Фишер, чье имение Степаньково, как оказалось, соседствовало с салтыковским Витеневым. Таким образом, кроме Тамбовской губернии Салтыков нашел в Ницце и Московскую, да еще представленную московским уездом и даже «своей» Большевской волостью, в которую входило салтыковское поместье.

* Рыбная похлебка с чесноком и пряностями (*фр.*).

Радость Тургенева, что Салтыков нашел себе в Ницце «уголок по вкусу», оказалась преждевременной. При ближайшем знакомстве Ницца не понравилась Салтыкову. «Ничего особенного», — писал он в первых же письмах (XVIII-2, 226), не увидя в городе того, что громко прославлялось туристскими рекламными и путешественниками, а точнее сказать, не разделяя этих аттестаций. На знаменитую «столицу» прославленного французского Côte d'Azur — Лазурного берега — он, как всегда и во всем, взглянул своим сугубо критическим взглядом. «Ницца — город неопрятный и далеко не так привлекательный, как Баден, — писал он Н. А. Белоголовому. — Садов совсем нет, а есть огороды, в которых растут жалкие апельсиновые деревья. Знаменитая Promenade des Anglais есть довольно жалкая пародия на бульвар. Тени никакой нет, ибо жалкие пальмы, которыми он обсажен, имеют вид веников. Горы голые, белесоватые; море, правда, но на меня оно производит неприятно-ослепляющее действие. Вообще, даже воздух здесь до такой степени блестящ, что я серьезно побаиваюсь за свои глаза» (там же, 228).

Южный блеск, прозрачность воздуха, ярко горящее здесь и осенью, и даже зимой солнце, глубокая синева почти всегда безоблачного неба, оливы и пальмы, апельсиновые и померанцевые деревья — весь этот рай был не только непривычен, но и чужд северянину Салтыкову и его любви к «сереньким тонам» своих родных мест, Верхнего Поволжья. А когда красоты южной природы все же вызывали у него восхищение, оно тут же гасилось раздражением от сопутствующих этим красотам социально-отрицательных картин. «Сегодня в полдень в Villefranche ездил, — делился он своими впечатлениями и переживаниями в письме к Некрасову, — удивительные виды. Все берегом моря; с одной стороны вода без конца, местами голубая, местами зеленая, а с другой — высочайшие горы. И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам — ужасно много портят крови» (XVIII-2, 223). Можно не сомневаться, что таковы же были впечатления Салтыкова и от его поездки в Монте-Карло. Судя по одному письму Салтыкова, кроме Монте-Карло он побывал еще и в Ментоне. «В Ментоне лучше, нежели в Ницце, — писал он позднее Елисею, — скромнее, уединеннее, да и климат мягче» (XIX-2, 139).

Чем дольше жил Салтыков в Ницце, тем выше поднималась в нем температура раздражения против господствовавшего здесь вечного праздника космополитической толпы богатых и праздных — «хлыщей», среди которых было немало русских. Его зарисовки и оценки светско-курортной Ниццы, в письмах к друзьям и знакомым, становятся все жестче, беспощаднее, иные из них доходят до пределов едва допустимой для печати грубости. «Ницца есть бардак, расположенный на берегу Средиземного моря, — читаем в одном письме. — Все

отребье, какое есть на свете, собралось сюда, все люди, которым неловко жить у себя, ищут здесь приюта». «Мне тошно в этом доме терпимости...» «Темперамент этого департамента совершенно блядский, — читаем в другом письме, — сюда стекаются все разбогатевшие жулики и хвастают бриллиантами». «Теперь <...> в Ницце карнавал, и все беснуются <...>. Жена моя, которая молодеет не по дням, а по часам, сгорает от досады, что не может участвовать на балах в Cercle de la Méditerranée*, у префекта, у графини Сабатье и в прочих местах, где собираются кокетки, признанные законом честными женщинами и матерями семейств» (XVIII-2, 240, 278, 259, 261).

Очевидно, что с обществом, так воспринимаемым и так оцениваемым, у Салтыкова не могло возникнуть никаких сближений. Конечно, среди русских в Ницце были не только «хлыщи» и «кокетки». Были люди, которые могли представлять интерес для Салтыкова. Но общению с ними мешал нелегкий характер писателя. Он сам признавал это. «Не умею я сближаться, — писал он Некрасову, — хотя многие здесь меня спрашивают, просят «показать» <...>. Но вряд ли кому охота со мной знакомиться. Даже хозяйка говорит: какой вы угрюмый!» (там же, 223).

Впрочем, судя по позднему рассказу Салтыкова о своей жизни в Ницце, введенному в сатирической аранжировке в «Круглый год» (глава «Первое марта»), какие-то знакомства с соотечественниками у него все же возникли. Об этом свидетельствует следующее, явно автобиографическое начало этого рассказа: «Помню, несколько лет тому назад судьба заперла меня на целых полгода в Ницце. Русских в этом городе — масса (что в значительной степени обусловливается близостью Монте-Карло с его рулеткою), и в этом множестве набралось человек с десятков знакомых, для которых поездки в Монте-Карло представлялись не с руки. В том числе были: два земских деятеля, один предводитель дворянства, один непонявший родства экономист, один задыхающийся прокурор, один малокурный штаб-ротмистр, один «старый дипломат» <...>, два государственных младенца** <...> и я. Все мы без отдыха кашляли, пили микстуры, ели пилюли и претерпевали адскую скуку. Кругом — блеск и прозрачность; солнце так и горит; на темно-синем небе ни облачка; Средиземное море плещет; померанцы благоухают; пальмы, олеандры, лавровые деревья чаруют взоры... а мы сидим, кашляем и тоскуем. Нет у нас ни собственного дела, ни собственной жизни <...>. Живем, как жили бы у себя в Замоскворечье, и не понимаем, что

* Средиземноморский клуб, наиболее фешенебельное место для развлечений в Ницце того времени. — С. М.

** «Государственные младенцы» — на эзоповском языке Салтыкова — высшие чиновники министерств и других правительственных ведомств. — С. М.

тут такого, в этой «загранице», привлекательного» (XIII, 431—432).

А в одном из позднейших писем к Белоголовому, вспоминая о пасхальных и предшествующих им днях в Ницце, Салтыков назвал имена четырех «генералов», надо полагать штатских, то есть тайных или действительных статских советников, которые почему-то сохранились в его памяти. «Я помню, — писал он, — как в 1876 году генералы Шаблыкин, Сеявин, Бутовский и Батюшков хоронили в Ницце своего бога, а русские кокотки усыпали цветами крестный путь» (XIX-2, 303)*.

Достоверно известно лишь одно примечательное русское знакомство, возникшее у Салтыкова в Ницце, а именно с А. Н. Тверитиновым, участником революционного движения и переводчиком на французский сочинений Чернышевского. Он приехал из Парижа с письмом от Тургенева, в котором последний рекомендовал подателя как вполне подходящего человека для обучения и воспитания восьмилетнего сына богатого петербургского купца Антонова, поселившегося в Ницце после пережитой семейной драмы. С просьбой подыскать учителя для сына Антонов почему-то обратился к Тургеневу, а последний — переадресовал эту просьбу Салтыкову.

«Михаил Евграфыч, — вспоминает Тверитинов, — не был со мной так любезен, как Иван Сергеевич; но зато снисходил до разговоров со мною о посторонних предметах, а не только о деле». Среди этих «предметов» были, в частности, разговоры о Лаврове и его журнале «Вперед», который Салтыков недолго любил («Ужасно бездарный»). Были, вероятно, разговоры и о других русских революционерах-эмигрантах, с которыми был знаком Тверитинов (М. А. Бакунин, Н. И. Жуковский, С. М. Кравчинский, И. Н. Мышкин, З. К. Ралли, М. П. Сажин, П. Н. Ткачев и др.)³. И конечно, были разговоры о Чернышевском и его «Что делать?» в связи с только что вышедшим в Милане переводом романа на французский, сделанным Тверитиновым (он перевел также «Письма без адреса» и еще кое-что). «Салтыков был мрачный человек, неразговорчивый, — резюмирует Тверитинов свои воспоминания о встречах с писателем (не понимая, видимо, в нужной мере его болезненное состояние), — а потому я у него никогда не засиживался дольше одного часу, боясь надоесть ему своим присутствием. Он каждый раз, при моем уходе, звал меня тем не менее заходить еще»**.

В ответ на жалобы об одиночестве в письме к Тургеневу

* В такой «вольтеровской» манере Салтыков пишет тут о «великой пятнице» на «страстной неделе», когда в православном богослужении совершается обнесение вокруг храма плащаницы, особого покрывала с вытканым на нем изображением тела Христа после того, как оно было снято с креста и положено во гроб. — С. М.

** В воспоминаниях Тверитинова, откуда взяты приведенные сведения, любопытна еще следующая запись его разговора с Бакуниным о салтыков-

последний разъяснял: «Никакого нет сомнения, что соотчичи Вас и боятся и обгают. Если в их глазах каждый сочинитель критикан — то Вы уже подавно»⁵.

В итоге — жизнь особняком, еще более уединенная, замкнутая, чем в Бадене. «Живу я так себе, то есть просто-напросто ничего не вижу <...>. Часто даже совсем из дома не выхожу...» Неизбежными спутниками такой жизни, приравнивавшейся Салтыковым к «ссылке» («зачем меня сюда выслали?»), были настроения скуки и тоски. Ими наполнены многие письма из Ниццы: «Скучновато»; «Скука непроходимая», «Я здесь скучаю до сумасшествия» (XVIII-2, 234, 256, 223, 240, 236) и т. д. Эти сетования сопровождаются жалобами на общее понижение жизненного и творческого тонуса: «Ничего делать не хочется». Такие настроения рождают в воображении писателя соответствующие им образные автохарактеристики своего состояния: «Я похож на тех собак, каких можно видеть в солнечный день в Петербурге на припеке у подъездов. Лежит под лучами солнца, мухи ее облепили, а она и мух не гонит, а только вздрагивает. И я тоже вздрагиваю, а больше ничем о своей жизненности заявить не могу. Худо мне, совсем худо» (XVIII-2, 264).

Некоторые из его писем, писанные в дни обострения болезни, исполнены особой мрачности. Это те, в которых он говорит о своей скорой смерти и по-деловому обсуждает вопросы устройства собственных похорон: «Тут за одно мертвое тело, чтобы убрать порядком, 6 т. фр<анков> возьмут, я уже справлялся» (XVIII-2, 243). Замечательно, что к ожидаемому концу жизненного пути он подходит — это не раз повторится и впоследствии — с психологией, характерной для русского мужика-крестьянина, кормильца семьи: «Ясно, что я уже не работник — стало быть, всякий прожитой мною день есть явный ущерб для семьи» (там же, 256).

Иногда под воздействием этих трудных настроений возникали, но скорее всего тут же и гасли, явно нереалистические проекты какого-то нового устройства жизни. Так, в одном из писем к Тургеневу излагался проект переселения на постоянное жительство в Москву и, значит, отказа от участия в трудах редакции «Отечественных записок». На это Тургенев отвечал: «Что же касается до Вашей мысли поселиться в Москве — признаюсь, мне она как-то в голову не лезет; никого Вы там не найдете — и соскучитесь непременно»⁶.

ском рассказе «Он!» из цикла «Помпадуры и помпадуриши» (1873). В зловещем образе безымянного «помпадура»-карателя Салтыков создал одну из наиболее сильных своих художественных персонификаций административно-полицейского насилия самодержавной власти. Вот эта запись:

«Зашла речь о Щедрина, о его рассказе «Он!».

«Какова смелость!» — воскликнул М. А. <Бакунин>.

Действительно <...> смелость огромная.

Щедрина хвалили за смелость человек, который в четырех государствах был приговорен к смерти... Такая похвала чего-нибудь да стоит!»⁴

Во всех своих сетованиях Салтыков вполне искренен. Но его самопризнания, психологически правдивые и драматичные, объективно не вполне соответствовали тогдашнему состоянию писателя. Доказательство тому — неутраченная интенсивность его общественно-политических интересов и писательская активность, сохранявшаяся вопреки всем приступам болезни.

Всего в Ницце Салтыковым было написано около 10-ти листов. И это не за календарные полгода жизни здесь, а примерно за четыре месяца, так как из-за жестоких ревматических болей писатель в течение полутора-двух месяцев вовсе не был в состоянии держать в руке перо («Вот уже два месяца почти, как я ничего не пишу», — читаем в письме к Анненкову от 15/27 февраля 1876 года — XVIII-2, 261).

Первым был написан рассказ «Непочтительный Коронат» (1875), задуманный еще в Баден-Бадене. Он обогатил галерею социальных портретов в «Благонамеренных речах» весьма редким у Салтыкова положительным образом — молодого человека периода «действенного народничества», отказывающегося от привилегированного пути в пользу революционного дела, «подвига высокого». Рассказ появился в ноябрьской книжке «Отечественных записок». Прочитав его, Тургенев писал Салтыкову: «Коронат» хорош, как все, что Вы пишете; но как-то менее цепок»⁷. Этим «менее» Тургенев сопоставлял «Короната», по-видимому не очень понравившегося ему, с предшествующим салтыковским рассказом «Семейный суд». О нем он писал автору в своем первом к нему письме в Ниццу: «Я вчера получил окт(ябрьский) номер <«Отечественных записок» 1875 г.>, — и, разумеется, тотчас прочел «Семейный суд», которым остался чрезвычайно доволен. Фигуры все нарисованы сильно и верно <...> Но особенно хороша фигура спившегося и потерянного «балбеса». Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением?» Поставив этот отнюдь не риторический вопрос с очевидной целью воздействовать определенным образом на Салтыкова, Тургенев тут же, однако, внес и оговорку, свидетельствующую о его высоком признании преобладавшего сатирико-публицистического направления творчества Салтыкова. «Но на это можно ответить, — продолжал Тургенев, — что романы и повести до некоторой степени пишут другие — а то, что делает Салтыков, кроме его, никому»⁸.

Совсем другого мнения был о «Семейном суде» сам автор. Вдогонку посланной Некрасову рукописи рассказа он писал: «Вероятно, Вам не понравилась, многоуважаемый Николай Алексеевич, статья моя «Семейный суд». Я и сам вижу, что выходит и кропотливо и разорванно, да что же делать? — вообще, мне за границей не пишется или пишется туго»

(XVIII-2, 212). Столь суровая самокритика относилась к рассказу, ставшему начальной главой «Господ Головлевых». И дело тут было не только в присущей Салтыкову авторской скромности и посещавшем его иногда удивительном недоверии к своим творческим силам. Едва ли не большее значение имело то предпочтение, которое Салтыков, следуя эстетическим заветам и традициям «Современника» и вообще радикального шестидесятиничества, оказывал тем произведениям своего пера, в которых на первый план выдвигалось не художественное, а публицистическое начало. Наиболее последовательным проводником и защитником этих принципов в редакции «Отечественных записок» был Елисеев, «аскет текущей жизни и непосредственных практических результатов», как аттестовал его Михайловский. Правда, и Елисеев, вместе с Некрасовым и другими членами редакции, радушно встретил «Семейный суд», но все же с оговоркой. «Мне он тоже очень нравится, — писал Елисеев Салтыкову, — но более нравятся те статьи, которые соприкасаются с вопросами и явлением текущего времени»⁹. Тургенев же с чуткостью большого художника, высоко ставя литературную деятельность Салтыкова во всем ее объеме, вместе с тем особенно ценил в ней эстетические стороны и не переставал указывать на них писателю в беседах и переписке.

Салтыков не сразу творчески откликнулся на призыв Тургенева «подняться» от очерков и рассказов к роману. Так же как и «Семейный суд», следующий рассказ «По-родственному» (1875), написанный в Ницце, еще принадлежал к серии «Благонамеренных речей».

Послав рукопись рассказа в редакцию «Отечественных записок», Салтыков сообщил Анненкову: «С «Благонамеренными речами» покончил» (XVIII-2, 232). Однако сразу же определившийся успех «головлевских рассказов» заставил Салтыкова продолжать их. «По поводу рассказа «По-родственному», — сообщал Салтыков Некрасову, — я отовсюду получаю похвалы. Анненков в умилении, даже Тургенев <...> поздравляет меня* <...>. Мне здесь показывали письма из Питера, в которых велят узнать, не будет ли продолжения» (XVIII-2, 248). И Салтыков пишет «продолжение» сначала в Ницце — рассказ «Семейные итоги» (1875), а потом на пути в Россию, в Париже, — «Перед выморочностью» (1875). Однако, как и предыдущие «головлевские рассказы», и эти появляются в «Отечественных записках» все еще в составе «Благонамеренных речей». И лишь при подготовке отдельного издания цикла, ле-

* Это письмо Тургенева к Салтыкову не сохранилось или не разыскано. Но известен краткий отзыв Тургенева об этом рассказе в письме к Анненкову («...еще больше «Короната» мне понравилась последняя статья Щедрина «По-родственному». Старуха, которая плачет при восходе солнца, удивительна»¹⁰), почти повторенный в другом письме к Салтыкову. См. ниже, с. 220 — 221.

том 1876 года, Салтыков исключает из него повествование об Иудушке и в дальнейшем продолжает его уже в рамках романа «Господа Головлевы». Следует полагать, что к такому решению он пришел не без воздействия обращенных к нему советов Тургенева не ограничивать свое творчество очерками и рассказами, но и обращаться к более крупным и цельным формам. «Головлевские рассказы» писались в дни резкого обострения у Салтыкова ревматических болей и усиления его трудных настроений. Чрезвычайно мрачная окраска этого произведения в какой-то мере, надо думать, зависит и от этих факторов.

Но эти же обстоятельства оказались неодолимой помехой для тогда же начатой работы над другим крупным произведением — совсем иной, светлой окраски. Чтобы осуществить этот замысел, были нужны, по словам Салтыкова, «море веселости» и «спокойное расположение духа». А их-то и не было. Речь идет о большом сатирико-публицистическом цикле, первоначально называвшемся «Дни за днями за границей», потом «Книга о праздношатающихся» и, наконец, «Культурные люди». Еще в «Современнике», в очерке 1863 года «Русские гулящие люди за границей», Салтыков писал: «Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и, с какими бы намерениями Вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо» (VII, 86). При этом Салтыков ссылался на слухи о том, что богатство такого рода замысла соблазняло самого Гоголя. А он был для автора «Губернских очерков» высочайшим авторитетом в литературе.

Недовольный тем, как «туго» шла работа над «головлевскими» и другими рассказами для «Благонамеренных речей», несколько уже прискучивших ему, Салтыков возлагает определенные надежды на новый замысел. «С будущего года <1876> пойдет посвежее и, вероятно, я сам ходчее буду писать», — сообщает он Некрасову (XVIII-2, 210). Однако надеждам этим не суждено было оправдаться, и это становится ясно Салтыкову сразу же, как он взялся за новую работу.

Посылая Некрасову в самом конце 1875 года начало «Культурных людей», он сопровождает их письмом с такими «признаниями»: «Кажется, вышло скверно. Извините. Писал (вторую половину) почти насильно, в чаду лихорадки и ревматических припадков. В настоящее время совсем ничего не могу делать <...>. Так мне тяжело, так тяжело жить, что и сказать не могу. Когда наберут первые 5 глав, прочтите и скажите откровенно, стоит ли продолжать». Ощущение творческой неудачи связывается здесь с болезнью. Однако в том же письме указывается и на встретившиеся трудности творческого характера, которые не были видны писателю при рождении замысла в 1863 году, когда он еще не бывал за границей.

«Я задался мыслью, — разъясняет он эти трудности, — изо-

бразить жизнь русских культурных людей за границей. Но вот беда: идеи в этой жизни нет никакой, одно бессельное шатание с клеймом культурности на челе или, скорее, на заднице. Что другие, то и мы. Боюсь, как бы скучно не вышло. Первые главы — не образец: я действительно писал их совсем больной, но ведь болезнь, пожалуй, так привяжется, что окончательно уничтожит юмор, который в этом случае преимущественно требуется. Дайте же мне совет» (XVIII-2, 244).

Что ответил Некрасов, дал ли он совет и какой — сведений нет. Но известен ответ другого редактора «Отечественных записок», Елисеева, к которому, по-видимому, Салтыков обращался с такими же вопросами. Он писал Михаилу Евграфовичу: «Культурных людей» непременно продолжайте. От них все в восторге в Петербурге, в том же направлении читал рецензии в «Одесском вестнике», в «Современных известиях», в «Киевском телеграфе», ergo*, и во всей России ими довольны»¹¹.

Но сам Салтыков был решительно недоволен ходом и первыми результатами предпринятого труда. «Я начал одну вещь, — жаловался он А. Н. Еракову, — и вот с неделю, как встал в тупик. Не идет, да и полно. Отвращение, бессилие, болезненная мечтательность» (XVIII-2, 240). И, написав всего пять небольших глав, он, следуя пушкинскому завету художнику — «ты сам свой вышний суд», — бросает работу. Бросает, как думал, на время (написанные главы появились в «Отечественных записках» с пометой «Продолжение следует»), оказалось же — навсегда. Вместо продолжения «Культурных людей» он берется за очередной «головлевский рассказ» — «Семейные итоги». «Культурные люди» стали одной из творческих неудач Салтыкова. Они вошли в ряд начатых им, но оставшихся незавершенными произведений широкого замысла, крупного масштаба. К ним относятся роман «Мастерица», циклы или сборники «Как кому угодно», «Дети Москвы», «Господа ташкентцы» (вторая часть их — «Ташкентцы в действии»), «Игрушечного дела людишки», несколько «сказок», «Пошехонская старина» (второй том, посвященный юности героя или рассказчика), «Забывтые слова» и др.

Неудача с «Культурными людьми» объяснялась, как уже сказано, болезнью и вызванными ею мрачными настроениями Салтыкова. Они вовсе не соответствовали работе над произведением, задуманным в ключе Диккенсовых «Посмертных записок Пиквикского клуба». Да и нелегко было сочетать в разработке сатирической темы русского «культурного» (то есть *псевдокультурного*) человека за границей, в жизни которого «нет никакой идеи», мажор и веселый юмор с глубоко серьезным и даже трагическим мотивом «культурной тоски». О том, что предполагалась именно такая резко контрастная

* следовательно (лат.).

полифония, видно из письма Салтыкова к Анненкову от 20 ноября/2 декабря 1875 года. Изложив примерное содержание замысла, Салтыков так определял предполагаемое общее звучание произведения: «Смеху довольно будет, а связующую нить — культурная тоска. Хотелось бы и трагического попросить — после болезни меня все в эту сторону тянет» (XVIII-2, 233). Откликаясь на такого рода признания писателя и обобщая их, Анненков писал Тургеневу: «Хорошие юмористы всегда трагики по натуре и по существу содержания: Гоголь, Герцен, Салтыков»¹². Эти слова следует признать одной из самых глубоких характеристик творчества и личности автора «Истории одного города» и его места в русской литературе. Близкое суждение, имеющее, конечно, в виду и Салтыкова, высказал в одной из черновых заметок к «Дневнику писателя» Достоевский. Он записал здесь такую мысль: «Но разве в сатире не должно быть трагедии? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира две сестры и идут рядом, и имя им обоим, вместе взятым — правда»¹³.

«Культурная тоска» Салтыкова — одно из проявлений его настроений демократа и социалиста, тоскующего от отсутствия в большей части современного ему общества высокой и активной гражданственности, широких жизненных запросов и определенности социально-политических интересов и желаний*. Свой новый цикл Салтыков начал такой исполненной жесткого сарказма характеристикой «культурного человека», дюжинного российского либерала-прогрессиста: «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном...» (XII, 295). Мотив «культурной тоски» должен был служить «связующей нитью» между всеми намеченными сюжетами, или «эпизодами», цикла. Среди них были задуманы два, относящиеся к Л. Толстому и Чернышевскому. Оба «эпизода» важны для идейной биографии Салтыкова, и на них нужно остановиться.

Первый сюжет обозначен в письме к Анненкову так: «...явится литератор, который в подражание «Анне Карениной» пишет повесть «Влюбленный бык» (XVIII-2, 233)**. Такое намерение, хотя и оставшееся неосуществленным, ставит вопрос об отношении Салтыкова ко второму великому роману Толстого. И здесь сразу же нужно сказать, что, сколь это ни странно, отношение это нам неизвестно, как неизвестно оно и применительно к «Войне и миру»¹⁵, то есть к двум крупней-

* А. В. Луначарский писал по этому поводу: «Был в Щедрине, и сказывался со страшной силой, один момент социально-психологического и историко-политического характера, который мы встречаем и у Белинского, и у Чернышевского, и у множества других великих людей демократии нашей страны и стран зарубежных. Этот момент — *несвоевременность*»¹⁴.

** В собр. соч. опечатка: «Возлюбленный бык» вместо «Влюбленный бык», как в рукописи Салтыкова. — С. М.

шим романам русской и мировой литературы. Но известно нечто другое — крайне раздраженный и необыкновенно грубый, даже для Салтыкова, отзыв его в письме к Анненкову от 9 марта 1875 года о только что начавшемся тогда печатании «Анны Карениной» (заметим, что был момент, когда Толстой хотел печатать роман в «Отечественных записках»: «Он поманил нас этой надеждою»¹⁶, — писал Некрасов Островскому). Судя по дате письма, отзыв мог быть вызван лишь первой частью романа и начальными главами второй части, появившимися в январском и февральском номерах «Русского вестника» за 1875 год. Уже то, что было опубликовано в следующем, мартовском номере, не могло служить материалом для отзыва, поскольку номер этот вышел позже письма к Анненкову. А затем в публикации романа наступил годичный перерыв, вплоть до февраля 1876 года. Но и названные главы Салтыков вряд ли прочитал полностью, скорее самое начало романа, поскольку был тогда тяжело болен.

Вот этот брутальный отзыв донельзя раздраженного, разгневанного и вместе с тем, несомненно, огорченного Салтыкова: «Вы (<...>) читали роман гр<афа> Толстого о наилучшем устройстве быта детор<одных> частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы на *одних* половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского*. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется *консервативная* партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя» (XVIII-2, 180).

По первому впечатлению слова эти и весь тон отзыва производят удручающее впечатление. Комментарий разъясняет и существенно снижает его отрицательную силу. Он позволяет увидеть за эпатирующей грубостью отзыва то принципиальное и серьезное, что столь сильно взволновало Салтыкова и что присущая ему вулканическая возбудимость довела до шокирующих пределов, отнюдь, впрочем, не единичных в его живой речи и в доверительных письмах к друзьям.

Как видно из приведенного текста, резкость реакции Салтыкова была вызвана двумя обстоятельствами. Первое из них — любовно-великосветская тематика начальных глав романа. Действительно, в первых главах он еще не превратился из семейно-любовного (жанр, в котором был задуман) в фило-

* В февральском «Дневнике писателя» за 1877 г., также критикуя образ Вронского, Достоевский писал: «Казалось (<...>), что любовь этого «жеребца в мундире», как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в ироническом тоне»¹⁷. Комментарий к этому месту в академическом Собр. соч. Достоевского допускает, что этим «приятелем», столь грубо отозвавшимся об образе Вронского, был Салтыков. В это время он не раз встречался с Достоевским.

софско-общественный и социально-критический. В начальных главах преобладает «изображение страсти во всей ее прелести и во всем ее ничтожестве»¹⁸. «Роман поначалу, — пишет Б. М. Эйхенбаум, — кажется сделанным по европейскому образцу: чем-то вроде сочетаний традиций английского семейного романа и французского «адюльтерного»¹⁹. Именно с этой стороны роман и был поначалу воспринят резко отрицательно многими современниками, в их числе такими выдающимися, как Тургенев, Некрасов, Чайковский. Первоначальная реакция Салтыкова вовсе не была чем-то из ряда вон выходящим (за исключением грубой формы). По существу же применительно к взглядам Салтыкова она была гораздо более понятна, чем у многих других. Дебютные главы «Анны Карениной» открыто и как бы демонстративно противостояли салтыковской программе создания нового общественного романа, который был бы построен не на традиционном главенстве любовной линии, а на возвышении социальных вопросов времени. Да и вообще роман из жизни аристократической среды, уже по одной этой причине, должен был встретить настроенное к себе отношение Салтыкова, крупнейшего в литературе критика социальных верхов старой России.

Но не менее, а скорее даже более важную роль возбудителя испытанного Салтыковым раздражения сыграло другое обстоятельство — социальное-политическое. Началось оно в сразу же предпринятых правым лагерем энергичных попытках использовать новый роман Толстого в своих идейно-политических целях, «эскамотировать»* его в свою пользу. Непосредственно негодование Михаила Евграфовича было вызвано, по-видимому, статьей писателя и критика В. Г. Авсеенко в консервативной газете «Русский мир»²⁰. Газета эта систематически выступала против демократической литературы и особенно против Салтыкова. В своем отклике на первые главы «Анны Карениной», появившемся в номере от 5 февраля 1875 года, Авсеенко (тип писателя, по отзыву Достоевского, «потерявшегося на обожании высшего света»)²¹, восторженно приветствовал роман Толстого за его, как он полагал, «антинигилизм», за воспевание в нем «наследственной культуры» (то есть дворянско-помещичьей). «Вступая в действительность, в которой он <Толстой> живет, — писал Авсеенко, — освобождаешься от пошлости и грязи, перестаешь дышать спертым воздухом трактиров, больниц и острогов, где задыхается по большей части новейшая русская беллетристика»²². Это был выпад не только против демократической литературы в целом, но и непосредственно против беллетристики «Отечественных записок» и самого Салтыкова, как ее направителя и редактора.

* От фр. *escamoter* — ловко использовать; слово это не раз употреблялось Салтыковым.

Не в натуре Салтыкова было оставлять без отклика те общественные явления, которые привлекли его внимание и нуждались, с его точки зрения, в критике и протесте. В те дни, когда он прочитал начало «Анны Карениной» и первые же высказывания о них в печати, его писательский труд был полностью парализован болезнью. Но, едва начав, уже в Баден-Бадене, возвращаться к письменному столу, Салтыков сразу же вводит в свои творческие планы полемическое выступление, содержанием которого должны были стать мысли и настроения, возникшие у него при чтении первых глав «Анны Карениной» и откликов на них в печати. Он проектирует включить в «Благонамеренные речи», над которыми возобновил работу, рассказ «Благонамеренная повесть» (1875) и сразу же приступил к делу. Было написано набольшое «Вступление» и две миниатюрных главки собственно «повести» под заглавием «Мои любовные радости и любовные страдания. Из записок солощого быка». Начало «Вступления» посвящено доказательством необходимости «исследовать» среди других форм и явлений «благонамеренности» — то есть идеологии и политического быта консервативного лагеря — также и «благонамеренное искусство». Это — полемическая стрела в адрес Авсеенко и его единомышленников. Основное же содержание «Вступления» составляет разработка известных взглядов Салтыкова на традиционный роман, заостренная против господства в нем «любвонной интриги и других любовных элементов». В «Записках солощого быка» Салтыков переводит развитие этой темы из теоретико-публицистического ключа в гротескно-сатирический (рассказ или исповедь «влюбленного быка»), но обрывает работу в самом начале.

В «Культурных людях» Салтыков возвращается к своему замыслу. Теперь он намерен осуществить его в несколько менее гротескной форме — не «записок» самого «солощого быка», а повести о «влюбленном быке», которую, в подражание «Анне Карениной», пишет некий литератор. Но и этот замысел остается неосуществленным. Следует полагать, что глубокое уважение к Толстому и высокая общая оценка его литературной деятельности (при всех идейных разногласиях) охладили полемический жар Салтыкова. Он отказывается от своих замыслов и больше уже не возвращается к ним²³.

Существует взгляд, согласно которому начатые «Записки солощого быка» и намерение написать «Повесть о влюбленном быке» понимаются как фрагменты будто бы задуманной Салтыковым пародии на «Анну Каренину». Однако согласиться с этим трудно, несмотря на то, что формально данная версия опирается на слова самого Салтыкова («в подражание «Анны Карениной»). И прежде всего потому трудно согласиться, что вряд ли можно вообще всерьез говорить о возникновении замысла пародии на произведение, которое еще не существовало. Ведь весной 1875 года, к которой относятся все

соответствующие высказывания, планы и наброски Салтыкова, до завершения романа Толстого, во всей огромности его художественного и социального содержания, было, как уже сказано, еще очень далеко. Затем, указания Салтыкова на связь одного из возникших в его воображении сатирических сюжетов с впечатлениями, полученными при чтении начальных глав романа и от реакции на них «консервативной партии», присутствуют только в частных письмах Салтыкова. И нет достаточных оснований полагать, что эти первоначальные импульсы были бы объективированы в печати. Также и в написанном начале «Благонамеренной повести» присутствует лишь сатирически заостренная критика гипертрофии любовного элемента в традиционном романе. Но в ней нет никаких признаков пародии на первые главы «Анны Карениной». Вообще нельзя безоговорочно усматривать в сиюминутных «бешеных реакциях и вулканических взрывах» писателя (В. И. Танеев) его подлинные, взвешенные суждения о соответствующих явлениях и лицах. «В Салтыкове, — писал Михайловский, — все непосредственно, все стихийно в своей исходной точке <...>, но только в исходной точке, а в дальнейшем развитии подвергалось строжайшему контролю сознания»²⁴. Большую ошибку допускают те, кто принимает эти «исходные» взрывы за обдуманые и устоявшиеся оценки.

Выдающееся значение Толстого в отечественной литературе Салтыков видел и признавал. Несмотря на все идейные расхождения, «к творчеству Тургенева и гр. Л. Толстого <Салтыков> относился с большим уважением», — свидетельствует в своих воспоминаниях лучший мемуарист писателя Белоголовый²⁵. Он не раз пытался привлечь Толстого к сотрудничеству в своем журнале, находился с ним начиная с середины 1850-х годов в отношениях личного знакомства. Версия о задуманной будто бы пародии Салтыкова на «Анну Каренину» остается неустойчивой. И от нее нужно раз и навсегда отказаться.

Другой замысел, предложенный к разработке в «Культурных людях», относился, как сказано, к Чернышевскому и его судьбе. Это тот сюжет, о котором Салтыков говорил: «Хотелось бы и трагического попробовать». Рассказ со странным названием «Паршивый» должен был быть посвящен образу и судьбе Чернышевского. Она сильно занимала мысль и творческое воображение писателя*. Он видел в авторе «Что делать?» одну из исключительных личностей, «верующих», что для них осуществление исповедуемых ими идеалов не составляет даже вопроса времени. «Они уже осуществились, эти идеалы, они носятся перед глазами, их можно осязать руками, и никакие уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность»

* О содержании задуманного рассказа см. XVIII-2, 234, 238 и 286.

(XIV, 224). Такое могущество веры и восхищает и смущает Салтыкова. С одной стороны, он видит здесь источник высшей духовной энергии, сила которой способна зажечь «все сердца». С другой стороны, такой экстаз веры таит в себе опасность отрыва от действительности и, как результат, трагедию остановки в идейном развитии, трагедию «окаменения» и даже визионерства («Он ясно видит, как горит и пламенует <...> восток, и совсем не замечает, что на самом деле и восток и запад, и север и юг — все кругом охвачено непроглядной тьмою», — там же, 224).

В «Концах и началах» Герцен писал о «святых Дон-Кихотах» социалистической и революционной веры, которые и в самых неблагоприятных условиях сохраняют свою убежденность «в осуществимость гармонического порядка, общего блаженства, в осуществимость истины, *потому что она истина*, это отрешение от всего частного, личного, эта преданность, переживающая все испытания, все удары, — это-то и есть *вершина*... Гора окончена, выше, дальше — холодный воздух, мгла, ничего»²⁶. По существу — это такое же трагическое размышление, что и у Салтыкова.

Образ Дон-Кихота русской революции не был создан Салтыковым. «Где тот художник, — спрашивал он, — которому были бы под силу такие глубины?» (XIV, 224). Но, как сказано, он много думал о таком образе-«вершине» и таких картинах, которыми можно было бы передать и высоту подвига, и глубину трагедии людей авангарда освободительного движения, вышедших на борьбу с царящим злом задолго до утренней зари, знающих, что они обречены на гибель, и сохранивших до конца, несмотря на все, верность избранному пути.

Что касается странного для замысла такого рассказа названия «Паршивый», то оно остается не вполне ясным. По-видимому, однако, Салтыков хотел передать этим словом отношение к Чернышевскому власть имущих, а также людей консервативно-реакционного лагеря и «улицы» — обывателей. В их глазах «государственный преступник» революционер Чернышевский принадлежал к «отщепенцам», к людям, от которых нужно было быть подальше, как от больших «*паршой*». Слова же из цитированного письма Салтыкова о «передовиках», отвернувшихся от «паршивого», могли относиться только к лидерам либерального лагеря, например к К. Д. Кавелину. Для «передовиков» же, представителей революционного лагеря, Чернышевский был и оставался неколебимым примером высшего служения делу освободительной борьбы, человеком полного самоотвержения.

Для самого же Салтыкова Чернышевский был дорог, помимо всего, и тем, что приветствовал и высоко оценил его первое крупное произведение «Губернские очерки».

Излагая замысел рассказа о Чернышевском, Салтыков, в частности, писал Анненкову: «Вопрос: проклял ли жизнь

этот человек, или <...> в нем старая работа, еще давно, давно, до ссылки начатая, продолжается. Я склоняюсь к последнему мнению <...>. Нет ничего кроме той прежней работы — и только. С нею он может жить, каждый день он эту работу думает, каждый день ее пишет, и каждый день становой пристав, по приказанию начальства, отнимает эту работу. Но он и этим не считает себя вправе обижаться: он знает, что так должно быть» (XVIII-2, 233)*.

Замысел рассказа о непримиримом революционере долго не оставлял Салтыкова. Через десять лет он попытался осуществить его в одной из своих «сказок», о которой сообщал Л. Ф. Пантелееву как о «почти готовой». «В одной сказке, — говорил Салтыков, — я вывожу личность, которая живет в большом городе, принимает сознательное и деятельное участие в ходе общественной жизни, сама на него влияет и вдруг, по мановению волшебства, оказывается среди сибирских пустынь. Первое время она живет продолжением тех интересов, которые только что вчера ее волновали, чувствует себя как бы в среде борющихся страстей; но постепенно образы начинают отодвигаться вдаль; какой-то туман спускается, вот едва выступают очертания прошлого, наконец все исчезает, воцаряется мертвое молчание. Лишь изредка в непроглядную ночь слышится звон колокольчика проезжей тройки, и до него долетают слова: «Ты все еще не исправился?»²⁷.

Судьба «почти готовой» «сказки» этой, имеющей в виду Чернышевского и других русских революционеров на каторге и в ссылке, неизвестна. Скорее всего, и этот замысел не был завершен Салтыковым, и не только по причинам цензурных трудностей, но и нежелания популяризировать скептический взгляд на трагическую жертвенность непримиримых революционеров в их борьбе. Ведь отказал же Салтыков Гаршину в опубликовании на страницах «Отечественных записок» его прекрасного рассказа «Attalea princeps» из-за его скептического, печального конца.

Последними произведениями, созданными в Ницце, были две публицистические статьи — «Отрезанный ломоть» («Недоцененные беседы») и «В погоню за идеалами» («Благонамеренные речи»). И в той и в другой впервые отразились непосредственные впечатления Салтыкова от политической жизни Франции времени пребывания в ней писателя.

Статья «Отрезанный ломоть» была написана в ответ на просьбу Некрасова отозваться в «Отечественных записках» на

* Ср. с этим рассказом слова из несколько более поздней «Хроники», которую вел в «Общем деле» Белоголовый (анонимно): «Чернышевский, говорят, не перестает писать и теперь, в своей ледяной виллоуской тюрьме, но уничтожает все им написанное» (Общее дело, № 53). Источником сведений о Чернышевском был для Салтыкова Пыпин, двоюродный брат автора «Что делать?». Несомненно, что Салтыков делился этими сведениями со своим другом Белоголовым во время их заграничных свиданий.

только что закончившийся в Петербургском окружном суде громкий уголовный процесс по делу некоего Кронеберга. Он обвинялся в истязании своей дочери-подростка. Защищал Кронеберга Спасович, светило молодой русской адвокатуры и один из лидеров российского либерализма. В ходе процесса Спасович не раз патетически заявлял о своем отрицательном отношении к «педагогике плюхи и розги», практиковавшейся Кронебергом. Но эти декларации не помешали ему, опираясь формально на статьи закона, употребить все свои юридические знания и ораторское искусство для оправдания подзащитного. С точки зрения Салтыкова, его социального эссеизма и прямодушия такая позиция свидетельствовала о «нравственном и умственном двоегласии» Спасовича (XV-2, 220). Эту оценку Салтыков перенес и на весь институт адвокатуры. «Не вопросы жизни стоят для них на первом плане, — формулирует он главный тезис своей критики по адресу адвокатов, — а вопросы, истекающие из свода законов...» (XV-2, 227). И Салтыков «отлучает» адвокатуру от поддерживавшей ее на первых порах (после судебной реформы 1864 г.) демократической публицистики и литературы. Отсюда название статьи — «Отрезанный ломоть». «Литература, — мотивирует писатель свое «отлучение», — служит обществу, адвокатура — клиенту; честность литературы состоит в разработке идеалов и перспектив будущего, честность адвокатуры — в строгом согласии с действительностью и подчинении идеалам <...> вверенным охране положительного закона» (там же, 228).

Практику компромисса и морального двоегласия новорожденных в России адвокатов Салтыков сближает с политикой руководителей французской Третьей республики. «Во Франции, — пишет Салтыков, — проводителями учения о компромиссах являются Гамбетта и Луи Блан, у нас — г. Спасович» (там же, 222). Судебная реформа в России была наиболее далеко идущей среди других реформ 1860-х годов. Но это была буржуазная реформа. Исторически относительно прогрессивная, она не могла удовлетворить социалистическую идейность Салтыкова, с позиций которой он и критиковал институты молодой русской адвокатуры и особенно саму адвокатскую практику, часто оказывавшуюся вовлеченной в орбиту пореформенного буржуазного хищничества.

Статья Салтыкова вызвала возражения в редакции «Отечественных записок»²⁸. Узнав о них, Салтыков писал Некрасову: «Все труждаются жидущие. Сейчас получил Ваше письмо насчет «Отрезанного ломтя» и могу сказать только одно: лучше не печатать совсем, чем в марте подавать разогретую телятину. Я прихожу к убеждению, что мне совсем нужно *обождасть* писать. Тогда будет *совсем* без затруднений. Я никак не воображал, что обругание Гамбетты может встретить цензурные препятствия <...> Мне нравится рассуждение о том, что адвокаты еще не совсем безнадежны — пусть будет так.

Тоже и о Гамбетте <...>. Я писал, помня предания «Современника» <...>» (XVIII-2, 265).

Мотивируя свое несогласие с отрицательным отношением Салтыкова к тогдашней Французской республике, точнее говоря, к политическому направлению ее руководителей, Елисеев, один из редакторов публицистического отдела, писал автору «Отрезанного ломтя»: «Вы смешиваете два понятия совершенно разного рода: компромисс и стадии народного развития. По всей вероятности, у нас в России Вы сейчас не согласились бы на учреждение не только коммунального устройства*, а просто парламентаризма, по той простой причине, что вот недавно еще какое-то земство составило, для представления правительству, постановление о введении пыток»²⁹.

Что Салтыков видел в русской жизни (но не только в ней) огромность исторической дистанции, отделяющей практическую возможность осуществления высших социальных идеалов от реальной действительности — демократической, гражданственной неразвитости масс и общества, их пассивности, — это несомненно. Никто не писал об этом больше, чем Салтыков. Но он совсем не путал названные Елисеевым два понятия. Его глубокая и острая критика политического быта Третьей французской республики (развернутая вскоре в «За рубежом») вскрывала и клеймила буржуазную суть политики компромиссов, оппортунизма в этой «республике без республиканцев» — политики антидемократической, направленной против интересов трудящихся масс.

Все же «Отрезанный ломоть» появился в «Отечественных записках», хотя и с месячным опозданием. Обругание Гамбетты было удалено, но резкость критики его оппортунистической политики осталась без смягчений. «Предания» «Современника» были сохранены.

За три дня до отъезда из Ниццы в Париж Салтыков послал Некрасову статью «В погоню за идеалами». «Не знаю, — писал он в сопроводительном письме, — напечатаете ли Вы ее: во-первых, она не вполне цензурна по сюжету и, во-вторых, довольно скучна <...>, но я написал ее, потому что так было нужно по ходу моих идей» (XVIII-2, 281). Это был ход размышлений Салтыкова о «принципе государственного союза» как об одном из главных основ существующего «порядка вещей». «Вопрос о государстве, — указывал Ленин, — есть один из самых сложных, трудных и едва ли не более всего запутанных буржуазными учеными, писателями и философами»³⁰.

Салтыков не раз касался этой проблемы и раньше, а впоследствии посвятил ей целую книгу «Круглый год». Но определить с полной ясностью, как решался писателем вопрос о государстве, особенно трудный для изложения в подцензурной печати, нелегко. Размышления его на эту тему несколько про-

* То есть социализма. — С. М.

тиворечивы. Круг их не замкнут. Философско-историческое осмысление Салтыковым «государства» (также «семьи» и «собственности») как «призраков», не означало абсолютного отрицания этих институтов ни в теоретическом, ни в практическом плане. Отрицалось их реальное содержание в тогдашней действительности. «Из того, что государство — форма *преходящая*, не следует, что это форма уже *прешедшая*», — мог бы сказать Салтыков словами Герцена³¹.

Салтыков был далек от анархического мировоззрения. В. И. Танеев называл его «государственником». Он и для идеального будущего признавал государство в качестве необходимого «общего строя» (XI, 433), то есть как форму организации всего общества в целом, как форму гармонической согласованности всего «порядка вещей». Неясность понятия о государстве и отсутствие «живого чувства государственности» были в его глазах глубоко отрицательными показателями гражданственной незрелости масс и общества. Но теоретические определения, которые давал Салтыков понятию «государство», опирались на представления, усвоенные из рационалистической и социально-этической идеологии просветителей и утопических социалистов. В статье «В погону за идеалами» Салтыков пишет, что государство осуществляет «высшую правду» (там же). Гегельянский идеалистический характер такой формулировки очевиден. Необходимо, однако, помнить, что она относится к определению Салтыковым *идеала государства*, то есть трактует не о том, что представляли собою современные писателю государственные институты и формы («преходящие»), а о том, чем они, в его представлении, должны быть. Когда же Салтыков обращается к оценкам и анализу конкретных явлений в жизни современных ему государств, он поднимается до удивительно ясного понимания существа дела, всегда подходя к определению социального содержания рассматриваемых фактов. Такова в статье, о которой идет речь, характеристика государственности объединенной в 1871 году на прусско-милитаристской основе монархической Германии и французской Третьей республики, в которой «государство, и все, что до него относится, находится (...) на откупу у буржуазии» (там же, 449).

В Ницце наконец определилась судьба ранее написанного очерка Салтыкова «Тяжелый год». В первоначальной редакции этот очерк, входивший главой IX в «Благонамеренные речи», был помещен в майской книжке «Отечественных записок» за 1874 год, которая была не только запрещена цензурой, но и сожжена. В начале 1876 года Салтыков получил от Суворина, тогда еще ходившего в либералах, предложение о сотрудничестве в только что перешедшем к нему «Новом времени». Предложение было принято, и Салтыков послал в редакцию газеты свой очерк, несколько пересмотренный в сторону цензурных смягчений. Этим его сотрудничество

в суворинском издании и ограничилось. Вскоре буржуазная беспринципность и лакейство перед властью имущими «Нового времени» будут заклеены Салтыковым в одном из его бесмертных сатирических образов: газеты «Чего изволите?».

«Тяжелый год» — одно из главных выступлений Салтыкова на тему о патриотизме, истинном и мнимом. В основу очерка легли воспоминания писателя о «великой ополченской драме» в «скорбные годы» Крымской войны. Находясь на подневольной службе в Вятке, Салтыков наблюдал здесь формирование ополчения. Оно сопровождалось «неслыханной оргией» казнокрадства, мошенничества и взяточничества, маскируемые патриотической риторикой о любви к «отечеству-святыне».

Важным источником для воссоздания картины общественно-политических и литературных интересов писателя в период его жизни в Ницце является его переписка того времени. Получение писем от соотечественников было, по признанию Салтыкова, его «единственным утешением» (XVIII-2, 248). Сам он писал на родину много и распространенно, находя в этих эпистолярных беседах выход из одиночества и ностальгии. К сожалению, переписка дошла до нас неполно и односторонне. Особенно огорчительна утрата (непонятная!) писем Салтыкова к Тургеневу, с которым он находился в это время в особо деятельном эпистолярном общении. С другой стороны, до нас дошли обращенные к Салтыкову письма Некрасова и Анненкова, а также ряд других. Все же и сохранившиеся фрагменты переписки Салтыкова драгоценны.

В письмах к Некрасову преобладают редакционные дела «Отечественных записок». Вместе с тем эти письма — исчерпывающая хроника писательской работы и творческих планов Салтыкова. В письмах же к Тургеневу (судя по ответам) и к Анненкову Салтыков выступает со своими суждениями по ряду главнейших явлений в тогдашней литературной и политической жизни, отечественной и зарубежной. По содержанию и остроте анализа и оценок эпистолярные высказывания писателя не уступают его литературно-критическим и публицистическим статьям, а по непосредственной живости восприятия и ничем не стесняемой прямоте суждений даже превосходят выступления, предназначенные для печати.

Ум и глубину суждений в письмах Салтыкова отмечали все его выдающиеся корреспонденты, в их числе Тургенев. Одно из его писем 1875 года в Ниццу начинается такими словами: «Петр Великий, говорят, когда встречал умного человека, целовал его в голову; я хоть и не Петр и не Великий — а, прочитав Ваше письмо от 30-го ноября, охотно бы облобызал Вас, любезнейший Михаил Евграфович...»³² В данном случае Тургенев хвалил Салтыкова за его резкие суждения, относившиеся к натуралистическому характеру и излишествам «психологизма» в произведениях Э. Гонкура и Золя. О том же, ве-

роятно, в близких выражениях Салтыков гневно и раблезиански-грубо писал Анненкову: «Прочитал я на днях «Manette Salomon» Гонкуров, и словно глаза у меня открылись. Возненавидел и Золя и Гонкуров — всех этих <— —>, которые ни до чего <— —> не могут. Извините, что я так выражаюсь. Диккенс, Рабле и проч. нас прямо ставят лицом к лицу с живыми образами, а эти жалкие <— — —> нас психологией потчуют <...>. Психология — вещь произвольная; тут как ни нанизывай — или не донижешь, или перенижешь. И выйдет рыло косое, подрезанное, не человек, а компрачикос» (XVIII-2, 233—234). Из этих раздраженных реплик выросла в главе IV «За рубежом» знаменитая салтыковская критика французского натурализма (не столько, однако, его художественной практики, сколько программных установок) как одного из проявлений идеологии буржуазного мира, достигшего своей зрелости и не заинтересованного больше в «расширении горизонтов».

Уже в другое время, после смерти Тургенева, к Салтыкову обратился живший в Париже известный переводчик русской литературы на французский И. Д. Гальперин-Каминский. Задумав предать гласности цитированные отзывы Тургенева и Салтыкова о Золя и Э. Гонкуре, он, по-видимому, просил адресата о каких-то разъяснениях, которые бы смягчили резкость этих отзывов. На это Салтыков отвечал письмом, которое необходимо привести полностью, поскольку оно появилось в зарубежном библиофильском издании (с рядом ошибок в прочтении текста) и не вошло в советское Собр. соч. и писем Салтыкова. Вот текст этого письма:

2/14 ноября СПб. <1887 г.>
Литейная, 62

Милостивый Государь

На письмо Ваше от 4 ноября*, имею честь уведомить, что я обстоятельного ответа по поводу предложенных мне вопросов дать не могу. Во-первых, я сильно болен вот уже третий год и почти не в состоянии вести корреспонденцию. Во-вторых, я решительно не могу изменить то, что уже однажды напечатано.

В отзыве Тургенева о современных французских реалистах я не вижу ничего для них оскорбительного, а равным образом не вижу и измены дружеским отношениям. Можно сохранять последние и в то же время не идолопоклонствовать перед друзьями. Тургенев выразился несколько резко, сказав, что Золя и Гонкур *воняют* литературой, — но и только. Мнение это было ответом на мое письмо, где я выражался, что писатели эти вовсе не реалисты, как, например, Гоголь, Диккенс и проч., а психологи, принявшие новшества <натурализма> за

* Письмо это неизвестно. — С. М.

реализм. Что же касается Достоевского, то мнение Тургенева было высказано по поводу критической статьи об этом писателе, напечатанной в «Отечественных записках»*. Полностью оценка эта тоже не лишена оснований.

Вот все, что я могу Вам сказать, присовокупляя при этом, что в характере Тургенева я никогда не приметил ни одной черты лицемерия.

Что касается до предложения Вашего перевести «Семью Головлевых», то я очень буду рад, ежели Вы это сделаете, хотя, мне кажется, эта книга уже переведена на французский язык**. Из прочих моих изданий могу рекомендовать «Сборник» и «Мелочи жизни», в которых Вы найдете отдельные повести, как, например: «Больное место», «Портной Гришка», «Христова невеста» и проч. Еще есть книга: «23 сказки», из которых некоторые прочтутся и французами.

Примите уверение в совершенном почтении.

*М. Салтыков*³⁴.

Возвращаясь к письмам Салтыкова к Тургеневу, Анненкову (также к Е. Якушкину), надо отметить, что в них содержалась не только критика французского натурализма, но и ядовитый анализ политического строя и быта французской Третьей республики как «республики без республиканцев», который будет «классически» (по оценке Ленина) развернут на страницах «За рубежом».

Находясь в Ницце в самый разгар парламентских выборов во Франции, Салтыков превосходно разобрался во всех, столь далеких от русского человека, хитросплетениях этой политической кампании. С удивительной ясностью он видел начавшееся, особенно после событий Парижской коммуны, историческое нисхождение буржуазного класса и писал: «Политические интересы везде очень низменны (<...>). Везде реакционное поветрие. Во Франции Гамбетта играет громадную роль — этого одного достаточно для оценки положения. У Гамбетты одна только мысль: чтоб Франция называлась республикой, а что из этого выйдет — едва ли он сам хорошо понимает. Он буржуа по всем своим принципам (<...> Противно читать здешние газеты (я получаю «République» française) и «Rapport»), все они наполнены криком: тише! не вдруг! Даже Луи Блан заразился этим. Республика без идеалов, без страст-

* Ошибка памяти Салтыкова. В письме Тургенева от 25 ноября/7 декабря 1875 г. с отзывом о романах Золя и Э. Гонкура упоминание о Достоевском относится не к статье о нем, а к его роману «Подросток», печатавшемуся тогда в «Отечественных записках». Тургенев отрицательно отнесся к нему («Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое ковыряние»³³).

** Салтыков ошибся: первый перевод «Господ Головлевых» на французский язык вышел в 1889 г. — С. М.

ной мысли — на кой черт, спрашивается, она нужна. Мы и в России умеем кричать, тише, не вдруг!» (XVIII-2, 274).

Анненков, отзываясь на почти тождественную характеристику Гамбетты и политического положения Франции, полученную им от Салтыкова, писал Тургеневу: «Ну, да ведь сам он <Салтыков> — породистая цепная собака, которая кроме тех, кто живет с нею на одном дворе, ненавидит и знать не хочет всех остальных людей!..»³⁵ Солидаризировался с Анненковым и Тургенев в своих полемических, в защиту Гамбетты и его политики, репликах в письмах к Салтыкову. Этим определялась линия разграничения, существовавшая при всей дружественности личных отношений, между идеологическими позициями демократизма и либерализма.

Однако еще больше, чем события на Западе, волновали сердце писателя известия из России, которые он извлекал из писем и чтения отечественных газет (он получал в Ницце «Голос», «Московские ведомости» и «Биржевые ведомости»). Эта информация убеждала его в продолжающейся общей реакционности пореформенного правительственного курса, при всех его колебаниях и противоречиях. «Вы очень хорошо уразумели современное положение России, — писал он Анненкову, — именно это *недоумение*, но с некоторой примесью озорства. Озорство — последнее слово этих господ, которые видят, что земля уходит из-под их ног. Не будучи в силах поворотить дело по-своему, они пакостят, и в этом заключается вся государственная деятельность нашего времени. Валуева, например, нельзя считать вполне жертвой недоумения; нет, это пакостник, и притом очень злостный. И как горько думать, что судьба многих миллионов людей в руках этих паскудных людей...» (XVIII-2, 225).

В этом отзыве отразилось обобщенное восприятие Салтыковым политической действительности России середины 1870-х годов, когда в ней уже начинал вызревать новый кризис «верхов», кризис самодержавия. Историческая обусловленность грядущего кризиса определялась тем, что в стране шел процесс интенсивного капиталистического развития, а ее государственный аппарат по своей сущности оставался крепостническим, отстаивавшим в большинстве вопросов политику, направленную против назревших преобразований³⁶. Важную роль в этом аппарате и в проведении многих правительственных мероприятий данного времени продолжал играть министр государственных имуществ П. А. Валуев, о котором, однако, нельзя сказать, что он принадлежал к худшим представителям государственного аппарата самодержавия. Другими главными фигурами высшей правительственной администрации того времени, в чьих руках находилось руководство внутренней жизнью страны, были министры: внутренних дел А. Е. Тимашев, юстиции гр. К. И. Пален, народного просвещения гр. Д. А. Толстой и шеф жандармов Н. В. Мезенцов.

Их-то и аттестует Салтыков «пакостными людьми», «злостными озорниками» русской государственной жизни.

Сурово-критичны и отзывы Салтыкова о некоторых крупных фигурах либерально-славянофильского крыла тогдашнего русского общества, например о Ю. Ф. Самарине и князе В. А. Черкасском. «Вот и Самарин умер, — писал Салтыков Анненкову. — В России — плач, словно совершилось народное бедствие. А в сущности, право, только одним ограниченным человеком меньше. Чего желал этот человек — от того бы нам, конечно, не поздоровилось. Для меня всегда казалось загадочным, как это человек пишет антиправительственные брошюры, печатает их, и его оставляют фрондировать на покое. Не оттого ли это, что он на той же почве стоял, как и само правительство, и даже, пожалуй, похуже?» И затем о Черкасском: «Представьте себе кн(язя) Черкасского министром вн(утренних) дел — какого бы он нам перцу задал! — а умри он теперь, в печати поднялся бы вой!» (XVIII-2, 282—283). Эти отзывы показывают, насколько Салтыков был далек от либеральных оболъщений характером политической оппозиции обоих лидеров славянофильства.

Говоря о письмах Салтыкова из Ниццы, нельзя не сказать еще об особенной группе их, рассчитанных, по словам автора, «на увеселение потомства». На первое место здесь следует поставить так называемую «Переписку Николая Павловича с Поль де Коком», созданную фантазией Салтыкова в письмах к Тургеневу, Унковскому, Еракову, может быть, еще к кому-нибудь. Она состояла из серии «рескриптов» российского императора, обращенных к популярному французскому беллетристу, пользовавшемуся у современников, хотя и необоснованно, репутацией «легкого» и даже «неприличного» писателя. Замечательно, что эти брызжущие веселым, светлым юмором перлы салтыковской *vis comica** писались им обычно в дни обострения болезни. Похоже, что такие сатирико-юмористические импровизации, свободные и от серьезной идейной нагрузки, и от оглядки на табу внешней и внутренней цензуры, помогли Салтыкову в противоборстве с посещавшими его мрачными настроениями. Получив первые «рескрипты», Тургенев писал Салтыкову: «Меня привел в восторг Ваш набросок юмористического рассказа о переписке Николая с Поль де Коком: это Вы непременно должны написать — ибо это будет перл первой величины»³⁷. Неизвестно, сколько всего «рескриптов» было написано. В автографе до нас дошел лишь один фрагмент «Переписки...» в письме к Еракову (XVIII-2, 238—241) и еще один в передаче Пантелеева со слов Салтыкова³⁸. Аналогичные «Переписке...» грубовато-раблезианские, но блестящие всеми красками щедринского свирепого юмора сатирические миниатюры на разные темы встречаются и

* силы комизма (лат.).

в других письмах писателя. Одно из них, например, представляет беспощадную «эпитафию» на могилу второстепенного писателя и литературного критика Авдеева: «*Авдеев, Михаил Васильев*. Духом вольноотпущенный. Будучи крепостным, пел на манер Рубини, играл на скрипке на манер Контского и готовил котлетки на манер пожарских. Впоследствии приобрел привычку собак у каждого столбика <— — —>, <— — —> Лермонтова, <— — —> Тургенева, задумал <— — —> Льва Толстого, но смерть застала его в этом намерении. Мир праху твоему, добрый человек!» К этому следовал авторский постскриптум, или резюме: «Я думаю, что это и справедливо и прилично. Скабичевский на эту тему написал бы три статьи по 4 листа каждая, и все-таки нельзя было бы понять, кто кого <— — —>. А я люблю писать кратко, справедливо, ясно и прилично. Оттого и нравлюсь... иногда» (XVIII-2, 261). Сюжетами других миниатюр были юмористические «характеристики» Краевского, Стасюлевича и Пыпина, вымышленная «история» о том, как Ераков лишил целомудрия дочь хозяйки пансиона, в котором жил Салтыков, и др.

Сохранились, также написанные в этом роде, две «детские сказки», как называл их писатель: «Архиерейский насморк» и «Солдатская ревизия»³⁹. По словам А. М. Унковского, относящимся непосредственно к позднейшим миниатюрам такого рода, это были «самые похабные фантастические рассказы на реальной подкладке, имевшие значение самой злой и забавной сатиры». «Они любопытны именно тем, — замечает Унковский, — что написаны Салтыковым в то время, когда он не мог делать ни одного движения вследствие страшных болей...»⁴⁰

4. НА ПУТИ ДОМОЙ. — ВНОВЬ ПАРИЖ И БАДЕН-БАДЕН

В марте 1876 года у Салтыкова сменился его лечащий врач. Вместо Реберга им стал «богобоязненный доктор» Чернышев, лечивший, по словам писателя, «не лекарствами, а божьею помощью да кислородом» (XVIII-2, 279). Сообщая об этом Белоголовому, Салтыков, сам далекий от религии, иронизировал: «Это меня веселит и переносит в Россию, где я видал-таки на своем веку членов врачебных управ, верующих в бога и в милотный пластырь, который, как известно, тоже с божьею помощью выдуман» (там же, 277). Чернышев сказал Салтыкову, что он «настолько болен, что так больным и останется на всю жизнь» (там же, 279). На дальнейшем пребывании его в Ницце и вообще за границей он не настаивал.

К последнему месяцу ниццкого пребывания Салтыкова относится письмо о нем В. Панаева от 15 марта 1876 года. Он специально посетил писателя по просьбе Некрасова и так изложил ему свои впечатления:

«Любезный друг Николай Алексеевич. Я обещал тебе написать тотчас, как приеду в Ниццу. Только третьего дня вечером я приехал сюда и вчера был у Салтыкова. Хотя я мельком и видал его у тебя, но никогда даже не разговаривал с ним. Сразу человек этот мне понравился; очевидно, это человек прямой. Хотя он нездоров, это видно, но вид его произвел на меня весьма утешительное впечатление. Глаза его свежие, удушье не заметно, цвет лица обыкновенный. Худобы не заметно. Одно, что показывает болезненность, — это звук голоса, сгорбленность, походка ненормальная и темп речи не совсем еще здорового человека. Словом сказать, на мой первый взгляд, это человек начинающий подыматься, а не спускаться вниз <...>

<P. S.> Сию минуту видел доктора Чернышева, который пользуется теперь Салтыкова. Он сказал мне, что у него действительно есть порок сердца, что с этим пороком можно прожить и двадцать лет. Вместе с тем нельзя ручаться ни за один день, но что теперь его положение не представляет ничего исключительно плохого»¹.

В конце марта 1876 года Салтыков стал готовиться к отъ-

езду из вконец опостылевшего ему «земного рая» на берегу Средиземного моря. «Нища мне так надоела, что я готов бы был без шапки отсюда бежать» (XVIII-2, 276). «Все мои мечты теперь уже обращены к России, хоть и там не бог знает что ждет» (там же, 278). Вот его настроение этих дней. Однако маршрут своего возвращения в Россию он избрал не прямой, а через Париж. Возможно, он надеялся, что там он вновь испытает пережитый им осенью прошлого года подъем физических и нравственных сил — парижскую «эйфорию». Достоверно же известно, что он хотел встретиться в Париже с Тургеневым, чтобы вместе с ним ехать в Петербург. Но это последнее намерение не осуществилось. Салтыков и его семья выехали из Ниццы 5/17 апреля. На другой день они были в Париже. Остановились в том же «Hôtel Mecklembourg», что и в прошлом году.

Салтыков намеревался провести в Париже не более трех недель, пробыл же пять. Все это время прошло в дружеском общении с Тургеневым и в интенсивной писательской работе. «Тургенев заходит ко мне почти каждый день», — сообщает Салтыков Некрасову (там же, 287). Они часто вместе обедают, преимущественно в любимом Тургеневым «Café Riche» на Итальянском бульваре. И не только вдвоем. Выступая гостеприимным «хозяином», «угощая» Салтыкова Парижем, Тургенев устраивал для него обеды и разного рода прогулки — с приглашениями на них находящихся в Париже их общих знакомых соотечественников — бывшего члена Редакционных комиссий по выработке крестьянской реформы И. А. Арапетова, Н. В. Ханыкова, художника П. В. Жуковского (сына поэта). Последний вместе с Тургеневым сопровождал Салтыкова в роли экскурсовода на выставку картин «Весеннего салона 1876 года». («Тургенев с Жуковским водили и обращали внимание на хорошие вещи. А есть именно хорошие. Одна есть женщина из народа, собирающая камни на берегу моря, — забыть нельзя» — XVIII-2, 287.) И, продолжая свою роль посредника между русской и французской литературами, Тургенев знакомит Салтыкова с некоторыми из крупнейших тогда писателей Франции — с Флобером, Золя, Эдмоном Гонкурром и, по-видимому, с кем-то еще, из *dii minoris** парижских литераторов. Большого впечатления на Салтыкова эти знакомства не произвели. Скорее наоборот. «Вчера я был утром у Флобера, — писал он Некрасову, — с которым еще прежде познакомился: вместе обедали в одном ресторане. Познакомился с Золя и Гонкурром. Золя порядочный — только уж очень беден и забит. Прочие хлыщи» (там же, 288). Заключение крепкое словцо относилось, надо полагать, более к внешней «буржуазности» парижских литераторов — к их туалетам и развязной, в глазах русского человека, манере дер-

* второстепенных (фр.).

жать себя. Но, вероятно, тут сказалось и принципиально враждебное отношение Салтыкова к тогдашнему французскому натурализму, особенно в его программных требованиях бесстрастного, объективно-безоценочного воспроизведения социальной действительности и преувеличенного внимания к быту, а также к любовным элементам («клубничке»), чего Салтыков не терпел.

Эту позицию писателя подтверждает сохранившаяся запись одного из его парижских разговоров с Тургеневым в апреле 1876 года. Запись интересна также тем, что сделана Германом Лопатиным и таким образом является документом, удостоверяющим личное знакомство Салтыкова с замечательным революционером, идейным учеником Чернышевского, другом Карла Маркса, членом Генерального совета I Интернационала, организатором побега из вологодской ссылки за границу в эмиграцию П. Л. Лаврова. Вот эта запись:

«Прихожу я однажды утром к Ивану Сергеевичу и застаю у него Салтыкова-Щедрина. Михаил Евграфович сердито хрипел:

— Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали?

— Они дали форму, — отвечал Тургенев.

— Форму, форму... а дальше что? — допытывался Щедрин. — Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окружающую? Нет, нет и нет...

Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина:

— Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться?

— Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, — возразил Щедрин, — вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет.

Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способность краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь...»²

Критическая позиция Салтыкова по отношению к Золя и Флоберу осталась, по-видимому, тогда им неизвестной. Во всяком случае она не сказалась на их уважительном отношении и интересе к русскому писателю. Об этом свидетельствуют слова из письма Тургенева к Салтыкову, написанного уже по возвращении последнего в Петербург: «Вы напрасно не прислали «Б<лагонамеренных> р<ечей>» Золя — его бы это очень польстило — он всякий раз, как я его вижу, осведомляется о Вас, так же как и Флобер»³.

Надежды Салтыкова на то, что его жизненный тонус в какой-то мере повысится в Париже, после угнетавшей его Ниццы, первоначально оправдались, как в физическом, так и в творческом отношении. Об этом свидетельствует его боль-

шое письмо к Некрасову, написанное сразу же по приезде в Париж, то есть 6/18 апреля 1876 года. В нем два слоя информации. В одном сообщается о некоторых отрицательных моментах: «Сегодня приехал в Париж; погода поганая, холодная, в квартире порядочно сыро <...>. Ехал из Ниццы 24 часа сряду, нигде не останавливаясь — хорошо, кабы это мне прошло. Теперь — ужасно хочется спать, потому что не спал целую ночь» (XVIII-2, 284—285). И вместе с тем — тут же исполненный бодрости и энергии отчет о первых же часах в Париже: «...как приехал, первым делом на почту отправился и получил разом 4 № «Голоса» и столько же №№ «Биржевых ведомостей». И самое главное: «За минуту до моего отъезда из Ниццы <...> получил Ваше письмо <...> Хотя коротенькое, но все-таки большое Вам спасибо, что вспомнили <...> Поощренный Вашим отзывом об «Семейных итогах», я сегодня начал писать конец Иудушки. Не знаю, что еще выйдет, но ежели выйдет, то к 10—12 мая ст. ст. получите» (там же, 284). Нужно было сильно стосковаться по писательскому перу и испытать подъем творческих сил, чтобы в первый же день, даже в первые часы приезда в Париж, взяться за новый «головлевский рассказ». Напомним, что каждый из них представлялся Салтыкову в начале работы последним. Так было и сейчас. Написанный в Париже рассказ, вошедший в «Благонамеренные речи» под названием «Перед выморочностью», а в романе «Господа Головлевы» озаглавленный «Племяннушка», не стал «концом Иудушки», как это предполагал автор. Продолжить повествование об Иудушке поощрили Салтыкова многочисленные положительные отзывы о рассказе «Перед выморочностью».

«Прочли Вы «Благонамеренные речи» Щедрина в мартовской книжке «Отечественных» записок? — писал 8/20 апреля 1876 года Тургенев Ю. П. Вревской. — Удивительная вещь! Он теперь приехал сюда из Ниццы; здоровье его плохо — однако все же лучше прошлогоднего»⁴. А вот слова из письма П. М. Третьякова от 9/21 апреля 1876 года к И. Н. Крамскому, находившемуся тогда в Париже: «Прочтите в мартовской книге «Отечественных записок» Щедрина продолжение «Благонамеренных речей» о «Иудушке». Огромный талант! До настоящего времени я его считал только прекрасным сатириком и, даже замечая повторения одного и того же, некоторое время не все читал даже, теперь же после таких типов, как Иудушка и маменька, да и вообще — мастерского рассказа, я его ужасно высоко ставлю и вперед не пропущу ни одной статьи его. Еще более сожалею, что нет его хорошего портрета»⁵.

Салтыков отнюдь не был равнодушен к суждениям о своем писательском труде людей, которых он уважал, мнением которых дорожил. Но он был решительным противником возведения современников на прижизненные пьедесталы славы и совершенно нетерпим к такого рода попыткам в от-

ношении самого себя. В Париже он увидел в одном из полученных номеров «Биржевых ведомостей» статью Скабичевского, подписанную псевдонимом «Заурядный читатель», в которой тот назвал автора «Истории одного города» «одним из народных и вместе с тем общечеловеческих сатириков, вроде Рабле, Мольера, Свифта, Грибоедова и Гоголя», то есть высказал мысль, ныне общепризнанную⁶. Прочтя это, Салтыков пришел в крайнее раздражение и разразился в письме к Некрасову по-щедрински гневной и резкой тирадой, обозвав написанный в его честь «панегирик» «бесстыдной глупостью» и приравняв его действие на себя к «удару обухом по голове» (XVIII-2, 284). Хвалить Салтыкова было опаснее, чем бранить.

Напряженная работа над «Выморочным» и плохая погода скоро вновь ухудшили здоровье и самочувствие Салтыкова. Свою роль здесь сыграла, возможно, и болезненная мнительность писателя. У Тургенева он случайно встретился с одним доктором-немцем (Ритерсгаузером) и рассказал ему о своих недомоганиях. Тот полюбозытствовал «оскультивировать» Салтыкова и нашел в нем «четыре смертельных болезни: болезнь правой почки, болезнь левой стороны печени, страдание сердца и общую анемию тела». Салтыков заторопился в Россию: «Надо спешить умирать домой». Подведенные перед отъездом итоги второго посещения Парижа разительно противостояли надеждам и настроениям первых дней: «Право, у меня расположение духа какое-то совсем трагическое»; «Очень уж здесь беспокойно»; «Париж меня достаточно-таки изнурил» (там же, 289, 288, 286, 288, 289) и т. д. и т. п.

Вечером 5/17 мая Салтыков и его семья выехали из Парижа, направляясь по пути в Россию в Баден-Баден. День их отъезда совпал с важным событием в политической жизни Франции. В этот день палата депутатов должна была завершить дебаты и вынести решение по проекту закона (он был отклонен) об амнистии коммунарам, осужденным военным судом Тьера на бессрочные и долголетние каторги и тюрьмы в Каледонии. Главным оратором в прениях был Клемансо, формально республиканский лидер «крайней левой», а по сути недруг демократии и социализма. О его речи и ходе прений Салтыков рассказал впоследствии в четвертой главе «За рубежом». Рассказ изложен в форме личных воспоминаний автора. «Но, наглядевшись вдоволь на уличную жизнь (Парижа), — начинает Салтыков свой рассказ, — непростительно было бы не заглянуть и в ту мастерскую, в которой вершатся политические и административные судьбы Франции. Я выполнил это (...) весной 1876 года. Палаты в то время еще заседали в Версале*, и на очереди стоял вопрос об амнистии» (XIV, 122).

* В дни Парижской коммуны палата депутатов вместе со всеми высшими правительственными учреждениями была временно перемещена из Парижа в Версаль. — С. М.

И дальше следует собственно рассказ о предпринятой автором «За рубежом» политической экскурсии в историческую резиденцию французских королей, Версаль. По ходу рассказа возникает натурная зарисовка выступления Клемансо: «Он стоял на трибуне, прямой, самодовольный, обложенный грудой книг и фолиантов; сначала брал одну книгу, потом другую и, как чадолубивая наседка, выклевывал одну цитату за другой...» (XIV, 128). Воссоздается обстановка заседания в упоминаемом «Hôtel des Reservoirs», называются главные из его участников, даются индивидуализированные характеристики их физиономий и жестов, сообщается, где именно каждый из них сидел, указывается и место нахождения автора рассказа — трибуна для иностранных журналистов (вероятно, Салтыков получил пригласительный билет по протекции Л. Шассена).

Ход прений и речь Клемансо довольно подробно были изложены на страницах «Отечественных записок» еще до Салтыкова в «Хронике парижской жизни» Людовика, то есть Шассена (1876, № 6). В «За рубежом» Салтыков воспользовался некоторыми сведениями из этой «Хроники». Но ряд приводимых им живых деталей отсутствует у Шассена. Все это вместе с общим впечатлением автобиографичности или мемуарности рассказа позволяет предполагать, что в день своего отъезда из Парижа (состоявшегося, как сказано, вечером), Салтыков действительно провел много времени в Версале на заседании палаты депутатов*. Таким образом он стал очевидцем очередной расправы «толстомясых буржуа» Франции над побежденными коммунарами. Вот общая оценка Салтыковым речи Клемансо и решения Палаты: «...Клемансо говорил ординарно, бесколоритно, вяло. Скудоумна была уже сама по себе мысль говорить три часа о деле, которое в таком только случае имело шансы на выигрыш, если б явилась ораторская сила, которая сразу сорвала бы палату и в общем взрыве энтузиазма потопила бы колебания робких людей. Но такой ораторской силы в настоящее время в палате нет, да ежели бы она и была, то вряд ли бы ей удалось прошибить толстомясых буржуа, которых нагнал в палату со всех концов Франции пресловутый «scrutin d'arrondissement»...»** (XIV, 129).

«Под этим впечатлением я и оставил Париж» (там же,

* В описание поездки в Версаль введены гротескные сцены общения автора с Лабуле, сенатором Франции и писателем. Данное обстоятельство не может, однако, служить контраргументом предположению об автобиографической основе рассказа. Сочетание реального и фантастического, действительности и вымысла — одна из характернейших особенностей поэтики Салтыкова. О посещении палаты депутатов для обсуждения закона об амнистии коммунаров он упоминает еще дважды в очерке «Привет» из «Благонамеренных речей» (XI, 483 и 484), и оба раза от лица рассказчика.

** принцип выборов по округам (*фр.*).

135), — заключает Салтыков свой рассказ о посещении политической и административной «мастерской» Третьей республики. Это было впечатление от начавшегося после поражения Парижской коммуны общего исторического сдвига в жизни Франции и всей буржуазной Европы — сдвига к реакции.

В Баден-Баден Салтыков прибыл с семьей 7/19 мая. Он надеялся, что несколько дней отдыха после шумного Парижа улучшат его физическое состояние и успокоят нервы перед возвращением домой. Здесь его должен был догнать Тургенев, который, как сказано, вызвался быть спутником Салтыкова в дальнейшем пути до Петербурга. Но план этот постигла неудача, хотя Тургенев и заезжал в Баден-Баден и пробыл здесь три дня. Дело было не в «обмане», в чем сгоряча уже готов был обвинить Тургенева Салтыков. Помешали непредвиденные обстоятельства: жилец, которому на время отсутствия семьи Салтыковых была сдана их петербургская квартира, отказался или не смог освободить ее к нужному сроку. Салтыковы оказались вынуждены задержаться в Баден-Бадене более чем на две недели. Тургенев ждать не мог и уехал в Петербург раньше.

«Я живу здесь среди невыразимой скуки, неизъятной, впрочем, сплетен» (XVIII-2, 291), — писал Салтыков Некрасову. О творческой его работе в это время не известно почти ничего. Единственное исключение — сообщение в письме к Некрасову о замысле «романа», который, по словам писателя, с давнего времени тревожил его воображение. Вот как он излагал этот замысел: «Дон-Кихот консерватизма, который идет со своею проповедью, сначала обращается к той среде, которая, по природе, должна быть консервативною, — там его признают за ренегата уже по тому одному, что он выходит из какого-то принципа и логически идет по этому пути; потом обращается к народу — там просто не понимают его; наконец, обращается к молодому поколению — там смотрят на него как на выходца из архива. В конце концов, происходит работа, из которой вырождается радикал» (XVIII-2, 292).

Роман или рассказ с таким сюжетом не был написан. Но важно признание Салтыкова в его интересе к людям сильных страстных поисков общественных идеалов. Такие люди, думал Салтыков, были способны диалектикой идейного развития фундаментально перерабатывать свое мировоззрение, превращаться из консерваторов в радикалов, вырабатывать «нового человека». В какой-то момент у Салтыкова возникло сомнение, не делился ли он этим замыслом с Тургеневым и не отразился ли он в романе «Новь», который тот тогда писал. Но это неуверенно высказанное сомнение (см. там же) не имело под собой никакого основания. Герой тургеневского романа Нежданов совсем не консерватор по своим исходным взгля-

дам. Другое дело, что интенсивное общение Тургенева с Салтыковым в это время — непосредственное и эпистолярное — и увлеченное чтение произведений Михаила Евграфовича, возможно, сказались в тех сатирических элементах «Нови», которые Анненков назвал «памфлетной стороной» произведения⁷.

Находясь в чужих краях, Салтыков духовно продолжал жить в России. «Западник», он был довольно равнодушен к Западу. Точнее говоря, он любил некоторые идеи Запада, а не его реальности. Несмотря на богатство новых впечатлений и активный интерес к ним, ностальгия была всегда при нем. А когда сроки возвращения домой стали совсем близки, к ностальгии прибавилось или, лучше сказать, осложнило ее чувство тревоги. Еще в Ницце Салтыков писал Некрасову (в апреле 1876 г.): «Надоело мне за границей страшно, а между тем, по мере сближения времени возвращения на родину, чувствую какую-то тупую тревогу» (XVIII-2, 281). И еще Анненкову: «Живя за границей целый год, я все рвался душой в Россию, а теперь, как приходит время возвращаться туда, чувствуется какая-то тревога» (там же, 283).

Долгожданный день отъезда на родину наконец настал. Это была среда, 26 мая/7 июня⁸. По дороге из Баден-Бадена Салтыков остановился на два дня в Берлине, городе, который он не любил. Остановка была вызвана условленной здесь встречей с Белоголовым, которая, однако, по обстоятельствам не состоялась. Белоголовый в это время уже находился в России. Из Берлина Михаил Евграфович выехал в пятницу вечером и прибыл в Петербург в воскресенье 30 мая/11 июня. Почти четырнадцатимесячное пребывание за границей закончилось.

В первые же дни по возвращении, но все же, надо думать, не в Петербурге, а в Витеневе, куда Салтыков уехал через неделю, был написан очерк «Привет» (1876) (в печати он стал заключительным в серии «Благонамеренных речей»). Название очерка иронично и двузначно. Это и действительно привет писателя родине после длительной разлуки с нею, это и «привет» в кавычках, которым официальная Россия — жандармы-пограничники и таможенная полиция — встречали на границе возвращающихся домой соотечественников, ожидающих этой встречи как «страшного суда».

В очерке подводятся некоторые итоги первого и самого длительного знакомства Салтыкова с Западной Европой. Один из них — дальнейшее углубление трагической сложности патриотизма писателя, его любви к России. Настроения «рассказчика», возвращающегося из чужой стороны домой,

к своему и своим, передаются такими горькими словами: «Мне было стыдно <...>. Не страшно было, а именно стыдно <...>. Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы, — раб. Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишком долгое время чувствовал себя чужим среди чужих и потому отвык болеть. Но нам это необходимо, нам нужна ноющая сердечная боль; и покамест это все-таки — лучший (самый честный) *modus vivendi** из всех, которые предлагает нам действительность» (XI, 474). Эти слова выражали переживания и мысли не только Салтыкова, но и многих русских людей того времени.

Писатель был далек от либеральных иллюзий и оптимизма по отношению к современному ему Западу. До своей поездки 1875—1876 годов он знал его книжно и был с юности увлечен им как колыбелью великих идей — просветительских, революционных, социалистических. Непосредственное знакомство с ним в то время, когда он уже достиг довольно высокой степени капиталистического развития, в значительной мере усилило антибуржуазную линию в салтыковском мировоззрении и в его произведениях. И это был второй важный итог его длительного пребывания за рубежом. Но в равной мере ему были чужды отрицание или тем более патриархально-славянофильская идеализация огромной исторической отсталости России от развитых стран Запада. Критикуя современную ему Третью республику Франции, Салтыков вместе с тем не отрицал относительной прогрессивности буржуазного парламентаризма по отношению к отечественному абсолютизму — самодержавию. Необходимость обращения к социальному и политическому опыту Запада в интересах решения капитальных задач, стоявших на историческом череду русской жизни, была для него ясна.

В контексте сказанного следует осмысливать встречающиеся в салтыковской критике буржуазно-демократической государственности Запада (Франции) высказывания положительного характера. Одно из них, на страницах «За рубежом», относится к упомянутому выше посещению Салтыковым палаты депутатов во время дебатов по вопросу об амнистии коммунарам. «Но как ни мало привлекательна была речь Клемансо и вообще вся обстановка палатского заседания, — резюмирует Салтыков свои впечатления и выводы от этого заседания, — все-таки, выходя из палаты, я не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: *вот кабы у нас так!*» (XIV, 131)**. Другое высказывание возникло в связи с победой монархистов-бо-

* образ жизни (лат.).

** Подчеркнуто мною. — С. М.

напартистов над республиканцами при голосовании в Национальном собрании Франции законопроекта 1876 года и выбора депутатов. По этому поводу Салтыков писал Анненкову: «Вот насчет государственности и национальности надо бы что-нибудь еще сказать, благо Франция — прекраснейший пример под глазами⁹. Как ее распинают эти сукины дети в Национальном собрании! Так поедом и едят. Вот и чужая сторона, а сердце по ней надрывается. Где такое собрание истинных извергов найдешь! И все-таки не отчаивайтесь: *отсюда, а не от инуду правда будет*» (XVIII-2, 233)*.

Об элементах политического и просветительского европеизма в общественных взглядах Салтыкова свидетельствует и следующее его скептическое признание в одном из писем к Анненкову 1876 года: «Вы упоминаете в письме Вашем о недоверии, которое питают к России европейские обыватели, но разве иначе может быть? Как относиться иначе к такому загадочному народу, который, по наружности, так охотно и легко принимает всякие европейские обычаи, но, в существе, с изумительным упорством отказывается от всякого общения с духом европейской жизни и не признает принципа сознательности» (XIX-1, 32—33).

Несколькими годами позже, когда в России сложится вторая в ее истории революционная ситуация, Салтыков в «За рубежом» акцентирует надежду на решающее значение в дальнейшей судьбе России ее национальных народных сил. Вера в эти силы, хотя и осложненная элементами скептицизма, всегда сочеталась у Салтыкова с «европеизмом», с убеждением писателя в необходимости знать и критически использовать в деле своего национального строительства исторический опыт и великое духовное наследие Запада. «Святые камни Европы» существовали и для «надменного варвара Севера», как однажды назвал Салтыкова Аполлон Григорьев.

В контексте сказанного становится очевидной неосновательность упрека, который предъявлял Достоевский Салтыкову в том, что последний своими произведениями будто бы разрушал «европейство» в русской культуре. Этот упрек содержится в такой записи из «Дневника писателя» за 1877 год: «Сатиры (Щедрин), сами свое европейство уничтожающие»¹⁰.

Первое непосредственное знакомство Михаила Евграфовича с западноевропейской жизнью и ее политическим бытом не изменило его ранее сложившихся взглядов на проблему «Россия и Запад». Но оно позволило ему заметить признаки начавшегося уже исторического изменения западноевропейского буржуазного мира, достигшего то-

* Подчеркнуто мною. — С. М.

гда в такой стране, как Франция, своей полной зрелости.

Что же касается «погрома», учиненного здоровью Салтыкова в 1875 году его заболеванием, то устранить его радикально заграничным лечением не удалось. Его болезненное состояние стало хроническим. В Петербург, по свидетельству доктора Белоголового, он «вернулся уже с резкою болезнью сердца, сделавшей его инвалидом на всю остальную жизнь»¹¹. Данное обстоятельство содействовало усилению присущей писателю мнительности и мрачности. Жалобы на плохое физическое самочувствие, настроения апатии и тоски, боязнь утраты творческой активности становятся отныне почти постоянными мучительными спутниками жизни писателя.

ПОСЛЕДНЕЕ ДВУХЛЕТИЕ
С НЕКРАСОВЫМ
1876-1878

Некрасов по болезни принимает в редакции слишком мало участия. Плещеев не имеет никакого значения, а значит — все Салтыков. По моему мнению, он единственный издает журнал, пользуется дружбой и доверенностью Некрасова неограниченной...

Достоевский — Аверкиеву

5. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ.—ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В ВИТЕНЕВЕ.—НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ ЦЕНЗУРНОГО ВЕДОМСТВА.—В ЛЕБЯЖЬЕМ

Радость возвращения на родину, после длительного пребывания на чужбине, несколько омрачалась обычными в таких случаях тревогами по поводу встречи с тем, что ожидало или могло ожидать дома. «В течение четырнадцатимесячного пребывания за границей, — писал Салтыков В. П. Гаевскому, — у меня скопилось столько дел, что голова кругом шла» (XIX-1, 7—8). Неотложнейшим среди этих дел оказалась необходимость подыскания квартиры, поскольку прежнюю, на Песках, хотя и оставленную Салтыковым за собой, по какой-то причине сохранить не удалось. Сейчас же пристанищем семейству Салтыковых (до отъезда в имение Витенево — 5-го июня) стала старинная гостиница Демута на Большой Конюшенной, известная писателю еще с лицейской поры (в ней обычно останавливалась его мать, Ольга Михайловна, приезжавшая навещать сына)¹.

Что касается постоянной квартиры, то хотя она и была найдена в первые же дни, однако ее нужно было благоустроить, и новые жильцы поселились в ней лишь осенью, после возвращения из деревни. Квартира была снята в доме № 62 по Литейной (теперешний № 60), почти у самого Невского. Это была весьма respectable просторная квартира, с парадной лестницей и швейцаром, конюшней и каретным сараем для парного выезда. Салтыков был доволен и самой квартирой, состоявшей из девяти комнат и ценой в 1500 рублей (годовых), и хозяевами дома. Владельцем его была замечательная русская женщина, М. С. Скребицкая, дочь генерал-адъютанта С. А. Юрьевича, одного из воспитателей Александра II. Молодые годы она отдала уходу за ослепшим отцом («Антигоной» прозвали ее в светской среде), а затем посвятила свою деятельность и пожертвовала большую часть доставшегося ей наследного достоинства делам благотворительности, преимущественно в пользу слепых. С ней и ее мужем, А. И. Скребицким, известным врачом-окулистом и вместе с тем прогрессивным общественным деятелем и литератором-историком, автором капитального четырехтомного труда «Крестьянское дело в царствование Александра II», у Салты-

кова установились дружественные отношения. Известно, в частности, что писатель вручал М. С. Скребицкой, интересовавшейся литературой, некоторые из своих публикаций в день их появления в печати, а также знакомил ее с теми своими сочинениями, которые не были пропущены цензурой. И не только знакомил, но и разрешал снимать копии с этих текстов. Добрые отношения с четой Скребицких сохранялись до конца дней писателя. В их доме Салтыков прожил свои последние тринадцать лет.

Квартира помещалась на верхнем (третьем) этаже и выходила на Литейную пятью последними окнами, считая от арки подъезда в сторону от Невского. Остальные шесть окон принадлежали квартире Скребицких. Кабинет писателя занимал в этом лицевом ряду (другие окна квартиры выходили во двор) комнату с двумя окнами. Рядом была гостиная². Ниже, в бельэтаже, по одной лестнице с квартирой Салтыкова, жил в своей дочери графини Нирод петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов, в которого в 1878 году стреляла и ранила его революционерка Вера Засулич. В восьмидесятые годы Салтыков и Трепов как соседи изредка встречались друг с другом. Из этих встреч и сопутствовавших им разговоров Салтыков, по собственному его признанию, узнал «кое-что любопытное» из политического быта высшей полиции империи. Ближе к Невскому к дому Скребицких примыкало здание, принадлежавшее Святейшему синоду, высшему государственному органу по делам российской православной церкви. В нем находилась казенная квартира возглавлявшего это ведомство обер-прокурора синода. Должность эту и квартиру занимали последовательно один за другим граф Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев (последний — с апреля 1880 г.). Оба эти лидера тяжелейшей в истории России реакции восьмидесятых годов, а точнее сказать, проводимые ими идеологический курс и курс внутренней политики послужили материалом для мощных художественно-публицистических обличений Салтыкова, о чем речь впереди.

Стены квартиры Салтыкова на Литейной, хотя и перестроенной, но все же относительно хорошо сохранившейся, помнят многих выдающихся людей эпохи: Некрасова, Островского, Тургенева, Достоевского, Плещеева, Елисеева, Михайловского и многих других. Не раз посещали здесь больного писателя студенческие делегации, и в их числе Александр Ильич и Анна Ильинична Ульяновы — брат и сестра Ленина*.

* На доме, где была квартира Салтыкова, еще до революции, в 1914 году, Петербургской городской думой была установлена существующая и поныне мемориальная доска. Салтыковского же музея в его квартире все еще нет. Многочисленные, десятилетиями идущие ходатайства общественности и специалистов о необходимости и возможности создания в бывшей квартире великого писателя посвященного ему музея неизменно упираются в непробиваемую стену бюрократического равнодушия соответствующих инстанций Ленинграда.

Сразу же по возвращении Салтыков взялся за свою редакторскую работу в журнале. Еще на пути домой, из Баден-Бадена, он известил Некрасова, что на другой же день по прибытии в Петербург он появится в редакции «Отечественных записок». Зная пунктуальность Салтыкова в делах, можно не сомневаться, что так оно и было, что ближайший редакционный понедельник «Отечественных записок» — это было 31 мая — прошел с его участием. В этот же день, а затем еще в один из последующих Салтыков дважды встречался с ранее его приехавшим из Парижа Тургеневым. Деловым поводом этих встреч была, надо думать, выработка условий предполагаемого сотрудничества в «Отечественных записках» Эмиля Золя*. Тургенев был инициатором и посредником в этом несостоявшемся проекте. Следует, наконец, упомянуть дружеские свидания в те же дни с Белоголовым. По его словам, Салтыков был так доволен и счастлив, очутившись наконец дома, что находился в редком для него веселом и спокойном настроении.

Из записки Михаила Евграфовича Некрасову в день отъезда, 5 июня, в Витенево³ видно, как сразу и полно вошел Салтыков в труды редакции, оставленные более года тому назад. Взятые по приезду для редакторского чтения пять рукописей, в их числе какая-то повесть, значит несколько листов, он возвратил со своими замечаниями через пять-шесть дней. И это в условиях, когда, по его словам, он «рыскал» по Петербургу в поисках квартиры. Записка заканчивалась просьбой присылать в Витенево «все корректуры» очередных номеров журнала (XIX-1, 77).

В Витенево, где Салтыков, как обычно, провел лето, оказавшее его последним подмосковным летом, он встретился с заботами другого рода — имущественными. В это время им принимается окончательное решение, давно вызревавшее, освободиться от убыточной тягости Витенева. Прежний взгляд на свою подмосковную как на хорошее место летнего отдыха изменился. Возможно, тут сыграла свою роль образовавшаяся за четырнадцать месяцев привычка к комфортабельным условиям жизни и отдыха в западноевропейских курортных городах, хотя и нещадно критиковавшихся. Во всяком случае Салтыков раньше любил Витенево со всеми его деревенскими неудобствами и безлюдьем. Сейчас же он в сердцах заявляет: «И жить здесь гнусно, никаких удобств нет» (XIX-1, 9). Однако желание продать Витенево «хоть за что-нибудь» долго не осуществлялось. «Точно заколдованное это место: никто даже не интересуется им», — жаловался Салтыков (там же). Все же Витенево было продано.

Лето 1876 года примечательно в биографии писателя еще

* Сотрудничество не состоялось вследствие возражений М. М. Стасюличча, в журнале которого «Вестник Европы» Золя уже участвовал.

одним обстоятельством. Завершилась наконец сильно затянувшаяся выкупная операция с крестьянами его бывшего в общем владении с братом Сергеем ярославского имения — Заозерье. По выкупным свидетельствам Салтыкову причиталось получить до 56 000 рублей. Однако из этой суммы он должен был уплатить братьям по договорным векселям до 16 000 рублей. Собственно, на его долю оставалось, таким образом, около 40 000 рублей⁴. И это было все, что в конечном счете досталось ему от помещичьего наследства. Все же, однако, и эта сумма была довольно значительной и могла на какое-то время обеспечить семью Салтыкова, если по болезни ему пришлось бы сильно ограничить свои литературные заработки либо вовсе лишиться их. Состояние здоровья писателя допускало реальность таких перспектив, и они сильно тревожили его. Ведь дети были еще совсем малы, а жена — бесприданница — не имела почти никаких собственных средств существования (нижегородское имение родителей Яново не давало никаких доходов). Но был тут и другой важный итог — социальный и морально-психологический. Завершение выкупного дела — формально и практически — подводило последнюю черту в помещичьей биографии Салтыкова. Об этом он с глубоким облегчением скажет в одном из своих произведений того времени, что «иго земельной собственности» наконец перестало «тяготеть» над ним (XI, 348).

Имущественные дела и очередное ухудшение в состоянии здоровья («Салтыков одно письмо написал мне очень неутешительное», — извещал Плещеев Некрасова в июле 1876 г.⁵) — не приостановили, однако, его писательского труда, хотя он и жаловался в эти дни: «Я работаю туго и неладно», «пишу я туго и мучительно» (XIX-1, 9, 10). Но жалобы такого рода объективно далеко не всегда соответствовали действительности, тому, что выходило тогда из-под пера писателя. Доказательство — его «Выморочный», написанный в Витеневетом летом 1876 года. Эта глава из «Господ Головлевых», почти целиком психологического содержания (начало душевной «агонии» и мучительных самоанализов Иудушки). Вначале она действительно далась писателю с трудом. «Боюсь одного: как бы не скомкать Иудушку, — писал он Некрасову. — Половину я уже изобразил, но в сбитом виде, надо переформировать и переписать» (там же, 9). Однако трудности были победоносно преодолены.

Одновременно Салтыков работал в Витеневетом над подготовкой отдельного издания «Благонамеренных речей» в двух томах. Отпечатанное в типографии Краевского, оно вышло в свет в сентябре 1876 года и стало, вслед за «Губернскими очерками», самым крупным по объему отдельным изданием писателя: 743 страницы большого формата. Первопечатная журнальная редакция произведения подверглась большим изменениям как по составу (были изъяты «рассказы об

Иудушке»), так и в отношениях композиционном и текстовом.

Летом в Витенева была подготовлена также новая редакция главы IV «Экскурсий в область умеренности и аккуратности», о «литературном молчалинстве»*. Написанная еще в 1875 году в Баден-Бадене, глава эта не появилась тогда в печати по цензурным причинам. Сейчас Салтыкову удалось обнародовать ее, хотя и в смягченной редакции. Но публикации (Отечественные записки, 1876, № 9) предшествовал эпизод, получивший тогда громкую огласку в литературно-журнальных и научных кругах столицы. Дело заключалось в следующем.

Чтобы обеспечить благоприятное прохождение в печати обновленной главы «Экскурсий...», Салтыков решил, по совету дружественного цензора, своего однокашника по Московскому дворянскому институту, Н. А. Ратынского нанести визит, для соответствующих переговоров, самому начальнику Главного управления по делам печати. Им был тогда В. В. Григорьев, не только глава цензурного ведомства, но и довольно видный ученый-востоковед, профессор Петербургского университета, впоследствии член-корреспондент Академии наук. «Он Вас отлично примет», — заверил Ратынский Салтыкова. «Вот я сегодня и поехал <...> — писал Салтыков Некрасову в Ялту. — Принял он меня не только холодно, но почти неприязненно, даже не посадил. Хотел ли он поломаться надо мной, но первым вопросом его было следующее: «Вы в каком журнале участвуете?» Хотя Ратынский и уверял меня, что он <Григорьев> уже читал «Экскурсии» в первой редакции, но он и виду не подал, а когда я заикнулся о том, что вот, дескать, цензура встретила год тому назад затруднения, а ныне я переделал и желал бы, чтоб ваше превосходит <ельство> удостоили прочесть, то он прямо объявил: это не мое дело-с, на это есть цензора. Одним словом, свидание вряд ли продолжалось и минуту, но, несмотря на это, мне показалось, что на меня целый час плевали <...>. Вообще, мне показалось это чем-то вроде сонного видения...» (XIX-1, 14).

Однако странная история эта обернулась в конечном счете в пользу Салтыкова и к немалому конфузу Григорьева. Труднообъяснимый поступок его по отношению к писателю, бывшему уже тогда всероссийской знаменитостью, получил широкую общественную огласку и вызвал особенно сильное возмущение в Совете Петербургского университета, где Григорьев возглавлял кафедру востоковедения. Члены Совета хотели устроить ему обструкцию, но предварительно через А. Д. Градовского, также профессора и вместе с тем известного публициста либерального лагеря, потребовали от Григорьева объяснения случившемуся. Чтобы выйти из нелепого по-

* Окончательное название: «В среде умеренности и аккуратности». — Отдел «Господа Молчалины» (гл. IV).

ложения, в которое он, вольно или невольно, себя поставил, и «спасти лицо», растерявшийся Григорьев заявил в Совете, что Салтыков у него не был (!!) и что вообще он его никогда в глаза не видел (!!). Конфиденциально же, через Ратынского, он обратился к Салтыкову с просьбой приехать к нему и *удостоверить эту версию*. «Хоть все это не особенно лестно, — писал Салтыков Некрасову, — тем не менее я решился ехать и в случае нужды даже подтвердить, что мы в первый раз видимся» (XIX-1, 21). И Салтыков поехал на прием. Но до подтверждения фальшивой версии дело, однако, не дошло. По свидетельству Г. З. Елисеева, Григорьев принял Салтыкова «с подобающим почтением и принес все возможные извинения». «Салтыков, — продолжает Елисеев, — видимо, остался доволен приемом, говорит, по крайней мере, что теперь Григорьев пропустит ему все, что бы он ни написал»⁶.

С удивительной смелостью по отношению к цензурному ведомству и к его главе эпизод с Григорьевым был тут же возведен Салтыковым в один из перлов его сатирического искусства. Он был использован как материал для главы V «Экскурсий...», написанной по горячим следам происшествия, и сразу же обнародован (Отечественные записки, 1876, № 11). В главе этой повествуется о том, как некий писатель, «проштрафившийся» в глазах цензуры и политической полиции, решил поправить свои обстоятельства путем личного объяснения с главою «Департамента Возмездий и Воздаяний». Посредником встречи выступил чиновник названного Департамента, «товарищ по школе» провинившегося литератора (вспомним Ратынского!). В сатирически обобщенном виде здесь переданы отношения органов политического контроля самодержавия — не только цензурного ведомства, но и III Отделения — к произведениям Салтыкова. «Почитываем мы тебя... почитываем!» — говорят литературному alter ego* писателя руководителя «Департамента Возмездий и Воздаяний». Затем они объясняют причину своего отрицательного отношения к «почитываемому»: «Тени слишком густы, свету нет!» И наконец, указывают на желательность другой сатиры, «в благонамеренном тоне» (XII, 123—124).

Надежды Салтыкова, что общественно оконфуженный глава цензурного ведомства будет отныне проводить по отношению к нему и «Отечественным запискам» более мягкую политику, не были вовсе беспочвенными. Какие-то обещания содействовать мирному разрешению конфликтов, возникавших между цензурой и редакцией, были даны, и Салтыков не преминул воспользоваться ими. Доказательства тому — следовавшие вскоре довольно частые деловые визиты и письменные обращения писателя к Григорьеву, а при его посредничестве — и к министру внутренних дел, для улаживания

* двойнику (лат.).

цензурных инцидентов, и это вплоть до отставки Григорьева, в марте 1880 года, когда его сменил на этом посту Н. С. Абаза. Обращения эти, как увидим, не всегда оставались безрезультатными.

В целом, однако, Григорьев на своем посту не мог не быть проводником правительственной политики в области контроля над печатью и отходить от нее. Ужесточение этой политики в конце 70-х годов Салтыков характеризовал словами: «Цензура просто взбесилась» (XIX-1, 39). Это было одним из проявлений ужесточения всего политического курса в период созревания нового кризиса самодержавия, новой революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х годов.

Но не только цензурные неприятности омрачали настроение и деятельность Салтыкова в это время. Они были трудными и в своем общественно-политическом содержании. Однако, прежде чем дать представление об этом историческом моменте, остановимся на одном новом обстоятельстве, вошедшем тогда в имущественно-бытовую биографию писателя.

Как уже сказано, лето 1876 года было последним, проведенным Салтыковым и его семьей в подмосковном Витене. В апреле следующего, 1877 года имение было продано за 21 500 рублей некоему С. И. Калабину, елецкому купцу-хлебо-торговцу. Салтыков тепло распрощался с управляющим имением А. Ф. Каблуковым. «К Вам и Вашему семейству я ничего, кроме благодарных чувств, не имею, да думаю, что и Вы не помянете нас лихом», — писал ему Салтыков, отдавая вместе с тем последние распоряжения о передаче имения новому владельцу. Среди этих распоряжений было и относившееся к книгам, накопившимся в витневском доме за четырнадцать лет (имение было куплено в 1862 году). «Я посылаю Липу* отобрать наши вещи и мою библиотеку <...> — писал Салтыков. — Вещи она уложит, а книги отберет и передаст Вам; пожалуйста, уложите их в ящики и похраните некоторое время <...>. Летом я их перевезу в Петербург...» (XIX-1, 54). К сожалению, о содержании и судьбе библиотеки Салтыкова, как витневской ее части, так и той, которая находилась в петербургской квартире писателя, ничего не известно. По-видимому, книги погибли вместе с частью архива Салтыкова на петербургской квартире его дочери маркизы Е. М. да Пассано после ее отъезда с семьей в 1917 году за границу.

Невзирая на испытанные хозяйственные неудачи и неизбежную убыточность имения, предназначенного лишь для летнего отдыха, Салтыков, едва успев продать Витенево, тотчас же (в конце апреля или в начале мая того же 1877 года) купил на вырученные деньги новое имение. На этот раз оно находилось недалеко от Петербурга. Он приобрел мызу Лебяжье, на

* Липа (Олимпиада) — горничная и экономка Салтыковых из витневских крестьянок. — С. М.

берегу Финского залива, близ Ораниенбаума, «почти в виду Кронштадтских твердьнь» (XIII, 285). В этом решении сказана сильная, никогда не покидавшая Салтыкова «потребность в своем собственном угле» на лоне родной природы — наследие деревенско-помещичьего детства. Сыграла тут роль также забота о детях, об их нравственном воспитании чувством родины. «Жалко детей по заграницам таскать, — мотивировал Салтыков приобретение Лебяжьего. — Стыдиться не будут и сердцем болеть. А покуда это еще нужно» (XIX-1, 46).

Новоприобретенное имение принадлежало некоему Дуббельту и было продано после его внезапной смерти вдовой, за относительно скромную сумму⁷. Это была небольшая, отлично благоустроенная усадьба с весьма комфортабельным барским домом. Новое владение пришлось очень по вкусу Елизавете Аполлоновне. С восторгом повторяя одно из своих любимых словечек «ужасно» (в значении «очень»), делилась она своими впечатлениями в письме к А. Ф. Каблукову. «...Барыня, которой принадлежало Лебяжье, — писала она, — была ужасно богата, и муж на нее ужасно много тратил денег. Например, там два попугая, за одного из них заплачено 600 руб^{лей}. Мебель отличная на 17 комнат, с коврами и с такими прелестными дорогами зеркалами, что мы их в город перевезли. Спальная мебель роскошная. Там в доме амосовские печки* и вода проведена и в дом и в прачешную. Парк с утрамбованными дорожками, с оранжереей и с парниками. Мельница на речке и Финский залив близь дома, к нему ведет аллея березовая. Ужасно много разных служб, два каретных сарая, скотный двор, 4 коровы, 4 лошади, пропасть кур, индеек, пчел и свиней. Не знаю, что мы со всем этим будем делать. И лес есть. Земли всего 163 десятины. И заплатили мы за все это очень дешево, 13^{1/2} тысяч» (XIX-2, 316—317).

Совсем иные настроения овладели и очень скоро самим Салтыковым в связи с приобретением нового «своего угла». Создается впечатление, что и Лебяжье было куплено им также неосмотрительно, без учета всех обстоятельств, как в свое время Витенево⁸. В июне 1877 года, то есть спустя всего лишь месяц жизни в Лебяжьем, Салтыков писал Островскому: «Не проученный подмосковным опытом, я опять надел на себя ярмо собственности и скажу откровенно, что безалабернее едва ли что может быть <...>. Я уже начинаю подумывать о том, каким бы образом отделаться от собственности» (XIX-1, 61). Действительно, желание спокойного летнего отдыха на природе, с возможно большим отстранением от сельскохозяйственных забот и распоряжений, оказалось в подстоличном Лебяжьем еще менее осуществимо, чем в куда более скромном Витенево. Из писем Салтыкова видно, что хозяйственный

* Центральное отопление тогдашнего устройства. — С. М.

«штат» Лебяжьего состоял из бывшего управляющего заозерским имением угличского мещанина Максима Андреева Баталова, который еще родителям Салтыкова служил и знал его с малых лет («личность во всех отношениях почтенная», — отзывался о нем писатель), затем кучера, мельника, скотницы, садовника, двух постоянных работников, к которым летом и осенью прибавлялось еще несколько человек поденщины. В домашний же «штат» входили экономка и воспитательница детей Елизавета Борисовна Мелехина*, гувернантка-француженка из Парижа, горничная, кухарка, прачка и уборщица. Это был немалый «штат» и немалое хозяйство. Они требовали значительных средств и внимания, что не могло не отвлекать Салтыкова от литературно-журнальных дел. В 1879 году Салтыков писал А. Ф. Каблукову: «...я со своим новым имением точно так же бедствую, как и прежде. В год не меньше 1500 р. на него трачу. Видно, мне не на этом, а на том свете хозяйничать» (XIX-1, 97).

Все же Салтыков провел в Лебяжьем три лета, с 1877 по 1879 год⁹. Но и в это каникулярное время он не отходил от руководящего участия в трудах редакции. Каждый второй по-недельник он выезжал из Лебяжьего в Петербург — на редакционные дни «Отечественных записок». До Петергофа — около 15 верст, он ехал на своих лошадях, а затем поездом до Петербурга, где его у вокзала ожидала пролетка с заранее нанятым извозчиком.

В Лебяжьем написан ряд произведений Салтыкова: «Тряпичкины — очевидцы», «На досуге», «Похороны», главы «Первое апреля», «Первое мая» из цикла «Круглый год» и др. Но главное значение Лебяжьего в писательской биографии Салтыкова состояло в том, что оно явилось «прототипом» еще для одного знаменитого топонимического образа писателя — «Убежище Монрепо».

Лебяжье оказалось последней земельной собственностью Салтыкова. Но, несмотря на неудачу и этого опыта, желание и попытки найти себе пристанище «на вольном воздухе», вне городской жизни не оставляли его. С просьбой подыскать подходящее небольшое имение-дачу он вскоре стал обращаться ко многим лицам, в их числе и к Л. Н. Толстому. Но намерению этому уже не суждено было осуществиться.

* Е. Б. Мелехина была прежде гувернанткой в семье Танеевых. Салтыков подозревал, что она сыграла роль сводни в увлечении Елизаветы Аполлоновны Павлом Ивановичем Танеевым, и не любил эту женщину.

**6. СЛАВЯНСКИЙ ВОПРОС.—РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА.—
«ХОЖДЕНИЕ В НАРОД».—ТУРГЕНЕВСКАЯ «НОВЬ».—
РАССКАЗЫ 1870-х ГОДОВ.—«СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ»**

Общественно-политическая обстановка в стране того времени, когда руководство «Отечественных записок» переходило от умиравшего Некрасова к Салтыкову, была сложной. Семидесятые годы прошлого века в России — годы весьма динамичного и глубоко противоречивого развития всего нового, что принесли в русскую жизнь реформы шестидесятых годов. Вместе с тем это и годы раскрытия всего отрицательного, что было заложено в содержании и характере проведения главной из реформ — крестьянской. Это были годы больших социальных напряжений и сдвигов. Стало очевидным, что отмена крепостной зависимости, принеся помещичьим крестьянам благо личной свободы, возможность самим распоряжаться своею жизнью и своим имуществом, вместе с тем материально отяготила их жизнь новыми трудностями и страданиями. Недостаточность отведенных крестьянам земельных наделов и кризисные явления в сельском хозяйстве страны — неизбежный результат реформы — явились одной из причин наступившей в пореформенные годы многолетней полосы недородов и, как итог, тяжелой народной бескормицы. Непосильные тяготы выкупных платежей привели к массовому обеднению деревни. Вынужденная, в поисках заработка выкупного рубля, миграция крестьян в город, а также открытый акцизной реформой широкий доступ к вину содействовали распространению пьянства и общему упадку народной нравственности. Все эти новые экономические, социальные и нравственные беды начали быстро оказывать разрушительное действие на крестьянский мир, на его былую «патриархальную» целостность и неподвижность. Губительно отразились реформы и на положении мелкопоместных помещиков, составлявших большинство дворянского землевладельческого класса. Перед многими из них открылась вполне реальная перспектива скорого перемещения в разряд «пропащих людей». Пострадала и дореформенная армия «чернильного воинства». Многие из «приказных людей» остались за штатом в связи с переустройством и сокращением государственно-административного аппарата. «Положение трагическое и запутанное», — писал Салтыков (XII, 206). Достоевский называл это

время «странным и тревожным»¹, Михайловский — «сумбурным»².

Во внутренней жизни страны положение определялось главнейше интенсивностью процессов, ломавших вековые порядки и психологию людей крепостного строя, промышленным кризисом 1873—1877 годов и другими явлениями и событиями, знаменовавшими, с одной стороны, быстрое развитие отечественного капитализма, а с другой — вызревание второй в стране революционной ситуации, сложившейся на рубеже 1870—1880-х годов. Во внешней политике это было время прелиминариев русско-турецкой войны 1877—1878 годов, а затем и событий самой войны. Внешне политические обстоятельства создали, среди других проблем, так называемый «восточный», или «славянский», вопрос, занявший в общественной жизни страны, особенно в печати, большое, можно сказать — центральное место. Все эти и другие, сопутствующие им явления и вопросы получили прямое или косвенное освещение и оценку как в произведениях самого Салтыкова, так и в других материалах «Отечественных записок». Значительное место было уделено, в частности, «славянскому вопросу».

В июньском за 1876 год номере журнала появилась статья «Воевать или не воевать?». В ней анонимный автор — им был Г. З. Елисеев — призывал русское общество быть готовым к вооруженному вмешательству России в события на Балканах (Герцеговинско-Боснийское восстание и др.) и, в случае войны, призывал «не складывать оружия, пока не добудем свободы для всего славянского мира». А в следующей, июльской книжке была напечатана, также без подписи, статья писателя Д. Л. Мордовцева, под заглавием «На всенародную свечу». Автор обращался в ней с призывом ко всем русским людям о пожертвованиях в пользу южных славян. При этом выражалась надежда на участие в этом деле также народных масс, при помощи церкви. «Простой народ, — писал автор, — пусть в церкви услышит от своих священников то воззвание, на которое всегда охотно откликается русский народ: «Пожертвуйте, православные, на всемирную свечу Господу Богу...»

Обе названные статьи появились в «Отечественных записках» в отсутствие как Некрасова, уехавшего в Чудовскую Луку, так и Салтыкова. Находясь в Витене и не прочитав еще статьи Мордовцева, а лишь узнав о ней и ее названии из анонса в газете «Голос»³, Салтыков писал Михайловскому, имея в виду, надо полагать, также и статью Елисеева, хотя и не названную в письме: «Не могу себе вообразить, что за статья на тему о всенародной свече? «Отеч(ественные) зап(иски)» встали на покатоше очень сомнительную и делаются журналом, в котором чувствуется ежели не преобладание, то очень значительное присутствие трихин. По крайней мере, Боборыкин и Мордовцев несомненно принадлежат к числу оных» (ХІХ-1, 10).

Салтыков, конечно, не был противником освободительной борьбы южных славян с тяготевшим над ними турецким игом — национальным и феодальным. Он называл этот вопрос «кровным». Но, во-первых, он был враждебен националистической идеологии панславизма, активно вносившейся его представителями в славянское освободительное движение. Во-вторых, писатель глубоко национальный, русский, он и к явлениям иноземной действительности подходил прежде всего со стороны того значения, которое эти явления имели или могли иметь для насущных интересов своей страны и народа, как он и некоторые другие прогрессивные современники понимали эти интересы*. Отсюда своеобразие и скептицизм взглядов Салтыкова на «славянский вопрос», весьма разошедшихся с господствовавшими тогда общественными настроениями. Принципиальная позиция писателя в данном вопросе отчетливо определена в рассказе 1876 года «День прошел — и слава богу». Он написан в примечательной для салтыковской поэтики диалогической форме спора, который идет между идеалистом-прекраснодушником, от имени которого ведется повествование, и его антагонистом, мрачно-скептическим Глумовым (и тот и другой говорят иногда голосом самого Салтыкова).

Предметом их полемического коллоквиума служит все главное, что входило тогда в «славянский вопрос» — освободительная борьба сербов и болгар, жестокость турок и вызванная ею в России и других странах волна общественного негодования, разные формы и виды помощи южным славянам, начиная от денежных и вещевых пожертвований до непосредственного участия в вооруженных действиях русских добровольцев, правительственная политика России в данном вопросе, выступления печати и т. д. Все эти темы разрабатываются Салтыковым в «полифонической» двухголосной форме. Каждое общественное явление, затрагиваемое в разговоре, имеет как бы два значения: одно прямо названное, другое — полускрытое, обозначенное лишь намеком или другими средствами эзопова языка. Но и утаенное значение также реально. Оба они равно необходимы для уяснения салтыковского понимания данного явления в его цельности.

Главное во взгляде Салтыкова на славянский вопрос определялось его убеждением, что самодержавие и националистическая идеология, в частности панславизм, а также народившаяся в стране буржуазно-коммерческая пресса, во главе с суворинским «Новым временем» («Ужасно хочется, — писал Салтыков Некрасову, — чтоб эта гнусная газеточка хлопнулась» — XIX-1, 27), «эскамотировали», то есть использовали в своекорыстных целях симпатии русского общества к освобо-

* См., например, окончание тургеневского стихотворения в прозе «Деревня»: «И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде, и все, чего так добивались мы, городские люди».

дительной борьбе южных славян и к возникшему в этой связи русскому добровольческому движению «на Балканы». Но и сами эти симпатии, хотя и не отрицаемые абсолютно, берутся, однако, скептическим восприятием Салтыкова во многом под сомнение, а иные формы их выражения подвергаются жесткой сатирической критике. Дорогие «славянские обеды», по подписке, в известных ресторанах, с процентными отчислениями от их стоимости в пользу болгар и сербов, парадные молебствия с участием прославленных церковных хоров и знаменитых протоиерейских басов, дамские «кружки» или «комитеты», в которых сбор пожертвований в пользу раненых и щипанье корпии для них шли под аккомпанемент светской болтовни, шумные, с ура-патриотическими речами, с объятиями и поцелуями, со слезой и шампанским проводы добровольцев на Дунай, самозванные депутации к царю, с требованием войны с Турцией, вроде той, посетившей Ливадию, которую возглавил московский купец-миллионер, владелец известного ресторана «Славянский базар», и многое другое — во всем этом Салтыков усматривал наличие поверхностного, фальшивого и пошлого. И даже искренние переживания «славянского вопроса» он оценивал как «умственную гастрономию» легко возбуждающихся людей культурного слоя (XII, 139).

«Неужели (<...> русская культура, — делился Салтыков своими скептическими раздумьями по поводу упомянутых явлений, — не выработала из себя никакого жизненного факта, кроме бесшабашного гвалта, на дне которого лежат три целковых*, никакого жизненного требования, кроме дикой потребности пользоваться всяким удобным случаем (*будь это даже кровный вопрос, как нынешний славянский*)**», чтоб кому-то захватить рот, перервать горло, согнуть в бараний рог» (XII, 148). Вся эта «шумиха» о «славянских задачах России» отвлекала, по его мнению, русское общество от собственных насущных дел и забот и способствовала укреплению внутренних сил реакции. «Мое личное мнение, — писал Салтыков Некрасову, — что вопрос этот для России не полезен. Под шумок его издан, например, закон, разрешающий губернаторам издавать обязательные постановления или, попросту говоря, законы же. Это невероятно, но это правда» (XIX-1, 27). В связи с такой позицией Салтыкова заметим, что и Ф. Энгельс писал о «неоценимой услуге», которую оказали политике русского правительства «либеральные крики» о «турецких зверствах»⁴.

* Газеты призывали «каждого члена русского общества пожертвовать хотя бы три рубля на славянское дело». — С. М.

** Набранный курсивом вариант первопечатного (журнального) текста по какой-то причине, скорее всего случайной (ошибка наборщика?), не вошел в текст отдельного издания цикла «В среде умеренности и аккуратности» и по этой причине не вошел и в основной текст всех последующих его изданий (XII, 660). Определение в этом варианте «славянского вопроса» как «кровного» противостоит обвинениям Салтыкова в будто бы полном его равнодушии к этому вопросу. — С. М.

Нужно полагать, не без прямого воздействия Салтыкова Елисеев пересмотрел свой взгляд на «славянский вопрос», изложенный в статье «Воевать или не воевать?». Имея в виду эту свою статью, он самокритично писал Некрасову: «...я теперь начинаю жалеть немножко о том, что О<теч>. З<ап>. впали вместе с другими органами в воинственный тон насчет Сербии <...>. Настроение, возбужденное в публике славянской войною, вовсе не благоприятно тем идеям, которые наш журнал стремится насадить и утвердить в публике»⁵.

В очередном «Внутреннем обозрении», появившемся в октябрьской за 1876 год книжке «Отечественных записок», Елисеев откорректировал линию журнала в «славянском вопросе» в том направлении, хотя и не без народнической аранжировки его, которого придерживался Салтыков. «Обозрение» начиналось с заявления, что, «ввиду бедствий славян, Россия, по-видимому, совершенно забыла, что она и сама существует на свете», что «мы живем среди славян, нуждающихся в помощи», что мы «обижаем» ради славянских «братьев» свои русские «чада», то есть «мужичков», и т. д.

Столь же скептическим, чтобы не сказать сильнее, было отношение Салтыкова к завершившей развитие «восточного», или «славянского вопроса» русско-турецкой войне, начавшейся в апреле 1877 года. Оно выражено в двух его рассказах, написанных во время войны — «На досуге» и «Тряпичкины — очевидцы». Автокомментарием, вскрывающим общую мысль этих выступлений, служат слова Салтыкова, сказанные в 1877 году общественному деятелю демократического направления Б. Э. Кетрицу: «И зачем это мы, русские, лезем освобождать славян от какого-то турецкого ига! По-моему, славянам под турецким игом жилось лучше, чем будет житься теперь. Хотя над ними турки делали от времени до времени кое-какие зверства, но были европейские консулы, и славяне могли приносить европейским консулам какие-нибудь жалобы. А теперь, освободив их, посадят им какого-нибудь краля Милана * <...> и скажут: «Теперь больше не смеете быть недовольны, вам дали все, чего вы желали, и теперь сидите смирно!»

В той же беседе с Кетрицем речь зашла, в частности, об одной из наиболее популярных тогда, а по существу одиозных фигур славянского движения, «завоевателе Ташкента» генерал-лейтенанте М. Г. Черняеве. Когда в 1876 году началось Герцеговинско-Боснийское восстание, он тайно уехал в Белград и был там назначен командующим сербской армией, в которую влилось немало русских добровольцев. Хотя армия Черняева вскоре потерпела жестокое поражение, вокруг его имени возник ореол героя славянского освобождения и его даже ста-

* Пророчество в отношении юного тогда князя Милана Обреновича сбылось. В 1882 г. с помощью царской дипломатии он провозгласил Сербию королевством, а себя — ее королем. — С. М.

ли сравнивать с Гарибальди, вождем итальянской национально-освободительной борьбы. В ответ на слова Кетрица, что Черняев, может быть, действительно имеет некоторое сходство с народным героем Италии, Салтыков с гневом воскликнул: «Нет ничего общего между Гарибальди и русским генералом Черняевым!»⁶ И тогда же он писал Анненкову за границу: «У нас здесь не то что скучно, а как-то срамно <...>, Черняев с своими добровольцами разъясняет перед лицом Европы, что такое господра ташкентцы...» (XIX-1, 29). Фигура и «подвиги» Черняева, авантюристического «архистратига славянской рати», послужили Салтыкову материалом для создания на страницах «Современной идиллии» бесподобного сатирического образа «странствующего полководца Редеди» (по имени летописного богатыря, касожского князя*). Защищая впоследствии этот образ от высказанных в одной из газет по его адресу упреков в «фельетонности» и «водевильности», Салтыков писал: «Тут, очевидно, смешивается фантастичность с водевильностью. Вспомните, что Редедя Сербию освобождать ходил, всю Россию взбаламутил, — ужели это не трагедия, а водевиль?» (XIX-2, 246). Сохранилось мемуарное свидетельство, а точнее слух, что салтыковская сатирическая критика генерала Черняева и его «подвигов» заинтересовали Александра II. «Есть предание, — читаем у Н. Рейнгардта, участника революционного движения 60—70-х годов, — что Александр II охотно слушал чтение вслух произведений Щедрина во время русско-турецкой войны (1877—1878) <...>. Когда об этом обстоятельстве узнал сам Мих. Евгр., то недовольным тоном заметил, сказав предварительно, по обыкновению, несколько резких слов: «Еще, пожалуй, придворным сатириком сделают»⁷.

Скептические позиции Салтыкова в «славянском вопросе» и по отношению к русско-турецкой войне, его критика шовинистического угара вызвали недовольство у многих. В печати либерального лагеря писателя упрекали в «отсутствии патриотизма», а в реакционно-националистических кругах называли «изменником»⁸.

Резкое несогласие с взглядами Салтыкова на «славянский вопрос» высказал Достоевский. В «Дневнике писателя» за 1877 год он писал: «Некоторые умные люди проклинают теперь у нас славянский вопрос, и на словах и печатно. «Дались, дескать, нам эти славяне и все эти фантазии об объединении славян!»⁹ Что запись эта имела в виду и Салтыкова, видно из следующего мемуарного свидетельства дипломата и журналиста, главы Славянского петербургского комитета Г. А. Де-Воллана. В его «Очерках прошлого» читаем: «Достоевский говорил со мною <в 1878 г.> несколько часов <...>. Заговорили сначала о противоречии, в которое впали наши прогрессисты, отрицая народное славянское движение. «Они не любят наро-

* Касоги — нынешние черкесы.

да, — сказал Достоевский, — они отрицают его и готовы уничтожить〈?!〉». Все это он говорил шепотом, таинственно, как будто в комнате находился больной. «Мы уничтожим народ, — говорил редактор «Отечественных записок»〈?!〉. — Они похожи на генерала в роде Гурко, которому ничего не значит сказать: «Я сошлю, повешу сотню студентов». «Да, они такие же, как генерал Гурко. Находили, что Щедрин принес громадный вред России. Семинаристы, вот кто погубил Россию — Чернышевский, Добролюбов и др. Это одно из зол России〈...〉»¹⁰.

Нет смысла оспаривать по существу предельно заостренное полемической страстью Достоевского высказывание его об отношении Салтыкова к народу. И сам народ русский, и взгляд на его место в исторических и грядущих судьбах страны они понимали по-разному. Суровую, беспощадную критику исторически сложившихся недостатков русского народа и общества, развернутую в их интересах Салтыковым, Достоевский не принимал. Но демократический морализм автора «Бедных людей», его любовь к «простому человеку», его понимание «мужика» как главного корня русской жизни — при всем различии в осмыслении этих явлений им и Салтыковым — содержали и немало близких друг другу элементов. Как будет показано дальше, оба эти идеологических антипода в нашей литературе и оба великих художника знали цену друг друга и их взаимоотношения после полемических бурь начала 1860-х годов отличались глубокой взаимной уважительностью.

Как уже сказано, позиция Салтыкова в славянском вопросе объяснялась, с одной стороны, отрицательной оценкой писателем событий, о которых идет речь, как отвлекающих страну и народ от собственных насущных дел, а с другой стороны — неверием, что самодержавие способно решить историческую задачу освобождения южных славян успешно и бескорыстно. Отвечая тем, кто требовал от него «патриотических» заявлений, Салтыков писал: «Нет, лучше я 〈...〉 останусь в своем углу. С меня достаточно и того, что я верю в силу и жизнённость русского народа и верю в испытанную самоотверженность русского солдата...» (XII, 160). Будущее показало, что ненависть к самодержавию и великодержавному национализму привела Салтыкова к некоторым выводам, не получившим полного подтверждения в ходе последовавших событий. Рассматривая состояние славянского вопроса на более раннем его этапе, Огарев писал Бакунину в 1867 году (взгляд этот разделял и Герцен): «...Россия, и только Россия (ибо другого никого нет), придет на помощь освобождению славян. Это стремление — историческое тяготение, от которого так же невозможно уйти, как от земного тяготения»¹¹.

Действительно, русско-турецкая война 1877—1878 годов и сопутствовавшее ей славянское движение, несмотря на своекорыстные цели и разного рода политико-идеологические спе-

куляции, вносившиеся в эти события самодержавием, панславизмом и националистической пропагандой, сыграли объективно важную роль в стоявшем на историческом череду деле освобождения славянских народов Балканского полуострова от османского ига. Результаты войны принесли освобождение Болгарии и политическую независимость Сербии, Черногории, а также Румынии. Неоднозначными были результаты войны и для внутренней жизни страны. С одной стороны, вооруженное вмешательство России в события на Дунае и обстановка военного времени дали правительству повод, как это и предвидел Салтыков, усилить борьбу с революционным и оппозиционным движением, расширить и ужесточить все формы и виды административно-полицейского контроля. С другой стороны, подготовка к войне, а затем неудачное развитие военных событий содействовали усилению в стране политического недовольства и обострению социальных противоречий, что способствовало подъему очередной волны демократического протеста и вызреванию нового кризиса самодержавия. С окончанием войны и даже несколько раньше вопросы внутренней жизни России перемещаются в центр общественного внимания, вытесняя внешнеполитические и военные темы. Это происходит и в «Отечественных записках», в частности и в произведениях самого Салтыкова.

Середина 1870-х годов — время расцвета «действенного народничества» (Ленин). Часть этого времени, самый пик его — «хождение в народ», Салтыков провел за границей. Он вернулся в Россию, когда это движение было уже подавлено правительством, хотя кое-где еще продолжалось. Но в Петербурге шли открытые судебнополитические процессы над участниками движения. Они произвели, в частности «процесс 50-ти» и «процесс 193-х», огромное впечатление на общество, особенно на студенческую молодежь, и стали активно революционизирующими факторами. В революционных кружках, во всем демократическом лагере подводились итоги движения, обсуждались причины его неудач. Вместе с тем шли интенсивные поиски новых путей борьбы. Результаты их не заставили долго ждать. Ими явились — главнейше — создание тайного общества «Земля и воля» (1876), возглавившего дальнейшую революционную борьбу народников, организация первой в России политической демонстрации в самом центре Петербурга, у Казанского собора (1876), выступление «бунтарей» на юге, в так называемом Чигиринском деле (1877), выстрел Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова с последующим сенсационным оправданием стрелявшей судом присяжных (1878) и другие знаменательные события.

Эта динамичная, тревожная для самодержавия полоса в русской жизни отразилась в ряде небольших произведений Салтыкова, написанных не в сатирической манере — «Непочтительный Коронат» (1875), «Чужую беду — руками разведу»

(1877), «Дворянские мелодии» (1877), «Дворянская хандра» (1878), «Больное место» (1879). Но отразилась не прямо, что было и невозможно в цензурном отношении, а опосредованно, главнейше в изображении «заправской русской драмы», созданной временем. Это была драма «вымывания» из консервативной среды «отцов» волной революционного прилива ищущих новой жизни «детей». Салтыков создает несколько образов молодых людей с высокими духовными запросами. Все они устремлены в своих исканиях к идеалам социальной справедливости, все верят или хотят верить в свет будущего и отвергают родной им по крови, но признаваемый неправедным в своих основах старый мир отцов. Но путь их поисков трагичен. Таков кончающий самоубийством Степан Разумов из рассказа «Больное место» — настоящий перл салтыковской прозы. Таков «Непочтительный Коронат» в одноименном рассказе из «Благонамеренных речей». Такова внучка Юленька из «Дворянской хандры», своего рода предшественница Сони из чеховского «Дяди Вани», верившая, что люди увидят «небо в алмазах», Юленька горячо убеждает своего во всем изверившегося деда: «Заря опять придет, <...> и не только заря, но и солнце. <...> Есть добрые, не падающие духом! есть! И они увидят солнце, увидят, увидят, увидят!» (XII, 495)*. Михайловский прав в своем наблюдении, что в длинной веренице образов, созданных Салтыковым, две категории содержат «минимум отрицательных типов» и вместе с тем максимум симпатии, надежд и доверия писателя — русский народ и молодые люди русского демократического движения с их поисками одухотворенности и социальной справедливости¹².

В названных произведениях середины и конца 1870-х годов, а также в ряде других, не сатирических, Салтыков «исследует» и другую «драму» в идейной жизни русского общества этого времени — все углублявшееся расхождение между предыдущим и современным поколениями передовых деятелей русской общественной мысли и освободительной борьбы (в «Дворянской хандре» эти люди названы «надеждоносцами»). Ни в одном из упомянутых произведений Салтыков не дает, как впоследствии Толстой в «Воскресении», сколько-нибудь цельных образов революционеров, характеристик их идейного мира, психологии, деятельности, быта. И не дает не только вследствие цензурных обстоятельств, но и по причинам творческих трудностей такой задачи. «Новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самую силу обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения <...> — объяснял Салтыков эти трудности и продолжал: — Указывать на его пороки легко, но жутко;

* Цензура выдрала 9 страниц из «Дворянской хандры» за сочувствие автора к революционной молодежи.

указывать же на его добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно» (X, 527—528). Но была тут и еще одна важная причина. С присущей ему открытностью писатель признавался, что он не знает революционного мира и его деятелей, да и не может знать их — так думал он — по социальной отдаленности своей биографии от «людей самоотвержения», как называл он действующих революционеров. И Салтыков упрекает тех, кто, подобно ему, не зная этих людей и их дела, берется, хотя бы и с лучшими намерениями, за художественную разработку данного материала. Такую ошибку допустил, по его мнению, Тургенев в романе «Новь».

В сущности, все главные вопросы об отношении Салтыкова к революционерам-семидесятникам и их борьбе уясняются при ознакомлении с теми мыслями и настроениями, которые возникли у него при чтении «Нови» и со всей непосредственностью и взволнованностью вылились в сразу же написанном рассказе «Чужую беду — руками разведу». Откликаясь на просьбу Анненкова сообщить ему доверительно («не стеснясь»), какое он вынес впечатление от чтения «Нови», Салтыков писал с присущей ему резкостью: «Роман этот показался мне в высшей степени противным и неопытным...» Особенно сурово отнесся Салтыков к тому, как изобразил Тургенев молодых людей, «идущих в народ». «Что же касается до так называемых «новых людей», — читаем в письме, — то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунице! ужели даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья! Перечтите паскудные сцены переодевания, сожигания письма, припомните, как Нежданов берет подводу, и вдруг начинает революцию, как идеальный Соломин говорит: делайте революцию, только не у меня во дворе... Все это можно писать, лишь впадши в детский возраст» (XIX-1, 43).

Читателя, не знакомого близко с Салтыковым, такой отзыв, хотя и с явно проступающим в нем признанием высокого значения деятельности молодых людей, «идущих в народ», может не только «покоробить», как этого опасался сам автор его, по отношению к адресату письма, Анненкову, но и ошеломить. Выше, говоря о том, как воспринял Салтыков начальные главы «Анны Карениной», мы уже отмечали, что срывававшиеся у него под первым впечатлением от какого-либо поразившего его явления, обескураживающие суждения нельзя воспринимать однозначно и абсолютно. Вместе с тем нельзя забывать и того, что любая из шокирующих необузданностей Салтыкова всегда заключала в себе серьезную мотивировку или подоплеку, нелегко иногда различимую под слоем «грубости», которую Салтыков не раз самокритично признавал, усматривая в ней наследие своего пошехонского детства.

Неизвестно, от кого и в какой «редакции» суждения Салтыкова о «Нови» дошли до Тургенева (скорее всего от Ан-

ненкова). Но известно, что они сильно огорчили автора романа. «Мне жаль, что Салтыков *тоже* ругает меня», — писал Тургенев М. М. Стасюлевичу. И затем Е. И. Рагозину: «...по дошедшим до меня слухам, даже такие люди, как Салтыков, раздражаются против меня презрительной бранью. Поневоле усомнишься; и чувствуется потребность в поддержке»¹³. Инцидент вызвал кратковременное охлаждение в дружеских отношениях между писателями. Оно сказалось, надо думать, и на тоне восприятия Тургеневым очередного произведения пера Салтыкова, о чем автор «Нови» писал Ю. П. Вревской: «Прочел я «Детей Москвы» Салтыкова; признаюсь, ничего особенного в них не открыл. Довольно дешевое и довольно тяжелое, часто даже неясное глумление»¹⁴. Правда, «Дети Москвы» не принадлежат к удачам писателя, но корректнейший Тургенев в таких случаях, в иной обстановке, находил для своих критических суждений другой тон и другие слова. А в свой первый, после появления «Нови», приезд в Петербург Тургенев не нанес, как обычно это делал; визита Салтыкову, и последний поставил данное обстоятельство в прямую связь со своим отзывом о романе. Он писал Островскому: «Здесь Тургенев. Я сегодня только узнал, что уж он три дня как приехал. У меня он не был, хотя прежде всегда бывал: вероятно, слышал, что «Новь» не привела меня в восторг. Вот как трудно уживаться с генералами; нужно всем безусловно восторгаться, чтобы пользоваться их снисходительным вниманием» (XIX-1, 60). Вскоре, однако, возникшие взаимные обиды были преодолены. «Все это, впрочем, «тьнь бегущая от дыма»¹⁵, — подведет Тургенев (вряд ли, однако, вполне искренно) строкой из Тютчева итог пережитым огорчениям от обрушившейся на его роман критики. Возможно, что и через два года отрицательное отношение редакции «Отечественных записок» к «Нови» явилось причиной отсутствия ее на обеде петербургских литераторов, устроенном в честь Тургенева 13 марта 1879 года в ресторане Бореля. Что касается Тургенева, то он вскоре вернулся к своим высоким оценкам таланта Салтыкова. В мае 1879 года он публично читал на литературно-музыкальном вечере в Париже, в пользу русской колонии, сказку Салтыкова «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Чтение это вызвало недоумение богатой публики и восторги молодежи¹⁶.

Но что же все-таки так сильно вывело из себя Салтыкова при чтении «Нови»? Конечно, не общая идея романа, выраженная в эпиграфе к нему: «Поднимать следует новь не поверхностно скользкой сохой, но глубоко забирающим плугом». Это указание сельскохозяйственного опыта, применительно к социальной «новии» русской жизни, было близко Салтыкову. Оно соответствовало его собственному убеждению в том, что народные массы страны и само общество русское еще исторически не готовы к решающей борьбе за ради-

кальное переустройство существующего «порядка вещей» и что предстоит еще глубокая распахка и другие способы подготовки «нови» русской действительности для будущего посева и жатвы.

Главное, что поставил Салтыков в вину Тургеневу, — это что он взялся не за свое дело. Отсюда название полемического по отношению к «Нови» рассказа «Чужую беду — руками разведу». «Чужой толк» — сохранил он найденный эпитет и в новом заглавии рассказа при выработке цензурно смягченной редакции его. В письмах Салтыкова этого времени присутствуют и другие, прямо-таки бранные оценки романа, собственно образов «новых людей» на его страницах: «вранье», «глумление» и др. Однако не устанем повторять: это не более чем издержки его полемического темперамента. По существу же Тургеневу предъявлялся упрек не во враждебной тенденциозности по отношению к молодому поколению революционеров, а в недостаточном знании и понимании их и, как результат — в поверхностном и, значит, неверном освещении их «дела», психологии, быта. Салтыков не стоял здесь одиноко. Таково было мнение всей редакции «Отечественных записок». Михайловский посвятил в своих «Записках профана» целую главу доказательству, что «г. Тургенев возымел легкомысленное желание подать свой голос в чужом для него деле»¹⁷. А Некрасов говорил А. Н. Пыпину: «Если он (Тургенев) хотел показать нам, что направление юношей неудовлетворительно — он не показал; если хотел примирить с ними других — не успел; если хотел нарисовать объективную картину — она не удалась»¹⁸. Да и сам Тургенев вскоре признал, что «не сумел сделать <...> так, как бы следовало: верно и живо»¹⁹.

Предьявленная тургеневской «Нови» критика слева послужила осмыслению общей принципиальной позиции, которую, по мнению Салтыкова, должны занимать прогрессивные деятели предыдущего этапа в истории русской общественной мысли — этапа сороковых годов — по отношению к новой исторической действительности, к современности конца семидесятых годов, столь насыщенной духом и событиями революционной борьбы (себя, Тургенева и Анненкова Салтыков относил к «людям сороковых годов»). Позиция эта определялась в цитированном письме к Анненкову словами: «Я думаю, что единственная наша роль — опрятность. В сочувствии нашем никто не нуждается <...>, а от глумления не мешает воздерживаться» (XIX-1, 43). Обоснованию этой позиции, в сущности, и посвящен рассказ «Чужую беду — руками разведу» и частично совпадающие с ним «Дворянские мелодии». Прямую связь рассказов «Чужая беда...» и «Дворянские мелодии» со взглядами Салтыкова на революционное движение улавливали и современники писателя. Об этом свидетельствует революционер и литератор, печатавшийся в «Отечественных записках», В. Ф. Дубов. В письме к А. Н. Эн-

гельгардту от 7 декабря 1877 года он сообщал: «У Салтыкова был вчера <...>, велся разговор о современной молодежи, которая идет и гибнет за идею. Разговор шел очень прерывисто, и я вообще мало что успел сказать. Какое его <Салтыкова> воззрение на этот вопрос, можно догадаться по его «Дворянским мелодиям» в ноябрьской книжке, так что писать не буду»²⁰.

Действительно, «Дворянские мелодии», так же как «Чужая беда...» и «Дворянская хандра», позволяют уяснить общий взгляд Салтыкова на революционное движение 1870-х годов, на этапе «хождения в народ». Он хотел посвятить этому замечательному явлению русской жизни специальный очерк или рассказ²¹. Намерение осталось неосуществленным. Но о том, каково было его отношение к этому явлению, Салтыков скажет в рассказе «Дворянская хандра». Он с горечью констатирует здесь, что власть тьмы и бессознательности, тяготевшая над крестьянским миром, нанесла «хождению в народ» тяжелые раны. Не умея подчас опознать своих друзей в молодых людях, невших в село свет знаний и пропаганду социальной активности, крестьяне нередко передавали этих людей властям или сами разделялись с ними — «стегали». По этому поводу Салтыков писал: «Как бы то ни было, но от мысли, что заправский узел все-таки там, на поселке, никак не уйдешь <...>. Там настоящий пуп земли, там — разгадка всех жизненных задач, там — ключ к разумению не только прошедшего и настоящего, но и будущего. И нужно пройти туда <...> но как же туда пройти, коль скоро там только одно слово и произносится внятно: «стегать»?» (XII, 488). Этот вопрос, исполненный неразрешимой тоски, вставал перед Салтыковым всякий раз, когда он задумывался об отношении масс народного — в то время крестьянского — мира к передовой мысли и ее авангарду, к их попыткам проникнуть в деревню, в среду ее обитателей. Впоследствии — в «Пестрых письмах» — Салтыков скажет, что хотя он и не принимал в «хождении в народ» непосредственного участия, но «всегда относился к нему с сочувствием». При этом он пояснит, что прежде всего ему была близка просветительская идея движения, как он ее понимал, а именно: «внесение луча света в омертвелые массы, подъем народного духа» (XVI-1, 378). Очевидно, что это была совсем другая идея, чем у «правовверных» народников, среди которых было немало бунтарей-бакунистов. Они-то шли в народ с главной целью готовить социальную революцию, готовить, опираясь на силы самого народа. В такую идею Салтыков не верил, считая ее на том этапе совершенно утопичной. Вместе с тем его пояснение или оговорка не означали, что в «действенном народничестве» он видел и ценил только просветительскую активность. Он пристально наблюдал и за прямой революционной борьбой народников. Наблюдал и кое-чему здесь также сочувствовал. Об этом свидетельствуют эписто-

лярные отклики писателя на политические процессы того времени, в частности на «процесс 50-ти», проходивший в феврале — марте 1877 года в Петербурге. Об этом событии, привлечшем к себе внимание не только всей России, но и на Западе, Салтыков писал Анненкову за границу: «А у нас между тем политические процессы своим чередом идут. На днях один кончился <...> каторгами и поселениями <...>. Я на процессе не был, а говорят, были замечательные речи подсудимых²². В особенности одного крестьянина Алексеева и акушерки Бардиной. По-видимому, дело его идет совсем не о водевиле с переодеваньем, как полагает Ив(ан) Серг(еевич)» (XIX-1, 49).

Слова о «водевиле с переодеваньем» взяты из текста «Нови». Они вложены Тургеневым в уста скептического героя романа Нежданова, разочаровавшегося участника «хождения в народ»²³. Такому взгляду Салтыков противопоставляет суждения о революционном «деле» *самых его участников*, высказанные в их речах на судебном процессе — речах «*замечательных*», по оценке писателя. Действительно, эти выступления стали выдающимися событиями и вместе с тем новыми формами в истории революционной борьбы в России. Особенно сильное впечатление произвели исполненные духовного бесстрашия и оказавшиеся провидческими слова из речи питерского рабочего, бывшего крестьянина П. А. Алексеева: «Поднимается мускулистая рука миллионов рабочего люда... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах». Слова эти, сразу же ставшие широко известными, приобрели большое значение в движении русской революции.

На чем, однако, зиждилась высокая оценка Салтыковым речей подсудимых революционеров? По-видимому, содержание их выступлений оказалось для него своего рода «открытием». А именно «открытием» высокого уровня социально-политической сознательности, достигнутой в революционной борьбе ее выдающимися участниками *из народа*, и убежденности молодых революционеров в своей правоте. Это было началом того процесса, который Ленин впоследствии определит при помощи одного из художественных образов Салтыкова как «*пробуждение человека в «коняге»*²⁴. Для Салтыкова, демократа-просветителя и рационалиста, противника стихийности, усматривавшего в «принципе сознательности» и организованности масс основу основ общественного прогресса, такое «открытие» было принципиально важным. Однако оно не означало изменение взгляда писателя на конкретную революционную перспективу настоящего и обозримого будущего. Взгляд этот по-прежнему оставался скептическим. Вспоминая в тех же «Пестрых письмах» о времени революционной ситуации конца семидесятых — начала восьмидесятых годов — времени, тревожном для самодержавия, Салтыков писал, имея в виду распространенность тогдашних ожиданий скорых рево-

люционных событий — «вулканов», на его эзоповом языке: «Никаких вулканов я не заметил, да и теперь не вижу...» И затем так определял «свое собственное дело», свою позицию в общественной жизни и борьбе: «Я призывал к справедливости — только и всего» (XVI-1, 379). Раздумья Салтыкова о будущем в самом деле не шли дальше формулирования социальных идеалов в их самом общем содержании. И все же ограничительная позиция *«только и всего»* никогда в полной мере не удовлетворяла писателя. В его деятельной натуре жили и сила, и стремление к поступкам, к практическим результатам, которые могли бы влиять на ход вещей. Позицию *только* теоретического или морального осуждения социального зла, «нестроения жизни» Салтыков не раз подвергал суровой критике, а также самокритике, вплоть до высказывания сомнений в пользу борьбы за общественные идеалы всего лишь пером литератора. Эти сомнения хотя еще глухо, но уже ощутимо звучат и в «Чужой беде...», и в «Дворянских мелодиях», и в рассказе «Вечерок» — предшественниках его более поздних горьких признаний такого рода, в исполненных глубокого драматизма «Приключении с Крамольниковым» и «Имяреке».

Суровы, беспросветно мрачны в названных рассказах конца 1870-х — начала 1880-х годов характеристики тогдашней социально-политической действительности России. «Мы переживаем время, которое, несомненно, представляет самое полное осуществление ликующего бесстыдства» (XII, 555), — утверждает Салтыков. «Одна мысль явственно давит всех, — заявляет он в другом месте, — ужели действительность, среди которой мы живем, есть действительность конкретная, а не кошмар?» (XIII, 544). Ему кажется даже, что он вращается «среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости» (XII, 273). Картины и образы русской жизни этого времени предстают здесь в предельно сгущенной концентрации отрицательного. Поистине Салтыков был «человеком с обнаженными нервами», как называл его И. Бунин, увлекавшийся им в начале своего творческого пути. Ни Толстой, ни Достоевский, ни Гл. Успенский, ни Гаршин, также наделенные от природы чувствительнейшим восприятием всех элементов социального зла, разлитого вокруг, не аккумулировали в своем сознании, в своем художественном видении действительности это зло так избирательно-односторонне, так мрачно, как Салтыков. И не так уж был далек от истины тот же И. Бунин, соглашаясь, но уже в свои поздние эмигрантские годы, в одном споре, что у Салтыкова невозможно найти что-либо светлое, даже в пейзаже или в описании погоды²⁵.

Все же, однако, приведя свои удручающие характеристики современности, Салтыков счел необходимым сопроводить их двумя важными оговорками. Во-первых, он просит читателя помнить, что такая «темная оценка» имеет в виду не всю со-

временность, а лишь ее «торжествующую часть». К ней писатель относит не только режим самовластия, его политический быт и его социальные опоры, но и вторгнувшуюся в русскую жизнь обывательскую «улицу» и «вакханалию бесстыжества» — аморализм хищничества, которые сопровождали начавшееся шествие по стране «чумазого» — еще молодого, нецивилизованного, необкультуренного российского капитализма. Во-вторых, Салтыков предупреждает, что его «темная оценка», возможно, в значительной мере передает его «личные чувства», то есть что она субъективна. Читателю представлялось «самому распутывать, сколько из приведенной <...> характеристики принадлежит брюзжанью усталого старика, и сколько — действительности» (XII, 556).

«Усталый старик» не может, конечно, безоговорочно отождествляться с Салтыковым. «Чужую беду — руками разведу», «Дворянские мелодии» и другие близкие к ним рассказы — художественные произведения, а не житийные документы. Факты из биографии Салтыкова в них в прямом смысле вовсе не присутствуют. При всем том не подлежит сомнению автобиографический элемент в общем содержании и настроениях этих рассказов. Они те же, что и в письмах писателя тех дней. Вот несколько цитат из них: «А время ныне именно презренное...», «подлее не бывало», «Что-то похожее на бешенство наступило» и др. (XIX-1, 46, 74). Это о восприятии современности. А вот о самоощущении себя как «человека отживающего»: «А я все хирею...», «Мне просто жить в тягость», «остается уже не жить, а кое-как обороняться от небытия» (там же, 43, 81, 29) и т. д.

Несмотря на оговорки и ограничения, которыми Салтыков снабдил свою «темную оценку» современности, нетрудно себе представить, как нелегко было ему жить при *таком* ее ощущении. Оно порождало сознание бессилия перед не поколебленным еще могуществом («физическим» — не идейным) враждебных сил действительности, с которыми всю жизнь сражался Салтыков на всех попрощах своей деятельности. Разумеется, сказывалась в этих мыслях и настроениях и болезнь, мучившая писателя. Осмысливая итоги своего жизненного пути, «рассказчик» в «Чужой беде...» кратко формулирует их горькими словами: «Ни зла, ни добра». А в сочиненном им самим проекте «надгробного слова» для своих будущих похорон «рассказчик», за которым явственно стоит здесь Салтыков, дает себе, в третьем лице, такую характеристику: «Этот человек не самоотвергался лично, но и не ругался над самоотвержением, не плевал на него, не топтал его ногами и не устраивал из него водевиль с переодеванием. Он слышал новые песни, и ежели не имел ни сил, ни умения вторить им в тон, то, во всяком случае, соглашался, что его собственная песнь спета. Клики торжествующего бесстыдства не соблазняли его, а, напротив, поселяли в его сердце уныние,

тоску... стыд! Представление о стыде составляло руководящее начало очень достаточной части его существования* (<...>). Геройство не было в привычках этого человека, а может быть, отсутствовало и в самой природе его...» (XII, 561).

Эти слова, удивительные по мужественному прямолинейно по отношению к самому себе, драгоценны как одна из автохарактеристик отношения Салтыкова к «людям самоотвержения». В близкое осуществление их целей, в возможность скорого возникновения в России нового социально-справедливого «порядка вещей» он не верил. Тут он был близок к Михайловскому, говорившему в 1879 году о предполагавшейся некоторыми участниками революционного движения близости революции: «Это дело веры, я не имею ее»²⁷. Такая позиция не мешала, однако, Михайловскому быть горячим сторонником освободительной борьбы и прямо помогать революционному подполью, что Ленин считал «великой исторической заслугой» Михайловского²⁸. Салтыков не был связан с «подпольем». Но, будучи своего рода романтиком-идеалистом «практического дела», всю жизнь искавшим его, как свою «синюю птицу», и на государственной службе, и в литературно-журнальной деятельности, он, и не веря в близость радикальных перемен, высоко ценил действующих революционеров, беззаветность их практического служения избранному «делу», доходившую до пределов, до «подвигов самоотвержения».

Повторим: нельзя, конечно, прямолинейно биографизировать, применительно к Салтыкову, горькое признание «рассказчика» в «Чужой беде...», что жизнь, в конечном результате, поставила его «лицом к лицу с глухой стеной» (XII, 559). Но нельзя и отрицать, что такого рода нелегкие мысли и настроения нередко посещали писателя в его поздние годы, о чем не раз еще придется говорить. При всей своей высочайшей оценке литературы как одной из высших форм общественного служения. Салтыков не был удовлетворен полностью сферой *только* духовной практики, *только* писательского труда. Он хотел бы участвовать в такой деятельности, которая непосредственно вторгалась бы в социальную действительность, с целью изменить ее в направлении испове-

* В этом же рассказе Салтыков дает следующее определение «стыда», важное для понимания его социально-моральной философии. «Стыд, — читаем здесь, — очищает человека; бессильному он помогает нести бремя бессилия, сильному — внушает мысль о подвиге. Нужно, чтобы возможно большее количество людей почувствовали стыд. Нужно, чтобы люди стыдились не только поражений, но и побед и одолений, не только неудач, но и удач, чтобы в случае неудачи они чувствовали на своем лице пощечину, а в случае удачи — две» (XII, 560). Любопытно сопоставить салтыковский образ «стыда» со словами Маркса о роли «стыда» в прогрессивном общественном движении. «Стыд, — писал Маркс, — это своего рода гнев, только обращенный внутрь. И если бы целая нация действительно испытала чувство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку»²⁶. — С. М.

дуемых идеалов, которая «сдвигала бы вещи со своих мест». Жажда общественного дела была поистине главной чертой в характере Салтыкова. Но в условиях русской жизни прямая общественно-политическая активность для людей, стоявших на позициях критики и отрицания существовавшего строя, была наглухо закрыта в ее легальных формах. Она была возможна только на путях прямой революционной борьбы внутри страны либо в эмиграции. Но ни то, ни другое не было путем Салтыкова. И когда Лавров в 1872 году обратился к нему (через Михайловского) с просьбой принять участие в организуемом группой революционеров заграничном журнале «Вперед», предложение это было сразу и «наотрез» отвергнуто Салтыковым, так же как и Некрасовым и Елисеевым²⁹. Словами своих литературных героев, с автобиографической подкладкой, в том числе и словами «рассказчика» в «Чужой беде...», Салтыков не раз заявлял с присущей ему до конца откровенностью: «...если я, с одной стороны, не хочу торжествовать, то с другой — не могу и не умею самоотвергаться (...). Это не претензия на оправдание, а факт» (XII, 558). Аналитик-социолог в своих суждениях, он и этот «факт» объяснял не только складом своей личности и характера («Не могу! Не умею!»), но и лежавшим на его биографии «бременем» дворянско-помещичьего происхождения, материальной обеспеченности и бытового комфорта (см. XII, 558). Обо всем этом, но уже в широких рамках социально-исторической критики целого поколения прогрессивной дворянской интеллигенции предыдущего периода — «людей сороковых годов», и идет речь в рассказах «Дворянские мелодии», «Дворянская хандра» и в ряде других произведений.

Художественные достоинства этих лирических рассказов были высоко оценены современниками, в частности К. Д. Кавелиным. В письме к К. К. Гроту от 4 февраля 1879 года он писал: «Прочтите последний номер «Отечественных записок», «Дворянскую хандру» Салтыкова. Это бриллиант. Он все идет вперед»³⁰.

Рассказы «Дворянские мелодии», «Дворянская хандра» и некоторые другие рассматриваются иногда как «производные» от созданной Михайловским социально-психологической теории «кающегося дворянина» и им же сформулированной идеи «долга народу» как «руководящего принципа» в направлении возглавляемых Салтыковым «Отечественных записок»³¹.

Действительно, в этих произведениях, по словам Глеба Успенского, «звучит какая-то необычная, мучительная, терзающая нота»³², в которой чувствуется нечто глубоко личное. Конечно, «Дворянские мелодии» и не могли быть для Салтыкова, родовитого дворянина, вполне чужим социальным прошлым. И все же «исповеди», характерные для созданного в теории и воплощенного в художественной литературе того

времени типа «кающегося дворянина», не совпадают в своих основах с самокритикой Салтыкова. Всякое «положение вещей» в мире общественных отношений осмыслилось им исторически и рационалистически, с точки зрения философии социального детерминизма и объективных закономерностей общественного развития. В итоговом для идейного пути писателя автобиографическом «Имяреке» об этой стороне взглядов Салтыкова сказано с полной определенностью: «Имярек вообще не признавал ни виновности, ни невиновности, а видел только известным образом сложившееся положение вещей» (XVI-2, 314). Этот же взгляд, а не психология «кающегося дворянина» или идея «долга народу», лежит и в основе «Дворянских мелодий». «Что же это, наконец, такое? Самобичевание или самооправдание?» — спрашивает Салтыков от имени читателя и заявляет: «На этот вопрос я могу ответить только ukazанием на заглавие настоящей статьи, которое в двух словах исчерпывает всю сущность его. Вот эти слова: *«Дворянские мелодии»* (XII, 270), то есть исторически сложившееся социально-психологическое явление или данность. Салтыков был не только великий художник, но и великий моралист. Но моралист социальный. Личное «покаяние» перед «порядком вещей», созданным объективным ходом исторического процесса, он считал странным и бесполезным.

Салтыковская суровая критика «сороковых годов» — исходный пункт многих размышлений писателя о судьбах отечественной интеллигенции — вовсе не означает, что он недооценивал высокий взлет русской общественной мысли, достигнутый в то время, особенно на последнем этапе этих годов, на этапе «Письма Белинского к Гоголю», социалистического кружка «петрашевцев» и др. Он сам прошел через эту высшую идейную школу и всегда с благодарностью вспоминал о ней. Но его и тогда и теперь тревожила присущая ее участникам изолированность от насущных запросов социальной действительности, их «замкнутость» в «чертогах благородных мыслей и чувств», а также «двоегласие». Идеалы высшей социальной справедливости по Фурье и Сен-Симону фатально сочетались у большинства их юных русских последователей с материальной обеспеченностью и социальной привилегированностью владельцев крепостных душ. Эта «замкнутость» и это «двоегласие» затрудняли поиски выхода на прямые пути деятельности в согласии с исповедуемыми идеалами. Сам Салтыков, пройдя через длительную полосу «противоречий» и «запутанных дел» в своей биографии, выработал свою общественную позицию и нашел свое место в жизни и труде. Он стал одним из великих писателей и деятелей демократической России. Но когда общественно-политическая температура в стране поднималась до точки кипения, как это было в разгар движения революционных народников и ответных «неистовств белой анархии», в его «встревоженной совести» (XII, 555) воз-

никали искры неудовлетворения выбранным путем борьбы. И тогда, вместе со столь близким ему в этих раздумьях и настроениях Некрасовым, он обращал к самому себе трудные вопросы поэта: почему он не в рядах тех,

Кто не робел в огонь идти
За страждущего брата,

«Тургеневу»

почему он не с теми, кто

...видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой?

«Пророк»

Однако сильный реалистический ум Салтыкова искал и находил оправдание этим суровым самообвинениям. Они приводили, хотя и не всегда, к успокаивавшему сознанию-балансу, что в условиях русской жизни, гражданственно неразвитой, политически безгласной, художественная и публицистическая критика существующего строя, гуманистическое могущество отечественной литературы в ее высших достижениях имели всю цену *прямого участия* в борьбе с «царяющим злом», все значение «дела», «поступков» в этой борьбе.

В рассказе «Чужую беду — руками разведу» Салтыков хотел со всей доступной эзопову языку ясностью сказать о своем отношении к революционному движению того исторического момента — движению, в котором он «не все понимал», но к которому относился «скорее сочувственно»³³. Однако, как уже сказано, это важное признание не дошло в тот момент до читателя. Набранный для февральской за 1877 год книжки «Отечественных записок» рассказ был изъят из нее по требованию властей³⁴. В письме к Анненкову Салтыков так сообщал об этом происшествии: «Я, собственно, написал было рассказ, навеянный на меня «Новью», но должен был, по обстоятельствам, отложить его до более благоприятного времени. И так как этот переполох с моим рассказом вышел уже 15 февраля, то я вынужден был в два вечера написать другой рассказ, который Вы, конечно, и прочтете в февральской книжке. Я этот рассказ писал под впечатлением именно этого переполоха. Он плох, но в нем есть мысль, что для презренного нынешнего времени другой литературы и не требуется. Я несколько таких рассказов напишу, которые приведут самую цензуру в изумление» (XIX-1, 45)*.

Написанный «в два вечера», после пережитого «переполоха», рассказ этот — свидетельство удивительного творческого самообладания, самодисциплины и «оперативности» писате-

* То есть «приведут (<...> в изумление», как полагал Салтыков, нарочитой бессодержательностью и даже пошлостью. Такова будет в недалеком будущем и сатирически дерзкая мотивировка «Пошехонских рассказов», собственно первых из них.

ля — получил ироническое или, скорее, саркастическое название «Современная идиллия». Аттестованный автором по низкой оценке, как «плохой», он оказался в ряду блистательных произведений салтыковской сатиры. Удивительно, что одна и та же политическая обстановка — «неистовства белой анархии» — вызывала писателя на создание произведений совсем разных тональностей. В «Чужой беде...» и других упомянутых рассказах конца 70-х годов господствуют элегический минор «дворянских мелодий», ностальгическая хандра исторически и физически уходящего поколения передовых «людей сороковых годов» и разьедающий самоанализ. В «Современной идиллии», напротив того, звучит жесткий мажор сарказма и пафос высшего презрения по отношению к изображаемым в произведении мерзостям охранительно-полицейской «идиллии» в тогдашней полосе русской жизни. Это художественный суд писателя над правительственной реакцией и ее социально-психологическими опорами — пассивностью и моральной дряблостью общества, переходящими в трусливую и подлую практику полицейской «благонамеренности» и шкурного самосохранения, или, по словечку Салтыкова, — «гожения»*, то есть воздержания от каких-либо не только поступков, но и настроений социально-политического протеста. Вскоре, однако, печатание «Современной идиллии» прервалось. Салтыков возобновит работу над этим произведением уже в восьмидесятые годы, когда Россия войдет в еще более мрачную и глубокую полосу политической и общественной реакции**. Исполненные сатирической дерзости дебютные главы «Современной идиллии» вызвали любопытный, но несколько двусмысленный отзыв Анненкова в письме к Тургеневу от 27 апреля/9 мая 1877 года. «Я что-то перестал понимать русскую жизнь, — писал он. — С одной стороны, выговоры дают за невинную повесть, а с другой — Салтыков расхаживает, как с желтым билетом. Прошлый раз изображал двух шутов, которые нашли, что для полного вида благонадежных людей им надо непременно замарать себя какой-нибудь гнусностью, и размышляют, что выбрать — кровосмешение или двоеженство. Нынче представляет составителей устава благочиния, имеющего целью открыть свободный доступ во все квартиры. И ничего! Правда, что уж очень забавно, а перед уморительным рассказом русская строгость немеет. Такого забияки, как Салтыков, еще и не было у нас: он открыл вдобавок секрет быть приятным тому, кому в лицо плюет. Это — гениальный человек»³⁵. Впоследствии, когда Салтыков возобновит и закончит работу над «Современной идиллией», Анненков даст в письме к ее автору восторженный отзыв о всем произведении.

* Щедринизм — от глагола «годить», «погодить». — С. М.

** См. об этом ниже, с. 257—270.

7. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД.—ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ.— БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ НЕКРАСОВА

Жизнь Салтыкова в Петербурге после возвращения из-за границы протекала в ранее сложившихся формах и ритмах. Лишь участие в развлекательно-гастрономических собраниях «компании мушкетеров»* пришлось, из-за состояния здоровья, сильно ограничить, а затем и вовсе прекратить. Но по-прежнему неизменной оставалась огромность писательского и редакторского труда. Последний, вследствие болезни Некрасова, существенно увеличился как в объеме, так и в ответственности. Немалое время отнимало у Салтыкова и возобновившееся участие в деятельности Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым — Литературного фонда. Живая заинтересованность писателя в трудах этого учреждения, одним из членов-учредителей которого он являлся, была действенным проявлением его беззаветной преданности отечественной литературе и его глубокого сочувствия бедственному положению ее рядовых тружеников, воплощенного с такой тоскующей любовью в образе Пимена Коршунова из рассказа «Похороны». Работа Салтыкова в Литературном фонде — примечательная сторона его общественной биографии и должна быть освещена. О значении, которое Салтыков придавал Литературному фонду и «званию литератора», по своему свидетельствует такой любопытный факт, как избрание восьмилетнего сына писателя, по представлению последнего, в члены Литературного фонда, своего рода пережиток старинной традиции определения дворянских сыновей на военную службу еще в их детстве.

В 1876 году Салтыков вновь был избран (впервые это было в 1871 году) членом Комитета Литературного фонда; в 1877-м — помощником председателя Комитета; в 1879-м — членом Ревизионной комиссии, а в 1880—1881 годах опять занимал выборные посты члена Комитета¹. Но и прекратив, по состоянию здоровья, работу на выборных должностях в Обществе, Салтыков продолжал интересоваться его делами и при-

* Круг близких знакомых Некрасова и Салтыкова, который последний иронически называл «компанией мушкетеров».

нимать в них активное участие. По мемуарному свидетельству Александра Блока, Салтыков ездил на заседания Общества обычно с дедом поэта, ректором Петербургского университета профессором А. Н. Бекетовым, с которым сблизился на почве этой общественной деятельности. После заседания они, вместе с другими его участниками, обычно посещали известные петербургские рестораны Бореля или Донона. Вот относящаяся сюда запись Блока из «Материалов для поэмы» («Возмездие»): «А. Н. Бекетов всегда вместе с Щедриным ездит на заседания Литературного фонда, нанимают карету. Уже большой Щедрин. Щедрин у Донона — лакею, принесшему лангусту: «Ступай вон со своим раком». Циник, вечно «злится»². Последние слова отражают ходячую, но далекую от объективности репутацию писателя среди мало знавших его лиц. А вот другая запись Блока (из его автобиографии) о Бекетове и Салтыкове, которых он типологически сближает: «Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (...). Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен...»³.

По инициативе Н. Н. Тютчева, поддержанной Салтыковым, «Отечественные записки» стали начиная с 1871 года регулярно помещать информацию о деятельности Литературного фонда, извлекаемую из протоколов заседаний его Комитета. Протоколы удостоверяют, что Салтыков неоднократно возбуждал или поддерживал ходатайства о выдаче денежных ссуд и пособий нуждающимся и больным литераторам, в их числе Гл. Успенскому, Вс. Гаршину, Вас. Слепцову, А. Осиповичу-Новодворскому и др. Последний, когда он заболел туберкулезом, был по настоянию Салтыкова отправлен, на средства Литературного фонда, на лечение в Ниццу. А если взявший срочную ссуду литератор оказывался не в состоянии возратить ее, Салтыков принимал иногда в качестве поручителя участие в погашении ссуды из своих денег, превращая тем самым ее в безвозвратное пособие.

В начале мая 1880 года, в связи с предстоявшим открытием памятника Пушкину в Москве, Салтыков выступил с инициативой учреждения «Пушкинского капитала» Литературного фонда. Написанный им проект соответствующего постановления был, с некоторыми изменениями, утвержден 25 мая 1880 года. Документ подписали: тогдашний председатель Общества — лицейский товарищ Салтыкова В. Гаевский, по-

мощник председателя А. Краевский, члены Комитета А. Бекетов, Ф. Воропанов, П. Гайдебуров и М. Салтыков. Вот текст этого постановления. Он интересен как материал для характеристики отношения Салтыкова к Пушкину и пушкинскому празднику в Москве.

«Открытие памятника Пушкину соединило всю мыслящую Россию в общем чествовании его памяти, — читаем в этом постановлении. — Чтобы ознаменовать это народное торжество чем-либо достойным имени великого поэта, Комитет Общества для пособий нуждающимся литераторам и ученым, по уполномочию Общества, постановил: 1) основать неприкосновенный капитал для выдачи пособия на издание замечательных литературных и ученых трудов, которые по недостатку средств не могут быть обнародованы самими их авторами; 2) капиталу этому присвоить наименование Пушкинского. Заявляя об этом, Комитет выражает надежду, что настоящее празднество будет торжеством не только для памяти чествуемого поэта, но и для всей русской литературы и что оно возвысит и укрепит в обществе то чувство уважения, которого литература наша по справедливости заслуживает»⁴.

Была у Салтыкова еще одна идея, связанная с пушкинским праздником. В день открытия памятника в Москве (Салтыков был, разумеется, приглашен туда, но не поехал) он предложил Литературному фонду устроить в Петербурге свой пушкинский праздник — в форме «коммеморативного обеда» писателей. Предложение было принято, вопреки несогласию Тургенева, писавшего Гаевскому, Стасюлевичу и, вероятно, самому Салтыкову: «Об отдельном обеде и т. п. в Петербурге нечего и думать; надобно, чтобы манифестация была полная и чтобы все литераторы и др. явились сюда (то есть в Москву) в полном сборе»⁵. Действительно, вскоре выяснилось, что в назначенный день, 26 мая, большая часть членов Комитета и других литераторов будет в Москве. Салтыкову пришлось письмом в редакцию газеты «Молва» известить об отмене предполагаемого обеда.

К следующему, 1881 году относится замысел Литфонда хлопотать перед правительством об освобождении Чернышевского. Вопрос был поднят публично в передовой статье газеты «Страна», в номере 7 от 15 января 1881 года. Автором статьи — без подписи — был редактор-издатель газеты Л. А. Полонский. Выступление это, за которое газета получила «предостережение», вызвало большой общественный резонанс. Откликнулся на нее и Литературный фонд в лице его председателя В. П. Гаевского. Об этом свидетельствует его письмо к А. Н. Пышину от 18 января 1881 года, в котором содержатся такие строки: «Хотя «Стране» дано уже предостережение за статью о Чернышевском, но я все-таки намерен ходатайствовать о его возвращении. Будь что будет, а сделать нужно, что

следует. Не можете ли в этих видах — нужно будет обставить дело поумнее — сообщить мне, как *председателю Литературного фонда*, возможно подробные сведения о положении Чернышевского и его семейства, а также о том, не было ли уже попыток к подобному ходатайству и если да, то чем мотивировались отказы»⁶.

Запрашиваемые сведения были сообщены А. Н. Пыпиным, но инициатива эта, как и ряд других, не имела практических последствий. Вряд ли можно сомневаться, что Гаевский обсуждал свой замысел с Салтыковым, ведь они были не только коллегами по Литфонду, но находились в близких многолетних товарищеских отношениях. Сохранилось и документальное свидетельство осведомленности Салтыкова в возникшем замысле. Это оставшаяся в одной из черновых бумаг В. П. Кранихфельда, относящихся к его работам о Салтыкове, запись: «Письмо Гаевского Салтыкову 81 года. Освобождение Чернышевского»⁷. Письмо не сохранилось, но нет сомнения, что речь в нем шла о том же, о чем Гаевский писал Пыпину.

С участием в деятельности Литературного фонда связаны и все относительно немногие выступления Салтыкова с публичным чтением своих произведений (он этого не любил) на благотворительных «утрах» и «вечерах», сбор с которых шел в кассу Литературного фонда. Чтения происходили обычно в залах Благородного собрания (ныне зал Ленинградской филармонии) или Купеческого собрания. По отзыву С. Н. Кривенко, насколько публично Салтыков читал «нехорошо», «настолько же с удовольствием можно было слушать его в кабинете. Читал он просто, без всякой манеры, без ударений, без интонации и вообще без всякой искусственности, но увлечение предметом невольно передавалось и вам»⁸. Известны, однако, и другие свидетельства, с иной оценкой публичных чтений Салтыкова. Таково, например, свидетельство поэта и собирателя фольклора Д. Н. Садовникова, в записи его дневника от 10 марта 1879 года. Вот эта запись: «Вчера в Благородном собрании был литературный вечер с участием Достоевского, Полонского, Салтыкова, Тургенева и Плещеева с Потехиным <...>. Вечер прошел блистательно. Щедрин прочел очень своеобразно один из своих недавних рассказов*, временами и очень кстати зевая. Его одутловатое лицо, значительно седая борода и темные еще волосы, самый голос, — все это как нельзя более шло к содержанию и тону рассказа о том, как русский человек «годит». Произвел сенсацию: вызывали три раза. Я так и думал, что он, в конце концов, нетерпеливо крикнет: «Ну, чему обрадовались? Черти!» Однако нет — аплодисменты смягчают»⁹. А вот другой отзыв, газеты «Голос», о чтении, состоявшемся 28 декабря 1879 года в том же зале Благородного собрания: «Наибольшие овации доста-

* Салтыков читал первые главы «Современной идиллии». — С. М.

лись на долю двух писателей: М. Е. Салтыкова, деятельности которого так глубоко сочувствует вся лучшая часть нашего общества, и умолкнувшего слишком рано романиста Д. В. Григоровича <...>. М. Е. Салтыков читал отрывки из своего «Монрепо»* — печальной эпопеи наших печальных дней, дней пышного расцвета науки «сердцеведения» <...>. Рукописания, раздававшиеся во время самого чтения, превратились по окончании в бурю аплодисментов»¹⁰.

В 1884 году Салтыков обратился со своего рода воззванием к русскому обществу о пожертвованиях Литературному фонду, влачившему тогда скудное существование. Это было сделано в статье VIII цикла «Между делом» (журнальной редакции). Поводом для выступления послужили почти полное молчание печати о 25-летнем основании Литературного фонда** и помпезное чествование Городской думой немецкого писателя Шпильгагена, приехавшего в Петербург на премьеру своей драмы «Gerettet».

«Что Шпильгаген очень талантливый писатель и в шестидесяти годах имел значительное влияние и на русскую литературу, и на русское общество, — писал Салтыков, — это бесспорно; но Дума-то петербургская тут при чем? Шпильгагена чествуют, а вот про то, что в Петербурге существует Общество для пособия русским литераторам и ученым, которое на днях втихомолку праздновало свое двадцатипятилетие, — никто знать не хочет. А право, ведь это учреждение сотни Шпильгагенов стоит. Подумайте, оно одно поддерживает (насколько может) интересы пишущего пролетариата, одно, которое без ужимок признает свою солидарность с русскою литературой! Каких еще больших прав нужно*** на внимание общества!» (XV-2, 262—263).

В том же году Салтыков дал разрешение московской труппе известного актера Андреева-Бурлака на представление в Петербурге, в пользу Литературного фонда, пьесы «Иудушка» по «Господам Головлевым», хотя и спектакль этот, и сама инсценировка романа решительно не нравились ему («Совершенное идиотство»). По этому поводу он писал В. П. Гаевскому: «Ради Литературного фонда я согласился дать опакостить себя представлением «Иудушки» (XIX-2, 308)****.

Друзьям Салтыкова было известно, какое удовлетворение

* Салтыков читал рассказ «Монрепо-усыпальница». — С. М.

** Эта дата была отмечена юбилейным обедом, у Донона, членов Комитета. На обеде присутствовал и Салтыков.

*** В собр. соч. опечатка: слово «нужно» пропущено. — С. М.

**** Нельзя не указать, однако, что эти суровые оценки находятся в разительном противоречии с тем, как была воспринята постановка Андреева-Бурлака, который был также исполнителем главной роли, театральной критикой и зрителем (см., например, «Новое время», 1884, 18 апреля)¹¹. См. об этом спектакле также на с. 224.

испытывал он от всякого проявления действенного внимания к Литературному фонду. Подтверждением может служить рассказ Н. А. Белоголового, относящийся к его совместной с Салтыковым жизни летом 1885 года в Висбадене. «В числе моих хороших знакомых, — читаем в его воспоминаниях, — жил тогда граф П(ротасов)-Б(ахметьев), который посещал нас довольно часто; это был старый холостяк, образованный и очень богатый аристократ, относившийся с большим почтением к Салтыкову; чтобы поразнообразить для Салтыкова наш довольно, в сущности, однообразный стол, я попросил графа П(ротасова) задать нам тонкий обед <...>, а чтобы еще скрасить этот фестиваль для Салтыкова, пожертвовать несколько сот в пользу Литературного фонда, в котором Михаил Евграфович принимал всегда самое горячее участие. Обед был устроен на славу, а когда в заключение за десертом хозяин поднес Салтыкову, помнится, тысячу рублей для внесения от имени неизвестного в Литературный фонд, то Михаил Евграфович был совсем растроган»¹².

В свою очередь и сам Салтыков завещал Литературному фонду какую-то сумму. Сверх того, Стасюлевич, издатель первого посмертного собрания сочинений Салтыкова, внес в ноябре 1889 года в кассу Литературного фонда, согласно предсмертному желанию писателя, 1000 рублей из гонорара, причитавшегося наследникам¹³. Этот вклад вместе с «завещательным» послужил основанием для создания «фонда Салтыкова». Какая сумма была завещана Салтыковым — в точности неизвестно. Но в письме осведомленного А. Н. Плещеева к А. С. Гацискому читаем: «Капитал Салтыкова уже возрос до весьма значительной суммы, несмотря на то что прошел только год по его смерти»¹⁴.

Говоря о биографии Салтыкова второй половины семидесятых — начала восьмидесятых годов, остановимся еще на двух обстоятельствах: во-первых, на «относительном выравнивании» (формулировка Вас. Вас. Гиппиуса) взаимоотношений с Достоевским, после их ожесточенной полемики 1863—1864 годов, и, во-вторых, на болезни и смерти Некрасова. Это последнее событие, в результате которого Салтыков стал преемником поэта на посту руководителя «Отечественных записок», стало важным этапом в жизни и деятельности писателя.

Но сначала о взаимоотношениях между Салтыковым и Достоевским, как они сложились во второй половине семидесятых годов.

Известна книга С. Борщевского «Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы». Она вышла в 1956 году. Плод большого исследовательского труда, книга построена преимущественно на изучении относящихся к обозначенной теме «высказываний» обоих писателей — печатных и рукописных, впервые тогда собранных с такой полнотой (хотя включение иных из них в сопоставительный анализ представляется

спорным)*. Однако, сосредоточившись на изучении «идейной борьбы», действительно определившей многое во взаимоотношениях писателей, принадлежавших к разным направлениям общественной мысли, автор абсолютизировал эту борьбу и в значительной мере ограничил ее осмысление противопоставлением мировоззренческих взглядов Салтыкова и Достоевского. На страницах книги оба они предстают не великими писателями, создателями огромных художественных полотен современной им русской действительности, глубоко проникшими в духовную жизнь отдельного человека и целых социальных групп, а политическими противниками, находящимися в постоянной дискуссии друг с другом. При этом идеологические взгляды их нередко заостряются: для Салтыкова — радикализацией его отношения к революции, для Достоевского — педализацией реакционных элементов в мировоззрении писателя. Симпатии автора всецело принадлежат Салтыкову, всегда поэтому одерживающему верх в спорах с Достоевским. Такой «щедриноцентристский» подход придал книге тенденциозную односторонность и предопределил предвзятое толкование некоторых высказываний, содержащихся в привлеченных к исследованию источниках. Для подтверждения сказанного остановимся на одном из таких толкований. Оно необоснованно относит к Достоевскому одну из беспощадных «катилинарий» Салтыкова — его гневную характеристику «пустоутробных» людей. Речь идет об ответе Салтыкова на выпад против него, содержащийся в восьмой книге «Братьев Карамазовых» («Золотые прииски»). Здесь, в сцене свидания Мити Карамазова с «пустейшей — по оценке Салтыкова — г-жой Хохлаковой», Достоевский вложил в ее уста такую тираду: «Я ровнее не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие и даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем — вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Федорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрина. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отравила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: «Обнимаю и целую Вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте»**.

* Таковы, например, «открытия» «противощедринских штрихов» в образе Ракина из «Братьев Карамазовых», «сопряженности», в сказке «Дикий помещик», полемики Салтыкова с «Записками из подполья», «отклика» на роман «Идиот» в «Истории одного города» (в образе градоначальника Фердыщенко) и др. Столь же спорны утверждения, будто казарменная утопия Угрюм-Бурчеева строительства города Непреклонска перешла в «систему Шигалева» из «Бесов» и что сам Шигалев вобрал в себя черты создателя этой утопии, а в образе Петра Верховенского полемически отразились элементы образа Митрофана из «Господ ташкентцев» и др. Эти и подобные им наблюдения более чем субъективны и необидительны.

** Достоевский имеет тут в виду рассказ Салтыкова «По части женского вопроса» (Отечественные записки, 1873, № 1). В своей записной тетради он отозвался об этом рассказе как об «остроумнейшей сатире»¹⁵. — С. М.

И подписалась: «мать». Я хотела было подписаться «современная мать» и колебалась, но остановилась просто на матери; больше красоты нравственной <...> да и слово «современная» напомнило бы им «Современник» — воспоминание для них горькое...»¹⁶

Текст этот появился в октябрьской за 1879 год книжке «Русского вестника». А через месяц, в ноябрьском номере «Отечественных записок», Салтыков, закончив очередную главу — «Первое октября» — из цикла «Круглый год», добавил к ней постскрипtum, содержащий его первый полемический ответ на выпад Достоевского. В нем были следующие сердитые строки: «Такого письма я не получал, и вся эта «выдумка», очевидно, сочинена салопницей Хохлаковой для того, чтоб напомнить: был, дескать, журнал «Современник», так вот не он ли устами «писателя» Щедрина продолжает говорить. Ах, эти салопницы! То из старой одежды чего-нибудь на бедность просит, а то вдруг, ни с того ни с сего съязвит. Съязвит глупо, беззубо, но в то же время ужасно противно, хоть форточки отворяй! Вот хоть бы в данном случае: об чем докучает салопница Хохлакова? — об том, чтоб я *продолжал* писать о назначении *современной* женщины. Но я об этом-то именно предмете всего менее и писал <...>. Вот если бы вы, салопница Хохлакова, поблагодарили меня за изображение людей, «которые *мертвыми* дланями стучат в *мертвые перси*»* — такой благодарности, быть может, я заслуживал бы. Подобных людей я действительно изображал и надеюсь изображать и в будущем...» (XIII, 775). Не удовлетворившись этим кратким ответом, Салтыков продолжил его в следующей главе «Круглого года» — «Первое ноября». Давая здесь свою дополнительную характеристику образа Хохлаковой, он, в частности, писал: «Я охотно соглашаюсь, что Хохлакова, как и всякая другая «приятная» дама, есть не что иное, как проезжий шлях, который всякий может топтать ногами: и мудрец, и глупец, и человек убежденный, и человек, *стучащий мертвыми дланями в пустые перси, и человек добра, и изувер, мечтающий о кострах*» (XIII, 776—777)**.

Контекст, в котором приводятся подчеркнутые слова, не содержит сам по себе прямых указаний на то, что он отнесен непосредственно к Достоевскому. Такому толкованию противостоят два объективных обстоятельства. Прежде всего, слова о людях, которые «мертвыми дланями стучат в мертвые перси», взяты Салтыковым в кавычки (при первом их употреблении). Почему? Потому что это автоцитата из главы «Монрепо-усыпальница». Но глава эта — из «Убежища Монрепо»,

* Подчеркнуто мною. — С. М.

** Подчеркнуто мною. — С. М. При подготовке отдельного издания «Круглого года» (1880) Салтыков изъясил из текста оба полемических пассажа, отвечавших на выпад Достоевского. Они остались только в первопечатной журнальной публикации.

и появилась она в августовском номере «Отечественных записок» за 1879 год, *то есть за два месяца до полемического выпада Достоевского*. Очевидно, что никакого отношения к этому выпадку слова, о которых идет речь, не имеют и не могли иметь. Ими Салтыков заклеил *лжепатриотов*, а также всех других людей, лишенных истинных убеждений, «пустотробных»*. Затем в свой гневный ответ Салтыков счел необходимым ввести слова высокой оценки Достоевского, его «верного художественного чутья, которое составляет отличительное достоинство произведений этого талантливейшего из последователей Гоголя» (XIII, 777). Совершенно невозможно представить себе, чтобы такая характеристика Достоевского сочеталась бы, и это в одном тексте, с отнесением его к «пустотробным» людям, «которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси», и к «изуверам, мечтающим о кострах». К сожалению, столь ошибочное толкование, впервые предложенное В. Л. Комаровичем¹⁷ и принятое С. С. Борщевским, вошло и укрепилось в литературе о Достоевском и Салтыкове, в том числе и в научных собраниях их сочинений¹⁸. Но в одном из позднейших трудов, посвященных Достоевскому, в книге Л. М. Розенблом правильно сформулирована общая принципиальная точка зрения, с которой следует рассматривать и оценивать сложнопротиворечивые взаимоотношения этих писателей. «Самые резкие взаимные нападки, которыми изобиловала полемика Достоевского и Салтыкова, — читаем здесь, — не поколебали в каждом из них представления о художественном таланте и огромном масштабе деятельности другого»¹⁹. И это действительно так. И Достоевский и Салтыков были великими художниками-аналитиками. Но если автор «Идиота» «исследовал» преимущественно глубины индивидуального сознания и психологии, то Салтыков больше всего был погружен в осмысление огромной сложности психологии отдельных социальных групп и целых классов. Подобно Бальзаку в отношении к современному ему французскому обществу, Салтыков создал монументальную в своей глубине и широкоохватности социально-художественную типологию русского общества XIX века. Достоевский знал и высоко ценил эту особенность писательского таланта Салтыкова.

Полоса определенного сближения Салтыкова и Достоевского падает на семидесятые годы. В это время они не раз встречаются и ведут разговоры, исполненные глубокой содер-

* Вот эти слова из «Монрепо-усыпальницы»: «Есть люди (в последнее время их даже много развелось), которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые суконым языком выкликают: «Звон победы раздавайся!» — и зияющими впадинами, вместо глаз, выглядывают окрест: кто не стучит в перси и не выкликает вместе с нами? <...> По моему мнению, люди, занимающиеся этим ремеслом, суть иезуиты <...> Они настрают мертвыми руками бесчисленные ряды костров и будут бессмысленными, пустыми глазами следить за предсмертными конвульсиями жертвы, которая, подобно им, не стучала в *пустые перси*...» (XIII, 334).

жательности, разговоры «мирные», хотя и совсем не чуждые присутствия кипящих в каждом полемических страстей. Они внимательно следят за писательской деятельностью друг друга и в своих взаимных отзывах о ней сочетают критику, определяющуюся идейными позициями каждого, с высокими общими «художественными» оценками*.

В 1871 году Салтыков писал об авторе романа «Идиот» и о самом романе: «По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в основание романа «Идиот», — и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распределении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество, кажутся лишь промежуточными станциями» (IX, 412—413).

Едва ли это не самая глубокая характеристика и не самая высокая оценка своеобразия таланта Достоевского и огромности замысла романа «Идиот» из всех данных современниками, хотя и сопровождаемая дальше суровой критикой присущих роману реакционных элементов (нападки на революционеров и др.) и его — по оценке Салтыкова — художественных слабостей. Об этом Салтыков говорил и Л. Ф. Пантелееву: «Это <роман «Идиот»> — гениально задуманная вещь; в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и бог знает как скомканного»²⁰.

Не подлежит сомнению, что согласие Некрасова на сделанное ему Достоевским в 1874 году предложение напечатать «Подростка» в «Отечественных записках» было дано с ведома и одобрения Салтыкова — редактора беллетристического отдела журнала. Некрасов не мог обойти в этом вопросе своего соредактора**. Когда спустя год Достоевский представил в ре-

* Особенно пристальный интерес был проявлен Достоевским в это время к рассказу Салтыкова «Непочтительный Коронат», раскрывшему суть «заправской русской драмы» того времени.

** Все же, однако, редакция «Отечественных записок», а значит, и Салтыков сочли необходимым объяснить читателям неожиданное появление автора «Бесов» на страницах своего журнала. Это было сделано Михайловским в статье «Записки профана». Она появилась в той же январской книжке «Отечественных записок» за 1875 год, в которой началось печатание «Подростка».

дакцию рукопись первых глав романа, Салтыков был тяжело болен, и возникает серьезное сомнение, мог ли он тогда познакомиться с этими главами. Правда, Некрасов сказал Достоевскому, что Салтыков «читал» их и «очень хвалит»²¹. Быть может, однако, это был один из «дипломатических ходов» Некрасова, призванный устранить возможное со стороны Достоевского опасение, что Салтыков выскажется против сотрудничества в оппозиционно-демократическом журнале автора «Бесов». Но такого рода опасения, если они имелись у Достоевского, оказались, по-видимому, необоснованными. И Некрасов и Салтыков, при всей своей идеологической принципиальности, были редакторами широкого взгляда в оценках таких выдающихся писательских талантов, как Достоевский и Толстой. Однако, когда первые главы «Подростка» были уже отпечатаны, они вызвали у Салтыкова резко отрицательную реакцию. «Роман Дост(оевского) просто сумасшедший», — писал он Некрасову из Баден-Бадена по прочтении окончания второй части, появившейся в майской за 1875 год книжке журнала (XVIII-2, 185). Но жесткое суждение это не помешало его начавшемуся общению с Достоевским. Да и неизвестно, сохранил ли Салтыков эту первоначальную оценку для всего романа в целом.

В предыдущей книге настоящего труда рассказано о примечательном разговоре (он был о народе, об отношении к нему), возникшем при посещении Достоевским больного Салтыкова, незадолго до отъезда последнего за границу, а именно в феврале 1875 года²². Это была первая известная нам «мирная» встреча писателей после полемических бурь начала шестидесятых годов. Она была предпринята по инициативе и при посредничестве Некрасова, но в соответствии с желаниями самого Достоевского. Это видно из следующих слов его письма к жене Анне Григорьевне от 12 февраля 1875 года: «...Некрасов в субботу же (15 февраля) хочет везти меня к Салтыкову (а я очень хочу завязать это знакомство)...»²³

Вторая встреча состоялась в начале осени 1876 года, после того как Салтыков вернулся в Петербург из Витенева. В письме от 29 августа секретарь «Отечественных записок» А. Н. Плещеев сообщил Достоевскому, с которым находился в старинных дружеских отношениях, о просьбе редакции, то

* Слова «завязать знакомство» следует понимать здесь в смысле *возобновить знакомство*, возникшее еще в конце 1840-х годов, хотя и «очень малое» тогда. В одном из своих следственных показаний по делу Петрашевского и о его «пятницах» Достоевский так ответил на поставленный ему вопрос о Салтыкове: «Бывши очень мало знакомым с г-ном Салтыковым, я ничего не знаю об отношениях его к Петрашевскому»²⁴. Быть может, однако, что эти показания для следствия не совсем соответствуют истине, кроме того, возможно, что Салтыков встречался с Достоевским в начале шестидесятых годов. В журнале Достоевского «Время» (1862, № 4) были опубликованы два произведения Салтыкова: «Недавние комедии» и «Наш губернский день». — С. М.

есть Некрасова и Салтыкова, предоставить журналу какие-либо из новых своих произведений. При этом Плещеев писал, имея в виду только что состоявшийся отъезд Некрасова в Ялту: «Здесь (в Петербурге) Салтыков, адрес которого сообщая тебе на случай, если бы ты нашел нужным видеть его для каких-либо переговоров»²⁵. Свидание вскоре состоялось, вероятно на квартире Салтыкова. Речь, несомненно, шла о дальнейшем сотрудничестве Достоевского в «Отечественных записках». Из позднейшего «открытого письма» Анны Григорьевны Достоевской в газету «Новое время» (номер от 5/17 февраля 1886 г.) известно, что, после того как окончилось печатание в журнале «Подростка», Некрасов и Салтыков просили Федора Михайловича о продолжении сотрудничества и получили на то его согласие. Была обещана небольшая повесть в 3—4 печатных листа и в счет ее выдан аванс в тысячу рублей, но почему-то повесть не была написана. По смерти Некрасова Салтыков напомнил Достоевскому о повести (не о деньгах)*, и тот снова обещал ее, но обещание так и осталось невыполненным. На страницах «Дневника писателя» за октябрь и декабрь 1876 года Достоевский кратко изложил содержание неделовой части состоявшегося тогда (может быть, также и позднее) разговора, примечательного для идейных и творческих интересов обоих писателей. Оно касалось двух тем: кризиса «семейного начала» и соотносительного значения «действительности» и «воображения» в художественном творчестве.

К первой теме относится следующее место в декабрьском за 1876 год выпуске «Дневника...»: «Да семейства у нас вовсе нет», — заметил мне недавно, возражая мне, один из наших талантливейших писателей»²⁶. Сюда же относятся три записи из рабочих тетрадей к «Дневнику...» за сентябрь и декабрь 1876 года: «Нет семьи», — говорит Щедрин»; «У нас нет семьи», — вспомнились мне слова одного из наших талантливейших сатириков, сказавшего мне это»; «Семейства нет, Щедрин, ласкающий ребенка»²⁷.

«Семейственному союзу», построенному на основе материального своекорыстия, распаду былой святости и нерушимости семьи Салтыков посвятил своих «Господ Головлевых» — едва ли не самое мрачное произведение русской литературы. О кризисе семейного начала, в условиях глубоких изменений в общественном быту и психологии пореформенной России, говорится (при всем богатстве других элементов идейно-художественного содержания) и в двух других гениальных русских романах семидесятых годов — «Анне Карениной» и «Братьях Карамазовых». Также и в западноевропей-

* Почти сразу же после прекращения «Отечественных записок» деньги — 1000 рублей — были возвращены А. Г. Достоевской в контору закрытого журнала.

ской литературе тема «семейного начала» послужила в это время материалом для художественной разработки в ряде произведений, во главе с грандиозной серией Э. Золя «Ругон-Маккары». Вопрос о семье и ее устоях остро интересовал Салтыкова и Достоевского и, естественно, стал предметом их разговора.

Ко второй упомянутой теме, возникшей при встрече осенью 1876 года, относится следующее место из октябрьского выпуска «Дневника писателя»: «Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящими словами <...>*.— А знаете ли вы, — вдруг сказал мне мой собеседник, видимо, давно уже и глубоко пораженный своей идеей, — знаете ли, что бы Вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении — никогда Вы не сравняетесь с действительностью. Что бы Вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Действительность тотчас же представит Вам в этом же роде такой фазис, какой Вы еще и не предлагали и превышающий все, что могло создать Ваше собственное наблюдение и воображение!..»²⁸

К этой же теме относятся еще следующие тексты в «Дневнике писателя» за 1876 год и в подготовительных материалах: 1) «<Щедрин> — Никогда фантазия не может выдержать сравнения с действительностью. <Достоевский> — Это я знал»; 2) «Прав мой художник, сказав, что действительность превышает всякое воображение» и 3) «Искусство побеждает и осмысливает. Вечное достояние. Молчалин. Как понял <его> Щедрин»²⁹.

Записи о давно «поразившей» Салтыкова «идее» превосходства действительности над воображением художника, особенно в области *vis comica* — искусства комического, — интересны и как косвенное признание Достоевским способности Салтыкова видеть в обыденных фактах скрытые в них явления и силы, главнейше негативные, темные. Именно эта способность писателя и была почвой, питавшей сутобо критическое направление его творчества.

Продолжая приведенную выше цитату («А знаете ли Вы...»), Достоевский писал: «Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только Вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах?* Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но

* Далее следует отзыв Достоевского о поразившей его глубине и своеобразии трактовки Салтыковым образа грибоедовского Молчалина. — С. М.

и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника»³⁰. А в черновой тетради «Дневника...», по-видимому, к этой же беседе с Салтыковым относится еще следующая запись: «В поэзии нужна страсть, нужна *Ваша идея* и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное — ничего и не значит»³¹.

Художником пророческого склада, одержимым своей обличительной идеей, со страстно поднятым «указующим перстом», и представлялся Салтыков Достоевскому.

В «Дневнике писателя» за ноябрь 1876 года появился рассказ Достоевского «Кроткая». Рассказ произвел сильное впечатление на Салтыкова. Об этом, а также о его общей оценке Достоевского-художника сохранилось мемуарное свидетельство Белоголового, относящееся ко времени их совместного пребывания в Висбадене летом 1885 года.

«Помню раз, — читаем воспоминания Белоголового, — как он <Салтыков> на меня горячо напал за то, что я отозвался неуважительно о талантах Виктора Гюго и Достоевского, и принудил меня сознаться в опрометчивости моего отзыва; закончил он свою защиту словами: «Как можно: у Достоевского был первостепенный талант, но только он в своих произведениях уродовал его, отдал на служение и восхваление самых уродливых тенденций. У него есть маленький рассказ «Кроткая»; просто плакать хочется, когда его читаешь; таких жемчужин немного во всей европейской литературе»³².

Так же как и суждение о романе «Идиот», высказывание о «Кроткой» принадлежит к высшим оценкам, которые произведения Достоевского получили в момент своего появления. Вероятно, под впечатлением от «Кроткой» Салтыков предпринял еще одну попытку привлечь ее автора к продолжению сотрудничества в «Отечественных записках». В двадцатых числах декабря 1876 года он обратился к Достоевскому со следующим письмом: «Многоуважаемый Федор Михайлович. Не можете ли Вы дать для февральской книжки хотя небольшой рассказ. Я бы лично приехал просить Вас об этом, но вспомнил, что в конце месяца Вы не имеете свободного времени <...>. Пожалуйста, не оставьте это письмо без ответа» (XIX-1, 36). Ответ Достоевского неизвестен, возможно, он был дан устно, еще при одной встрече, но по каким-то причинам и эта просьба Салтыкова осталась неудовлетворенной.

Оценки Достоевским Салтыкова как «большого художника», «одного из наших талантливейших писателей» сочетались, однако, с указанием на недостаточность, своего рода ущербность следования автора «Истории одного города» только одному «отрицательному направлению». Крупнейшему в русской литературе писателю социального критицизма предъявлялся упрек в том, что в его произведениях царят обличение, скептицизм, мрачность, что их власть затмевает

все светлые стороны жизни и — главнейшее — что у писателя нет положительных идеалов или они неясны.

Этой теме Достоевский посвятит страницы из «Дневника писателя» за январь 1877 года. Имя Салтыкова в тексте не названо. Но нет сомнений, что речь идет прежде всего о нем. Вот что писал здесь Достоевский: «Недавно прочел я одно иностранное мнение о русской сатире, то есть о современной нашей сатире, теперешней. Оно высказано было во Франции³³. Замечателен тут один вывод, — забыл подлинные слова, но вот смысл: «Русская сатира как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор, пока не приищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обрадуется и закричит: «Это вовсе не хороший поступок, радоваться совсем нечему, видите сами, тут тоже подлец сидит!»»

Справедливо ли это мнение? Не верю, чтоб было справедливо. Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. Публика очень любит сатиру, и, однако, мое убеждение, по крайней мере, что та же самая публика несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее. Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков.

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает некоторою неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней нет никакой подкладки, но может ли это быть? Чему она сама-то верит, во имя чего обличает — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать, что сама она считает хорошим.

И вот над вопросом этим странно задумываешься³⁴.

Пересказывая, хотя и не вполне точно, суждения французского критика — им был Брюнетьер, — Достоевский сначала отвергает их: «Не верю, чтоб было справедливо». Но затем, уже сам от себя, развивая и расширяя эти суждения, он предьявляет всей русской сатире, включая и современную ему, то есть прежде всего салтыковскую, обвинение в «некоторой неопределенности» и в отсутствии «подкладки», то есть идеалов, во имя которых она ведет свои обличения и творит свой художественный и публицистический суд. Сначала такое обвинение звучит неуверенно: «Но может ли это быть?», но затем категорически: «Наши сатирики не имеют положительного идеала в подкладке»³⁵. Для французского критика высказанные им необоснованные в целом суждения объяснимы. Иностранцу нелегко было знать русскую сатиру, ее сферу и психологию и те трудные общественно-политические условия, в которых она существовала. Другое дело Достоевский. Почитатель Грибоедова, последователь Гоголя, признававший в Салтыкове

«большого художника», он знал, разумеется, что великие сатирические творения этих писателей всегда имели в своей «подкладке» высокие общественные идеалы, во имя которых и подвергали критике и осмеянию противостоявшие этим идеалам отрицательные явления в жизни страны и поведения людей. Однако это были не его — Достоевского — идеалы, и потому провозглашалось их отсутствие или «неопределенность». Но если в широкоохватном обобщении Достоевского по отношению ко всей большой русской сатире его утверждения нельзя признать основательными, то применительно к Салтыкову они, хотя также несправедливы, все же отчасти понятны по их происхождению. Достоевский не был тут одинок. Упреки в «неопределенности», в «неясности» сочинений Салтыкова сопровождали писателя (после «Губернских очерков») на протяжении всего творческого пути. С требованием «показать свое знамя» к Салтыкову обращались многие — и либеральные критики, игравшие в «большую политику», и деятели революционно-демократического лагеря. При этом всегда имелось в виду «знамя» общественного идеала с конкретной политически и социально формулированной программой. Но такого рода требования неизменно отвергались Салтыковым. Отвергались как писателем-художником, никогда не смотревшим на себя как на политического деятеля или идеологического вероучителя. В известном письме к Е. И. Утину 1881 года он заявлял: «Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя. Я положительно убежден, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук» (XIX-1, 193—194).

Таково было одно из фундаментальных убеждений Салтыкова. С высоты этой позиции он критиковал даже своих великих идейных учителей Фурье и Чернышевского. Критиковал за то, что они пытались конкретизировать «неумирающие» общие идеи социализма в формах и картинах воображаемой реально-бытовой жизни будущего («фаланстеры» у Фурье, «алюминиевый дворец» и сельскохозяйственные работы с пением и плясками у Чернышевского). Он называл эти предвосхищения «усчитыванием будущего», отрицательно относился ко всяким футурологическим построениям и сам никогда не занимался ими. Михайловский был прав, утверждая, что из салтыковских высказываний можно составить «целую хрестоматию веры в будущее», но только «веры», а не каких-

то схем и картин будущего. Исповедуемые Салтыковым идеалы справедливой жизни имели, при всей широте их обозначения, определенную социалистическую окраску. Всегдашняя, явная или подразумеваемая, апелляция к этим идеалам вместе с духом отрицания существовавшего «порядка вещей», признаваемого несправедливым, определяли высокий идейный тонус и глубину социального критицизма Салтыкова, всегда, в конечном счете, направленного не на частности, а на «основь». К автору «Мелочей жизни» применимы слова, сказанные им о людях вершин: «Великие писатели и мыслители потому и были велики, что об основах говорили» (XIX-2, 16). Об «основах» говорил и Достоевский. Мечты об идеальном устройстве человеческого общежития были страстным стремлением и у автора «Униженных и оскорбленных». Но если у Салтыкова источники и содержание такого стремления были по преимуществу социэтарными, гражданственными и просветительскими, то у Достоевского и Толстого, у каждого на свой лад, господствовали источники морально-психологические и религиозные (хотя и внеконфессиональные у Толстого). Ориентация же была направлена на личное нравственное самоусовершенствование, при равнодушном или отрицательном отношении к прямой социально-политической борьбе. Значения морального самосовершенствования каждого отдельного человека отнюдь не отрицал и Салтыков. Но решение и этой задачи он ставил в зависимость не только от субъективных устремлений и целей, но главнейше от объективных исторических факторов — от социальной среды, успехов науки, просвещения и соответствующих изменений в сфере гражданской сознательности людей.

Что касается утверждения Достоевского, что публика «несравненно больше любит положительную красоту» и что Толстой — «любимый писатель», то в таких общих формулировках это утверждение неоспоримо, хотя бы уже вследствие ни с чем не сопоставимого художественного могущества автора «Войны и мира». Но, во-первых, была в жизни России второй половины XIX века историческая полоса, а именно полоса глубокой реакции восьмидесятих годов, когда гневное перо Салтыкова, с необыкновенной смелостью сражавшееся с победоносцевской реакцией, было нужнее передовым силам общества, чем моральная проповедь Толстого, вытеснившая тогда его художественное слово. А во-вторых, о чем уже не раз приходилось говорить, самый склад личности и писательского дарования Салтыкова, которыми наделила его природа, не заключали в себе возможностей для воспроизведения светлых тонов жизни и для создания положительных образов, чему теоретически, программно Салтыков придавал большое значение. «Suum cuique» — «Каждому свое», — любил повторять писатель это изречение античной мудрости. Вместе с тем — и об этом нельзя забывать — Салтыков имел все основания

утверждать, подразумевая, конечно, и свое собственное творчество: «Отсутствие идеальных героев вовсе не свидетельствует об отсутствии идеала». Устремленность к высоким общественным целям, духовное горение (библейское «Горé имеем сердца») пронизывают все творчество Салтыкова, особенно позднее. В каждом его произведении ощутимо веяние идеала и тоска от сознания социальной дисгармонии жизни. Функцию положительного героя почти всюду у Салтыкова осуществляет *сам писатель*, незримо, но постоянно присутствующий со своими мыслями и чувствами, с высоты которых он и творит свой суд над враждебными ему и отрицаемыми явлениями действительности. Голос автора звучит то открыто-публицистически, то в глубоком подтексте и нередко в движении очень сложных модуляций. В иных случаях он даже «передает», в эзоповых целях, свои заветные мысли и оценки отрицательным персонажам. Последнее обстоятельство ставит порою в тупик читателя наших дней. Для современников такие трудности были легче преодолимы. Помогала широкая известность и неколебимость идеологической позиции писателя. Знание ее было надежным индикатором для уловления истинных мыслей и чувств автора, под какой бы маской он ни выступал.

К 1877 году относились еще четыре известных нам встречи Достоевского с Салтыковым. Две из них — одна в феврале или марте и вторая в ноябре — были деловыми визитами Достоевского в редакцию «Отечественных записок», то есть в квартиру Некрасова. В обоих случаях причиной свидания были попытки Достоевского посредничать в устройстве литературных дел двух писателей, обратившихся к нему с такими просьбами. О содержании встреч сообщается в трех письмах Достоевского. Они интересны заключающимися в них свидетельствами о «расположении» обоих руководителей «Отечественных записок» к Достоевскому и вместе с тем об их принципиальной твердости в защите направления своего журнала, его «знамени».

Первая встреча была вызвана просьбой к Достоевскому еврейского писателя А. Г. Ковнера, человека сумбурных взглядов и биографии, посодействовать ему в напечатании в каком-либо из журналов двух его повестей, написанных в тюрьме, где он отбывал наказание по уголовному делу. Отвечая на эту просьбу, Достоевский писал автору: «...Вы стали заниматься литературой — это добрый знак. Насчет помещения их (повестей) где-нибудь мною не знаю, Вам что сказать. Я могу лишь поговорить в «Отечественных записках» с Некрасовым или с Салтыковым, и поговорю непременно <...>, но на успех даже и тут не надеюсь. Они, ко мне очень расположенные, уже отказали мне раз в рекомендованном и доставленном мною в их редакцию сочинением одного лица, в прошлом году, и отказали, не распечатав даже пакета, на

том основании, что от *такого* лица, что бы он ни написал, им нельзя ничего напечатать и что журнал бережет свое знамя...»³⁶

Произведение какого автора, оказавшегося неприемлемым для «Отечественных записок», предлагал Достоевский Некрасову и Салтыкову в 1876 году, неизвестно. Возможно, это было какое-то сочинение Гр. Данилевского. Но осенью следующего, 1877 года такая же история повторилась с писателем правого лагеря Д. Аверкиевым, также обратившимся к Достоевскому с просьбой хлопотать о помещении написанной им комедии на страницах «Отечественных записок». Достоевский взялся ходатайствовать за своего бывшего сотрудника по «Эпохе». О том, как проходили эти хлопоты, он сообщил Аверкиеву в двух письмах. Они интересны как содержащимися в них свидетельствами о роли и значении Салтыкова в редакции «Отечественных записок» последних месяцев жизни Некрасова, так и подтверждением суровой принципиальности обоих редакторов в отборе авторов и материалов для своего журнала.

Вот соответствующие выдержки из письма Достоевского к Аверкиеву от 5 ноября 1877 года: «Прочтя Ваше письмо, я с величайшим удовольствием пожелал как можно скорее исполнить Ваше поручение насчет комедии <...>. Я схожу к Салтыкову (Щедрину), которому мне и без того надо отдать визит*. Заметьте себе, однако, что я вовсе не со всеми знаком в редакции «От <ечественных> зап<исок>». Я знаю лишь Некрасова, Щедрина и Плещеева, с остальными же лишь на устных словах и вижу их редко. Некрасов по болезни принимает в редакции слишком мало участия, Плещеев не имеет никакого <значения>, а значит, все — Салтыков. По моему мнению, он единственно издает журнал, пользуется дружбой и доверенностью Некрасова неограниченной и, кажется, пайщик издания. Он все и решит. Впрочем, *прямо* скажу: тут может быть лишь один вопрос (мимо всякого вопроса о достоинстве комедии): «Настолько ли имя Ваше *ретроградно*, что уже несмотря ни на что Вам надо будет непременно отказать?» Они именно держутся такого взгляда, и приди хоть сам Мольер, но если он почему-либо *сомнителен*, то и его не примут. Ну вот, я Вам объяснил тайну; само собою разрешить я ее не могу, но с Щедриным поговорю в непродолжительном времени, предлагая ему Вашу вещь *совершенно от себя*, так что самолюбие Ваше не пострадает, — тогда напишу...»³⁷

Свое обещание Достоевский выполнил. Он побывал в редакции «Отечественных записок» и встретился здесь не только с Салтыковым, но и с Некрасовым, который, несмотря на крайне уже тяжелое состояние своего здоровья, также принял

* Значит, и Салтыков бывал у Достоевского, но об этих визитах, за исключением одного (см. ниже), сведений нет. — С. М.

участие в разговоре. Вот как сообщил Достоевский Аверкиеву об этой встрече и о неудаче своей миссии в письме от 18 ноября 1877 года:

«Третьего дня я видел Некрасова и Салтыкова и говорил, о чем Вы знаете. Некрасов лежит и похож на труп, изредка шепчет, скоро умрет, но «Отеч(ественными) записками» занимается, и я именно застал его и Салтыкова в совещании о выходе следующего №. Я, совершенно неприметно к чему клоню речь, между разговором спросил у обоих: что они думают о Вас как о писателе? Некрасов прямо, с первого слова, сказал: «Что же думать о человеке, который, сколько он там лет пишет, только и делал, что кричал и говорил против нас и того направления, которому мы служим?» Сказано это было и весьма резко и решительно, а так как поддержал тут же и Салтыков то же самое, то я и нашел необходимым совсем уж не заговорить ни о комедии Вашей, ни о предложении, о котором они и остались в полной неизвестности. Полагаю, что Вас не скомпрометировал. — Вы видите, что здесь произнесено суждение не литературное, а *направительное*»³⁸.

Из двух других встреч Достоевского с Салтыковым 1877 года одна состоялась, по-видимому, в сентябре или в начале октября. Это как будто следует из письма Н. П. Вагнера к Достоевскому. Советуя отказаться от сделанного ему Некрасовым и Салтыковым предложения продолжить сотрудничество в их журнале, Н. П. Вагнер писал Достоевскому 9 октября 1877 года: «Совсем другое дело Вы и «Отечественные записки»... Там только желание подбодрить беллетристическую воду солидными произведениями талантливого писателя. И с этой целью являлся к Вам даже сам великий рычаг и светило всероссийской Сатиры»³⁹. Другая встреча датируется декабрем. Она относилась к делам Литературного фонда (см. XIX-1, 65 и 66).

Рассмотренные материалы удостоверяют, что в семидесятые годы отношения между Салтыковым и Достоевским были исполнены, несмотря на различия их общественных позиций, глубокого взаимного уважения, основанного на взаимном же понимании выдающегося значения каждого в отечественной литературе и в жизни русского общества. Такие отношения сохранялись до конца дней Достоевского, за исключением рассмотренного эпизода 1879 года (обмен полемическими выпадами в «Братьях Карамазовых» и в «Круглом годе») и резко отрицательного отношения Салтыкова и всей группы «Отечественных записок» к «пушкинской речи» Достоевского. После 1877 года писатели, по-видимому, больше не встречались. Но когда Достоевский умер, Салтыков приехал на квартиру покойного для последнего прощания*.

* Вот как вспоминает об этом писательница В. И. Дмитриева: «Комната была полна народом; стояли тесно (...). Понемножку продвигаясь вперед (к гробу), мы вдруг услышали среди тишины, наполненной только шорохом

В этот же день он послал Михайловскому записку, содержащую просьбы написать для журнала некролог Достоевскому и присутствовать на похоронах, на кладбище. Последнюю просьбу Салтыков, плохо чувствовавший себя в те дни, мотивировал словами: «Я лично не могу, ибо вскоре сам надеюсь последовать туда же, а если совсем уж никого не будет от «Отеч(ественных) зап(исок), то неловко» (XIX-1, 201). Михайловский выполнил обе просьбы, но вместо краткого некролога ввел в очередную публикацию своего цикла «Записки современника» (Отечественные записки, 1881, № 2) развернутую литературно-критическую и публицистическую оценку творчества и личности Достоевского. Оценка эта во многом предвосхитила содержание известной более поздней статьи Михайловского «Жестокий талант».

Присутствующее в «некрологических» страницах «Записок современника» признание выдающейся творческой силы Достоевского и значения его как одного из крупнейших деятелей отечественной литературы и публицистики сочеталось с осуждением владевшей писателем страсти к возвеличению страдания и смирения, способствовавших в его представлении нравственному самосовершенствованию и рекомендуемых им не только для каждого отдельного человека, но и для всего русского народа и общества. В критике таких рекомендаций Михайловский был полностью солидарен с Салтыковым.

Через два года после смерти Достоевского в печати появились некоторые материалы из его записных книжек. Среди них была обнародована и такая запись: «Тема сатир Щедрина — это спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит; а г-ну Щедрину от этого жить нельзя»⁴¹. Прочитав эту язвительную заметку, Салтыков сказал в разговоре с Гл. Успенским: «Вот Достоевский написал про меня, что я когда пишу — квартального опасуюсь. Это правда, только добавить нужно: опасуюсь квартального, который во всех людях российских засел внутри. Этого я опасуюсь»⁴².

Салтыков указал этими словами на одну из главных тем своих произведений — обличение ненавистного ему духа «благонанмеренности», «начальстволюбия» и «начальствовобязни» в гражданственно неразвитом и полицейски опекаемом «среднем человеке» русского общества. На страницах «За рубежом» он так писал об этом: «Приливы предупредительно-пресека-

тодпы, неожиданно громкий и грубоватый возглас: — Что же это попы-то не идут! Уже шесть часов! — Толпа всколыхнулась и, оглядываясь на голос, возмущенно зашипела: — Шш! Что за безобразие? Молчать... — И в ту же минуту возмущенное шипение сменилось другим, уже не негодующим, а изумленным и почтительным шепотом. — Щедрин! Это Щедрин... Щедрин... — неслось в толпе от одного к другому. Я оглянулась. Знакомое, характерное лицо, седая длиненькая бородка, резкие морщины на худых щеках, сумрачные глаза...»⁴⁰

тельного энтузиазма, во время которых сердце человеческое, так сказать, само собой летит навстречу околоточному, до такой степени вошли в наши нравы, что сделалась одною из самых обыкновенных обрядностей нашего существования. Мы так мало верим в себя, что даже не пытаемся искать защиты в самих себе, а прямо вопием: господа сердцеведы! милости просим!» (XIV, 195). Тема эта получила вскоре генеральную разработку в «Современной идиллии».

Обратимся теперь к отношениям между Салтыковым и Некрасовым в последние годы, месяцы и дни жизни поэта. Достоевский был совершенно прав, говоря, в цитированном письме к Аверкиеву, что Салтыков в это время пользовался дружбой и доверенностью Некрасова «неограниченными». Документальные источники и мемуарные свидетельства подтверждают это*.

В середине августа 1876 года Салтыков поспешил раньше обычного вернуться из Витенева в Петербург, с тем чтобы застать Некрасова, уезжавшего в конце того же месяца, с лечебными целями, в Ялту. В эти дни они встречались часто, едва ли не ежедневно. Содержание их разговоров неизвестно.

* Говоря о взаимоотношениях Салтыкова и Некрасова, нельзя не сказать о непоправимом ущербе, нанесенном утратой всех писем Некрасова к Салтыкову (за исключением одного, о Белинском, вряд ли отправленного адресату), важных для биографии обоих писателей.

О судьбе этих писем сохранилось следующее свидетельство в неизвестной еще в печати справке-воспоминании дочери А. М. Унковского, Софьи Алексеевны, полученной мною от нее в 1933 году в Твери (Калинине). Вот этот текст, воспроизводимый по хранящемуся у меня автографу:

«У нас долго хранились все (?) рукописи, письма Салтыкова и Некрасова, небольшие статейки Щедрина, но когда моя сестра Зинаида в 1919 году уехала из Петрограда на лето в деревню, в квартире осталась ее знакомая и прислуга, спавшая на том сундуке, в котором хранились рукописи. Осенью к ним в квартиру вселили матроса, который навел на них такую панику, что обе женщины бежали, а он все выкрал из сундука, рукописи же и письма, как говорят, выкурил. Вот какова была судьба драгоценнейшего литературного наследства».

Напомним, что А. М. Унковский был одним из душеприказчиков Салтыкова, чем и объясняется, что часть рукописей салтыковского архива оказалась у него. Другая осталась на квартире покойного писателя и после смерти Елизаветы Аполлоновны перешла к их дочери, Елизавете Михайловне. Ее последняя петербургская квартира была на Миллионной. Часть этих бумаг погибла после отъезда Елизаветы Михайловны в 1917 году за границу, другая часть была спасена инициативой и стараниями старейшего советского шедриноведа Н. В. Яковлева и передана в Пушкинский Дом. Предположение, что письма Некрасова находились в распоряжении дочери Салтыкова, казалось бы, противоречит ее ответ на обращенную к ней в 1913 году просьбу В. Е. Евгеньева-Максимова познакомиться его с некрасовскими письмами. Полученный им краткий ответ гласил: «Не могу ничем быть Вам полезной, так как в имеющихся у меня бумагах покойного отца не нашлось *ничего*, касающегося Некрасова» (?). Этому трудно поверить. Елизавета Михайловна либо вовсе не искала писем Некрасова и ее ответ был простой отпиской, либо плохо искала (ответ Елизаветы Михайловны сообщен мне В. Е. Евгеньевым-Максимовым в 1948 г.). Возможно, однако, что некрасовские письма и другие материалы находились в той части архива Салтыкова, которая попала к А. М. Унковскому и, как сказано, погибла.

Но, конечно, в своей деловой части они были посвящены обсуждению общего положения «Отечественных записок», а также текущей работе и ближайшим планам редакции в условиях, когда Некрасов был вынужден все больше отходить от руководства изданием. Фактически это была начавшаяся передача «Отечественных записок» в руки Салтыкова, хотя, несмотря на физические страдания своей предсмертной болезни, Некрасов продолжал в меру сил участвовать в трудах редакции. Салтыков старался не утомлять больного второстепенными вещами, но держать в курсе всего главного. Это видно из писем Салтыкова осени 1876 года в Ялту. В них немало информации о текущей работе редакции, о содержании выходящих и о замыслах ближайших номеров журнала. Вместе с тем письма эти — выразительные свидетельства дружеской близости, установившейся между Салтыковым и Некрасовым в последние годы. В них много душевного сострадания и тревоги, с которыми Салтыков воспринимал мучительное течение болезни Некрасова, а также сожалений по поводу вынужденного отхода поэта от дел журнала и от участия в жизни того небольшого дружеского кружка, с которым был связан вне редакционный быт Салтыкова и Некрасова. В первых же письмах в Ялту он писал Некрасову: «Крепко уповаю, что хороший воздух и тепло помогут Вам. Без Вас и скучно, и совсем как-то неловко. Но, впрочем, да не смущает это Вас. Как-нибудь проведем ладью» (XIX-1, 14). В другом письме: «Я часто буду писать к Вам и скажу о том же Елисееву, от Вас же просим самых кратких, но частых уведомлений о ходе Вашего лечения» (там же, 19). И еще в одном письме: «Болезнь Ваша тревожит и мучит меня лично совершенно так же, как и моя собственная. Тоскливо, тревожно, ничего делать не хочется. Условия деятельности так сложились, что она возможна только вместе, а без деятельности и жизнь имеет мало смысла» (там же, 26).

Салтыков высоко ценил ум и поэтический талант Некрасова, его знание русской народной жизни, любовь к крестьянству, наконец, его выдающийся редакторско-издательский опыт. Весьма сдержанный в своих оценках Елисеев пишет в своих воспоминаниях об «огромном влиянии» Некрасова на Салтыкова⁴³. А Л. Ф. Пантелеев, в одной из бесед в Астрахани с возвращенным из каторги и сибирской ссылки Чернышевским, передал ему такие слова Салтыкова: «Пока Некрасов был здоров, он заходил ко мне чуть не каждый день. Некоторыми сторонами характера Некрасов, конечно, не мог возбуждать больших симпатий; притом он был человек малообразованный (как тогда, так и теперь, я передаю слова Михаила Евграфовича значительно смягченными, — известно, что порой он выражался слишком резко), но до такой степени был умный человек, что с ним каждый день приятно было иметь разговор»⁴⁴.

Несколько колких замечаний в адрес больного Некрасова в письмах Салтыкова этого времени не колеблют справедливости сказанного*. Раздражительность и стихия сарказма, владевшие писателем, далеко не всегда подчинялись его самоконтролю. «Сатириком» он оставался всегда, нередко и по отношению к самому себе. Дело, однако, не в этих всплесках язвительности. Дело в объективно устанавливаемом историческом факте: в русской литературе 1870-х годов Салтыков и Некрасов были крупнейшими представителями демократических сил страны, а также их организаторами и проводниками на журнальном поприще.

Пребывание на юге, в Ялте, не помогло и не могло помочь смертельно больному поэту (рак). В день возвращения Некрасова в Петербург, 1 ноября 1876 года, Салтыков поспешил увидеть его. И вот в каких словах передал свои впечатления от этого свидания в письме к Анненкову: «Сегодня <...> воротился из Крыма Некрасов — совсем мертвый человек. Ни сна, ни аппетита — все пропало, все одним годом сказалось. Не проходит десяти минут без мучительнейших болей <...>. Вы бы не узнали его, если б теперь увидели <...>, он теперь — две капли воды большой осенний комар, едва передвигающий ноги <...>. Во всяком случае, с жизнью покончено, как и у меня...» (XIX-1, 29). Салтыков распространяет здесь свою безнадёжную оценку положения Некрасова также и на себя. Однако для того времени это все же не соответствовало действительности и было плодом присущей писателю мнительности, усиленной впечатлениями от состояния поэта. А оно вызывало у Салтыкова тревогу и за будущее «Отечественных записок», и за свою литературную деятельность. Он писал Анненкову: «Как только Некрасов умрет <...> так, вероятно, рушатся и «Отечественные записки». А так как мне уже не приходится на старости лет слоняться по разным редакциям и так как в моей деятельности большую роль играет привычка и известный способ писания, то катастрофа сия, вероятно, отразится и на мне. Или, говоря проще, я тоже умолкну» (XIX-1, 33).

Весной 1877 года приглашенный из Вены известный хирург Бильрот, произведя сложную операцию, ненадолго облегчил страдания больного. После того два летних месяца Некрасов прожил на так называемой Строгановской даче на набережной Большой Невки. По требованию врачей доступ к нему был жестко ограничен. Его посещали всего несколько

* См., например, в письме к Анненкову от 8 марта 1877 г.: «Некрасов все в том же положении. Доктора мало надежды подают, но ему, как кажется, очень не хочется подписать счет <...>. Четырех докторов при себе имеет, а пятый — Боткин наблюдает. Собирается выписать Бильрота из Вены. Может быть, и удастся выскочить, но ежели и не удастся, то, во всяком случае, он явится в царство небесное в карете дугом и в сопровождении четырех врачей и пятого — лейб-медика» (XIX-1, 46).

самых близких ему людей. Среди них, вместе с сестрой поэта А. А. Буткевич и ее мужем А. Н. Ераковым, был и Салтыков. Всякий раз как он приезжал из своего Лебяжьего по делам редакции в Петербург, он посещал и Строгановскую дачу. Еще чаще стали их встречи после того, как в конце августа Некрасов возвратился на городскую квартиру. Она находилась поблизости от квартиры Салтыкова, и последний заходил к Некрасову и по делам редакции, и для дружеской беседы почти ежедневно. О содержании их встреч и разговоров мало что известно. Это тем более досадно, что, подчиняясь возникшему у него в последние месяцы жизни желанию оставить будущему достоверные сведения о некоторых эпизодах своей уходящей жизни, Некрасов рассказывал о них ряду посещавших его лиц⁴⁵. Надо полагать, что и Салтыков был слушателем иных из этих автобиографических повествований. Однако, убежденный, что объективные факты поэзии и журнальной деятельности Некрасова со всей беспорочною и полной обеспеченности ему выдающееся место в русской литературе и истории русского общественного самосознания, Салтыков не одобрял предсмертных автобиографических «хлопот» поэта, особенно когда его исповедальные признания обращались к людям не своего лагеря, например к Стасюлевичу или Суворину. По этому поводу Салтыков писал Анненкову: «Некрасов положительно умирает. Нельзя даже представить себе приблизительно, какие он муки испытывает (<...>). И при этом непрерывный стон, но такой, что со мной, нервным человеком, почти дурно делается. Замечательно то сочувствие, которое возбуждает этот человек. Отовсюду шлют к нему адреса, из самой глубины России. Verba volant, scripta manent* — вот воочию оправдание этого изречения. А он-то, в предвидении смерти, все хлопочет, как бы себя обелить в некоторых поступках. Я же говорю: вот шесть томов, которые будут перед потомством свидетельствовать лучше всяких обличений «Русской старинь» (XIX-1, 49). И еще, в другом письме к тому же Анненкову: «Замечательна жизнь этого человека, но я всегда был и буду склонен думать, что в ней было более хорошего, чем дурного. Ненужного коварства не было» (XIX-1, 34).

История, будущее подтвердили оценку Салтыкова. Некрасов был и остался одним из великих явлений русско-народной поэтической стихии в отечественной литературе.

Как уже сказано, мы мало что знаем конкретного о деловых и личных отношениях между Салтыковым и Некрасовым последнего периода жизни поэта. Дошедшие до нас источники содержат немного относящихся сюда сведений, но и они должны быть упомянуты.

* «Сказанное улетает, написанное остается» (лат.) — одно из любимых Салтыковым изречений античной мудрости. — С. М.

Прежде всего следует сказать, что в двухлетие 1876—1877 годов, последнее в жизни Некрасова, Салтыков практически взял на себя все хлопоты по сношению редакции «Отечественных записок» с цензурой. Ранее эта тяжесть лежала почти всецело на Некрасове.

Нужно сказать, что противоборство с цензурой больше всего смущало Салтыкова в его раздумьях — брать или не брать на себя после смерти Некрасова бремя ответственности и труда по руководству журналом. И хотя такая преемственность была формально предусмотрена в договоре Некрасова с Краевским на издание «Отечественных записок» и по существу она представлялась само собой разумеющейся в литературно-журнальных кругах, Салтыков был исполнен трудных сомнений и колебаний. Без конца он задавался вопросами: откуда он возьмет, во-первых, «змеиную мудрость», чтобы издавать демократически-оппозиционный журнал при постоянно висящим над его существованием дамокловым мечом «бешеной цензуры», и, во-вторых, хватит ли его физических и нравственных сил, чтобы постоянно «кипеть в этом котле». «Я положительно убеждаюсь, — писал он в январе 1877 года А. Н. Энгельгардту, — что не гожусь для такой деятельности, и ежели Некрасов умрет, то не знаю, как и поступить» (XIX-1, 39). На самом деле он понимал, конечно, что «чаша сия» не могла миновать его, так как не было тогда в литературе никого другого, кто мог бы с большим основанием и правом стать преемником Некрасова на этом посту, столь важном для всего дела русской литературы и демократии.

Сейчас, вынужденный заменить Некрасова еще при его жизни, он старался по возможности оберечь его от «цензурных сердцебиений». В дневнике сестры поэта А. А. Буткевич сохранилась записанная с натуры живая сценка, относящаяся к этой стороне заботливости Салтыкова об умирающем Некрасове. Запись датируется одним из ближайших дней до 24 марта 1877 года, когда должен был выйти в свет третий номер «Отечественных записок», подвергнутый цензурой задержанию*. Однако в результате предпринятых Салтыковым и Краевским переговоров его удалось освободить от ареста, хотя и ценою изъятия из него некоторых материалов⁴⁶.

Особенные усилия Салтыкова были направлены на защиту произведений самого Некрасова, над которыми была занесена секира цензуры. Прежде всего это относилось к последней поэме Некрасова «Пир на весь мир», написанной в Ялте (часть «Кому на Руси жить хорошо»). Но, несмотря на все предпринятые Салтыковым хлопоты и усилия, цензура изъяла из журнала уже отпечатанные страницы с поэмой. По этому поводу Салтыков писал Анненкову (25 ноября 1876 г.): «И вот

* В «Отечественных записках», 1877, № 3, печаталось стихотворение Некрасова «Баюшки-баю» («Непобедимое страдание...»).

этот человек, повитый и воспитанный цензурой, задумал и умереть под игом ее. Среди почти невыносимых болей написал поэму, которую цензура и не замедлила вырезать из 11-го №. Можете сами представить себе, какое впечатление должен был произвести этот храбрый поступок на умирающего человека. К сожалению, и хлопотать почти бесполезно: все так исполнено ненависти и угрозы, что трудно даже издали подступиться. А поэма замечательная: в большинстве довольно грубая, но с проблесками несомненной силы» (XIX-1, 33). После многих и длительных хлопот Салтыкову все же удалось напечатать «Пир на весь мир». Но произошло это лишь через три года после смерти Некрасова, и поэма появилась в печати с противощензурными «приспособлениями» и сокращениями (Отечественные записки, 1881, № 2).

Близость с Некрасовым в последние годы его жизни удостоверяется также участием Салтыкова в некоторых доверительных делах, относящихся к личной биографии поэта.

В январе 1877 года Салтыков подписал, в качестве одного из официальных свидетелей, два необходимых Некрасову документа. Первый заменил утраченную поэтом метрику.

Второй документ — духовное завещание Некрасова. Вместе с Елисеевым и Белоголовым Салтыков присутствовал 10 января 1877 года при совершении этого акта тем же нотариусом Успенским, который заверил метрику* и подписал документ в качестве официального свидетеля. Это тоже было знаком дружеского доверия Некрасова к Салтыкову. В некоторых своих частях завещание касалось интимных сторон жизни поэта, в частности вопроса о материальном обеспечении близких ему женщин: А. Я. Панаевой-Головачевой, Селины Лефрен и З. Н. Викторовой. С последней из них Некрасов, уже находясь на одре предсмертной болезни, принял решение обвенчаться. По состоянию здоровья венчание произошло — 2 апреля 1877 года — не в церкви, а на дому, для чего потребовались разрешения соответствующих духовных и гражданских властей и как обязательное условие для совершения обряда наличие военно-походной церковной палатки. Поручителями при венчании были и под «брачным обыском» подписались Ераков и Салтыков**.

Некрасов умер 27 декабря 1877 года / 8 января 1878. Его смерть и похороны, в которых, по подсчетам полиции, приняли участие от четырех до пяти тысяч человек, приобрели значение массовой политической демонстрации — второй в жизни страны после демонстрации у Казанского собора в Петербурге. Большинство провожавших Некрасова в по-

* Услугами этой юридической конторы (Невский, 51) пользовался в своих делах также и Салтыков.

** Уже после смерти Некрасова, а именно в январе 1878 г., Салтыкова посетил уполномоченный синода протопоп Верховский для выяснения, были ли соблюдены все требования церкви, предъявляемые к обряду венчания.

следний путь на кладбище Новодевичьего монастыря состояло из оппозиционно настроенной столичной молодежи — студентов и учащих старших классов. Но открыто участвовали в похоронах и «действующие революционеры» — землевольцы и представители южнорусских «бунтарей». По поручению «Земли и воли», разумеется официально не объявлявшемуся, слово над могилой Некрасова произнес Плеханов. Салтыков, шедший за гробом вместе со всей редакцией «Отечественных записок» и другими литераторами*, сказал о множестве людей, пришедших выразить свою любовь к поэту: «Слава богу, начинают понимать, что значит писатель... Подождите, через несколько лет не то еще будет...»⁴⁷

Кроме Плеханова на кладбище были произнесены речи Вал. Панаевым, Достоевским, Засодимским и рабочим, чье имя осталось неизвестным. Но слово последнего прощания от ближайших соратников, единомышленников и друзей поэта не прозвучало. Не выступил ни Салтыков, ни Елисеев, ни Михайловский, ни Плещеев, ни кто-либо из друзей от «Отечественных записок». Почему? Вопрос этот, кажется, не возникал до сих пор в литературе. Между тем он представляет несомненный интерес и на него нужно дать ответ. Не подлежит сомнению, что молчание редакции «Отечественных записок» на похоронах Некрасова не могло быть ни случайным недосмотром, ни результатом обстоятельств частного, субъективного характера, например, нелюбви Салтыкова к публичным выступлениям. Несомненно, это было обдуманное решение редакции. Скорее всего оно объяснялось сознанием невозможности сказать о Некрасове то, что следовало бы сказать с точки зрения того общественного направления, которому служила его поэзия и руководимый им журнал. С этим обстоятельством было, вероятно, связано и другое, надо полагать, главное: выступление Салтыкова, не способного не только говорить неправду, но и умалчивать о правде, могло дать повод властям отклонить его утверждение на посту ответственного редактора «Отечественных записок», на посту преемника Некрасова.

* В своей полумемуарной книжке 1923 г. «Интимный Щедрин» (с. 11) сын писателя Константин Михайлович рассказывает, будто бы Салтыков не шел за гробом, а ехал в карете вместе с обычными партнерами Некрасова по карточной игре и что, когда карета поравнялась с домом на Литейной, в котором жил Салтыков, он высунулся из окошечка экипажа и показал своей жене и детям, стоявшим у окна, игральную карту в качестве своего рода поминального знака по Некрасову. Рассказ этот не имеет, однако, никакой цены достоверности, и достойно сожаления, что ему до сих пор дается вера в некоторых работах о Салтыкове. Сыну писателя в день похорон Некрасова не исполнилось и полных шести лет. И уже вследствие одного этого обстоятельства рассказ его не может быть воспринят как его собственное воспоминание. Скорее всего он восходит к одному из позже услышанных анекдотов о Салтыкове. Таких рассказов-анекдотов о нем ходило немало среди современников.

хронологическому началу во «Внутреннем обозрении» Елисеева. На другой день, 20 января, Краевский, как официально ответственный редактор журнала, а на самом деле стоявший за ним Салтыков, как уже фактический руководитель издания, обратился в Цензурный комитет с просьбой вернуть номер «для некоторых изменений». Через три дня, а именно 23 января, номер журнала, с внесенными в него изменениями, вновь поступил в Цензурный комитет и был сразу же разрешен к выпуску в свет. Важнейшими внесенными «изменениями» были: изъятие из «Внутреннего обозрения» Елисеева посвященных смерти и похоронам Некрасова страниц и появление открывавшего номер журнала, с отдельной дополнительной пагинацией (с. 1—2), нового некролога Некрасову, в траурной рамке, без подписи. Исходя из приведенных дат прохождения номера журнала через цензуру, следует, что некролог был написан 21—22 января 1878 года.

В связи с вышесказанным возникают два вопроса: во-первых, что могло вызвать возражения со стороны цензуры в посвященной памяти Некрасова части «Внутреннего обозрения» Елисеева и, во-вторых, кто был инициатором и автором нового некролога, появившегося, разумеется, по воле не цензуры, а редакции журнала.

Ответ на первый вопрос, хотя и предположительный, как будто бы не вызывает сомнений. В условиях, когда, как сказано, похороны Некрасова приобрели значение политической демонстрации, цензура не могла не обратить внимание на те места в статье Елисеева, где он сочувственно писал о посещении больного Некрасова депутациями от студентов Петербургского университета и Медико-хирургической академии — двух тогдашних центров студенческого оппозиционного движения. Затем, зная, что на похоронах присутствовали члены революционного общества «Земля и воля» и что это от них выступал Плеханов, цензура не могла в этой связи не признать одиозным такое заключение Елисеева: «На погребении была, можно сказать, вся интеллигенция Петербурга, все лучшее будущее России»⁴⁸. Кроме того, цензурному ведомству, вероятно, уже стало известно о недовольстве Синода и Зимнего дворца, в том числе самого государя, надгробным «словом» протоиерея Горчакова. Оно было сочтено «нецерковным» и «либеральным». Елисеев же, как сказано, воздал хвалу этому «слову».

Что касается второго вопроса, о некрологе, то, как это ни странно, он оказался совершенно забытым. Насколько мне известно, он нигде и никогда не перепечатывался до моей публикации в «Вопросах литературы»⁴⁹. Возможно, что странички вклейки с дополнительной отдельной пагинацией попали лишь в малую часть тиража журнала⁵⁰.

Никаких документальных свидетельств о том, кто был автором некролога, у нас нет. Естественно возникает мысль — не принадлежал ли он перу Салтыкова. Ведь и по положению

в литературе и в редакции «Отечественных записок», и по личным отношениям он ближе всего стоял к Некрасову. Ему, казалось бы, и надлежало сказать о нем слово прощания. В таком случае это аналог написанному Салтыковым через несколько лет некролога другому близкому ему писателю и человеку — Тургеневу, появившемуся в «Отечественных записках» также без подписи. В некрологе Некрасову, правда, нет бросающихся в глаза характерных особенностей салтыковской манеры письма («щедринизмов»). Но данное обстоятельство может быть объяснено самим характером и назначением текста. Общая же оценка Некрасова и его поэзии, историческое осмысление их для русской жизни вполне соответствуют как общему подходу Салтыкова к этим вопросам, так и его глубоко сочувственному пониманию «скорбной ноты» в жизни и творчестве Некрасова — его трудных сомнений в известности, доступности и нужности своей поэзии народу и сожалении по поводу своего неучастия в прямой борьбе за его интересы. Эта «скорбная нота» часто звучала, хотя на свой, более трагический лад, и в произведениях самого Салтыкова, особенно сильно в последние годы жизни писателя («Приключение с Крамольниковым», «Имярек» и др.). Однако существует мнение, что некролог написал Михайловский. Когда умерли Достоевский и Писемский, Салтыков поручил написать посвященные им некрологи Михайловскому. Его отношение к Некрасову, понимание его таланта и личности, высокая оценка не только творчества, но и журнально-издательской деятельности поэта были, в общем, те же, что и у Салтыкова. Предположение об авторстве Михайловского было высказано исследователем и собирателем его литературного наследия Е. Е. Колосовым в письме-запросе, направленном к Скабичевскому 9 декабря 1908 г. Но высказано без каких-либо объективных доказательств, лишь в форме догадки, предположения: «по моему мнению» и «весьма вероятно»⁵¹. Есть, однако, обстоятельства, вносящие сомнения в предположение Колосова (публично, в печати, он с ним не выступал). Представляется странным, что Михайловский, если он автор некролога, не только не ввел его ни в один из сборников своих статей и ни в одно из собраний своих сочинений, но и ни разу не упомянул об этом выступлении ни в одном из множества своих высказываний и воспоминаний о Некрасове. Не менее странно и то, что весьма дотошный собиратель литературного наследия Михайловского Колосов не опубликовал своего «открытия» в составленном при его преимущественном участии дополнительном X томе собрания сочинений Михайловского. Может быть, в неизвестном нам ответе на упомянутое письмо-запрос Колосова Скабичевский опроверг его предположение признанием, что это он, Скабичевский, написал некролог. Нельзя полностью исключать и эту версию, хотя она представляется наименее вероятной. Во-первых, Салтыков очень низ

ко ставил литературно-критические способности Скабичевского, и было бы странно, чтобы он ему поручил прощальное слово редакции Некрасову. Во-вторых, как и по отношению к Михайловскому, представляется трудноразъяснимым молчание об этом не рядовом же факте в многочисленных писаниях Скабичевского о Некрасове. Таким образом вопрос об авторе некролога остается пока открытым.

После смерти Некрасова Салтыков принял деятельное участие в разного рода предприятиях по увековечению памяти поэта, а также в устройстве некоторых дел, относившихся к личной его биографии. На страницах «Отечественных записок» с 1878 года и в последующие годы было напечатано немало материалов как самого Некрасова — «Последние песни», «Пир на весь мир» и др., так и о нем — статьи Елисеева, Скабичевского, Белоголового и др.* По инициативе Салтыкова известному художнику-гравёру И. П. Пожалостину было заказано изготовление гравюры с живописного портрета Некрасова работы Н. И. Крамского. Гравюра, ставшая одним из лучших произведений в некрасовской художественной иконографии, была отпечатана в количестве 8000 экземпляров и разослана, в виде приложения, подписчикам журнала за 1878 год. Также по инициативе Салтыкова редакция «Отечественных записок» собрала по подписке среди своих читателей более 6600 рублей для устройства народной школы имени Некрасова в Чудове Новгородской губернии (XX, 104). Вместе с Елисеевым, Пыпиным и Стасюлевичем Салтыков взял на себя, по просьбе А. А. Буткевич, труд по редактированию принятого ею, при участии библиографа С. И. Пономарева, первого посмертного издания стихотворений Некрасова в четырёх томах. Впоследствии Салтыков хотел посвятить памяти Некрасова свое последнее произведение — «Пошехонскую старину», но намерение это по какой-то причине, скорее всего случайной, осталось неосуществленным.

Главное, однако, чем Салтыков доказал свою преданность Некрасову и его делу — делу всех демократических сил России, — заключалось в том, что он принял весьма нелегкое для себя, по состоянию здоровья, решение стать преемником поэта на посту ответственного редактора «Отечественных записок». И он мужественно стоял на этом посту вплоть до катастрофы, до правительственного прекращения журнала в 1884 году.

* Статья Н. А. Белоголового «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова» (Отечественные записки, 1878, № 10) вызвала возражения Салтыкова, находившего неуместным обнаружение ряда медицинских подробностей болезни и смерти поэта, но все же была напечатана. По этому поводу сестра Некрасова А. А. Буткевич, также протестовавшая против этой публикации, писала С. И. Пономареву (4 ноября 1879 г.): «...я слышала, что Салтыков (который умен за всю пишущую братию) горячился и доказывал неуместность подобной статьи в литературном журнале...»⁵²

ВО ГЛАВЕ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»
1878-1884

Я не наемный редактор, а кровный...

Салтыков – Михайловскому

Со смертью Некрасова Щедрин является царящею силою в журнале <...>, на эту силу идут читатели, ею держится журнал...

Россия, 1880, № 43

8. НОВОЕ УСТРОЙСТВО РЕДАКЦИИ.—ТРИУМВИРАТ: САЛТЫКОВ—ЕЛИСЕЕВ—МИХАЙЛОВСКИЙ

Обращаясь к А. М. Жемчужникову 28 марта 1878 года, Салтыков писал, в связи со смертью Некрасова: «Теперь «Отеч(ественные) записки» остаются за остальной компанией, и в настоящее время идет дело об утверждении меня официальным редактором. Утвердят ли — не знаю, но вот уже с месяц об этом хлопочем» (XIX-1, 73). В момент, когда писались эти строки, Салтыков еще не знал, что хлопоты увенчались успехом. Накануне, то есть 27 марта, министр внутренних дел А. Е. Тимашев утвердил Салтыкова официальным редактором журнала.

Архивное «дело» об отказе Краевского от звания ответственного редактора, как это было при Некрасове, и об утверждении в этом звании Салтыкова содержит всего шесть документов. Первые два — прошения Краевского и Салтыкова в Главное управление по делам печати, возглавлявшееся тогда В. В. Григорьевым. Обе бумаги датированы 10-м марта; в них — краткое изложение ходатайств, без каких-либо мотивировок. Третий и четвертый документы — отношения упомянутого Управления в III Отделение, от того же 10 марта, с запросом: «Не имеется ли в оном <учреждении> сведений, могущих служить препятствием к удовлетворению ходатайства» Салтыкова и помеченный 13-м марта ответ III Отделения о «неимении таких сведений». Ответ подписан управляющим этим высшим органом политической полиции в империи А. Ф. Шульцем. Пятый документ — докладная записка Главного управления по делам печати министру внутренних дел А. Е. Тимашеву, сообщающая о согласии цензурного ведомства на утверждение Салтыкова. На бумаге, подписанной Григорьевым, резолюция министра: «Утвердить. 27 мар<та>». Последний документ — «отношение» Главного управления С.-Петербургскому цензурному комитету, извещавшее о состоявшемся правительственном решении¹.

Таким образом, если судить по официальным бумагам, дело об утверждении Салтыкова заняло немногим более двух недель и прошло без каких-либо затруднений, что называется «без сучка и задоринки». Не подлежит, однако, сомнению, что

эти бумаги не раскрывают всего, что стояло за словами из письма Салтыкова к Жемчужникову: «Уже с месяц хлопочем». Тут возникает три вопроса. Первый из них — когда и при каких обстоятельствах Салтыков преодолел свои колебания (а они были очень сильны) и принял нелегкое во многих отношениях, в частности для состояния его здоровья, решение взять на себя тяжкое бремя руководителя крупнейшего в стране оппозиционного журнала? Второй вопрос — почему в конце 1867 года, при передаче (аренде) «Отечественных записок» в руки Некрасова, последнему не разрешили стать «ответственным редактором» издания и властями было предъявлено требование сохранить на обложке журнала это звание за Краевским, а в начале 1878 года, когда политическая обстановка была значительно более острой, когда в идеологии и тактике народничества уже намечался сдвиг к революционному террору*, такое требование не было предъявлено? Наконец, третий вопрос. Управляющий III Отделением Шульц не мог же не знать, что возникшее в недрах этого учреждения жандармское досье на Салтыкова характеризовало его как человека и деятеля «неблагонамеренного». Почему же в 1862 году, когда Салтыков, вчерашний вице-губернатор, хлопотал о разрешении ему издавать журнал «Русская правда», III Отделение отказало ему в этом («по политическим мотивам», а в 1878 году эти мотивы были сочтены как бы несуществующими? И это вопреки тому, что упомянутое полицейское «досье» на Салтыкова к этому времени сильно отяготилось новыми материалами. Они характеризовали Салтыкова как человека, «проникнутого идеями, несогласными с видами государственной пользы и законного порядка», что и послужило причиной его полной отставки в 1868 году, по «высочайшему повелению», с государственной службы².

Лишь на первый вопрос мы находим частичный ответ в мемуарном свидетельстве одного из осведомленных современников, С. Н. Кривенко. В своих воспоминаниях он подчеркивает важное значение «неоднократных убеждений» Елисеева для принятия Салтыковым решения об ответственном редакторстве³. Можно не сомневаться при этом, что Елисеев не был тут одинок и что вместе с ним Михаила Евграфовича энергично убеждала в необходимости возглавить журнал вся редакция, в том числе, конечно, Михайловский. Впоследствии он не раз заявлял, что русская литература и журналистика не знали лучшего редактора, чем Салтыков. Да и сам Салтыков понимал, конечно, что, с точки зрения интересов того демокра-

* Достаточно вспомнить о совсем недавнем — 24 января 1878 г. — выстреле Веры Засулич в петербургского градоначальника Трепова. Характеризуя ужесточение политики самодержавия в области печати в это время, Салтыков писал Островскому: «Каракозов и Засулич — вот российские историкографы, которые, в особенности, будут памятны русской печати, которая, по обыкновению, за все про все отдувается» (XIX-1, 76—77).

№ 12. 1878.

В Главном Управлении по
делам печати.

Многоуважаемое
Главное Управление по
делам печати удостоило
меня своим любезным ре-
шением, назначив меня
ответственным редактором
«Отечественных записок».
1878 года. Салтыков

Прошение Салтыкова в Главное управление по делам печати
об утверждении его ответственным редактором «Отечественных
записок». 1878 г., март.

тического общественного дела, которому служили «Отечественные записки», его кандидатура была оптимальной и не имела альтернативы. Нельзя забывать и то обстоятельство, что журнальная деятельность была не только привычна и любима Салтыковым. Она отвечала одному из основополагающих его требований — практическому участию в общественной жизни.

На второй и третий вопросы также нет объективно достоверных ответов. И все же суть дела и тут как будто ясна. Назначение Салтыкова ответственным редактором не могло состояться без согласия Григорьева как начальника Главного управления по делам печати. И оно, судя по датам цитированных документов, было дано сразу же. Но у этого «сразу» была, несомненно, предыстория. Как рассказано выше, после того как Салтыков «погасил» инцидент, происшедший у него с Григорьевым, между ними установились вполне корректные отношения делового сотрудничества. И Салтыков был, в общем, ими удовлетворен⁴. Принимая во внимание данные обстоятельства, вряд ли можно сомневаться в том, что, прежде чем подать главе цензурного ведомства формальную бумагу со своим ходатайством, Салтыков заручился в неофициальном порядке поддержкой Григорьева. С этого, нужно полагать, и начались «хлопоты».

Что касается до благожелательной позиции III Отделения, имевшей решающее значение, то нужно полагать, что и тут дело не обошлось без помощи личных связей и предварительных конфиденциальных переговоров. Где и когда Салтыков познакомился с А. Ф. Шульцем, управляющим III Отделением в 1871 — 1878 годах, а затем сенатором, — не установлено. Но что они, а также их жены были знакомы, притом довольно близко, домами, видно из письма Салтыкова к Унковскому (1885 г.). Оно было написано как раз по поводу посещения больного писателя Шульцем (в то время уже сенатором), а на другой день — его женой. Тут мы встречаемся со случаем (не с первым и не с последним) появления в отдельных эпизодах биографии Салтыкова лиц из того официального («казенного») мира, к которому в целом он относился враждебно, который служил предметом критики и обличений в его творчестве. Это были люди, которых он когда-то знал по школьному товариществу в Московском дворянском институте и в Царскосельском (Александровском) лицее, а затем по государственной службе в Петербурге и в провинции. Иные из них достигли впоследствии весьма высоких, в том числе министерских, постов в правительственной администрации. По своей ли инициативе или по просьбе Салтыкова, эти «питомцы славы», как он их называл, оказывали ему иногда помощь в делах противоборства с цензурой и в рассеивании сгущавшихся над ним туч со стороны органов политического контроля самодержавия (участие в «тверской оппози-

ции», оставленное без политического привлечения к этому «делу», замена правительственного «смещения» с должности — уходом с формулировкой «по собственному желанию» и др.)⁵.

Одновременно с хлопотами в официальных инстанциях шли деловые переговоры Салтыкова с собственником «Отечественных записок» Краевским. Содержания и хода этих переговоров мы также не знаем. Но известны их итоги. Они закреплены в двух сохранившихся документах, подписанных в окончательной редакции Салтыковым и Краевским 8 апреля 1878 года. Это были «Контракт» и «Домашнее условие», заключенные на издание «Отечественных записок» в течение шести лет (до 1 января 1884 года).

Салтыков признавал незаурядные организаторские способности Краевского в издательском деле и его заслуги перед демократической журналистикой. В перешедших к нему в 1839 году «Отечественных записках» печатались лучшие писатели того времени. В этом журнале появились «Противоречия» и «Запутанное дело», которыми начался в 1847—1848 годах путь в литературу самого Салтыкова. Но ко времени перехода журнала в редакторские руки Некрасова, а теперь Салтыкова, присущие Краевскому черты буржуазного дельца-предпринимателя, не всегда чистого на руку, достигли полного развития. Элементы же либеральной идеологии начального периода его деятельности «угасли» и заменились консервативно-монархическими взглядами и «молчалинской» психологией послушности перед властью имущими. Салтыков находился с собственником журнала в чисто деловых отношениях. Но и они были трудны для его прямодушия. Более трудны, чем для Некрасова. Он так объяснял это в одном из своих писем: «Богатство, в глазах многих людей, имеет особое обаяние, и если даже оно сопряжено с воровством, то и тогда ему прощается. Вот почему Краевского знают за вора и все-таки жмут ему руки. Даже у Некрасова был этот культ богатства. Он смеялся над Краевским, но уважал его» (XX, 42). Салтыков же не только не уважал Краевского. Он презирал его. «Подлее и противнее этого старика ничего представить себе нельзя», — отзывался он о нем (XX, 12). Однако интересы дела требовали сотрудничества демократической редакции журнала с его собственником-капиталистом, а также владельцем типографии, в которой печаталось издание. И Салтыков, как раньше Белинский, а затем Некрасов, шел на это вынужденное, но необходимое сожитие. При этом, однако, он позаботился, как и его предшественники, но с большей определенностью и деловитостью, чем они, оговорить условия своей независимости от вмешательства Краевского собственно в редакторскую часть издания. Это условие было сформулировано в первом же, главном пункте «Контракта». Оно гласило: Салтыков «принимает на себя с званием ответственного перед прави-

тельством и судом редактора, исключительное заведование редакцией журнала «Отечественные записки», то есть всю работу о содержании журнала и ответственность перед публикою, Правительством и судом, как за содержание, так и за направление его, приглашая по своему усмотрению товарищей по редакции и сотрудников и помещая <в нем> собственные свои труды...». Представляя Салтыкову полную свободу во всем, касающемся содержания и направления журнала, «Контракт» сохранял, однако, за Краевским право просматривать в корректурных листах подготовленные к публикации материалы и приостанавливать печатание тех из них, в которых заметит «что-либо могущее вызвать преследование администрации или суда». Другими словами, «полная свобода» ответственного редактора de facto все же ограничивалась еще одной цензурой, дополнительно к официальной, — «домашней», или «хозяйской», собственника журнала. Однако, как показало будущее, Краевский, возможно опасаясь бурных столкновений с «грозным» редактором, а с другой стороны весьма довольный ростом тиража журнала, а значит, и прибылей, почти не пользовался оговоренным им правом своего цензурного контроля. По своей инициативе он в редакторскую работу не вмешивался и даже не появлялся в редакции, так что многие из сотрудников никогда в глаза его не видели⁶. Но бывало, что Салтыков сам обращался к нему за помощью или предупреждал его об «опасных материалах». И Краевский, прибегая к своим обширным деловым связям, несколько раз участвовал в защите журнала от угрожавших ему цензурных осложнений.

Нельзя не указать, что и Салтыков, со своей стороны, считал необходимым оговорить в «Контракте» свое право «во всякое время <...> проверять приходо-расходные книги и счета конторы «Отечественных записок», то есть контролировать денежно-хозяйственную часть издания, хотя и находившуюся, по «Контракту», всецело в заведовании Краевского. Тут ему пригодился опыт недавнего управляющего Казенными палатами. Таким образом, формулировки двух главных условий, определявших деловые взаимоотношения между Салтыковым и Краевским по изданию журнала, были снабжены важными оговорками. Они отражали некоторое взаимное недоверие сторон и предоставляли право контроля за сферой деятельности друг друга.

Что касается материальных условий труда работников редакции, а также авторского гонорара, то Салтыкову удалось, хотя и не сразу, улучшить их, по сравнению с теми, которые существовали при Некрасове. Это стало возможным вследствие роста популярности журнала, увеличения его тиража (до 10 500 в отдельные годы, чего при Некрасове не было) — а значит, и прибылей — и настойчивости Салтыкова в гонорарных требованиях к прижимистому Краевскому. Ставки ав-

торского гонорара были дифференцированно повышены от 75 до 250 р. Коммерческий успех издания укрепил материальное положение и самого Салтыкова. Кроме ежемесячного жалования и гонорара за свои собственные литературные труды (сначала 200 р., а с 1881 г. — 250 р. за лист), появившиеся почти в каждой книжке журнала, за исключением летних номеров, «Контракт» предоставлял ему, как и при Некрасове, доход пайщика в дивидендах от издания. При числе подписчиков до шести тысяч включительно чистая прибыль делилась между ним и Краевским поровну. Если же подписчиков было больше и тираж соответственно увеличивался, то, сохраняя для прибыли от шести тысяч упомянутый расчет, Краевский отчислял в пользу Салтыкова еще две доли от дополнительной прибыли. Вся прибыль, причитавшаяся Салтыкову в свою очередь, делилась им на три равные части, из которых одна шла ему, а две других — соредакторам Елисееву и Михайловскому. О размерах этой прибыли известно из писем Салтыкова к Елисееву: «Дивиденда за 1881 г. оказалось в количестве 8425 р. 23 к. на человека»; в 1882 г. — 9427 р. 16 к.; в 1883 г. — 5557 р. 10 к. и т. д. (XIX-2, 75, 166, 265). От получаемой Некрасовым, в качестве ответственного редактора, дополнительной тысячи рублей Салтыков отказался, как ни убеждали его оба соредактора не делать этого⁷. Добился Салтыков и того, что даровые экземпляры номеров «Отечественных записок» стали получать не только члены редакции, но и «постоянные сотрудники».

Объем каждой книжки журнала был определен в размере 31 листа. Они должны были выходить между 5 и 10 числами каждого месяца, за чем, нужно сказать, Салтыков неукоснительно следил, хотя цензура нередко препятствовала его аккуратности. «Контракт» и «Домашнее условие» не содержат всех данных, которые позволили бы установить общие средние размеры заработка Салтыкова в первые годы его ответственного редакторства. Но для последних двух-трех лет существования журнала такие сведения имеются. Они сообщены самим Салтыковым. «С прекращением «Отечественных» записок», — писал он в 1884 году Белоголовому, — я потерял 12—13 тыс. р. дохода; да сверх того ежегодно книги мои издавались, что тоже приносило до 5 т. р. ...» (XX, 40). Такие высокие литературные заработки свидетельствовали как о большом авторитете и популярности Салтыкова — писателя и редактора, так и о его огромной творческой производительности, несмотря на неуклонно ухудшавшееся состояние здоровья.

Распределение обязанностей между членами нового редакторского триумvirата осталось по существу таким же, как и при Некрасове. Елисеев и Михайловский (последний уже в качестве члена редакции) ведали Отделом II журнала — «Современное обозрение». Елисеев отвечал за разработку

входивших в этот Отдел вопросов внутренней политики, Михайловский — за «библиографию» (критику). В непосредственном ведении самого Салтыкова находился Отдел I (он не имел названия). В нем публиковалась художественная литература, хотя здесь же печатались и «серьезные» (научные) статьи. Занимался он и чисто беллетристическим «Приложением». Обо всем этом подробнее будет сказано дальше. Но как ответственный редактор всего издания Салтыков участвовал в разработке очередных и перспективных планов обоих Отделов и читал, с редакторским пером, в рукописи или, чаще, в корректурах значительную часть материалов каждой книжки журнала. Кроме того, Салтыков, помимо своих подписных произведений, нередко выступал с анонимными статьями и рецензиями. Пантелеев вспоминал: «По словам Г. З. Елисеева, когда по обстоятельствам нужно было написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию, Михаил Евграфович брался за это, и все подобные статьи — а их наберется в «Отечественных записках» немало — были в своем роде шедевры»⁸.

Сверх своих собственно писательских и редакторских дел, Салтыков ведал всей внешней стороной издания — переговорами с авторами, заключением условий с ними, сношениями с Краевским, конторой, типографией, а главное — с цензурой. Соответственно всем этим обязанностям на нем в основном лежала и немалая корреспонденция по журналу. И весь этот огромный труд выполнялся преимущественно самим Салтыковым, и выполнялся с присущей ему добросовестностью, тщательно и аккуратно.

«Михаил Евграфович, — вспоминал Елисеев, — в общем держался в ведении журнала той же системы, что и Некрасов (...), он также (...) не принадлежал к числу тех плохих кучеров, которые бестолковым дерганьем лошадей мешают только свободной, спокойной и ровной езде. Но Михаил Евграфович был кучер не только умелый и ловкий, но и кучер-щеголь, который заботился не только чтобы езда была хороша и спокойна, но чтобы при выезде не было никакой неряшливости ни в сбруе, ни в экипаже, чтобы все в выездном ансамбле если не блистало, то было в порядке и чисто. Если Некрасов с удовольствием предоставлял делать другим даже свою работу, когда сам не имел для нее времени или охоты, то Михаил Евграфович не только не возлагал ни одной строки своей работы на других, но имел терпение пересматривать работу всех своих постоянных сотрудников и по своему темпераменту не мог успокоиться до тех пор, пока ему не станет известно до последней строки, что будет напечатано* в его журнале»⁹.

* Исправлена текстологическая неточность первопечатной публикации. В ней, в отличие от подлинника, читаем: «... пока ему не будет известно до последней строки, что напечатано...» — С. М.

Среди упомянутых Елисеевым «постоянных сотрудников» редакции, состоявших на жалованье, прежде всего должен быть назван А. Н. Плещеев, исполнявший работу секретаря редакции, а также фактически ведавший отбором стихотворных материалов. На него (а иногда и на Скабичевского) возлагалось и временное заведование редакцией, когда члены ее, в летние месяцы, разъезжались — кто за границу, кто на дачу. Однако, несмотря на давнее, с 1840-х годов, знакомство с Плещеевым, а также несмотря на то что он, сильно тогда нуждавшийся, был приглашен Некрасовым на секретарство в редакции по инициативе и просьбе Салтыкова, личные и деловые взаимоотношения между ними не сложились. Салтыков был недоволен неаккуратностью Плещеева в делах, а Плещеев говорил, что ему «очень тяжело» иметь дело с Салтыковым¹⁰. Другими «постоянными сотрудниками» были А. М. Скабичевский и, позднее, С. Н. Кривенко, заменивший в качестве «внутреннего обозревателя» заболевшего Г. З. Елисеева. Некоторое время участвовал в работе редакции В. Р. Зотов, знакомый Салтыкова еще по Лицею, а затем, по совместной службе в Канцелярии военного министерства. Фактически на положении постоянных сотрудников редакции находились еще М. А. Протопопов, участник революционного движения, регулярно печатавший без подписи литературно-критические статьи и рецензии, а также Н. Н. Фирсов, выступавший в журнале как анонимно, так и под псевдонимом «Рускин».

Особую роль играл в редакции Н. С. Кутейников, публицист и переводчик, корабельный инженер по специальности, рекомендованный еще Некрасову, через В. М. Лазаревского, управляющим морским министерством Н. К. Краббе. Кутейников приглашался только для написания «обязательных статей» — откликов редакции на официальные и на чрезвычайные сообщения — о царских манифестах, коронации, убийстве Александра II народовольцами и т. п.¹¹

Новым помещением редакции, вместо квартиры Некрасова, стала квартира Елисеева на Надеждинской, 18 (теперь улица Маяковского и тот же номер дома). По словам писателя Ив. Щеглова, редакторская комната «была узкая, длинная, полутемная, скорее похожая на «лакейскую», чем на кабинет редактора — вдобавок без толку загроможденная шкафами с книгами, картонками с рукописями, письменной конторкой с ворохом корректур»¹².

Здесь редакция находилась до осени 1883 года, когда живший из-за болезни за границей Елисеев прекратил действие договора на свою петербургскую квартиру. После этого редакция переехала в квартиру своего секретаря Плещеева, на Спасской улице, 1 (теперь ул. Рылеева, 1), где и находилась вплоть до апрельской катастрофы 1884 года, когда издание «Отечественных записок» было прекращено правительством. Контора и склад издания помещались в доме Краевского на

Бассейной (теперь ул. Некрасова, 2/36). Управляющим типографией был И. Н. Скороходов, конторой ведал А. К. Гаспер, неоднократно упоминаемый в письмах Салтыкова. Метраншажем (техническим редактором) был по-прежнему Е. Я. Чижов, а бессменным корректором — Н. Ф. Головачева (сестра бывшего секретаря «Современника» А. Ф. Головачева). Она общалась с Салтыковым по делам редакции почти ежедневно. Отлично читая нелегкий, «клинописный», почерк писателя, именно она обычно подготавливала к набору рукописи его произведений. По словам А. М. Унковского, Головачева знала все особенности Салтыкова-редактора лучше чем кто-либо. Имеются сведения, что ею были написаны ценные воспоминания о редакторской работе Салтыкова, но разыскать их, если они сохранились, не удалось*.

Как и при Некрасове, редакторы и «постоянные сотрудники», а также иные из авторов собирались по понедельникам (за исключением летних месяцев) в помещении редакции. Салтыков, если не был болен, никогда не манкировал этими собраниями. Он присутствовал на них в течение трех-четырех часов, проводя их в беседах с соредакторами и авторами, чьи рукописи он прочитал или готовился к прочтению. Часть времени уходила на гонорарные дела. Иногда Михаил Евграфович отвлекался от дел и делился своими впечатлениями от текущих событий или предавался воспоминаниям о своей жизни в провинции в годы службы и о многом другом. По сохранившимся отзывам слушателей этих бесед, они были бесподобны. Устная речь Салтыкова по лексическому и фразеологическому богатству, по силе образности не только не уступала его письменному слову, но по своей полной раскованности и непосредственности превосходила его в яркости и энергии.

Помимо редакционных понедельников, Салтыков был доступен для посетителей, по делам журнала, и у себя на дому. И это несмотря на напряженность собственного писательского труда; напряженность и срочность, необходимость обеспечивать очередным своим произведением каждый номер журнала (кроме двух летних номеров). «Смотря на Салтыкова, — пишет Кривенко, — нельзя было не удивляться, как ему не мешают работать посетители. Ни приемных, ни неприемных дней, ни особых приемных и неприемных часов, как у других <редакторов>, у него не было. Положим, что к нему не во всякое время ходили: по утрам, часов с 11 и до обеда, его все и всегда могли застать и шли к нему совершенно свободно. Случалось иногда заходить к нему и вечером, и опять никто не говорил, что не принимает, ни что его дома нет, и опять приходилось кого-нибудь встречать у него»¹³. Под словами «кого-нибудь» Кривенко имеет тут в виду лишь посетителей по делам редак-

* Сообщено мне в 1934 г. в Ораниенбауме Михаилом Алексеевичем Унковским.

ции. Но близких, дружеских отношений ни с кем из своих сотрудников, несмотря на взаимную уважительность, у Салтыкова не установилось. В гости к писателю никто из них, кроме Елисеева, не ходил. Но, по словам Н. Н. Златовратского, в квартире Елисеева по вечерам собирались, хотя и не очень регулярно, ближайшие сотрудники для неофициального общения. «Нередко, — продолжает мемуарист, — появлялся и сам Салтыков, если ему было с кем «повинтить» (разговаривать на этих встречах он, по-видимому, не любил)»¹⁴.

Человек коллегиальный — «артельный», по слову Гл. Успенского, — прибегавший к практике единоначалия лишь в исключительных случаях, Салтыков осуществлял свою руководящую работу в журнале, как сказано, при участии двух соредакторов — Елисеева и Михайловского. Но их непосредственный редакторский труд был прерван заболеванием и отъездом за границу Елисеева в середине 1881 года и высылкой Михайловского в начале 1883-го (однако литературное участие последнего в журнале не прерывалось). Салтыков держал своих соредакторов в курсе всех дел издания, в том числе и материальных, и всех своих планов. В этом он был резко отличен от скрытного Некрасова. Противник мелочной опеки над работой своих соредакторов, Салтыков избегал вмешиваться в порученные им участки работы. Информирова Елисеева в одном из писем о содержании очередного номера журнала, Салтыков оговаривался: «Говорю Вам о беллетристическом материале, ибо в остальное не вмешиваюсь» (XIX-2, 156). А когда он все же вмешивался в дела II Отдела, это почти всегда было вызвано причинами цензурного характера. Вместе с тем Салтыков нередко прибегал к консультациям с Елисеевым и особенно с Михайловским при редактировании материалов своего Отдела, а также по вопросам общего направления издания.

Но отношение Салтыкова к своим соредакторам — деловое и личное — не было одинаковым. Оно было более симпатизирующим и открытым к молодому Михайловскому, чем к своему сверстнику Елисееву, хотя в бытовом плане, а также в переписке связи с последним были более активными и близкими.

По словам Елисеева, он и Салтыков были «людьми одной веры — веры 60-х годов»¹⁵. И это действительно так, но все же с двумя существенными оговорками. Во-первых, «вера 60-х годов» была лишена у Салтыкова того страстного ожидания скорого крестьянского восстания, которым жили «революционеры 61 года» (Ленин), с которыми отчасти был связан Елисеев. Во-вторых, социальная вера Салтыкова возникла на мировоззренчески более глубоком и широком фундаменте «веры 40-х годов». Демократизм, протест против крепостного строя и его государственного стража самодержавия сочетались в «вере 40-х годов» с идеалами западноевропейского просвети-

тельства и утопического социализма — «общечеловеческими идеалами», по определению Салтыкова.

У Елисеева его демократизм, отмечал Михайловский, «был не делом только принципов и убеждений, а самих инстинктов»; «кровным демократом» называл он его¹⁶. Сын сельского священника, воспитанник семинарии, а потом духовной академии, Елисеев не прошел той идейной школы, которую в свои молодые годы прошел Салтыков в кружках первых русских социалистов-петрашевцев. И ему не дано было сохранить до конца дней «веру 60-х годов», взгляды и настроения того времени, когда он сотрудничал в «Современнике» с Чернышевским и не только сочувствовал революционному подполью, но и в какой-то мере участвовал в нем (намечался в члены «Земли и воли», в 1866 году подвергся кратковременному заключению в Петропавловской крепости, в связи с «делом Каракозова», а затем был подчинен негласному надзору полиции, снятому лишь в 1882 г.). Однако с годами он все дальше смещался вправо, в сторону либерального оппортунизма. И уже в середине 70-х годов, когда в стране начинался новый общественный подъем, вера демократа-шестидесятника в лучшее будущее покинула его. В 1875 году он писал Салтыкову: «Так все опротивело, что сказать нельзя, и никакого просвета впереди. Чувствуешь себя в положении монаха, потерявшего веру во всякую святую и, однако же, пребывающего на страже мощей»¹⁷.

В свете сказанного понятно, чем и как определялись содержание и эволюция взаимоотношений между Елисеевым и Салтыковым. Люди одного поколения русской демократии, хотя и разных ее «изводов», многие годы связанные общей литературно-журнальной работой и дорогами для каждого воспоминаниями о «Современнике», они уважали друг друга. В «Отечественных записках» их сближало и то, что, сотрудничая в одном деле с народническими идеологами, они не разделяли всецело их доктрину (в ее специфически-народнических элементах) и занимали в демократическом движении собственные позиции, хотя в своих публицистических писаниях преимущественно о жизни «мужика» и деревни с их нуждами и горестями Елисеев был гораздо ближе к народникам, чем Салтыков. Полного единомыслия между ними не было. Не было, вследствие этого, полного согласия и в редакционных делах. Салтыков ценил «Внутренние обозрения» Елисеева, главный его вклад не только в «Отечественные записки», но и во всю демократическую публицистику эпохи. Ценил за пронизывающее их искреннее сочувствие к бедственному положению крестьянства, за то, что в этих выступлениях «весомо и зримо» вскрывалась враждебность существующего строя народу, ценил, наконец, за трезвость наблюдений над вызревающим в русской жизни капитализмом. Но его не удовлетворяли преимущественно крестьянские рамки и подходы в елисеев-

ских обозрениях. В этих рамках было тесно не только «проблемному», но и фактическому, информационному материалу, относящемуся ко всем другим явлениям текущей общественной жизни страны. «Пора бы, — писал Салтыков Михайловскому, — «Внутреннее обозрение» поставить на почву общечеловеческую, а не исключительно крестьянскую» (XIX-2, 272). Замечание это возникло в связи с одной из статей С. Н. Кривенко из цикла «По поводу внутренних вопросов», заменившего «Внутренние обозрения» заболевшего Елисеева, но оно применимо и к этим последним. Демократический патриотизм Салтыкова был широк и чужд национальной русско-крестьянской ограниченности. «В наш патриотизм, — мог бы он сказать словами Герцена, — входит общечеловеческое, и не токмо входит, но занимает первое место...»¹⁸ Возникали и другие несогласия.

В сентябре 1880 года новый министр внутренних дел гр. Лорис-Меликов устроил встречу с редакторами петербургских газет и журналов. Салтыков находился тогда за границей, и «Отечественные записки» представлял на встрече Елисеев. Лорис-Меликов выступил со своего рода программой желательного правительству политического поведения периодической печати. Программа была весьма умеренно-либерального содержания. Но в своей статье «Несколько слов по поводу вопросов злобы дня» (Отечественные записки, 1880, № 9) Елисеев отозвался об этой программе весьма сочувственно, что вызвало резкое недовольство со стороны Салтыкова. «Я помню, — вспоминал Михайловский, — как сердито говорил он, что это <комплименты Елисеева министру> как бы превращает нас в официальный орган»¹⁹.

Все увеличивавшийся оппортунизм Елисеева чем дальше, тем больше вызывал у Салтыкова недовольство, раздражение, гнев. И не только у Салтыкова. В одном из писем к П. Л. Лаврову того же 1880 года Белоголовый так отзывался об идейной эволюции бывшего члена редакции «Современника» и о реакции Салтыкова на эту эволюцию: «Наш друг <Елисеев> совсем превратился в оппортуниста, и Салтыков выходит из себя за последние его статьи, находя их розовыми и малосодержательными вообще...»²⁰ А когда Елисеев, по болезни отошедший от участия в трудах редакции, задумал было, после относительного улучшения здоровья, вернуться в «Отечественные записки», Салтыков признал невозможным возобновление их совместной работы. Он писал Белоголовому 5 апреля 1884 года: «...я твердо решил ни к каким редакционным обязанностям Елисеева не допускать. Не можете ли Вы поставить его на эту точку зрения, так как в таком случае он, быть может, и опять решится остаться за границей» (XIX-2, 304)*.

* Но двумя годами раньше намерения Салтыкова были другими, и он писал Елисееву 15 мая 1882 г.: «Само собой разумеется, что раз Вы возвратитесь в Россию и будете в силах работать, Ваше место в редакции восстановится само собой» (XIX-2, 111).

Последовавшее вскоре запрещение «Отечественных записок» избавило Салтыкова от трудной необходимости осуществить свое решение. Но что оно было принято всерьез — сомневаться не приходится. Михаил Евграфович не мог допустить возобновления участия в руководстве оппозиционно-демократического издания человека, в новейшем представлении которого «все отличие этого журнала от других журналов состояло в том, что он шаг за шагом шел за правительством и искренне и горячо отстаивал как все совершенные им уже реформы, так и те, которые оно предлагало еще совершить»²¹. Такая удивительная оценка «Отечественных записок» одним из их редакторов (хотя уже «бывших» в это время) не только отделила издание от демократического лагеря, но и действительно как бы превращала журнал в «официальный орган», о чем возмущенно говорил Салтыков Михайловскому по упомянутому выше другому поводу. С елисейской проповедью либерального соглашательства, с его апологией политического компромисса Салтыкову пришлось сурово полемизировать и после того, как были закрыты «Отечественные записки», о чем речь впереди. До каких пределов дошел Елисейев в своем движении вправо, показывает его последняя работа — рукопись незавершенной мемуарной статьи о Салтыкове, в которой он призывал усматривать «главную силу и опору русского могущества и величия России в царе Александре II и его реформах»²².

Помимо идейных разногласий Салтыкова отчуждали от дружеской близости с Елисейевым некоторые черты его характера и образа жизни. Прежде всего это была скрытность, столь чуждая салтыковскому прямодушию и открытости. «Таинственность — одно из врожденных его качеств, и, признаюсь, в высшей степени неприятная», — говорил он о своем соредакторе (XIX-2, 19). Чужда была Салтыкову, человеку далекому от религиозных интересов, присутствовавшая во взглядах и быте Елисейева религиозность. Говоря о будто бы «случайности» отхода Достоевского от того направления утопического социализма, которое было близко ему в начале его идейного пути, Елисейев заявлял: «И надобно было много усилий, чтобы свернуть его отсюда. Только посредством Бога могли его свернуть отсюда». И заканчивал эту сентенцию такими словами: «Точно мы противники Бога!»²³ Религиозно-церковные элементы проникали иногда и в писания Елисейева на страницах «Отечественных записок», что приводило к возникновению конфликтных ситуаций. «Прочтите «Внутреннее обозрение» в июньской книжке, — писал Салтыков Михайловскому в 1880 году. — Елисейев доказывает, как нужно устроить духовенство согласно с истинным духом православия. Я, впрочем, получил обещание, что дальнейшего развития этому вопросу, а равно и вопросу о том, как повелевает святая церковь насчет постов, — не будет. А ежели будет, то

легко может случиться, что я совсем выйду из журнала» (XIX-1, 159). В своих доверительных письмах Салтыков, в минуты раздражения, не раз отзывался о Елисееве с присущей ему резкостью как о человеке «хитром и недоброжелательном», «длукавом», «препротивном», называл его «самолоубивым протоиереем» и заявлял: «Он порядком-таки перепортил мне крови» (XIX-1, 228; XIX-2, 304, 169, 160). Вместе с тем, однако, он никогда не забывал заслуг Елисеева перед демократической журналистикой. И когда Елисеев вынужден был по состоянию здоровья прекратить участие в трудах редакции, Салтыков по собственному своему решению (и вопреки условиям «Контракта», а также заявлениям самого Елисеева) сохранил за ним в полном объеме все материальные права и привилегии, полагавшиеся ему как действующему редактору и пайщику издания. И лишь осенью 1883 года, при продлении контракта с Краевским, Салтыков предложил Елисееву оставить за ним лишь пенсию в 2400 руб., что было предусмотрено в контракте для редакторов, не имеющих возможности участвовать в трудах журнала по болезни (XIX-2, 243). За весь почти пятилетний период пребывания Елисеева за границей Салтыков вел с ним довольно частую переписку, общая в ней обо всем важном, что происходило в России, и всегда осведомлялся о материальных нуждах своего корреспондента. И не только осведомлялся. С присущей ему аккуратностью он исполнял все просьбы и комиссии Елисеева и сам вел счет его деньгам, начисляемым в кассу «Отечественных записок», высылая сколько нужно было за границу и храня у себя остальные.

Внимание и заботливость Салтыкова глубоко трогали Елисеева. В одном из писем к нему этого времени из Парижа он писал: «Я всегда понимал, что при Вашем глубоко симпатичном для меня таланте Вы имеете и прекрасное сердце, но всю широту этого сердца Вы дали мне почувствовать и понять только теперь. Это для меня открытие, и великое открытие»²⁴. Елисеев действительно высоко ценил не только силу ума и таланта Салтыкова, но и его моральные качества. Он ставил его в ряд с Достоевским. «Я только теперь узнал Достоевского, — писал он в 1884 году Салтыкову и продолжал: — Это была живая, на все отзывчивая душа. Его пытливая мысль была в вечном напряжении, никогда не знала покоя. По неутомимой деятельности его мысли и впечатлительности я могу сравнить его только с Вами»²⁵.

Что касается до отношения Елисеева собственно к писательскому таланту Салтыкова, то оно отмечено печатью определенной эстетической узости и общественно-политического утилитаризма, характерных для многих демократов-шестидесятников из разночинцев. Они предъявляли писателям прежде всего требования «гражданственные», а не художественные («Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обя-

зан», — призывал и сам великий поэт эпохи — Некрасов). У Салтыкова Елисеев больше ценил его публицистические статьи, очерки, циклы, посвященные непосредственно общественно-политической современности. Работа же писателя над его великими художественными полотнами — «Господами Головлевыми» и «Пошехонской стариной» вызвала у него известное недовольство тем, что «отвлекала» автора от живо-трепещущей злободневности. При всем том Елисеев видел в Салтыкове крупнейшую силу в литературе и в общественной жизни страны. «Ваше имя теперь настолько авторитетно в России, — писал он Салтыкову в 1882 году, — что Вы не только имеете право, но и *должны* говорить, как *власть имеющий*»²⁶.

Из всего сказанного видно, что редакторское сожитие Салтыкова с Елисеевым в «Отечественных записках» было далеко от единомыслия и гармонии. Характеристика Елисеева как «главного руководителя и направителя «Отечественных записок», данная П. Л. Лавровым, далека от истины²⁷. Вместе с тем, несмотря на все редакционные ссоры, перепалки и расхождения во взглядах, Салтыков и Елисеев увлеченно делали одно дело. Это обстоятельство создавало почву для некоторой личной близости, которую, однако, нельзя назвать дружбой или приятельскими отношениями.

В бумагах Елисеева сохранились две черновые рукописи, содержащие его воспоминания о Салтыкове. Начатые вскоре после смерти писателя, они остались незаконченными. В них Елисеев, следуя старинному правилу «о мертвых либо хорошо, либо ничего», почти не касается всего того, что разделяло его порой с Салтыковым²⁸. А то немногое, что все же было сказано по этому поводу, не вошло в посмертные публикации названных рукописей в «Русском богатстве» и «Заветах»²⁹. Вследствие этого картина внутривредакционных отношений в «Отечественных записках», нарисованная Елисеевым, приобрела несколько идиллический характер. В ней нет неправды, но есть некоторые умолчания правды. При всем том этот мемуарный источник представляет большую ценность для биографии писателя. В нем итог, хотя и незавершенный, наблюдений и раздумий над личностью и писательско-редакторским трудом Салтыкова, подведенный человеком, четверть века действовавшим с ним бок о бок в деле руководства двумя крупнейшими демократическими журналами эпохи.

Если Елисеев был давним соредактором Салтыкова, то Михайловский вошел в руководящий триумвират «Отечественных записок» лишь при новом устройстве редакции, хотя печатался в журнале с 1868 года, то есть с момента перехода издания в руки Некрасова. Указывая на некоторые ошибки в статье о нем, помещенной в «Большой энциклопедии», Михайловский писал ее автору С. Н. Южакову: «Я стал соиздателем-соредактором Салтыкова и Елисеева *по их предложению*,

а вовсе не по завещанию Некрасова». И в другом письме к тому же адресату: «Глеб Иванович <Успенский> сообщил Вам совершенно неверные сведения. Завещание Некрасова я читал: там обо мне нет ни одного слова. Быть может, умирая, он и выразил желание, чтобы его пай перешел ко мне, но и в этом я очень сомневаюсь, так как Салтыков и Елисеев, конечно, сказали бы мне это, а не предложили бы участие в «Отчужденных» зап(исках)» от себя лично»³⁰.

Примечательно, что знакомство Салтыкова с Михайловским началось с разговора о тех «неумирающих общих положениях», тех «идеалах», которые открылись писателю в его юные годы в учениях французских утопических социалистов. «Помню, — пишет об этом Михайловский, — что когда я еще совсем молодым человеком начал писать в «Отечественных записках», то Салтыков чуть ли не в первом же разговоре предложил мне написать статьи о французских социальных системах, — он находил необходимость напомнить их русскому обществу»³¹. Михайловский уклонился от этой работы, вероятно, потому, что не считал себя подготовленным к ней, но в дела журнала вошел сразу, полно и горячо. О том, как определилось положение Михайловского в «Отечественных записках» и как сложились его взаимоотношения со «столпами» редакции, в том числе с Салтыковым, он рассказал в своей книге «Литературные воспоминания и современная смута». «Странно сказать, — читаем здесь, — но из всех трех стариков редакции я был, что называется, «знаком» только с Елисеевым, и это за все время существования «Отечественных записок». Приходилось, разумеется, очень часто видаться и с Некрасовым и с Салтыковым, но, за весьма редкими исключениями, это были свидания по делу. Склад жизни Некрасова так же резко отличался от склада жизни Салтыкова, как и сами они резко разнились друг от друга. Но для меня и с тем и с другим одинаково невозможны были товарищеские, приятельские отношения, внешним образом выражающиеся тем, что люди друг к другу ходят чайку попить, поболтать и т. п. Впоследствии, уже при закрытии «Отечественных записок», Салтыков писал мне однажды: «Вы были для меня одним из симпатичнейших и любимейших людей, хотя разность лет и моя болезнь препятствовали мне ближе сойтись с Вами»³². Но Михаил Евграфович ошибался, — не в разности лет и не в его болезни дело было, по крайней мере, не только в них. Елисеев был даже старше его и тоже человек хворый, но это не мешало нам быть в коротких приятельских отношениях*. Глубоко уважая и любя Салтыкова не только как литературного деятеля, но и как человека, будучи очень близок с ним в сфере идей и общественных симпатий и антипатий, я, одна-

* Такое утверждение справедливо, однако, лишь до начала семидесятых годов — С. М.

ко, даже и представить себе не могу, как бы мы с ним друг к другу, например, «в гости» ходили. Слишком уж велика разница была в наших привычках, обстановке, во время складе жизни. Без дела я бывал у Салтыкова только во время его болезни»³³. В другом месте своих воспоминаний Михайловский, возвращаясь к тому же письму Салтыкова, говорит: «Интимно-дружеской близости не было, а суррогат ее — светские отношения были бы между нами смешны. Ни он, ни я не чувствовали склонности к такого рода отношениям, хотя ему, благодаря всей его жизненной обстановке, приходилось все-таки иметь и поддерживать таковые. Воображаю, а отчасти и знаю, как он их поддерживал. Я не могу не улыбаться, перечитывая следующие строки из одной его записки ко мне, помеченной 5-го декабря: «Так как завтра множество Николаев, то полагаю, что Вы один из оных». И затем подпись. Это значит, что он поздравлял меня с именинами...»³⁴

Бытовой обиход Салтыкова, уклад домашней жизни, сложившиеся в традициях помещичьей семьи и высокопоставленного служебного положения в провинции, а еще больше под воздействием «светских» вкусов жены, действительно сильно отличались от «разночинского» образа жизни Михайловского. С другой стороны, дружескому сближению все же препятствовали, вопреки утверждениям Михайловского, и большая разница в возрасте (16 лет), и болезнь Салтыкова, и его бурная, непредсказуемая раздражительность часто по совсем незначительному поводу, и даже его пристрастие к игре в карты (не коммерческой), которой отдавалось почти все малое время домашнего отдыха от литературных занятий и редакторских дел. Но все эти обстоятельства не стали помехами для их идейного общения, не говоря уже о деловом. Скорее напротив, отсутствие интимно-приятельских отношений придавало этому общению своего рода «обертонь» духовной чистоты и высоты, освобождая его от всякого рода бытовых наслоений и посторонних примесей «мелочей жизни». А что Салтыков высоко ценил это общение и нуждался в нем, свидетельствует ряд его писем и дружеских записок к Михайловскому, например такая, от 20 декабря 1878 года: «Многоуважаемый Николай Константинович. Вы окончательно меня забыли. Не найдете ли возможным хоть на четверть часа меня посетить утром не при огнях, когда мне очень тяжело» (XIX-1, 95).

В 1884 году Салтыков писал Михайловскому, в ответ на выраженное последним (в неизвестном нам письме) несогласие с тем, как в одной журнальной статье были представлены их взаимоотношения:³⁵ «Я сам полагаю, что не одна случайность соединила нас с Вами в одном журнале, но и общность воззрений <...>. Никогда у нас с Вами серьезных разногласий не было, и публика читающая это знает отлично...» (XIX-2, 273). Слова эти не означали, однако, что Салтыков признавал «общность» своих воззрений со всеми взглядами Михайлов-

ского, в том числе и с теми, которые принадлежали к специфическим элементам народнической доктрины. Примечательно ироническое отношение Салтыкова к известному программному выступлению Михайловского «Что такое прогресс?», в котором он впервые изложил основные положения своей социологической теории (XIX-1, 11). Не было у него «общности» и с учением Михайловского о «субъективной социологии». В этих вопросах Салтыков стоял на других позициях. Он был противник всякого индивидуального и априорного конструирования идеального будущего. Не мог Салтыков быть солидарен с Михайловским и с позицией относительно «старых богов», изложенной в письме последнего к Лаврову в 1873 году, в котором содержалось приглашение принять участие в организации зарубежного революционного издания. «Я не революционер, — писал Михайловский, — всякому свое. Борьба со старыми богами меня не занимает, потому что их песня спета и падение их есть дело времени. Новые боги гораздо опаснее и в этом смысле хуже. Смотри так на дело, я могу до известной степени быть в дружбе со старыми богами и, следовательно, писать в России»³⁶. Салтыков также получил аналогичное приглашение от Лаврова и также отверг его. Мотивировка его отказа неизвестна, хотя понятна (не желая подрывать свою писательскую деятельность, Салтыков был принципиальным противником каких-либо своих нелегальных выступлений в России или за границей)*. Но нет сомнений, что у него не могло быть мыслей о том, что борьба «со старыми богами», то есть с существующим строем, перестала его интересовать. Рассматривая в свете своей философии истории все общественные формации и институты, включая государство, общественность, в том числе и российское самодержавие, как явления исторически «преходящие», именуя их поэтому «призраками», Салтыков, однако, знал все еще грозную реальную силу этих «призраков» и вел с ними своими литературными средствами непримиримую борьбу, так же как и с появившимися в русской жизни «призраками» новыми, принадлежавшими наступающему буржуазному строю. Нельзя не заметить, однако, что практическая деятельность самого Михайловского находилась, во всяком случае с конца семидесятых годов, в противоречии с тем, что он написал Лаврову, и что ни в какой «дружбе со старыми богами» он и тогда не находился, но был в одном строю с теми, кто отрицал этих «богов», боролся с ними. «Общность воззрений» Салтыкова и Михайловского, взаимно ими признаваемая, как раз и заключалась (включая сюда и Елисеева) в их солидарной приверженности к основополагающим общим принципам демо-

* Все, что появилось в нелегальных изданиях из произведений Салтыкова, в России и за рубежом, попало туда не от него и помимо его воли. Об этом будет сказано дальше.

кратизма — русского просветительского демократизма того времени*. Все они были проникнуты горячим сочувствием к угнетенному положению крестьянских масс, ненавистью к самодержавию и действительными стремлениями служить делу борьбы за радикальное переустройство русской жизни. Но «отыскивать» и «находить» у великого художника, каким был Салтыков, присущие демократу любого направления и оттенка самые общие принципы и взгляды, не обращая внимания на главное — на художественное преломление этих взглядов, — значит заменять эстетическое восприятие творчества писателя извлечением из него «квадратных корней» идеологии и политики.

Что касается слов Салтыкова, что между ним и Михайловским никогда не возникало «серьезных разногласий», то они относились непосредственно не к мировоззренческим взглядам, а к их совместной редакторской деятельности (на это указывает и ссылка на «читающую публику»). Действительно, подводя итоги совместной с Салтыковым редакторской работы, Михайловский писал в своих «Воспоминаниях»: «Вообще Щедрин был образцовым редактором. Я был несколько лет одним из ближайших его сотрудников по ведению журнала, и хотя дело не всегда обходилось без недоразумений и пререканий, но ни единой капли горечи не осталось в моих воспоминаниях об этом сотрудничестве и не иначе, как с удовольствием и чувством глубокого уважения к Щедрину, думаю я о том счастливом времени. Несмотря на свою резкость и раздражительность, Щедрин владел той тайной внутреннего равновесия, которая гарантирует редактора и от беспринципной распущенности, превращающей журнал в простой сборник более или менее интересных или неинтересных статей, и от ненужного мелочного вмешательства в ведение самостоятельных отделов»³⁷.

Выдающийся авторитет и популярность Михайловского, «властителя дум» демократической молодежи семидесятых годов, дали повод некоторым из современников утверждать, что Салтыков сам испытал на себе воздействие его идей, будто бы существенно изменивших кое-что во взглядах писателя. Однако мировоззрение писателя, представляющее собою сложную систему взглядов, сложившуюся под влиянием взаимодействия западноевропейских и русских факторов (французское Просвещение, утопический социализм, «принципы 1789 года», Грановский, Белинский, Герцен, Петрашевский и «петрашевцы», Чернышевский) плюс отличные знания русской жизни почти во всех ее социальных слоях, было выработано им давно, и никакие изменения принципиального содержания в эти

* Разработке этой проблематики — выяснению общих демократических основ во взглядах Салтыкова и народничества посвящена монография В. А. Мыслякова «Салтыков-Щедрин и народническая демократия» (Л., 1984).

поздние годы в нем не произошли. Вообще, следует заметить, что в своих психологических, личностных основах взгляды и характер Салтыкова, хотя и находившиеся, как все на свете, в движении, в развитии, все же отмечены удивительным постоянством, «константностью». Поистине о нем можно сказать словами пословицы: «Каков в колыбельке — таков и в могилке». Не кто иной, как сам Михайловский, выступил против версии о своем идейном воздействии на Салтыкова, содержащейся в упомянутой выше статье С. Н. Южакова о Салтыкове в «Большой энциклопедии» (т. XIII, стлб. 324). С. Н. Южаков утверждал, что в семидесятые годы писатель будто бы «вполне проникся новым мирозерцанием», то есть идеями Михайловского, последний тотчас поспешил заявить, что такое утверждение не соответствует истине. На это Южаков отвечал: «Что касается Салтыкова, то я позволю себе не согласиться с Вашею скромною самооценкой. Мне кажется, простое сопоставление салтыковского творчества 60-х и 70-х годов покажет такую огромную разницу, которую одним естественным внутренним развитием объяснить невозможно. Надо внешнее воздействие. Заниматься этим вопросом подробно совсем теперь некогда, но в статье «Русская литература», которую теперь пишу, вероятно, придется повторить мысль, что так смутила Вашу скромность»³⁸.

Но переубедить своего оппонента Южакову не удалось. Михайловский сохранил свое мнение. И в воспоминаниях о Салтыкове, и в многочисленных упоминаниях о нем в разных статьях и по разному поводу Михайловский нигде, ни разу не сближает его с народнической доктриной как таковой и с некоторыми из своих теорий. «Его великий талант, — писал Михайловский, — *поднимал его над всеми нашими партиями**, но умом и сердцем он принадлежал вполне определенному направлению»³⁹ — направлению, которому служили руководимые им «Отечественные записки», а направление это было, как сказано, много шире собственно народнического. Говоря о взаимоотношениях между Салтыковым и Михайловским, скорее можно поставить вопрос (но он требует специального изучения) о воздействии первого на последнего⁴⁰. В частности, такое воздействие, вероятно, можно было бы показать, проследив те сдвиги, которые произошли у Михайловского по отношению к той народнической идеализации крестьянской общины, которая критиковалась и отрицалась Салтыковым. В этом отношении представляет интерес спор, возникший среди редакторов «Отечественных записок» по вопросу о принятии или непринятии статьи Н. С. Русанова «Современные проявления капитализма в России». Задачей автора было познакомить русского читателя с учением Маркса и показать в свете этого учения иллюзорность народнических надежд на

* Подчеркнуто мною. — С. М.

то, что «община» спасет Россию от капитализма. Обсуждение статьи вызвало весьма любопытные и характерные разногласия. «Щедрин, — пишет Русанов, — высказался за, Михайловский колебался, решительно выступил против нее за «антинароднический дух» Елисеев». Статья была отвергнута⁴¹. Публикация не состоялась.

Сыграли, надо думать, свою роль для Михайловского и уроки сурового «либералоедства» Салтыкова, его нелюбовь к «умеренному и аккуратному» российскому прогрессисту, его непримиримость по отношению к тактике компромисса и философии «малых дел».

Расцвет публицистической и литературно-критической деятельности Михайловского падает на семидесятые — начало восьмидесятых годов. Это было время нового подъема демократического движения, когда в стране складывалась и сложилась вторая революционная ситуация, и вместе с тем время работы Михайловского в «Отечественных записках», в активном контакте с Салтыковым. Их постоянное личное общение оборвалось с высылкой Михайловского из Петербурга и, можно сказать, уже не возобновлялось вследствие прекращения издания «Отечественных записок». Эпизодически они встречались и переписывались и после этих событий. Но утрата общего дела крупного, исторического масштаба и связанных с ним постоянных сношений с такой могучей духовной силой, как Салтыков, не могли, нужно думать, не сказаться отрицательно на идейной жизни Михайловского. Вместе с тем нельзя не учитывать и того факта, что снижение его общественно-политических позиций в 1880—1890-е годы определялось в основном объективно-историческими причинами — вхождением страны в полосу глубокой политической и общественной реакции, упадка революционного движения, утратой самого тонуса его. Салтыков и в этой трудной обстановке, хотя страдая и мрачней, сохранял непримиримость своих взглядов и продолжал наращивать силу протеста против падения общественных интересов и подъема буржуазных настроений, теории «малых дел», духа и практики компромисса. По словам же ленинской «Искры», литературное имя Михайловского, после того как прекратилась его совместная с Салтыковым деятельность в «Отечественных записках», светило лишь «отраженным светом героического времени: семидесятые годы воздали сторицей тому, кто когда-то принес им лучшую часть своего яркого дарования»⁴².

На другой день после смерти Салтыкова одна из его огорченных читательниц, некая Е. Щепотьева, писала Михайловскому: «У Щедрина не было Белинского и Добролюбова, как он того заслуживал. И меня, признаться, всегда поражало, почему Вы не брали на себя их роли по отношению к нему. Его дело требует именно современного ему истолкователя и солидарного товарища по деятельности...»⁴³ Упрек этот не

вполне справедлив. Именно то обстоятельство, что Михайловский был «солидарным товарищем по деятельности» Салтыкова, послужило, несомненно, препятствием для выступлений о нем на страницах совместно редактируемого ими издания. Это считалось нескромным и, несомненно, было неприемлемо прежде всего для самого Салтыкова, весьма щепетильного в вопросах литературной этики. Но Салтыков высоко ценил литературный вкус и редакторский опыт Михайловского и не раз обращался к нему с просьбами познакомиться с написанными им произведениями еще в рукописи (например, с «За рубежом» — XIX-1, 193). Когда же Салтыков умер, Михайловский сразу же выступил в «Русских ведомостях» с десятью статьями о нем. Через год он издал их книгой: «Критические опыты. Н. Щедрин». Несомненно, это лучшая книга о Салтыкове, написанная близким ему современником. Кроме того, в позднейших статьях Михайловского и в его двухтомном труде «Литературные воспоминания и современная смута» разбросано немало литературно-критических и мемуарных высказываний о Салтыкове. При всей фрагментарности они включают в себе немало драгоценных наблюдений и штрихов для воссоздания живого образа писателя и для понимания значения его деятельности для русского общества. Толкования Михайловским произведений Салтыкова тем более ценны, что в какой-то мере, несомненно, восходят к пониманию их самим Салтыковым. Михайловский относил Салтыкова к «людям-маякам» и ставил его рядом с Белинским⁴⁴. Главной литературно-критической заслугой Михайловского по отношению к Салтыкову является то, что вслед за Чернышевским и Добролюбовым, впервые определившими автора «Губернских очерков» как писателя социальной среды, он, уже на материале его зрелого творчества, показал, что писатель был великим художником, посвятившим свой огромный талант осмыслению и критике *основ* общественных противоречий и несправедливостей жизни, а не только обличению отрицательных явлений злободневности. Михайловский был, по существу, первым серьезным критиком, разъяснившим читателю своеобразие салтыковского искусства широких социально-типологических обобщений и особенности его поэтики, заключавшиеся в слитности художественных образов писателя с «социологическим» анализом и прямыми «политическими оценками» изображаемых явлений. Таким искусством в русской литературе владели лишь Герцен и Салтыков, каждый на свой манер. Михайловскому же принадлежит генеральная характеристика литературного наследия Салтыкова как «критической энциклопедии русской жизни». Эта замечательная характеристика (парафраза известных слов Белинского о Пушкине) до сих пор остается малоизвестной. А между тем в четырех словах она разъясняет самую суть и указывает на подлинные масштабы сугубо-обличительного творчества писателя, включая его бесстрашную

национальную самокритику: «И отвращение от жизни, и к ней безумную любовь и страсть и ненависть к отчизне» (А. Блок).

Немало дают воспоминания и наблюдения Михайловского (а также Елисеева, Кривенко, Скабичевского и др.) для воссоздания как характера и хроники редакторской работы Салтыкова, занявшей столь большое место в его биографии, так и того значения, которые он и руководимое им издание имели для общественной жизни России 1870–1880-х годов. «Мне кажется, — писал Михайловский вскоре после смерти Салтыкова, — нельзя нанести его тени большего оскорбления, как <...> забвение его редакторской деятельности. Он очень дорожил ею»⁴⁵. Дорожил — следует добавить для полноты понимания слов Михайловского — потому, что в своем просветительском пафосе ставил литературу выше всех общественно-воспитательных сил других искусств и наук. Это было просветительское преувеличение, но исторически мотивированное. В политически и гражданственно бесправной абсолютистской России лишь литература представлялась Салтыкову высокой, общенациональной кафедрой для пропаганды — прямой или полускрытой эзоповским языком — передовых идей и гражданского воспитания общества.

9. НАПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА.—СОДЕРЖАНИЕ.—АВТОРЫ

Какому же направлению общественной мысли служили (а точнее сказать, продолжали служить) «Отечественные записки», когда во главе их встал Салтыков? Это было время расцвета «действенного народничества» в русском освободительном движении. Данное обстоятельство не могло не наложить сильного отпечатка на журнал. Многие современники видели в «Отечественных записках» главную печатную трибуну народничества. Такой взгляд, понятный в условиях того исторического времени, не может быть принят безоговорочно, вследствие своей узости и односторонности. Тем не менее он присутствует в литературе и по сей день. Даже в столь авторитетном издании, как «Историческая энциклопедия», «Отечественные записки» аттестуются в одном месте как «популярный легальный орган народничества», да еще будто бы созданный в этом качестве Михайловским*. Однако сотрудничество с народниками совсем не было определяющим для Салтыкова как редактора «Отечественных записок» и не изменило в чем-либо принципиально его давно сложившиеся взгляды демократа-просветителя и утопического социалиста. Его позиция по отношению к народничеству 1870—1880-х годов была своего рода «попутнической». Но рассматривать Салтыкова как *народника sui generis*, то есть в специфическом своеобразии этого направления общественной мысли, нет оснований, хотя такой ошибочный подход присутствует в работах ряда авторов, начиная с Иванова-Разумника.

Сказанное не противоречит ленинскому определению Салтыкова как писателя «старой народнической демократии». «Народничество в России, — писал Ленин, — это целое мирозерцание... Громадная полоса общественной мысли»². В эту «громадную полосу» входили все течения и оттенки русской демократической идеологии XIX века, начиная с разночинского периода. Социальной опорой для всех этих оппозиционных течений были *народные массы, крестьянство* и их стихийный

* Текстуально: «С 1868 г. (Михайловский) работал в «Отечественных записках», (<...> которые превратил в популярный легальный орган народничества»¹.

протест против своего угнетенного состояния. Отсюда определение этой демократии — как крестьянской или народнической. В это понятие входят и «старая народническая демократия» шестидесятых годов, и народничество семидесятых — восьмидесятых годов, разветвившееся, при сохранении общей основы — крестьянской демократии — на ряд течений и оттенков.

В письме 1912 года в редакцию газеты «Правда» по поводу статьи А. Витимского (М. С. Ольминского) «Культурные люди и нечистая совесть» («культурные люди» — один из типологических образов в произведениях Салтыкова) Ленин писал: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии»³. В 1932 году автор настоящего труда был приглашен М. С. Ольминским для секретарской помощи ему как Главному редактору начинавшегося тогда издания Полного собрания сочинений и писем Салтыкова. На первом же организационном собрании редакции, происходившем в Кремле, на квартире у Ольминского, последний напомнил приведенные слова Ленина. Они вызвали вопрос со стороны П. Н. Лепешинского: кого же из «других писателей» старой народнической демократии имел в виду Ленин, когда рекомендовал «вспоминать» их и «растолковывать»? На это М. С. Ольминский ответил: «Конечно, Герцена и Чернышевского». А Н. К. Крупская добавила: «И Некрасова тоже, которого Ильич очень любил и много знал из него наизусть».

В одной из своих ранних работ «Экономическое содержание народничества...» (1894—1895) Ленин в особой сноске пояснял: «Под старыми народниками я разумею не тех, кто двигал, например, «Отечественные записки», а тех именно, кто «шел в народ»⁴. Из этого примечания не следует, однако, делать вывод о будто бы допущенном Лениным противоречии с приведенным выше его же отнесением (в письме к Ольминскому) Салтыкова к писателям «старой» народнической демократии. Противоречие это мнимое. Во-первых, хотя именно Салтыков был главной движущей силой — *primus mobile* — «Отечественных записок», Ленин в названной работе, политически направленной против либеральных народников, имел в виду не его, а Михайловского, Елисеева, Кривенко, Абрамова, Южакова и др., регулярно печатавшихся во II Отделе журнала (публицистическом и критико-биографическом). Во-вторых, из приведенной сноски нельзя делать и другой вывод, будто Ленин полностью отмежевывал ведущих деятелей «Отечественных записок» от такого движения, как «хождение в народ». Хотя сами они практически и не участвовали в «хождении», но относились к нему сочувственно. А главное, все содержание «Отечественных записок», их идеологическая проповедь принадлежали к тем источникам, которые духовно пи-

тали пафос революционной молодежи, направлявшейся в народ.

«Я думаю, — писал Салтыков в 1880 году Н. Д. Хвошинской по поводу ожидавшихся в период министерства Лорис-Меликова либеральных послаблений, — что льготы действительно будут, но сомневаюсь, чтобы они распространялись на ту общечеловеческую почву, которая составляет *ria desideria** «Отечественных записок» (XIX-1, 150). Это принципиально очень важное признание. Оно указывает со всей определенностью, что Салтыков стремился вести «корабль» руководимого им журнала не в фарватере народнических доктрин и концепций, а в направлении разработки и пропаганды широких «общечеловеческих идеалов» социальной справедливости. А эти идеалы всегда связывались у Салтыкова с «неумирающими общими положениями об общедоступности жизненных благ», с «великими основными идеями о привлекательности труда», с «новыми жизненными основаниями», то есть с «идеалами» утопического социализма и просветительства.

Все эти идеалы входили в систему общих основ демократизма, как они сложились на Западе. Но у Салтыкова, как и ряда других русских деятелей, демократическая идеология была драматически осложнена рядом национальных особенностей, определявшихся, главнейше, исторической отсталостью страны и народа. У Салтыкова эта осложненность отчетливее всего сформулирована в его высказываниях по поводу обсуждения в печати «Истории одного города».

«Что касается до моего отношения к народу, — писал Салтыков А. Н. Пышину, разъясняя содержание образа «глуповцев», — то мне кажется, что в слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавковых, Бурчевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием» (XVIII-2, 76)**. Высказывание это полемически заострено. Его нельзя понимать прямозначно. Салтыков с горячим, но и горьким сочувствием относился к угнетенному положению своего родного «исторического народа» — реального русского крестьянства. Он видел, знал, и не понаслышке, все его беды и злосчастия и драматически переживал их. Но вместе с тем он видел со всей ужасающей его отчетливостью и все отрицательные стороны жизни народа — тяжелое наследие вековой крепостной неволи: пассивность, бессознательность, долготерпение, темноту. Видел

* «Цели», «идеалы», «основы» (лат.). — С. М.

** По отношению к явлениям социальной действительности у Салтыкова были две объективности восприятия: одно для него существовало в «идеале» (будущее), другое — в «реальности» (настоящее). Это был взгляд писателя-обличителя, определявший максимум контраста в изображении света и тьмы жизни.

и со всем присущим ему духовным бесстрашием обличал эти исторически обусловленные язвы в жизни народа во имя его истинных интересов. От народнических и славянофильских идеализаций мужицкого быта, от романтических надежд на крестьянскую общину как на прямой путь к социализму он был свободен, хотя и понимал, что решение капитальных вопросов русской, в основном тогда крестьянской, жизни находится «там, в сельском поселке». Но вместе с тем он признавал, что не знает, как туда проникнуть, «чтобы осветить тьму, его окружающую». Этот скептицизм Салтыкова совсем не соответствовал настроению умов народников с их оптимистическими, в общем, надеждами и был одним из барьеров, отделявших их от писателя. И конечно, ни один из правоверных народников не мог принять ни упомянутой салтыковской «двойной» формулы об отношении к народу, ни его трагического признания в заключительной главе «За рубежом», что «действительное единение с народом, по малой мере, столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи» (XIV, 227).

В конечном счете независимость от народнической ортодоксии определялась у Салтыкова его глубоким реалистическим знанием крестьянской жизни, высотой его просветительских идеалов, широтой художественных обобщений и присущим ему общим скептицизмом. Все это, однако, не снижало главного пафоса его жизни и творчества — служения «кровным интересам» своей страны и народа.

Быть может, больше всего, что в известном смысле, но все же на свой лад сближало Салтыкова с народнической доктриной (кроме общей демократической основы), это отношение к нарождавшемуся в России капитализму. Как и большинству народников, он рисовался Салтыкову преимущественно, если не исключительно с разрушительной стороны. Об этом свидетельствуют многие его высказывания, но особенно созданные им изумительные по силе художественности и реализма «портреты» Колупаевых, Разуваевых, Деруновых и других «чумазых» — выходящих на историческую арену русской жизни ее новых буржуазных хозяев. Что в ходе капиталистического развития в стране стал создаваться новый общественный класс — индустриальный пролетариат, Салтыков не замечал. Для него, как и для большинства русских людей той эпохи, современный ему рабочий представлялся еще своего рода разновидностью крестьянина, подавшегося для заработка «надельного рубля» на фабрику или завод. Но если Михайловский уповал на возможность избежать западноевропейского капиталистического пути развития России, называя эти надежды одной из интимнейших и задушевнейших идей своего времени, семидесятых годов⁵, то Салтыков, со всей ужасающей его убежденностью, предвидел неизбежность капиталистического этапа в развитии страны. Он оценивал этот этап, с точки зре-

ния трудовых масс, как еще более тяжелый, чем предшествующий, помещичье-крепостнический. «Сдается, — писал он, — что придется еще пережить эпоху чумазовского торжества, чтобы понять всю глубину обступившего массы злосчастья» (XVI-2, 35). И еще, как уже о свершившемся, а не об ожидаемом явлении: «Период помещичьего закрепощения канул в вечность; наступил период закрепощения чумазовского...» (там же, 36). Отсюда, из этой констатации — усиление антибуржуазной и антилиберальной критики в поздних произведениях Салтыкова и в материалах «Отечественных записок» последних лет их существования. Но с позиций своего философско-исторического понимания «хода вещей», не чуждого элементов диалектики, Салтыков предвидел неизбежность в будущем конца «мироедского периода» капитализма. И эта вера — только вера! — служила в известной мере балансом, уравновешивающим его более, чем критическое восприятие современности. Кажется даже, что его интуиция, дар «предвидения» или «пророчества» угадали в самом начале совершавшегося исторического перелома в русской жизни относительную недолговечность ее буржуазно-капиталистического этапа: всего немногим более полувека, считая от падения крепостного права до Октября 1917 года.

Человек широких взглядов и глубокого исторического осмысления текущей общественной жизни, Салтыков смотрел на руководимые им «Отечественные записки» как на журнальную трибуну для всех демократических и оппозиционных сил страны, во всех их направлениях и оттенках. Народничество занимало тогда, по словам Ленина, «передовое место среди прогрессивных течений русской общественной мысли»⁶, и ему было представлено соответствующее этому месту «приоритетное» представительство в журнале. Исключение составляли экстремистские течения в народничестве, связанные с именами Бакунина, Нечаева, Ткачева. Да и касаться их взглядов сколько-нибудь открыто, хотя бы и в полемических целях, было почти невозможно по цензурным причинам.

Народническая «прокладка» была в «Отечественных записках» значительной, хотя и не преобладающей, как это обычно представляется. Главным средоточием ее, как уже сказано, были разделы публицистики и «библиографии» (критики).

В беллетристическом отделе народнические идеи и настроения присутствовали в разных оттенках и дозах лишь в произведениях некоторых писателей, связанных с этим направлением, у Гл. Успенского и у таких бытописателей крестьянской жизни, как Златовратский, Наумов, Каронин-Петропавловский, Осипович-Новодворский и др. Однако, за исключением высоко ценимого Салтыковым Гл. Успенского, у которого народническая идеализация патриархальной деревни сочеталась с трезво-реалистическими оценками многих сторон крестьянской жизни, все остальные «писатели-народники»

были в литературе тех дней и перешли в ее историю в качестве *dii minores* — второстепенных талантов, хотя и не вполне забытых вплоть до наших дней. Салтыков далеко не всегда был доволен поступавшими в редакцию беллетристическими материалами. «Сколько лет я нахожусь в журнальном деле и ни одной цельной вещи не вижу; все какие-то отрывки, — нередко сетовал он, — ничего цельного!» Иные же рассказы и очерки он клеймил крепким словом «отрепыши», имея в виду все ту же фрагментарность, бедность замысла и отсутствие писательского мастерства. Особенно недолюбливал он Златовратского и не раз вступал с ним в редакторский спор.

Столпами художественной литературы в «Отечественных записках» были по-прежнему Некрасов (несколько его произведений появились в журнале уже после смерти поэта), Салтыков, Гл. Успенский и Островский. Все они участвовали в издании начиная с 1868 года, то есть со времени его возникновения в обновленном виде, а до того — в «Современнике». Почти все, что было создано ими, появилось на страницах этих двух крупнейших журналов XIX века. И почти все стало классикой русской литературы.

О взаимоотношениях Салтыкова и Некрасова речь была выше. Скажем теперь о том, как сложились взаимоотношения Салтыкова и других двух крупнейших писателей журнала — Гл. Успенского⁷ и Островского.

Литературный талант Гл. Успенского развернулся в полную силу именно в «Отечественных записках». Салтыков сразу же заприметил и высоко оценил дарование молодого тогда автора (однажды он назвал его «гениальным»). Как-то в самом начале их знакомства, на одном из ежемесячных «редакционных» обедов, устроившихся Некрасовым, Салтыков, указывая на Успенского В. И. Танееву, сказал: «Если Вы хотите <...> видеть будущего великого русского писателя, то вот он»⁸. А впоследствии, уже в годы своего ответственного редакторства в «Отечественных записках», Михаил Евграфович определил значение Успенского для журнала в письме к Михайловскому такими словами: «По-моему, это самый для нас необходимый писатель...» (XIX-2, 37). Вместе с тем никто, кажется, из других сотрудников журнала не доставил Салтыкову-редактору столько хлопот и забот, да и непосредственного труда над авторскими рукописями, как Успенский. Салтыков ценил искренность демократизма писателя и его превосходное знание народной жизни с глубоким реалистическим пониманием ее социальных противоречий. Вместе с тем чрезвычайная эмоциональность Успенского, «человека настроения», а также недостаточная выработанность его общего мировоззрения порой увлекали его в сторону от глубокого понимания общественных явлений, что послужило для такой салтыковской оценки писателя: «Плохой он публицист, да и мыслитель не вполне исправный» (XX, 173). Так было, например, со статьей

Успенского о «пушкинской речи» Достоевского, о чем речь будет ниже. Недовольство вызывали и некоторые другие работы.

«Статья Ваша, — писал, например, Салтыков Успенскому по поводу одного из его очерков из цикла «На народной ниве», которую он прочитал в корректуре, — произвела на меня тяжелое впечатление, и я серьезно начинаю думать, что Вы увлекаетесь идеалами Достоевского и Аксакова (...). Я до крайности уважаю Вашу литературную деятельность, и мне крайне прискорбно, что могут существовать недоумения» (XIX-1, 184). В очерке, о котором идет речь, Успенский призывал прогрессивную интеллигенцию к «полному растворению» в «мужицком человечестве», то есть к окрестьяниванию. Разумеется, такие крайности народнической идеологии и психологии были совершенно неприемлемы для широкого просветительского демократизма Салтыкова. «Успенский совсем с пути сбился, — писал Салтыков Михайловскому об очерке «Наконец нашли виновного!», — такую философию заковыривает, что чертям тошно (...). На каждом шагу противоречия, одна мысль другую побивает, а я сижу и привожу эти противоречия в порядок» (XIX-2, 278). Но эти расхождения, порождавшие иногда не только объяснения и споры — очные и эпистолярные, но и прямое вмешательство редакторского пера Салтыкова в рукописи Успенского⁹, не привели к серьезным конфликтам, хотя по временам Успенский «рвал и метал» по поводу замечаний Салтыкова и «хотел уходить». Салтыков любил Успенского и как человека. Правда, его неумение распоряжаться своим временем, своими литературными заработками и вообще всем своим бытовым обиходом, приводившее, в частности, к нередким нарушениям договоренных сроков в представлении рукописей, сильно раздражало Салтыкова, человека порядка, и вызывало его на резкие отзывы и упреки. «Успенский пишет по-барски, — говорил Салтыков, — только тогда, когда ему хочется. Так не должно быть. А ты садись писать (...), когда и не хочется, непременно садись. Не пишется? Ну бери и исправляй, что написано. Только непременно садись»¹⁰. Но хотя и с воркотней и «выговорами», которых очень боялся Успенский и потому предпочитал личным свиданиям с грозным редактором «изнурительную переписку», Салтыков всегда шел навстречу его просьбам и нуждам, издательским и денежным. Ему, в частности, выплачивался гонорар по высшей ставке, существовавшей в редакции, по 250 рублей за лист, наравне с гонораром самого Салтыкова.

Со своей стороны, и Успенский исключительно высоко ставил Салтыкова как писателя и общественного деятеля. В его глазах он был одним из «радетелей о русской земле»¹¹. И он не раз с благодарностью свидетельствовал о благотельной роли и значении Салтыкова в своей литературской

судьбе. «Если мне удалось благополучно перенести невзгоды «писательского» существования, — заявлял он, — то я обязан этим исключительно «Отечественным запискам», то есть Салтыкову»¹².

Это о материально-издательской стороне дела. А вот отношение автора «Власти земли» собственно к редакторским советам и замечаниям Салтыкова.

Объясняясь однажды уже после прекращения «Отечественных записок» с В. А. Гольцевым, редактором «Русской мысли», по поводу неприемлемых для него изменений, внесенных редакцией этого журнала в его рукописи, Глеб Успенский сказал, что в «Отечественных записках» он безусловно подчинялся редакторским замечаниям и коррективам, потому что они принадлежали Салтыкову. «Щедрин, — говорил он, — литератор, беллетрист, за которым огромный опыт и огромный труд. Я знал его, ценил, уважал и знал еще, что он может мне указать»¹³.

Постоянным сотрудником «Отечественных записок» с начала их обновленного существования и до прекращения издания был и Островский. За эти 15 с половиной лет журнал напечатал 19 его оригинальных пьес, 3 написанных в соавторстве и 1 переводную, то есть всего 23. Из них, в годы редакторства Салтыкова: «Правда хорошо, а счастье лучше», «Последняя жертва», «Бесприданница», «Сердце не камень», «Таланты и поклонники», «Красавец мужчина», «Без вины виноватые» и др. Почти все новогодние номера «Отечественных записок» открывались новой пьесой Островского. Порядок этот, установленный Салтыковым еще при Некрасове, сам по себе свидетельствовал о том значении, которое придавал драматургии Островского редактор Отдела художественной литературы. Островский был почти единственным драматургом, которого печатал Салтыков. В пьесах Островского его привлекало изображение тех сторон русской жизни, в которые до автора «Грозы» никто в литературе не проникал. И делалось это с огромным знанием материала и трезво-критическим взглядом на вещи. Особенно высоко ценил Салтыков народные типы драматурга и язык его героев, удивительный по сочетанию истинной народности, простоты и выразительности. «Самый это русский писатель, — говорил Салтыков В. И. Танееву, добавляя, однако, затем: — Вот только идеи у него не всегда ясны и мелковаты»¹⁴.

Последнее замечание следует, надо полагать, понимать в том смысле, что критические и обличительно-сатирические элементы в пьесах Островского не всегда выводили читателя «прямо» (публицистически) на крупные общественные темы и вопросы — «идеи», но оставались погруженными в бытовой материал. По-видимому, в этом следует искать смысл слов Салтыкова, обращенных к Михайловскому в одном из писем 1884 года: «Что бы Вам заняться Островским? Любопытно,

что сказал бы Добролюбов, если бы прочитал «Красавца мужчину?» (XX, 67). Очевидно, что пьеса эта не понравилась Салтыкову и нуждалась, по его мнению, в разборе и оценке с позиций добролюбовской «реальной критики». Из поздних произведений драматурга он выше всего ставил пьесу «Галланты и поклонники»: «очень хорошая», отзывался он о ней (XIX-2, 70 и 83).

Что касается личных отношений между Салтыковым и Островским, то о них можно сказать примерно то же, что выше было сказано об отношениях между Салтыковым и Михайловским. При всем глубококом уважении друг к другу, при взаимном признании выдающегося таланта каждого и его значения в духовной жизни русского общества, близко-дружественных, приятельских связей между Салтыковым и Островским не возникло. Не таковы были их характеры, взгляды, интересы и образ жизни, чтобы такие отношения могли возникнуть, тем более что один жил в Петербурге, а другой в Москве. Но когда Островский приезжал в столицу по делам, главнейше на премьеры своих пьес в Александринском театре, то он неизменно наносил визиты Салтыкову и вручал ему приглашительные билеты на спектакль. И Салтыков не оставался в долгу. Если он был здоров, то отдавал визиты и посещал спектакли, хотя некоторые пьесы драматурга более ценил в чтении, так как не всегда был удовлетворен их сценическим воплощением. О взаимном уважении и добрых отношениях свидетельствуют и другие знаки внимания, которые от случая к случаю писатели оказывали друг другу. По представлению Островского Салтыков был избран почетным членом Артистического кружка в Москве. Через своего брата, сенатора, министра государственных имуществ и члена Государственного совета Михаила Николаевича, находившегося в дружеских отношениях с начальником Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистовым, Островский содействовал появлению в печати трех «сказок» Салтыкова, ранее запрещенных цензурой.

В свою очередь Салтыков был предельно внимателен и отзывчив ко всем просьбам Островского, относились ли они к желаемым им срокам появления в журнале его пьес или к его материальным интересам... Пьесы его оплачивались по высшей расценке, существовавшей в редакции, и не по листно, но «аккордно», от 1200 до 1500 руб. за пьесу. В марте 1882 года Салтыков выступил вместе с М. М. Стасюлевичем инициатором и участником обеда петербургских литераторов по случаю 35-летия писательской деятельности Островского. Обед состоялся в марте в известном ресторане у Донона, излюбленном петербургскими литераторами. Однако в письме к Тургеневу в Париж этот «приятельский обед» описан Салтыковым остро-сатирически, в том числе и по отношению к самому герою чествования. Вот несколько строк из этого письма: «Ка-

торжная моя жизнь, — писал Салтыков. — Вот Островский так счастливеец. Только лавры и розы обвивают его чело, а с тех пор, как брат его сделался министром, он и сам стал благообразнее. Лицо чистое, лучистое, обхождение мягкое, слова круглые, учтивые. На днях (...) небольшая компания (а в том числе и я) пригласили его обедать, так все удивились, какой он сделался высокопоставленный. Сидит скромно, говорит благосклонно и понимает, что заслужил, чтоб его чествовали. И ежели в его присутствии выражаются свободно, то не делает вида, что ему неловко, а лишь внутренне не одобряет. Словом сказать, словно во дворце родился» и т. д. (XIX-2, 100). Не следует, однако, усматривать в этой едкой, злой зарисовке истинное отношение Салтыкова к высоко ценимому им драматургу и человеку. Это всего лишь заостренное первоначальное восприятие враждебного или просто неприятного Салтыкову явления. В данном случае, надо думать, он перенес на Островского свои антипатии к его брату. Салтыков был несколько знаком с ним через своего школьного товарища И. В. Павлова и, как сказано, кое-чем был ему обязан. Но он не любил этого человека. Он видел в нем одного из типичных представителей высшей правительственной бюрократии, человека консервативных взглядов, деятеля, враждебного демократическим интересам.

До нас не дошли ни отзывы Островского об отдельных произведениях Салтыкова, ни письма к нему (за одним-единственным исключением; письма же Салтыкова к Островскому сохранились — их 36). В одном из летних писем 1880 года, напоминая Островскому об ожидаемой от него пьесе для нового номера «Отечественных записок» (1881), Салтыков писал: «Я думаю, что и без моего напоминания Вы дали бы нам новую пьесу, но, во всяком случае, считаю за долг выразить Вам, как глубоко я и прочие члены редакции дорожим Вашим сотрудничеством. А вместе с тем желаю Вам сказать слово признательности за сочувствие, выраженное Вами в последнем письме, к моей деятельности. Прошу верить, что оно мне отменно дорого» (XIX-1, 157). Что именно писал Островский Салтыкову — неизвестно. Но представление о том, каков был взгляд Островского на творчество Салтыкова и на его значение для русской жизни, дают два подтверждающих друг друга источника. В октябре 1884 года Островский посетил редакцию «Вестника Европы». В возникшей беседе о литературе разговор перешел на Салтыкова, и Островский, отзываясь о нем, по словам присутствовавшего А. Ф. Кони, «самым восторженным образом» сказал, что «считает его не только выдающимся писателем, с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему»¹⁵. Почти текстуальное подтверждение такого взгляда находим в письме к Салтыкову Н. Н. Луженовского, университетского товарища сына драматурга. Он писал: «Знаете ли Вы, как ценил Ваш талант

покойник Островский? <...> Он считал Вас пророком, vates'ом римским, страшной поэтической силой, приравнивал <...> к библейским пророкам. Я сам все это слышал от него: я близок был к А-р Ни-чу»¹⁶. В этих отзывах важны обе оценки. И признание «страшной поэтической силы» Салтыкова, что отрицалось или полупризнавалось иными современниками, видевшими в писателе больше публициста, чем художника, и взгляд на писателя как на «пророка», притом в двух значениях этого слова — и в смысле своего рода провидца будущего, и в библейском понимании пророка как страстного проповедника правды, который, говоря словами Пушкина, обладал даром «глаголом жечь сердца людей». Следует заметить, что Островский выразил здесь мнение, разделявшееся многими современниками. Так, известный историк крестьянской реформы Г. Джаншиев писал: «Островский не преувеличивал, называя гениального Салтыкова vates'ом римским, великим пророком земли русской: проницателен, дальнорок был Салтыков»¹⁷. А большой почитатель писателя известный физиолог академик А. А. Ухтомский говорил академику Е. В. Тарле, также горячему поклоннику таланта автора «Истории одного города»: «Салтыков видел русского человека, русскую жизнь насквозь. В этом отношении ему нет равных...»¹⁸

Так же как и Островский, большинство других видных писателей «Отечественных записок» непосредственно не были связаны с народническим мировосприятием, хотя народнические мотивы эпохи, интерес и внимание к «мужику» и деревне присутствуют в разных дозах и окрасках в ряде их произведений. Это, в порядке алфавита, такие не забытые и по сей день писатели русского реализма, как: Боборыкин, Гаршин, Гирс, Зайончковская (Крестовский — псевдоним), Мамин-Сибиряк, Новодворский (А. Осипович), Терпигорев (С. Атава), Эртель и др., а также поэты — А. Жемчужников, Надсон, Плещеев. Из них Салтыков особенно высоко ценил Гаршина, Эртеля и Новодворского (писателем «щедринской школы» называл последнего Горький) и сильно недолюбливал Боборыкина, не без основания усматривая в нем зачинателя и проводника «буржуазных начал» в русской литературе. «На будущее время, — писал Салтыков Михайловскому о Боборыкине в 1880 году, — надо как-нибудь совсем отделаться от этого господина...» (XIX-1, 162).

Как уже сказано, в «Отечественных записках» были опубликованы роман Достоевского «Подросток» и педагогическая статья Л. Толстого. Из больших писателей Салтыков приглашал или намеревался пригласить к сотрудничеству также Гончарова и Писемского. Не исключено, что так как, после многолетней вражды, умирающий Некрасов примирительно простился с Тургеневым, Михаил Евграфович предпринимал соответствующие переговоры и с автором посвященного это-

му событию «Последнего свидания». Тургенева он ставил в отечественной литературе на первое место после Пушкина и Гоголя. В этих обстоятельствах представляется вполне вероятным, что Салтыков, став ответственным редактором журнала, пытался заручиться сотрудничеством Тургенева, хотя какие-либо документальные следы таких переговоров отсутствуют. Тургенев в последние годы жизни считал свою писательскую деятельность законченной и отказывался от всех делаемых ему издательских предложений. Свои же «Senilia» — «Стихотворения в прозе», которые он долго держал в тайне даже от друзей и не подготавливал их к печати, пока после настойчивых просьб Стасюлевича часть их не появилась в 1882 году в «Вестнике Европы», он, возможно, считал материалом мало подходящим по своему характеру и новизне жанра для «Отечественных записок». Хотя содержание многих стихотворений — «Порог», «Чернорабочий и белоручка», «Два богача» и др. — было идейно близко журналу Салтыкова.

Из сказанного видно, что «Отечественные записки» были практически открыты для участия в них почти всех выдающихся и сколько-нибудь значительных писательских сил России того времени, за весьма малыми исключениями, например — Лескова, которому демократическая общественность долго не могла простить его «антинигилистических романов» «Некуда» и «На ножах». Разумеется, был закрыт доступ в журнал Аверкиеву, Авсеенко, Б. Маркевичу и другим писателям — сотрудникам «Московских ведомостей» Каткова, «Нового времени» Суворина и неославянофильских изданий Ив. Аксакова. После смерти Некрасова не был сколько-нибудь достойно представлен в I Отделе «русский Парнас». Кроме А. Жемчужникова, С. Надсона и А. Плещеева, в журнале не печатался никто из крупнейших поэтов эпохи: А. Фет, А. Майков, Я. Полонский (за исключением двух выступлений последнего).

Весьма примечательную характеристику руководимой Салтыковым беллетристики «Отечественных записок» дал Л. Толстой в одном из писем к Салтыкову. Оно не сохранилось. Но содержание его нам известно из следующих слов письма Салтыкова к Елисееву от 30 сентября 1881 года: «Я получил от Льва Толстого диковинное письмо. Пишет, что он до сих пор пренебрегал чтением русской литературы и вдруг, дескать, открыл целую *новую* литературу превосходную и искреннюю — в «Отечеств(енных) записках»! И это так его поразило, что и он отныне намерен писать и печатать в «Отеч(ественных) записках». Я, разумеется, ответил, что очень счастлив и журнал счастлив и сотрудники счастливы, что будем ждать с нетерпением, а условия предоставляем определить ему самому. Но куда еще ответа от него нет» (XIX-2, 45—46). Однако ответа так и не последовало.

Несмотря на свое «патриотическое» название — «*Отечественные записки*» — журнал уделял значительное внимание иностранной литературе, большее, чем специально созданный для этой цели «Вестник Европы» Стасюлевича, а также другие «толстые журналы» того времени: «Дело», «Слово», «Русская мысль» и «Русский вестник». Такая установка соответствовала тому стремлению разрабатывать и пропагандировать «общечеловеческие идеалы», которые по приведенным выше словам Салтыкова составляли «*pria desideria*» «Отечественных записок» и выводили это издание за пределы собственно народнического, национально-русского направления. Иностранная литература печаталась в Отделе I. Кроме того, ей всецело был посвящен обширный раздел «Приложений», непосредственным редактором которого был также Салтыков.

Большинство переводной беллетристики и поэзии, появившейся на страницах журнала в 1868—1884 годы, относилось к английской и американской литературам. За все эти годы в журнале было помещено (полностью или в сокращенных редакциях) 37 романов, повестей и рассказов, принадлежащих этим литературам. Из них 29 были опубликованы в последние шесть лет существования журнала, когда он находился под редакторством Салтыкова. За некоторыми исключениями, например любимого Салтыковым Диккенса, это все были произведения современных писателей, причем таких, главным предметом внимания которых были рассмотрение и критика социально отрицательных явлений в английской и американской жизни.

Значительное место занимали, в частности, произведения Дж. Гринвуда, А. Мегью, Э. Дженкинса, М. Лаффана, Х. Бойсена. В них говорилось о тяжелых условиях труда и быта людей социальных низов Запада в городе и деревне и об их борьбе за свое существование, человеческие права. О рассказе Х. Бойсена «Андерс Рустад» цензор Лебедев писал в донесении С.-Петербургскому цензурному комитету: «В этом тенденциозном рассказе автор имеет целью представить несостоятельность современного общественного строя относительно к людской справедливости, к бедному неумяемому классу, который грабят совершенно безнаказанно богатые классы»¹⁹.

Эту цензорскую характеристику можно распространить и на большинство других английских и американских писателей, чьи произведения были отобраны Салтыковым для переводных публикаций в журнале: Ф. Брет-Гарта, Дж. Голланда, В. Сайма, Л. Олифанта, Э. Линн-Линтон. Все они в большей или меньшей мере исполнены социального критицизма по отношению к буржуазному обществу, уже достигшему на европейском Западе своей зрелости. В произведениях Ч. Рида, М.-Г. Фоусета и Дж. Фотергиль побочной, но важной темой являются вопросы женской эмансипации. В романе писатель-

ницы Дж. Элиот (Мэри Эванс) «Миддлмарч» эта тема разрабатана на широком фоне жизни английской провинции с ярко выписанными характерами ее обывателей. Салтыков высоко ценил это произведение и отдал редактированию перевода огромного романа, осуществленного А. Н. Энгельгардт, много времени и труда²⁰. Критике английской парламентской системы и ее деятелей уделено немалое внимание в произведениях уже упомянутого Э. Дженкинса, а также Д. Мередита и Г. Люси. Острому обличению коррупции и закулисных интриг в политической системе США посвящены многие страницы в появившихся в «Отечественных записках» произведениях Марка Твена, Ч.-Д. Уорнера и Ф. Бернет.

Некоторые из произведений английских и американских авторов, напечатанных в журнале, относились не к Англии и США, а к другим странам. Политический быт Франции Второй империи представлен в рассказах Э.-К.-Г. Мюррея, причем в двух из них — «Жюль Тарро» и «Французские эскизы английским мелом» (утаенное от цензуры подлинное название последнего рассказа — «Une petroleuse», то есть «Поджигательница») — речь идет о парижских коммунарах. О событиях 1830-х годов в Уэльсе говорится в романе Е. Дильвиня, о восстании фениев в Ирландии 1860-х годов — в романе Д. МакКарту, о национально-освободительной борьбе в Италии — в романе Уйды. Появлялись в «Отечественных записках» и переводы английских и американских поэтов. Больше всего из Байрона (его в свои лицейские годы переводил сам Салтыков) и Лонгфелло²¹.

Печатались в «Отечественных записках» произведения и других иностранных литератур. Французская была представлена именами О. Барбье (переводом его «Пролога к ямбам» Салтыков был недоволен: «Курочкин (автор перевода) своим топором тпает, да уж совсем плохо» — XVIII-2, 31); Ш. Бодлера, В. Гюго (Салтыков высоко ценил его социальные романы, а в молодые, в лицейские годы переводил его стихи), П. Деруледа, А. Доде, Ф. Коппе, Ж. Ришпена, С. Прюдома и др. Из немецкой литературы печатались лирические произведения А. Шамиссо и стихи любимого Салтыковым Г. Гейне («Для меня это сочувственнейший из всех писателей, — признавался он А. В. Дружинину. — Я еще маленький был, как надрывался от злобы и умиления, читая его» — XVIII-1, 215). Итальянцы были представлены преимущественно произведениями верстов — Д. Верга и Л. Капуано, а также Д. Леопарди и др. Значительное внимание уделялось переводам польских писателей-демократов: Э. Ожешко, Г. Сенкевича, Б. Пруса (Гловацкого). Высокая оценка Салтыковым в одной из статей рассказа Ожешко «Могучий Самсон» вызвала писательницу на благодарственное обращение к редактору «Отечественных записок». «...Вы изволили, — писала ему Ожешко, —

напечатать в уважаемом и прекрасном Вашем журнале <...> некоторые из моих повестей в переводе на русский язык. Я уже давно собиралась поблагодарить Вас за это. Теперь я прочла в Вашей статье «Июльское веяние» несколько столь лестных для меня слов, что дальше откладывать осуществление моего намерения не могу и шлю Вам сердечное спасибо. Похвала такого писателя и мыслителя, как Вы, внушает человеку доверие к собственным силам и укрепляет их»²².

Отдел II «Отечественных записок» — «Современное обозрение» — находился, как сказано, в непосредственном ведении Елисеява и Михайловского.

Главным нововведением литературно-критической части отдела, непосредственно руководимой Михайловским, было восстановление библиографии — рубрики «Новые книги», упраздненной в 1872 году в результате внутривредакционного конфликта, возникшего между Салтыковым, с одной стороны, и Елисеявым и Н. Курочкиным — с другой²³. Михайловский повел себя властно и сразу же ограничил участие в журнале его «присяжных» критиков — Скабичевского и Протопопова (обязанность их, особенно последнего, состояла в рецензировании популярных и художественных произведений). Об этом свидетельствуют как уменьшение числа их выступлений, так и мемуарные показания Н. С. Русанова. «Скабичевский и Протопопов, — читаем в его воспоминаниях, — жаловались мне <...>, что Михайловский, к которому они в то время относились в общем с огромным уважением, не дает им ходу после смерти Некрасова, бывшего, по их мнению, менее придирчивым редактором»²⁴. Нужно, однако, заметить, что вместо Некрасова здесь правильнее было бы поставить имя Салтыкова. Он был не только более строгим и требовательным редактором журнала, но и недолюбливал литературно-критические писания Скабичевского, находя их многословными, скучными и мелкими по мысли. И он сильно «правил» иные из его статей, в которых поэтому встречаются иногда места, весьма близкие к Салтыкову не только по содержанию отдельных высказываний, но и по стилю и фразеологии*. Скабичевский знал о невысокой оценке его Салтыковым и нелегко переживал свое, как ему представлялось, «положение парии» в редакции. В его представлении он не только не имел никакого голоса в ее делах, но и находился «в рабстве редакторского

* Данное обстоятельство служит иногда поводом для сомнений: не принадлежат ли некоторые анонимные статьи, давно признанные за салтыковские, Скабичевскому? Такое сомнение коснулось даже статьи «Напрасные опасения» (Отечественные записки, 1868, № 10), программной для самого Салтыкова и всей проводимой им в журнале литературной политики. В ней действительно имеется ряд мест, почти текстуально близких к статьям Скабичевского (наблюдения Э. С. Виленской). О ряде совпадений с суждениями Салтыкова некоторых мест в статьях Скабичевского пишет и В. Б. Смирнов²⁵.

деспотизма»²⁶. Об этом свидетельствует его драматическое письмо-исповедь Михайловскому 1878 года, в котором он пишет о «мрачной тюрьме редакции «Отечественных записок». Однако впоследствии и Салтыков изменил свое отношение к Скабичевскому, проявив трогательное внимание к его литературной судьбе и материальному положению после закрытия журнала, и Скабичевский, со своей стороны, сумел преодолеть настроения обиды и ущемленности, и они не отразились на его позднейших высказываниях о Салтыкове, которого он несколько раз навещал в последние годы его жизни и оставил о нем ценные воспоминания.

В целом литературная критика в «Отечественных записках» естественно соответствовала общему демократическому и реалистическому направлению журнала. Она боролась с реакционными явлениями в литературе, выступала против натурализма, обличала либеральную риторику, примечала появление новых талантов прогрессивного направления и «апробировала» их произведения (Гаршина, Мамина-Сибиряка, Чехова и др.). Но нередко народническая идеология ограничивала рамки и подходы литературно-критического анализа и оценок. В них мало уделялось внимания эстетическим критериям, рассмотрению художественных особенностей произведений даже таких писателей, как Толстой, Тургенев, Достоевский. Кроме того, бросая общий взгляд на литературную критику «Отечественных записок» в целом, нельзя забывать, что в годы своего ответственного редакторства сам Салтыков уже не выступал, как раньше, с литературно-критическими статьями и рецензиями. Во многих его сочинениях этого времени, особенно в «Круглом годе», имеется немало высказываний о литературе, поразительных по глубине и силе мысли. Но почти все они проблемно-теоретического содержания и лишь изредка касаются вопросов конкретной литературной критики, оценок появлявшихся новых художественных произведений.

Ведущая роль в публицистике «Отечественных записок» по-прежнему, как и при Некрасове, принадлежала Елисееву и его ежемесячным «Внутренним обозрениям». Они пользовались у демократического читателя большой популярностью. После его заболевания у руля этого раздела встали Михайловский и Кривенко. И тот и другой были связаны с революционным подпольем, с «Народной волей» (что, однако, скрывалось от Салтыкова). Вместе с тем они не препятствовали активному сотрудничеству в журнале Абрамова, Воронцова («В. В.») и Южакова, все больше склонявшихся в своих статьях к выработке либерально-народнических взглядов и позиций. Нужно сказать, что симпатий Салтыкова по отношению к этим авторам не было. Особенно не любил он Я. В. Абрамова («Федосеевца»). «Абрамов, — писал Салтыков Гл. Успенскому, рекомендовавшему этого народнического публициста

для сотрудничества в «Отечественных записках», — присылает много, но что-то неслыханное. Н(ичег)о нельзя печ(атать)» (XIX-2, 50). На протяжении многих лет анонимно (иногда также под псевдонимом и криптонимом) сотрудничал в журнале находившийся в эмиграции Лавров. Но он выступал исключительно со статьями и рецензиями, пропагандировавшими научное миросозерцание. Посредниками в его весьма обширном конспиративном сотрудничестве в журнале были Елисейев и Белоголовый. Что касается Салтыкова, то он лишь один или два раза виделся с Лавровым в 1883 году во время пребывания в Париже²⁷. Из уважения к авторитету Лаврова как одного из идеологических лидеров и старейшин народнического движения Салтыков не возражал против его негласного сотрудничества, хотя оно было небезопасно для журнала*. Но он критически отзывался об «ученой» тяжеловесности языка лавровских статей и тяготился их большими объемами. «Лавров пудами присылает нам свои сочинения...», жаловался он Михайловскому и ему же писал о лавровской статье «Канун великих переворотов»: «По моему мнению, это собрание общих мест, изложенное без всякой силы и довольно бесцветное» (XIX-1, 96).

Совсем иным было отношение Лаврова к Салтыкову. Он был большим почитателем писателя и ставил его в ряд с Чернышевским²⁹.

Наряду с публицистами-народниками в журнале выступало немало других прогрессивных литераторов, которые с иных, не народнических позиций критически относились к существующему в стране порядку вещей или просто умели реалистически видеть и анализировать общественно-экономическую жизнь пореформенной России: В. В. Берви-Флеровский, А. А. Головачев, Ф. П. Еленев (Скалдин), В. А. Обручев, Л. Ф. Пантелеев. Иные из публицистов сочетали в себе народничество с чертами буржуазного просветительства. Таковы были Н. Флеровский (В. В. Берви) и А. Н. Энгельгардт. Особенно высоко ценил Салтыков последнего и его «Письма из деревни». Замысел их был подказан автору самим Салтыковым³⁰. Цикл этих очерков, печатавшийся в «Отечественных записках» на протяжении целого десятилетия, стал своего рода классикой русской публицистики.

Иные из авторов публицистического раздела в той или иной мере касались трудов К. Маркса. Еще до появления рус-

* Об этом косвенно свидетельствует драматический эпизод, относящийся еще к 1871 году. Речь идет о крайнем испуге, пережитом членом Совета Главного управления по делам печати В. М. Лазаревским, другом Некрасова и негласным «адвокатом» «Отечественных записок» в цензурном ведомстве, когда он узнал, что втайне от него на его адрес пересылались из-за границы в двойных пакетах рукописи Лаврова для «Отечественных записок»²⁸. Впрочем, имеются сведения, что власти знали о сотрудничестве Лаврова, но не препятствовали этому ввиду неполитического содержания его выступлений.

ского перевода «Капитала» о некоторых экономических теориях, изложенных в этом труде, писали в «Отечественных записках» В. И. Покровский и Г. З. Елисеев (в своих «Внутренних обозрениях»). Выход в 1872 году русского перевода «Капитала» был встречен высоко положительно статьей Михайловского «По поводу русского издания книги К. Маркса». Изложение основ учения Маркса дано в статье Г. В. Плеханова «Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягцова» (1883). Кроме того, на страницах журнала были напечатаны в конце 1887 года две полемические статьи, возражавшие Ю. Жуковскому на его критику «Капитала». Одна из статей принадлежала Н. И. Зиберу и называлась «Несколько замечаний по поводу статьи г. Ю. Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале». Другая статья — Михайловского, «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского».

Хотя ни Зибер, ни Михайловский, отчасти же и Плеханов не поняли вполне историко-философского и экономического содержания учения Маркса, их выступления в «Отечественных записках», знакомявшие русское общество с марксизмом, имели положительное значение. И оно было усилено тем обстоятельством, что в споры русских публицистов о «Капитале» намечавшийся вмешаться сам автор. Так как статья Михайловского содержала, как сказано, ряд неправильных толкований взглядов Маркса, последний решил разъяснить их русским читателям в специальном письме, предназначенном для обнародования в журнале. По свидетельству Ф. Энгельса, письмо было адресовано: «Редактору «Отечественных записок», то есть Салтыкову. Однако оно не было послано. Маркс побоялся, и вполне основательно, что «одно его имя поставит под угрозу существование журнала», если будет там напечатано»³¹. Все же письмо было опубликовано, но позднее (уже после смерти Маркса) и сначала за границей. Оно появилось впервые в 1886 году в № 5 «Вестника Народной воли», выходящем в Женеве под редакцией П. Л. Лаврова и Л. А. Тихомирова. Через два года «письмо» было напечатано и в России, в «Юридическом вестнике» за 1888 год. А еще раньше письмо Маркса, по свидетельству русских корреспондентов Энгельса, «долгое время циркулировало по России в рукописных копиях с французского оригинала»³². Вряд ли можно сомневаться, что Салтыков знал это обращенное к нему письмо, содержащее критику народнической программы немедленного осуществления социализма в России. Критика эта была весьма близка взглядам самого Салтыкова. На страницах журнала была напечатана (впервые) статья одного из самых талантливых и глубоких распространителей марксизма — Поля Лафарга «Хлебная промышленность на северо-западе Соединенных Штатов». Она была прислана в редакцию К. Марксом через Н. Ф. Даниельсона и, по-видимому, в переводе послед-

него появилась в № 6 и 7 «Отечественных записок» в 1883 году за подписью П. Л.-рг. Упомянутые материалы дают ответ на не раз возникавший в литературе о Салтыкове вопрос: было ли ему известно учение Маркса? Да, было, но, по-видимому, лишь в весьма ограниченных пределах написанного о Марксе в самих «Отечественных записках» и в других русских журналах.

Говоря о публицистике, необходимо упомянуть еще о многолетнем постоянном сотрудничестве в журнале уже названного выше французского историка и журналиста Шарля Луи Шассена. Его русское сотрудничество началось еще в «Современнике» Некрасова и продолжалось в «Отечественных записках», начиная с 1869 года и до прекращения издания. За эти годы Шассен поместил в журнале более полутора статей — обзоров французской жизни. Они появлялись почти ежемесячно сначала под заглавием «Парижские письма» за подписью Клод Франк, а затем под названием «Хроника парижской жизни» и с новым псевдонимом — Людовик. Салтыков, познакомившийся с Шассеном во время своей первой заграничной поездки, не был вполне его идейно-политическим единомышленником и не очень высоко ставил его литературный талант. Он писал Некрасову о состоявшемся очном знакомстве с Шассеном: «По первому взгляду судя, малый — вздор» (XVIII-2, 205). Но он ценил обозрения Шассена, обеспечивавшие журнал достоверной, широкоохватной и с демократических позиций изложенной информацией о французской, а отчасти и всей западноевропейской жизни³³. Шассен был главной фигурой в идейных связях «Отечественных записок» с западноевропейской демократией.

Упомянутые писатели, публицисты и другие литераторы, привлеченные Салтыковым и его соредакторами к сотрудничеству в «Отечественных записках», не были представителями и проводниками в журнале какого-то монолитного идейно-политического единства. Их общественные взгляды и позиции во многом были различны. При всем том, за исключением Достоевского, а также Скалдина (Ф. П. Еленева), автора очерков «В захолустье и в столице», в которых он, несмотря на свое консервативное мировоззрение и положение высокопоставленного цензора, дал чрезвычайно трезвую, критическую оценку крестьянской реформы и ее социально-экономических последствий*, всех постоянных авторов «Отечественных записок» все же объединяла одна общность. Все они принадлежали к тому, что можно назвать «русской левицей» того времени, — к демо-

* Реалистическое рассмотрение Скалдиным вопросов реформы и ее последствий в жизни русской деревни было высоко оценено К. Марксом и впоследствии В. И. Лениным³⁴.

кратической и либеральной оппозиции в России. Среди них были петрашевцы, «революционеры 61 года», члены 1-й «Земли и воли», народники семидесятых — начала восьмидесятых годов, включая сюда участников «хождения в народ», члены «Народной воли» и «чернопередельцы», сибирские областники и другие представители революционного движения и передовой общественной мысли. Были и революционные эмигранты, среди них, помимо П. Л. Лаврова, и бывший яростный оппонент Салтыкова по «журнальной полемике» 1863—1864 годов В. А. Зайцев — оба члены I Интернационала, а также член Исполнительного комитета «Народной воли» Л. А. Тихомиров (впоследствии — ренегат)*.

Многие из авторов «Отечественных записок», начиная с их редактора, прошли через политические репрессии, испытывали аресты, допросы, тюрьму, ссылку. В этом нетрудно убедиться, сопоставив имена авторов журнала с биографическими справками, помещенными в известном словаре «Деятели революционного движения в России» (М., 1927—1933). В трех первых его томах, посвященных шестидесятым, семидесятым и восьмидесятым годам (но этот последний том незавершенного издания доведен только до буквы «З»), мы находим справки о 52-х участниках революционного движения, являвшихся авторами журнала в 1878—1884 годах, из общего числа — 132. Таким образом, треть авторов времени редактирования журнала Салтыковым относилась в прошлом или настоящем к людям, испытавшим политические преследования, значит, в глазах власти — к «неблагонадежным».

Данное обстоятельство, а главное — общее направление «Отечественных записок», оппозиционное самодержавию и его социальным основам, не оставались, разумеется, безответными со стороны властей. Направление журнала неизменно квалифицировалось органами политического контроля как «вредное». В истории русской журналистики XIX века цензурная судьба «Отечественных записок» Некрасова и Салтыкова оказалась самой трудной и драматической. Об этом будет сказано подробно дальше. Однако цензуре — и это важно подчеркнуть, — вопреки довольно широко распространенному мнению, все же не удалось сколько-нибудь существенно ослабить силу и масштабы того глубоко прогрессивного воздействия, которое оказали «Отечественные записки» на русское общество конца 1860-х — начала 1880-х годов. В одном из своих обращений к Л. Толстому Салтыков писал: «Отеч(ественные) зап(иски)» (...) это хорошая кафедра для писателя, потому что журнал распространен значительно больше других» (XIX-2, 261—262).

* О своем конспиративном (анонимном) сотрудничестве в «Отечественных записках» в 1878—1881 и 1883 гг. сообщает сам Л. А. Тихомиров³⁵.

Действительно, при редакторстве Салтыкова тираж журнала достигал в отдельные годы 10 500 экземпляров — цифра весьма значительная для того времени. Такого не было при Некрасове. Известные журналы либерально-консервативного и либерально-буржуазного направления «Русский Вестник» и «Вестник Европы», с участием таких писательских сил, как Л. Толстой, Тургенев, Гончаров, Достоевский, выходили в те же годы тиражами примерно вдвое меньшими. С другой стороны, и демократический журнал «Дело» имел в 1870 году всего 4000 подписчиков, и хотя к 1880 году число их увеличилось, но всего до 6000³⁶. По словам М. М. Ковалевского, подтверждаемым многими мемуарными свидетельствами современников, «в России 70-х — начала 80-х годов не было, вероятно, ни одной интеллигентной семьи, которая не выписывала бы или не читала, беря у соседей, «Отечественные записки», а в них — прежде всего Щедрина». Среди постоянных подписчиков был, в частности, И. Н. Ульянов — отец Ленина³⁷.

Следует заметить, что значительную часть читателей журнала составляли деятельные участники революционного движения. Обстоятельство это удостоверяется многими эпистолярными и мемуарными источниками, и среди них записью разговора Салтыкова с министром внутренних дел графом Игнатьевым в октябре 1881 года. В ходе возникшего разговора Салтыков попросил объяснить, «в чем заключается социалистическое направление», в котором журнал постоянно обвиняется правительством. «Из слов министра, — информировал Салтыков Елисеева об этом разговоре, — я мог вывести одно заключение: что главная причина обвинений сидит в том, что подследственные политические беспрепятственно ссылаются на статьи из «Отечественных записок» (XIX-2, 52). Как тут не вспомнить Герцена, который в 1861 году писал по поводу «Колокола»: «Само правительство признало, что мы власть в общественном мнении»³⁸. В известной мере такое определение применимо и к «Отечественным запискам». Один из видных литераторов правого лагеря К. Головин назвал журнал Салтыкова «правительственным вестником» наших левых»³⁹. А официальное сообщение о его прекращении мотивировалось, в частности, тем, что оно внесло «немалые смуты в сознание известной части общества» (XX, 479). В правительственной фразеологии слово «смута» означало все формы и виды критики существовавшего строя и пропаганду идей социальной справедливости. Такая критика и такая пропаганда действительно постоянно звучали с кафедры «Отечественных записок», и сильнее всего в страстном и гневном — «аввакумовом» — слове Салтыкова. Руководство изданием «Отечественных записок» — не только важная глава в биографии писателя, это и одна из его выдающихся исторических заслуг перед русским обществом.

Вместе с тем в субъективно-психологическом отношении журнально-издательская деятельность Салтыкова отвечала тем властным требованиям практического участия в общественно-политической жизни, которые с юных лет были присущи его натуре, входили в систему его взглядов и его поисков активной гражданственной позиции. Несмотря на многие тяготы и тревоги редакторской работы (особенно сношение с цензурой), она была, по существу, внутренней необходимостью для Салтыкова, никогда не удовлетворявшегося только литературным, кабинетным трудом. Прекращение журнально-издательской деятельности в связи с закрытием «Отечественных записок» было, как увидим, не только драматически пережито Салтыковым, но и значительно ухудшило его здоровье, приблизило конец его жизненного пути.

10. ЗА РЕДАКТОРСКИМ СТОЛОМ

Щедрин был образцовым редактором.

Н. Михайловский

Характеристика собственно редакторской работы Салтыкова — его делового общения с авторами и соредакторами, переписки с ними, его оценок поступавших в редакцию рукописей, обсуждения и правки их, чтения корректур и др. — дана в предыдущем томе настоящей биографии писателя на материале его участия в трудах редакции «Отечественных записок» при Некрасове¹. В годы официально перешедшего к нему руководства журналом методы и приемы этой работы по существу не изменились, за исключением иной тактики и других способов обороны от цензурных вмешательств, о чем речь впереди. Но значительно увеличилось разнообразие, объем редакторской работы и, соответственно, затрачиваемое на нее время.

По сравнению с Некрасовым, его последних лет, Салтыков, несмотря на свое почти всегдашнее болезненное состояние, был редактором, более глубоко вникавшим во все дела журнала. Он был главной и постоянно действующей силой издания, как в отношении наблюдения за его общим направлением, так и в рабочей подготовке каждого очередного номера. От этих забот и тревог Салтыков не отвлекался никогда и нигде, умея совмещать их со своим напряженным писательским трудом. Находился ли он в Петербурге или — летом в деревне, на даче, за границей, был ли относительно здоров или болен, дела «Отечественных записок» были всегда при нем. И он иногда сокращал сроки своих летних каникул, стремясь в Петербург, «потому что журнал, без личного присмотра, очень шатается» (XIX-2, 128). Жалуясь в письмах на «разные фасоньи» своих многочисленных недомоганий, он не раз утверждал, что его «главная болезнь» — «Отечественные записки».

Перед возвращением из-за границы он заблаговременно сообщал в Петербург о дне своего прибытия и, если время приезда приходилось на утренний час, назначал на тот же

день рабочие свидания в редакции. И это несмотря на утомительность тогдашних длительных переездов.

В центре забот Салтыкова находился вопрос обеспечения журнала материалами для ближайших и последующих номеров. Ему, при всей его пронизательности, была присуща, как это обычно для многих, определенная недооценка современной литературы. Прав поэт, сказавший:

Лицом к лицу
Лица не увидеть.
Большое видится на расстоянии.
(С. Есенин)

Да и требования, предъявляемые к литературе, в частности заявленные в его программной статье «Напрасные опасения», были высоки. Отсюда его низкие и скептические оценки поступавшим в редакцию материалам — одновременно и литературно-критические, и собственно редакторские. «Современная русская литература не особенно высоко стоит», — писал Салтыков в 1879 году (XIII, 462). И сетовал в другом месте: «Больших вещей нет, а винегрет составить можно» (XIX-1, 164). И о том же в 1882 году: «Нет ничего цельного, задуманного, выдержанного, законченного. Одни обрывки, которые много-много имеют значение сырого материала, да и то материала несвязного, противоречивого» (XIV, 403).

Редактор журнала, украшенного именами Некрасова, Островского, Гл. Успенского, Гаршина, Достоевского («Под-росток»), Елисеева, Михайловского и своим собственным именем, столь знаменитым в 1870—1880-е годы, он постоянно жаловался на скудость и бедность редакционного портфеля. Поиск авторов и материалов составляют один из главных лейтмотивов писем и сохранных мемуаристами разговоров Салтыкова, относящихся к его редакторской деятельности. «Нет ли в Москве какого-нибудь нарождающегося таланта? но не вроде Боборыкина? Совсем приходится плохо», — пишет он в 1878 году Островскому (XIX-1, 70). И в других письмах: «Мы ужасно нуждаемся в материале, так нуждаемся, что хуже нельзя»; «А материала у нас совсем нет. Вот будет штука, ежели журнал кончит жизнь по недостатку, что печатать»; «Материал есть, но совсем средний»; «Никогда мы не были так бедны материалом...» (там же, 105; XIX-2, 90, 84, 91) и т. д. и т. п. в том же духе.

И Салтыков, на протяжении всех лет своего редакторства, пишет и рассылает письмо за письмом к авторам с просьбами, звучащими иногда как вопли о помощи, не обмануть с исполнением данного обещания или прислать «хоть что-нибудь». Под особо бдительным контролем находится предназначенная для журнала творческая работа главных его сил: Островского и Гл. Успенского — для художественного отдела, Елисеева (потом Кривенко), Михайловского и Энгельгардта —

для отдела публицистического и критико-библиографического. Неукоснительно строго выполнял литературные обязательства перед журналом сам главный редактор. Его пунктуальность в соблюдении сроков сдачи рукописи каждого нового произведения для очередного номера — и это почти ежемесячно — была поразительной. Такая аккуратность и требовательность по отношению к самому себе дисциплинировала всю работу редакции и ее авторского коллектива. Лишь сильное ухудшение в состоянии здоровья или цензурные осложнения и катастрофы обрекали иногда писательское перо Салтыкова на какой-то период молчания. Готовясь к очередным, рекомендованным ему врачами поездкам за границу, он всегда обеспечивал журнал на время своего отсутствия материалами, как собственными, так и отредактированными чужими, для руководимого им непосредственно беллетристического отдела. Так, перед отъездом летом 1880 года в Германию и Францию он ставил в известность Михайловского: «Я изготовил материал беллетристический» на все 3 и даже на 4 книжки вперед» (XIX-1, 159). Того же он требовал перед летними каникулами от своих соредакторов. Бывший вице-губернатор и управляющий казенными палатами, он и в редакторское дело стремился вносить строгую дисциплину, хотя, разумеется, свободную от каких-либо элементов бюрократического формализма, натиска и своеволия.

Салтыкову было труднее, чем Некрасову, с поисками и привлечением авторов и материалов для журнала. На рубеже 1870—1880-х годов в России появилось несколько новых «толстых» журналов. «А журналы между тем плодятся, — писал Салтыков Островскому, — в будущем году (1879) в одном Петербурге будет пять штук больших, тогда как литературных сил совсем не прибавляется» (XIX-1, 82) (Салтыков имел тут в виду «Отечественные записки», а также «Дело», «Слово», «Вестник Европы» и «Русское богатство»). Еще большему раздроблению литературных сил и, в определенной мере, их идейному измельчанию содействовал бурный расцвет в эти годы ежедневных газет, в том числе буржуазно-коммерческого характера, во главе с суворинским «Новым временем». Идеино беспринципные, они, однако, претендовали на роль руководителей общественного мнения и вместе с тем обладали для литераторов магнетизмом высоких гонораров. Это был один из признаков совершившегося вступления страны на путь капиталистического развития. Появление обывательской «улицы» в литературе — примерно того, что мы называем теперь «массовой культурой», — сильно тревожило Салтыкова. И он всячески оберегал свой журнал от проникновения в него «улицы». С другой стороны, он ревниво воспринимал случаи, когда связанные с его журналом авторы, писатели «партии» «Отечественных записок» (по его собственному выражению), отдавали свои произведения в другие издания.

Так, по поводу появления ряда рассказов Н. Д. Хвошинской (Зайончковской), старой сотрудницы «Современника» и «Отечественных записок», в «Русских ведомостях» Салтыков писал ей: «Досадно, что Вы эти работы не помещаете в «Отечественных записках». Нам всякая строка Ваша была бы приятна...» (XIX-1, 105). Еще с большей досадой воспринимал он случаи — они были единичны, — когда в каком-либо «чужом» издании появлялись вещи, отвергнутые им для обнародования в журнале по принципиальным соображениям. Такова история с известным рассказом Вс. Гаршина «*Attalea princeps*». Салтыков высоко ценил Гаршина как писателя и человека. Но в названном рассказе он усмотрел проповедь фатализма: «Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее...»² Гордая, мятежная пальма, символизировавшая образ революционера, достигла победы: могучими усилиями она разбила стеклянный свод оранжереи и выпрямила свою вершину, хотя и поломав часть ветвей. Но, добившись ценою огромных усилий и жертв заветной цели, пальма жестоко разочаровалась. «Только-то, — подумала она. — И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?» Так преломился в творчестве Гаршина назревший кризис революционного народничества, все явственнее терявшего инициативу и энергию в борьбе. Отказ напечатать в своем журнале «*Attalea princeps*», — это «пророчество Кассандры», по словам Короленко, — очень показателен для Салтыкова. Не будучи сам революционером и скептически относясь к возможностям современного ему революционного движения, Салтыков, при всей своей мрачности, придавал огромное значение воспитанию русского общества, особенно его молодых сил, в духе исторического оптимизма, веры в будущее и в необходимость практической борьбы за это будущее, за то, чтобы добро победило зло (понимаемые в их социальном содержании). Присущий писателю скептицизм, при всей его силе и глубине, не переходил, однако, в безнадежность пессимизма и фатализма. Появление рассказа Гаршина в журнале либеральных народников «Русское богатство» сильно огорчило редактора «Отечественных записок».

Салтыков, с его широким взглядом и пониманием выдающегося значения творчества больших писателей, хотя бы и чуждых его мировоззрению (достаточно вспомнить здесь отношение Салтыкова к Гоголю, которого он считал своим учителем и всегда святил его имя), не раз пытался привлечь к продолжению участия в своем журнале не принадлежавших к его направлению Достоевского и Толстого. Но после эпизодических, разовых выступлений того и другого обещанного каждым из них продолжения сотрудничества не последовало. С особенным огорчением данное обстоятельство было воспринято Салтыковым в отношении Толстого. Он писал ему

в 1878 году: «Поверьте, что я не ради рекламы желаю Вашего участия в журнале, а просто потому, что ценю высоко Вашу литературную деятельность» (XIX-1, 81). В конце 1883 года Салтыков, не ограничиваясь очередной письменной просьбой к знаменитому адресату, направил к нему, в Москву, в Хамовники, в качестве своего рода эмиссара для переговоров Михайловского. О его встрече с Толстым Плещеев сообщал Надсону: «Михайловский ездил в Москву и был по поручению Салтыкова у Толстого. Пошел было к нему неохотно, но пришел в такое восхищение, в такой восторг, что жаль было расставаться с ним <Толстым>»³. И этот шаг не увенчался успехом. По возвращении Михайловского в Петербург Салтыков писал Толстому: «Из слов Михайловского я уразумел, что и в нынешнем году «Отечественные записки» не могут рассчитывать на Ваше сотрудничество. Искренне жаль, потому что хоть «Отеч(ественные) зап(иски)» и не бог знает как талантливо ведутся, но все-таки это честный журнал» (XIX-2, 261). Об этом эпизоде Михайловский впоследствии вспоминал, что для него и до сих пор «остаются невыясненными <...> мотивы его <Толстого> уклонения от исполнения собственного обещания дать что-нибудь для «Отеч(ественных) зап(исок)»⁴. Вряд ли, однако, Михайловский был прав, что Толстой «уклонился» от данного им обещания. Ведь оно было *подтверждено* для наступавшего нового, 1884 года, *еще одним письмом Толстого*, которое не сохранилось. Отвечая 14 февраля на это письмо, «доброе и благорасположенное» (XIX-2, 284), Салтыков благодарил Толстого и писал: «Ежели Вы приведете в исполнение Ваше намерение относительно помещения в «Отеч(ественных) зап(исках)» Вашего труда*, то это будет для всех и в особенности для меня величайшей радостью» (XIX-2, 285). Однако намерение Толстого и на этот раз не осуществилось. Нельзя забывать, что это было время перелома в идейной жизни писателя, время формирования его нового мировосприятия и охлаждения интереса к художественной литературе. А вскоре, в апреле 1884 года, и сам журнал прекратил свое существование.

Как и в былые времена, на службе, как и в годы участия в трудах «Современника» и «Отечественных записок» при Некрасове, Салтыков и в качестве главного редактора пользовался прямо-таки устрашавшей многих (особенно молодых, начинающих писателей) репутацией крайне сурового, жестокого, раздражительного и гневного человека. Об этом сохранилось немало мемуарных и эпистолярных свидетельств, как достоверных, так и преувеличивавших действительность до мифотворчества. Об этом уже была речь в предыдущей книге настоящего труда. Все же, чтобы дать живое представление об

* Речь шла о повести «Смерть Ивана Ильича», которая, однако, тогда еще не была закончена. — С. М.

этой стороне редакторской практики Салтыкова, приведем здесь один эпизод, достоверность которого подтверждается почти текстуально совпадающими свидетельствами двух или трех очевидцев. Вот одно из них, принадлежащее писателю Вас. И. Немировичу-Данченко. «В то время, — вспоминает он о 1870-х годах, — мы, молодые, с тревогой, робостью и неуверенностью стучались в двери этой редакции, где заправилами сидели сами «боги» <...>. Помню, как крупные, уже признанные таланты, вроде Глеба Успенского, поминали царя Давида и всю кротость его, ожидая свидания с грозным Михаилом Евграфовичем. Ведь Щедрин подчас был так суров и не стеснялся не только с начинающими. Более того, с ними у него суровость была скорее ласковая, нужно было лишь уловить ее <...>. Но с генералами от литературы он совсем не церемонился. Редакторского респекта к модным именам и авторитетам у него не было и тени» (как прежде — добавим — в годы чиновничьей службы к губернаторам и даже министрам).

Кроме внешних черт суровости — хмурого лица, на котором почти никогда не появлялась улыбка, сумрачного взгляда, низкого, по словам В. Танеева, «почти рычащего баса», начальственной привычки говорить громко и властно, да еще иногда с употреблением крепких русских слов (конечно, лишь в мужской компании), многие авторы бывали поражены резкой прямоотой суждений и приговоров грозного редактора. Рассказов о суровых, лишенных всякой этикетности редакторских приемах Салтыкова сохранилось, как сказано, немало. Вот для иллюстрации еще один случай, сохранившийся в памяти того же Вас. И. Немировича-Данченко. «Никогда не мог я забыть, — вспоминал он, — как растерялось одно <...> восходящее и модное «светило», когда, теребя его рукопись нервными пальцами, Салтыков вдруг огорошил «светило», не стеснясь присутствующими, своим громогласным басом: «Ну, батюшка, Вы тут столько набоборыкали»⁵. Обычно, однако, после импульсивного взрыва по поводу того, что вызывало у него недовольство или раздражение, он быстро «остывал» и уже спокойно растолковывал автору причины, вызвавшие его недовольство.

Не стеснялся Салтыков резкими выражениями о прочитанных рукописях и в своей рабочей переписке с соредакторами. Так, например, в письмах к Михайловскому: «Рассказ Ахшарумова до того глуп, что печатать его нельзя»; «Посылаю вам «Полгода»⁶. По моему мнению, это безнадежное пустословие»; «...статья Южакова, по форме несуразная, по существу представляет среднего достоинства хныкание, сопряженное с бормотанием» (XIX-1, 93, 94; XIX-2, 278) и т. п.

Но в своих эпистолярных обращениях к самим авторам отвергаемых или критикуемых рукописей Салтыков не только не допускал резких и обидных выражений, но и нередко выражал сожаление и даже приносил извинения за причиняемые им

огорчения. Перо и бумага гасили взрывную силу его первоначальных импульсов и заменялись деликатностью воспитанного человека, никогда, однако, не вуалировавшей прямоты критического суждения и твердости принятия редакторского решения. Таково, например, письмо Салтыкова к известному поэту Алексею Михайловичу Жемчужникову. «Прочитав Вашу поэму (четыре главы) <«Сказка о бесе и патриоте»>, — писал ему Салтыков, — я нашел, что мотив ее несколько беден для большой вещи и что вообще поэма эта <...> не отражает современности русской. Поэтому прошу Вас великодушно простить мне, что я считаю неудобным напечатать Ваше новое произведение в «Отечественных записках». Прошу Вас верить, что я поступаю таким образом с величайшею болью, но как редактор журнала, имеющего определенную физиономию, я не могу поступить иначе» (XIX-1, 205). Такая же уважительность к автору и вместе с тем приоритет «направительной», то есть принципиальной, оценки присутствует и во многих других письмах Салтыкова-редактора, например к писателю Ф. Д. Нефедову, близкому к группе «Отечественных записок». «Многоуважаемый Филипп Диомидович! — писал Салтыков. — К величайшему моему прискорбию, я не могу напечатать в «Отечественных записках» Ваш рассказ <...>. Он очень беден по содержанию и крайне неудовлетворителен по форме» (XIX-2, 120). А вот мотивировка отклонения Салтыковым столь популярного впоследствии романа Боборыкина «Китай-город». Об эпизоде этом Боборыкин писал Михайловскому: «Вчера получаю письмо от Михаила Евграфовича, где говорится, что роман мой «идет совершенно вразрез с общим направлением беллетристики «Отеч. записок», что его лично первая часть не удовлетворяет и не удовлетворит читателей и что ему «очень тяжело» печатать 6 частей вещи, «которой не сочувствуешь»⁷.

Салтыков относительно редко обращался к авторам своего журнала с конкретными просьбами о разработке тех или иных тем и материалов. Чаще он предупреждал их о возможных цензурных трудностях, ожидающих предполагаемые ими публикации. Он полагал, что само направление «Отечественных записок» и его личная общественная репутация и позиция с достаточной определенностью указывают литературским силам на главные принципиальные пожелания («desiderata») издания. «Единство и цельность журнала, — писал Михайловский, — даже в мелких подробностях слагались как будто сами собой. В согласии с основными чертами своего открытого, благородного характера и своей отзывчивости на житейские волнения», Щедрин ненавидел ложь, в чем бы она ни состояла, и сухой доктринерский формализм. Правдивое и живое отношение к делу — вот главное, чего он лично требовал от сотрудников и без чего мудрено было попасть в «Отечественные записки». При обширном и тонком уме Щедриза,

при его чуткости эта формула «правдивого и живого отношения» обнимала очень многое, и немудрено, что руководимый им журнал постепенно выработал себе такую цельность и определенность физиономии, какая нечасто встречается в истории русской журналистики»⁸. Следует заметить еще, что и тогда, когда Салтыков входил в обсуждения обращенных к нему авторами вопросов, которые представлялись им в чем-то спорными или неясными, он не накладывал редакторское табу на предлагаемое содержание публикации. «Пишите, что думаете и в чем уверены, — отвечал он, по одному такому вопросу, А. Н. Энгельгардту. — Разобраться всегда будет можно. В крайнем случае, напишем возражение (особое), а напечатать все-таки напечатает» (XIX-1, 102).

Действительно, на страницах «Отечественных записок» иногда появлялись статьи, корректирующие предыдущие выступления журнала, иногда принадлежащие перу того же автора. Так было, например, со статьей Г. З. Елисеева по «восточному», или «славянскому вопросу», о чем речь была выше.

Другой, более сложный и важный случай возник по поводу речи Достоевского на торжествах открытия в Москве 6/18 июня 1880 года памятника Пушкину. Официальным устроителем пушкинского праздника было Общество любителей российской словесности. Во главе его находился тогда С. А. Юрьев, друг детства Салтыкова и его школьный товарищ по Московскому дворянскому институту. Между ними сохранялись лично-дружеские отношения былого товарищества, но идейно они принадлежали к разным лагерям: один — к демократическому, другой — к славянофильскому, хотя и не к его ортодоксальному крылу. Юрьев послал Салтыкову приглашение принять участие в празднике. Приглашение было получено 8 мая, и в тот же день Салтыков ответил отказом — в двух письмах: официальном — Обществу и личном — Юрьеву*. В обоих письмах отказ был мотивирован состоянием здоровья. «За величайшую для себя честь почел бы я принять участие в публичных заседаниях <...> в память великого русского поэта, — читаем в первом, официальном письме, — но тяжкая болезнь решительно препятствует исполнению этого желания» (XIX-1, 145). И о том же в личном обращении к Юрьеву: «Не могу я приехать в Москву — нестерпимо болен» (XIX-1, 146). Однако постоянное болезненное состояние не прерывало в это время ни писательской, ни редакторской работы Салтыкова. Болезнь болезнью, но истин-

* Отказался от участия в пушкинском празднике и Л. Толстой, хотя к нему специально приезжал с этой просьбой Тургенев. Вспоминая позже об этом эпизоде, Толстой писал: «Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался: <...> потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям»⁹.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ
ЗАПИСКИ

1878

№ 4 АПРѢЛЬ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

Въ типографіи А. А. Крайневскаго (Басковскій, № 2).

«Отечественные записки». Обложка первой книжки журнала, подписанной Салтыковым в качестве ответственного редактора.

ной причиной уклонения от посещения Москвы было, надо полагать, нежелание писателя оказаться там среди идейно враждебных ему сил, намеревавшихся придать пушкинским торжествам соответствующую их интересам идеологическую «аранжировку». Салтыков имел тут в виду прежде всего Ив. Аксакова и М. Каткова. Думал ли он тогда в этой связи также о Достоевском — неизвестно. Однако отказаться от представительства своего журнала на первом в стране всероссийском празднике отечественной литературы под знаменем и в честь ее великого имени Салтыков не мог. Он делегировал в Москву двух «депутатов» от редакции — Г. З. Елисеева и Гл. Успенского. Первому было поручено выступить на одном из публичных собраний в честь Пушкина, второму — написать для журнала статью-корреспонденцию. Выступление Елисеева по каким-то причинам не состоялось, и лишь позже он отозвался об этом событии в своем «Внутреннем обозрении», отозвался же критически (Отечественные записки, 1880, № 12). Статья же Успенским была написана. Она называлась «Праздник Пушкина (Письмо из Москвы)» и появилась за подписью «Г. У.» в ближайшем 6-м номере «Отечественных записок», вышедшем в свет 21 июня. Статья делилась на пять главок, названных «письмами». Первые четыре были написаны 9-го июня, то есть сразу же после сенсационного выступления Достоевского 8-го июня на торжественном собрании в зале Благородного собрания (ныне Колонный зал Дома союзов). Последняя главка — «V письмо» хотя и снабженная подзаголовком «На другой день», в действительности написана не ранее 18-го июня, когда речь Достоевского появилась в «Московских ведомостях» Каткова. Воспринятая не на слух, а в чтении и вне того экстатического или гипнотического воздействия, которое оказало на всю огромную аудиторию живое, страстное слово Достоевского («чудом» назвал он сам в письме к жене этот до сих пор удовлетворительно не объясненный феномен), речь его была принята и оценена теперь совсем по-другому. И такая метаморфоза, как свидетельствует тогдашняя печать, а также эпистолярные и мемуарные источники, произошла если не с большинством, то с очень многими из тех, кто находился 8 июня в зале.

Вот как объяснил Успенский возникновение своего «постскриптума» — «На другой день», — необходимость и назначение его. «Опасения наши, — читаем в начальных строках «постскриптума», — высказанные в только что оконченном письме относительно подлинного смысла переданного нами содержания речи г. Достоевского, к несчастью, оказались основательными. Речь г. Достоевского напечатана теперь в 162 № «Московских ведомостей». Прочитав ее, и притом не один раз <...>, мы нашли, что хотя в ней и есть слово в слово то самое, что передано нами, но что, кроме этого, в ней есть еще и нечто такое, что превращает ее в загадку, которую нет

охоты разгадывать и которая сводит весь смысл речи почти на нуль или в самую ординарную проповедь полнейшего омертвения»¹⁰. И еще один вывод: «Итак, вот к какой проповеди тупого, подневольного, грубого жертвоприношения привело автора обилие заячьих идей»¹¹.

Несмотря на столь суровый приговор, вынесенный здесь речи Достоевского, Салтыков не был удовлетворен статьей Успенского. Он полагал, что она не вскрыла со всей ясностью идейно-политическую подоплеку и тактику Достоевского, выступившего с вдохновившим аудиторию призывом к примирению и единению враждебных «партий» в русском обществе под знаменем «народной правды» и «народного идеала». Корень же идейных разногласий между Салтыковым и Достоевским заключался именно в *разном понимании* народных интересов и идеалов. Об этом они много и яростно спорили еще в шестидесятые годы. Сейчас этот спор возник заново.

«Пушкинский праздник произвел во мне некоторое недоумение, — писал Салтыков Островскому 25 июня. — По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с ее пьедесталом возникли два суденышка, на которых сидят два человека из лублики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели Вы, как *они* целовали у меня руки» (XIX-1, 157)*.

Придавая важное значение этому эпизоду, ставшему в условиях некоторой либерализации режима при Лорис-Меликове и возникшей широкой газетно-журнальной полемики крупным явлением в общественной жизни страны, Салтыков обратился к Михайловскому с просьбой (в канун своего отъезда за границу): «В июньской книжке прочтете статьи Успенского о Пушкинском празднике. Вся вторая половина необыкновенно легкомысленна и противоречива. Усп(енский) не додумался до того, что и Досто(евский) и Тург(енев) надувают публику и эскамотируют Пушкинский праздник в свою пользу (...). Хорошо, кабы Вы написали об этих речах в июльской книжке «Отеч(ественных) зап(исок)». Пожалуйста, если можете» (XIX-1,159).

Михайловский выполнил просьбу Салтыкова. В первой же очередной статье своей серии «Литературные заметки» в июльском номере «Отечественных записок» он выступил с разбором выступления Достоевского, а также с оценкой этого выступления Г. Успенским, который, в свою очередь, про-

* Ниже будет показано, что отзыв этот писался после того, как Салтыков прочитал речь Достоевского в «Московских ведомостях», но еще не был знаком с речью Тургенева, появившейся несколько позже, в № 7 «Вестника Европы».

должил в том же 7-м номере свою критику речи Достоевского в статье «Секрет (продолжение предыдущего)»¹². Но и этой новой статьей Успенского Салтыков не был вполне удовлетворен. Он писал Михайловскому из Эмса: «Очень жаль, что Успенский» вместо деревенского фельетона, который все-таки был бы интереснее, дал еще статью о «Пушкинском празднике». Впрочем, ему нужно было сколько-нибудь распутать себя» (XIX-1, 162). Критика речи Достоевского на страницах «Отечественных записок» на этом не закончилась. В сентябрьском номере журнала она была продолжена в прямой форме в очередной статье Михайловского из той же серии «Литературные заметки» и в художественной — самим Салтыковым в начальных главах цикла «За рубежом». Уже в первой главе его, ставшей сразу же знаменитой, в диалоге или, по определению писателя, «коллоквиуме» «мальчика в штанах» с «мальчиком без штанов», а затем и в последующем тексте встречается сатирически заостренное против Достоевского цитирование наиболее шумевших слов из его выступления: «новое слово», «скиталец», «гордый человек» и др. Но полемичны по отношению к выступлению Достоевского не частности. Полемичны задачи, как их понимает автор «За рубежом», стоящие на историческом череду развития России и тех сил и способов, которыми эти задачи должны решаться. Для Салтыкова, демократа и человека, далекого от религиозного мировоззрения, было неприемлемо основное требование православно-националистической программы Достоевского: «Христианство народа нашего есть, и должно остаться навсегда, самую главную и жизненную основу просвещения его», и это потому, что «идеал народа — Христос»¹³.

Для Салтыкова, непримиримого противника народной пассивности и послушности, были неприемлемы апелляции Достоевского к смирению и покорности как к главным способам «русского решения вопроса»¹⁴. Призыв «Смирись, гордый человек!» звал русское общество и массы к отказу от социально-политической борьбы, к отрицанию ее. Как к ложной идее отнесся Салтыков и к утверждению Достоевского, будто народ русский уже давно нашел для себя правду в религии, хотя нравственно-воспитательного значения для народной жизни так называемого бытового православия Салтыков не отрицал. В полемической статье против либерального публициста Градовского, являющейся развернутым автокомментарием Достоевского к «пушкинской речи», утверждает, что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его»¹⁵. Как бы отвечая на эти и подобные им утверждения Достоевского о русском «народе-богоносце», Салтыков устами «мальчика в штанах» задает вопрос, знает ли его русский сверстник, «что такое бог?». А «мальчик без штанов» отвечает: «А бог его знает, что такое бог!

У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан – вот мы в спожинки его и справляем!» (XIV, 37).

В «пушкинской речи» Достоевского Салтыков с присущей ему пронизательностью в общественных вопросах сразу же разглядел, а точнее сказать, предугадал заранее (недаром уклонился от поездки в Москву) замысел автора, о котором сам Федор Михайлович со всею определенностью писал К. П. Победоносцеву: «Мою речь о Пушкине я приготовил и как раз в самом крайнем духе моих (наших то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений»¹⁶.

Конечно, на основании этих слов и других аналогичных высказываний Достоевского нельзя отождествлять его мировоззрение с мировоззрением лидера российской реакции Победоносцева. Этого нельзя делать по многим причинам, и главной потому, что Победоносцев был идеолог и политик, а Достоевский писатель, художник, и художник гениальный. Казалось бы, те же самые, *формально схожие* «названия» отдельных «взглядов» у Победоносцева и Достоевского на самом деле далеко не всегда совпадали в их реальном содержании. Великий гуманизм и морализм творчества Достоевского подавлял ложные идеи, реакционные элементы в его мировоззрении. Но они были там (и какие!). И не следует ни отрицать, ни смягчать их разными способами, в частности путем прямого выражения недоверия к цитированным словам Достоевского из письма к Победоносцеву, как это сделал, например, И. Волгин в своей книге «Последний год Достоевского», заявляя: «Позволим себе в данном случае Достоевскому не поверить». «Не поверить» на том основании, что между этими деятелями происходила будто бы какая-то... «особая игра»¹⁷. Значит ли это, что все отношения Достоевского с Победоносцевым и вся их дружеская переписка были, по мнению И. Волгина, «игрой»?!

Хрестоматийные примеры: Маркс называл Гете «узким филистером», Энгельс критиковал Бальзака за «легитимизм», Ленин воевал с «непротивлением злу насилеи» Толстого. Но все это не мешало их взгляду на названных писателей как на вершины художественного гения человечества. К чести Салтыкова нужно сказать, что и он, отдавший так много сил в борьбе с теми идеями и тенденциями, которые он считал ложными и «уродливыми» у Достоевского, всегда видел в нем великого писателя. Но вместе со всем демократическим лагерем России (за единичными исключениями) он не принял и не мог принять общей идейно-политической платформы «пушкинской речи», призывавшей «гордого человека», то есть всю русскую «левицу», все национально-оппозиционные силы, к «примирению», а не к борьбе с существовавшим строем. К сожалению, «мода» на Достоевского, сменившая многолетнее «табу» на его серьезное изучение у нас, содействовала появлению

некоторой антиисторической апологетики его «пушкинской речи» в ряде устных и печатных выступлений нашего времени.

Что касается Салтыкова, то заметим, что отзвуки его спора с «пушкинской речью» присутствуют и в его позднейших «Письмах к тетеньке». Полемизируя в них непосредственно с реакционным публицистом Евгением Марковым, но косвенно задевая и речь Достоевского, Салтыков писал: «Ведь это только шутки шутят современные Ноздревы, приглашая литературу отдохнуть под сению памятника Пушкина. В действительности они столь же охотно пригласили бы Пушкина в участок, как и всякого другого, стремящегося проникнуть в тайности современности. Ибо они отлично понимают, что сущность пушкинского гения выразилась <...> в тех стремлениях к общечеловеческим идеалам, на которые тогдашняя управа благочиния, как и нынешняя, смотрела и смотрит одинаково неприязненно» (XIV, 406). «Общечеловеческие идеалы» Пушкина, в понимании Салтыкова, очевидно, не совпадали с православно-националистической мифологемой Достоевского, приписанной им Пушкину: «Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены»¹⁸.

Критику «пушкинской речи» на страницах «Отечественных записок», поддержанную не только всей демократической, но и либерально-оппозиционной печатью (Градовский и др.¹⁹), Достоевский воспринял болезненно. Об этом свидетельствуют раздраженные записи в последней тетради его дневника: «Щедрин — <спустил на меня> всю свою стаю Глебовых*, Михайловских, Елисеевых». И еще: «*Отечественные* <записки>». Вас трепещет вся литература, особенно Сатирического старца. Никто против него не посмеет: дескать, либерал, проеден либерализмом <...>»²⁰ О не сразу остывшем гневе и раздражении Достоевского свидетельствует и удивительно поверхностная, идейно и художественно несправедливая оценка им начавших печататься в сентябрьской за 1880 год книжке «Отечественных записок» очерков Салтыкова «За рубежом», в частности содержавшегося в первой главе диалога двух «бесшабашных советников» Удава и Дыбы. По поводу этой блестящей и смелой сатиры на вершителей и проводников внутренней политики самодержавия, сразу же ставшей знаменитой, Достоевский записал в своем дневнике: «Разговоры с советниками Дыбой и Удавом верх глупости и лакейства» <?!>²¹. Но «лакейства» перед кем же или перед чем?! По-видимому, в представлении Достоевского, перед «либералами», как называли тогда всех противников существовавшего режима. Но ведь Салтыков был тут первым в ли-

* Имеются в виду две упомянутые выше статьи Глеба Успенского. — С. М.

тературе. Ему не перед кем было «лакействовать», да и не было в его характере ни скрупула «лакейства», с такой силой презрения обличенного им в «Господах Молчалиных». Повторим: был он человеком духовно бесстрашным и ко всякой лжи нетерпимым.

Говоря об отношении Салтыкова к выступлению на «пушкинском празднике» Достоевского, необходимо внести ясность еще в один вопрос. В цитированных письмах к Островскому и Михайловскому от 25 и 27 июня Салтыков, как мы помним, поставил в один ряд речи на московских торжествах Достоевского и Тургенева. При этом он сблизил, а по существу, отождествил, в определенном отношении, замыслы обоих писателей. И он просил Михайловского написать «об этих речах» (то есть и о речи Тургенева) и подвергнуть критике удивившую и огорчившую его «солидарность» Тургенева с содержанием речи Достоевского. Однако в возникшей вокруг пушкинского праздника обширной газетно-журнальной литературе такого рода упреки в адрес Тургенева не возникли ни у Михайловского, ни у кого-либо другого. И понятно почему. Единомыслие Тургенева с речью Достоевского оказалось мнимым. Представление о таком единстве сложилось у многих, в том числе и у Салтыкова, на основании *первых* газетных информаций, возникших, как сказано, в экстатической обстановке триумфального ораторского успеха Достоевского. Появление в печати речей Достоевского (в «Московских ведомостях») и Тургенева (в «Вестнике Европы») резко изменило у подавляющего большинства восприятие и оценку позиции обоих писателей. «Во всех газетах сказано, — писал не кто иной, как сам Тургенев Стасюлевичу (13/25 июня 1880 г.), — что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так* — и я еще не закричал: «Ты победил, галилеянин!» Эта очень умная, блестящая и хитро-искусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия»²². А позднее Тургенев рассказывал В. В. Стасову, «как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили с ума тысячи народа, чуть не вся интеллигенция, как ему была невыносима вся ложь и фальшь проповеди Достоевского, его мистические разглагольствования о «русском всечеловеке», о русской «всеженщине Татьяне»²³. Тургенев намеревался публично сказать свое «слово» о речи, чтобы исправить допущенную им ошибку в первоначальной оценке речи, но воздержался. В ответ на это его решение Анненков писал ему: «Хорошо сделали, что отказались от намерения войти в диспут с одержимым бесом и святым духом одновременно Достоевским: это значило бы растравить его болезнь и сделать героем в серьезной

* Подчеркнуто мною. — С. М.

литературе. Пусть остается достоянием фельетонов, пасквиля баб, ищущих бога и России для развлечения и студентов с задатками черной немощи. Это его «настоящая публика»²⁴.

Таким образом три выдающихся «западника» среди строителей русской культуры — Салтыков, Тургенев и Анненков — не приняли националистически-православной «мистики» «пушкинской речи» Достоевского и осудили его призывы к «смирению» и покорности.

Недовольство Салтыкова «пушкинской речью» Достоевского было усилено тем, что она, как он и предвидел, была сразу же поднята на щит почти всеми консервативно-реакционными силами, во главе с «Московскими ведомостями» Каткова, напечатавшими речь. К этому следует добавить то раздражение и тот сарказм, с которыми он, несомненно, воспринял газетные информации, а также дошедшие до него слухи и толки о том действительно удивительном «столпотворении», которое возникло в зале Благородного собрания во время и после выступления Достоевского. О том, что там происходило, сам Достоевский писал в тот же вечер жене, Анне Григорьевне: о криках восторга, слезах, целовании его рук, объятиях, возложении на него огромного лаврового венка, громогласном объявлении его «пророком» и «гением», а речи его — «историческим событием», вплоть до истерики и обморока одного из слушателей²⁵. Все это было глубоко чуждо трезвости, суровости и скромности Салтыкова. В своих взглядах и поступках он был верен завету библейской мудрости: «Не сотвори себе кумира».

Возвращаясь к вопросу о непосредственной работе редакторского пера Салтыкова, еще раз скажем, что сколько-нибудь глубокое редакторское вторжение допускалось Салтыковым лишь по отношению к произведениям молодых, еще недостаточно опытных литераторов, а также своих «постоянных сотрудников», например Скабичевского. Из авторов со сложившимися писательскими именами Салтыков правил только Гл. Успенского, часто не успевавшего к сроку и сдававшего иногда рукописи в недостаточном доработанном виде. Но во всех случаях Салтыков ставил автор в известность о вносимых или предполагаемых им изменениях. Уважение к автору и его труду — одна из главнейших черт Салтыкова-редактора.

По поводу правки Салтыковым повести второстепенной писательницы А. А. Виницкой-Будзианик «Перед рассветом» (Отечественные записки, 1881, № 5) Тургенев говорил С. Н. Кривенко: «А у Виницкой всегда, должно быть, Салтыков не мало вымарывал и исправлял <...>. Я почти безошибочно могу сказать, где он постарался. Это уж такой человек, которого всегда и везде узнаешь»²⁶. Тем не менее установить с полной уверенностью, какие места в правленных Салты-

ковым текстах принадлежат ему, без соответствующих документальных данных невозможно. А правленные Салтыковым рукописи или корректуры почти не сохранились. Исключение, и то весьма относительное, составляют лишь материалы, относящиеся к Гл. Успенскому. И лишь они демонстрируют *de visu* салтыковскую правку²⁷. Другие источники сведений, относящиеся к прямой редакторской работе Салтыкова, — это его письма к нему, некоторые цензурные материалы, а также воспоминания соредакторов и авторов. Сведения эти весьма фрагментарны и общи. Но все же они позволили установить список, хотя, конечно, неполный, произведений, помещенных в «Отечественных записках» в 1878—1884 годах после того, как к ним в большей или меньшей мере прикоснулось редакторское перо Салтыкова²⁸.

**11. КОНЕЦ 1870-х — НАЧАЛО 1880-х ГОДОВ. —
«КРУГЛЫЙ ГОД». — «УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО». —
«ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». — «ЗА РУБЕЖОМ»**

...он не только нисколько не стареет, но становится все лучше и сильнее, все ярче и определеннее (...). Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он.

Тургенев о Салтыкове

Слова Тургенева, приведенные в эпиграфе, были сказаны им в беседе с Кривенко в мае 1881 года¹. Слова не случайные. В них уловлены два объективных обстоятельства, относящихся как к общему состоянию отечественной литературы того момента, так и к положению в ней Салтыкова. Первое обстоятельство заключается в том, что в то время, о котором идет речь, умолкли такие писатели, могуче двигавшие русскую литературу, как умерший недавно Достоевский, и прекратившие, по разным причинам, свои выступления в печати Тургенев, Толстой и еще раньше Гончаров. Из других выдающихся имен оставались в действующем строю (не считая Лескова, небоснованно отнесенного тогда общественным мнением на обочину литературы) Островский, Гл. Успенский и Салтыков. Последний выдвинулся в рассматриваемые годы особенно крупно и сильно. Вопреки своим прогрессирующим болезням и огромной редакторской занятости, из-под пера его выходили, одно за другим, произведения, почти каждое из которых принадлежало к вершинам творчества писателя: «Убежище Монрепо», гениальное завершение «Господ Головлевых», «За рубежом», «Письма к тетеньке», а также «Современная идиллия», «Сказки», перешедшие в основном в следующий период, и другие произведения. Почти все они, а также упомянутые выше рассказы конца 1870-х — начала 1880-х годов — «Дворянская хандра», «Дворянские мелодии», «Больное место»,

«Старческое горе», «Чужой толк» стали классикой Салтыкова. Они-то, главнейше, и представляли большую русскую литературу того времени, «держали» ее, по выражению Тургенева. Всего за шесть с половиной лет ответственного редакторства «Отечественных записок», то есть с начала 1878 года по апрель 1884-го, Салтыков выступил на страницах своего журнала (ни в одном из других изданий он в то время не печатался) 60 раз. Общий объем всего впервые опубликованного им в это время составил около 90-та печатных листов. За этот же период он выпустил отдельными изданиями и переизданиями (в ряде случаев со значительной доработкой текста) 27 книг, общим объемом в 510 печатных листов и общим же тиражом в 60 000 экземпляров.

Такая удивительная писательская и издательская активность Салтыкова знаменовала новый мощный подъем и размах его творчества, все шире и глубже захватывавшего коренные вопросы текущей русской жизни. Соответственно быстро росла популярность писателя, увеличивалось количество отзывов о нем в печати, углублялось его значение в духовной жизни общества. Хотя пик идейного могущества автора «Мелочей жизни» и «Пошехонских рассказов» был еще впереди, но и сейчас в последнем, весьма драматическом шестилетии «Отечественных записок» известность Салтыкова у читателей и внимание к нему критики были велики. Они были несравнимы с предыдущим временем (за исключением сенсационного успеха его, по существу дебютных, «Губернских очерков»). «Ваше имя теперь настолько авторитетно в России, — писал Елисеев Салтыкову в 1882 году, — что Вы не только имеете право, но и *должны* говорить как *власть имеющий*»². О «грозном авторитете» Салтыкова писали и в либеральной и в консервативно-реакционной печати. «С появлением каждой новой вещи Щедрина, — вспоминал один из видных представителей официальной России М. П. Соловьев, — валился целый угол старой жизни <...>. Явление, за которое он брался, не могло выжить после его удара. Оно становилось смешно и позорно. Никто не мог отнестись к нему с уважением. И ему оставалось только умереть»³. Особенно значение писательское слово Салтыкова имело в демократических и либеральных кругах, и прежде всего среди оппозиционно настроенной молодежи. Факты эти удостоверены множеством эпистолярных и мемуарных свидетельств современников. Вот одно из них, принадлежащее некоему П. С., в ту пору студенту Петербургского университета.

«Появление каждой книжки «Отечественных записок», — вспоминает автор, — было *общественным событием*. Молодежь при встрече спрашивала:

- Есть что-нибудь Щедрина?
- Есть.

И новая книжка «Отечественных записок» спланивала во-

круг себя читателей... Статьи Щедрина читались вслух, расшифровывались, комментировались, всасывались в сознание и поднимали тонус общественного самочувствия»⁴.

Произведения Салтыкова подымали тонус общественного самочувствия несмотря на то, что наряду с сохранявшейся и в поздних произведениях писателя его бесподобной *vis comica* в них все более сгущались элементы скептицизма, трагического, мрачного. Но, критикуя и отрицая темные стороны социальной действительности, Салтыков всегда давал почувствовать читателю то владевшее им горение идеалом, которое сохраняло для него самого и для его читателей веру в будущее. Библейские слова ободрения из «Плача Иеремии» — «*Sursum corda*» — «Горé имеем сердца!», часто повторяемые им, были своего рода девизом духовной жизни писателя.

«Историк современности», как он сам себя называл, Салтыков художественно-публицистически и сатирически отозвался, как всегда, и в произведениях рассматриваемого периода на все главные явления и события этого, как он его определял, «смутного, загадочного времени» (XIII, 731) — времени острого кризиса самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов, когда в стране складывалась и сложилась вторая революционная ситуация, не менее грозная для режима, чем первая в конце 1850-х — начале 1860-х годов.

Как это присуще Салтыкову, события животрепещущей современности интересовали его — не столько сами по себе, но преимущественно с точки зрения выяснения их роли и значения для тех изменений, которые они вносили или могли внести в общественную жизнь страны, в мнения и поведение людей разных социальных слоев и групп. При этом — и это очень важно — отдельные наблюдения, анализы и выводы писателя всегда давались им в широком историческом осмыслении, иногда в масштабах всего национального развития и взгляда на возможное будущее страны и народа.

Сказанное относится ко всем произведениям рассматриваемого периода, в том числе и к начинающему их «Убежищу Монрепо» (1878—1879). Знание исторических обстоятельств и фактов биографии писателя времени создания этого произведения выявляют немало *realia*, помогающих понять его содержание. Из наиболее общих и важных к ним относится сам топонимический образ усадьбы «Монрепо» и горе-хозяйствования в ней владельца, непосредственно восходящие к покупке Салтыковым в 1877 году имения «Лебяжье» близ Ораниенбаума и его легкой жизни там*. Сюда же относятся бесподобные по своему сатирическому блеску и сарказму картины деятельности вновь введенного института урядников — сельской полиции, персонифицированной в образе станового

* См. выше в гл. 5.

Грацианова. Но подробные раскрытия всех *realia* произведения — задача его комментирования, а не биографии. Здесь же, как и дальше, при рассмотрении произведений Салтыкова, достаточно в общих чертах определить их место и значение в идейно-творческом пути писателя, в связи с главными событиями его жизни и его исторического времени. Не более того.

«Убежище Монрепо» не стоит изолированно в творчестве Салтыкова. Своим содержанием, образами, настроениями оно связано с рядом других его произведений, рисующих картины упадка и разложения помещичье-усадебной жизни после отмены крепостного права. Созданные здесь образы купца-толстосума Разуваева и кабатчика Колупаева, вместе с более ранним образом Дерунова (из «Благонамеренных речей»), — это классическая в русской литературе художественная персонификация исторического процесса вытеснения из «дворянского гнезда» прежних хозяев — культурных людей — и замена их в деревенской жизни новыми, еще совсем необкультуренными представителями народившейся сельской и уездной мещанской буржуазии — «чумазыми». «Их цель, — определяет Салтыков, — дать «пошехонскому поту» такое применение, чтобы он лился в их пользу не менее изобильно, как при крепостном праве лился в пользу помещика». Их хищническая формула отношения к экономической эксплуатации своего же брата мужа — слова Разуваева, сразу же ставшие знаменитыми: «Иён дост-а-нит» (XIII, 373).

Как и народники, Салтыков отрицательно отнесся к появлению в России капитализма. Он усматривал в нем лишь новую форму эксплуатации народных масс, причем еще более хищную, низменную и универсальную, чем ушедшее в прошлое крепостное право. В «Убежище Монрепо» писатель такими словами характеризовал этот процесс: «По всей веселой Руси <...> раздается один клич: идет чумазый! Идет, и на вопрос: что есть истина? твердо и неукоснительно ответит: распивочно и навьнос!» (XIII, 381). Но, в отличие от народников-ортодоксов, Салтыков понимал объективную историческую закономерность этого процесса и не питал никаких надежд на возможность каким-то способом избежать его. «История, — писал он, — имеет свои повороты, которые невозможно изменить, а тем менее устранить <...>. Это закон, и именно закон последовательного развития одних явлений из других (т а м же, 389). Исходя из признания этого закона, Салтыков рассматривал описываемые им в «Убежище Монрепо» первые торжествующие шаги «чумазых» как начальный этап наступления целого «миродского периода», то есть буржуазно-капиталистического строя в русской жизни. И, формулируя эту мысль, писатель приходит к такому выводу: «Ему <капитализму> еще предстоит сказать решительное слово, и чем ближе к концу будет приходиться его речь, тем жестче и неумолимее выскажется это последнее слово» (XIII, 389). Удивительно трезвые

и вместе с тем пророческие слова. Салтыков писал их еще в то время, когда идея буржуазной демократии владела умами многих западноевропейских социалистов, полагавших, что полная победа буржуазии установит во всем мире демократию, которая или целиком уничтожит, или значительно смягчит бремя социального неравенства и эксплуатации. Писатель был свободен от этих иллюзий. Он предвидел, что буржуазия будет упорно бороться за свои права и привилегии. XX век подтвердил эти предвидения, хотя история внесла и продолжает вносить в развитие капитализма принципиально новые обстоятельства.

Но, не желая, чтобы такие прогнозы были поняты как слепой фатализм, перед которым не останется ничего другого, как смириться, Салтыков бросает в темноту грядущего луч света. Узкий луч надежды утопического социалиста, с его идеалистической верой в рационалистический ход истории. «Принцип утех, — пишет Салтыков, — великий принцип, которому суждено вечно пленять человеческие сердца, и ежели тут есть беда, то не в том, что люди желают наслаждаться утехами, а в том, что, по обстоятельствам, эти утехы нередко получают характер звериный и человеконенавистнический. Вот когда жизнь выработает нового сорта утехы, тогда *сам собою** изноет и мироедский период» (XIII, 389). Подчеркнутые слова, надо полагать, не могли не привлечь к себе полемического внимания такого читателя «Убежища Монрепо», как Карл Маркс. Но, как увидим, это не единственное место в этом произведении, вызвавшее его замечания.

Как известно, Маркс и Энгельс, проявляя значительный интерес к России, обратились к изучению русского языка, чтобы из национальных источников черпать сведения о стране и происходящих в ней событиях. В художественной литературе их внимание привлек прежде и больше всего Салтыков как писатель и публицист оппозиционного направления. Маркс прочитал в подлиннике «Господ ташкентцев» и затем «Убежище Монрепо». Чтение последнего произведения оказалось нелегким для Маркса, о чем свидетельствуют его многочисленные пометки на полях читанной книги**. Пометки в основном свидетельствуют о стремлении понять — при помощи немецкого и других языков — трудные русские слова и фразеологизмы («потрафил», «толоконники», «острец», «холуй», «где раки зимуют», «куда Макар телят не гонял» и др.). Имеется лишь одно замечание оценочного характера, относящееся к заключительной главе — «Предостережение». Вот это замечание: «La dernière partie de la «Предостережение» est très faible; générale-

* Подчеркнуто мною. — С. М.

** Экземпляр «Убежища Монрепо» (отдельное изд. 1880 г.) с пометками К. Маркса хранится в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (Москва).

ment l'auteur n'est pas fort hereux dans ses conclusions positives»*.

Все комментаторы приведенного замечания Маркса, начиная с первой его публикации в 1926 году⁵, понимали и продолжают понимать его как критику Марксом утопической веры Салтыкова в возможность морального перевоспитания эксплуататоров. Глава «Предостережение» имеет в подзаголовке слова: «Посвящается «кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам** и прочих мироедских дел мастерам». Обращенное к ним «проповедническое» слово Салтыкова вкладывает в уста отставного корнета Прогорелова, некогда «крепостных дел мастера», впоследствии «оголтелого землевладельца», а ныне «пропащего человека». Речь свою Прогорелов — человек уходящего мира заканчивает таким призывом или завещанием, обращенным к персонифицированному представителю вступающих на историческую арену русской жизни новых капиталистических порядков:

«Моя речь кончена. Вкратце она может быть резюмирована так:

Люби отечество, чтти государство, повинуйся начальникам.

Блюда свою собственность, но не отказывай и присному твоему в праве иметь таковую.

О Кунавине***, по возможности, позабудь.

А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество! Ибо любовь эта даст тебе силу и все остальное без труда совершить» (XIII, 404).

В речи Прогорелова и в ее резюме Маркс усмотрел «положительную программу» Салтыкова. И действительно, наряду с удивительным реализмом и трезвостью в оценках социальной действительности во взглядах писателя сосуществовали элементы идеалистической философии. Они особенно видны в просветительской идеализации роли и значения в общественной борьбе литературы и ее первоосновы — слова.

Вера в возможность словами правды победить зло была в той или иной мере присуща всем системам утопического социализма, в том числе Ш. Фурье и Сен-Симону, идейным учителям юности Салтыкова. Впоследствии суровый реализм и жизненный опыт писателя во многом перечеркнули в его мировоззрении эти иллюзии. Но до конца дней Салтыков сохранял, при всем своем скептицизме, веру в чудодейственную мо-

* «Последняя часть «Предостережения» весьма слаба; вообще автор не очень счастлив в своих положительных выводах» (*фр.*).

** То есть владельцам железнодорожных концессий и акций, наживавшим путем спекуляции огромные средства в разгоревшейся в стране в шестидесятые — семидесятые годы акционерной горячке вокруг развернувшегося тогда в России широкого строительства железных дорог. — С. М.

*** Кунавино — ярмарочное предместье Нижнего Новгорода. Излюбленное место всероссийского купеческого разгула. — С. М.

рально преобразующую силу «просияния убежденным словом».

Естественно, что иностранцу, хотя бы и Марксу, трудно было понять своеобразие поэтики Салтыкова, не считавшегося ни с какими общепринятыми канонами. Одной из примечательных особенностей этой поэтики, объясняемой как творческим методом писателя, так и его «эзоповой манерой» защиты от цензуры, были, используя музыкальные термины, приемы «контрастно-тематической полифонии» и «отдаленных модуляций». Противостоящие друг другу по содержанию суждения Салтыкова иногда даются, как в некоторых канонах и фугах Баха, либо в объединяющем единстве разных «голосов», своеобразно синтезирующих противоречивый тематический материал, либо передаются («модулируются») с той же целью, от положительного персонажа к отрицательному, и наоборот. В «Убежище Монрепо» главные из «отдаленных модуляций» связаны с образом самого «я» рассказчика. В начале и в ряде других мест текста — это сам Салтыков, со многими биографическими подробностями своей жизни, личности, характера и со своими заветными мыслями, например об «истинном патриотизме» («Я люблю Россию до боли сердечной...» и т. д.). В других местах рассказчик — выразитель социальной ностальгии дворян-помещиков по утраченной усадебной жизни; в-третьих — спорящий с «начальством», с станowym Грациановым — либерал с легким налетом оппозиционности. В зависимости от этих «модуляций» или смены «масок» рассказчика он предстает в «Убежище Монрепо» то как обличитель, то, напротив, как объект сатиры. Другими словами, его образ не монолитен; он множествен, как на иных полотнах Пикассо. Наконец, нужно указать еще на одну особенность творческого метода Салтыкова. Его просветительский пафос писателя-моралиста и обличителя принимал иногда форму «проповеди», напоминающей одну из формул благословения папы римского *Urbi et orbi**, то есть обращенного *ко всем* — в данном случае и к эксплуатируемым и к эксплуататорам. Показательным примером такого «слова» и является, в частности, заключающая «Убежище Монрепо» речь Прогорелова, и особенно ее «резюме». Оно обращено ко всем людям грядущего нового мира, в том числе и к новым «столпам» русской жизни. Но проникательный читатель-современник, хорошо осведомленный об общественной позиции автора «Убежища Монрепо», понимал, конечно, что «положительная программа» Салтыкова в этой речи относится не к приглашению чтить самодержавное государство и подчиняться его власти — с этим боролся писатель всем своим творчеством, — а в страстных призывах любить отечество, соблюдать социальную справедливость и сохранять веру в то, что

* Городу (Риму) и миру (*лат.*).

рано или поздно «сам собой» изноет «мироедский период» и уступит место лучшему будущему. Эта иллюзорная надежда социалиста-утописта на самостоятельный поступательный ход «рациональной истории» в направлении к социальной гармонии и послужила, вероятно, как уже сказано, главной причиной критического замечания Маркса.

Упомянутые сложности поэтики и эзоповских приемов «Убежища Монрепо» дали повод некоторым критикам правого лагеря усмотреть в произведении элементы апологии помещного дворянства и «тайные симпатии» Салтыкова к людям «своего помещичьего класса», — одним словом, элегическую ностальгию по «дворянским гнездам» и их культуре⁶. Салтыков не отрицал ни выдающихся ценностей, созданных дворянской культурой России, ни поэзии старинных помещичьих усадеб, тем более в сопоставлении их быта с темным, грубым и хищным миром «чумазах» — совсем еще не обкультуренных деятелей первоначального накопления в России. Но он знал, на каком фундаменте социальной несправедливости и страданий народных масс строилось материальное и культурно-образовательное благополучие дворянского сословия. В русской литературе Салтыков был и остался крупнейшим критиком этого сословия, из которого сам происходил, быт и психологию которого знал изнутри. Многие его произведения стали своего рода «*monumentum odiosum*» — «памятником позора» дворянско-помещичьему классу России, увиденному, по словам Гоголя, «с одного боку», со стороны того отрицательного, что было в нем для народных масс и что с особенной очевидностью обнаружилось в период исторического умирания этого класса. По художественной яркости красок и не частой у Салтыкова «компактности» и стройности композиции «Убежище Монрепо» занимает в ряду этих произведений выдающееся место.

Еще не закончив печатание «Убежища Монрепо», Салтыков приступил к публикации в январской книжке «Отечественных записок» за 1879 год нового крупного произведения — «Круглый год». Оно было задумано в форме ежесыщных «бесед» (очерков) Салтыкова с читателями, посвященных текущей общественно-политической жизни, с преимущественной разработкой темы о государстве и государственности. Об этом Салтыков писал критику Е. И. Утину 2 января 1881 года: «Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются».

На принцип семейственности написаны мною «Головлевы». На принцип государственности — «Круглый год» (XIX-1, 194).

Таким образом, «Круглый год» был задуман как произведение *en thèse*, то есть на определенную тему. Но, как и другие

аналогичные замыслы (принцип собственности в «Благонамеренных речах» и семейственности в «Господах Головлевых»), тема государства и государственности дана в «Круглом годе» в столь широких и разнообразных художественно-публицистических аспектах, которые выводят и это произведение за рамки сочинения на заданную тему. Что касается обещанных ежемесячных «публичных отчетов» или «бесед» с читателями по главным вопросам текущей современности, то и регулярность их, и само содержание были значительно нарушены политическими событиями и вызванным ими усилением цензуры. Из задуманных двенадцати ежемесячных очерков (нечто вроде аналога «Дневника писателя» Достоевского, но в пределах одного года) лишь три начальных — «Первое января», «Первое февраля» и «Первое марта» появились подряд, в соответствующих их названиям номерах «Отч(ественных) записок» за 1879 год. Только в отдельном издании «Круглого года» Салтыкову удалось кое-что восстановить из первоначального замысла⁷.

Подводя в очерке «Первое ноября» итоги своей еще незаконченной тогда работы над циклом, Салтыков писал: «Год приходит к концу, *страшный год**, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского <...>. Вместе с тем кончаются и мои периодические беседы с читателями. В первоначальном намерении беседы эти должны были отражать в себе злобу дня и в то же время служить поводом для воспроизведения некоторых типов, которые казались мне небезынтересными. Я должен, однако ж, сознаться, что ни того, ни другого я не выполнил» (XIII, 541).

Итак, 1879 год Щедрин назвал «страшным». Эпитет этот находит себе объяснение в том, что именно тогда новая волна революционного приюба вызвала переход народнических революционеров к тактике террора (это год основания «Народной воли»), на что правительство ответило суровыми контрмерами. В 1879 году 9 февраля в Харькове был убит губернатор кн. Кропоткин, 26 февраля в Москве — полицейский агент Рейнштейн, 13 марта в Петербурге было произведено покушение на шефа жандармов генерала Дрентельна, а через две с лишним недели, 2 апреля, революционер-народник Соловьев стрелял в Летнем саду в самого императора Александра II. Эта цепочка террористических актов, и особенно, конечно, покушение на царя, вызвала ответную волну правительственных репрессий и общее ужесточение политического режима — введение чрезвычайного положения, предоставление диктаторских полномочий генерал-губернаторам и др. Все это породило настроение тревоги и паники в обществе. Солидарный с революционерами в конечной цели их борьбы — за радикальное переустройство существовавшего в стране «порядка вещей», — Салтыков был, однако, противником революционного наси-

* Подчеркнуто мною. — С. М.

лия, особенно в форме террора. В марте 1879 года он писал А. Н. Энгельгардту: «Что теперь здесь творится по поводу этих бессмысленных убийств и покушений — того ни в сказках сказать, ни пером описать. Я калека и старик — а в городе более недели упорно держится слух, что я арестован» (XIX-1, 101—102). А в апреле того же года Гл. Успенский писал Г. А. де Воллану: «У Салтыкова произвели обыск, и он, пока у него была полиция, расхаживал по комнате и пел «Слався, слався, святая Русь!»*. Все это, может быть, относится к области мифов, но интересно, что такие слухи ходят»⁸.

Однако происхождение таких слухов было не совсем «мифическим». Оно восходило к просочившимся в публику донесениям не в меру ретивых агентов-осведомителей III Отделения, выдававших желаемое ими за действительность. В этих донесениях сообщалось, что: 1) Салтыков входит, вместе с Плехановым, в «революционный центр» тайного общества «Земля и воля»; 2) сотрудничает в конспиративном печатном органе этого центра «Листок «Земли и воли»; 3) что его часто посещает член Исполнительного комитета «Народной воли» А. В. Якимов и 4) что он вообще пользуется большим авторитетом в революционной среде⁹.

Не все в этих донесениях агентов III Отделения было выдумкой. Не соответствовало истине, что Салтыков входил в тайные революционные общества и участвовал в их подпольных изданиях. Но верно, что он пользовался «большим авторитетом» в среде революционной молодежи и что его два или три раза посетила А. В. Якимов, хотя об ее участии в грозном Исполнительном комитете «Народной воли» Салтыков, несомненно, не знал. Собирая в 1932 году материалы для анкеты о Салтыкове от многих еще здравствовавших тогда участников революционного движения 1870—1880 годов, я получил, в частности, следующий письменный ответ от упомянутой агентом А. В. Якимовой: «Молодежь революционная ценила и любила Щедрина как несравненного социально-политического сатирика <...> Молодежь не искала у Щедрина выяснения теоретических вопросов, ее волновали. Она приветствовала в нем сильного литературного бойца, боровшегося за общие с ней идеалы тем оружием, которое дал ему его мощный сатирический талант»¹⁰. Что касается сведений о посещении А. В. Якимовой Салтыкова, то она подтвердила автору настоящего труда, что действительно два или три раза приходила к Салтыкову с просьбой о «подарочной» посылке его книг и льготной годовой подписки на «Отечественные записки» для ссыльнопоселенцев и что частично ее просьбы были удовлетворены. Тревожные толки возникали

* Вариант этого широко распространившегося тогда слуха: Салтыков пел во время обыска «Боже, царя храни...». — С. М.

тогда и относительно судьбы «Отечественных записок». «Вчера разнесся слух, — писал Салтыков Стасюлевичу 2 декабря 1879 года, — что «Отеч(ественные) зап(иски)» совсем закрыты. В какой степени это верно — не знаю; завтра мне обещали разузнать, но вчерашний проведенный мною день был не из приятных» (XIX-1, 119).

«Не из приятных» была и вся общественно-политическая обстановка, когда создавался очерковый цикл «Круглый год». Вот одно из множества мемуарных свидетельств об этом периоде некоего А. А. Плансона, помещика и чиновника. «Только во время уже разгоревшегося вооруженного восстания, — вспоминал он, — бывает такая паника, какая овладела всеми в России в конце семидесятых годов и в восьмидесятые. По всей России все замолкли: в клубах, гостиницах, на улицах, на базарах... И как в провинции, так и в Петербурге все ждали чего-то неизвестного, но ужасного. Никто не был уверен в завтрашнем дне»¹¹. А вот что писал, собственно, о «страшном» 1879 года сам Салтыков в одном из писем того года находившемуся за границей П. В. Анненкову: «Что у нас делается, так Вы даже во сне этого представить себе не можете, а что говорится, предвидится, придумывается, рассказывается, переходит из уст в уста, так просто умереть хочется — так это нехорошо <...>. Я — литератор до мозга костей, литератор преданный и беззаветный, — и представьте себе, я дожил до «Московских ведомостей» и «Нового времени» <...>. Думается: как эту, ту же самую азбуку употреблять, какую употребляют и «Московские ведомости», как теми же словами говорить? Ведь все это, и азбука и словарь, — все поганое, провонялое, в нужнике рожденное! И вот, все-таки теми же буквами пишешь, какими пишешь и Цитович, теми же словами выражаешься, какими выражаются Суворин, Маркевич, Катков!» (XIX-1, 120).

Мысли и переживания Салтыкова, вылившиеся в этой гневной инвективе против литературы на службе у реакции и беспринципной буржуазно-коммерческой печати, послужили, можно полагать, своего рода толчком для такого развития цикла, которое в значительной мере изменило его первоначальный план «бесед» о политической «злободневности» и о «принципе государственности». В стремлении поднять и защитить знамя литературы и звание литератора, униженное и запачканное реакцией и обывательской «улицей», Салтыков посвятил этой теме значительную часть очерков своего нового цикла.

Писатель придавал литературе первенствующее значение в духовной жизни общества и даже в историческом развитии — всемирном и национальном. «Я страстно и исключительно предан литературе, — читаем в «Круглом годе», — нет для меня образа достолюбезнее, достохвальнее, дороже образа, представляемого литературой; я признаю литературу всецело, со всеми уклонениями и осложнениями, даже с москов-

скими кликушами*. Порою эти осложнения бывают мучительны, но ведь они пройдут, исчезнут, растают, и, наверное, одни только усилия честной мысли останутся незыблемы — таково мое глубокое убеждение. Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, в ее животворящую мощь — мне было бы больно жить. Я так сжился с представлением, что литература есть то *единственное, заповедное убежище***, где мысль человеческая имеет всю возможность остаться честной и незапятнанной, что всякое вторжение в эту сферу, всякая тень подозрения, накидываемая на нее, кажутся мне жестокими и ничем не оправдываемыми. Лично я обязан литературе лучшими минутами моей жизни, всеми сладкими волнениями ее, всеми утешениями; но я уверен, что не я один, лично обязанный, а и всякий, кто сознает себя человеком, не может не понимать, что вне литературы нет ни блага, ни наслаждения, ни даже самой жизни» (XIII, 461). Такая широкоохватная и приоритетная оценка значения литературы и почти религиозная вера в нее объясняется, с одной стороны, преувеличениями просветительского идеализма Салтыкова, а с другой — отсутствием открытой и сколько-нибудь развитой политической жизни в стране. Для свободной мысли многих образованных русских людей литература действительно была «единственным заповедным убежищем». Но, независимо от очевидного гиперболизма таких суждений о литературе, они имеют всю цену и значение важных автобиографических источников для понимания духовной жизни писателя и отношения к главному предмету его интересов и деятельности — литературе.

«Круглый год», как никакое другое произведение Салтыкова, богато такими источниками-признаниями. Они биографически драгоценны, притом в двух отношениях: во-первых, как автокомментарий к ряду определяющих особенностей творческого метода писателя и, во-вторых, как его полемические отклики на некоторые из главнейших замечаний и нападок на него современной ему критики и публицистики. Выше уже упоминалось, что подъем творческой активности Салтыкова в семидесятые — восьмидесятые годы вызвал и значительный рост внимания к нему в обществе и в печати. Отчасти данное обстоятельство объясняется «журналистской» формой публикаций салтыковских произведений, появлявшихся почти каждый месяц, и тем, что каждая публикация находила тот или иной отклик в прессе***. Многие из отзывов не выходили

* Имеются в виду «Московские ведомости» М. Каткова и газеты позднеславянофильского направления И. Аксакова, с которыми полемизировал Салтыков. — С. М.

** Подчеркнуто мной. — С. М.

*** Здесь уместно заметить об одном крупном недостатке в щедриноведении. Огромная критическая литература о Салтыкове давно уже учтена в известных трудах Л. М. Добровольского и В. Н. Баскакова¹². Но учтена только библиографически. Аналитическое, обобщенное осмысление этого огромного материала до сих пор отсутствует.

за рамки информационных пересказов и кратких аннотаций. Но были и серьезные аналитические статьи, иные из которых составили впоследствии книги, образовавшие главный фонд современной Салтыкову критики о нем (книги К. К. Арсеньева, А. И. Введенского, О. Ф. Миллера, Е. И. Утина и др.). Наряду с высоким признанием Салтыкова как одного из наиболее выдающихся писателей в отечественной литературе своего времени, существовала и критика, отрицавшая это его место и значение. Были и отзывы, исполненные злобы, ненависти и грубой брани. Таковы, например, многие выступления В. П. Буренина. С неумолимым упорством «преследовал» он каждое выступление писателя, значение которого сам же сближал иногда со значением Гоголя. В средствах борьбы этот главарь нововременской клики не стеснялся. Чего стоит одно из его определений Салтыкова как «веселящегося» хама из «Отечественных записок».

При всей своей импульсивности Салтыков довольно спокойно, а иногда и с полным презрением относился к брани и злобе, исходившим от враждебного ему общественного лагеря (см., например, XIX-2, 229).

Иначе реагировал писатель на те замечания критики, в которых содержалось непонимание самих основ его творчества. Особенно это непонимание задевало его, когда оно исходило от «своих» — от деятелей демократического лагеря, хотя и другого направления, чем то, к которому принадлежал редактор «Отечественных записок». Первые удары со стороны этого лагеря были нанесены Салтыкову еще во время знаменитой журнальной полемики 1863—1864 годов, возникшей между «Современником» и «Русским словом», возглавлявшимся Г. Е. Благоветловым¹³. Вершинами ожесточения против Салтыкова в этой полемике стали статьи В. А. Зайцева «Глуповцы, попавшие в «Современник» и Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора». Весьма активную, хотя и полускрытую роль в этой полемике играл сам редактор «Русского слова» Благоветлов, один из наиболее крайних представителей и проводников антиэстетического утилитаризма в идеологии демократического шестидесятилетия и по каким-то причинам личный недоброжелатель Салтыкова. Известно, что упомянутая статья Зайцева возникла не без инспирации Благоветлова.

В 1870-е годы, когда Салтыков был уже автором таких произведений, как «История одного города», «Господа Головлевы», «Благонамеренные речи», ситуация повторилась на расширенной основе. Яростный полемический огонь по Салтыкову был опять открыт с литературно-критических батарей журнала того же Благоветлова — его нового издания «Дело». В № 10 за 1876 год появилась статья под названием «Горький смех — не легкий смех». Подпись под статьей «Н. Языков» была раскрыта С. А. Венгеровым как псевдоним

находившегося тогда в вологодской ссылке известного участника революционного движения и публициста Н. В. Шелгунова.

Через два года в том же «Деле» (1878, № 1) была опубликована еще одна статья, посвященная Салтыкову, — «Безобидная сатира», подписанная именем П. Никитин*. Это был псевдоним находившегося в эмиграции П. Н. Ткачева, идеолога чуждого Салтыкову бланкистского направления в русском революционном движении. Обе статьи формально являлись рецензиями на новые произведения Салтыкова: у Языкова — на «Благонамеренные речи», у Никитина — на цикл «В среде умеренности и аккуратности». Однако по широте содержания обе статьи претендовали на обобщающую оценку всего творчества Салтыкова и такую же характеристику его таланта. Оценки эти, несмотря на ряд оговорок в первой статье, были резко отрицательными. Авторы статей, каждый на свой лад, по существу солидаризировались с той диффамацией Салтыкова, которая исходила от Писарева, хотя последний, нужно полагать, довольно скоро отказался от нее, поскольку принял в 1868 году предложение стать постоянным сотрудником в реформированных «Отечественных записках». Авторы названных статей не усматривали у Салтыкова глубоких идей, «стройного и последовательного мировоззрения», упрекали его в «совершенной неясности» его сатиры, в «смехе ради смеха», утверждали, что от его произведений «веет холодным барством и праздным рукоделием» и т. д. и т. п. Итоговым выводом было отрицание общественного значения творчества Салтыкова.

Такого рода суждения и оценки при всей очевидной несправедливости их были неудивительны для «бланкиста» и «якобинца» Ткачева, человека, по-видимому, лишенного способности понимать художественную литературу. Ведь он, по существу, отрицал всякую «эстетику», обвинял Тургенева в искажении народной жизни, называл Л. Толстого «салонным писателем», а в Салтыкове видел «плоть от плоти дворянской литературы»¹⁴. Но более чем удивительны такого рода или близкие к ним характеристики и оценки в статье Языкова-Шелгунова. Во-первых, учиненный в статье «тотальный разнос» писателя находится в определенном противоречии с финалом статьи, где читаем: «Несколько лет тому назад, когда Щедрин участвовал в общем хоре, где главными запевалами были другие люди, другие писатели, действовавшие на serioзную мысль**», Щедрин являлся очень полезным подспорьем, но теперь, когда эти деятели сошли со сцены, никем не замененные, второстепенные певцы выступили на первый план <...>. Но если бы тот же самый Щедрин, обладающий

* Публикация сопровождалась указанием: «Статья первая». Однако продолжения не последовало.

** Имеются в виду Чернышевский и Добролюбов. — С. М.

несомненным талантом, <...> в этот двадцатилетний период зрел бы не усилением своего саркастического таланта, а выработал бы для своей мысли научно-общественное содержание, то, конечно, его сатира явилась бы не одним хохотом над всем, а положительною силой с умственным, руководящим содержанием. И мы говорим об этом с тем большим сожалением, что Щедрин единственный талантливый человек современной художественной литературы, которая, в силу своей общедоступности, могла бы иметь громадное воспитательное значение»¹⁵.

Перепрашивая известное выражение, можно сказать, что Языков-Шелгунов написал всю статью «за упокой» Салтыкова, а кончил все же «за здравие» его и вопреки писаревской концепции, положенной в основу содержания статьи. Почему? Объяснение может быть двойное. Прежде всего, в статье Языкова-Шелгунова особенно поражает отрицание общественного значения писателя и взгляд на него как на какого-то человеконенавистника, злобного мастера, «лепщика», берущегося «лепить фигурку», которую уже заранее ненавидит. «Он лепит, — читаем в статье, — и бьет ее по щекам, бьет и хохочет, хохочет, хохочет холодно, злорадно, точно сам радуется своей собственной злости». Эти суждения и оценки находятся в совершенно непонятном противоречии с той исключительно высокой оценкой значения Салтыкова для самосознания и самокритики русского общества, которую дал Шелгунов в «Очерках русской жизни», откликаясь на смерть писателя¹⁶. Это едва ли не самая высокая оценка общественного значения Салтыкова во всей дореволюционной литературе о нем, полностью отрицаемая в статье «Горький смех...»*. Возникает поэтому сильное сомнение в том, что автором столь одиозной статьи был действительно Шелгунов. Конечно, выступление 1889 года отделяют от статьи в «Деле» тринадцать лет. Но и в 1876 году Шелгунов был не юноша, находившийся в начале своего идейного развития, а один из наиболее выдающихся деятелей и публицистов революционной демократии России. Никаких идейно-политических кризисов и переломов его биографии этого периода не знает. Да и вялый, водянистый язык большей части статьи «Горький смех...» не похож на энергичскую манеру публицистики Шелгунова. Известно, что и Салтыков весьма сочувственно относился к Шелгунову. В свою очередь, и Шелгунов в первой половине сентября 1886 года, еще находясь в ссылке, по полученному разрешению на несколько дней приезжал в Петербург и посетил больного Салтыкова. Встреча их была весьма дружественной¹⁷. Вот почему появляется сомнение, не ошибся ли С. А. Венгеров, раскрывая псевдоним «Языков» (в «Деле» есть еще две статьи, подписанные этим псевдонимом).

* См. об этом ниже, с. 464.

А если ошибки нет, то возникает другой вопрос: не вмешалось ли, и очень сильно, в статью Языкова-Шелгунова, которого не было тогда в Петербурге, редакторское перо Благосветлова? Исследователь жизни и деятельности Благосветлова Г. Прохоров утверждает, что издатель и редактор «Русского слова», а затем «Дела» не только руководил журналами, «но и определенным образом влиял (Венгеров употребляет более решительное слово: «давил») на своих сотрудников». И дальше в этой связи называются имена Писарева, Зайцева и Ткачева. Имени Шелгунова нет¹⁸. В свою очередь известный публицист Н. С. Рusanов, считавший себя последователем К. Маркса и его пропагандистом в России, добившийся с превеликим трудом помещения своей сочувственной рецензии на «Убежище Монрепо» в журнале «Дело», писал о его редакторе: «...у Благосветлова была своя мания: он не допускал в свой журнал никакого произведения, даже беллетристики, где встречалось хоть слово одобрения направлению «Отечественных записок» или «Дома на Бассейной», как он презрительно называл орган Щедрина, Елисеева и Михайловского»¹⁹.

Во всяком случае на статье «Горький смех — не легкий смех» лежит тень какой-то неясности, даже загадки — библиографической и психологической. Однако и эта статья, и ткачевская не просто привлекли внимание Салтыкова, но и вызвали его на ответ, данный им в «Круглом годе». Как всегда почти у Салтыкова, ответ этот носил обобщающий принципиальный характер и был совершенно лишен «личностей». Имена авторов статей не назывались, хотя и были они под псевдонимами. Разъяснились некоторые основные вопросы салтыковского творчества, неверное или неполное понимание которых не только в выступлениях «Дела», но и в статьях других критиков порождало необоснованные выводы и обвинения.

Так, на упреки в «неясности» своих сочинений, авторских намерений и всего мировоззрения Салтыков отвечал разъяснительной ссылкой на одну из главных особенностей своих писаний — на их «эзопов язык» или «эзопову манеру»: «Моя манера писать есть манера рабья, — читаем в главе «Первое августа». — Она состоит в том, что писатель, берясь за перо, не столько озабочен предметом предстоящей работы, сколько обдумыванием способов проведения его в среду читателей. Еще древний Эзоп занимался таким обдумыванием, а за ним и множество других шло по его следам. Эта манера изложения, конечно, не весьма казиста (...). Иногда, впрочем, она и не безвыгодна, потому что, благодаря ее обязательности, писатель отыскивает такие пояснительные черты и краски, в которых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезаются в памяти читателя. А сверх того, благодаря той же манере, писатель

приобретает возможность показывать некоторые перспективы, куда запросто и с развязностью военного человека войти не всегда бывает удобно. Повторяю: это манера несомненно рабья, но при ответственном положении общества вполне естественная (...). А еще повторяю: она нимало не затемняет моих намерений, а, напротив, делает их только общедоступными» (XIII, 505—506).

В той же главе Салтыков разъясняет значение такого важного элемента своего сугубо обличительного творчества, как смех, столь неверно и поверхностно понимаемый многими критиками, в том числе и авторами статей в «Деле». «Несомненно, — пишет Салтыков, — что существует почва, на которой читатель охотно примиряется с обличениями. Эта почва: добродушие, смех и человеческое отношение к действующим лицам живописуемой комедии. Ведь на свете живут не одни прожженные шалопаи, которые в смехе готовы заподозрить продерзость, а в человечности — пособничество и укрывательство (...). Я никого не бью по щекам, хотя некоторые «критики» и уверяют, что я только этим и занимаюсь. Моя резкость имеет в виду не личность, а известную совокупность явлений, в которой и заключается источник всех зол, угнетающих человечество» (XIII, 504—505). И дальше еще о смехе: «Это оружие очень сильное, ибо ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех» (там же, 509).

Выписок такого рода из «Круглого года» можно привести очень много. В своей совокупности они образуют своего рода хрестоматию высказываний Салтыкова о литературе, ее общественном предназначении, о своем собственном творческом методе, идейно-художественных позициях, особенностях своей поэтики, об общем значении литературы для своей жизни. В этом последнем отношении «Круглый год» демонстрирует и подтверждает, применительно к его автору, ту исполненную трагического противоречия надпись, которую писатель Пименов в рассказе «Похороны» предлагает как возможную себе эпитафию: «Литература осветила ему жизнь, но она же напоила ядом его сердце» (XII, 428). Повторим: «Круглый год» представляет значительный интерес для проникновения в духовный мир и писательскую биографию Салтыкова.

Как уже сказано выше, исключительные обстоятельства в политической жизни страны 1879 года сильно ограничили заявленные в начале работы над «Круглым годом» ежесдневные беседы о текущих вопросах. Скорее это «дневник» тех мучительных дум и настроений, которые вызвали в обществе происходившие события. Краткие сигналы-указания на эти события то тут, то там вкраплены в текст. Например: «Апрель был ужасен. Это был месяц какой-то неизобразимой паники. Все вдруг замутилось, заметалось, не верило ни ушам, ни глазам. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя:

homo homini lupus <est>*. Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось нечто невероятное, неслыханное» (XIII, 452—453). Это в главе «Первое мая». А вот из главы «Первое декабря», как вывод для тех, кто избрал своим делом писательское слово: «...по нынешнему времени гораздо удобнее мычать, нежели, вместе с вещим Бояном, «шизым орлом ширять под облакы» (там же, 545).

Такого рода признания — а их немало в «Круглом годе» — дают представление, как трудно переносил Салтыков — человек и писатель, почти всецело живший интересами общественной современности, окружавшую его социально-политическую действительность. Правда, с точки зрения его философии истории, эта «действительность» была одним из преходящих «призраков», которые должны будут исчезнуть с появлением солнечного луча²⁰. «Но, увьи! — заявлял Салтыков, — я не знаю, когда этот солнечный луч появится» (там же, 424). Отсюда настроения скептицизма, все более овладевавшие Салтыковым в последнее десятилетие его жизни, и его растущий «страх за будущее». И все же надежда на «появление солнечного луча» сохранялась, и прав был известный публицист и литературный критик Е. И. Утин, заявивший тогда же в печати, что «Круглый год» «останется единственным живым протестом против злосчастного года» — «страшного» 1879 года, когда, несмотря на все, писалось и было закончено это произведение²¹.

Хотя Салтыкову не удалось исследовать в «Круглом годе», как он намеревался, общую картину самодержавно-политической государственности, но ряд ярких обличительных образов царской бюрократии он создал. Таковы сановник Иван Михайлыч, «провиденциальный мальчик», «futur ministre»** Феденька Неуродов, а также триумфатор увеселительных мест Саша Ненарочный, проектирующий «оседлать отечество» посредством издания газеты соответствующего направления. Общее всем им понимание государства сводилось к тому, что для них оно лишь сфера для делания карьеры и приобретения окладов и доходов, «пирог, к которому ловкие люди могут во всякое время подходить и закусывать» (XIII, 510). Кроме того, среди этих администраторов и политических деятелей писатель видит людей, уверенных в своем праве и возможностях «согнуть в бараний рог» любого в любой момент и по любому поводу. И Салтыков набрасывает эскизный групповой портрет «сгибателей» из рядов государственной и идеологической администрации всех рангов: «Взгляните на портреты наиболее прославленных «сгибателей» — что вы увидите на этих угрюмых и озобоченных лицах, кроме безрассветного мрака тоски! Пронеслись они бес-

* Человек человеку — волк (лат.). — С. М.

** Будущий министр (фр.).

плодным, иссушающим ветром по лицу земли; разоряли, преследовали по пятам, душили и, наконец, сами задохлись в судорогах снедавшей их угрюмости!» (XIII, 422). Так писал о царской администрации — и это в легальной печати — Салтыков. И так писал он один.

Но главное в рассуждениях Салтыкова на тему о «государственности» — в «Круглом годе» и в ряде других произведений — это критика установившегося в общественном сознании «смещения» понятия государства с понятиями другого рода и содержания. «Одни, — пишет Салтыков, — смешивают его с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — с начальством» (XI, 432). Это «смещение» в модифицированном виде существует и в наше время. И оно в не малой мере содействовало цветению советской бюрократии и формированию бюрократического понимания государства в народе и обществе. Салтыковская критика сложившихся неправильных пониманий и подходов, принесших и приносящих немало вреда нашей жизни, сохраняет свое живое, актуальное значение и поныне.

Закончив в конце 1879 года «Круглый год» (хотя по цензурным причинам последний очерк «Первое декабря» появился в печати позже), Салтыков сразу же, как почти всегда, принялся за новое произведение — «Игрушечного дела людишки». Но дальше первой главы, опубликованной в январском номере «Отечественных записок» за 1880 год, работа не пошла, хотя намерение продолжить ее долго не покидало писателя. Летом 1882 года он писал Тургеневу: «...будущий год посвящу «Игрушечного дела людишкам» и этим «коленцем» * закончу свою литературную проходимость» (XIX-2, 118). Замысел нового несостоявшегося цикла приоткрывается в конце его единственной главы. «Может быть, — читаем здесь, — в тех бесчисленных принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека, совсем не в редкость те потрясающие «кукольные комедии», в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека? ** <...> Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересует человеческое существование, «тайна куклы» есть самая существенная, самая захватывающая?» (XVI-1, 116).

Эти слова очень значительны. Они уясняют как салтыковское понимание социально-политической действительности, так и его художническое, образное восприятие этой действительности. Салтыков не раз заявлял: «Исследуемый мною мир есть воистину мир призраков», поясняя, что «эти призра-

* Салтыков иронически цитирует слово из письма к нему Тургенева от 26 мая/7 июня 1882 г.: «В Вашем «Письме к тетеньке» худо только одно, что оно последнее. Но Вы какое-нибудь другое коленце выкинете»²². — С. М.

** Это продолжение критики принципа «государства» и «государственности», которая дана в «Круглом годе». — С. М.

ки не только не бессильны, но самым решительным образом влияют на жизнь» (XIII, 424). В близком соответствии салтыковским «призракам» находятся и его гротескные образы «кукол», искусственных подобий человека, влияющих, однако, на его жизнь. Образы «кукол» не впервые встречаются у Салтыкова. Вспомним хотя бы градоначальника из «Истории одного города», у которого в голове находился «органчик», исполнявший лишь два начальственных возгласа этого правителя Глупова: «Не потерплю!» и «Раз-зорю!». Образы «кукол» у Салтыкова — один из приемов его обличений, в гротескной форме, мощных бюрократических механизмов самодержавия, создававших людей-автоматов, «попирающих своей пятой живого человека». А иногда это образ бездуховности благонамеренно-поисливых обывателей, утративших живые человеческие лица и превратившихся в «кистуканов», то есть в тех же «кукол». Хотя и не закончив работу над «Игрушечного дела людийками», Салтыков ценит свой замысел и ввел написанную главу в отдельное издание своих «сказок», несмотря на то что в жанровом отношении она выглядит там совершенно инородным телом (при этом из журнального текста были изъяты подзаголовки «Вступление» и концовка, обещающая продолжение произведения).

Обратимся теперь к самому известному произведению Салтыкова — «Господа Головлевы». Напомню кратко о том, как необычно создавался знаменитый роман*. Свое «исследование» основополагающих идеалов или институтов, выработанных человечеством (институтов собственности, семейственности и государственности), Салтыков первоначально хотел осуществить в рамках одного крупного сборника рассказов под общим названием «Благонамеренные речи». Заглавие было «эзоповским», иносказательным. Оно иронически переосмысляло, в прямо противоположном смысле, значение примененного фразеологизма. В политическом лексиконе дореволюционной России слово «благонамеренный» было синонимом сторонника существовавшего в стране «порядка вещей» и всех социальных основ и общественно-политических институтов, на которых этот «порядок» покоился. К этим институтам относилась и *семья* в том ее содержании и типе, которые сложились в феодально-буржуазном обществе. Социально-экономической основой семьи этого типа была *собственность*, идеологической — патриархальный, «домостроевский» *патернализм* и бытовое *православие*.

Работа над «Благонамеренными речами» была начата в 1872 году. Но, как мы помним, судьба рассказа «Семейный суд», написанного в 1875 году и предназначенного для этого сборника, изменила первоначальные планы писателя. «Семейный суд» был задуман как рассказ *à thèse*, призванный

* См. об этом выше, с. 29, 36–37, 59, 72.

продемонстрировать художественными образами определенную мысль или идейное задание автора. Он должен был показать на некоторых эпизодах из жизни одной помещицкой семьи суровую реальность современного «семейного начала», опирающегося на принцип собственности. Опора эта, по убеждению Салтыкова, не объединяет, а разъединяет людей, вносит в родственные связи дисгармонию, вражду, лицемерие и, в конечном результате, ведет к распаду «семейственного союза».

Вслед за «Семейным судом» Салтыков намеревался написать еще один рассказ, сюжетно и тематически не связанный с предыдущим, и на этом покончить с «Благонамеренными речами». Все, однако, получилось по-другому.

В «Семейном суде» Салтыков создал несколько образов в манере строгого реализма, без каких-либо сатирических заострений и карикатурных деталей: властную хозяйку головлевской усадьбы Арину Петровну, мнящую себя создателем и стражем «семейной твердыни», и ее сыновей — старшего, талантливую, но никчемного Степана, которого звали в семье Степкой-балбесом, среднего — Порфирия, прозванного «Иудушкой» и «кровопивушкой», и младшего — Павла, человека угрюмого и «лишенного поступков». Образы эти, хотя еще не развернутые и скорее эскизные, обладали, однако, такой силой и яркостью художественной выразительности, что сразу же привлекли к себе внимание читателей.

Салтыков, находившийся тогда за границей, получил после опубликования рассказа много восторженных отзывов. Особенное значение, нужно думать, имел для него эпистолярный отклик Тургенева*.

«Летописец минут», как он сам себя называл, Салтыков с большим внутренним сопротивлением отвлекался от работы на животрепещущие темы текущей общественной жизни в сторону того, что он называл «бытовым». Кроме того, ему было присуще определенное недоверие к художественной силе своего литературного дарования. Но шедшие отовсюду похвалы победили в данном случае скептицизм Салтыкова, хотя и не сразу. Лишь начиная с четвертого рассказа «головлевской хроники» — «Перед выморочностью» («Племяннушка»), Салтыков перестал нумеровать эти рассказы порядковыми номерами глав «Благонамеренных речей» и не включил их в отдельное издание этого цикла, вышедшего в свет осенью 1876 года. Последние же три главы «Господ Головлевых» — «Выморочный», «Недозволенные семейные радости» и «Расчет» — уже и создавались как главы романа, а не как очередные рассказы для «Благонамеренных речей». Первая из них была написана весной 1876 года в Париже, вторая — летом того же года в Витене, а заключительная — через четыре года, в Петербурге, в процессе подготовки первого отдельного издания «Господ

* См. о нем выше, с. 36.

Головлевых», вышедшего в свет между 1 и 15 июня 1880 года*.

«Господа Головлевы» — произведение глубочайшего проникновения в темные сферы сознания и социального поведения человека и вместе с тем выдающееся по своей изобразительной силе и познавательной ценности художественное полотно определенного историко-бытового пласта русской жизни. Произведение, как это часто у Салтыкова, полифонически совмещает в себе несколько линий или тем, а именно три, каждая из которых имеет свой материал, сюжет и свою образную систему.

Первая тема — социально-историческая — судьба русского помещичьего дворянства. Она показана в картинах жизни помещичьей семьи среднего достатка — Головлевых, в последние годы крепостного строя и в первое десятилетие его отмены (время действия в романе: конец 1850-х — начало 1870-х гг.).

Вторая тема — социологическая — художественный суд писателя над современной ему семьей, все более превращавшейся, в условиях всестороннего «распада связей» кризисной эпохи промышленной революции, из ячейки соединения и близости людей в форму разобщения, отчуждения и губительной междоусобицы своих членов.

Третья тема — социально-этическая — она же и генеральная — пустота или прозрачность жизни, подчиненной не истинным ценностям человеческого духа и дела, а их зловредным эманациям и теням: стяжательству, скупости, праздномыслию, пустословию, злобе, зависти.

Разработка названных и подчиненных им побочных тем и материалов ведется, как сказано, в полифоническом единстве общего развития романа**. Однако сила и полнота звучания голосов, ведущих темы, различны. От главы к главе crescendo звучит и наконец заполняет все пространство романа тема «умертвий», «выморочности» и «беспредельной светящейся пустоты». Олицетворение этой темы дано в жутком образе Иудушки. Все расширяющийся до огромности, он

* Посылая 15 мая 1876 г. из Парижа в Петербург рассказ «Выморочный», которым Салтыков намеревался закончить эпопею Иудушки, Салтыков извещал Некрасова: «Во время писания получилось некоторое развитие подробностей, которое помешало кончить совсем эту материю. Так что будет еще новый рассказ в августе, окончательный. Жаль, что я эти рассказы (об Иудушке) в «Благонам(еренные) речи» вклеил, нужно было бы печатать их под особой рубрикой: «Эпизоды из истории одного семейства». Я под этой рубрикой и думаю издать их в декабре особой книгой...» (XVIII-2, 287—288). Таким образом, замысел самостоятельного произведения, посвященного «головлевской хронике», возник в Париже весной 1876 г., но был реализован лишь через четыре года.

** Из побочных тем особенно примечательна история гибели племянниц Иудушки, Анниньки и Любиньки. Грязная тряпина провинциально-театрального быта эпохи (изображение этого быта было высоко оценено Островским) засосала этих юных девушек, актрис. «Святое искусство», — саркастически пишет Салтыков, — привело их «в помойную яму» (XIII, 155).

серым призраком парит над всеми другими призраками Головлевого дома и мира.

Изображение быта и судеб русского помещного дворянства отнюдь не впервые встречается у Салтыкова. Начиная с первого своего крупного произведения, «Губернских очерков», и кончая предсмертной «Пошехонской стариной», писатель не уставая вел на страницах своих сочинений художественную и публицистическую «хронику» исторического распада «первого сословия» старой России. В этой глубоко критической хронике правящий класс Российской империи нигде ни разу не показан в цветении дворянской культуры, как, например, у Толстого в «Войне и мире». Это везде лишь грубая, принуждающая сила или же сила выдохнувшаяся, распавшаяся, бесполезная. В ряду этих картин эпизоды из жизни семейства Головлевых отличаются необычайной даже для Салтыкова мрачностью красок. Других таких суровых, безрадостных и вместе с тем жестоко правдивых изображений помещичьей жизни нет в русской литературе, за единственным исключением салтыковской же «Пошехонской старины». Эти два произведения заполнили пробел о русском помещном дворянстве в нашей литературе, который оставили Пушкин, Тургенев и Толстой и который не был (не мог быть) устранен впоследствии и Буниным, несмотря на его беспощадный и щемящий «Суходол», написанный почти что салтыковским пером.

Средоточием, центром сельско-дворянского быта была помещичья усадьба. Образ ее — образ усадьбы Головлево — входит в роман одним из его главных «действующих лиц», как ранее входил в «Губернские очерки» провинциально-поэтический Крутогорск, в «Историю одного города» — фантазмагорический Глупов, в «Дневник провинциала в Петербурге» — реальная столица Российской империи периода разгула и хищничества российского грюндерства, периода промышленной революции. Обращение к топонимическим образам — одна из характерных особенностей поэтики Салтыкова. Обобщающая сила, вложенная в них писателем, велика.

Усадьба Головлево в изображении автора не тургеневское «дворянское гнездо», исполненное светлой поэзии и культуры, не аксаковский патриархально-поместный приют тепла, уюта, гостеприимства, не Лысые горы или Отрадное Толстого, Головлево — «постылое». Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. «Везде было пустынно, неприютно, пахло отчуждением, выморочностью». Дни здесь тянулись с цинической наготой «пустоты» один за другим, бесполезно утопая «в серой, сияющей бездне времен». Головлево — это образ последнего безысходного отчаяния.

Не следует думать, что Салтыков отрицал художественную правду и поэзию светлых усадебных картин Аксакова,

Тургенева и Толстого (известен восхищенный отзыв Салтыкова о «Дворянском гнезде»). Но, в его понимании, а оно находилось в согласии с объективной истиной, эти и другие писатели изображали по преимуществу весьма тонкий верхний слой образованного поместного дворянства, относительно редкие оазисы культуры. Предметом же изображения Салтыкова в «Господах Головлевых» (как и позднее в «Пошехонской старине»), была жизнь «той мелкой дворянской сошки, которая без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения сначала ютилась под защитой крепостного права, рассеянная по лицу земли русской, а ныне уже без всякой защиты доживает свой век в разрушающихся усадьбах». Жизнь этого основного слоя помещичьего класса была несопоставима с элитной и потому несопоставимо же типичнее и показательнее для той массы русского поместного дворянства, хроника постепенного распада которого классически воссоздана в сочинениях Салтыкова, в том числе и, особенно, в «Господах Головлевых».

Сгущение мрачных тонов в «головлевской хронике» имеет, однако, и другие причины. Они коренятся отчасти в том историко-социологическом, отчасти же и в автобиографическом материале, который был привлечен автором для разработки одной из главных тем произведения — разрушения семейного начала, семейных связей. Тема эта сильно интересовала большую литературу эпохи. Для России это была эпоха разложения крепостного строя и созданных на его основе идеологий и общественных институтов, эпоха интенсивной промышленной революции, ломавшей все вековые устои, в том числе в сфере патриархального быта и семьи. Для старых стран Запада это была эпоха установившегося господства буржуазии и одновременно начала ее культурно-исторического упадка, эпоха застоя и начинавшейся деградации ее институтов, в том числе и «семейного начала». В разных идейно-художественных аспектах разработке темы семьи и ее распада было уделено много внимания в таких современных «Господам Головлевым» произведениях, как грандиозная серия Эмиля Золя «Ругон-Маккары. Естественная и социальная история одной семьи»*, и в таких великих творениях русской литературы, как «Анна Каренина» Толстого и «Братья Карамазовы» Достоевского.

Наряду с широким общественным интересом к вопросу о семье, у Салтыкова существовали и личные мотивы этого интереса. Они внесли дополнительные темные тоны суровости в анализ «принципа семейственности», в горькие раздумья автора на эту тему.

* Как упомянуто выше, одно из первоначальных заглавий романа Салтыкова было «Эпизоды из истории одного семейства». В мае 1876 г., когда писались «Господа Головлевы», Салтыков встречался в Париже с Золя, находившимся в разгаре работы над своей эпопеей.

Биографический комментарий к «Господам Головлевым», осуществленный при помощи семейного архива Салтыковых, переписки писателя и других объективных источников, устанавливает, что в удручающей безрадостности романа отразилось немало впечатлений писателя от кровно близкой ему семьи «господ Салтыковых», столбовых русских дворян (по отцу). Однако отразились не фабульно и не сюжетно, а типологически. Н. А. Белоголовый записал в своих воспоминаниях со слов писателя: «Семья была дикая и нравная, отношения между членами ее отличались какой-то зверской жестокостью, чуждой всяких теплых родственных сторон; об этих отношениях можно отчасти судить по повести «Семейство Головлевых», где Салтыков воспроизвел некоторые типы своих родственников и их взаимную вражду и ссоры, — но только отчасти, потому что, по словам автора, он почерпнул из действительности только типы, в развитии же фабулы рассказа и судьбы действующих лиц допустил много вымысла»²³.

Главный образ, при помощи которого писатель творит свой суд над «принципом семейственности», а вместе с тем и над «принципом собственности», — образ хозяйки головлевской усадьбы Арины Петровны. Взятый, по слову Тургенева, «живьем» из действительности, срисованный во многом с реальной Ольги Михайловны Салтыковой, матери писателя, этот образ вместе с тем широко и мощно обобщает характерные черты и судьбы всей социально-психологической группы, которой он принадлежит. Писатель показывает, как в условиях бездуховной, «призрачной», в его определении, среды умиравшего крепостного быта, в атмосфере служения идолам стяжания и накопительства разрушается и гибнет все ценное в человеке. Он показывает, как природно богатые задатки изображенного им женского типа — Арины Петровны — получают уродливое развитие, становятся асоциальными, ведущими к разъединению и распаду.

Слово «семья» не сходило с языка Арины Петровны. Служение «семье», а по существу имущественному фетишу семьи, играло в сознании властной и грозной хозяйки Головлева роль *primo motore* — главного двигателя всей ее деловой активности. И оно же предопределило глубокий трагизм конечных итогов ее жизни — неизбежное крушение мнимой «семейной твердыни», распад всех родственных связей, духовную и физическую гибель близких ей по крови людей. Удивительно сильно нарисована фигура Арины Петровны, особенно в моменты ее трагического прозрения «пустоты» прожитой жизни. «Старуха, которая плачет при восхождении солнца, — писал Салтыкову Тургенев, — это, что называют французы, *une trouvaille**, да и вся ее фигура превосходна. Умение возбу-

* Находка (*фр.*) — С. М.

дить сочувствие к ней читателя, не смягчив ни одной ее черты, — это только большим талантам на руку»²⁴.

Но еще выше поднялся Салтыков-художник в разработке образа пустоты бездуховной жизни — образа существования человека в вакууме разобщения с другим человеком, с обществом. Воплощение этого образа дано в жуткой фигуре Иудушки, господствующей над всем мрачным романом, подобно тому как страшнейшая из химер в «Истории одного города», Угрюм-Бурчеев, господствует, в читательском восприятии и памяти, над всеми другими впечатлениями, полученными от чтения великой сатиры. Некоторые краски, психологические и другие черты для характеристики этой фигуры Салтыков, по собственному признанию, также заимствовал у кровно близкого ему человека — старшего брата Дмитрия Евграфовича Салтыкова. В одном из писем к Унковскому Салтыков называет Дмитрия Евграфовича «негодяем» и пишет: «Это я его в конце Иудушки изобразил» (XVIII-2, 352)*.

Салтыков показывает своего «выморочного» героя идущим по губительному пути утраты всех живых интересов и дел действительности. Иудушка все глубже погружается в пучину мнимых ценностей жизни, в сферу ее условных внешних «знаков», а не реальностей. Как всегда у Салтыкова, эти особенности психологии и поведения его «выморочного» героя мотивируются социально-исторически. Истоки хозяйственной и всякой другой неумелости, непрактичности и как результат никчемности и пустопорожности Иудушки коренятся в почве крепостного права. Оно мучило и губило много-страдальных людей неволи и развращало всевластием и праздностью их господ.

Постепенно Иудушка достигает пределов асоциальности, отчуждения от людей. Он предстает перед читателем «живым призраком, витающим над массой других серых призраков, шевелящихся во всех углах выморочного головлевского дома». Суровость реалистического письма в «портрете» Иудушки сочетается с почти что импрессионистической палитрой каких-то зыбких и мрачных полутонов и пятен, используемых для передачи гнетущей атмосферы, которую источает из себя этот вконец обезчеловеченный человек.

Образ Иудушки далеко выходит за пределы породившей его национальной почвы, социальной среды и эпохи. Лев Толстой утверждал: «Зло есть разобщение людей». Иудушка едва ли не сильнейший выразитель в литературе этого зла, несущего гибель людям и самому себе. Это мрачный образ, в котором показана кромешность человеческой природы такого же

* Письмо датировано Ниццей 1/13 ноября 1875 г., и таким образом слова о «конце Иудушки» относятся не к финалу романа, а к окончанию либо первой, либо второй его главы («Семейный суд» или «По-родственному»), то есть к Иудушке, еще не затронутому предсмертным катарсисом («очищением»).

мирового масштаба и значения, как образы Шейлока, Гобсека, Плюшкина, Смердякова.

Прочитав в журнальной публикации предпоследнюю главу романа «Недозволенные семейные радости», писатель И. А. Гончаров обратился к Салтыкову с двумя письмами, из которых нам известно лишь одно, второе. В нем, вместе с признанием художественного «величия» образа Иудушки, Гончаров высказал свое понимание природы этого «вымороченного героя» и ожидающего его «конца». По мнению Гончарова, «концом» для Иудушки не могло стать самоубийство. «Ведь нанести себе удар ножом, пустить пулю в лоб, — аргументировал Гончаров свой взгляд, — это значит все-таки сознать какой-нибудь ужас своего положения, безотрадность падения, значит почувствовать в себе утробу — нет, в такой натуре — ни силы на это не хватит, ни материалу этого вовсе нет»²⁵.

Салтыков, однако, изобразил конец своего «героя» по-другому, чем это представлялось Гончарову и, по-видимому, первоначально самому автору («у него должен быть свой *Седан*» *). Он изобразил его последний «расчет» с истинно шекспировской силой. Не только гениальный художник, но и великий социальный моралист-просветитель, чей образ в восприятии современников был исполнен этически-библейским пафосом («пророком» — напомним еще раз — звали его многие современники), Салтыков не побоялся показать пробуждение совести в своем, казалось бы, душевно мертвом «герое». Конец Иудушки — абсолютная вершина в искусстве трагического у Салтыкова.

Финальные сцены романа происходят в неподвижной и как бы несуществующей жизни головлевского дома, из каждого угла которого ползут шорохи и трепеты «умертвий». Сгущая постоянно этот мрак, Салтыков как бы растворяет в нем Иудушку. Но вдруг писатель бросает в эту тьму, как Рембрандт на своих полотнах, узкий луч света. Слабый луч, всего лишь от искры пробудившейся в Иудушке «одичалой совести», но пробудившейся поздно для возможности новой жизни.

И вот — чудо художника, чудо великого моралиста! Отвратительная и страшная фигура — воплощение пустоты и лжи жизни, живой призрак — превращается в трагический образ. Вконец обесчеловеченный человек возвращает себе человеческое, испытывает нравственные страдания. И это не оправдание Иудушки, которому Салтыков возвращает в финале — не может не вернуть! — его подлинное имя Порфирия Владимировича. Это завершение суда над ним моральным

* Это слова Салтыкова, приведенные в упомянутом письме к нему Гончарова. — С. М.

возмездием, но таким, которое содержит истинно великий *катарсис*, необходимое «очищение» античных трагедий.

«И вдруг, — читаем на последних страницах романа, — ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы...» (XIII, 257). Ужас, но и свет этой правды передан в последних словах Иудушки: «Что такое! что такое сделалось?! <...> где <...> все?» (там же, 261). В этих словах — трагические итоги жизни, проведенной в отчуждении, итоги существования, приведшего к утрате «всего» и «всех», приведшие к пустоте. В Иудушке возникает идея о саморазрушении, которая, прокрадываясь глубже и глубже в сознание, наконец сделалась для него «единственно светящеюся точкой во мгле будущего». И вместе с тем чутье, такт психолога и художника заставили Салтыкова ограничить меру ясности и определенности как самого этого решения, так и его исполнения. «Трудно сказать, — замечает Салтыков, — насколько он сам сознавал свое решение» (XIII, 262). Отправился ли Порфирий Владимирович мартовской ночью на кладбище «к покойной маменьке» с сознательной целью «пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии» (там же, 260) или же просто замерз по дороге — остается не до конца ясным.

Величие Салтыкова-моралиста, с его почти религиозной верой в силу нравственного потрясения от пробудившегося сознания, нигде не выразилось с большим художественным могуществом, чем в конце его романа, о котором писатель А. М. Ремизов сказал: «По силе изобразительности и словесной крепости «Головлевых» сравнимы только с Толстым, по яркости и глубине чувств — с Достоевским»²⁶.

«Господа Головлевых» — их отдельное издание — стало новой и самой высокой ступенью писательской известности Салтыкова. Не было, кажется, ни одной газеты и журнала, кроме крайне правых, в которых не появилось бы хвалебного слова о романе. Много высоких отзывов можно найти и в не предназначенных для печати эпистолярных откликах современников. Посылая А. Н. Пыпину для опубликования в «Вестнике Европы» свою рецензию на «Головлевых», М. М. Стасюлевич писал в сопроводительной заметке: «Ради Бога, прочтите сами на досуге эту книгу. Я готов был бы сказать (в рецензии), что Салтыков ничего лучшего не написал, но боюсь, он разозлится, так как он больше всего ценит в себе сатирика, а тут он является великим художником, создавшим новейшего Чичикова в Иудушке-кровопивушке. Ведь это наше время: все на языке гуманно, все «по-разуванному» (?!), а на деле — глубокое варварство. И как хорошо это выражение: кровопивушка! Настоящие изверги в старое время были кровопивцами, а это кровопивушка, мягкий, добрый человек, а пьет кровь не хуже кровопивца»²⁷. В свою очередь М. М. Стасюлевич получил в те же дни письмо от Е. И. Ути-на, в котором было: «Я прочитал здесь «Головлевых». Что

это за грандиозная вещь: Это поистине chef d'œuvre Салтыкова. Удивительно! Арина Петровна меня с ума сводит, так ее и вижу. Нет, это не фотография, это художественное создание и большое...»²⁸

Если Стасюлевич, сопоставив Иудушку с Чичиковым, поставил Салтыкова в ряд с Гоголем, то Гаршин в своем отзыве пошел еще дальше. В письме к матери он так передает свои впечатления от «головлевской хроники» или только от одной из последних ее глав: «Кажется, он <Салтыков> зарекомендовал себя как художник в «Иудушке», — и добавляет: «— За этого «Иудушку» я отдам трех Достоевских...»²⁹ Почти сразу же после выхода отдельного издания «Господа Головлевы» были переделаны неким «К», по отзыву писателя Боборыкина, «довольно опытным поставщиком Александринского театра», в пьесу³⁰. Сценарий был малоудачен. Но поставленный по нему спектакль с участием в заглавной роли Иудушки Андреева-Бурлака имел большой и длительный успех, как в столицах, так и особенно в провинции.

Сохранилось свидетельство Горького о пережитом им потрясении от образа Иудушки в сценическом воплощении Андреева-Бурлака на спектакле в Нижнем Новгороде в апреле 1883 года³¹.

Имя Салтыкова как автора «Господ Головлевых» довольно скоро получило известность и в зарубежной печати. Сначала это были отдельные упоминания о романе и о его успехе у читателей, а затем, хотя и не сразу, начали появляться переводы произведения на западноевропейские языки*. Здесь уместно указать на неудачу, постигшую, по-видимому, самое раннее намерение перевести «Господ Головлевых» то ли на французский, то ли на английский язык. Инициатива принадлежала патриарху русской революционной эмиграции П. Л. Лаврову. По его мнению, выраженному в одном из писем к Н. А. Белоголовому, «Щедрин не написал ничего более глубокого, сильного, художественно образного и беспощадного, чем «Семейная хроника «Господа Головлевы». Задуманному переводу — кто должен был переводить, неизвестно — Лавров хотел предпослать свое предисловие, но был остановлен в этом намерении Белоголовым. «Дорогой Петр Лаврович! — писал Белоголовый из Ментоны 26 марта 1884 года. — Не думаю, чтобы Салтыков дал свое согласие на Ваше предисловие к переводу Головлевых; сопоставление рядом Вашего и его имени *par le temps qui court***», вероятно, показалось бы ему

* Первым был перевод на французский язык: Ch tchédrine. Les Messieurs Golovleff. Roman traduit du russe par Marina Polonsky et G. Delesse. Paris, A. Sevine, 1889. Затем появился ряд других переводов. Один из последних — на английский язык: Saltykov-Shchedrin. M. E. The Golovlevs. Translated by I. P. Foote. Oxford — New York. Oxford Univesity Press, 1986. Автор перевода оказал мне большую честь, посвятив свой труд мне, за что выражаю ему здесь свою глубокую признательность.

** в настоящее время (фр.). — С. М.

слишком смелым и могущим вызвать резкие инсинуации со стороны Каткова, но это мое личное мнение, может ошибочное, а потому действуйте по Вашему усмотрению...»³² Лавров, по-видимому, не совсем правильно понял Белоголового, чем вызвал последнего на дополнительные разъяснения в письме от 2 апреля 1884 года. «Я не утверждаю, — читаем здесь, — что самый факт Вашего предисловия к «Головлевым» был бы Салтыкову неприятен, в глубине души он, может, был бы и доволен, но что он струсит, взволнуется и что сопоставление Вашего имени и его может навлечь ему по теперешним временам неприятности — все это более чем вероятно — и, по моему мнению, неблагоприятно вливать последнюю каплю в его переполненную всякими неприятностями чашу догорающей жизни...»³³

Раздававшиеся со всех сторон в связи с «Головлевыми» признания Салтыкова одним из великих художников не только не доставляли ему удовлетворения, но крайне раздражали его. По свидетельству М. М. Ковалевского, высказанное И. П. Арапетовым в присутствии Салтыкова замечание, что «в его глазах автор «Головлевых» и «Истории одного города» перерос голову самого Гоголя», крайне рассердило писателя. «Что вы, Гоголя? страшно и подумать, — отвечал ему решительно Салтыков и взглянул на него так грозно, что дальнейший разговор на эту тему сделался невозможным»³⁴.

Дождавшись выхода в свет подготовленных за лето отдельных изданий «Господ Головлевых» и «Круглого года»*, Салтыков выехал на три месяца для отдыха и лечения за границу. Но прежде, чем рассказать об этой второй заграничной поездке писателя и ее творческом результате — создании книги «За рубежом», напомним о том, что происходило тогда в общественно-политической жизни страны и что, как всегда, самым непосредственным образом отразилось в творчестве и биографии Салтыкова.

Продолжалось тревожное время нового кризиса самодержавия — время второй революционной ситуации конца 1870-х — начала 1880-х годов. Одной из кульминаций этого острого периода был взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года, осуществленный С. Н. Халтуриным по заданию «Народной воли» с целью убийства Александра II. Взрыв вызвал, с одной стороны, смятение и панику в правительственных сферах, а с другой — привел к осознанию необходимости некоторых политических уступок как средства защиты от нарастающего революционного натиска. Главным инициатором и проводником этой тактики стал бывший до того харьковским генерал-губернатором граф М. Т. Лорис-Меликов. Он был назначен начальником учрежденной 12 февраля Верхов-

* «Господа Головлевы» вышли в свет между 1 и 15 июня 1880 г., а «Круглый год» — между 16 и 23 июня.

ной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и стал в области внутренней политики фактическим диктатором («диктатура сердца» называли этот период современники, — одни всерьез, другие иронически). Лорис-Меликов поставил перед Александром II вопрос о проведении некоторых частичных реформ и пытался привлечь к выработке их авторитетных деятелей из либеральной и оппозиционной части общества. Среди них его выбор пал и на Салтыкова.

Личное знакомство писателя с Лорис-Меликовым состоялось 9 мая 1880 года по инициативе последнего. «На днях был я у гр. Лорис-Меликова, — писал Салтыков 15 мая Н. Д. Хвощинской, — (сам пожелал познакомиться), принял отлично благосклонно, расспрашивал о прежней моей ссылке в Вятку, и вдруг, среди благосклонности, вопрос: «А что, если бы Вас теперь сослали (я, конечно шучу, прибавил граф)»? На что я ответил, что в 1848 г. мое тело было доставлено в Вятку в целости, ну, а теперь, пожалуй, привезут только разрозненные члены оного. А впрочем, дескать, готов, только вот как бы члены в дороге не растерять. Тем не менее должен сказать: это человек хороший и умный. Знает солдата до тонкости, а стало быть, не чужд и знания народа» (XIX-1, 151). О содержании разговора при этом первом свидании ничего не известно, кроме слов из письма к Елисееву о «призывах к осторожности, которые я слышал от Абазы и от Лорис-Меликова (видел его вчера)...» (XIX-1, с. 148)*. По мнению П. А. Зайончковского, собравшего немало сведений о Лорис-Меликове как деятеле и личности, он «обладал свойством предполагать к себе людей»³⁵. Расположил он к себе и сурово-скептического Салтыкова. Несомненно, последний сочувственно отнесся к некоторым первоначальным мероприятиям «диктатуры сердца», например к частичным послаблениям в области цензурного законодательства и полицейского контроля над общественной жизнью. «По цензуре теперь легче, да и вообще полегчало», — писал Салтыков в июне 1880 года А. Н. Островскому (XIX-1, 157). Но он не заблуждался относительно политического смысла предпринятой Лорис-Меликовым попытки «примирения власти с обществом». Он усматривал в ней лишь тактический маневр правительства в поисках ослабления напора революционного движения и общественного недовольства. Упований на развитие заявленного «либерального курса» при сохранявшемся в незыблемости общем «порядке вещей» он не разделял. Уже осенью 1880 года Салтыков имел возможность подтвердить одному из близких ему представителей «доверчивого общества» обоснованность своего скептицизма. «Вам, вероятно, известно, — писал Салтыков П. В. Анненкову, — что Лорис-Меликов созывал всех ре-

* Письмо датируется: около 10 мая 1880 г.

дакторов и прочитал им речь, в которой заявил, что о конституции и думать нечего и распространять конституционные идеи значит производить в обществе смуту. Вот, значит, и либерализм выяснен», — резюмировал Салтыков смысл этого предупреждения (XIX-1, 173—174).

При всем том к самой личности Лорис-Меликова Салтыков относился с симпатией, как это уже видно из цитированного письма его к Хвощинской и приведенных выше свидетельств. Однако желание министра сблизиться в момент острого «кризиса верхов» с писателем, возглавлявшим оппозиционное крыло в отечественной литературе и журналистике, не может быть объяснено только «симпатией графа к таланту сатирика», как писал в своих воспоминаниях Белоголовый. Дело было не в литературе, а в политике. «Причина, побудившая графа искать знакомства отца, — сообщает сын писателя К. М. Салтыков, — была чрезвычайно интересная. Дело в том, что Лорис-Меликову было Александром II поручено составить конституцию Российской империи, ту конституцию, которую загодя называли «куцей» и которой не суждено было быть обнародованной. Получив это для него весьма лестное поручение, М. Т. <Лорис-Меликов> испытал большое затруднение при выполнении его, не будучи знакомым с бытом русского народа. Среда, его окружавшая, тоже с этим бытом была или вовсе не знакома, или почти не знакома. И вот кто-то* посоветовал графу обратиться к моему отцу, известному как опытный администратор, имевший много дела с народом в бытность советника Вятского губернского правления, а также в должности вице-губернатора <и председателя казенных палат> в нескольких губерниях. Лорис-Меликов внял совету и обратился к отцу с просьбой оказать ему содействие. Папе просьба пришлась по душе, ибо он приветствовал всякое начинание, направленное к раскрепощению от самодержавного строя русского народа, и он согласился дать графу просимые этим последним указания. Таким образом завязались между либеральным сановником и известным писателем чисто деловые отношения. Событие 1-го марта расстроило весь план Александра II и прекратило работу комиссии, одним из закулисных участников которой был мой отец. Наступила реакция...»³⁶

Как и в ряде других мест своего «Интимного Щедрина», сын писателя неточно передает факты и неверно их истолковывает. Сыну писателя было тогда всего восемь лет, и, разумеется, ему не были доступны политические «стратегия» и «тактика» начальника Верховной распорядительной комиссии, так же как и отношение к ним Салтыкова. Не подлежит сомнению, что никаким участником «комиссии» по выработке так называемой «конституции Лорис-Меликова» (название не

* Этим «кто-то» скорее всего мог быть Н. А. Белоголовый. — С. М.

официальное, бытовое) Салтыков не был и что к нему с подобной просьбой и не обращались³⁷. Но представляется вполне вероятным, что при обдумывании путей и способов привлечения *самого общества* к борьбе с революционным движением Лорис-Меликов действительно нуждался в неофициальных и достоверных источниках сведений об идейно-политическом состоянии и настроениях русских образованных слоев. И нет ничего удивительного, что он надеялся извлечь пользу для своих планов из консультаций с Салтыковым, которого высоко ценил как глубокого и умного аналитика и прогнозиста русской общественной жизни. С другой стороны, и Салтыков, писатель публицистического склада, был заинтересован в неофициальных контактах с тем, кто фактически возглавлял тогда внутреннюю политику России. Не подлежит сомнению, что в их разговорах затрагивался ряд вопросов, относившихся к политическому положению и быту страны. Свое доброе отношение к Лорис-Меликову и к краткому периоду его правления Салтыков сохранил до конца его жизни. Откликаясь на смерть «ex-диктатора», Салтыков писал Белоголовому 15 декабря 1888 года в Ниццу: «Вот и Лорис-Меликова не стало. Меня это известие очень взволновало <...> Это был один из немногих симпатичных русских правителей, и хотя пребывание его у кормила было недолговременно, но, по крайней мере, в течение этого пребывания Россия избавлена была от тех несносных, загадочных шепотов, которыми наполнили ее Муравьевы, Гурки, Маковы и проч.» (XX, 451).

В начале мая 1880 года Салтыков отправил свою семью — жену и детей с их гувернанткой — в Баден-Баден. Сам же остался в Петербурге для завершения литературно-издательских и журнальных дел. За границу он отправился через полтора месяца.

Михаил Евграфович выехал из Петербурга в Германию 28 июня/10 июля и возвратился домой 25 сентября/7 октября. В соответствии с медицинскими рекомендациями С. П. Боткина, большая часть времени была проведена им на курортах Эмса и Баден-Бадена, известных своими минеральными источниками. Закончилась поездка месячным пребыванием в Париже. Кроме того, из Бадена была совершена кратковременная экскурсия в Швейцарию*.

* Вот более детальный итнерарий и хронология второй заграничной поездки Салтыкова 1880 г.

28 июня/10 июля — отъезд из Петербурга через Вержолово (теперь Вирбалис) в Берлин и далее в Бад-Эмс. С 30 июня/12 июля по 29 июля/10 августа — пребывание в Эмсе, а с 30 июля/11 августа по 17/29 августа — в Баден-Бадене. Отсюда Салтыков совершил в период с 6/18 по 10/12 августа поездку в Швейцарию, а именно в Тун и Интерлакен, и вновь вернулся в Баден. С 18/30 августа по 20 сентября/2 октября — пребывание в Париже. Возвращение — через Бельгию и Германию — в Петербург 25 сентября/7 октября.

Если судить по сохранившимся письмам Салтыкова, второе его посещение Западной Европы было значительно менее богато впечатлениями, чем первое, в 1875–1876 годах. Его письма к Елисееву и Михайловскому почти всецело посвящены делам и заботам по редакции «Отечественных записок». О своих же настроениях он пишет так: «Облегчение чувствую малое, а тоску — большую». И еще: «Болен. Скучно» (XIX-1, 162 и 163). Это из Эмса. И даже Париж, столь восхитивший писателя при первом знакомстве, в 1875 году, на этот раз не доставил ему удовлетворения ни в чем, начиная с квартиры. В письме к П. В. Анненкову в Баден, посланном на второй день приезда Салтыкова и Елизаветы Аполлоновны в столицу Франции (дети с гувернанткой оставались пока в Бадене) читаем: «Пишу к Вам из Парижа, где поместился довольно дешево (12 фр. в день), но, по обыкновению, скверно <...>. Еще покуда мы одни — туда-сюда, но когда придут дети — не знаю, что будет. 3 комнаты и несколько закоулков, но таких микроскопических размеров, что, право, удивляешься, как пришло в голову так строиться» (XIX-1, 166). Для Салтыкова, привыкшего к простору своих помещичьих, губернских и петербургских квартир, меблированные комнаты на Place de la Madeleine, 31, были слишком миниатюрны. Но они находились в самом центре Парижа, и Салтыков в конце концов привык к ним и останавливался здесь еще два раза в последующие приезды. Дом этот, находящийся позади церкви св. Магдалины — «Мадлены», как называли ее русские — знаменитого памятника ампириного зодчества — сохранился и по сей день, с тем же № 31, но с перестроенным фасадом. В Париже Салтыков встречался с Тургеневым, М. Ковалевским, Стасюлевичем, Лихачевым, Арапетовым и Домонтовичем, но больше сидел дома из-за плохой погоды. «Здесь ужасные холода и льет дождь ежеминутно, — читаем в письме к Михайловскому от 5/17 сентября. — Поэтому я сижу дома и пишу совершенно так, как бы находился в 3-м Парголове. Знакомых совсем почти нет <...>. За скверным временем, не вижу главного — уличной жизни, и это большое лишение» (XIX-1, 170). И хотя к концу пребывания в Париже погода изменилась и стала «превосходной», общее «резюме» своему пребыванию в этом городе выражено Салтыковым в письме к Анненкову в день отъезда на родину: «Время я провел здесь очень скучно <...> Только и делал, что писал» (XIX-1, 173)*.

Чем же занимался Салтыков, находясь за границей, летом и осенью 1880 года? Он создавал книгу «За рубежом». Первая глава ее была начата в Эмсе, в июле 1880-го, закончена в августе в Баден-Бадене и появилась в печати в сентябрьской

* Однако в том же письме Салтыков сообщает: «Был раз 10 в театре и между прочим вчера видел «Robert-Macaire» и в ней прославленного Gil-Naza. Нашел, что это посредственность — не больше».

книжке «Отечественных записок». Вторая глава, парижская, была напечатана в октябрьском номере журнала. Остальные пять глав писались по возвращении в Россию, в Петербурге.

В литературном наследии Салтыкова «За рубежом» занимает особое место. Это единственное его крупное произведение, посвященное Западной Европе — ее общественно-политической жизни, нравам, культуре. «За рубежом» — великая русская книга о Западе. Она стоит в ряду таких произведений нашей литературы, как «Письма из Франции и Италии» Герцена, «Зимние заметки о летних впечатлениях» Достоевского, «Большая совесть» Гл. Успенского, и предшествует по своей философско-исторической проблематике «Прекрасной Франции» Горького и гениальным «Скифам» Блока.

Для всех них характерно сугубо критическое, оценочное отношение к социально-историческому «добру» и «злу» западного мира. Все они проникнуты суровым обличением его буржуазности («мещанства», по Герцену) и пафосом высокого гуманизма и демократизма. Русская литература, создавшая эти произведения, была духовно выше, сильнее, человечнее, чем современная ей западноевропейская.

Вместе с тем, подобно всем названным произведениям, «За рубежом» — книга не только о Западе, но о России и Западе, и, по существу, о России больше, чем о Западе. Писатель глубоко национальный, Салтыков и к оценкам иноземной действительности подходил всегда со своей, русской точки зрения. Обращение в «За рубежом» к явлениям и фактам западноевропейской жизни и осмысление их в связи с русской действительностью дало писателю возможность еще глубже проникнуть своим воображением и пером художника и публициста внутрь социально-политического организма собственной страны и народа. Позиция Салтыкова в тех спорах, которые велись на рубеже 1870—1880-х годов о дальнейших путях развития России, его философско-историческая мысль получила в этой книге новую и важную аргументацию. Сплав «зарубежного» и «отечественного» материала характерен для всех элементов произведения. «О чем бы ни говорил Щедрин, касающемся Запада, — отмечала тогдашняя критика, — он ни на минуту не может забыть свои родные отношения и хоть в двух-трех коротеньких фразах, а проведет-таки аналогию, неожиданность и яркость которой неотразимо действует на читателя»³⁸.

К основным темам и сюжетам, получившим развитие в «За рубежом», Салтыков стал подходить задолго до того, как у него возникло решение написать эту книгу. Первые попытки писателя ввести в свое обличительное искусство материал, выходящий за пределы «отечественной натурь», относятся к шестидесятым и семидесятым годам. Тогда они не удались.

Все эти ранние замыслы и темы («Книга о праздноша-

тающихся» или «Дни за днями за границей»), также как и непосредственные впечатления, полученные Салтыковым за время двух первых его поездок за границу, получили в «За рубежом» глубокую, широкоохватную разработку. И вся она подчинена единому замыслу — критике буржуазного Запада в связи с коренными вопросами русской жизни, стоявшими на ее историческом череду. В этой книге Салтыков обобщил ряд таких черт буржуазного общества, которые получили более полное развитие позже, уже в XX веке. Этим книга «За рубежом» ценна для понимания некоторых основополагающих особенностей буржуазного мира вообще. Но прежде всего, конечно, она имеет значение первоклассного источника для познания исторического времени, в которое была создана.

Салтыков впервые воочию увидел Западную Европу в середине 1870-х годов, то есть вскоре после крупнейших событий того времени — франко-прусской войны и Парижской коммюны. Период всемирной истории, наступивший после этих событий, охарактеризован В. И. Лениным как «эпоха полного господства и упадка буржуазии»³⁹, то есть как исторический момент начала относительно мирного периода в развитии капитализма и перерождения буржуазного класса из прогрессивной силы общественного развития в силу консервативную и реакционную.

В художественных образах и публицистических характеристиках западноевропейской жизни на страницах «За рубежом» Салтыков поднимается до удивительно ясного понимания этой закономерности наступившего переломного времени в историческом бытии буржуазного общества. При этом не остается вне поля зрения писателя и пробуждение к историческому действию «новых социальных сил». Он не раз упоминает о рабочем движении, вступившем после поражения Парижской коммюны в новую фазу, пока что еще медленного развития. Однако Салтыков указывает на недостаточность своих знаний рабочей среды и на трудность, для иностранца, проникновения в нее.

Книга «За рубежом» написана в форме путевых очерков или своего рода «дневника путешествия» Салтыкова. Маршрут его второй заграничной поездки в точности отражен в последовательности глав-очерков книги: Германия — Швейцария — Франция — Бельгия (проездом, при возвращении в Россию).

Сатирико-публицистическое «обозрение» западноевропейской жизни в «За рубежом» начинается с Германии. В немецком «этюде», или «эскизе», образующем главу II книги, две темы: прусский милитаризм и быт известных бальнеологических курортов Германии — Баден-Бадена, Эмса (Бад-Эмса) и других, называемых Салтыковым в сатирическом гневе «лакеевскими городами», заполненными «праздношатающейся» толпой «гастро-половых космополитов». Но господствует все

же тема критики германского милитаризма и национализма. Эти элементы стали играть действительно главенствующую роль в немецкой жизни после того, как победившая Францию Германия, раздробленная на отдельные монархии-королевства, объединилась в единое государство, обретя первоначальное свое единство, по словам К. Маркса, «в прусской казарме»⁴⁰. Немецкая глава «За рубежом» стала в русской литературе классическим художественным аналогом этой оценки.

Картина бисмарковской Германии, собственно Берлина, превращенного из захудалого центра Прусского королевства в имперскую столицу, написана мрачными красками. «Уже подъезжая к Берлину, — сообщает Салтыков, — иностранец чувствует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфеума». «Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина», — продолжает он свои впечатления, подчеркивая при этом, что «самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни — это «военный». «Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства», — формулирует писатель с беспощадной лаконичностью и ясностью суждения русских путешественников, обсуждающих вопрос, для чего, собственно, нужен Берлин? (XIV, 50, 52, 49).

Сгущение темных тонов в обличительных образах Берлина очевидно. Но, по существу, создаваемые этими образами представления о воинствующем национализме и завоевательных устремлениях прусского милитаризма, юнкерства и буржуазии объединенной Германии находились в полном соответствии с объективной исторической действительностью. Вместе с тем они оказались и провидческими. Салтыковский анализ уловил в идеологии и политике господствующих сил Германии те зародыши, развитие которых в относительно близком историческом будущем, на империалистическом этапе капитализма, привело к двум мировым войнам, к двум величайшим военным катаклизмам человечества.

Другой Германии — оппозиционной и демократической — Салтыков касается мельком и с некоторым скептицизмом. Но он знает о ее существовании и сохраняет веру в будущее. Не желая придавать своим отрицательным впечатлениям характера окончательного приговора, Салтыков смягчает суровость своих оценок оговоркой, что он не имеет «никаких данных утверждать, что Берлин *никогда* не делается действительным руководителем германской умственной жизни» (там же, 56).

Рассказ о кратковременном посещении Швейцарии, тогдашнего центра русской революционной эмиграции, именуемой поэтому на эзоповском языке писателя «страной превратных толкований», почти всецело посвящен отечественным темам и материалам. Далее следует знаменитая четвертая глава о социалистической и революционной Франции 1848 года,

сыгравшей столь выдающуюся роль в идейной жизни юного Салтыкова*, и две последующие главы, посвященные уже той Франции, в которой Салтыков побывал в 1875—1876 годах, а затем вновь в 1880-м.

Что же увидел Салтыков в «стране упований» своей юности? После событий Парижской коммуны от недавнего радикализма французских буржуазных демократов скоро не осталось и следа. Политика республиканской партии — основной, самой влиятельной партии во Франции Третьей республики — преследовала после Коммуны цели объединения всех сил буржуазии и была насквозь соглашательской. Наиболее ярким выразителем и проводником этой политики оппортунизма был лидер республиканской партии Леон Гамбетта, не раз упоминаемый на страницах «За рубежом». Гамбетта был подлинным героем и кумиром всей либеральной, буржуазной Европы. Ему аплодировали, им восхищались и русские либералы, в том числе друзья Салтыкова Анненков и Тургенев. Но сам Салтыков с гневом и презрением относился к Гамбетте и, прибегая к зоологическим уподоблениям, в манере Свифта, писал по случаю его победы в республиканском союзе, которая обеспечила ему политическое лидерство в стране: «Скопец, Гамбетта, одержал блистательную победу <...> Представьте себе такое положение: жеребцы уволены от жизни, а мерины управляют миром. Что может из этого выйти? Выйдет республика без страстной мысли, без влияния, республика, составляющая собрание менял...» (XVIII-2, 262). На страницах «За рубежом» Салтыков так и изобразил Третью республику Франции, как «республику без республиканцев», и Ленин впоследствии скажет по этому поводу, что «Щедрин классически высмеял» буржуазную Францию — «Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров»⁴¹.

Предметом глубокой и блестящей сатирической критики в «За рубежом» явились не только государственные и политические институты буржуазного общества, но и сфера его духовной культуры и нравственных ценностей. Замечательны салтыковские страницы, посвященные критике французской литературы 1870-х — начала 1880-х годов. Воспитанный на «героической» идейной беллетристике великих писателей Франции 1830—1840-х годов — Жорж Санд, Виктора Гюго и Бальзака, Салтыков противопоставляет им литературу современного ему натурализма. Он обнажает связь этого направления с буржуазией периода ее установившегося могущества и вместе с тем начала ее культурно-исторического упадка. В литературе, провозглашающей отказ от борьбы за общественные идеалы, он видит «современного французского буржуа», которому «ни героизм, ни идеалы уже не под силу», который

* См. об этом выше, с. 22—23.

«слишком отяжелел, чтоб не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтоб нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему» (XIV, 152).

Таковы главные черты западноевропейского мира, увиденного и изображенного Салтыковым в начале того исторического периода, когда революционность буржуазной демократии в развитых странах Запада уже исчерпала себя, а другие силы прогрессивного исторического развития еще не созрели.

В этом мире живут и русские люди. Одни из них заняты своим делом, другие путешествуют, развлекаются или скучают. Все они, каждый на свой лад, «несут с собой» свою страну, все влекут груз сложившихся взглядов и привычек, собственных забот и интересов. С первых же мгновений пребывания за рубежом они оказываются в сфере двух резко не совпадающих реальностей: западноевропейских впечатлений и вызываемых ими, по ассоциации, отечественных воспоминаний. «Буйные хлеба» на обиженном природою прусском взморье — *это впечатления*. Картины того, как «выпахались поля» и «присмирели хлеба» на чембарских благословенных пахитях, где глубина чернозема достигает двух аршин, — *это воспоминания*. «Везде изобилие, а у нас — «не белы снеги», — обобщает Салтыков калейдоскоп возникающих у русского путешественника сопоставлений «чужого» и «своего», — везде резон, а у нас фюить!* Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на езоповских притчах сидим; везде люди заправскою жизнью живут, а у нас приспособляются» (XIV, 165).

Возникает тема исторической отсталости России — экономической, социально-политической, граждански-правовой (но не духовной), возникают и раздумья о грядущих судьбах страны. Критика Салтыковым отечественной отсталости исполнена историзма. Вместе с тем она основана на современности и предпринята ради будущего. «Всегда эта страна, — пишет Салтыков, — представляла собой грудь, о которую разбивались удары истории. Вынесла она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеалы государственности, и петербургское просветительное озорство и закрепощение. Все выстрадала и за всем тем осталась загадочною, не выработав самостоятельных форм общежития» (XIV, 165). Слова эти свидетельствуют прежде всего о глубоком историческом осмыслении Салтыковым причин вековой отсталости России от старых стран Запада. Вместе с тем в них содержится одно из многих заявлений писателя-демократа и утопического со-

* «Ф ю и т ь» — один из езоповских «щедринизмов», означающий разные формы административно-полицейского произвола и насилия.

циалиста о том, что ни одна из «форм общежития», возникавших до сих пор на русской национально-государственной и общественной почве, не отвечала коренным интересам народа и общества. Не отвечали этим интересам, в понимании Салтыкова, и те «формы общежития», которые хотя и не существовали (по крайней мере, в полном своем виде) в реальной действительности, но были выработаны русским бытом или русской мыслью и являлись, таким образом, идеологическими реальностями.

Салтыков враждебно относился к славянофильскому и тем более панславистскому мифу «Святой Руси» и ко всем другим «почвенническим» и националистическим доктринам. В идеализируемых «исконно русских» патриархальных началах он видел скрытую основу феодально-крепостнического патернализма. С другой стороны, он не верил в общинный социализм народников, в так называемый «русский социализм». Оба эти противостоящие друг другу направления русской общественной мысли представлялись ему утопиями: первое — реакционно-националистической, второе — революционно-романтической. И с тем и с другим направлениями Салтыков давно уже вел полемику. Спорит он с ними и на страницах «За рубежом».

Вместе с тем редко кто из русских «западников» обладал такой полнотой внутренней свободы по отношению к Западной Европе и ее общественно-политическим формам и институтам, как Салтыков. Его глубокому и аналитическому уму, его широким взглядам был совершенно чужд «сплошной» или доктринерский взгляд на Западную Европу как на нечто целостное и однородное, заслуживающее безоговорочного поклонения или такого же отрицания*. И быть может, единственная черта, которую в своем просветительно-этическом пафосе Салтыков был склонен приписывать всей западноевропейской жизни вообще, хотя все же с существенными оговорками, — это выработанное *сознание демократизма и гражданственности*, столь долго и сильно подавлявшиеся в России сначала татаро-монгольским игом, а потом крепостническим строем и его государственным стражем самодержавием.

«Я был бы неправ, — замечает Салтыков по поводу своей критики прусских порядков, — если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена** есть одно важное преимущество, а именно: об-

* В одном из писем к П. Л. Лаврову от мая — июня 1873 г. Н. К. Михайловский утверждает, что революционеры должны будут встретить революцию в России не только «с действительным знанием русского народа», но и «с полным умением различать добро и зло европейской цивилизации»⁴². Этому «умению» учила и книга Салтыкова.

** То есть на стороне Западной Европы. Эйдткунен до войны 1914 г. — немецкая железнодорожная станция, пограничная с Россией. — С. М.

щее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтобы не допустить его чрезмерного распространения, но несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам* от этого хоть капельку да веселее» (XIV, 18—19). В этом признании Салтыков усматривал «начало всего».

Порядок, существующий «под Инстербургом», утверждает писатель, выше «порядка в Монрепо». Но, формулируя такой вывод, Салтыков делает две существенные оговорки. Во-первых, он не считает «пруссские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим из смертных» («пруссские порядки» означают здесь «западноевропейские порядки» вообще). «Я очень хорошо понимаю, — заявляет писатель, — что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о *распределении богатств*, а исключительно о *накоплении их*; ** что эти поля, луга и выбеленные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа, каким в городах принадлежат дома и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства» (XIV, 16—17).

Другими словами, Салтыков отчетливо видит социальное расслоение не только в русской, но и в западноевропейской деревне и тем самым признает если не единство, то близость «политико-экономических оснований» существующего «порядка вещей» на Западе и в своем отечестве. России, — излагает Салтыков (не впервые) свои итоговые выводы, — «суждено пройти теми же путями, что и странам Запада, и у нас уже существуют и действуют своя буржуазия и свой «пролетариат»***. Салтыков полемизирует здесь (и в других местах «За рубежом») с народническими теоретиками-доктринерами, с их верой в возможность непосредственного перехода, минуя капитализм, к социалистическому строю, через крестьянскую общину. С точки зрения Салтыкова, современная ему русская община обеспечивала интересы не трудового крестьянства, а «мироедов» Колупаевых и Разуваевых, а также фискальные интересы государства, являясь в руках властей дешевым и удобным средством для сбора налогов. Кроме полемики

* Gecht — по-немецки: шука (здесь в смысле хозяин, эксплуататор); Knecht — работник, батрак, вообще эксплуатируемый. — С. М.

** Это термины, заимствованные из политико-экономической литературы утопических социалистов. Первое означает социалистическую систему, второе — буржуазную, капиталистическую. Подчеркнуто мной. — С. М.

*** Следует иметь в виду, что слово «пролетариат» у Салтыкова не совпадает с его современным научным значением. Оно означает у него крестьян и мещан, не имеющих земельной собственности, то есть ту социальную среду, из которой рекрутировались кадры пролетариата в период вступления России в промышленную революцию.

с народниками, другой крупно- и остропроблемной особенностью русского материала «За рубежом» является вопрос о революции. Возможность революционного разрешения кризиса самодержавия на рубеже 1870-х — начала 1880-х годов, о чем речь была выше, признавалась (с весьма разным, конечно, отношением к такой перспективе) представителями всех политических лагерей, общественных направлений и групп — от активно борющихся с самодержавием революционеров до защищавших его царя, министров и всех охранительных сил.

Ожидание назревающих в России революционных событий, настроение политического подъема русской демократии чувствуется во многих местах первых глав «За рубежом», но сильнее всего — в знаменитой пьесе-диалоге «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Введенный в первую главу книги, этот диалог служит своего рода ключом к идейной сути всего произведения, его историко-философской мысли, которая здесь как бы наглядно показана и вместе с тем сильно и сжато «резюмирована» в двух поразительных по мастерству характеристиках противостоящих друг другу национально-исторических типов — русского и западноевропейского (немецкого) человека. Вложенные в уста «мальчика без штанов» слова: «Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!», «С Колупаевым мы сочтемся... Это верно!», «будет и на нашей улице праздник!» — исполнены ожиданием предстоящих социальных перемен. Об этом же еще яснее идет речь в том месте главы второй, где Салтыков говорит, имея в виду русского человека, склонного некритически восхищаться Западной Европой и «интересной жизнью» в ней: «Пусть примет он на веру слова «мальчика без штанов»: У нас дома занятее, и с доверием возвратится в дом свой, чтобы занять соответствующее место в представлении той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нет» (XIV, 59).

Пожалуй, никогда и нигде Салтыков, с недоверием относившийся к практическим возможностям современного ему революционного движения, принципиальным целям которого не только сочувствовал, но и служил своим пером, не заявлял о вероятности революции с такой определенностью, как в первых главах «За рубежом» (хотя ноты скептицизма звучат и здесь в определении ожидаемых революционных событий как «загадочной драмы»).

Но ближайшие месяцы русской жизни подтвердили обоснованность не надежд, а сомнений и скептицизма Салтыкова. «Праздник» на «улице» русского мальчика не состоялся и на этот раз. Натиск демократических сил в конце 1870-х годов на устои самодержавной власти вновь, как и на рубеже 1850—1860-х годов, был отбит. В стране все еще не было в наличии массовой социальной силы, достаточно организован-

ной, чтобы подняться на победоносную борьбу с существующим строем. Возникшая в стране вторая революционная ситуация вновь потерпела неудачу. Русские революционеры, вся русская демократия вновь оказались в состоянии глубокого кризиса, вновь переживали духовную драму. И в поисках выхода из этой драмы Исполнительный комитет «Народной воли» принял решение о новом покушении на Александра II. Оно было осуществлено 1 марта 1881 года. Бомбой, брошенной народовольцем-боевиком Гриневицким на Екатерининском канале столицы: император был смертельно ранен (как и сам Гриневицкий).

**12. ПОСЛЕ 1-го МАРТА 1881 ГОДА. — ВСТРЕЧИ
С ЛОРИС-МЕЛИКОВЫМ. — РАЗОБЛАЧЕНИЕ «СВЯЩЕННОЙ
ДРУЖИНЫ». — «ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ». — «СОВРЕМЕННАЯ
ИДИЛЛИЯ». — «ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ»**

Убийство Александра II и последовавшие затем другие чрезвычайные события сильно взволновали Салтыкова и вторглись в его писательскую работу, в частности в первоначальные планы окончания «За рубежом». Салтыков отрицательно отнесся к этому акту. По свидетельству Л. Ф. Пантелеева, он «весьма сурово, как о глупцах, отзывался о перво-мартовцах»¹.

Писатель был принципиальным противником всякого насилия человека над человеком, тем более кровавого и смертного. И совсем не верил в достижение решающих успехов в борьбе с самодержавием посредством террористических ударов. Он считал такой подход к решению основных революционно-освободительных задач узким и вредным и не ожидал от него ничего другого, кроме трагической гибели революционеров — «плодей самоотвержения» — и ответного ужесточения реакции*. И само убийство Александра II, и смятение в Зим-

* В 1932 г. на заданный мною Вере Николаевне Фигнер вопрос об отношении Салтыкова к народолюбцам-перво-мартовцам последовал такой ответ: «Как относился к нам Щедрин в период наиболее острой нашей борьбы с самодержавием? Сношений с ним никто из нас не имел — он был слишком осторожен для этого. Вероятно, он смотрел на действующих революционеров так же, как смотрел другой редактор «Отечественных записок», старый писатель-народник Григорий Захарович Елисеев. При встречах, после взрыва под Москвой и взрыва в Зимнем дворце, а мы уже готовились в это время 1 марта, Григорий Захарович в конце 1880 года говорил мне: «Ну что Вы делаете? Бьете головой в каменную стену... только головы свои разобьете. И чего добиваетесь? Теперь секут без закона, а тогда будут сесть по закону». Говорил так, а сам предложить ничего не мог». Нет сомнений, что предположение В. Н. Фигнер о близости такого взгляда с позицией Салтыкова соответствовало истине. И это несмотря на то, что в приведенных ею словах не все совпадало с фактами. Она, видимо, не знала, что у Салтыкова, как сказано выше, два или три раза побывала А. В. Якимова, член Исполнительного комитета «Народной воли», а также народолюбец А. В. Прибылев. Не было учтено Верой Николаевной и то, что два ближайших сотрудника Салтыкова по редакции «Отечественных записок», Н. К. Михайловский и С. Н. Кривенко, хотя и не входили в «актив» «Народной воли», но имели связи с ней и ее деятельностью. Вряд ли, однако, эти конспиративные связи были известны Салтыкову.

нем дворце, и колебания правительства в определении политического курса, завершившиеся манифестом 29 апреля о незыблемости самодержавия — все это нашло глубоко драматическое и тревожное преломление в двух последних главах — шестой и седьмой — «За рубежом» с центральной для них сценой «торжествующей свиньи», порешившей «сожрать» Правду. Этой гневной, мрачной и горькой сценой Салтыков встретил вступление страны в полосу глубокой реакции. Послепервомартовскими главами «За рубежом» начинается *трагический Салтыков 80-х годов*.

Печатание «За рубежом» закончилось в шестом номере «Отечественных записок» за 1881 год. Книжка вышла в свет 17 июня. А через две недели, 30 июня, Салтыков выехал из Петербурга за границу. Это была его третья поездка на Запад. На этот раз она продолжалась немногим больше двух с половиной месяцев. Сначала Салтыков отправился через Берлин в Висбаден, где уже находилась его семья, а потом — в Париж*. Хотя и на этот раз поездка была рекомендована ему врачами — С. П. Боткиным и Н. А. Белоголовым, но больше, надо думать, не из расчетов на климатическую и лечебную пользу Висбадена, а в целях временного освобождения писателя от непосредственных трудов в редакции и от его «мучительно-восприятия» вздыбленных событий политической современности, главной ареной которых был Петербург.

Но вне постоянного активного интереса к текущей общественной жизни страны и потребности сразу же откликнуться на ее злободневность своим пером представить себе Салтыкова просто невозможно. Общественные интересы были постоянной и определяющей сферой его духовного, идейного «обитания». И, собираясь «на отдых» за границу, он еще в Петербурге задумал и начал писать новое произведение. Это были сразу же ставшие широко известными «Письма к тетеньке». Первое из них он выслал из Висбадена в Петербург почти сразу же по приезде, так как через неделю уже спрашивал в письме Михайловскому: «Прочитали ли Вы мое письмо к тетеньке?» — и продолжал дальше, сообщая о своих творческих планах: «Я предположил написать штук 7 или 8. Второе письмо (о лгунах и лганье) кончаю, 3-е (о вероломстве) тоже скоро напишу (<...>). В дальнейших письмах пойдет дело о содействии общества, то есть о приглашении к содействию и проч.» (XIX-2, 9).

Из Петербурга в Висбаден, где, как сказано, уже находилась его семья, Салтыков ехал в одном купе с В. И. Лихачевым и с президентом Медико-хирургической академии, из-

* Итинерарий и даты третьей заграничной поездки Салтыкова 1881 года: 30 июня/11 июля — отъезд из Петербурга; 2/14 июля — в Берлине; с 3/15 июля по 18/30 августа — в Висбадене; с 19/31 августа по 18/30 сентября — в Париже; 21 сентября/9 октября — возвращение в Петербург.

вестным ученым и прогрессивным общественным деятелем профессором Н. И. Козловым. От него, а также от Лихачева, гласного Петербургской городской думы (то есть члена ее), своего приятеля, он узнал немало неофициальных политических новостей, отразившихся в «Письмах к тетеньке». Внешняя обстановка висбаденской жизни сначала удовлетворила Салтыкова. Он писал об этом Елисееву: «Устроился здесь очень хорошо; платим за 5 пансионов*, имеем 6 комнат, утренний кофе или чай, обед из 4-х блюд и вечером чай с легким (весьма) ужином. Комнаты прекрасные, вид прямо в парк, бесподобный. Платим по 7 марок с рyla — по-моему, недорого. До сего числа жили в бель-этаже, а сегодня перегна-ли в нижний этаж, потому что весь бель-этаж наняли под Лориса-Меликова (<...>), что, впрочем, для меня и лучше, потому что не утомительно. Житье здесь, как и во всех немецких го-родах в эту пору, развеселое, и даже в эту самую минуту перед нашей виллой в парке спускают фейерверк...» (XIX-2, 13—14).

Но на Салтыкова это «развеселое житье», обстановка по-стоянного курортного праздника действовали неблагоприятно и в физическом и в моральном отношениях. В общем, жилось ему в Висбадене плохо: «Скучно становится жить». Да и работа не очень ладилась: «Мне очень трудно пишется». К тому же и погода не содействовала подъему настроения: «Здесь хо-лодище страшный. Целую неделю не видим солнца, дождь без перемежки» (там же, 24, 20, 21). Тревожило и отсутствие из-вестий из Петербурга из редакции «Отечественных записок» — этого постоянного «memento!» в сознании и памяти Салтыко-ва. «С тех пор как я выехал из Петербурга, — жаловался он Белоголовому в письме от 25 июля/6 августа 1881 года, — я ни от кого из сотрудников и товарищей ни одной строки не полу-чил (<...>). Так что не имею ни малейшего понятия о том, что делается в редакции и в каком положении находится Елисеев. По-моему, это просто жестокосердие, и, право, я, наконец, серьезно начинаю подумывать, что мне удобнее войти в со-глашение с Стасюлевичем, не дожидая срока контракта. Там у меня будет скромная роль, которая даст мне по крайней ме-ре спокойствие» (XIX-2, 15—16).

Не прекращавшаяся, хотя и «с трудом шедшая работа» над «Письмами к тетеньке» и лечебные процедуры, неукосни-тельно выполнявшиеся Салтыковым, не исключали, однако, его участия, вместе с семьей и Лихачевыми, в небольших ту-ристических экскурсиях по окрестным историческим достопри-мечательностям, в частности поездок в Шлангбад. Были, конечно, встречи и беседы с находившимися в Висбадене со-отечественниками — в частности с В. П. Гаевским и А. И. Ко-шелевым, бывшим членом Рязанского губернского комитета

* Салтыков с семьей и гувернантка детей. — С. М.

по крестьянским делам во время рязанского губернаторства Салтыкова. Кошелев прочитал Салтыкову свою только что вышедшую в Берлине «оппозиционную» брошюру «Где мы? Куда и как идем?». «Подобного унылого переливания из пустого в порожнее я давно не слышал», — отозвался Салтыков на это сочинение в письме к Белоголовому и добавил затем: «И вот такою-то литературой думают отрезвить правительство» (XIX-2, 16). Эта оценка относится и к другой брошюре, «Письма о современном положении России», написанной генералом Р. А. Фадеевым и министром двора гр. И. И. Воронцовым-Дашковым. В этих и подобных им «квазиопозиционных» сочинениях, изданных ради пущей значительности за границей, Салтыков усмотрел особую форму пропаганды реакционных и откровенно крепостнических тенденций в земстве и подверг их исполненной сарказма критике в «Письмах к тетеньке».

Но главным собеседником писателя в Висбадене оказался гр. М. Т. Лорис-Меликов, уволенный в отставку с поста министра внутренних дел в результате царевубийства 1-го марта. Больше месяца радикальный писатель-демократ и ех-диктатор жили под одной крышей на вилле Sonnenbergstrasse, 16. Они часто встречались и подолгу беседовали. В письмах к П. Л. Лаврову из Висбадена этого времени Белоголовый называет Лорис-Меликова и Салтыкова «взаимными друзьями» и сообщает, что ех-диктатор давал читать Салтыкову и самому Белоголовому свой проект «Конституции»². Действительно, Михаил Евграфович, как сказано, относился к Лорис-Меликову с чувством симпатии, хотя и не без критики и некоторой настороженности. «Гр<аф> Лорис-Меликов очень добрый человек, — отзывался о нем писатель, — но чересчур уж болтлив <...>. О литературе он имеет слабое понятие и был весьма удивлен, когда я ему сказал, что *основы* и суть та самая вещь, о которой литература имеет право всего свободнее говорить. А между тем он один из любителей литературы, много читал...» (XIX-2, 16).

Между прочим, Лорис-Меликов заверил Салтыкова «честным словом», что в течение полутора лет его господства за писателем «никогда не было надзора», то есть тайного политического наблюдения. Но с присущим ему скептицизмом Салтыков писал Белоголовому о своих беседах с Лорис-Меликовым: «Армянин высказывается помаленьку, но довольно свободно. Иногда мне кажется, не выпытывает ли он меня. И когда вновь будет у кормила, тогда...» (XIX-2, 20). Тем не менее беседы продолжались*. И во время одной из них, про-

* Благодаря за эти беседы, Салтыков писал Лорис-Меликову, уехавшему в конце августа в Париж: «За особенное удовольствие и долг поставлю себе поблагодарить Ваше сиятельство за то благосклонное внимание, которым Вы почтили меня в мою бытность в Висбадене <...>. Скажу Вам совершенно искренне: я всю жизнь свою избегал соприкосновения с лицами

исходившей 29 июля / 10 августа 1881 года, писателю была раскрыта тайна создания в марте этого года, с ведома нового императора Александра III, так называемой Священной или Святой дружины спасения. Это была глубоко законспирированная организация, преимущественно аристократической военной молодежи, под покровительством великого князя Владимира Александровича. Цель Дружины, — сообщил Салтыков со слов Лорис-Меликова, — «исследование и истребление нигилизма, не останавливаясь даже перед *устранением*» выдающихся деятелей революционного движения (XIX-2, 17). А через несколько дней Лорис-Меликов поставил своего собеседника в известность о ближайших террористических намерениях дружины. Получив эти сведения, встревоженный Салтыков поспешил сообщить их Н. А. Белоголовому, жившему тогда недалеко от Висбадена, в Туне (Швейцария), и имевшему связи с революционными эмигрантами. «Хотел было дальнейшую переписку прекратить, многоуважаемый Николай Андреевич*, — писал Салтыков, — но, право, жить страшно становится. Узнал я, что Святая дружина наняла искусного дуэлиста и бретёра (...), чтобы оскорбить Рошфора и затем убить его на дуэли. Подобным же образом предполагается поступить и с Кропоткиным. Если сойдут эти два устранения благополучно, то весьма может быть, что пойду и дальше (...). Каким бы образом раскрыть все это и в особенности предупредить Рошфора? Я, собственно, становлюсь в тупик и положительно боюсь, что сейчас же на меня подумают, особенно зная, что я хорош с Лорис-Меликовым), о чем, вероятно, донесли отсюда» (XIX-2, 26)**.

высоко стоящими, и только Вы одни победили во мне чувство, внушавшее мне эту сдержанность» (XIX-2, 31).

* Перед отъездом в Париж. — С. М.

** Одно из писем Салтыкова к Белоголовому из Висбадена заканчивалось словами: «Здесь ужас какая скука: и наблюдают за мною — страсть» (XIX-2, 28). Вероятно, Салтыков был прав, и его связи с опальным «диктатором», Лорис-Меликовым, находились под наблюдением заграничной агентуры политической полиции России, хотя документальных подтверждений этому в бумагах Департамента полиции найти не удалось. Но из архивных дел Священной дружины видно, что она действительно установила негласное наблюдение за Салтыковым и его сотрудниками по «Отечественным запискам». Задачей наблюдения было удостоверить их предполагаемую причастность к революционному движению. В статье Ю. П. Пищулина, основанной на архивных источниках Священной дружины, читаем: «О попытках «добровольцев» привязать Щедрина к «социалистическим сходкам» и «народовольческой партии» свидетельствует «Перечень важнейших агентурных расследований добровольной охраны» от 5 апреля 1882 года. Здесь сообщается, в частности, что у некоего Матвеева, живущего на Надеждинской ул., д. № 18, кв. 4 (...), еженедельно бывают сборища под председательством действительного статского советника Михаила Евграфовича Салтыкова (псевд. Щедрин). Из бывших на этих вечерах известны: Михайловский, Плещеев, Скобелевский (?! — несомненно Скабичевский) мировой судья Тимирязев»³.

Как видим, добровольцы-осведомители из членов дружины были

Получив это письмо Салтыкова, Белоголовый сразу же известил П. Л. Лаврова о необходимости «немедленно предупредить и Рошфора и Кропоткина <...>, но сделать это так, чтобы не назвать источник сведений и не погубить Салтыкова, что было бы жестоко» (см. об этом XIX-2, 27). Цитированное письмо Салтыкова к Белоголовому было впервые опубликовано публицистом В. Розенбергом в номере 230 «Русских ведомостей» за 1912 год, а в номере 251 этой же газеты появилась реплика на публикацию, принадлежащая П. Кропоткину. В ней сообщена следующая подробность, относящаяся к этому примечательному эпизоду в политической биографии Салтыкова. Подтверждая сведения в письме Салтыкова, П. Кропоткин писал: «...в Женеве я узнал еще некоторые дальнейшие подробности о Священной дружине, а также и то, что в Женеве сведения о ней, также исходившие от Лорис-Меликова, были получены через М. Е. Салтыкова-Щедрина, который нарочно приезжал в Швейцарию или на границу Швейцарии и вызвал на свидание одного из эмигрантов, чтобы сообщить ему сведения, для предупреждения кого следует <...>». Свидание с «эмигрантом» — это, конечно, встреча с Белоголовым, находившимся тогда в Туне и имевшим связи с русской революционной эмиграцией, хотя сам он формально эмигрантом не был. Поездка из Висбадена в недалекий Тун или на границу Швейцарии могла состояться только между 16/28 и 19/29 августа, накануне отъезда Салтыкова в Париж. Но действительно ли она состоялась — неизвестно. Документальных подтверждений мемуарного свидетельства Кропоткина нет. Так или иначе Салтыков совершил в защиту революционеров *политическое действие*. Но еще большее мужество проявил он, приняв решение публично разоблачить открытую ему тайну «Священной дружины». Писатель посвятил этому сенсационному разоблачению «Третье письмо к тетеньке», над которым, по-видимому, начал работать еще в Висбадене. «Священная дружина» представлена здесь под названием «Общество частной инициативы спасения» (здесь разоблачается намерение правительства привлечь для борьбы с революционным движением и оппозиционными настроениями добровольцев из социальных верхов). Деятелям «Общества частной инициативы» присвоены имена Ноздрева, Расплюева, Амалатбека и других соответственных литературных персонажей в гротескно-сатирической интерпретации Салтыкова. Впоследствии, уже в «Современной идиллии», Салтыков назовет

полными дилетантами в своей деятельности и не смогли разобраться в вещах, известных всему литературному Петербургу. Квартира Матвеева на Надеждинской, 18, которую снимал Г. З. Елисеев, была не конспиративной явкой для «сборища» революционеров, а официальным адресом редакции «Отечественных записок». Несмотря на столь фальшивую информацию, она была доложена «для рассмотрения» товарищу министра внутренних дел, начальнику императорской охраны генералу Черевину⁴.

Дружину великосветских контрреволюционеров «Клубом взволнованных лоботрясов». «Смех убивает», — говорил Салтыков. Смех над «взволнованными лоботрясами» из аристократической элиты, исполненный сарказма и презрения, не в малой мере содействовал дискредитации и ликвидации Священной дружины*.

Из Висбадена Салтыков с семьей выехал в Париж. Остановились они там же, где и в прошлом году. Париж встретил прибывших проливными дождями, сыростью, слякотью. Салтыков сразу же схватил жестокую простуду и засел дома. Лишь скорый приезд Белоголового из Швейцарии и его врачевание помогли Салтыкову несколько справиться со своими болезнями и мрачным настроением.

В Париже Салтыков продолжал работу над «Письмами к тетеньке». Здесь он закончил знаменитое «Третье письмо». Посылая рукопись Михайловскому, Салтыков писал: «Думаю, что она и неудовлетворительна и не весьма цензурна» (XIX-2, 32). В последнем суждении писатель, как увидим, не ошибся. Одновременно с литературным трудом Салтыков вел большую переписку по делам редакции «Отечественных записок». Разумеется, были и встречи: из французов, кажется, только с одним Л. Шассеном, из соотечественников — с Тургеневым (3 раза), Елисеевым, кн. А. И. Урусовым, И. П. Арапетовым, Е. И. Ламанским и жившим в тех же, что и Салтыков, меблированных комнатах П. Д. Боборыкиным. В воспоминаниях последнего имеется страница, содержащая живую зарисовку Салтыкова и его намерений в этот его приезд в Париж, а также сообщается о взгляде писателя на значение и судьбу его сочинений для иностранного читателя:

«Было это в конце русского августа <1881>, — вспоминает Боборыкин. — Я вернулся с морских купаний из Нормандии, и хозяйка гарни сейчас же мне доложила, что через несколько дней у нее поместится: «Toute la famille du général Soltikoff»**.

Этим «генералом» оказался Михаил Евграфович, уже больной, с раскатыстым кашлем и одышкой, но еще на вид довольно бодрый.

Я жил на самом верху и на другой день по приезде русского семейства слышал на лестнице знакомый кашель. Салтыков поднимался ко мне. Я сошел вниз и не допустил его утомлять себя подъемом на шестой этаж.

Первое, чем Михаил Евграфович начал тогда, были горькие жалобы на то, как он тоскует в Париже.

* Данное обстоятельство удостоверяется архивными документами Священной дружины. Например, в Перечне дел по попечительству местности № 1 (это Петербург октября 1882 г.) сообщалось, что действие дружины в столице затруднено потому, что «в среде сколько-нибудь интеллигентной система добровольной охраны оклеймена позором, отчасти благодаря сатирическим статьям Щедрина-Салтыкова»⁵.

** «Все семейство генерала Салтыкова» (фр.).

— Мне здесь ровно нечего делать! — нервно повторял он, глядя пристально страдающими глазами. — Работать я не могу, таскаться по театрам — духота в них невыносимая, Палата <депутатов> закрыта, знакомства с французами я не вожу...

И в самом деле, он очень мало интересовался личностями парижских писателей; у него мне не случалось видеть ни одного француза из ученого, литературного или политического мира. А как он относился к вопросу о переводе своих произведений на французский язык, может показать отрывок из разговора, бывшего в тот же его приезд и в той же гостиной его меблированной квартиры.

В числе корреспондентов проживал в Париже, довольно уже давно, один петербуржец, дававший там и уроки русского языка. У него был ученик-француз, богатый светский человек, езжавший в Москву как турист. Он перевел, под руководством своего учителя, «Сказки» Салтыкова и издал их на свой счет⁶, а когда узнал, что автор в Париже, доставил ему экземпляр и пожелал выразить ему лично глубокое сочувствие его таланту. Надо было видеть Михаила Евграфовича! — до какой степени это подношение растревожило его.

— Помилуйте, — говорил он с беспощадною суровостью к самому себе, — какой интерес могу я представлять для французской публики?.. Я писатель семнадцатого века, на их аршин. То, против чего я всю жизнь ратую, для них не имеет даже значения курьеза. Надо это понять!..

Спорить с ним было трудновато, и он никак не хотел сойти с того тезиса, что он писатель «семнадцатого века»⁷.

Любитель театра, Салтыков, однако, на этот раз посетил не Comédie Française, как в 1875—1876 годах, а спектакли легкого жанра — водевиль «Niniche» и феерию «La biche au bois»^{*}. Феерию Салтыков смотрел вместе с Урусовым и Боборыкиным. Последний так вспоминал об этом спектакле: «Выставка женского тела в разных эволюциях и группах давала ему <Салтыкову> повод ядовито и забавно острить в антрактах над нравственным уровнем парижских сцен»^{**}. В театре он сильно раскашлялся и после четвертого акта запросился домой, обвязав себе шею большим фуляром, хотя температура была тропическая.

^{*} «Лесная лань» (фр.).

^{**} Описание впечатлений Салтыкова от спектакля «La biche au bois», данное Боборыкиным, дополняют два отзыва об этом спектакле самого Салтыкова в письмах к Гаевскому — грубо-саркастические, но чисто «щедринские» по манере, яркости и резкости. Один из них написан до посещения спектакля: «Живу здесь взаперти совершенно так, как бы жил на Колтовской или в 1-м Парголове. Даже в эту минуту жена и дети присутствуют на представлении «La biche au bois», а я, как дурак, сижу дома. А представь себе, в этой пьесе есть картина «Купающиеся сирень», где на сцену брошено до 300 голых женских тел (по пояс), а низы и задницы оставлены под полом в добычу машинистам. Я слышал, что Унковский нарочно приехал инкогнито в Париж и перерядился машинистом <...>. Как только мне будет полегче,

Вышли мы на бульвар, в этом месте, против театра Porte St.-Martin, высоко поднятый над мостовой, и нас охватила живая картина ночного Парижа.

— Вот это здесь лучше всего! — вскричал Салтыков, и его глаза сразу повеселели.

Он постоял с нами, любуясь бульварной толпой, где преобладал простой люд: блузники, торговки апельсинами, гамэны, проходившие домой работницы.

Кажется, только это ему безусловно и нравилось в Париже»⁸.

Находясь в Париже, Салтыков узнал из газеты «Порядок», издававшейся Стасюлевичем, что по инициативе редакции «Русской мысли», возглавлявшейся В. М. Лавровым, группой московских литераторов был отмечен «юбилей» писателя, датой которого было взято 25-летие выхода в свет «Губернских очерков». Описание московского праздника сохранилось в письме к Г. И. Успенскому московского нотариуса Н. П. Орлова (Северова), связанного с революционным движением: «Обед был 31 августа в большой, очень красивой зале Эрмитажа по 8 р. с персоны; собралось человек 50; большой портрет Щедрина, в целой массе лавров, стоял на видном месте <...>. Главным распорядителем обеда был Лавров Вукол Михайлович <...>. В числе закуски красовался «окорок торжествующей свиньи» и свиная фаршированная голова, роскошно сервированная «Московскими ведомостями», что сильно не понравилось «Новому времени»...»⁹

Но это празднование «сильно не понравилось» не только «Новому времени» и другим изданиям реакционно-консервативной печати, но прежде всего самому Салтыкову. Впрочем, он (как и Толстой) отрицательно относился ко всяким юбилейным чествованиям здравствующих деятелей, находя эту форму признания общественных заслуг нескромною и неизбежно избыточной фальшью разного рода преувеличенных похвал и полуправд. И когда его лицейский товарищ В. П. Гаевский письмом в Париж предложил Салтыкову продать после его возвращения домой юбилейные торжества от имени Литературного фонда в Петербурге, то получил в ответ сердитый отказ. «Многоуважаемый Виктор Павлович! — писал Салтыков. — Сейчас получил твое письмо и спешу отвечать на него. Что касается до оваций по поводу юбилея, то я решительно желал бы их отклонить по след<ующим> причинам. Во-первых, это юбилей чисто выдуманный, потому что

я сейчас же отправлюсь. А может быть, тоже машинистом переоденусь» (XIX-2, 33). А после посещения спектакля Салтыков такими словами поделился своими впечатлениями: «Был в «La biche au bois». Урусов сидел около меня и все кричал, чтоб его на сцену пустили. Задницы были голубые, зеленые, розовые, красные, белые с блестками, и у всех — ангельское выражение (там же, 40). В эти дни Салтыков был болен, чувствовал себя плохо, но присущее ему vis comica и сарказм не покидали его никогда.

моя литературная деятельность началась с ноября 1847 года, а ежели считать стихи, то и раньше. Во-вторых, я так болен, что торжества для меня должны быть губительны <...>. В-третьих, я ужасно не желаю обращать на себя внимание публики. Я не говорун и не хвастун и положительно потеряюсь <...>. В-четвертых, рядом с овациями, начнутся и глумления <реакционной печати> <...>. В-пятых, я не только литератор, но и журналист, человек партии. Партия, к которой я принадлежу, никакого участия в овациях не примет; затем, участвовать будут люди, которым хотя я и сочувствую, но рядом с которыми до сих пор не шел. Согласись сам, что это будет торжество довольно странное. Впрочем, без торжества я отобедать готов, но именно в кружке Литературного фонда и сочувствующих ему людей. Надеюсь, что их не будет более 20—25 человек» (XIX-2, 39—40).

Приведенные строки принадлежат к драгоценным автобиографическим признаниям Салтыкова. В них — прямое удостоверение одной из симпатичнейших черт его сурового характера, не столь уж часто встречающейся у писателей, — скромности и отсутствия тщеславия, что, однако, не означает, что автор «Истории одного города» не понимал своей роли и значения в отечественной литературе и общественной мысли. Что касается второго пункта приведенного письма, то опасения, связанные с возможными последствиями юбилея для здоровья Салтыкова, в еще более категоричной форме авторитетно подтверждены Белоголовым в письме к В. И. Лихачеву от 20 сентября 1881 года. «На днях, — извещал В. И. Лихачев В. П. Гавевского, — я получил от Н. А. Белоголового письмо, в котором он сообщает, что М. Е. Салтыков сильно волнуется, боясь, чтобы по возвращении его домой, в Петербург, не надумали разразиться какими-нибудь обеденными манифестациями. К этому Белоголовый прибавляет: «Для меня, как врача, в этом есть сторона серьезная: вдруг с Михаилом Евграфовичем во время затрапезных волнений приключится непоправимый и даже смертельный удар...»¹⁰

Друзья писателя посчитались с его просьбами и предупреждениями лечащего врача. Юбилейные манифестации в Петербурге были отменены.

Отечество встретило Салтыкова не весьма приветливо — и политической «непогодой», и таким холодом и ветром, которые сразу усилили его простудное заболевание, начавшееся еще в Париже. Тем не менее, как обычно после своих возвращений в Петербург, он сразу же принялся за неотложные дела редакции. Уже на другой день Салтыков писал Островскому: «Многоуважаемый Александр Николаевич. Возвратясь вчера из-за границы, я считаю первым долгом обратиться к Вам с обычною просьбою: дать нам для 1-го № Вашу новую комедию, ежели таковая у Вас имеется. Хоть наш журнал и считается ныне злонамеренным (в особенности я лично), но на-

деюсь, что Вы не откажете нам в продолжении Вашего сотрудничества (XIX-2, 42). Надежда Салтыкова на Островского оправдалась. На этот раз он прислал «Отечественным запискам» одну из лучших своих пьес — «Таланты и поклонники». Но подтвердились и замечания Салтыковым об ухудшившемся отношении властей предержавших к журналу и к произведениям пера их редактора. В письме к А. Н. Энгельгардту, отправленном через 5 дней, Салтыков сообщал: «Едва ввалился в квартиру, как узнал, что в сентябрьской книжке мою статью вырезали. Вот тут и гадай. И болезни, и начальство немилостивое, а писать все-таки надо. Ведь это сущая каторга, а когда она кончится?» (XIX-2, 44).

«Каторга» работы крупнейшего в русской литературе писателя-обличителя и редактора оппозиционного журнала под неусыпным политическим контролем «немилостивого начальства» становилась все суровее. Болезни же все усиливались. Но, несмотря на все трудности положения и без конца повторяемые в разговорах с близкими людьми и в письмах к ним заявления о желании прервать эту «каторгу», распрощаться с редакторством, даже бросить саму литературу, Салтыков оставался на своем посту. Оставался и боролся как мог с атаковавшими его со всех сторон силами реакции.

Одним из показательных примеров этой борьбы является, в частности, попытка сохранить публикацию «Третьего письма». «Письмо» это, уже отпечатанное для девятого номера «Отечественных записок» (1881), вызвало в цензуре невероятный переполох и было вырезано из уже готовой книжки журнала. Салтыков пустил в ход все свои связи, еще сохранявшиеся от времен Лицея и государственной службы, и сначала дело было пошло. Но слишком уж одиозен был для властей материал вырезанного «Письма», исполненного огромной силы презрения и сарказма по отношению к аристократическим и высокопоставленным членам Дружины, чтобы предпринятые хлопоты увенчались успехом. Салтыков убедился в этом окончательно после свидания с самим министром внутренних дел гр. Н. П. Игнатьевым, одним из основателей Священной дружины и полускрытым «героем» «второго письма» из «Писем к тетеньке», посвященного теме «о лгунах и лганье»*.

Между тем вырезанное «третье письмо» сразу же получило распространение в списках и гектографированных отпечатках, а затем и в изданиях зарубежной русской печати. Здесь нужно заметить, что ко всем этим неофициальным обнаружениям как «третьего письма», так и других запрещенных цензурой сочинений Салтыкова сам он (вопреки тому, что сооб-

* «Кому в России неизвестна была печальная черта его характера, — писал об Игнатьеве Е. М. Феоктистов, — а именно необузданная, какая-то испонятная склонность ко лжи»¹¹.

щается в ряде работ о нем) никакого отношения не имел. Более того, он огорчался этими нелегальными «публикациями» и стремился насколько мог препятствовать им, усматривая в них возможный предлог для усиления цензурных репрессий в отношении своих произведений.

В полном соответствии с замыслом знаменитая «Переписка с тетенькой» Салтыкова была посвящена вопросам, «касающимся исключительно современности» (XIX-2, 11). Даты этой «современности» определяются периодом начиная с лета 1881 года, когда автор приступил к работе над «Письмами...», и кончая маем 1882 года, когда завершилась их журнальная публикация, сильно покаленная цензурой. Что же это была за «современность»?

Как и предвидел Салтыков, террористический удар, нанесенный 1 марта 1881 года Исполнительным комитетом «Народной воли», не только не сокрушил основ самодержавия, но и не поколебал их и скорее оказался вредным для дела революции и для общественной жизни страны в целом. На престол взошел сын убитого Александр III. Чувства страха и растерянности в царской семье и правительстве прошли не сразу. Колебания в выборе политического курса продолжались и после того, как новый император казнил первоапрельцев и выступил с манифестом о незыблемости самодержавия. Провозглашенное манифестом требование отказа от каких-либо уступок конституционного характера не было осуществлено сразу и сочеталось в первое время с тактикой выжидания и «либеральных» заигрываний с обществом. Лишь убедившись в том, что убийство Александра II не вызвало ни последующих террористических актов, ни массовых выступлений крестьянства, ни подъема оппозиционной активности либеральной интеллигенции, правительство взяло курс на открытую реакцию.

Салтыков начал свою знаменитую «переписку» в самый разгар так называемой «эры народной политики». Проводником ее был избран уже названный нами гр. Н. П. Игнатьев. Лозунги «народности», провозглашенные им, имели своим назначением прикрыть реакционную суть тактики «обращения к содействию общества» в борьбе с «крамолой». Тактика эта, прозванная современниками «диктатурой улыбок и приглашений», исходила из признания несостоятельности одних только полицейских мер борьбы с революционным движением и оппозиционными настроениями.

Вот этот исторический момент, со всеми его сложными эволюциями и контрастами, и воссоздан в «Письмах к тетеньке». Вместе с тем это произведение является уникальным в своем роде источником для осмысления истории и типологии русского общества, русской интеллигенции на одном из их переломных этапов. И в том и в другом качестве «Письма к тетеньке» неоднократно использовались в литературе,

в частности Александром Блоком в «Возмездии» и Максимом Горьким в «Жизни Клима Самгина».

В «Письмах к тетеньке» нет недостатка в ударах салтыковской сатиры и публицистики по существовавшему в стране «порядку вещей», по его идеологическим и государственно-административным силам. Но писатель-социолог понимал, что путь правительства к реакции во многом облегчался, а в известной мере и подсказывался соответствующей общественной обстановкой, теми сдвигами вправо, которые происходили в кругах интеллигенции, все более становившейся буржуазной и отходившей от недавних демократических традиций. «Исследование» общественной обстановки, общественных настроений, с расчетом содействовать их изменению в направлении противоборства реакции, было главной идеей в замысле принятой Салтыковым «переписки». Задуманные в художественно-публицистической форме *прямой социально-политической «агитации»*, эти регулярные беседы с читателями раскрывали перед ними, в пределах цензурных возможностей и с удивительным духовным бесстрашием, всю правду этого нового «трудного времени» в русской жизни — трудного и драматического времени краха также и второй революционной ситуации, и начинавшегося, по словам Ленина, «расцвета» «измен либерализма».

Откликаясь на не завершенную еще публикацию всего произведения, либеральная газета «Голос» писала в январе 1882 года: «Что касается настоящего, с его терзаниями, болями и унынием, его наиболее цельным воспроизведением в текущей литературе являются, бесспорно, «Письма к тетеньке» г. Щедрина — сатирическая хроника, где наиболее жутко отразились все тревоги последнего времени, вся глубина наших скорбей и горестей. Этим «письмам» вторят многие честные сердца. В них, этих «письмах», находим мы всем знакомые черты современности. Вот идея, которая занимает всех: об ограждении человеческой породы от угрожающей ей нравственной смерти, вот «хлевные торжества», вот знакомое всем нам «уныние», которое не есть отрицание жизни, а только тоска по ней... Вот горсточка мыслящих людей, считающихся «превратными толкователями», и множество мерзавцев, стоящих в мнении «благонамеренных» «на доброй стезе»; вот бесчисленные «оазисы» «добропорядочной жизни» — увеселительные и злачные места всех рангов и пошибов, вот «земские люди» — Хлобыстовские и Дракины, хранители крепостных традиций, являющиеся на зов «содействия» с криком «страх врагам!», желающие заменить собою Сквозников-Дмухановских, с тою разницею, что их, Дракиных, считают теперь за «излюбленных людей», за плоть от плоти нового общества. И вот, наконец, заполняющие всю авансцену новейшие Ноздревы с их «трезвенным словом» и с их новым кличем и методом общественного действия: «наяривай!» А в общем — ме-

ждоусобие под видом «содействия» и у всех один двигатель — карьера»¹².

Газета достаточно полно и осведомленно «аннотировала» главные явления и вопросы, составлявшие содержание салтыковских «писем». В своей совокупности они создали широкую картину, цельное полотно русской общественной жизни определенного периода и «групповой портрет» ее главного действующего лица — «тетеньки».

Выше было сказано, что «Письма к тетеньке» задуманы с намерением оказать на общество прямое социально-политическое и социально-нравственное воздействие в определенном направлении. Это не значит, однако, что социологический анализ и публицистический пафос вытеснил из произведения его художественные ценности.

Выдающимися художественными достижениями произведения являются два главных его образа — самой «тетеньки» и эпистолярно беседующего с нею ее «племянника».

Адресат салтыковских «писем» — либеральная и близкая к ней интеллигенция занимала к моменту кризиса самодержавия видное место в общественной жизни страны. В ее руках находилась, в частности, большая часть газетно-журнальной периодики в столице и в провинции. В ее среде были сильны конституционные настроения. При определенных условиях она могла бы быть серьезным фактором в борьбе с самодержавием.

Салтыков высоко ценил общее значение интеллигенции (гуманитарной) как образованной, хотя и весьма тонкой прослойки общества. Он писал о ней: «Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе» (XVI-2, 12—13). Особенно высоко ставил он те молодые силы интеллигенции, которые пытались практически, делом служить общественному идеалу. Известно, с каким уважением он относился к участникам «хождения в народ», хотя с ужасавшей его самого трезвостью видел, понимал весь драматизм этого движения, одного из самых святых в русской жизни.

Но просветительский пафос в принципиальной оценке интеллигенции сочетался у Салтыкова с реалистическим пониманием ее практического бессилия участвовать активно, на данном историческом этапе, в данной конкретной обстановке в борьбе с существовавшим строем. Убийство Александра II, освободившего помещичьих крестьян от ужасов личного «рабства» и открывшего реформами перспективы для устройства нового порядка вещей (при сохранении множества крепостнических пережитков), вызвало в значительной части образованных кругов и в массах совсем не ту реакцию, на которую рассчитывали народовольцы. Последствия царевубийства, явившегося кульминацией в борьбе тогдашних революционеров с самодержавием, трагически обострило сознание неудачи оче-

редного революционно-демократического подъема. Неудача воспринималась как новый (после срыва шестидесятничества) акт в духовной драме русской демократии, крупнейшим выразителем которой в литературе после Герцена и Чернышевского был Салтыков. Настроения разочарования, скептицизма захватывали широкие круги интеллигенции, в первую очередь молодежи. Революционное народничество уже вступило в период глубокого кризиса, предвещавшего скорую гибель этого направления как активно борющейся политической силы.

Наряду с означенными процессами шли и другие, сливаясь и взаимодействуя с первыми. Восемидесятые годы, годы натиска политической реакции были вместе с тем, как сказано, с одной стороны, временем идейного и организационного распада революционного движения на его господствовавшем народническом этапе и, с другой — годами усиления буржуазных элементов в русской культуре, увеличения буржуазно-предпринимательской прослойки в рядах интеллигенции (печать, адвокатура и др.). Представители этой прослойки были в большинстве чужды идейной одержимости людей сороковых годов, радикализма и страсти к «делу» (революционному делу) людей шестидесятых годов — качеств, дорогих для Салтыкова. В сферу деятельности русской интеллигенции, особенно той, которая создавала печать, предназначенную для широких кругов читателей, все глубже вторгалась «улица»*.

Все эти и многие другие факты и обстоятельства, относящиеся к социально-политической «биографии» русской интеллигенции и к ее роли в жизни страны конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, нашли свое отражение и подверглись соответствующему «исследованию» в сложном образе «тетеньки». В «тетеньке» нельзя видеть персонафикацию какой-либо одной группы интеллигенции, одного определенного направления в ней или какой-либо одной характеристической особенности этой прослойки. Сложность образа — в его многозначности и в частой смене («модуляциях») составляющих ее элементов и обозначающих их «сигналов» узнавания. Вместе с тем образу «тетеньки» нельзя отказать в цельности. Но цельность эта не монолитна. Она достигнута, помимо мастерства в зарисовке «личных» черт, воссоздающих внешний облик и индивидуальный характер «тетеньки», искусством широкой типизации материала, хотя и весьма различного исторически, социально и идеологически. Из «Писем к тетеньке», безусловно, исключен материал, относящийся к интеллигенции двух крайних противостоящих лагерей — с одной стороны, революционного, с другой — воинствующе-реакционного. «Агитировать» эти группы, находящиеся в состоянии активного противоборства, разумеется, не входило в задачу писателя.

* «Улица» на языке Салтыкова в какой-то мере соответствует современному понятию отрицательных явлений в «массовой культуре».

С образом «тетеньки» неразрывно связан образ «племянника» — разновидность характерной для салтыковской поэтики фигуры «рассказчика». Оба образа отличаются значительной сложностью и не легки для понимания теми, кто не усвоил своеобразия салтыковской поэтики. Известный исследователь Салтыкова Вас. Вас. Гиппиус, уделивший много внимания изучению «Писем к тетеньке», писал по поводу этого произведения и образа автора «писем»: «С исключительной тонкостью создан здесь самый образ автора-обличителя. Он загромирован под «бывшего либерала», якобы простодушно вспоминающего о своих недавних «бреднях». Но «благонамеренный» тон автора все время скользит между очевидной иронией и *допущением* этой благонамеренности как реальной *опасности* для самого пишущего. Когда корреспондент «тетеньки» рисует ей целую программу жизни без «бредней»*, заполненную домашними обедами и хождениями к городовой и дворникам на свадьбы и крестины, когда он восклицает: «Воспряньте, тетенька, и будем лгать!» — это не только ирония, но вместе и необходимо шаржированное изображение той перспективы пошлости, к которой логически приводит всякая терпимость (или, по щедринскому выражению, — «повадливость»). Но автор не ограничивается этим: ироническая проповедь отказа от «бредней» то и дело перебивается невольными оговорками и сомнениями, а это дает возможность автору в ответственных местах говорить своим собственным голосом, уже без иронии»¹³.

Действительно, при всех изменениях в предмете, интонациях и идеологических акцентах бесед «племянника» с «тетенькой», читатель *всегда* явственно слышит голос *самого Салтыкова*. Образ «племянника» — объективная, художественная реальность. Но Салтыков, верный своей субъективной поэтике, не отделяет вполне этот образ от собственного «я». Это позволяло ему непрестанно проводить *свои взгляды* на исследуемую действительность, освещать ее светом *своих надежд* на «исторические утешения», хотя оптимизм их никогда не свободен вполне от горьких примесей сомнений и скептицизма.

Осенью 1882 года, в октябре, «Письма к тетеньке» вышли отдельным изданием. Эта книга и предшествующие ей журнальные публикации отдельных писем вызвали едва ли не самую обширную критическую литературу среди всех других произведений Салтыкова. Немало отзывов сохранилось также в переписке и воспоминаниях современников. Восхищенные упоминания «Писем к тетеньке» не раз встречаются, в частности, в переписке Тургенева и Анненкова, а их суждения больше всего ценил Салтыков. Получив отдельное издание произведения, Тургенев писал Салтыкову: «...великое Вам спаси-

* «Бредни» — на эзоповом языке Салтыкова — высокие общественные и нравственные идеалы. — С. М.

бо за присылку «Писем к тетеньке»; я перечел их с наслаждением <...>. Сила Вашего таланта дошла теперь до «резвости», как выражался покойный Писемский»¹⁴. Также и Анненков поблагодарил Салтыкова за присылку книги «архиерейским трезвоном во все колокола»¹⁵, о чем сообщил Тургеневу. Письмо Анненкова Салтыкову не сохранилось. Но очевидно, что в нем вместе с «архиерейским трезвоном» заключались размышления о трудностях прямого воздействия литературы на общество. Отвечая Анненкову, Салтыков писал: «Замечание Ваше вполне верно: несмотря на мою плодотворную литературную деятельность, она оказывается не особенно плодотворною. Вещи остаются на прежних местах, и дела идут по-старому. Но чему приписать этот печальный результат (ноль)? тому ли, что моя деятельность чересчур мелка и не задает сущности вещей, или же особенному патологическому состоянию, в котором находится русское общество? Если деятельность моя органически недостаточна, то мне остается только покориться этому приговору и сказать только, что я даю что могу. Да ведь, в сущности, я, право, и не тщеславен. Иногда желал бы даже все бросить и удалиться куда-нибудь в захолустье, потонуть в волнах забвения, пропасть. Особенного удовольствия я в жизни не имею — это верно. Я не стану также ссылаться на величайший образ цензуры, который всегда предстает перед очима моима*, потому что ни читателю, ни критику до этого дела нет. Но могу сослаться на Гоголя, которого считают даже великим писателем и чьей деятельностью была, в общественном смысле, тоже не особенно благотворною. Он тоже ничего с места не сдвинул и тоже ничего не изменил. А он все-таки пользовался благосклонностью, я же пользуюсь — ненавистью» (XIX-2, 141 — 142).

Приведенное признание одно из многих, дающих возможность непосредственно ощутить трагическую подоплеку писательского труда Салтыкова. Конечно, объективно Салтыков был не прав в своих сомнениях. Силу его обличительного творчества, направленную против существующего «порядка вещей», знали как его идеологические единомышленники, так и враги. Но нам известны истоки и понятно содержание владевших Салтыковым сомнений. Они восходят к возникшим в его сознании, еще в юные годы, максималистским требованиям непосредственной результативности искусства. Этот своего рода категорический императив — требование, чтобы слово писателя «производило нравственные потрясения» и «сдвигало вещи со своих мест», владело Салтыковым на протяжении всего его литературного пути, то с большей, то с меньшей силой.

По словам В. И. Танеева в одном из его писем к

* Перед моими глазами (церковнославянизм). — С. М.

П. Л. Лаврову, ни одно из произведений Салтыкова не вызвало столько полученной им корреспонденции от читателей, как «Письма к тетеньке». К сожалению, эта часть архива Салтыкова почти полностью погибла. А в сохранившейся малой части лишь одно письмо ученицы консерватории (восторженное) относится к «Письмам к тетеньке». Но существует немало других свидетельств современников, удостоверяющих, какое сильное воздействие на разные круги общества оказывали, вопреки сомнениям Салтыкова, его «Письма...». Вот, для иллюстрации, всего два отзыва, исходящие от людей противостоящих друг другу слоев общества. Первый отзыв принадлежит одному из высших сановников Российской империи, генерал-фельдмаршалу, члену Государственного совета, военному министру Д. А. Милютину. В дневнике его записано под 29 ноября 1881 года: «...писал сегодня А. В. Головину*, возвращая ему присланный им для прочтения оттиск не пропущенной цензурой статьи Салтыкова (Щедрина), одного из «Писем к тетеньке». Это одна из самых злых сатир его на современные настроения в Петербурге. Смешно, и в то же время крайне грустно»¹⁶. Второй отзыв в письме к А. И. Эртелю принадлежит какому-то И. В. Федорову, по-видимому — провинциальному учителю-словеснику. В отзыве дается общая характеристика творчества Салтыкова. Но возникла она под впечатлением от чтения двух первых «Писем к тетеньке». «Салтыков-Щедрин, — читаем в письме, — это один из тех, которые без страха освещают электрической искрой все закоулки общественного разврата. От него не уходит никакая общественная гадина, которой он не послал бы вслед хорошего пинка или ядовитого удара сатирическим пером»¹⁷.

Сила и пафос непосредственных впечатлений, которые испытывали современники при чтении «писем», давно утрачены, ушли в изжитое прошлое. Но о них дают представление не только свидетельства, возникшие в тот момент, но и ретроспективные, уже исторически осмысленные. Содержание и значение этих впечатлений хорошо «резюмированы» в воспоминаниях известного историка А. Кизеветтера, относящихся не только к «Письмам к тетеньке», но непосредственно касающиеся и этого произведения. «В течение 80-х годов, — читаем в названных воспоминаниях, — популярность Салтыкова достигла апогея. Его общественные сатиры читались с упоением. Каждая книжка журнала с его новым «Письмом к тетеньке» составляла своего рода событие... Именно в 80-х годах Салтыков, все расширяя диапазон своей сатиры, превратился <...> в настоящего библейского пророка, силую гневного и властного вдохновения сдергивающего покровы с самых глубоких язв современности. Его грозные обличения стали отливаться в символические образы ослепительной художественной силы.

* Члену Государственного совета. — С. М.

Люди моего поколения отлично помнят, какое громовое впечатление произвела та сатира Салтыкова, в которой он представил распространившиеся в обществе глумления над передовыми идеями освободительной эпохи в образе «торжествующей свиньи», порешившей сожрать Правду»¹⁸.

Успех «Писем к тетеньке» привел Салтыкова, в последнем его «письме», к признанию, что «тетенька выросла в его глазах». И у него возникла мысль создать новый небольшой цикл «Дополнительных писем к тетеньке». Главной задачей этих писем было призвать «солидарного читателя» — прогрессивную интеллигенцию — осознать свою пока еще скрытую силу и подумать о путях ее практического применения. Однако возникший замысел хотя и стал осуществляться, но потерпел неудачу в самом начале¹⁹. Сгущавшаяся атмосфера реакции смела его. После того как летом 1882 года министром внутренних дел и шефом жандармов был назначен один из главных столпов политической реакции гр. Д. А. Толстой, возможность прямых публицистических выступлений оппозиционного содержания была еще больше затруднена. Салтыков склонен был, и не без основания, приписывать и эту победу реакционного курса закулисной роли редактора «Московских ведомостей» Каткова. Он писал Белоголовому: «Главное, торжество Каткова чересчур уж позорно. И что еще позорнее — это то, что первые удары непременно падут на литературу» (XIX-2, 114–115).

Но у Салтыкова оставался еще другой способ борьбы — при помощи поэтики гротеска в сочетании с эзоповым языком. К нему и задумал обратиться писатель. Он решил возобновить начатый еще в 1877 году, но прерванный на девятой главе остросатирический роман «Современная идиллия». Мотивируя свое решение, Салтыков писал Белоголовому 8 июня 1882 года: «Письма к тет(еньке)» я кончил, и, как оказывается, совершенно к стати. Во-первых, надо же и кончать, а во-вторых, любопытно, о чем бы я теперь писать стал? Теперь надо писать о светопреставлении. Вы спрашиваете, что я готовлю дальше? Да вот, хотелось «Современную идиллию» кончить. Если судьба помирволит, то в этом занятии и проведу осень» (XIX-2, 115). Следующий же, 1883 год он намеревался посвятить продолжению другого начатого и также оставленного произведения — «Игрушечного дела людочки». Но Салтыков ошибся в своих расчетах. Работа над «Современной идиллией» — яростной сатирой на «светопреставление» крепавшей реакции заняла у писателя не только всю осень 1882 года, но и весну 1883 года. Замысел же начатого также гротескно-сатирического и вместе с тем социально-философского произведения о людях-куклах, людях-автоматах, попирающих живых людей, так и остался незавершенным.

Но, прежде чем обратиться к «Современной идиллии» и обстоятельствам ее создания, остановимся на некоторых

других фактах и эпизодах биографии Салтыкова этого времени, входящих в общую картину.

В своих автобиографических признаниях Салтыков не раз повторял, что после 1875 года, когда он пережил резкое обострение болезни сердца — а было ему тогда всего 49 лет, — он не знал во все последующее время своей жизни ни одного дня, в который бы чувствовал себя вполне здоровым. Однако, за исключением периодов резкого обострения его многообразных болезней, поразительная работоспособность Салтыкова не ослабевала — и это несмотря на частые физические страдания, доводившие его не раз не только до желания бросить и журнал и литературу, но и до мыслей о самоубийстве. «Я <...> серьезно уж помышляю о закрытии лавочки*, — писал Салтыков Тургеневу в феврале 1882 года. — Предположил себе; две работы докончить и две новые сделать <...> и баста. Все это сделаю до 1-го января 1884 года, ежели не умру раньше. А потом, может быть, даже застрелюсь. Физические страдания начинают одолевать. Характер делается невозможным; боюсь, что дети возненавидят» (XIX-2, 92). Не менее мучительны были для Салтыкова и нравственные страдания, возникавшие от его крайне обостренного восприятия общественно-политической действительности того исторического момента. «Жить скучно, томительно, почти невозможно <...>, — писал Салтыков Елисееву в марте того же 1882 года. — Вообще, проклятье на нас и на детях наших. Мне кажется, что ни в одной стране такого исторического момента не бывало. Даже торжествующие не понимают, в чем их торжество <...>. Уверяю Вас, что это какая-то фантазмагория, среди которой не найдется ни одного человека, который по совести мог бы сказать, что ему сносно живется» (XXI-2, 104—105).

Конечно, в современной Салтыкову России было немало людей, живших вполне «сносно» и в условиях реакции. Гипербола писателя — «ни одного человека» — игнорировала мир бездуховных, темных людей, лишенных какой-либо гражданской сознательности, дельцов, карьеристов и обывателей всех мастей. Салтыков имел в виду лишь тех, кто относился к текущей жизни с позиции каких-либо общественных идеалов, ни одному из которых эта действительность, как думал писатель, не удовлетворяла.

Тот факт, что реакцию восьмидесятых годов писатель воспринимал как «фантазмагорию», объясняет усиление в его творчестве (в таких произведениях, как «Игрушечного дела людилшки», «Современная идиллия», «Пошехонские рассказы», «Сказки») гротеска и других условных форм, изображающих мир как призрачный, обманный, одолевающий истинные ценности жизни. Прямая публицистическая речь и реалистическое письмо были недостаточны и цензурно невозможны для изоб-

* То есть «Отечественных записок». — С. М.

ражения этого периода русской жизни, объективно отражавшей духовную драму тогдашнего упадка революционного движения и демократических настроений в стране. И все же общественный темперамент писателя вырывался и в это особенно трудное в цензурном отношении время за рамки эзоповских иносказаний и гротескных форм к прямой речи, исполненной обличительной энергии против тех общественных явлений, которые были особенно враждебны Салтыкову и требовали клеймения. К такого рода выступлениям относится, в частности, статья «Июльское веяние», опубликованная в восьмом номере «Отечественных записок» за 1882 год*. Она была написана в Ораниенбауме, где Салтыков жил в этом году на даче. Поводом послужили антиеврейские погромы, прокатившиеся по югу России весной и летом 1881—1882 годов. Существует не поддающееся документальной проверке мемуарное свидетельство об эпизоде, послужившем будто бы непосредственным толчком для статьи. В заметке «Черты из жизни М. Е. Салтыкова» анонимный автор (А. И. Эртель?) вспоминает: «И. Н. Соркин, полуписатель, полуподрядчик из евреев-выкрестов, рассказывал мне в 80-х годах о посещении им в погромную эпоху Салтыкова, которого он просил заступиться за его гонимых бывших единоверцев. Салтыков обрушился на Соркина с криком: «Ступайте к Каткову, которому Ваш Поляков подарил дом для Лицея**, а меня оставьте в покое!..» И оба собеседника пришли в такое возбужденное состояние, что схватились за спинки стульев. Соркин выскочил как ошарашенный. Салтыков <...> написал свою знаменитую статью в защиту евреев...»²⁰

Запомнившаяся мемуаристу сценка иллюстрирует еще на одном примере импульсивность характера писателя и вместе с тем его отходчивость, приводившую совсем к другому решению вопроса, чем казалось по первоначальной реакции. Но, конечно, истинной причиной написания статьи было желание Салтыкова возвыситься, в условиях подъема антисемитских настроений — одним из проявлений и спутников реакции восьмидесятых годов — свой голос, привлечь силы добра и разума к «еврейскому вопросу», о котором он сказал: «История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного <...>» (XV-2, 235).

* Статья была введена потом в сборник «Недоконченные беседы» («Между делом»), изданный в конце 1884 г. Здесь статья заняла место «Главы шестой» (XV-2, с. 229—240).

** В 1868 г. Катков, при участии проф. Московского университета П. М. Леонтьева, основал в Москве Лицей цесаревича Николая, прозванный москвичами «катковским». В 1875 г. известный железнодорожный предприниматель и банкир-миллионер, еврей по национальности, С. С. Поляков подарил Лицею построенное на его средства большое здание на углу Остоженки и Крымской площади. Оно существует и поныне.

Подход Салтыкова к проблеме евреев и еврейства в России исполнен, с одной стороны, исторического идеализма и просветительской морали, а с другой — демократизма и социального анализа. Главное место в ряду тех «запутанностей», которые определяли ненормальное положение «еврейского вопроса», Салтыков отводил «преданию», которое хотя давно уже утратило смысл, но и доселе сохраняет в массах «свою живость». Речь идет о евангельском предании, согласно которому Иисус Христос был распят на кресте по воле иудейских первосвященников и военачальников, потребовавших от прокуратора Рима Пилата Понтийского, не хотевшего смерти Иисуса: «Распи, распни его!..» — и клятвенно заявивших при этом от имени всего народа еврейского: «Кровь его на нас и на детях наших!..»

С поразительной смелостью в условиях тогдашней не только политической, но и церковной цензуры Салтыков пишет об этом повествовании, принадлежащем главной из «священных книг» христианской религии: «Нет ничего бесчеловечнее и безумнее предания, выходящего из темных ушей далекого прошлого и с жестокостью, доходящей до идиотского самодовольства, из века в век переносящего клеймо позора, отчуждения и ненависти» на все еврейское племя (XV-2, 235).

Объяснение происхождения антисемитизма раннехристианским мифом и религиозным фанатизмом ненаучно. Оно грешит историческим и просветительским идеализмом; оно узко и недостаточно. Но в условиях того времени критика «предания» в обличительном выступлении Салтыкова не была ни беспредметной, ни несвоевременной. Враждебная по отношению к евреям эксплуатация евангельской легенды в самом деле служила на протяжении веков действенным оружием в агитационно-идеологическом арсенале антисемитизма. Оружием этим широко пользовалась реакция в царской России. Сам глава самодержавной власти император Александр III написал однажды на ходатайстве об улучшении положения евреев: «Если судьба их печальна, то она предначертана Евангелием»²¹. Эта же мысль внушалась с детских лет массам православного населения проповедями с церковных амвонов, а также школьным и домашним чтением Евангелия.

Среди причин, содействующих сохранению «незыблемости предания», Салтыков называет две. Первая — «несознанные капризы расового темперамента», то есть те или иные проявления еврейского племенного типа, характера и быта (особенно в черте оседлости). Вторая причина — произвольное представление о еврейском типе на основании образов, взятых не из среды трудящихся масс еврейского народа, а из его эксплуатирующих «верхов». Салтыков отвергает «сплошной» взгляд на еврейскую среду и ее отдельных представителей. Как и в любой другой национальной среде, в ней действуют законы социального расслоения. Есть еврейская буржуазия (во

всех ее модификациях — от местечковых арендаторов и шинкарей до космополитических банкиров и других дельцов-миллионеров), и есть еврейские трудящиеся. Салтыков ставит рядом с ранее созданными им фигурами отечественных кулаков-мироедов — Деруновыми, Колупаевыми, Разуваевыми — их еврейских братьев. Психология и деяния Разуваева-русского и Разуваева-еврея — «одинаково омерзительны». «Кому же, однако, приходило в голову, — спрашивает Салтыков, — указывать на Разуваева как на определяющий тип русского человека?» И продолжает, формулируя главный, определяющий тезис статьи: «А Разуваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату!» (XV-2, 238—239). Исполненное гневного обличения «еврейской травли», ставшей достоянием толпы, «и без того обезумевшей под игом собственного злосчастия» (там же, 335), «Июльское веяние» явилось первым в русской литературе отпором такой общественной силы против преследования евреев. За ним, на более поздних этапах, последовали выступления Л. Толстого, Короленко, Горького и др. На похоронах Салтыкова на его могилу должен был быть возложен венок из терниев с надписью: «От благодарных евреев», но он был заарестован полицией еще на квартире покойного.

Работа и болезнь все теснее замыкали жизнь писателя в «схиме» его домашнего кабинета и письменного стола. Он все реже выезжал куда-либо; а его домашние «приемы» ограничивались карточными вечерами в кругу немногих близких друзей — партнеров по игре. Из редких появлений Салтыкова в обществе этого времени наиболее примечательным является его присутствие на чествовании двадцатипятилетней деятельности С. П. Боткина. Чествование знаменитого ученого и врача, которого Герцен считал «доктором гениальным», происходило 27 апреля 1882 года сначала в большой зале Петербургской городской думы, а затем на обеде в ресторане Бореля²². На юбилейном обеде, на котором присутствовало около 400 человек, произошел эпизод, о котором Салтыков так рассказал в письме к Н. А. Белоголовому (после весьма саркастического описания самого обеда): «И вдруг, среди гама и шума, встает Сеченов и предлагает тост за Вашего покорнейшего слугу. Можете себе представить мое волнение и даже испуг. И начал коварно так, что и ожидать было нельзя. Боткин, дескать, значит как диагност, а между нами есть еще и другой диагност... Клянусь Вам, меня почти паралич хватил. Разумеется, я как дурак кланялся во все стороны. Хорошо, что еще кашель не захватил, а то картина была бы полная» (XIX-2, 107—108).

Что же сказал знаменитый русский физиолог о Салтыкове? А сказал он вот что: «Господа! Вы чествуете великого диагноста в медицине, но не забудьте, что в нашей среде находится теперь другой, не менее великий диагност — это всеми

уважаемый диагност наших общественных зол и недугов, Михаил Евграфович Салтыков». После этих слов Боткин подошел к Салтыкову с бокалом шампанского и сказал: «Ваше здоровье, дорогой коллега диагност!» Эпизод этот, сразу же попавший в печать, несомненно, имел определенное политическое значение. В обстановке все более сгущавшейся реакции выдающийся ученый-физиолог с мировым именем публично дал едва ли не самую глубокую и правильную оценку общественного значения сугубо обличительного творчества Салтыкова.

Действительно, во всей отечественной литературе нашей не было другого писателя, который бы так глубоко исследовал своим пером художника и публициста все главные социальные болезни, пороки и недостатки современной ему русской жизни, да и западноевропейской также. И не только исследовал, но и *предвидел* появление тех или иных отрицательных явлений по разному рода признакам, в том числе «уловляя, — по словам Горького, — политику в быте».

Салтыков, как не раз уже сказано, не любил публичных славословий по своему адресу и прямо-таки боялся их. Но, конечно, он по-разному относился к тому потоку откликов газетной и журнальной печати, которые сопровождали его почти ежемесячные выступления на страницах «Отечественных записок». Следуя завету Пушкина — «хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца», он удивительно спокойно относился к тем комьям грязи, которые в таком изобилии бросали в него журналисты реакционной и «уличной» печати. Лишь к обвинениям Каткова и его «Московских ведомостей» он проявлял настороженное внимание. Нередко он даже превеличивал роль и значение их воздействия на отрицательную политику властей по отношению к его, Салтыкова, литературной деятельности и руководимых им «Отечественных записок». Данное обстоятельство объясняется, возможно, отчасти и причинами лично-психологического или автобиографического характера. Салтыков ничто и никого так не ненавидел, как ренегатство и ренегатов. А на «крестного отца» своих сенсационных «Губернских очерков», появившихся в 1850-е годы на страницах либерального тогда «Русского вестника» Каткова, он смотрел именно как на «ренегата», «изменника»*.

Но к серьезным отзывам о своем творчестве, где выяснялись их *основы*, Салтыков относился со всем вниманием. Суждение, высказанное Сеченовым, принадлежало к последним и, несмотря на пережитое писателем волнение, нужно пола-

* В подготовительных материалах к поэме «Возмездие» А. Блока есть запись, относящаяся к характеристике восьмидесятых годов, ставших апогеем писательской славы Салтыкова: «Реформы отшумели. Еще жива память об измене Каткова. Рядом «злится» Щедрин. Достоевский — обскурант»²³.

гать, принесло ему удовлетворение. Публичное признание глубокого, важного значения его писательской деятельности в духовной жизни русского общества шло крещендо. После известных статей Чернышевского и Добролюбова о «дебютных» «Губернских очерках» новые серьезные критические труды о писателе появились именно в реакционные годы. Из них потом образовались книги. Их авторы — К. К. Арсеньев, А. И. Введенский, Евг. Утин и др.*. Все они принадлежали к либеральному лагерю, и не все сказанное ими правильно освещало содержание творчества писателя. Но они с глубоким сочувствием относились к его выступлениям, и признавали их выдающееся значение в духовной жизни общества, и, как современники, раскрыли в его произведениях многое, что для читателя наших дней уже давно ушло в исторически изжитое прошлое и без соответствующих пояснений и свидетельств осведомленных людей того времени не может быть понято во всей полноте содержания.

Общее представление о том, как воспринимался Салтыков в начале восьмидесятых годов, передовыми кругами русского общества, могут дать несколько цитат из сочувственной ему печати — отечественной и русской революционно-эмигрантской. Вот цитата из статьи Е. И. Утина 1881 года «Сатира Щедрина». «Давно уже, — читаем здесь, — русский писатель не производил на современное ему общество такого глубокого впечатления, как г. Салтыков. Каждое новое его произведение читается с жадностью; все о нем говорят, спорят; значительное большинство восхищается им. Даже те, у которых мороз должен был бы пробегать по телу при чтении как молотом бьющей сатиры, не отваживаются вступать в открытую борьбу с мощным писателем и в большей части случаев относятся к нему если не с любовью, то, по крайней мере, с внешним уважением. Только немногие от времени до времени тщетно стараются попасть в него если не комком грязи, то каким-нибудь бессмысленным бранным словом, которое, разумеется, обращается против тех, кто его производит. Враги литературных произведений г. Салтыкова должны надевать на себя маску: кому же охота узнавать себя в воспроизведенных автором лицах»²⁶.

Такого же рода оценки Салтыкова восьмидесятых годов содержатся в высказываниях П. Л. Лаврова. Во «все более горькой сатире Щедрина» он видел «единственно верное изображение общественных настроений» в стране, причислял писателя к «самым сильным деятелям» русской мысли, в про-

* Одна из этих статей — К. Арсеньева «Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова»²⁴ вызвала резко отрицательный отзыв цензора Лебедева. В своем донесении он, по словам М. М. Стасюлевича (известным из письма к А. Н. Пышину от 9 апреля 1883 г.), сообщил, что автор статьи «аплодирует <...> вредному направлению» Салтыкова²⁵.

изведениях которого «все мыслящее в России переживало надежды и разочарования, возмущения совести в перипетиях борьбы того времени»²⁷.

Пришедшее к Салтыкову в столь трудные для его мрачного восприятия черные восьмидесятые годы широкое признание все же морально поддерживало его беспримерную писательскую борьбу со все усиливавшейся политической и общественной реакцией. Одним из очередных проявлений этой борьбы и стало решение Салтыкова продолжить прерванную работу над «Современной идиллией».

Работа над «Современной идиллией» и ее печатание в «Отечественных записках» растянулись на несколько лет. Первая глава появилась в номере втором журнала за 1877 год в качестве самостоятельного рассказа. Под текстом была поставлена дата: «21 февраля 1877 г.». Она указывала на то, что рассказ был закончен в этот день и был написан в экстренном порядке, когда весь материал февральской книжки был уже отпечатан и уже с неделей тому назад номер журнала должен был выйти в свет. Из цитированного выше письма Салтыкова к Анненкову известно, что рассказ был написан вместо другого, вырезанного цензурой, — «Чужую беду — руками разведу».

Это — любопытный пример, неизвестный, кажется, в биографиях других писателей. Творческим импульсом для Салтыкова служили иногда направленные против него репрессивные действия властей. Рассказ «Современная идиллия» превратился в большой сатирический роман, имевший сложную творческую и цензурную историю. Сам Салтыков очень ценил его. Доказательством этому служит следующее автобиографическое признание в черновой рукописи главы XXV: «...ежели история современности уделит когда-нибудь мне хоть одну строку, то я желал бы, чтоб эта строка была посвящена не мне лично, а «Современной идиллии» (XV-1, 374). Салтыков изъясил эти слова из печатного текста, но они сохраняют интерес и значение по существу своего содержания.

За что же Салтыков так высоко ценил свой остросатирический роман на драматической подкладке? Разумеется, не только за его неисчислимы художественные богатства, исполненные блеска и новаторства. Главную ценность произведения Салтыков видел, несомненно, в силе изображения и обличения мрачной «идиллии», пережитой русским обществом в послепервомартовское время, которое он определял словом из христианской мифологии — «светопреставление». Это гротесково-дерзкое обличение не только и не столько произвола внешних, репрессивных сил режима и созданной ими системы политического «сердцеведения». Прежде всего это сокрушающие удары салтыковской сатиры по одной из социальных опор сложившейся ситуации — бессилию общества противостоять «тупой

и темной», «византийской», по словам Блока, реакции*. Бесилие порождает измену, предательство и гражданственную трусость. Последняя, в свою очередь, порождает психологию и практику «шкурного самосохранения». Она-то и является главным предметом обличения, сарказма и ненависти в великой сатире. Герои ее, одержимые паникой «шкурного вопроса», приходят к убеждению, что нужно не жить, а «*годить*». Сообразно с этим они и поступают: прекращают рассуждения, чтение и предаются исключительно еде, питью, телесным упражнениям, вступают в дружеские отношения с полицейским кварталом и сыщиками и, наконец, придя к убеждению, что только уголовная неблагонадежность может прикрыть и защитить человека от подозрений в неблагонадежности политической, совершают ряд уголовно наказуемых деяний. Изображение «подвигов героев» на стезе поисков «благонадежности» развернуто в «Современной идиллии» по типу авантюрного романа, в острогротесковой сатирической аранжировке. Как обычно для Салтыкова, произведение содержит множество прямых и эзоповски завуалированных откликов, всегда памфлетно заостренных и широко обобщенных по отношению ко всем главным общественно-политическим явлениям текущей современности. По этому поводу, прочитав первую главу «Современной идиллии», Анненков писал Салтыкову: «Это прелесть. Мне кажется, что одни комментарии к Вашим рассказам могли бы составить порядочную репутацию человеку, который бы за них умело взялся. Ввиду того, что Вы один из самых расточительных писателей на Руси, комментарии почти необходимы. — Сколько собрано намеков, черт, метких замечаний <...>, так это до жуткости доходит — всего не разберешь, всего не запомнишь <...>. Идеи, глубокие загляды в нутро жизни, необыкновенные слова, поражающие определения так и мелькают перед глазами. Это становится даже недостатком <...>. Слишком много даете зараз ценного добра читателю <...>. Читатель обременен золотом, которое Вы высыпаете ему в карман, и ходит как шальной от восторга, но сколько он получил — хорошенько не знает»²⁹. Это суждение, возникшее под впечатлением первой главы «Современной идиллии», вполне может быть отнесено ко всему произведению, на каждой странице которого читатель тех дней находил беспощадный в своем казнящем сарказме отклик на то или иное явление, на тот или иной отрицательный факт текущей действительности. Не менее высокую оценку нового произведения Салтыкова дал и Тургенев, акцентируя при этом его ху-

* «То, что Щедрин говорит о современных ему урядниках и полицейских («Современная идиллия»), — писал А. Блок, — верно, не шарж. Тогда и казалось, что есть и было на самом деле только две силы: сила тупой и темной «византийской» реакции — и сила светлая — русский либерализм. Единицы держат Россию, составляя общественное мнение»²⁸. К этим «единицам» «светлой» силы Блок и относил Салтыкова.

дожественное содержание: «Читали Вы в сентябрьском № «Отечественных записок» «Современную идиллию» Щедрина? — писал он Анненкову и продолжал: — Такого полета сумасшедше-юмористической фантазии я даже у него не часто встречал»³⁰. О значении юмора, смеха в «Современной идиллии» интересное замечание высказал Короленко, для которого Салтыков был одним из любимейших писателей. «Представьте только в самом деле, — писал Короленко, — что в то время, когда и без того было жутко, еще Щедрин затянул бы унылую успокоительную песню <...>. Да, нужно было иметь великую нравственную силу, чтобы, чувствуя так всю скорбь своего времени, как чувствовал ее Щедрин, уметь еще пробуждать в других смех, рассеивающий настроение кошмара и вспугивающий ужасные призраки»³¹.

Вместе с «Дневником провинциала в Петербурге» «Современная идиллия» принадлежит к тем крупным формам салтыковской прозы, которые он сам называл «сатирическими романами», то есть произведениями цельными, с широко развернутыми сюжетами и единой фабульной линией. Большинство же других крупных произведений писателя — «Помпадуры и помпадурши», «Благонамеренные речи», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина» и многие другие — это «циклы», «сборники», «хроники». При *единстве общей идеи* они состоят из «самостоятельных» рассказов или очерков, которые можно читать отдельно. Но и фабульная цельность обоих названных романов Салтыкова новаторски сочетается с внедрением в них сатирических миниатюр и инвектив. И те и другие, будучи подчинены общей идее произведения и связаны с его повествовательным развитием, вместе с тем обладают самостоятельным значением и литературной законченностью. И все они принадлежат к блестящим образцам сатирического пера писателя. Таковы в «Современной идиллии» сатирические миниатюры: «Такса» на разного вида «оскорбления» бывшего тапера публичного дома Очищенного и его автобиографический рассказ «Краса Демидрона» — рекламное объявление «ассенизационно-любоэрастной газеты», «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении», «Сказка о ретивом начальнике, как он своим усердием вышнее начальство огорчил», «Жизнеописание 1-й гильдии купца Онуфрия Петровича Парамонова...», «Злополучный пискарь, или Драма в Кашинском окружном суде» и др.

Последняя миниатюра, в драматической форме соединяющая, казалось бы, несоединимые элементы — блестящий комизм, вызывающий веселый смех и предельно язвительную сатиру на царское правосудие в политических процессах семидесятых — начала восьмидесятых годов, дала повод Л. Толстому высказаться о «Современной идиллии» и в целом об ее авторе. В дневнике Г. А. Русанова от 24—25 августа 1883 года находим такую запись:

«Разговор коснулся Щедрина.

— Вы читали его «Современную идиллию»? — спросил меня Толстой. — Помните суд над пискарями?

— Да, помню, — ответил я, — там хороши еще «взволнованные лоботрясы».

— Это прелестно, — сказал Толстой и при этом привел на память небольшую цитату, в которой говорилось о лоботрясах... — Хорошо он пишет, — закончил Толстой, — и какой оригинальный слог выработался у него.

— Да, — сказал я и потом прибавил: — Такой же, в своем роде оригинальный, был у Достоевского.

— Нет, нет, — возразил Толстой, — у Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог, а у Достоевского что-то деланное, натянутое...»*

Главный образ в «Современной идиллии» — внеперсонален. Это постепенно возникающие в сознании читателя многосторонние облик и сущность реакции, уловленные в быте, психологии и поступках героев. Это люди, испуганные и подавленные репрессивными силами режима и общественной «тишиной» — отсутствием гражданственного протеста и борьбы общества. Найденное Салтыковым для обозначения этого явления слово «годить» и соответствующая ему практика, превращающая проводников этого принципа из людей в «благонамеренных скотин», стали схожими по своему принципиальному, обобщающему значению с другими внеперсональными образами писателя, но топонимическими: Крутогорск, Глупов, Ташкент, Головлево, Пошехонье...** Но реализуется этот внеперсональный образ в «Современной идиллии» рассуждениями и поступками ряда действующих лиц, главными из которых являются уже ранее созданные Салтыковым персонажи — Глумов и Рассказчик. Эзоповская двойственность этих персонажей в «Современной идиллии» особенно ярко выражена. Здесь они, с одной стороны, инициаторы и главные проводники философии и тактики «шкурного самосохранения» и они же, с другой стороны, обличители в своих диалогах-дискуссиях этой растленной психологии и этого поведения, приводящих к пределам бездуховности, пошлости, примитива и подлости, до уголовных деяний включительно.

* Этой записи предшествует другая. В ответ на слова Русанова, что «любимый писатель современной молодежи — Щедрин, так как он касается политики, злобы дня, молодежь любит его больше остальных писателей», Толстой сказал: «И он вполне стоит этого. Щедрин я люблю, он растет, и в последних произведениях его звучит грустная нота...»³²

** Топонимические образы присутствуют и в «Современной идиллии». Это образы Петербурга и русской провинции периода реакции, увиденные с точки зрения героев произведения, всецело отдавшихся «подвигам» «шкурного самосохранения»: еде, питью, низкопробным удовольствиям, подлым связям и т. д. Отсюда — картины «милютиных лавок», мытного рынка, карточной игры в полицейском участке, описания квартиры содержанки («штучки») купца Парамонова и др.

Но крайним примером смелости салтыковского приема «далеких модуляций», посредством которого писатель излагал иногда свои собственные мысли и настроения, вкладывая их в уста отрицательных персонажей, является в «Современной идиллии» фельетон из главы XX «Властитель дум». Это одна из самых сильных инвектив Салтыкова против торжествующей реакции. Начинается она словами: «Негодяй — властитель дум современности. Породила его современная нравственная и умственная муть, воспитало, укрепило и окрылило — современное шкурное малодушие...» (XV-1, 199). И эти исполненные раскаленного гнева и презрения слова против реакции Салтыков вкладывает в уста растленнейшего персонажа «Современной идиллии», корреспондента распутной газеты «Краса Демидрона». И делает это он, исходя, разумеется, из полной уверенности, что читатель поймет смысл этого эзоповского приема и не припишет высказывание писателя «корреспонденту» названной газеты.

При всей силе комизма, характеризующей, как сказано, «Современную идиллию», нарисованная в ней общая картина оказалась настолько мрачной, что Салтыков захотел и здесь, как в некоторых других своих произведениях, бросить под конец луч света на изображенную им политическую и нравственную темноту. Не только великий писатель, но и великий социальный моралист, Салтыков попробовал закончить повествование о растленном поведении своих растленных «героев» картиной возникновения в них «тоски проснувшегося Стыда» (подобно тому, как он сделал это в финале «Господ Головлевых»). Но правда жизни, суровая правда того исторического момента в жизни русского общества, не позволила Салтыкову поверить в возможность такого появления Стыда, которое бы стало очищающим катарсисом для общества. И вместо светлого луча писатель закончил «Современную идиллию» такими скептическими словами: «Что было дальше? к какому мы пришли выходу? — пусть догадываются сами читатели. Говорят, что Стыд очищает людей, — и я охотно этому верю. Но когда мне говорят, что действие Стыда захватывает далеко, что Стыд воспитывает и побеждает, — я оглядываюсь кругом, припоминаю те изолированные призывы Стыда, которые от времени до времени прорывались среди масс Бесстыжества, а затем все-таки канули в вечность... и уклоняюсь от ответа» (XV-1, 283).

«Современная идиллия» была последним крупным произведением Салтыкова, законченным в 1883 году. Начался же этот год рядом ударов, нанесенных властями по «Отечественным запискам» и произведениям самого редактора. Он правильно усмотрел в них прелиминарии скорой гибели журнала. Началось с того, что 1 января из Петербурга был выслан Михайловский (вместе с Н. В. Шелгуновым). Формально он был выслан за речь, которую произнес на студенческом ве-

чере в Технологическом институте, а в действительности — за связь с революционным подпольем. Высылка его была тяжело пережита Салтыковым. Он так писал об этом событии Л. Н. Толстому: «А у нас случилось происшествие: Михайловского выслали из Петербурга <...>. Происшествие это до того меня сразило, что я жестоко заболел, и теперь пишу к Вам, весь в огне <...>. Мое положение весьма грустное: я остаюсь совсем один. И притом постепенно умирающий» (XIX-2, 161—162).

Через две недели, в середине января, последовал второй удар властей по журналу и непосредственно по Салтыкову — редактору и автору: «Отечественным запискам» было объявлено *второе предостережение* (после третьего предостережения издание приостанавливалось). Оно было вызвано сценами «Злополучный пискарь...» в XXIV главе «Современной идиллии» (Отечественные записки, 1883, № 1), а также статьей участника революционного движения Николадзе «Луи Блан и Гамбетта». Но главной причиной была салтыковская «драма» о суде над «злополучным пискарем». Крайне резкое донесение об этой сатирической «драме» постоянного цензора журнала Н. Е. Лебедева и его предложение об аресте январского номера журнала были поддержаны С.-Петербургским цензурным комитетом и утверждены Советом Главного управления по делам печати. Совет пришел к заключению, что «настоящий очерк не есть простая сатира, имеющая целью указать и осмеять действительные недостатки судебной организации вообще, а переходящая всякое приличие карикатура, не ирония, а нахальное издевательство, неистовое глумление над правительством в деле преследования политических преступников». Второе предостережение и его открытая политическая мотивировка породила в Петербурге и в провинции слухи об аресте Салтыкова и об административной высылке его из столицы. По этому поводу Салтыков писал А. Л. Боровиковскому: «...провинция окончательно думает, что я выслан из Петербурга. В Одессе видели, как я проезжал в Тифлис на жительство. В Самаре адрес мне готовили, но только не знали, в какой *город Пермской губернии* я выслан. Из Москвы телеграммы шлют: что со мной? Это уже почти *vox populi — vox Dei* *» (XIX-2, 198). Слухи эти проникли во многие газеты, что заставило Салтыкова прибегнуть к публичному опровержению в самой распространенной газете того времени «Новости и Биржевая газета» (1883, № 45, от 17 мая).

В этих условиях Салтыков, признанный в официальном правительственном документе «вредным писателем», вынужден был проявлять большую осторожность. «Отважное отчаяние» ** заставило его прекратить на три месяца свое появле-

* глас народа — глас божий (*лат.*).

** Слова из анонимной рецензии Е. С. Некрасовой на «Письма к тетеньке»³³.

ние на страницах «Отечественных записок». Он не только приостановил до мая печатание очередных глав «Современной идиллии», но и вырезал из февральской книжки журнала уже отпечатанные три «сказки»: «Самоотверженный заяц», «Бедный волк» и «Премудрый пискарь». Такие решения были результатом не каких-то предъявленных Салтыкову требований или советов властей, а проявленной самим писателем осторожности и овладевшей им «паники», которую он считал «жестоким свойством человеческой природы» (XIX-2, 198). О трудных настроениях Салтыкова начала весны «жестокоего», как он называл его, 1883 года свидетельствуют его письма этого времени к близким лицам, например Н. А. Белоголовому: «Я прекращаю писание»; С. А. Юрьеву: «Что касается до того, что я подписал <письмо> «Бывший литератор», то есть такой слух, что это так уже решено и записано в книге судеб, издаваемой сыном Москвы Катковым»; А. Л. Боровиковскому: «Я осужден на непечатание*». Штука очень простая. Феоктистов самым наивным образом заявляет: как только в «Отеч(ественных) зап(исках)» что-нибудь появится Салтыкова, то сейчас же арестовать книжку» и т. д. (XIX-2, 188, 185, 189). Конечно, и Катков и Феоктистов принадлежали к идейным недругам Салтыкова и были проводниками реакционного курса Д. А. Толстого и К. П. Победоносцева. И все же, как увидим, не они были инициаторами и главными фигурами в ожидавшейся и совершившейся через год катастрофе с журналом. Салтыков преувеличивал личное значение и участие в этом деле Каткова и Д. Толстого вместе с Феоктистовым. Мнительные мысли о прекращении литературной деятельности, вследствие враждебной позиции властей, сопровождалась и усиливались тревогами Салтыкова, связанными с предстоящим окончанием в будущем 1884 году арендного договора с Краевским на издание журнала. «Вообще, дело «Отеч(ественных) зап(исок)» идет так, — писал Салтыков в январе 1883 года А. Л. Боровиковскому, — что последний год контракта с Краевским, по-видимому, будет действительно последним годом. Набирать другую компанию соредкторов — было бы с моей стороны не совсем хорошо, а издавать журнал с отсутствующими редакторами** — право, ни на что не похоже» (XIX-2, 169 — 170).

Позицию цензурных властей по отношению к Салтыкову и его журналу подкрепили нападки реакционной и «уличной» прессы (статьи и отзывы в «Гражданине», «Московских ведомостях», «Киевлянине», «Руси», «Минуте» и др.). «Нельзя мне писать: подлю, — откликнулся на это Салтыков в письме к А. Л. Боровиковскому. — И сколько ругательств на меня из

* Слухи о прекращении Салтыковым писательской деятельности проникли и в печать³⁴.

** То есть с жившим за границей Г. З. Елисеевым и высланным из Петербурга Н. К. Михайловским. — С. М.

охранительного лагеря сыплется» (XIX-2, 198). К литературным невздам «жесточкого» года добавились — не считая продолжавшегося ухудшения здоровья — разного рода семейные заботы и неурядицы: устройство детей в гимназию, заболевания сына, а потом дифтеритом жены, углублявшееся состояние одиночества в семье и др.

Все сказанное выше не могло не способствовать усилению мрачных мыслей и настроений, вообще свойственных писателю и ставших постоянными спутниками последних лет его жизни. Свидетельствами этому служит почти каждое из его писем 1883 года. «Мой идеал теперь — удалиться в деревню и там начать непостыдно умирать» (Г. З. Елисееву); «...никогда я не испытывал такой тоски, как в настоящее время. Что-то тяжелое висит надо мною...» (ему же); «Мне довольно-таки тяжело. И болезнь, да и слухи всякие. Беспреданно заходят и к швейцару, и в контору <редакции>, спрашивают, не выслан ли я» (Н. А. Белоголовому); «Живется неудачно — вот и руки опустившись» (А. Л. Боровиковскому); «Помышляю о том, не переехать ли в Москву — там не будет ли полуднее» (Н. К. Михайловскому) и т. д. (XIX-2, 167, 191, 203, 208, 213).

Чтобы как-то поднять бодрость духа Салтыкова, небольшая группа сочувственных ему литераторов и близких друзей решили отметить в узком кругу годовщины двух связанных друг с другом важных событий в жизни писателя: 35-летие его литературной деятельности, считая с публикации его повести «Запутанное дело» (№ 3 «Отечественных записок» за 1848 г.), и вызванной этой публикацией его ссылки в Вятку 28 апреля того же года. В «Дневнике» К. К. Арсеньева сохранилась такая запись о первом чествовании: «19 марта <1883 г.>. Суббота. С 6 до 8^{1/2} у Донона на обеде в честь Салтыкова по случаю 35-летия его литературной деятельности; были еще Стасюлевич, Кавелин, Пьпин, Е. Утин, Гаевский и Лихачев. Салтыков очень радушно благодарил меня за мои статьи о нем, говоря, что это первая настоящая критическая его оценка» *³⁵.

Другая памятная дата, день ссылки в Вятку, была отмечена 28 апреля завтраком в том же ресторане Донона, на котором присутствовал, кроме самого Салтыкова и поименованных выше, еще Спасович. В тот же день, в более узком кругу, состоялся обед у Гаевского, на котором, кроме самого Салтыкова, присутствовали только Стасюлевич и Пьпин³⁶.

Но, помимо проявлений сочувствия к себе узкого круга близких ему людей, Салтыков отнюдь не был обойден в это

* Речь шла о трех статьях К. К. Арсеньева под общим заглавием «Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова», напечатанных в №1–3 «Вестника Европы» за 1883 г. Эти и другие статьи вошли с некоторыми сокращениями в т. 1 «Критических этюдов по русской литературе» К. К. Арсеньева (СПб., 1888) и в его книгу «Салтыков-Щедрин» (СПб., 1906).

время широким и все растущим общественным вниманием*. На одну из телеграмм от профессоров и студентов Харьковского университета Салтыков ответил так: «Душевно благодарю <...> за сочувственную телеграмму. Да процветает Харьковский университет, а еще более того — да процветает дорогая Россия!» (XIX-2, 173).

Одним из наиболее ценных Салтыковым знаков общественного внимания к нему и его деятельности стала подаренная ему аллегорическая картина, скомпонованная («коллаж») в Москве художником Д. Н. Брызгаловым и участником революционного движения нотариусом Н. П. Орловым (Северовым). На ней писатель изображен с январской за 1883 год книжкой в руках, за которую журнал получил второе предостережение. В своем любимом халате вишневого цвета он пробирается через темный лес реакции к просвету. Его преследуют силы реакции. На переднем плане изображена «торжествующая свинья», опоясанная полицейской саблей, в кустах блестят глаза шпиона, из-за деревьев наблюдает жандарм в треуголке, с обнаженных сучьев свешивается удав, на деревьях — вороньи гнезда с «полосами» «Московских ведомостей». Под картиной — четверостишие, сочиненное Н. П. Орловым (Северовым):

Тяжелый путь... Но близок час рассвета,
И солнца блеск зарделся в небесах;
Его лучом живительным согрета,
Проснется жизнь и тьму рассеет в прах.

Картина размножалась нелегально в простых и раскрашенных фотографиях** и пользовалась большой популярностью в революционной среде и в оппозиционных кругах общества. Известно, что часть «тиража» была распространена за деньги, предназначенные для средств Исполнительного комитета «Народной воли»³⁷.

Получив от Н. П. Орлова (Северова) специально для него сделанный экземпляр картины, Салтыков поблагодарил его следующим письмом: «Крайне Вам обязан за присылку картины, которая так сходственно и с обстоятельством дела согласно изображает существо вещей. Такого сходного портрета я, во всяком случае, не имел и не видел. Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы, на месте художника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще, это было бы полное изображение

* См. об этом с. 261—263, 314—320.

** Подлинник картины (масло, 0,51 × 0,83) хранится в Пушкинском доме. Впервые, в отечественной печати, она была воспроизведена мною в 1931 г. в № 1 «Литературного наследства» (см. ее воспроизведение в альбоме наст. изд.).

отечественного прогресса с непрерывно идущими гадами и с прогрессом, в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника» (XIX-2, 217).

Насколько Салтыков ценил эту картину, показывают три его письма, написанных осенью 1887 года в связи с утерей (временной) подаренного ему экземпляра. Он обращается в этих письмах к своим друзьям с «крайней и слезной просьбой» разыскать и приобрести для него этот портрет, так как нужно хоть что-нибудь настоящее сыну на память оставить и «очень горько будет, ежели он не будет иметь этот портрет» (XX, 386–387). Вскоре картина была воспроизведена, с соответствующим комментарием (вероятно, П. Л. Лаврова) в одном из номеров французского журнала «Revue nouvelle»³⁸. Полюбившаяся Салтыкову картина была доставлена ему накануне его отъезда за границу. Это была его четвертая зарубежная поездка, продолжавшаяся несколько более полутора месяцев. Поручив дела по журналу А. Н. Плещееву и С. Н. Кривенко, Салтыков выехал из Петербурга 5 июля 1883 года и возвратился домой 23 августа. Большую часть времени он провел в Баден-Бадене, затем совершил кратковременную поездку в Швейцарию и закончил путешествие недельным пребыванием в Париже*.

Как и прежде, Салтыков выехал за границу неохотно. Но на поездке настаивали, с одной стороны, врачи, а с другой — жена, Елизавета Аполлоновна. Она-то очень любила ездить за границу, особенно в Париж, «за туалетами», а «непримиримый» Салтыков не умел противостоять ее желаниям. Не дождавшись времени, когда дела по редакции позволили бы мужу покинуть на время Петербург, она выехала в середине мая, с детьми и гувернанткой, на юг Франции, в Каркассонн. Там жила ее сестра-близнец Анна. В 1882 году она вышла замуж за Валентина Турнье, одного из представителей древнего аристократического рода Франции, чьи предки были когда-то феодальными владельцами (seigneur'ами) Каркассонна. Два кольца крепостных стен этого города-замка с 52-мя башнями и по сей день представляют одну из исторических достопримечательностей юга Франции и посещаются множеством туристов. Салтыков, в годы вятской ссылки колебавшийся в выборе невесты между сестрами Елизаветой и Анной, весьма саркастически отнесся к позднему замужеству свояченицы. И главной причиной его недовольства и злых насмешек был не зрелый возраст невесты, которой исполнилось 43 года, а то, что ее сближение с будущим мужем, который был старше ее на 15

* Более детальный итинерарий и даты четвертой заграничной поездки Салтыкова: 5/17 июля — отъезд из Петербурга. С 8/20 или 9/21 июля по 3/15 августа — в Баден-Бадене. С 4/16 по 11/23 августа — в Швейцарии (Кларан). С 12/24 августа по 20 августа /1 сентября — в Париже. 22 августа/3 сентября возвращение в Петербург.

лет, произошло на почве общего их увлечения спиритизмом. Салтыков же ненавидел всякую мистику. Но его насмешки и колкости не отразились на добрых отношениях супругов Турне к именитому русскому писателю.

В эту поездку впервые Салтыков, находясь «на отдыхе», в «отпуске» от редакционных дел, почти ничего не писал. Пережитые в начале «жестокого» 1883 года неприятности, связанные с «Отечественными записками», а также нелады в семье и продолжающиеся болезни «всех фасонов» определили тот сниженный жизненный тонус, в котором проходили дни заграничного «отдыха». Особенно угнетало его, привыкшего проводить большую часть каждого дня за письменным столом, «что-то», что делало невозможным удовлетворять этой привычке. Лишь встречи с Елисеевым и Лихачевым в какой-то мере отвлекали его от владевших им трудных настроений. Но они не оставляли его ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции. Это удостоверяется каждым письмом данного времени. Вот, например, что мы читаем в одном из первых писем из Баден-Бадена к А. Л. Боровиковскому: «...пишу к Вам из Баден-Бадена, где бедствую на бивуаках и благодаря отвратительнейшей погоде всем нутром болен. Мои — благодарствуют, а я, должно быть, уж совсем помер, так что постоянно тоскую о сухой и просторной петербургской квартире». И дальше — постоянные для этого времени — мысли о судьбе «Отечественных записок» и сотрудников их в связи со все более сгущающимися тучами над журналом: «Мое положение совсем трагическое. У «Отеч(ественных) зап(исок)» два предостережения, и я — совсем измучился <...>. Я и решил уйти <...>. Однако ж с уходом моим упразднится место редактора, и нового, пожалуй, не утвердят. Поэтому многие из сотрудников могут остаться без пищи. Это обстоятельство настолько серьезно, что заставляет меня задумываться, не идти ли дальше до тех пор, пока судьба сама не устроит мою погибель» (XIX-2, 218—219). Этот «гамлетовский вопрос» — возобновлять или не возобновлять заканчивающийся контракт на редактирование «Отечественных записок» — был в конце концов решен Салтыковым положительно, что привело к продолжению контракта еще на два года, до 1 января 1886 года (см. XIX-2, 326). Решение было принято под определенным воздействием заботы Салтыкова-редактора о материальной судьбе своих сотрудников, хотя ни с кем из них он, как говорилось, не был связан узами личной дружбы и товарищества. Этот высокий морализм писателя-демократа — морализм не абстрактный, а вполне конкретный, практический — один из примечательных штрихов в характере писателя.

В другом письме из Баден-Бадена, к Елисееву, Салтыков сообщает: «Скучаю я здесь самым безобразным образом и, чего никогда со мной не случалось, к работе не приступался. Это положительно говорит об истощении» (XIX-2, 221).

Строки этого письма нуждаются в пояснении. Они свидетельствуют, что некоторый перерыв в писательской работе вовсе не означал «истощения», хотя бы и кратковременного, творческих сил писателя. В создавшейся трудной общественно-политической обстановке в стране Салтыков ищет и, как ему представляется, находит путь для продолжения своей писательской деятельности. У него созревают два творческих замысла. Первый из них — приняться «за что-нибудь бытовое». Это замысел «Пошехонской старины». Второй — «писать вещи явно глупые». Это замысел «Пошехонских рассказов».

Чтобы как-то отвлечь Салтыкова от его мрачных настроений, Лихачев, также находившийся тогда в Баден-Бадене, поддержанный Елизаветой Аполлоновной, предложил совершить путешествие в Северную Италию на озеро Комо. Салтыков согласился, однако по каким-то причинам это путешествие было заменено поездкой в Швейцарию, в Кларан, на Женевское озеро. Но и этот «рай для туристов» не поправил настроений Салтыкова. Непосильные же для его сил экскурсии ухудшили физическое состояние. О швейцарских впечатлениях и переживаниях Салтыкова дает представление его письмо из Кларана Н. А. Белоголовому. В нем читаем: «Пишу к Вам, имея перед собой Dent du Midi*, и в то же время весь скрюченный прострелом. Боль невыносимая, ни согнуться, ни разогнуться. Таковы последствия слишком деятельной жизни. Целых четыре дня каждодневно проводили в увеселительных поездках (...). Я всегда, впрочем, думал, что мне больше всего необходимо спокойствие, которое я могу получить только дома, хотя там не климат, а какая-то каша. Шататься по отелям, где негде приткнуться, вовсе не в моей натуре, а здесь еще вдобавок кормят какими-то экскрементами...» Такова Швейцария, таков Кларан, где жил когда-то Ж.-Ж. Руссо, в восприятии Салтыкова. Впрочем, после приведенных строк в письме есть редкая для мрачности писателя оговорка: «Все остальное здесь превосходно. Озеро — изумительное, горы — волшебные; отели — похожи на дворцы» (XIX-2, 222). Но все это великолеpie признавалось лишь внешне, объективно, не проникая внутрь и нимало не повышая жизненный тонус. Воистину Салтыков воспринимал действительность односторонне, оплачивая этой тяжелой ценой великий талант писателя-обличителя, которым одарила его природа.

Впечатления от поездки в Швейцарию нашли позднее отражение и в произведениях Салтыкова, а именно в «Пошехонских рассказах». Здесь в «Вечере третьем» («В трактире «Грачи») приводится рассказ Павлинского, чиновника департамента Раздач и Дивидендов — сатирический псевдоним министерства финансов, — о его недавней жизни в Кларане, то есть там, где побывал Салтыков. В этом рассказе писатель поднимается

* Название горного пика в Савойских Альпах. — С. М.

над мрачностью своих глубоко личных настроений и светло отзывается о Швейцарии как «стране свободы» и демократии, жизнь в которой противопоставляется в подтексте жизни в условиях полицейски регламентированного политического быта России. «Я провел почти месяц в Кларане, — рассказывает Павлинский, — и ни разу даже не почувствовал процесса жизни. Жил — вот и все. Жил — потому, что никто не препятствует жить, жил — потому, что не только сам себя чувствовал хорошо, но видел, что и другие чувствуют себя хорошо» (XV-2, 63). Дальше в рассказе называются достопримечательные места, в которых, надо думать, вместе со своим персонажем побывал во время столь утомивших его экскурсий сам Салтыков: «Глион, Вевз, Уши, Шильон, Евриан...» (там же, 64).

Из Кларана Салтыков с женой и детьми направился в Париж. Главной целью этого посещения французской столицы было желание попрощаться с умирающим Тургеневым. Об этом своем желании Михаил Евграфович писал Елисееву еще из Баден-Бадена. «Мне хотелось бы проститься с Тургеневым <...>. Все-таки хороший писатель был и немало людей утешил» (XIX-2, 221). Напомним, что Тургенев был наиболее лично близкий Салтыкову человек среди всех других писателей-современников, более близкий, чем его соратник по «Современнику» и «Отечественным запискам» Некрасов. Но Тургенев был уже так слаб и так страдал, что свидание не могло состояться, и даже посланное ему Салтыковым в Буживаль письмо — последнее письмо (оно неизвестно)* — вряд ли было прочитано. Лишь после смерти Тургенева Салтыков простился с ним на страницах «Отечественных записок» некрологическим словом.

20 августа/1 сентября Салтыков вместе с сыном Костей, которому нужно было поступать в гимназию, выехал из Парижа через Берлин в Петербург. Елизавета Аполлоновна с дочерью Лизой и гувернанткой осталась еще на две недели в Париже. При болезненном состоянии Салтыкова поездка в сопровождении десятилетнего мальчика была несколько рискованной, и Елизавета Аполлоновна, несмотря на крайне обострившиеся отношения с мужем, все же предложила сопроводить его, но получила отказ. Об этом Салтыков писал Н. А. Белоголовому, от которого не скрывал своего тяжелого семейного положения: «Супруга <...> предлагает свои услуги по части препровождения, но я знаю, что это будет одно надругательство, и отказываюсь. Лучше пусть я больной до Петербурга доеду, но недели две отдохну от гнусного пустословия, в основании которого лежит негодование на мою болезнь и на отсутствие гвардейской правоспособности (она, не стесняясь, укоряет меня этим). С нами есть гувернантка (от Оболенской), которую я совсем не знал и которую она нахвалить-

* Об этом письме Салтыков сообщил Белоголовому (XIX-2, 226).

ся не могла. Теперь она эту гувернантку возненавидела за то, что она с некоторым участием отнеслась к моей болезни» (XIX-2, 224).

Приведенные признания — относительно еще слабые предвестники будущих событий и переживаний, столь драматически осложнивших окончание жизненного пути писателя.

Как мы помним, в письме к Елисею из Баден-Бадена от 2/14 августа Салтыков заявлял, что ни к какой писательской работе он там не приступал. Нет никаких упоминаний об этом и в письмах из Кларана и Парижа. Однако в августовском номере «Отечественных записок» Салтыков начал печатанье своего нового цикла — «Пошехонские рассказы». Дата выхода в свет этого номера не установлена. Однако в цитируемом дальше письме Белоголового к Лаврову из Висбадена от 22 августа/2 сентября 1883 года уже содержится отзыв на первый из «Пошехонских рассказов» («Вечеров»). Значит, августовский номер журнала вышел, как обычно, где-то около середины месяца, и, значит, первый рассказ нового цикла, вопреки заявлению Салтыкова, что, находясь за границей, он ничего не писал, не вполне соответствует действительности. В августовский номер журнала первый рассказ мог попасть, если был написан за границей и оттуда прислан в Петербург, в редакцию.

Прежде чем обратиться к «Пошехонским рассказам», необходимо рассказать о событии, которое хотя и не было неожиданностью, но глубоко переживалось всей образованной Россией, и, конечно, Салтыковым.

22 августа/3 сентября 1883 года, когда Салтыков возвратился в Петербург из Франции, там — в Буживале — умер Тургенев. Лишь 19 сентября/1 октября тело его было отправлено в Россию, а 27 сентября/9 октября состоялись похороны писателя на Волковом кладбище Петербурга.

Салтыков, несмотря на болезненное состояние, принял участие как в самих похоронах, так и в ряде предшествующих им и последующих неофициальных встреч литераторов, близко знавших Тургенева. Об этом свидетельствуют три записки из дневника В. П. Гаевского 1883 года:

«16 сентября. — Утро в Комиссии по погребению Тургенева <...>. У меня обедали: П. В. Анненков, приехавший вчера в Петербург, Григорович, Салтыков и Стасюлевич. Было много рассказов и воспоминаний о Тургеневе. Григорович доставил мне еще письма к нему <...>.

3 октября. — Завтра мы сходимся у Донона в память Тургенева.

4 октября. — Обедал у Донона с Анненковым, Кавелиным, Салтыковым и Стасюлевичем. Вспоминали о Тургеневе и все были возмущены приемом Семевского, который, пригласив к себе Тургенева, устроил ему ловушку: стенографировал его разговор (вероятно, стенограф сидел в соседней

комнате) и напечатал его, как только скончался Тургенев. Прием, вполне достойный Семевского»³⁹.

В архивных фондах Департамента полиции сохранилось обширное донесение одного из его секретных агентов, А. К. Панова, содержащее характеристику политических настроений и подтверждающих их фактов среди демократических и либерально-оппозиционных кругов петербургских литераторов начала восьмидесятых годов*. В этом донесении содержится, в частности, следующее сообщение об участии Салтыкова в поминальном по Тургеневу обеде сразу после похорон:

«Прямо с кладбища мы отправились в гостиницу «Метрополь», где происходил обед в память Тургенева. На обеде присутствовало много петербургских литераторов народнической партии, как-то: Глеб Успенский, Юзов, Гайдебуров, Максим Белинский, Надсон, Пятковский, Минаев, Острогорский, Пыпин, Стасюлевич, Салов, Кривенко, Станюкович, Быков, Альбов, Баранцевич, Салтыков, затем из московских: Джаншиев, Муромцев, князь Урусов, Лукин, Абрамов и др. неизвестные мне лица <...>. Во время обеда Гольцев произнес крайне резкую речь <...>. После Гольцева несколько слов сказал Салтыков в обычной его манере, не поддающейся передаче другими словами. В них он перефразировал выражение Гольцева о дубах на венки (?) и чертополохах, которые являются старыми травами, заглушающими «молодые всходы». Не нужно ждать страшной грозы, которая именно годна только для дубов, а просто стоит старые травы вырвать руками с корнем». Агент не очень ясно передает здесь салтыковскую парафразу следующего места из речи В. Гольцева: «Нам стало тяжело дышать, над нами налегла грозовая туча <...>. Неужели же, господи, мы будем так слепы, так рабски угнетены, что не постараемся, чтобы над любимой нами нивой не разразился благодатный дождь, который должен освежить молодые всходы? Пусть этот дождь разразится при помощи страшной грозы, которая разрушит и повергнет на землю старые дубы с подточенными корнями, но мы, конечно, не будем жалеть о них: они заслонили от нас солнце...»⁴⁰

На другой день после похорон, 28 сентября, Комитетом Литературного фонда был устроен вечер, посвященный памяти Тургенева. Вечере дали согласие принять участие все крупнейшие литературные силы страны, находившиеся тогда в Петербурге. Но по разным обстоятельствам не смогли выступить А. Н. Островский, И. А. Гончаров и Салтыков. На вечере Гайдебуров прочел их письма с объяснениями причин их

* На донесении залакированная надпись: «Собственно Его Величества рукою написано: «Весьма поучительно и интересно. Что сделано по этим сведениям? Думаете ли оставить всех этих людей на свободе? 18 мая 1884 г.».

отсутствия: Салтыков сослался на состояние своего здоровья. «Я буквально не имею физической возможности выполнить мое обещание, — писал он. — Прошу Вас верить, что для меня это большое лишение, которое умеряется только уверенностью, что память о Тургеневе и чтение его произведений сами по себе дадут вполне достаточное содержание предположенному печальному чествованию...» (XIX-2, 234). Однако накануне Салтыков участвовал и в похоронах, и в поминальном обеде. Вполне возможно, что он, как и в случае с похоронами Некрасова, воздержался от публичного выступления не из-за болезни, а из опасения усложнить своим выступлением отношения с «блустителями порядка». Их отношение к чествованию памяти автора «Записок охотника» В. П. Гаевский охарактеризовал в своем дневнике словами: «Мертвый Тургенев продолжал пугать министров и полицию»⁴¹.

С чем же, с каким «словом» собирался выступить Салтыков на тургеневском вечере Литературного фонда? Мне думается, нет сомнений в том, что Салтыков хотел прочитать или взять за основу тот текст, который в качестве некролога Тургеневу он написал и успел поместить без подписи в части тиража сентябрьского номера «Отечественных записок» (IX, 457—459).

Среди множества отечественных и зарубежных откликов на смерть Тургенева анонимное выступление Салтыкова принадлежит к числу наиболее замечательных. По глубине и масштабности исторического осмысления Тургенева, его значения для русской жизни с этим выступлением соседствовало в те дни лишь одно — «тургеневская прокламация» народо-вольцев, написанная П. Ф. Якубовичем и распространенная в Петербурге в день похорон писателя⁴². В обстановке, когда в русском обществе уже явственно намечался поворот к эстетизму и развертывалась борьба за отказ от «наследства» шестидесятых годов, за эмансипацию литературы и искусства от оппозиционных традиций и — шире — вообще от общественных вопросов, Салтыков, от имени демократических «Отечественных записок», и Якубович, от имени «действующих революционеров», выступили с оценкой Тургенева, исходя из ясно и громко заявленного примата общественных интересов, из принципа общественного служения литературы. Оба выступления резко противостояли ходовому тезису некрологических статей о Тургеневе в большинстве органов печати: «Все достоинство его произведений заключается в чистой художественности»⁴³.

С суровой прямоотой и гражданственным пафосом «шестидесятника» формулирует Салтыков исходную позицию своей оценки Тургенева: «Как ни замечателен сам по себе художественный талант его, но не в нем заключается тайна той глубокой симпатии и сердечных привязанностей, которые он су-

мел пробудить к себе во всех мыслящих русских людях, а в том, что воспроизведенные им жизненные образы были полны глубокими поучениями» (IX, 457). Главной и неограниченной заслугой Тургенева, во мнении Салтыкова, были приверженность его «общечеловеческим идеалам» гуманизма и «сознательное постоянство», с которым писатель проводил эти идеалы в русскую жизнь. В этом отношении Салтыков считает Тургенева «прямым продолжателем Пушкина» (там же).

Ставя, далее, имя Тургенева в ряд с именами Некрасова, Белинского, Добролюбова и, несомненно, подразумеваемых Герцена и Чернышевского, имена которых нельзя было упоминать, Салтыков указывал тем самым на «руководящее значение», которое литературная деятельность Тургенева имела для русского общества в деле воспитания в нем гражданского самосознания и политического протеста, то есть в деле освободительной борьбы, хотя и не методами революционного насилия.

Наконец, предлагая вопрос, «что сделал Тургенев для русского народа в смысле простонародья?», и «не обинуясь» отвечая: «Несомненно, сделал очень многое и посредственно и непосредственно» (там же, 458), Салтыков определяет выдающееся значение автора «Записок охотника» с точки зрения высшего критерия эстетики демократического лагеря — критерия народности.

В статье Салтыкова сжато и сильно резюмирован своего рода итог сложно-противоречивого восприятия им Тургенева — созданных им образов и самой личности писателя. При этом некоторые из прежних критических суждений Салтыкова, продиктованные в свое время требованиями исторического момента, «интересами минуты», в особенности о Базарове, претерпевают глубокое и принципиальное изменение (ср., например, в т. V, с. 168—169).

Обратимся теперь к «Пошехонским рассказам» (1883—1884). Этим циклом Салтыков возобновил после небольшой паузы свою писательскую деятельность.

«Пошехонские рассказы» — один из тех *monumentum odiosum* — памятников позору — политической и общественной реакции восьмидесятых годов, которые отныне и до конца дней писателя будут создаваться его гневным пером. Вместе с тем это произведение с особенной наглядностью демонстрирует отмеченную выше особенность творческого метода писателя — метода «отдаленных модуляций» в разработке одной и той же генеральной темы.

Обличение реакции начинается в «Пошехонских рассказах» с резких по энергии гнева и презрения ударов «ювеналова бича» по самому обществу, не способному противостоять внешним (политическим) силам идейного оскудения и растления. Завершаются же рассказы в глубоко скорбном ключе из-

ображения трагических судеб Пошехонья и его злосчастных обывателей в условиях дряхлеющей пассивности, бессознательности и стихийности народных масс.

Напомним, что, когда цензура в 1877 году вырезала из № 2 «Отечественных записок» рассказ Салтыкова «Чужую беду — руками разведу», огорченный и разгневанный писатель заменил его началом «Современной идиллии», с намерением «привести самую цензуру в изумление». Однако это намерение было осуществлено писателем, но с гораздо большей сатирической дерзостью, в «первом» и отчасти во «втором» пошехонском «рассказе», которые в окончательной редакции Салтыков назвал «вечерами»: «Первый вечер», «Второй вечер» и т. д. Обратившись вновь (после «Истории одного города») к фольклорным образам «Пошехонья» и «пошехонцев» — то есть к мифической стране «глупцов» и к ее аборигенам, носителям всякого рода нелепостей и бестолковщины — к этой жестокой самокритике русского народа, самокритике отрицательных черт своего национального характера и образа жизни — Салтыков памфлетно применил эти образы к русскому обществу того «черного времени». Обличительная дерзость замысла заключалась в том, что сочиненные писателем *нарочито* глупые, пошлые и отчасти скабрзные «рассказы майора Горбылева» о своих нелепых похождениях были снабжены подзаголовком «По Сеньке и шапка» и эпиграфом «А н д р о н ы е д у т...», взятом, вероятно, из «Мертвых душ» (т. I, гл. 9), где он употреблен в значении «чепуха», «белиберда», «сапоги всмятку» и проч. А для того, чтобы раскрыть обличительную дерзость еще с большею ясностью, Салтыков закончил предисловие к «Первому вечеру» «признанием», что «до последней минуты колебался, что лучше публиковать: рассказы майора Горбылева или «Поваренную книгу»?» (XV-2, 9).

Однако выраженные таким необычным способом гнев и презрение Салтыкова к упадку социальной морали и духовных интересов общества вызвали «недоумение» не столько у цензуры, сколько у читателей, в том числе и у сочувствующих писателю. Враждебная же ему «уличная» пресса, воспользовавшись нарочитой бессодержательностью и элементами скабрзности в «рассказах майора Горбылева», подняла против писателя грязную волну обвинений в «беспринципном зубоскальстве», «пошлом балагурстве», «клубничестве» и даже... в «порнографии». Лишь ближайшие соратники и единомышленники писателя правильно усмотрели в его ультрасатирической смелости «особого рода стратегический прием»⁴⁴. Но и среди друзей писателя не все правильно поняли этот прием. Это видно, например, из следующих слов письма Н. А. Белоголового к П. Л. Лаврову из Висбадена от 22 августа/2 сентября 1883 года: «Вчера прочитал его (Салтыкова) пошехонцев и вынес грустное впечатление: сила таланта та же, но сила

власти Толстого и Феохтистова заставляет его сжиматься до крохотных размеров»⁴⁵.

По поводу хлынувшего на него водопада инсинуаций и грязи Салтыков, обычно спокойно относившийся к нападкам на него враждебной ему и «уличной» («бульварной») прессы, писал Белоголовому 16 сентября 1883 года: «Сочувствие Ваше мне особенно дорого в эти тяжелые дни, когда вокруг меня, умирающего, но еще живого, образовалась целая свистопляска самых паскудных ругательств, не предвещающих ничего доброго, ибо сигнал идет из «Моск<овских> ведомостей», которые, по-видимому, намерены заняться мною вплотную*. Я хотел перепечатать эти ругательства в сентябрьской книжке, но, по лености, не сделал этого. В октябрьской книжке — если ей суждено видеть свет — непременно сделаю» (XIX-2, 228—229). Но и этого своего намерения Салтыков не выполнил (надо полагать, что «перепечатка» должна была сопровождаться соответствующими комментариями Салтыкова). Взамен этого замысла он принял другое решение, о котором сообщает в том же письме к Белоголовому: «Пошехонские рассказы» я перевожу помаленьку на более серьезную почву — посмотрим, что из этого выйдет: может быть, третье предостережение» (там же).

Действительно, Салтыков так и поступил, «переведя» постепенно нарочитую пошлость «Вечера первого» во все нарастающий драматизм последующих «вечеров», особенно двух последних — «Пошехонское «дело» и «Фантастическое отрезвление». В начале «Вечера второго» сохраняются еще остатки первоначального замысла: «удивить саму цензуру». Но предмет для удивления на этот раз избран другой. Не воспоминания армейского служаки о своих фривольных похождениях, а зарисовки «положительных» типов дореформенной уездной администрации. Это сатирически-издевательский ответ писателя всем тем, в том числе и цензуре, кто постоянно упрекал «русского Езоп»: «Зачем вы все изнанку да изнанку изображаете? ведь это и для начальства неприятно...» (XV-2, 29). Решив «исправиться», Салтыков создал целую галерею «добродетельных» деятелей дореформенной русской провинции: городничих, предводителей дворянства, уездных судей, становых... Все они выведены «бессеребренниками», людьми, «взятки не берушими», но умеющими добывать себе «мзду» другими хитроумными способами. Как часто у Салтыкова, отдельные зарисовки сливаются в общую картину административного бесправия, корысти и всех видов безнравственности, под гнетом которых находилась русская провинция при крепостном строе. Он хорошо знал эти административные

* Салтыков имеет тут в виду резко отрицательный отзыв о «первом» из «Пошехонских рассказов» в статье «Сатира Щедрина», появившейся в «Московских ведомостях» (1883, 14 сентября, № 225, с. 4) за подписью «Ф», написанной, по-видимому, молодым тогда Н. Я. Гротом. — С. М.

нравы по своей службе. Созданная им галерея административных мздоимцев, с маской добродетели, живших по принципу «взяток не беру, а всего у меня изобильно», — ответ писателя на возникшие в годы реакции в определенных кругах ностальгические настроения по «утраченному раю» «доброе старое время», основанному на «патриархальной тишине» и «беспрекословности». В этом контексте уясняется латинский подзаголовок к «Вечеру второму»: «Audiatur et altera pars»*, выражающий противостоящий таким настроениям взгляд писателя.

Общей задачей и общим же содержанием автора в четырех последних «вечерах» было, как и в других произведениях этого времени, всестороннее обличение реакции — политической и в еще большей мере общественной. В этой области Салтыков не имел себе равных. Несмотря на все усиливавшееся сопротивление цензуры, он с удивительным мужеством продолжал ужесточать свои обличения и удары.

«Вечер третий» имеет подзаголовок «В трактире «Грачи» и разделен на три главки: «Комната первая», «Комната вторая» и «Комната третья». В разговорах и спорах ресторанных посетителей каждой из трех «комнат» переданы отношения к реакционному лихолетию соответственно трех общественно-политических групп: правительственной администрации, рядового (департаментского) чиновничества и «либрансёров» — либеральной интеллигенции. «Диспуты» участников последней группы завершаются страстной речью Крамольникова, а это, как известно, во многом идеологический псевдоним Салтыкова на страницах его сочинений. Речь содержит гневную критику трусливости и измен российского либерализма и вместе с тем исполнена суровых самообвинений, все чаще посещавших писателя в последние годы его жизни, но которые нельзя безоговорочно принимать за объективно-биографические реальности. Бичуя себя, Крамольников заявляет в порывах горького сожаления: «Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжисе жизни воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку... как раб!» (XV-2, 79). И дальше Крамольников продолжает, убежденный, что присутствующие внимают его словам: «Стыдитесь, господа! Вспомните, что вы люди и что не напрасно предание отличает человеческий образ от звериного! Вспомните, что в известных случаях отсутствие мужества равняется предательству!..» (XV-2, 80). Но тут произошло нечто, что прекратило его страстную речь. «Случайно оторвав глаза от лучезарного пространства, к которому они были прикованы, он опустил их долу... Перед ним стоял пустой стол...» (там же). Слушавшие вначале его смелые слова «либрансёры» исчезли все до единого. Взамен

* Следует выслушать и другую (противную) сторону (лат.).

их возникли две мрачные фигуры Скорпионова и Тарантулова — секретных соглядатаев политической полиции*.

«Вечер четвертый» имеет подзаголовок «Пошехонские реформаторы». Их двое: Андрей Курзанов и Никанор Беркутов. Первый из них — салтыковский образ человека из народа или «опростившегося», из привилегированного слоя, решившего жить «по-божески», то есть в правилах аскетизма и уравнительности христианского «коммунизма» («тебе кусок и мне кусок и всем прочим по куску»). Это своего рода эскизный набросок к более разработанному портрету «брата Федоса» из «Пошехонской старины». Салтыков ценит моральную высоту стремлений Курзанова, но понимает, что его проповедь и соответствующие ей поступки — это не путь борьбы, направленной на радикальное переустройство социальной действительности. Поэтому Курзанов в его глазах — не истинный, а мнимый — «пошехонский» — реформатор. Он не способен ничего сдвинуть с места. Противостоящий Курзанову Николай Беркутов, в чьем сердце кипит злоба, тоже не истинный, а обманный — «пошехонский» — реформатор, но уже по совсем другой причине. Он один из идеологов и проводников воинствующей реакции, стремящейся повернуть ход истории вспять, к крепостному праву. Другими словами, Салтыков не видит в современной ему действительности деятелей, которые были бы способны оказать влияние на ход развития «пошехонского дела» в желательном писателю направлении, в направлении, как он говорил, «рациональной истории».

Но из «Вечера пятого», с подзаголовком «Пошехонское дело», выяснилось, что Салтыков не видел в современности не только истинных реформаторов, переустроителей жизни, но не усматривал и приемлемой «формулы» самого «дела», которая была бы выработана общественным мнением. В эти годы господствовали глубоко враждебные писателю лозунги и программы: «Наше время — не время широких задач», «Прочь мечтания, прочь волшебные сны, прочь фразы! Пора, наконец, за дело взяться». Салтыков относился к этим «молчалинским» программам, поддерживаемым правительством, со всею силою отрицания. Программы эти призывали к сотрудничеству с властью, к полной политической покорности и были направлены против освободительной борьбы. Один из лидеров позднего славянофильства И. С. Аксаков писал в передовице своей газеты «Русь»: «Только тогда «почин» становится делом народным, когда он исходит с верховных высот власти или, по крайней мере, в живом союзе с нею. Этого-то и ждет русская земля, ждет себе оживления и одушевления сверху»⁴⁷.

* В письме из Ментоны от 9 ноября 1883 г. Н. А. Белоголовый писал П. Л. Лаврову о речи Крамольникова: «Заключительная страница «Пошехонских рассказов» очень смелая и сильная штука, несмотря на то что, как видно, была в цензурной переделке»⁴⁶.

Нужно было иметь много духовного бесстрашия и гражданского мужества, чтобы публично отвергать такой подход к решению «пошехонского дела» сверху и противопоставлять ему необходимость диаметрально противоположного подхода, идущего от коренных интересов самих народных масс и общества.

Полемическая связь «Вечера пятого» с названной статьей И. С. Аксакова была видна осведомленным современникам. Н. Белоголовый писал П. Л. Лаврову 6 января 1884 года: «Пошехонский рассказ <...> мне очень понравился; он весь направлен против недавней аксаковской статьи и как чисто политический ответ на вопросы дня, по-моему, чрезвычайно едок и остроумен»⁴⁸.

Однако оценка Белоголовым «Пошехонского «дела», так же как и последнего из «пошехонских рассказов», «Фантастического отрезвления», как «чисто политического ответа» на призывы охранительной печати к сотрудничеству с правительственным курсом узка и недостаточна. Оба заключительных «пошехонских» рассказа содержат исполненный драматизма широкий и глубокий взгляд Салтыкова на всю историю русской общественной мысли последних десятилетий и на современное гражданственное состояние русского общества и народных масс.

Имея в виду высокие взлеты русской демократической и социалистической мысли в конце 1840-х годов, а затем на рубежах 1850—1860-х и 1870—1880-х годов, Салтыков констатирует падение этих взлетов и вызванную ими духовную драму русской демократии эпохи. «Мечтания», «фантазии», «бредни» и другие эзоповские метафоры писателя для обозначения жизни, устремленной к высоким идеалам, — по любимой писателем формуле «*Sursum corda*» — «Горé имеем сердца», — заменились «отрезвлением». У Салтыкова эта метафора многозначна. Главнейше это отход от примата общественных интересов в пользу интересов личных, ограниченных бытовыми «мелочами жизни». В духовно-нравственном отношении — это психология ренегатства, безболезненно-легкой смены позиций. В политическом отношении «отрезвление» — это реакция во всех ее проявлениях и с ее общим фоном «тишины», «застоя», «покорности» и «страха». Общую оценку периода «отрезвления» Салтыков дал в словах: «Мы переживаем время суровых, но бесплодных поучений» (XV-2, 106). Зарождения новых прогрессивных сил исторического движения в условиях реакции Салтыков не видел.

Возникает вопрос, а в чем же заключалось с точки зрения Салтыкова не «пошехонское», а истинно нужное стране и народу «дело», стоявшее на историческом череду их жизни? Принципиальная позиция писателя оставалась здесь неизменной. Это была позиция демократа-просветителя и утопического социалиста. Поиски настоящего «дела» должны были, с его

точки зрения, исходить из коренных интересов народных масс и осуществляться при их непосредственном участии. Но Салтыков по-прежнему не знал, как привести в организованное движение великую потенциальную силу этих масс. Он видел, понимал, что она по-прежнему скована их пассивностью, политической и гражданственной бессознательностью, стихийностью, темнотой невежества. По ходу этих скептических размышлений фольклорный образ Пошехонья превращается в последнем рассказе цикла в образ тоскующей любви писателя к своей родине, России, по-прежнему находящейся в огромной беде из-за своей исторической отсталости и всех других отрицательных обстоятельств своего прошлого. Страстная обличительная публицистика перебивается исполненными щемящего чувства «лирическими отступлениями», своего рода исповедями писателя о своей любви к родной стране и русскому народу. «Все мне в этой стране родственно и достолюбезно, — пишет Салтыков. — Дороги мне и зыбучие ее пески, и болота, и хвойные леса <...>; но в особенности мил населяющий ее люд, простодушный, смиренный, слегка унылый, или, лучше сказать, как бы задумавшийся над разрешением какой-то непосильной задачи <...>. Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня в недоумение, но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я решительно не запомню. Бедная эта страна — ее надо любить» (XV-2, 104—105).

Но любовь к своему народу, как всегда у Салтыкова, сочеталась с беспощадной критикой его недостатков, камнем лежавших на пути общественного прогресса, на пути развития «рациональной истории» страны (в просветительской терминологии Салтыкова). Последний из «пошехонских рассказов» — «Фантастическое отрезвление» — завершается жестокой картиной стихийной расправы толпы над случайной жертвой, скромным пошехонским обывателем Иваном Рыжим. Сбравшаяся на том месте, где во время оно, по свидетельству Костомарова, у них «северные народоправства» происходили, а ныне выстроен «съезжий дом» с каланчой, символом полицейской администрации, пошехонская толпа, возбужденная до «истерического бешенства» провокационным выступлением реакционного публициста Скоморохова, убивает Ивана Рыжего. Убивает в неосознанном темном стихийном порыве, не разобравшись в словах убитого, в их смысле, бездумно сочтя их «бунтовскими».

«Фантастическое отрезвление» наиболее суровый и скорбный рассказ Салтыкова. Он заканчивается сценой похорон Ивана Рыжего. Хоронила его та же пошехонская толпа, которая вчера бессознательно убила его, а сегодня «чувствовала себя под гнетом безотчетной и безысходной тоски» (XV-2, 146). Финал рассказа, как и финал «Истории одного города», не совсем ясен, несмотря на последовавший вскоре авторский

комментарий. Вот этот мрачный финал (сцена происходит на кладбище): «Что-то громадное вдруг поднялось от земли вокруг этого бедного гроба, словно сама земля вопияла о ниспослании неведомого чуда... И чудо совершилось: незаметное существование заурядного пошехонского обывателя нашло для себя апофеоз — в форме трупа» (XV-2, 147).

Заключительный рассказ цикла вызвал немало откликов в печати. Один из них появился в «Новом времени». В номере этой газеты от 22 марта/3 апреля 1884 года был помещен анонимный обзор «Среди газет и журналов», который начинался словами: «В последней книжке «Отечественных записок» «Пошехонские рассказы» г. Щедрина изображают довольно темную аллегория, в которой, между прочим, действует «газетчик», отыскивающий революционеров для представления по начальству». На это Салтыков отвечал в очередной главе цикла «Между делом» (Отечественные записки, 1884, № 4): «В одной из газет я вычитал, что в одном из «Пошехонских рассказов» изображена «довольно темная аллегория, в которой, между прочим, действует «газетчик», отыскивающий революционеров для представления по начальству». Это положительно неверно. Аллегория рассказа, о котором идет речь (если тут есть аллегория), заключается в том, что пошехонцы, застигнутые затруднениями, не находят другого выхода, кроме личных репрессалий, распри и взаимных пререканий задним числом. Вероятно, они предполагают, что если достаточно друг друга перекалечат, то у них, по шучьему веленью, явится и panis и circenses* <...>. Говорят, будто пошехонцы недостаточно подготовлены для того, чтобы думать о новых основаниях для жизни, так надо же, дескать, в ожидании лучшего, хоть что-нибудь предпринимать... Помилуйте! да ведь есть же, наконец, честность, есть здравый смысл! Допустим, что без серьезной подготовки на прочное строительство надеяться нельзя, но, право, и одной честности достаточно, чтобы произвести что-нибудь более прочное, нежели этот паскудный обмен оплеух, который и заушающихся и заушаемых одинаково доводит до полного нравственного растрепания. Вот мысль, которая положена в основание рассказа о фантастическом пошехонском отрезвлении» (XV-2, 273—274).

«Пошехонские рассказы» оказались последним циклом Салтыкова, напечатанным в «Отечественных записках». В них он подвел итоги своей оценки общественно-политического состояния страны того исторического момента. Состояние это он определил в своих рассказах как совокупность «недоумения, озорства и легкомыслия».

* хлеб и зрелища (лат.).

13. ЦЕНзуРА.– ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК».– ОТКЛИКИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Ах, это писательское ремесло!
Это не только мука, но целый душев-
ный ад. Капля по капле сочит-
ся писательская кровь, прежде чем
попасть под печатный станок. Че-
го со мной не делали! И вырезыва-
ли, и урезывали, и целиком за-
прещали, и всенародно объявляли,
что я вредный, вредный, вредный!

Салтыков. Мелочи жизни

Закрытие «Отечественных запи-
сок» произвело во всем моем су-
ществе нестерпимую боль – вот
все, что покуда могу сказать!..

Салтыков – Елисееву

Из всех журналов России XIX века под наиболее строгим политическим надзором правительства находились два – «Современник» и его преемник «Отечественные записки». В этом нет ничего удивительного. Оба издания были, в легальной печати, крупнейшими органами русской демократии. В данном качестве и значении они входили в общий фронт борьбы с существовавшим строем и не могли не вызывать ответного огня со стороны всех охранительных сил режима.

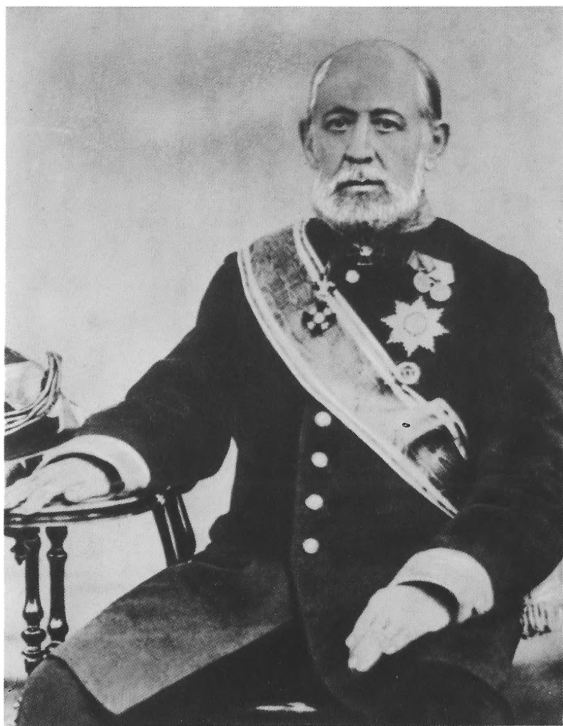
Документальные материалы, относящиеся к цензурной истории обоих названных изданий, учтены в литературе почти с исчерпывающей полнотой и достаточно хорошо изучены. Главная заслуга принадлежит здесь пионеру этого изучения в советское время, известному литературоведу старшего поколения В. Е. Евгеньеву-Максимову, в частности и особенно его книгам «В тисках реакции» (1926) и «Очерки по истории социалистической журналистики в России» (1927)¹. Однако, при всей ценности этих книг, им, как и большинству других работ о царской цензуре, созданных в начале и середине 1920-х годов, присущ один общий недостаток. Написанные вскоре после Октябрьской революции, когда открылся доступ к полити-



М. Е. Салтыков. Портрет работы И. Н. Крамского. 1879 г.



Е. А. Салтыкова. Жена писателя. Фотография конца 1870-х гг.



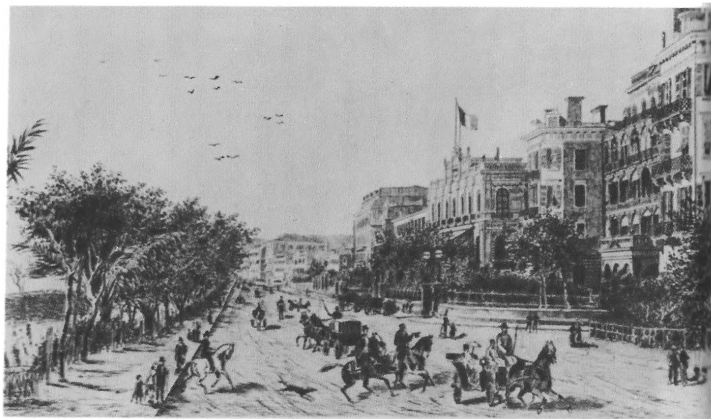
Д. Е. Салтыков. Старший брат писателя. Фотография 1882 г.



Костя Салтыков. Сын писателя. Фотография начала 1880-х гг.



Лиза Салтыкова. Дочь писателя. Фотография начала 1880-х гг.



Ницца. Набережная Promenade des Anglais.
В крайнем справа здании, в отеле «Windsor»,
останавливалась семья Салтыкова.
Гравюра 1880 г.



Париж. Улица Lafitte, 38. Здесь в
отеле «Mecklenbourg» (теперь
отель «Lafitte») жили Салтыков и
его семья (апартаменты 3-го и 4-го
этажей). Фотография 1976 г.

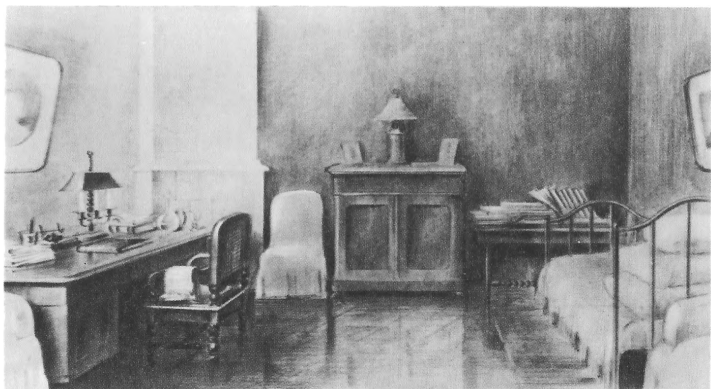


Париж. Place de Madeleine, 31. Здесь в меблированных комнатах (бельэтаж второго от угла дома) жили Салтыков и его семья. Фотография 1976 г.



Дом на Литейной (ныне Литейный проспект, 60). Последняя квартира Салтыкова (3-й этаж). Современная фотография.

Кабинет Салтыкова в его квартире на Литейной. В этой комнате писатель умер. Рисунок М. Казмичева. 1889 г.



«Круглый домик» в имении Салтыкова Лебяжье. Фотография 1912 г. Предоставлена Ю. А. Ливеровским.



Остатки запруды и лав в имении Салтыкова Лебяжье. Рисунок Г. И. Шулепиной. 1977 г. Предоставлен А. М. Левенко.

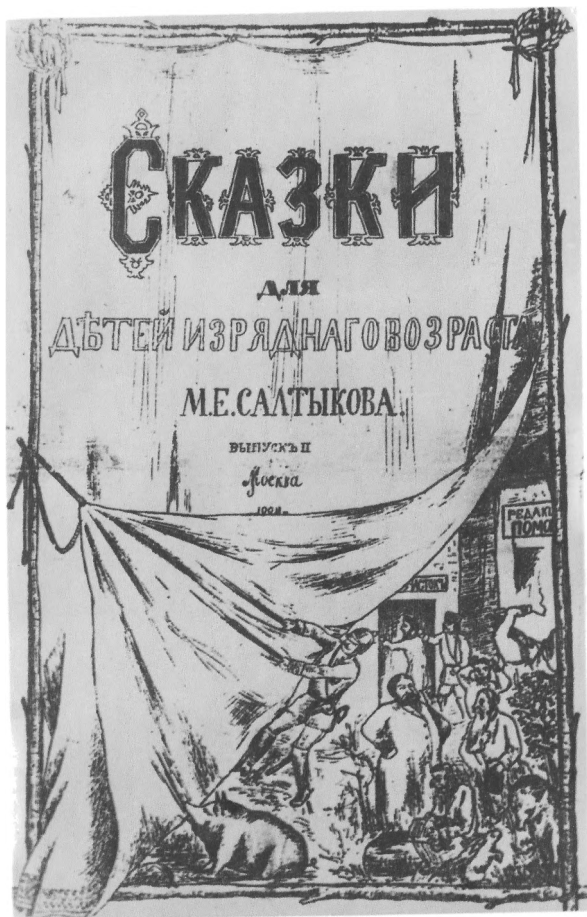




Петербург. Надеждинская ул., д. 18 (ныне ул. Маяковского), где после смерти Некрасова помещалась, с 1878 по 1883 г., редакция «Отечественных записок». Современная фотография. Предоставлена А. М. Левенко.



Петербург. Спасская ул., д. 1, где помещалась редакция «Отечественных записок» в 1883—1884 гг. Современная фотография. Предоставлена А. М. Левенко.



Салтыков. «Сказки». Обложка нелегального издания (литография). 1884 г.



Аллегорическая картина Н. П. Орлова и Д. Н. Брызгалова: Салтыков выходит из «леса реакции». 1883 г.



«Проект» аллегорического памятника Салтыкову. Рисунок неизвестного художника. 1882 г.



Дача Шперера на станции Сиверская Варшавской железной дороги, где
Салтыков провел лето 1884 г. Фотография 1977 г. Предоставлена
А. М. Левенко.



Салтыков на смертном одре. Фотография К. А. Шапиро.



Похороны Салтыкова. Процессия во главе со студентами на Невском проспекте. Рисунок из «Всемирной иллюстрации» 1889 г.



Похороны Салтыкова. На Волковом кладбище. Рисунок из «Всемирной иллюстрации» 1889 г.

ческим архивам самодержавия, они проникнуты еще не остывшими страстями финального этапа борьбы с царским режимом. Эмоционально-публицистической подход нередко преобладает в них над историческим осмыслением изучаемых явлений, над их научным анализом. Отсюда наименования политического надзора правительства над печатью цензурной «инквизицией», «террором», «гильотиной», а руководителей и практических проводников цензурной политики — «палачами слова», «душителями литературы», «воинствующими обскурантами» и др. Все это было в царской цензуре. Но нельзя забывать, что среди руководителей цензурного ведомства России XIX века долгое время работали такие люди, как Ф. Тютчев, И. Гончаров, Ап. Григорьев, Я. Полонский, И. Срезневский, А. Никитенко и др.

Нельзя забывать и другого. Конечно, жесткий цензурный контроль самодержавия крайне отягощал деятельность прогрессивной печати. И он нанес ряд тяжелых ударов многим писателям и их произведениям. Но в общем итоге царской цензуры не удалось лишить русскую литературу XIX века ни одной из ее вершин*. Это относится и к Салтыкову, хотя он и больше других писателей своего времени пострадал от цензуры. Но нельзя признать соответствующим действительности бытовавшее долго представление (отчасти оно сохранилось и по сей день), что литературное наследие автора «Истории одного города» дошло до нас, по вине цензуры, в очень неполном и сильно искаженном виде. Все главные его произведения, за исключением четырех сказок («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат», «Богатырь» и «Вяленая вобла»), были напечатаны. Прав был Тургенев, писавший Салтыкову в 1882 году: «Вам еще долго не придется покладать руки. Разве цензура Вас съест. Да Вы крупный; пожует она Вас, а не проглотит»².

Сказанное не должно быть, однако, понято в значении некоей индальгенции царской цензуре вообще и по отношению к Салтыкову в частности. Она была орудием политики самодержавия в области печати и не могла не бороться с теми силами в ней, которые были враждебны существующему строю.

Мы уже говорили о том, что противоборство с цензурой, занимающее большое место в литературно-журнальной биографии Салтыкова, оказалось для него делом более трудным и, можно сказать, более мучительным, чем для Некрасова (хотя и великий поэт много страдал от цензуры). И это по трем причинам. Во-первых, для его прямодушия, как уже говорилось, были крайне затруднены «дипломатические» отношения с цензорами и практика компромиссов и сделок с ними. Одна-

* См., например, подробный перечень цензурных репрессий за 1862—1902 гг. в статье «Цензурные взыскания» в Энциклопедическом словаре изд. Брокгауз и Эфрон, полумом 75, стлб. 1—8.

ко практика эта была иногда неизбежна, и Салтыков волей-неволей участвовал в ней. Вторая причина — мнительность писателя. Она вызывала у него особого рода «болезнь», которую он называл «цензурным сердцебиением». Наконец, третья причина заключалась в особенностях исторического времени, на которое пришлось его редакторство в «Отечественных записках». Ему довелось вести свой журнальный корабль — флагман демократической оппозиции эпохи — сначала в грозу и бурю высокого подъема революционной волны и вызванного ею кризиса самодержавия на рубеже семидесятых — восьмидесятых годов, а затем в полосе глубокой реакции.

За исключением короткой паузы либеральных облегчений при министерстве Лорис-Меликова (отчасти также и Игнатьева) цензурная политика правительства все более ужесточалась. И хотя, как увидим, прямой удар, прекративший существование «Отечественных записок», был нанесен журналу высшим органом политического розыска и надзора — Департаментом полиции, а не цензурным ведомством, последнее всей своей деятельностью по отношению к журналу подготовило для этого удара исходные позиции — идеологические мотивировки и «обосновывающие» их документальные материалы.

Согласно Временным правилам о печати и цензуре 1865 года, включенным, в большей своей части, в новую — 1876 года — редакцию Цензурного устава, «Отечественные записки», как и другие периодические издания Петербурга и Москвы, были изъяты от предварительной цензуры и подчинены воздействию цензуры карательной. Это значило, что цензорский контроль должен был осуществляться над уже отпечатанным изданием, но еще до выпуска его в свет. И если цензор усматривал в представленных материалах что-либо вредное и его донесение было поддержано Цензурным комитетом, министр внутренних дел имел право подвергнуть издание воздействию ареста, суда или предупреждения. Третье предостережение служило основанием для приостановки издания на срок до шести месяцев или для ходатайства перед Сенатом о его прекращении.

Таков, в главнейшем, был закон. Но он не выполнялся сколько-нибудь последовательно и строго. В практике взаимоотношений цензуры со столичными периодическими изданиями, в том числе с «Отечественными записками» (и с ними, быть может, больше всего), сложилась своего рода «смешанная», или «интегрированная», система, сочетавшая в себе элементы как предварительной, так и карательной цензуры. «Законник» Салтыков писал по этому поводу Энгельгардту: «Мы до сих пор не могли выпустить 1-го №, в значительной степени искалеченного и оскопленного. Вам, может быть, это странно кажется, каким образом журнал, издающийся без цензуры, может находиться в таких нелепых тисках. Это тайна современного положения русской литературы» (XIX-1, 39).

Следует, однако, полагать, что для самого Салтыкова, с его знаниями мира русской бюрократии, такое положение вещей в цензурном ведомстве не было «тайной». Бюрократия в России всегда была (по сравнению, например, с французской) чужда, в большей части своих членов, строгого доктринаризма и педантизма. Существовавшие противоречия между законом о печати и практикой его применения использовались Салтыковым в качестве одного из средств в тактике против цензурной обороны журнала. Оно давало, главнейше, возможность договариваться с цензорами об уступках и соглашениях, так называемых «аккомодациях»* (изъятие отдельных мест в тексте или полностью всей публикации), что в ряде случаев спасало номер журнала от ареста и дальнейших неприятностей.

Почти неизменным цензорским чтецом «Отечественных записок» времени ответственного редакторства Салтыкова был член С.-Петербургского цензурного комитета Н. Е. Лебедев. Судя по его донесениям в комитет, это был человек реакционно-консервативных взглядов, весьма активно и жестко проводивший их в своей практике. «Этот Лебедев, — отзывался о нем Салтыков, — должно быть, глубокий мерзавец» (XVIII-2, 235). И еще один отзыв: «Сукин сын Лебедев» (там же, 237). Подобно «новременскому» журналисту Буренину в печати, Лебедев своими враждебными Салтыкову цензурскими донесениями с неутомимым упорством преследовал почти каждую книжку журнала, а в ней почти каждое произведение Салтыкова, доказывая их принадлежность к «вредному направлению».

Вот для иллюстрации несколько выдержек из лебедевских донесений о произведениях Салтыкова:

О «Современной идиллии» (гл. VI): «Особенной преступностью отличается статья Щедрина, как заключающая в себе возмутительную насмешку над образованием нашей государственной власти и историческим ее ходом» (Б, 472)**.

О ней же (главы XXII—XXIV — сцены суда над «злополучным пискарем»): «...автор предает <...> осмеянию не пороки общества, но злоупотребления отдельных лиц, а подводит под бич сатиры высшие государственные органы, как политические суды и действия правительства против политических преступников, стараясь и то и другое представить <...> в смешном и презренном виде и тем самым дискредитировать правительство в глазах общества» (Б, 514—515).

О «Тревогах и радостях в Монрепо»: «Щедрин старается представить в самом мрачном и отвратительном виде современное положение нашего общества, в котором от про-

* Accommodation — приспособление (фр.).

** См. условные обозначения в конце книги.

извола администрации <...> приходится задыхаться...» (Б, 485—486).

О «Письмах к тетеньке» («Письмо пятое»): «Щедрин старается представить жизнь в настоящее время в России в самом мрачном виде, почти невозможною для порядочного мыслящего человека» (Б, 508).

Такого рода донесения Лебедева о Салтыкове, а также о произведениях других авторов были основными источниками, из которых Цензурный комитет, а вслед за ним и Совет Главного управления по делам печати извлекали материалы для своих обобщающих заключений для правительства о «вредном направлении» «Отечественных записок». Эти донесения послужили в основном отправным пунктом для вынесения журналу двух «предостережений», первого — в 1879 году, второго — в 1883-м.

Мотивировки обоих «предостережений» в политическом отношении были весьма суровы.

В первом случае выступивший на заседании Совета Главного управления по делам печати член его Д. П. Скуратов высказал мнение, что в целом ряде статей январского за 1879 год номера журнала «неприятное и даже более враждебное отношение редакции ко всем без исключения правительственным мероприятиям и ко всем органам правительственной власти высказывается так рельефно, что статьи эти не могут и не должны быть оставлены без серьезного внимания со стороны цензурного ведомства» (Б, 481). Внесенное Скуратовым предложение об объявлении журналу «предостережения» было поддержано большинством членов Совета, принято министром внутренних дел Л. С. Маковым и одобрено, по «всеподданнейшему докладу» последнего, Александром II. В этом докладе содержалась такая оценка общего содержания и направления «Отечественных записок»: «Явное глумление над правительством», что, «несомненно, доказывает полную недобросовестность издания» (Б, 481).

«Второе предостережение» было объявлено «Отечественным запискам», как уже сказано выше, за январский номер 1883 года. Сообщая Елисееву, со слов дружественного журналу члена Совета Ратынского, о ходе дебатов в Совете по данному вопросу, Салтыков добавлял: «При этом рассуждали, что давно надо было это «гнездо» разорить» (XIX-2, 178). Во «всеподданнейшем докладе» Александру III нового министра внутренних дел гр. Д. Толстого необходимость объявления «Отечественным запискам» «второго предостережения» мотивировалась тем, во-первых, что журнал «обнаруживает вредное направление, предавая осмеянию и стараясь выставить в ненавистном свете существующий общественный порядок, гражданский и экономический строй, как у нас, так и в других европейских странах», и, во-вторых тем, что «наряду с этим редакция журнала не скрывает своих симпатий к край-

ним социалистическим доктринам». В качестве политического деликта в докладе называлась статья участника революционного движения Н. Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбетта». Однако из всей предшествующей «всеподданнейшему докладу» документации рассмотрений цензурным ведомством вопроса о «втором предостережении» видно, что главной причиной очередной суровой санкции против «Отечественных записок» послужила, как мы помним, не только и не столько статья Николадзе, сколько главы XXII—XXIV салтыковской «Современной идиллии», в которые входили одиозные для цензуры сцены суда над «злополучным пискарем».

Сокрытие имени Салтыкова как главного виновника происшествия в официальном тексте «предостережения», опубликованного в «Правительственном вестнике» и перепечатанного в февральском за 1883 год номере «Отечественных записок», может быть объяснено одной из двух причин или совокупным действием обеих. Одна из них восходит, возможно, к той практике цензурного ведомства, о которой писал влиятельный чиновник этого ведомства Ф. П. Еленев в брошюре служебного пользования: «Случалось <...>, что статьи, послужившие действительной причиной предостережения, вовсе в нем не упоминались по неудобству привлекать к ним внимание публики...»³

Другая возможная причина — несколько особое отношение министра Д. Толстого к Салтыкову, объясняемое связями их молодости и корпоративными традициями. Оба они воспитывались в Царскосельском (Александровском) лицее. Ниже будут указаны и другие факты, подтверждающие относительно щадящую позицию Толстого по отношению к Салтыкову и его журналу.

И все же «Отечественные записки» получили второе предостережение. Вот что писал П. Л. Лаврову о состоянии Салтыкова в связи с этим событием Белоголовый: «Во всяком случае для бедного Салтыкова это удар жестокий, и дай бог, чтобы он не отозвался на его сердце...» И еще через несколько дней: «Воображаю, как Салтыков рвет и мечет — а ведь не хватит на то, чтобы выехать <за границу>, а как бы было полезно — но оговорка на семью, — и пустая совсем. Просто сам скучает, самого короткого времени не может прожить вне России, рвется домой»⁴.

После второго предостережения настроение Салтыкова становится все более тревожным, и так идет, все усиливаясь, до гибели «Отечественных записок». Но это постоянное ощущение опасности для журнала не означало отказа от борьбы за него. Она неуклонно продолжалась.

Как же боролся Салтыков с натиском цензуры? Каковы были его тактика и приемы?

Долгое время, отчасти и теперь, главным средством противоцензурной обороны Салтыкова считался и считается «эзо-

повский язык» или «эзоповская манера» его произведений, то есть совокупность семантических, синтаксических, интонационных и других элементов, придающих художественным и публицистическим фрагментам текста или даже всему произведению двузначность, когда за прямым смыслом таится второй план понимания, который и содержит подлинные мысли и настроения автора. Конечно, «эзоповская», иносказательная манера Салтыкова служила неплохой противоцензурной броней для его произведений. «...Переложите на простой <...> язык Щедрина, и цензура его заест...» — писала одна умная женщина, С. К. Брюллова⁵. Но не потому все же, что эта броня будто бы скрывала от цензоров основной — «вредный» — смысл произведений писателя, его политическую позицию. А потому, что система «иносказаний» *формально* затрудняла применение к салтыковским произведениям статей цензурного устава, имевших в виду *прямые* изложения или упоминания запрещенных тем, сюжетов и названий*. Но значение иносказаний в творчестве Салтыкова отнюдь не ограничивается их противоцензурно-маскировочной ролью. В условиях политического бесправия и гражданской неразвитости народа и общества с открытым словом в легальной печати могла выступать лишь официальная идеология и безыдейное «мещанство» («улица» в определении Салтыкова). Их «ясную речь» Салтыков называл «клеямым словарем», «холопым языком» и противопоставлял им богатый идейно-политическим подтекстом, внутренне свободный «эзоповский язык». Кроме того — и это очень важно — Салтыков нашел в нем, а точнее сказать, «выработал» новые элементы художественной выразительности. Салтыковское иносказание является, таким образом, не только и не столько средством его противоцензурной защиты, сколько важным стилеобразующим элементом его прозы.

Все сказанное не означает, однако, что Салтыкову как писателю и как ответственному редактору оппозиционного демократического журнала не пришлось вести прямой борьбы с цензурой. Нет, он должен был вести и вел эту борьбу постоянно, настойчиво и мужественно.

Противоцензурная оборона издания строилась Салтыковым в основном на четырех способах защиты, употребляемых отдельно и в сочетании друг с другом. Это: 1) самоцензура, 2) «аккомодации», 3) тактика «троянского коня»

* В докладе об «Отечественных записках» Главного управления по делам печати, затребованном в 1879 г. (после покушения Соловьева на Александра II) временным с.-петербургским генералом-губернатором И. В. Гурко, так говорилось об эзоповом языке Салтыкова и других писателей журнала: «В беллетристическом отделе <...> под прозрачным покровом его условного жаргона, *мало доступного для цензурного надзора*, но совершенно понятного для посвященных, постоянно проводятся социалистические или вообще революционные и материалистические учения»⁶.

в Совете Главного управления по делам печати и 4) прямые — официальные и неофициальные — контакты с властью имущими цензурного ведомства, вплоть до министра внутренних дел.

Рассмотрим подробнее все эти способы защиты. В качестве руководителя журнала Салтыков проявлял большую противоцензурную осторожность. Редактируя материалы, он вместе с тем и цензуровал их, в том числе и свои собственные писания. Вот несколько иллюстраций к сказанному. Из письма к Михайловскому: «Я попросил бы Вас выпустить из письма к Цитовичу отмеченные мною <...> места (7 строк). Я боюсь, чтоб из-за них не вышло цензурных затруднений для целой статьи». Ему же — по другому поводу: «По моему мнению, статья Ваша может навлечь на журнал некоторые неприятности или, лучше сказать, повредить отношениям редакции к цензуре, каковы отношения еще необходимо поддерживать <...>. Во всяком случае, попрошу Вас выкинуть те места, которые отмечены в прилагаемой корректуре». Из письма к Хвоицкой-Зайончковой: «Повесть Ваша напечатана, но, к сожалению, я вынужден был сделать некоторые выпуски <...>. Боюсь, что Вы сердитесь на меня за это, но уверяю Вас, что цензура все еще сильнее меня». Из письма к Боровиковскому: «В «Русской мысли» появилась рецензия на «Письма к тетеньке», где меня в особенности хвалят за «отважное отчаяние». Вот я и выказываю теперь отважное отчаяние: вырезаю свои статьи, да и все тут» (XIX-1, 94; XIX-2, 59; XIX-1, 150; XIX-2, 186). Таких редакторских и авторских самоцензур было немало. К другому их виду относился отказ принять, по цензурным соображениям, предлагаемую авторами рукопись. Собирательница литературного наследия автора «Былого и дум» Е. С. Некрасова представила в «Отечественные записки» оказавшуюся в ее распоряжении герценовскую «Записную тетрадь 1836 года». В ней содержался ряд ранних произведений Герцена, в частности повесть «Легенда» («Феодора»). Публикация, конечно, предполагалась без подписи автора или, быть может, под псевдонимом. Но цензурные соображения заставили Салтыкова и поддержавшего его Елисеева отклонить опасное появление в их журнале сочинения «государственного преступника».

Значительную роль в противоцензурной защите журнала играли упомянутые «аккомодации». Обратив внимание на ряд материалов в 9-м номере «Отечественных записок» за 1879 год, в том числе на салтыковские, цензор Лебедев потребовал ареста книжки. Но Салтыков выразил согласие изъять из своих произведений — «Убежище Монрепо» и «Круглый год» — ряд мест, вызвавших возражения. По соглашению с Лебедевым он подал в Цензурный комитет заявление: «Ввиду предполагаемых изменений в 9 № «Отеч(ественных) записок», имею честь покорнейше просить распоряжения о выдаче заарестованных книг журнала для исправлений» (XIX-1, 113).

Отпечатанные экземпляры журнала были выданы и после изъятия отмеченных Лебедевым мест вышли в свет.

Цензурная история «Отечественных записок» редакторства Салтыкова отмечена несколькими случаями такого рода. По этому поводу Салтыков писал Михайловскому: «Теперь остается одно: держаться на системе соглашения и не жалеть вырезать статьи, ежели этого потребуют» (XIX-2, 27).

Тактику «троянского коня», то есть направленных на защиту журнала неофициальных контактов с высшими должностными лицами цензурного ведомства, членами Совета Главного управления по делам печати, Салтыков унаследовал от Некрасова. Но при тождестве целей, преследуемых этой тактикой, основы ее и практика применения были у Салтыкова иными, чем у Некрасова. Способы, посредством которых Некрасов устанавливал и поддерживал для защиты своих журналов связи с «нужными людьми» цензурного ведомства, хорошо известны⁷. Не всё, но многое в них было основано на прямом или замаскированном «подкупе», и тактика эта называлась «прикармливанием зверя». Призывая, в стихотворении 1875 года, Салтыкова, уезжавшего на лечение за границу, возвратиться после выздоровления «на оный путь — журнальный путь», Некрасов самокритично указывал на одну из особенностей этого пути, уязвимую в моральном отношении:

На путь, где шагу мы не ступим
Без сделок с совестью своей.

(«С(алтыко)ву»)

Конечно, и Салтыков не прошел свой журнальный, да и жизненный путь совсем «без сделок» со своей совестью. Но все же он был суровым, непримиримым врагом всякого рода «сделок», и они единичны в его биографии. В борьбе с цензурой он шел ради сохранения журнала и собственной писательской деятельности на многие уступки и компромиссы. Но шел всегда открыто, с присущим ему до конца идущим прямодушием. К какому-либо подобиям «прикармливания зверя» он никогда не прибегал. Но в Совете Главного управления по делам печати действовали два авторитетных его члена, сочувственно относившихся к Салтыкову и его журналу. Они и являлись своего рода «троянским конем» «Отечественных записок» в этом высшем органе цензурного надзора. Первым из них был Н. А. Ратынский, как мы знаем, школьный товарищ Салтыкова по Московскому Дворянскому институту. Второй — В. М. Лазаревский — старинный знакомый по службе писателя в министерстве внутренних дел в годы вице-губернаторства, а потом по карточным вечерам у Некрасова. С последним Лазаревский находился в дружеских отношениях, вплоть до конфликта 1874 года, приведшего к разрыву их связей. Но на взаимоуважительных отношениях с Салтыковым это обстоятельство, по-видимому, не отразилось⁸.

И Ратынский и Лазаревский — оба они, нужно сказать, были почитателями таланта Салтыкова — не раз предпринимали на заседаниях Совета попытки, иногда удававшиеся, иногда — нет, спасти очередную книжку «Отечественных записок» от грозивших ей бед. Так было, например, с номером 11-м журнала за 1882 год. Цензор Лебедев потребовал его ареста за помещенное в нем «Пятое письмо» из цикла «Письма к тетеньке». Однако, по предложению Лазаревского, требование это было отклонено (Б, 508). Лазаревский же отвел своим выступлением на Совете санкции, грозившие померу 12 за тот же год в связи с помещенными там главами XIX—XXI «Современной идиллии» (Б, 513). Однако соединенные и весьма энергичные усилия Лазаревского и Ратынского спасти «Отечественные записки» от второго предостережения, как мы знаем, успехом не увенчались (Б, 514—515).

Роль и значение Ратынского и Лазаревского в противощензурной обороне журнала не ограничивались их выступлениями в Совете в защиту издания. Возможность таких выступлений была все же весьма ограничена для них их служебным положением. Не менее, а скорее более важной для Салтыкова была та информация о готовящихся цензурных мероприятиях и политических настроениях в цензурном ведомстве, которую они в неофициальном порядке сообщали ему. Основную роль тут играл Ратынский. В отклике на его смерть в 1887 году Салтыков писал Белоголовому: «Покойный был мне товарищем по Московскому Дворянскому институту и в последнее время часто меня навещал. Он крайне был для меня полезен в цензурном отношении...» (XX, 376).

Но все же главным средством, при помощи которого Салтыков вел защиту журнала от натиска цензуры, были его открытые официальные контакты с высшими властями, чего не было или почти не было при Некрасове. Это и понятно. Бюрократический мир петербургских министерств и департаментов был хорошо знаком Салтыкову. Он знал этот мир не понаслышке, и там его знали. И не только как знаменитого писателя, но и как бывшего грозного вице-губернатора, обладателя генеральского чина действительного статского советника («его превосходительство») и представителя одной из родовитых фамилий русского дворянства. Сохранившиеся материалы о встречах Салтыкова с начальниками Главного управления по делам печати, а также с министрами внутренних дел — как по инициативе самого Салтыкова, так и по приглашениям на личные аудиенции и участие в совещаниях — представляют интерес не только для цензурной истории «Отечественных записок». Они хорошо демонстрируют одну из привлекательнейших черт в характере Салтыкова: совершенную свободу от какого-либо «трепета» перед начальством, редкую независимость в сношениях с «власть имущими», в руках которых непосредственно находились судьбы издания.

Ими были, в годы ответственного редакторства Салтыкова — последовательно — министры внутренних дел А. Е. Тимашев, Л. С. Маков, гр. М. Т. Лорис-Меликов, гр. Н. П. Игнатьев, гр. Д. А. Толстой и подчиненные им начальники Главного управления по делам печати — последовательно — В. В. Григорьев, Н. С. Абаза, кн. П. П. Вяземский и Е. М. Феокистов.

Познакомимся с несколькими эпизодами, относящимися к сношениям Салтыкова-редактора с названными лицами высокой должностной номенклатуры в государственном аппарате власти.

Чаще, чем к другим начальникам цензурного ведомства, Салтыков обращался с просьбами об устранении возникавших претензий и угроз к В. В. Григорьеву. После того, как неловкость между ними была устранена*, Григорьев в той мере, в какой он мог это делать, не рискуя своим служебным положением и официальной репутацией, вел шадящую цензурную политику в отношении Салтыкова и его журнала. Доказательства тому — устранение им угрозы ареста, которого, по предложению Лебедева, потребовал Цензурный комитет для ноябрьского номера «Отечественных записок» за 1878 год, для февральского за 1879-й и для февральского же за 1880-й. Главной причиной затребованных санкций в двух первых случаях была вторая глава «Убежища Монрепо» под первоначальным названием «В добрый час», которое потом было изменено на «Тревоги и радости в Монрепо». Это было исполненное сарказма и всех других видов сатирического яда повествование о только что введенном новом институте сельской полиции — урядниках. В первом случае Григорьев, в ответ на обращенную к нему письменно просьбу Салтыкова о поддержке, предоставил последнему на выбор, во избежание ареста номера, либо исключить, либо переделать «рассказ» и несколько отодвинуть время публикации, чтобы смягчить его политическую актуальность. Салтыков согласился на изъятие главы, в надежде на возобновление ее публикации в следующем же номере. Он писал Григорьеву: «В заключение, вновь извиняясь в моей настойчивости, я позволяю себе обратиться к Вашему превосходительству с покорнейшей просьбой разрешить мне, могу ли я поместить прилагаемый рассказ в декабрьской книжке журнала, не подвергая, ради его, книжку задержанию. Для выслушивания этого решения я явлюсь к Вам лично, как только состояние моего здоровья позволит мне сделать это» (XIX-1, 88). По-видимому, Григорьев сообщил Салтыкову свое положительное решение, но все же посоветовал не спешить с опубликованием этого острого выступления. Так или иначе в переработанном виде и, как сказано, под другим названием — «Тревоги и радости в Монрепо» — изъятый рассказ или, лучше сказать, памфлет об урядниках появился не в де-

* См. об этом выше, с. 73—75.

кабрьской книжке 1878 года, как предполагал Салтыков, а лишь в февральской за следующий, 1879-й.

Цензор Лебедев, сразу же узнавший в новой публикации несколько переработанный прежний материал, вновь возбудил вопрос о его недопущении к печати. По его предложению Цензурный комитет принял решение об аресте февральского за 1879 год номера журнала. Однако Григорьев не согласился с таким решением и получил в этом поддержку министра Тимашева. В докладе ему Григорьев писал (едва ли не под воздействием аргументов самого Салтыкова): «Что касается до произведений Щедрина, то они, как сатирические, естественно представляют вещи не в их настоящих размерах; преувеличение же, в которое он постоянно вдается, имеет результатом, что читатель проникается не злобою, не негодованием, а смехом» (Б, 485). В третьем случае (снятия ареста с февральской книжки за 1880 год) главной причиной предложенной Цензурным комитетом по докладу Лебедева санкции был рассказ Салтыкова «Вечерок» («Круглый год. Первое декабря»). По этому поводу Салтыков вновь обратился к Григорьеву с просьбой разрешить возникшие недоразумения «негласным путем». Григорьев и на этот раз в докладе министру Макову попросил его не прибегать к аресту номера, но ограничиться изъятием из него некоторых материалов, в том числе и салтыковского «Вечерка». Министр согласился с таким предложением. Установившиеся с Григорьевым деловые отношения позволили Салтыкову осуществлять при его посредстве, так сказать, превентивную цензуру предназначенного к опубликованию материала на высшем уровне политического контроля.

Дополнительное доказательство сказанному находим в письмах Салтыкова к А. Н. Энгельгардту. В одном из них Салтыков извещал своего корреспондента, что его уже набранную статью он носил Григорьеву и просил его, чтобы и он сам прочитал доставленное, и дал бы прочесть министру Макову. Все это было исполнено. Ответ министра, переданный через Григорьева, гласил, что, «в случае напечатания этой статьи, книжка будет арестована» (XIX-1, 128). Разумеется, ввиду столь категорического ответа, Салтыков изъясил статью из номера.

Второго апреля 1879 года революционер А. К. Соловьев стрелял в Александра II. А на другой день, в условиях паники, возникшей в придворных и правительственных кругах, министр Маков пригласил к себе редакторов крупнейших столичных газет и журналов, в том числе и Салтыкова. Министр обратился к собравшимся с весьма резкими обвинениями печати в том, что она воспитывает и раздувает в обществе чувства, враждебные правительству. Он заявил в самой решительной форме, что отныне не потерпит ничего подобного. «Хотя Салтыков и сам рассказывал об этой поездке, передавая суть дела, — читаем в воспоминаниях Михайловского, — но

с том, что и как он говорил, умалчивал, не придавая, конечно, этому никакого значения. Об этом рассказывали другие, кто был там одновременно с ним, противоположая его некоторым другим редакторам, державшим себя чересчур подобострастно. Маков сказал сначала собравшимся нечто вроде речи, а потом стал говорить с некоторыми в отдельности, и вот, в то время как одни чуть ли не со всем сказанным им соглашались и только дакали да точно такали, Салтыков, напротив, горячо и прямо стоял за литературу и своим громким басом говорил об ее стесненном положении, так что выходило так, как будто не Маков, а он Макову сделал выговор, а когда последний на прощанье обратился к нему с любезною шуткою: «Под каким же соусом Вы меня теперь преподнесете публике?» — то он, мрачно отходя в сторону и еще более возвышая голос, отвечал: «Нам теперь не до соусов, не до соусов!»⁹ По-видимому, обращенный к Салтыкову вопрос министра намекал на сатирический «соус», под которым в «Убежище Монрепо» было «подано» учреждение института урядников, предпринятое по инициативе Макова.

5 февраля 1880 года было совершено новое покушение на Александра II. Народоволец С. Н. Халтурин произвел взрыв в Зимнем дворце. И вновь немедленно была призвана к ответу печать. На этот раз с обвинениями и предупреждением литераторам, среди них и Салтыкову, выступил не сам министр, а, по его поручению, Григорьев. Как сообщает в своих записках присутствовавший на приеме-эзекуции редактор «Русской старины» М. И. Семевский, Григорьев выдвинул перед собравшимися «самое нелепое и дикое требование, дабы ни единым словом не касаться не только учебной системы, действующей в нашем отечестве, но и вообще всех учебных заведений, подведомственных министерству народного просвещения». По словам Семевского, это требование было облечено в форму «высочайшего повеления», испрошенного у царя министром просвещения гр. Д. А. Толстым. И опять, как и на приеме у Макова, приглашенные литераторы либо угодливо поддакивали, либо трусливо безмолвствовали. И лишь Салтыков, а также редактор газеты «Страна» Л. Полонский выступили и заявили, что в результате объявленных им распоряжений создаются невыносимые условия для печати, что этими распоряжениями фактически запрещается «говорить обо всем»¹⁰.

Однако взрыв в Зимнем дворце имел и другие последствия. В правящих сферах пришли к осознанию, что избавиться от покушений революционного террора и восстановить общественное спокойствие в стране нельзя при помощи только полицейских репрессий, удушения печати и тому подобных мер. Наступил краткий период «диктатуры сердца» Лорис-Меликова, а затем «народной политики» Игнатьева с их попытками привлечь на свою сторону умеренно-либеральную часть

общества. Была создана Верховная распорядительная комиссия во главе с Лорис-Меликовым. «Отечественные записки» вначале положительно отнеслись к учреждению комиссии и к ее главе. «Как всегда, в случае чрезвычайных полномочий, предоставленных одному лицу, — писал Елисеев в своем мартовском за 1880 год «Внутреннем обозрении», — имя этого лица делает более или менее ясной для всех программу действий, так и в данном случае, раз стало известно, что начальником Верховной распорядительной комиссии назначен гр. Лорис-Меликов, все успокоилось, ибо были убеждены, что в руках этого человека дарованные ему верховной властью громадные полномочия послужат никак не к отягчению общества, а к его облегчению и умиротворению...»¹¹ Таков был в этот момент и взгляд Салтыкова.

Одним из первых мероприятий Лорис-Меликова была предпринятая им отставка Д. А. Толстого с поста министра народного просвещения («министром народного помрачения» называл его Салтыков) и назначение начальником Главного управления по делам печати, вместо уволенного на пенсию Григорьева, либерально настроенного Н. С. Абазы.

Салтыков не замедлил нанести новому верховному цензору визит делового знакомства. «Сейчас приехал от Абазы, — извещал он Елисеева об этом первом свидании, — который принял меня достаточно приветливо. По наружности это молодой и франтоватый господин, весьма либеральный. Заявил мне, что «Отеч(ественные) зап(иски)» обвиняются в социалистическом направлении*, когда же я спросил: а Вы-то разделяете ли это мнение? — то отвечал, что он, дескать, недостаточно знаком с журналом <...>. Тогда я просил *познакомиться* <...>. На дальнейший мой вопрос о том, в каких же статьях усматривается социализм, назвал Энгельгардта. Тогда я сказал: а я вот кстати принес Вам две статьи этого писателя: не найдете ли возможным прочитать? — Взял, обещал прочитать <...>. Затем, кончая аудиенцию, просил быть на первое время осторожным, но в то же время заявил, что он всегда к услугам. И еще между прочим сказал: а знаете ли, что я спас Ваш журнал от второго предостережения? Оказывается, что в Совете дебатировался этот вопрос по поводу моей статьи**. На это я сказал, что, во-первых, статья эта напечатана с ведома Григорьева <...>, а во-вторых, что я иначе писать не умею, и стало быть, мне остается одно из двух: или писать, как пишу, или совсем перестать. На это последовало восклицание: помилуйте!» (XIX-1, 147).

Деловые встречи Салтыкова с Абазой продолжались и до

* В письме к Н. Д. Хвощинской о том же сообщается резче: «На днях Абаза говорил мне: «Ваш журнал внушает к себе в известных сферах чрезвычайное озлобление» (XIX-1, 150).

** Имеется в виду напечатанный в «Отечественных записках» (1880, № 4) очерк «Не весьма давно (Осенние воспоминания)».

поры до времени приносили ощутимую пользу журналу (было отменено решение Цензурного комитета об аресте февральского за 1881 год номера, в частности за пятую главу «За рубежом», и др.). Абаза относился к Салтыкову весьма уважительно и раз или два сам приезжал к нему на дом для соответствующих переговоров, что было совсем необычно для петербургской субординированной бюрократии высших должностных номенклатур.

Но вот наступило грозное 1 марта 1881 года — кульминация кризиса самодержавия и вместе с тем кризиса героической «Народной воли». Характеризуя политическую обстановку в стране сразу после вступления на престол нового царя вместо убитого, В. И. Ленин писал: «...правительство Александра III, даже после выступления с манифестом об утверждении самодержавия, не сразу еще стало показывать все свои когти, а сочло необходимым попробовать некоторое время подурaczyć «общество»¹². На пост министра внутренних дел, вместо уволенного Лорис-Меликова, был назначен гр. Н. П. Игнатьев, инициатор и проводник так называемой «народной политики». Эта демагогическая политика стала, как уже было сказано, предметом сатирико-публицистической критики Салтыкова в «Письме втором» цикла «Письма к тетеньке»*. С героем этой сатиры Салтыкову пришлось вести переговоры по поводу следующего «письма» из того же цикла.

«Письмо третье», уже отпечатанное для сентябрьского номера «Отечественных записок», было вырезано из журнала по требованию цензурных властей. Требование это было санкционировано не только министром Игнатьевым, но и самим Александром III. Напомним, что игравший в либерализм Игнатьев счел нужным лично сообщить об этом решении Салтыкову и пригласил его на 18 октября 1881 года к себе, в министерство. Вот рассказ писателя об этой аудиенции из его письма к Елисееву: «Я получил приглашение явиться к министру внутр(енних) дел и именно сейчас только от него приехал. Граф Игнатьев принял меня крайне любезно и объяснил, почему он признал невозможным пропустить 3-е письмо к тетеньке, так как оно возбудило бы столько неудовольствий, против которых и он ничего не мог бы сделать. Между прочим, сказал, что он давал читать это письмо государю, и государь, не имея ничего <против?!> по существу, тем не менее согласился, что печатание письма было бы неуместно и возбудило бы много неудовольствий. Вообще я этим свиданием очень доволен, хотя и не ручаюсь, чтобы тут не участвовала дипломатия**». Говорено было и об «Отеч(ественных) записках» вообще». Говоря о журнале, Салтыков утверждал далее, что усилия издания заключаются не в социалистической

* См. об этом выше, с. 249.

** Разумеется, участвовала, и даже в первую очередь. — С. М.

пропаганде, а «направлены к исследованию современного положения народного быта, и что ежели картины выходят неудовлетворительные, то ведь и правительство не находит их удовлетворительными, непрерывно возбуждая вопросы о помощи народу» (XIX-2, 52)*.

При этом свидании с Игнатьевым Салтыков впервые от официального лица узнал, что «Отечественные записки» обвиняются в «социалистическом направлении» и эти обвинения идут не только от цензуры, но и *от ведомства политической полиции*. Вскоре он получил новое подтверждение «интереса» к его произведениям и его журналу со стороны этого грозного ведомства.

На 30 мая 1882 года Салтыков вновь получил «единоличное приглашение» явиться к министру Игнатьеву. Оказалось, однако, что это было «всеобщее собрание» петербургских редакторов. Им предстояло выслушать наизидания со стороны министра по еврейскому вопросу, в связи с волной антиеврейских погромов, прокатившихся по югу России весной 1882 года, на что Салтыков, как мы знаем, ответил статьей «Июльское веяние». «Войдя в зало, — рассказывает Стасюлевич, — и увидя, что он приглашен не один, Салтыков громогласно произнес: «Как приятно, ожидая быть высланным, уйти домой благополучно!»¹³ Собрание произвело на писателя «удручающее впечатление».

Директор Департамента государственной полиции В. К. Плеве в официальной бумаге, посланной 2 октября 1882 года новому начальнику Главного управления по делам печати кн. П. П. Вяземскому, обращал его «особое внимание» на два места в главах XII—XV салтыковской «Современной идиллии», помещенных в номере 9-м «Отечественных записок» за текущий год: на «описание геральдического знака страны залусов» и на «повествование о порядках управления сей страной». По мнению Плеве, в первом из этих мест содержалось «оскорбление его величества», а во втором — «суждения, неудобные с правительственной точки зрения о направлении современной внутренней политики». И дальше Плеве сообщал, что министр внутренних дел — а им уже был в это время гр. Д. А. Толстой — приказал Вяземскому переговорить с ним по этому поводу¹⁴. Казалось бы, что столь суровые обвинения высшего руководителя политического контроля в империи должны были быть поддержаны «министром борьбы», как звали современники одного из реакционнейших деятелей самодержавия,

* По-видимому, несколько позже Игнатьев еще раз приглашал к себе Салтыкова. В письме П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу с датой «18/6 ноября 1881 г.» читаем: «Игнатьев пригласил Салтыкова к себе и будто бы на этом свидании произошел спор по вопросу о литературах приличных в абсолютных монархиях, конституционных и в республиканских правлениях. Очень любопытно бы было знать подробности этой новой теории деления литературных родов».

однако этого не случилось. Об этом свидетельствует надпись на письме («отношении») Плева: «Министр изволил приказать оставить без принятия каких-либо мер» (Б, 512). Это было первое и, казалось бы, неожиданное проявление особого отношения нового министра к Салтыкову и его «крамольному» журналу.

Объяснение такой позиции Д. Толстого находим в двух мартовских за 1884 год письмах Салтыкова, сообщающих о результатах его визита к очередному новому начальнику Главного управления по делам печати. Им стал Е. М. Феоктистов — креатура реакционного триумvirата Д. Толстого, Победоносцева и Каткова. Время его управления цензурой — с 1 января 1883 года по 23 мая 1896-го — принадлежит к одним из наиболее тяжелых периодов в истории русского печатного слова. В письме к Краевскому от 9 марта 1884 года Салтыков сообщал: «Я вчера был у Феоктистова (в первый раз, хотя физиономия показала мне несколько знакомой); он мне обещал, что не будет принято против «Отеч(ественных) зап(исок)» мер без предварительного соглашения со мной. Это очень мало, но все-таки что-нибудь. Он же мне сказал, что и гр. Толстой не желает предпринимать что-либо лично против меня, по старому товариществу*. Неприятно одно: теперь будут надоедать с вырезками» (XIX-2, 290). О том же Салтыков писал несколькими днями позже Михайловскому: «Я был у Феоктистова, который принял меня крайне вежливо. Говорил я с ним много и изобильно, и он сам, наконец, вызвался, что ни к каким мерам относительно «Отеч(ественных) записок» не прибегнет, не войдя предварительно в соглашение со мной (<...>). Еще он мне сказал, что и гр. Толстой при докладе ему «Сказок» выразился, что он не желал бы принимать против меня меры и приказал войти в соглашение со мной, которое, конечно, и кончилось вырезкою «Сказок» (XIX-2, 291)**.

Быть может, Толстому и удалось бы выполнить обещания, данные Салтыкову, о которых последнему сообщил Феоктистов, и если не спасти от гибели «Отечественные запи-

* Напомним, что слова о «старом товариществе» Салтыкова с Д. Толстым относятся к их совместному обучению и воспитанию в Царско-сельском (потом Александровском) лицее, хотя и на разных курсах. Толстой окончил лицей в 1843 году, а Салтыков — в 1844-м. — С. М.

** Речь тут идет о следующем эпизоде. Цензурный комитет, на основании донесения все того же чербера Лебедева, вынес решение об аресте февральского за 1884 год номера «Отечественных записок» за помещенные в нем «Сказки» Салтыкова: «Добродетели и пороки», «Медведь на воеводстве» (1-я часть — «Топтыгин 1-й»), «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель» и «Вяленая вобла». Толстой, однако, не поддался решению об аресте и в качестве альтернативы потребовал вырезки «Сказок», что и было сделано с понятного, в этих условиях, согласия Салтыкова. Исходя из этого прецедента, уже сам Салтыков, по собственной своей инициативе, решил воздержаться от помещения в мартовском за 1884 год номере написанных им еще четырех «Сказок»: «Медведь на воеводстве» (2-я и 3-я части — «Топтыгин 2-й» и «Топтыгин 3-й»), «Орел-меценат» и «Карась-идеалист».

ски», то хотя бы отсрочить ее. Но тут вмешались привходящие обстоятельства, еще более суровые в политическом отношении, чем цензурные.

Правительственное запрещение в апреле 1884 года «Отечественных записок» неоднократно привлекало к себе внимание исследователей. Последнее по времени и по учету новых документальных источников изложение этого события дано в монографии М. В. Теплинского, посвященной «Отечественным запискам». В этой книге приведено несколько цитат из текста одного документа, сохранившегося в копии среди бумаг архивного фонда Царскосельского дворца. Подлинник же документа был обнаружен мною в фондах Департамента полиции еще в 1940 году. Это писарская рукопись без заглавия и подписи, помеченная датой «24 августа 1883 года». Но в архивном делопроизводстве она названа: «Записка о направлении периодической прессы в связи с общественным движением в России». Часть текста этого документа, относящегося к Некрасову, была опубликована мною в 1949 году в одном из томов «Литературного наследства», посвященном поэту. Полностью же весь документ напечатан в томе 87 того же издания — «Из истории литературной политики самодержавия»¹⁵.

Содержание «Записки» — краткий очерк истории «неблагонамеренной», то есть революционно-демократической и либерально-оппозиционной печати в России за период с 1848 по 1883 год. «Записка» возникла в стенах высшего органа государственной (политической) полиции Российской империи в момент, когда самодержавие, преодолев кризис, переходило на прямой курс самой жесткой реакции. Записка составлена на основании сведений, извлеченных из розыскных и следственных «дел» III Отделения и сменившего его в 1880 году Департамента полиции. Задачей «Записки», как сказано в ее тексте, было «удостоверить связь известного литературного направления с ростом крамолы, черпающей нравственную силу в этом сочувствии к ее злодеяниям, которое читается между строк, а иногда и в самом тексте произведений этого направления».

Собственно о Салтыкове и «Отечественных записках» в документе было сказано мало, лишь в заключительном разделе, названном «Современное отношение прессы к законному порядку». Вот это место: «В Петербурге десять изданий, и в том числе наиболее читаемые публикой, ведутся людьми, фамилии которых упоминаются в предыдущем изложении, или же были достойным политических процессов. Таким образом «Отечественные записки», издаваемые Краевским, редактируются Салтыковым (Щедриным) при деятельном участии Григория Елисеева и Михайловского, в сотрудничестве с несколькими ссыльными и поднадзорными». И дальше, после ряда других сведений, в том числе о высылке Михайловского, следовало:

«Все изложенное приводит к заключению, что в данный исторический момент правительство находится в борьбе не только с кучкой извергов, которые могут быть переловлены при успешных действиях полиции, но с врагом великой крепости и силы, с врагом, не имеющим плоти и крови, т. е. с миром известного рода идей и понятий, с которыми борьба должна иметь особый характер». Этот «особый характер» борьбы с враждебной самодержавию идеологией и привел в первую очередь к устранению из духовной жизни русского общества главного демократического издания эпохи.

Директор Департамента полиции В. К. Плеве держал в курсе работы по составлению «Записки» своего коллегу по правительственной политике и политическому надзору в империи министра внутренних дел и шефа жандармов гр. Д. А. Толстого. Это видно из следующих слов письма Толстого к Плеве от 10 августа 1883 года: «Приятно мне было также узнать, что подвигается работа по изложению связи журналистики с нигилистической партией: Вы знаете, что всегдашнее мое убеждение было, что тут именно весь корень зла, поэтому фактическое подтверждение этой мысли, по моему мнению, весьма важно...»¹⁶

Когда «Записка» была закончена, она тотчас же была отослана министру Толстому. Подтверждая ее получение, он писал к Плеве 27 августа 1883 года из Городища: «Очень благодарю Вас, многоуважаемый Вячеслав Константинович, за все сообщенные сведения и за составленную записку об отношениях известной части нашей журналистики к революционной партии. Конечно, ее можно было бы многим дополнить; но и в том виде, как есть, она представляет много интересного, потому что основана на фактах. Я посылаю ее Государю и прошу Вас приказать отправить мой пакет в Копенгаген. Там у Государя более свободного времени, чем в Петербурге, значит, он прочтет эту записку с полным вниманием <...>»¹⁷

Залакированная надпись в верхнем углу первого листа рукописи — «*Читал*» — указывает, что «Записка» была доставлена Александру III, находившемуся тогда в Дании, и прочитана им.

С какою же целью высшие «блюстители порядка» самодержавной власти предприняли этот жандармско-историографический труд? Ответ не вызывает сомнений. «Записка» понадобилась для выработки более убедительной для власти и в глазах общества мотивировки подготавливаемого прекращения «Отечественных записок». Убеждение, высказанное Толстым в цитированном письме к Плеве, что «корень зла» всех враждебных правительству сил находится в оппозиционной («нигилистической») печати, не могло не подсказывать ему необходимости подготовки, в рамках проводимого им ре-

акционного курса, репрессивных мер и на литературно-журнальном участке внутренней политики. И даже в первую очередь на этом участке.

Главным врагом правительства среди всей тогдашней печати Толстой, вместе со своими идеологическими единомышленниками Победоносцевым и Катковым, считал «Отечественные записки». Триумvirат этих лидеров реакции 1880-х годов был единодушен в политической квалификации журнала как легального органа революционной печати, как трибуны, с которой на всю страну раздавались слова критики и протеста, направленные на подрыв существовавшего «порядка вещей».

Однако, по свидетельству ближайшего и ревностного сотрудника Толстого, начальника Главного управления по делам печати Феокистова, все же не Толстой сыграл роль *primus mobile* — непосредственной первопричины — в ликвидации «Отечественных записок». Толстой, пишет Феокистов в своих «Воспоминаниях», «колебался» принять решение о закрытии журнала Салтыкова «отчасти потому, что Салтыков был некогда его товарищем <...>, а главным образом <...> из опасений возбудить неудовольствие в обществе»¹⁸. Как мы видели, Салтыков знал об этих колебаниях Толстого и, при всем своем скептицизме, в какой-то, хотя и весьма малой мере сохранял надежду на то, что чаша весов этих колебаний может склониться в пользу решения о сохранении журнала. Не вызывает сомнения достоверность и второй из указанных в воспоминаниях Феокистова причин «колебаний» Толстого — боязнь возбудить запрещением популярнейшего демократического журнала общественное недовольство до опасного предела.

Существует немало документальных материалов, уже известных в печати и еще ждущих обнародования, которые подтверждают в определенной мере обоснованность опасений «министра борьбы». Правительственная ликвидация «Отечественных записок» действительно сильно активизировала оппозиционные силы в русском обществе, особенно в среде демократической молодежи. Можно даже с достаточным основанием утверждать, что эта акция послужила одним из толчков к наступившему вскоре перелому — от упадка, застоя и мертвящей тишины послепервомартовского периода к началу нового демократического подъема. Вспомним здесь еще раз исполненное глубокой диалектики замечание Ленина о прогрессивном значении реакционных периодов.

Возвращаясь к фактической истории закрытия журнала, необходимо уяснить, что же все-таки заставило Толстого покончить с владевшими им «колебаниями». Ответ на этот вопрос находим в тех же воспоминаниях Феокистова. «Однажды, — пишет он, — граф Толстой пригласил меня на сове-

щение с Оржевским* и Плева, которые сообщили, что редакция «Отечественных записок» служит притоном отъявленных нигилистов, что против некоторых из сотрудников этого журнала существуют сильные улики, что один из них уже выслан административным порядком из Петербурга и что необходимо разорить это гнездо...»¹⁹

Совещание у Толстого с высшими руководителями политической полиции происходило, по-видимому, в конце марта или в самом начале апреля 1884 года. Это явствует из того, что уже 5 апреля Н. А. Любимов писал в Москву своему другу и единомышленнику Каткову: «Обнаружилось, что близкие сотрудники «Отечественных записок» и «Новостей» (Кривенко в «Отечественных записках», Греков в «Новостях») замешаны в революционной организации. Раскрытия, сделанные в (...) это обнаружили. (Пред)положено (?)** «Отечественные записки» и «Новости» закрыть и объявить причину в «Правительственном вестнике». На Святой будет совещание 4-х министров и это решится. Доклад уже заготовлен. Легальные и нелегальные действительно оказываются одно и то же. Феокистов просил пока никому об этом не говорить»²⁰.

Таким образом, «колебания» Толстого были прекращены прямым вмешательством в судьбу «Отечественных записок» высшего органа политического розыска и надзора. Данное обстоятельство, сверх всего сказанного, с полной очевидностью подтверждается следующим письмом Феокистова к Плева с датой 12 апреля 1884 года: «Милостивый государь, Вячеслав Константинович! Препровождаю при сем Вашему превосходительству проект Правительственного сообщения с редакционными поправками, сделанными К. П. Победоносцевым. Их немного, но они очень удачны, и мне кажется, что необходимо воспользоваться ими. Засим, Вы ли изволите привезти совершенно готовый проект этот в заседание, или нужно переписать его на бланке Главного управления по делам печати? С одной стороны, резолюция основана на временных правилах о печати, а потому подлежит Главному управлению (по делам печати). С другой же стороны, *вся инициатива дела исходит от Департамента полиции****. Извольте решить сами, так как для меня совершенно все равно, ибо это вопрос о простой формальности. Говорю же я об этом на тот случай, что если бы Вы сочли нужным предоставить изготовление бумаги Главному управлению, то сообразовали сегодня же доставить мне прилагаемый при сем проект: другого экземпляра у меня нет. Если не получу его от Вас, то это будет значить, что Вы возложите изготовление документа на Ваш департамент»²¹.

* Генерал-лейтенант П. В. Оржевский с 1882 по 1887 г. занимал должность товарища министра внутренних дел и командира корпуса жандармов. — С. М.

** Подлинник поврежден. — С. М.

*** Подчеркнуто мною. — С. М.

Документ — проект «Правительственного сообщения» о прекращении издания «Отечественных записок» — был «изготовлен» на бланке Главного управления по делам печати. На другой день, 13 апреля, он был утвержден на совещании четырех министров — Д. А. Толстого, И. Д. Делянова, Д. Н. Набокова и обер-прокурора святейшего Синода К. П. Победоносцева. «Всепогоднейший доклад» Толстого Александру III о принятом решении состоялся 19 апреля, а на другой день, 20 апреля, оно было обнародовано в «Правительственном вестнике» (№ 89).

«Правительственное сообщение» о закрытии «Отечественных записок» начиналось с исходного общего тезиса: «Некоторые органы нашей периодической печати несут на себе тяжелую ответственность за удручающие общество события последних лет». И дальше шло развитие этого тезиса применительно к общим и частным доказательствам связей демократической печати не только с противоправительственной идеологией, но и непосредственно с революционным подпольем. После этой преамбулы следовали обвинения, предъявлявшиеся непосредственно редакции «Отечественных записок». Все они были основаны на следственных и розыскных материалах Департамента полиции по делам революционеров и приведены, за единственным исключением, в анонимной форме.

«Один из важных государственных преступников*», представляя объяснения о деятельности своей за время существования тайного общества, говорит: «Литература того времени сильно способствовала поддержанию в нас революционного духа; статьи, появлявшиеся в журналах радикального направления, пели прямо в унисон нашей партии». Одна из наиболее обративших на себя внимание статей была написана одним из членов Исполнительного комитета («Народной воли») и даже подписана буквами И. К., соответствовавшими также и заглавным буквам его литературного псевдонима**.

Далее в «Правительственном сообщении» говорилось: «...имеются несомненные сведения, что в редакции «Отечественных записок» группировались лица, состоявшие в близкой связи с революционной организацией. Еще в прошлом году один из руководящих членов редакции означенного журнала подвергся высылке из столицы за крайне возмутительную речь, с которой он обратился к воспитанникам

* О каком «важном государственном преступнике», очевидно народо-вольце, идет речь, установить не удалось. — С. М.

** Имеется в виду член Исполнительного комитета «Народной воли» Л. А. Тихомиров, находившийся с 1882 г. в эмиграции, впоследствии ренегат. Под псевдонимом И. Кольцова и криптонимом И. К. он печатался в журнале «Дело». Его статьи в «Отечественных записках» не выявлены. Однако он там анонимно сотрудничал. Об этом он пишет в своих воспоминаниях и дневниках²².

высших учебных заведений, приглашая их к противодействию законной власти*. Следствием, кроме того, установлено, что заведующий одним из отделов того же журнала до времени его ареста был участником преступной организации**. Еще на сих днях полиция поставлена была в необходимость арестовать двух сотрудников этого журнала за доказанное пособничество с их стороны деятельности злоумышленников***. Нет ничего странного, что при такой обстановке статьи самого ответственного редактора, которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и в изданиях, принадлежащих эмиграции²³. Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества.

Независимо от привлечения к законной ответственности виновных, правительство не может допустить дальнейшего существования органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ.

По всем этим соображениям Совещание министров внутренних дел, народного просвещения и юстиции и обер-прокурора Святейшего синода, на основании пункта III высочайше утвержденного в 27-й день августа 1882 года положения Комитета министров о временных правилах для периодической печати, постановило: «Прекратить вовсе издание журнала «Отечественные записки»²⁴.

Таким образом, резолютивная часть «Правительственно-го сообщения» исходила из обвинения редакции в нарушении ею обновленных в 1882 году цензурных правил. Но вся предшествующая этой части мотивировка запрещения издания носила куда более грозный характер, поскольку журнал и его руководство обвинялись в прямых связях с революционным подпольем.

Извещая Белоголового 24 апреля о катастрофе, постигшей «Отечественные записки», Салтыков писал: «Выходит, что журнал прекращен не за содержание, а за то, что некоторые из сотрудников его арестованы. Но и в департаментах арестуют чиновников, а департаменты не закрывают (...). Я нимало не сомневаюсь, что в настоящее время всего нужнее — уморить меня и что тут главным подстрекателем Катков» (XX, 9).

* Имеется в виду Н. К. Михайловский. — С. М.

** 3 января 1884 г. был арестован заведующий II Отделом журнала С. Н. Кривенко. С 1883 г. он входил в так называемую Центральную группу «Народной воли». — С. М.

*** В марте и апреле 1884 г. были арестованы сотрудники журнала — критик М. А. Протопопов и писатель А. И. Эргель. — С. М.

Катков действительно был идейно-политическим противником Салтыкова. Но мы не располагаем никакими документальными сведениями о непосредственной причастности редактора «Московских ведомостей» к осуществлению самой акции прекращения журнала. Акция эта, как сказано, была по существу полицейской. Не располагаем мы никакими объективными данными и об участии Каткова в составлении текста «Правительственного сообщения». Текст этот, по-видимому, принадлежал перу Феокистова, с использованием сведений, доставленных департаментом Плеве, и отредактирован Победоносцевым, а может быть, и Толстым*. В пользу предположения об авторстве Феокистова косвенно свидетельствует и его письмо к Победоносцеву от 11 апреля 1884 года, сопровождавшее посылку обер-прокурору Синода проекта «Правительственного сообщения»²⁵. Подтверждением авторства Феокистова служат и весьма близкие формулировки запрещения «Отечественных записок» в «Правительственном решении» и в его оценках журнала в воспоминаниях «За кулисами политики и литературы».

Закрывание журнала не могло быть полной неожиданностью для Салтыкова. И это по совокупности ряда причин, объясняющих, в частности, колебания Салтыкова в вопросе о продлении контракта с Краевским на аренду «Отечественных записок». Во-первых, в связи со все усиливающимся натиском цензуры Салтыков с начала восьмидесятых годов, особенно же после 1 марта 1881 года, постоянно находился в ожидании ареста очередного номера, получения третьего предостережения, приостановки, а затем и запрещения издания. Во-вторых, все более сгущавшиеся тучи реакции ухудшили не только условия редакторского труда, но и общественное и материальное положение журнала: резко упала подписка, и Салтыков боялся финансового банкротства издания. В-третьих, высылка Михайловского, а затем арест Кривенко, двух ближайших помощников Салтыкова по трудам редакции, создали вокруг него пустоту. Он остался на редакторском посту почти что в одиночестве, и это в условиях непрестанно ухудшавшегося состояния здоровья и непрестанно сжимавшихся вокруг «Отечественных записок» тисков цензуры и политической полиции. «О запрещении «Отечественных записок» все говорят как о деле решенном», — сообщал секретарь редакции «Русской мысли» в перлюстрированном письме от 22 февраля 1883 года к П. Г. Заичневскому²⁶.

* Правда, в предисловии к изданию «Собр. соч. С. И. Кривенко» (т. 1. СПб., 1911, с. XXXIX) о «Правительственном сообщении» сказано: «Текст этого беспримерного в истории русской литературы документа составлен, если не ошибаюсь, М. Н. Катковым...» Однако это позднее указание, данное с оговоркой, не имеет значения авторитетного источника. Скорее всего оно восходит к ошибочной версии самого Салтыкова, усматривавшего в запрещении журнала «совершенно несомненное участие фразистого идиота Каткова» (XX, 22).

В этих обстоятельствах у Салтыкова возникали разного рода планы. «Хвощинская говорила мне, — писал Н. Шелгунов Михайловскому 20 апреля 1883 года, — что Салтыков хочет отказаться от «Отеч(ественных) записок» и затем писать в «Вестник Европы», а иногда давать статьи и в «Отеч(ественные) записки». Если это верно, то это возмутительно. У меня шевельнулось такое злое чувство, что я хотел написать Салтыкову воинствующее письмо...»²⁷ О другом проекте Салтыков сообщил в феврале 1884 года в письме к Михайловскому: «Скажу Вам откровенно, мне становится невыносимо скучно. И стар я и болен, а тут еще в Цензурный комитет требуют и работу уничтожают. Крепко подумываю я об отставке, хотя полуголодная старость вовсе для меня не привлекательна (...). На всякий случай не хотите ли Вы такую комбинацию? Дождавшись выхода мартовской или, пожалуй, апрельской книжки, предложить редакцию Карновичу. Вы бы могли оставаться в том же положении — об этом можно бы с Карнов(ичем) условиться — и прочие сотрудники тоже. Я же продолжал бы участвовать в журнале в качестве сотрудника» (XIX-2, 283—284). Однако эта «комбинация», подобно ряду других проектов, спонтанно возникших у Салтыкова в критические моменты его жизни, не имела никаких практических шансов быть осуществленной. Михайловским она не была поддержана. Позднее он вспоминал об этом эпизоде: «Я, разумеется, никаким образом не мог согласиться на эту комбинацию. Карнович был хороший человек, но ни в каких смыслах не соответствовал положению редактора «Отечественных записок». Все здание, долгими усилиями воздвигнутое, рухнуло бы — так мне представлялось, по крайней мере — самопроизвольно, и я предпочитал, чтобы оно лучше уж прямо шло навстречу своей судьбе...»²⁸ Из всего сказанного видно, что Салтыков был подготовлен к катастрофе, и тем не менее это событие стало *самым трудным* во всей биографии писателя. Он так писал об этом: «Вообще хорошая будет страничка для моей биографии. Столько я в две недели пережил, сколько в целые годы не переживал» (XX, 15).

С особенной горечью переживал писатель то «спокойствие» — так казалось ему, — с каким было воспринято прекращение «Отечественных записок» в обществе, среди читателей журнала и в более узкой литературской среде. Письма его тех и ближайших дней полны этой горечи. «Вот какой со мной казус случился, — писал он Анненкову. — Сидел я, больной, в своем углу и пописывал. Думал, что я на здоровье отечеству пописывал, а выходит, что на погибель. Думал, что я своим лицом действую, а выходит, что я начальником банды был. И все это я делал не с разумением, а по глупости, за что и объявлен публично всероссийским дураком. И Пошехонье теперь думу думает: так вот он каков! Прежде, бывало, живот у меня заболит — с разных сторон телеграммы шлют: живите

на радость нам! а нынче — вон, с божьей помощью, какой переворот! — и хоть бы одна либеральная свинья выразила сочувствие! Даже из литераторов — *ни один* не отозвался <...> Обидно следующее: человека со связанными руками бьют, а Пошехонцы разиня рот смотрят и думают: однако, как же его и не бить! ведь он — вон какой! Неужели я, больной, издыхающий, переживу эту галиматью! В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие, что я застрелился; третьи, что я написал сказку «Два осла» и арестован. А я сижу себе на Литейной № 62 — один-одинешенек!» (XX, 14—15).

Письмо это (и ряд близких к нему) со всей глубиной искренности передает состояние, в котором находился тогда Салтыков. Но объективно он был далеко не прав в своих суждениях о полном будто бы равнодушии общества и писателю к прекращению его журнала и к его личной беде.

Судя по приведенному письму к Анненкову, а также по ряду высказываний в других письмах, Салтыков был «поражен» не столько даже самим фактом запрещения журнала. Неожиданной оказалась для него та *полицейская форма*, к которой власти прибегли для ликвидации «Отечественных записок». Заявление «Правительственного сообщения» о существовавших связях редакции с революционным подпольем предьявляло тем самым и Салтыкову, как ответственному редактору, хотя и не в прямой форме, серьезное политическое обвинение, которое было для него неожиданностью и которое он действительно не мог признать соответствующим действительности. Выше уже говорилось, что, при всем удивительном духовном бесстрашии и политической смелости в своих произведениях, Салтыков был очень осторожен в непосредственных личных отношениях с действующими революционерами. Осторожны были по отношению к писателю и сами революционеры. Высоко ценя его ведущую роль и место в демократической борьбе на ее литературном участке против общего врага — существовавшего строя, — революционеры оберегали писателя, не раскрываясь перед ним в своей причастности к действующему подполью, к тайным организациям. Об аресте Кривенко он писал Белоголовому: «Что такое он надеялся — и придумать не могу. Не ко двору — вот и все» (XIX-2, 281). Отсутствие у Салтыкова прямых связей с «действующими революционерами» и активным авангардом студенческой оппозиционной молодежи удостоверяется, в частности, следующей справкой о нем, составленной в Департаменте полиции. Справка понадобилась в связи с предпринятыми Салтыковым хлопотами об освобождении из-под ареста и последующей ссылке сына А. Н. Энгельгардта. Вот что сообщалось в этой справке, датированной 17-м июля 1881 года:

«Принадлежа по своим традициям сороковых годов и современным воззрениям к умеренной либеральной партии, он

〈Салтыков〉, однако, не может быть причислен к сочувствующим анархическим проявлениям последнего времени. Напротив, насколько известно, он удаляется от всякого общения с крайними партиями. В противоположность Тургеневу и покойному Достоевскому, искавшим популярности, Салтыков избегает молодежи, хотя последняя в лице студентов Университета, Медицинской академии, Технологического и Горного институтов не раз делала попытку привлечь Салтыкова на свою сторону. Положительно известно, что к Салтыкову в 1879 и 1880 годах и даже в феврале сего года являлись депутаты студентов и просили его поддержки и участия на литературных вечерах и концертах, устраиваемых в их пользу, но Салтыков постоянно уклонялся от исполнения подобных просьб; в феврале же сего года, между прочим, сказал обратившимся к нему студентам Технологического института, что он жалеет молодежь за ненормальные увлечения, что молодежь сама портит свое дело излишней горячностью в стремлениях и крайним самолюбием и что он уже устарел для активной им помощи. И действительно, Салтыков не только не принимал участия в студенческих вечерах, но даже не бывал на них, отсылая обратно доставлявшиеся ему билеты»²⁹.

Приведенная справка, составленная на основании донесений секретных осведомителей, внедренных Департаментом полиции в студенческую среду, в общем соответствовала действительности. Салтыков, как сказано, в самом деле избегал контактов с оппозиционным движением учащейся молодежи во всех его формах, в том числе и в распространенных тогда студенческих вечерах, с чтением на них писателями своих произведений. Но нужно иметь в виду, что данное обстоятельство объяснялось не только политической осторожностью Салтыкова, но и тем, что он органически не любил участвовать в любых публичных собраниях, тем более с чтением своих произведений.

Тем не менее жалобы Салтыкова на будто бы проявленное русским обществом равнодушие к правительственному прекращению «Отечественных записок», как уже сказано, не соответствовали действительности. Это было субъективное ощущение человека, глубоко пораженного гибелью любимого дела и не ощущавшего вначале ничего, кроме огромной нравственной горечи и боли. В действительности насильственное прекращение крупнейшего демократического издания стало одним из самых крупных событий в общественной жизни России 1880-х годов. По закону диалектики оно принесло не только вред, но и пользу. Нанеся большой урон демократической литературе и публицистике, это событие, как уже сказано, сыграло вместе с тем и объективно прогрессивную роль в жизни русского общества, дав новый стимул протесту против очередного насилия авторитарного режима.

Конечно, в условиях суровой реакции, всепроникающего

полицейского надзора и общественного упадка широкие публичные заявления сочувствия Салтыкову по поводу правительственного решения с его прямыми политическими мотивировками и обвинениями были затруднены или невозможны. И все же в демократическом лагере, особенно в его студенческой и вообще молодежной среде, насильственная ликвидация «Отечественных записок» вызвала сильную волну протестов. Они выразились в нелегальных изданиях воззваний-прокламаций, в составлении «адресов сочувствия» Салтыкову с сотнями подписей, направлении к нему депутатий, в откликах на события в изданиях русской революционной эмиграции, в частных письмах читателей и др.³⁰

Наиболее примечательными явлениями этого движения, привлечшими к себе пристальное внимание властей и органов политического розыска, были «московские прокламации». Одна из них озаглавлена: «К русскому обществу от Московского Центрального кружка Общестуденческого союза». Воззвание имело две редакции. В одной, более умеренной, русское общество призывалось «выразить свое сочувствие великому писателю-гражданину Салтыкову и его сотрудникам, свой протест и негодование русскому правительству». В другой же редакции содержался призыв к прямому революционному противодействию³¹.

В архивном полицейском «деле» об «Общестуденческом союзе» имеется обращение-запрос к директору Департамента полиции от московского обер-полицмейстера генерала Н. Середы: «Как поступить относительно Салтыкова, то есть допросить ли его только как свидетеля или же прямо произвести обыск и действовать затем согласно его результатам»³². На это Плеве отвечал: «К делу не следует привлекать Салтыкова ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля»³³. Слишком могуч был в это время общественный авторитет Салтыкова, чтобы власти решились тронуть его. В этом смысле великий обличитель в русской литературе стал своего рода предшественником Л. Толстого.

Еще одна московская прокламация-воззвание была соединена с изданием (в двух выпусках) четырех вырезанных цензурой из февральской книжки журнала (1884) сказок Салтыкова (в первом выпуске — «Добродетели и пороки» и «Медведь на воеводстве», во втором — «Вяленая вобла» и «Обманщик-газетчик и легковерный читатель»). Издание было отпечатано в нелегальной литографии Янковской и имело обложку с обличительным рисунком, изображающим занавес с названием «Сказки для детей изрядного возраста М. Е. Салтыкова». За приоткрытой частью занавеса виднелся мир «героев» салтыковских произведений: «торжествующая свинья», «полицейский участок», «редакция Помоев» и др. Предисловие к изданию содержало краткое обращение к «Русскому обществу», завершающееся призывом: «Неужели и теперь, когда тебе

бросают вызов прямо в лицо, когда ты видишь воочию, что не «сумасброды» и не «фантазеры» борются с теми, кто душил всякую честную мысль, всякую самостоятельную личность, неужели и теперь ты не проснешься, не встанешь грозно и прямо и не снимешь укоров, тяготеющих над тобою?»³⁴

Помимо «московских прокламаций» известны еще две — «харьковская» и «казанская». Материалы о них сохранились в «делах» Департамента полиции. О первой сообщается кратко: «24 и 25 апреля в г. Харькове в здании Университета и на улице найдено три экземпляра воззвания «К русскому обществу от харьковской группы партии «Народной воли», заключающего в себе рассуждение преступного характера по поводу прекращения издания журнала «Отечественные записки»³⁵.

На доставленном в Департамент полиции экземпляре «казанской прокламации» имеется пометка, сделанная рукою Д. Толстого: «Рассмотрено Его Величеством». Текст «прокламации» довольно обширен, но он не был до сих пор известен в печати и заслуживает воспроизведения. Вот этот текст, включенный в донесение агента:

«23 апреля в г. Казани около 6 часов утра были усмотрены на фонарных столбах две гектографированных прокламации следующего содержания:

«Самому ловкому революционеру было бы не под силу составить такую остроумную прокламацию, призывающую к восстанию против существующего порядка, как это сделала соединенная сила 3-х министров с прокурором Синода. Прокламация произвела страшную сенсацию. Еще телеграмма об участии «Отечественных записок» не была отпечатана, а город уже знал о ней и толковал на всех перекрестках. Одни, точно очнувшись от тяжелого сна, вопрошали, что же будет дальше? другие, как бы в ответ, острили: для последовательности необходимо запретить все издания, за исключением, конечно, «Московских ведомостей», и во всех школах преподавание живых языков заменить мертвыми. Для издыхающего правительства, пожираемого трупными насекомыми, вроде Маковых, Макшеевых и К°, мертвый язык был бы, пожалуй, и приличнее, но шутить в такую печальную минуту уж совсем неприлично. Ведь этот скрежещущий зубами, обезумевший перед смертью великан, передувивший в виду позорно молчавшего общества столько героев, искренно желавших воплотить на почве родного отечества свои заветные идеи, может душить и душить еще в настоящую минуту, лишь на основании каких-то <1 сл. нрзб.> доносов, наших любимых писателей, лучшие литературные силы отечества. Что же будет дальше, вопрошаете Вы? Кто может поручиться за дальнейшее поведение безумца? В доме умалишенных надели бы на него нарукавники. Пора, наконец, обществу признать целесообразность этого медицинского средства. Пора вспомнить, что не государство

для правительства, а наоборот. Пора побороть в себе робость перед этим порождением тьмы, твердо решившись истребить все, что напоминает о свете. Пора разоблачить его тайные помыслы, тщетно скрываемые под сенью бесконечных комиссий и секретных отделений. Пора, наконец, снять следы позорных пощечин, данных этим безумцем всему обществу, возводя в министерский сан известного Толстого. Следы пощечин ярким румянцем горят на ланитах честных граждан и требуют восстановления поруганной чести. Пора! Пора!!»³⁶

Что же касается «адресов», посылаемых Салтыкову, то, поскольку они составлялись более или менее открыто и предназначались для отправки почтой или для непосредственного вручения писателю, текст их в политическом отношении был значительно более сдержан, чем в подпольно издаваемых воззваниях-прокламациях. И все же в каждом адресе содержались общественный протест и осуждение правительства.

Главными из этих адресов, большая часть которых не сохранилась, были адреса московского студенчества. Они были подписаны несколькими сотнями студентов Московского университета, Высшего технического училища, Межевого института, Петровской сельскохозяйственной академии, Высших женских курсов, членами Общества переводчиков и др. В «делах» Департамента полиции сохранились тексты двух редакций «адреса» московского студенчества, один относительно сдержанный, другой — содержащий резкую критику правительства за уничтожение любимого журнала. Для вручения адреса в Петербург была направлена представительная депутация московских студентов. Салтыков пытался отклонить посещение его депутацией. Об этом свидетельствует надпись секретаря московского журнала «Русская мысль» Н. Н. Бахметьева на письме к нему писателя от 30 июня 1884 года: «Салтыков боялся быть высланным из Петербурга и хлопотал через меня, Муромцева и Гольцева о том, чтобы московские студенты не являлись к нему с адресом...»³⁷ Но они все-таки явились. Вот текст адреса, который они привезли:

«Михаил Евграфович! Чувство скорби и негодования наполняет нашу грудь... Запрещение Вашего журнала составляет для русского общества утрату неимоверную. Среди всеобщего молчания, прерываемого хрюканьем «торжествующей свиньи», Россия слышала честный и громкий голос великого писателя, беспощадно бичующий разнузданные страсти среди беспроектного мрака и смуты умов. Из «Отечественных записок» раздавалась проповедь света, проповедь истины и справедливости, смелая и искренняя защита прав поруганной Родины. В годину нравственного оголтения и обезличения «Отечественные записки» сумели выдержать строго определенный характер, характер человека, страдавшего страданиями своей Родины, бичующего ее врагов. И чем больше сви-

репствовала буря злобы и человеконенавистничества, тем громче раздавались честные голоса, заглушая свист этой безумной бури. Будьте уверены, что проповедь Ваша не пропала даром, она жива в наших сердцах, и мы, студенты Московского университета, выражая Вам и Вашим сотрудникам глубокое сочувствие, надеемся, что времена «торжествующей свиньи» близки к концу, что родная страна снова услышит голоса борцов — защитников ее интересов»³⁸.

В мемуарной литературе сохранилось несколько рассказов участников депутатии московских студентов, прибывших в Петербург для вручения адреса. Расходясь в деталях, эти рассказы единодушно свидетельствуют о том, как сурово они были приняты в первый момент писателем. Начавший речь глава депутатии С. М. Терешенков (студент Высшего технического училища, состоявший в то время членом Московской центральной группы «Народной воли») был сразу же резко остановлен Салтыковым. «Что Вам от меня нужно? Зачем Вы пришли сюда? — раздраженно встретил студентов писатель. — Вам мало того, что закрыли «Отечественные записки»? Вам хочется, чтобы меня сослали в каторжные работы?..» и т. д. Тяжелая эта сцена была прервана выступлением другого участника депутатии, вместо растерявшегося Терешенкова. Он принес извинения от всех присутствующих членов депутатии и от московских студентов, их пославших, в том, что они без предупреждения и согласия писателя явились к нему и совершенно неожиданно для себя причинили ему неприятность. После этого депутаты раскланялись и направились к выходу, но были остановлены Салтыковым. Он уже погасил свое первоначальное раздражение и, попросив пришедших задержаться, стал «запросто» и «задушевно» беседовать с ними. Он спрашивал студентов о Москве, об их настроениях и стремлениях, жаловался на общее положение дел в России, на цензуру, нападал на общество за его пассивность и равнодушие и др. Но адрес московских студентов так и не был прочитан³⁹.

Были и другие формы выражения общественного сочувствия Салтыкову и возмущения правительством по случаю запрещения «Отечественных записок». Среди них нужно указать на появившееся в номере газеты «Русские ведомости» от 24 апреля (1884 г.) несколько загадочное сообщение: «Ввиду ухудшившегося материального положения одного русского литературного работника, мы жертвуем в пользу Литературного фонда...» И далее указывалась сумма пожертвований и приводились подписи более чем 200 жертвователей. Затем последовало сообщение о взносе крупной суммы от редакторов и сотрудников этой же, как ее называли, «профессорской газеты» — Соболевского, Янжула, Анучина и др. Пожертвования продолжали поступать и дальше, от рублевки до значительных сумм, в частности от знаменитой актрисы М. Ермо-

ловой — весь доход от данного ею благотворительного концерта⁴⁰.

Это была своего рода публичная «демонстрация» по случаю совершившегося важного общественного события. «Эзоповская» форма ее не могла скрыть подлинного повода и назначения объявленного сбора пожертвований *«ввиду ухудшившегося <...> положения одного русского литературного работника»*. Подлинный смысл помещенного «Русскими ведомостями» объявления-призыва был ясен большинству читателей. Не был он загадкой и для политического надзора, о чем свидетельствуют донесения агентов-осведомителей и перлюстрационные выписки из частных писем⁴¹.

Разумеется, откликнулись на закрытие «Отечественных записок» революционно-подпольная печать в России и русские зарубежные издания. Газета «Народная воля» писала: «Это был почти единственный орган русской печати, в котором сквозь дым и копать цензуры светилась искра понимания задач русской жизни во всем их объеме. Было бы странно, если бы мрачная правительственная сила не наложила раньше или позже руки на мало-мальски светлое явление»⁴². Статья в «Народной воле» принадлежала Н. К. Михайловскому (разумеется, без подписи)*.

Другая революционная газета, подпольно издававшаяся в Петербурге, «Свободное слово», писала в мартовском номе-

* Нельзя не сказать, что совсем иначе отнесся к прекращению «Отечественных записок» другой бывший соредaktor Салтыкова — Г. З. Елисеев. Свое отношение к этому событию и свое понимание общественного значения и направления закрытого журнала Елисеев изложил в обширной полумемуарной публикации писем к нему Салтыкова. Работа эта не была закончена и появилась в печати посмертно, а именно в 1914 г., в № 4 журнала «Заветъ». Однако оппортунизм позднего Елисеева, сказавшийся и в его предсмертном труде, смутил, по-видимому, и редакцию этого эсеровского журнала. Окончание публикации, как раз посвященное отношению Елисеева к прекращению «Отечественных записок» и характеристике направления журнала, опущено в «Заветах». Оно осталось в автобиографической рукописи. Начинается эта часть с заявления автора о полной будто бы неправде утверждения «Правительственного сообщения», что среди сотрудников журнала находились люди, имевшие отношение к революционному подполью и эмиграции. Можно полагать, однако, что Елисеев в самом деле не знал об этом (исключение — Лавров). Этого требовали условия революционной конспирации. Но совершенно не соответствовала истине характеристика Елисеевым направления «Отечественных записок». Демократический протест, глубокая критика существующего строя и проповедь социалистической идеологии, звучавшие со страниц каждого номера, и сильнее всего со страниц произведений Салтыкова, были оценены Елисеевым как дюжинный розовый «прогрессизм». По его словам, «Отечественные записки» всегда держались «умеренно прогрессивного уровня». «Этот уровень, — утверждает он, — вполне соответствовал степени развития русского образованного общества». Другими словами, политическая квалификация Елисеева превращала ведущее демократическое издание эпохи в орган либерально-молчалинской «умеренности и аккуратности». Эта фальшь особенно видна на фоне тех оценок значения журнала, которые содержались во всех приведенных заявлениях протеста революционных и оппозиционных кругов против прекращения издания⁴³.

ре за 1884 г.: «Уничтожены «Отечественные записки». Об этом оповещает «Правительственное сообщение». «Сообщение», согласно заведенному ныне порядку, говорит все время глухо, не называя имен, не определяя точно моментов времени. Местами наглая ложь «Сообщения» переходит всякие границы приличия и даже не возмущает, а просто изумляет каким-то как бы сознанием собственного бессилия, поражает какой-то трусливой злобой! В общем, впрочем, отныне знаменитое «Совещательное собрание» торжествует. Еще благополучнее стало надполье. Тишь и гладь и благодать Константина Победоносцева. Что дальше? — после нас хоть потоп. Заврашившиеся кровожадные реакционеры очищают надполье, хотя и признается, что «революционное» подполье они еще не все искоренили. Им как будто совсем не приходит в голову, что может наконец случиться и такой пассаж: само *надполье* вдруг сделается «революционным», все *подполье* открыто перейдет в надполье и не станет *благополучного* надполья! Нашим интеллигентам правительство дает еще новый встряхивающий урок. Смеем думать, что урок послужит на пользу. Пора, пора заняться *надпольными*, прямыми протестующими демонстрациями, и упразднение «Отечественных записок» дает к тому хороший повод»⁴⁴.

А в «Общем деле» Белоголовый писал (анонимно): «Еще один удар по голове, нанесенному русскому обществу Толстым, удар, давно подготовленный и о котором мы не раз уже предупреждали. «Отечественные записки» закрыты навсегда, закрыты они без всяких «*forme de procès*»*, указаний и ссылок на их печатные преступления, а просто за вредное направление. Направление их действительно было «вредным». В этом журнале еще веял дух великих идеалов 60-х годов; в нем жила и развивалась та любовь к народу и родине, которая внушает человеку ненависть к его угнетателям. Что же могло быть вреднее этого для черных воронов реакции? (...) Удаляясь из литературы, «Отечественные записки» оставляют за собой большое пустое место. С их исчезновением реакционный мрак усиливается в России»⁴⁵.

Под гнетом обрушившейся на него душевной боли и горечи, Салтыков гуртом обвинил в равнодушии к нему и к постигшей журнал катастрофе не только общество, но и узкий круг более или менее близких ему литераторов. Однако он был не прав или, по крайней мере, не совсем прав. Он писал в эти трудные для него дни Кавелину: «Разница между покойным Тургеневым и прочими пошехонскими литераторами (я испытал ее теперь на собственной шкуре) следующая: если бы литературного собрата постигла бы такая же непостижимость, какая, например, меня постигла, Тургенев непременно отозвался бы. Прочие же пошехонские литераторы (наприм.,

* без всяких церемоний (*фр.*). — С. М.

Гончаров, Кавелин, Островский, гр. Толстой) читают небывшие в лицах и распахнув рот думают: как это еще нас бог спас!» (XX, 15–16).

Письмо это помечено 4-м мая 1884 года. Но еще 23 апреля, через три дня после опубликования «Правительственного сообщения», Стасюлевич предложил группе литераторов собраться вместе с Салтыковым на обеде в ресторане Донона. Само собой разумеется, что эта инициатива была предпринята с целью выразить Салтыкову сочувствие по случаю прекращения его журнала. Но писатель отказался. «Право, мне не до обедов, да и время не такое, — писал он, посылая записку В. П. Гаевскому с просьбой отклонить сделанное предложение. — В настоящее время я испытываю безграничную скуку, какой никогда не испытывал» (XX, 8). Все же, однако, обед или, лучше сказать, поминальная тризна по загубленным «Отечественным запискам» состоялась, но не в ресторане, а на квартире у Гаевского, 28 апреля и в очень узком составе. Кроме хозяина дома, присутствовали лишь Салтыков, Пыпин, Кавелин и Стасюлевич⁴⁶.

Отклонил Салтыков и предложение Гаршина сфотографироваться в группе основных сотрудников «Отечественных записок». «Салтыков привел меня в большое огорчение, — писал Гаршин матери, — не захотел сниматься. Отговорился тем, что вся редакция некоторым образом инкриминирована и что на эту группу будут смотреть как на демонстрацию»⁴⁷. Тот же Гаршин оставил в одном из своих апрельских писем 1884 года свидетельство настроений, царивших в упраздненной редакции упраздненного журнала. «В понедельник я ходил в редакцию «Отечественных записок» в последний раз, — читаем в этом письме. — Точно хоронили мертвеца. Не расходились долго, хотя и разговоров никаких не было, а просто как-то не хотелось уходить. Странное совпадение: как раз в это время на Преображенской площади училась артиллерия, два орудия, и во время учения все целили прямо в окна. Точно нарочно! Салтыков на вид ничего, даже не особенно раздражителен, только потемнел как-то (цветом лица). Все прочие крепятся, но видно, что у всех кошки на сердце...»⁴⁸

В воспоминаниях и письмах современников и не связанных непосредственно с работой в «Отечественных записках» сохранилось немало еще далеко не собранных свидетельств того сильного впечатления, которое произвело на выдающихся людей эпохи закрытие журнала. Приведу два из таких свидетельств. Первое принадлежит старшему брату Ленина народовольцу Александру Ильичу Ульянову. Вот что сообщает об этом в своих воспоминаниях его сестра А. И. Ульянова-Елизарова: «Были только что закрыты «Отечественные записки» <...>. Не помню, от меня ли первой услышал Саша об этом. Но я передала ему также в этот вечер, что

на курсах* говорили, будто Щедрин арестован. За минуты спокойный и довольный Саша весь потемнел. «Это такой наглый деспотизм — лучших людей в тюрьме держать!» — сказал он негромко, но с такой силой возмущения, что мне стало жутко за него»⁴⁹. Второе свидетельство принадлежит молодому тогда поэту К. М. Фофанову. В его архиве сохранилась следующая дневниковая заметка: «21 апреля 1884 г. Точно часть сердца моего с кровью вырвали из груди, точно что-то близкое, кровное оторвалось от души моей. Закрыли «Отечественные записки». Скверный произвол! Глупое царство России! Верю и надеюсь, что будет отмщение. Оно не замедлит... только это во мне еще поддерживает жизнь и веру в себя...» И далее следовал набросок незаконченного стихотворения:

Сердце мое разорваться готово,
Ум помрачиться готов, —
Сковано вещее, честное слово —
Голос всемирных богов!
Плачь, о отчизна моя многодумная,
Плачь — и готовься к боям.
Будет и битва...⁵⁰

Были, разумеется, и совсем другие, враждебные Салтыкову и «Отечественным запискам» отзывы — людей, приветствовавших правительственное решение. «Так им и надо», — злобно отозвался реакционный писатель Д. Аверкиев;⁵¹ «...истинно во благо исчезновение «Дела» и «Отечественных записок», — писал А. С. Суворину лидер позднего славянофильства И. С. Аксаков, — этих столпов отрицательного доктринаризма, мешавших свободе внутренних процессов в молодых людях»⁵². Но и недруги прекращенного издания не могли не видеть, что правительственное решение оказалось крайне непопулярным не только среди демократических кругов общества. Удостоверяет данное обстоятельство, например, письмо к М. Н. Каткову из Петербурга от 28 апреля 1884 года некоего Н. Болдарева, человека, приближенного к К. П. Победоносцеву. «Послушали бы Вы, — делился он своими впечатлениями с редактором «Московских ведомостей», — здешние <толки?> по случаю запрещения вреднейших «Отечественных записок», сделавших уже столько непоправимого зла, и в особенности нашей молодежи! Я целую ночь провел без сна, слушая суждения, и не думайте мальчишек, нет, седовласых, звездами украшенных сановников, находивших этот подлый журнал изящным, интереснейшим произведением даровитейших наших писателей!!! Всякое возражение они принимают за личное им оскорбление и из себя выходят, нещадно ругая Толстого как главного виновника в этом деле»⁵³.

Через месяц после закрытия «Отечественных записок»

* Речь идет о бестужевских Высших женских курсах. — С. М.

Салтыков, несколько придя в себя от пережитого шока, дал в письме к Анненкову такую оценку прекращенному изданию и своей роли в нем: «Поистине, это был единственный журнал, имевший физиономию журнала, насколько это в Пошехонье возможно (...). Наиболее талантливые люди шли в «Отеч(ественные) зап(иски)» как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — *доверяли*, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В «Отеч(ественных) зап(исках)» бывали слабые вещи, но *глупых* — не бывало (...). Я Вам скажу прямо: большинство новых литерат(урных) деятелей, участвовавшее в других журналах, только о том и думало, чтобы в «Отеч(ественные) зап(иски)» попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволяю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место» (XX, 29).

Не устанем повторять, что среди великих и малых писателей своего времени Салтыков отличался удивительным отсутствием тщеславия, литераторской скромностью. Тем ценнее эти итоговые автобиографические характеристики «Отечественных записок» и своей роли в них, данные в частных письмах к близким людям.

Все пережитое Салтыковым в связи с катастрофой «Отечественных записок» отразилось не только в его письмах тех дней, но и в творчестве. Спустя два года оно послужило источником для создания сказки «Приключение с Крамольниковым». Это своего рода печальный памятник гибели того дела выдающегося национально-исторического значения, служению которому писатель отдал немалую часть своей жизни и труда.

Но еще раньше «Приключения с Крамольниковым» Салтыков обратился к своим переживаниям в дни разгрома «Отечественных записок» в первом же выступлении в печати после полугодового молчания, вызванного этим событием, а именно в первом из «Пестрых писем», начатых печататься в ноябре 1884 года, о чем будет сказано дальше.

Завершая рассказ о прекращении «Отечественных записок», необходимо упомянуть о слухах, которые возникли в некоторых враждебных Салтыкову или просто обывательских кругах в связи с этим событием и получили довольно широкое распространение, проникнув и в печать. Вот что пишет об этом в книге «Мои воспоминания» К. Ф. Головин, писатель и публицист консервативного направления, однако высоко ставивший литературное дарование Салтыкова («великий писатель (...), самый блестящий талант нашей «левой»): «Носились тогда слухи, что большая часть накопленных Некрасовым денег была завещана его (Салтыкова) журналу в качестве агитационного фонда и что тайные силы, державшие в своей зависимости Щедрин, заставляли его обращать свой популярный и богатый журнал в главный и руководящий

центр революции...»⁵⁴ Несомненно, что об этих же слухах, но еще более извращенных, идет речь в письме к журналисту А. Е. Кауфману небезызвестного писателя и военного корреспондента Н. В. Максимова. Рассказывая в этом письме о своей беседе с Салтыковым накануне запрещения журнала и о самом этом событии, он пишет: «Тут есть еще одна сторона, чрезвычайно интересная для некоторой разработки с благородной целью снять «позорное пятно» (?!) с покойного нашего сатирика, которого заклеил так варварски и так несправедливо умерший министр внутренних дел (Д. А. Толстой). Говорить об этом теперь с откровенностью (...) нельзя, пожалуй, выйдет нецензурно...» В своей статье «Оклеветанный сатирик», в которой приведено цитированное письмо, Кауфман пишет: «На что намекал Максимов, когда говорил о «позорном пятне» на репутации М. Е. Салтыкова, на этот счет возможны одни лишь предположения и догадки. Скончавшийся недавно известный писатель Г.* пустил в ход сказание о присвоении Салтыковым после закрытия «Отечественных» записок» каких-то предназначенных для агитационных целей сумм, перешедших потом к его наследникам. Это явная нелепость, которую едва ли надо долго опровергать»⁵⁵. Не говоря уже о невозможности такого поступка для Салтыкова, сообщенный Максимовым слух не имеет никакого отношения ни к «Правительственному сообщению», ни к воспоминаниям К. Ф. Головина. Ни там, ни тут нет и намека на какой-то тайный денежный фонд для целей революционной деятельности, будто бы переданный Некрасовым Салтыкову, ни о «присвоении» этих денег Салтыковым. Неизвестны, да и не могут быть известны какие-либо документы, прямо или косвенно подтверждающие эти слухи, либо сознательно пущенные врагами «Отечественных записок» и их редактора, либо возникшие в обывательских кругах, среди разного рода других слухов и толков. И тех и других, вызванных сенсационным прекращением популярнейшего журнала, было множество. Среди них были и слухи не только о денежном фонде для революционеров, но и о произведенном будто бы обыске в редакции, конторе и типографии издания и обнаруженном якобы «лишнем шрифте» для печатания подпольных листовок и брошюр⁵⁶. Эти толки и слухи, при всей очевидной их абсурдности, вносили свою долю отравы и тревоги в трудные переживания Салтыкова.

* Это, видимо, и есть писатель К. Ф. Головин, который умер в 1913 г. — С. М.

НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ
1884-1889

...Конец моей карьеры не из веселых, но как признак времени, настолько характерен, что, быть может, историк не оставит его без внимания.

Салтыков — Соболевскому

Какая ужасная старость! Как хотите, а есть в моей судьбе что-то трагическое.

Салтыков — Белоголовому

**14. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК».—
«БЕЗ СВОЕГО УГЛА». — ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: «ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА»**

Я привык работать в общем
тоне и в своем месте.

Салтыков — Михайловскому

Сейчас я — без своего угла,
в литературе.

Салтыков — Унковскому

Закрытие «Отечественных записок», драматическое восприятие других событий и всего политического и общественного тонуса реакции 1880-х годов, быстро ухудшавшееся, не без прямого воздействия этих факторов, состояние здоровья — главные обстоятельства, омрачившие до трудно представляемых пределов последние годы Салтыкова. При всем том, среди частых призывов к смерти как желанной избавительнице от мучительных страданий, среди мыслей о самоубийстве как спасении от грозившего ему — так думал он — безумия, среди «ада семейной жизни», среди все более скептических, граничивших с полным отчаянием оценок положения страны, общества, народа — Салтыков создает в эти свои «черные годы» «Сказки», «Мелочи жизни» и «Пошехонскую старину». Все это — высшие достижения его творчества.

Когда уходит из жизни человек, близкие его, в часы и дни первоначального удара, обычно не осознают до конца всей глубины и всех последствий произошедшего несчастья. Отвлекают неизбежные и неотложные дела — похоронные и другие. Осмысление всего содержания нагрянувшей беды приходит несколько позже. Так было и с Салтыковым после «смерти» «Отечественных записок». По словам С. П. Боткина в письме к Белоголовому, Салтыков «вначале принял известие о закрытии журнала очень спокойно»¹. В спокойных тонах, без каких-либо эмоций горечи и негодования, столь характерных для реакции писателя на неприятные для него факты даже малого значения, сообщает он о случившемся Елисееву. «Многоува-

жаемый Григорий Захарович, — читаем в письме от 20 апреля. — Сегодня в «Правит(ельственном) вестнике» напечатано распоряжение о совершенном прекращении «Отеч(ественных) зап(исок)». Завтра оно, конечно, будет перепечатано и в «Новом времени» и, следовательно, дойдет и до Вас» (XX, 7). И почти в манере и стиле деловой бумаги, за исключением, впрочем, второй фразы и постскриптума, написано извещение о событии долголетнему французскому сотруднику журнала Л. Шассену: «Милостивый государь и дорогой сотрудник. Честь имею известить вас, что по высочайшему повелению «Отечественные записки» прекратили свое существование. Это — не временная приостановка на несколько месяцев, а просто-напросто конец журнала, просуществовавшего 45 лет. Отданы распоряжения о пересылке вам тысячи франков за текущую треть года». В постскриптуме: «Через несколько дней я уезжаю из Петербурга, так как мне здесь более нечего делать» (XX, 11)*.

Но как раз уехать немедленно из Петербурга и чем-то и как-то отвлечься от горького события Салтыков не мог. Сразу же после «манифеста 20 апреля», как писатель называл «Правительственное постановление», он должен был заняться делами, возникшими в связи с ликвидацией издания. И они несколько отвлекли его от всех остальных переживаний в связи с катастрофой.

На первое место для Салтыкова — «человека артельно-го» — выдвинулся вопрос о необходимости, хотя бы минимально, обеспечить на первое время материальные нужды находившихся на жалованье сотрудников редакции. Ведь все они сразу оказались «безработными». Об этом он писал Михайловскому: «К тем неприятностям, которые навлекло закрытие «Отеч(ественных) зап(исок)», я испытываю еще неприятности объяснений с Краевским (...). Вчера я имел с ним целую стычку по поводу выдачи одновременно и безвозвратно некоторой суммы денег, которая дала бы возможность осмотреться сотрудникам нашим, потерявшим работу. Насилу уломал дать, до расчета с подписчиками, 2500 р., ибо он требовал, чтоб ждал расчета. Деньги эти распределены так: Скабичевскому 600 р., Южакову, Абрамову, Плещееву и Кривенко по 400 р. и Курочкину 300 р. Я знаю, что этого мало, но ничего поделаться не могу» (XX, 12). Кроме того, Краевский после дополнительных переговоров с ним Салтыкова согласился выдать Гл. Успенскому 300 р. (см. XX, 21).

Вторым делом был расчет с подписчиками, внесшими плату за получение годового комплекта «Отечественных записок». «А публика у нас просто презренная, — писал Салтыков Белоголовому. — Уже со второго дня начали ходить и спрашивать, скоро ли расчет» (XX, 9). Одним подписчикам были воз-

* Подлинник по-французски.

вращены деньги; другие, по предложению Салтыкова и с их согласия, были компенсированы передачей их подписки московскому ежемесячному журналу «Русская мысль». Этому журналу были переданы и некоторые рукописи, принятые к печати «Отечественными записками» и уже отредактированные. Салтыков недолюбливал «Русскую мысль», журнал либерально-славянофильского направления. Но во главе его стоял тогда С. А. Юрьев — товарищ детских и школьных лет писателя. И Салтыков предпринял эту акцию ради него. Эта передача существенно укрепила материальное положение не весьма процветавшего издания, но была принята не без опасения. Об этом свидетельствует письмо С. А. Юрьева к издателю-собственнику «Русской мысли» В. М. Лаврову (без даты): «Многоуважаемый Вукол Михайлович! Вам, конечно, уже известно, что журнал «Отечественные записки» запрещен навсегда, а Михаил Евграфович Салтыков письмом своим от 20 апреля, писанным на мое имя*, предлагает рассчитаться с подписчиками на «Отечественные записки», удовлетворив их за остальные 8 месяцев года рассылкою им экземпляров «Русской мысли». Подписчиков у «Отечественных записок», как пишет Салтыков, 7000, но передать нам придется около 6000 подписчиков. Предложение для нас крайне выгодно. Николай Николаевич Бахметьев** 20 числа собрался в Петербург по своим делам, я сообщил ему письмо Салтыкова, и он принял на себя вступить с последним в соглашение. Я телеграфировал Салтыкову о том, что в соглашение с ним и вообще с редакцией «Отечественных записок» вступит Ваш и мой уполномоченный Н. Н. Бахметьев, который и прибудет к нему 21 апреля. Дело очень выгодное, но в известном отношении крайнее и опасное. Наше направление, как Вы знаете, не солидарно с «Отечественными записками»; передача «Отечественными записками» своих подписчиков нам может возбудить подозрение правительства и против нас. Меня, конечно, знают в Петербурге хотя и за противника Каткова, но за человека, неспособного питать каких-нибудь революционных замыслов...»²

По окончании дел, относившихся к ликвидации издания, Салтыков, по требованию Боткина да и по собственному желанию и состоянию, намеревался поскорее уехать из Петербурга, подальше от всех толков и слухов, вызванных этим событием. Елизавета Аполлоновна настаивала, как обычно, на загранице. Но Салтыков на этот раз решительно отклонил зарубежную поездку. Первоначально он собирался провести лето в одном из глухих углов родной Тверской губернии, а именно в имении Панино Ржевского уезда. Имение это он намеревался приобрести и с этой целью посылал для осмотра его Елизавету Аполлоновну. Но ей не понравились уединен-

* Письмо это неизвестно. — С. М.

** Секретарь редакции «Русской мысли». — С. М.

ность места, скромность усадебного дома и слишком малая речка. «Ей непременно нужно,— писал по этому поводу Салтыков,— чтоб был дворец и судоходная река. А мне нужно, чтобы было тепло и стоял письменный стол с письменным прибором» (XX, 20). Лето Салтыков с семьей провел на снятой по выбору Елизаветы Аполлоновны огромной дорогой даче Шперера, на станции Сиверская Варшавской железной дороги, в 62-х верстах от столицы. Салтыков выехал на дачу 20 мая и возвратился в Петербург 23 августа.

«Место здесь,— писал Салтыков Белоголовому о Сиверской,— едва ли не лучшее в окрестностях Петербурга; живописное, гористое, прекрасный воздух и не загажено ни Ливадиями, ни Аркадиями, ни вообще кабаками» (XX, 39)*. Но всеми этими достоинствами Салтыков фактически не пользовался. Почти все лето он был прикован своими болезнями к постели или креслу и редко выходил из помещения. К тому же лето оказалось холодным, а дача — «подобная леднику» (XX, 61).

Главным содержанием жизни Михаила Евграфовича на Сиверской стали его горькие размышления о гибели «Отечественных записок», об одиночестве, в котором он оказался по отношению к литературно-журнальной среде, о своей дальнейшей писательской судьбе, а также связанном с нею вопросом о «хлебе насущном» — литературном заработке, утраченном вместе с прекращением журнала. Письма Салтыкова этого времени полны тревоги. Ею начинается последняя часть сохранившегося эпистолярного наследия писателя. За исключением деловых писем, относящихся к возобновившейся вскоре писательской работе, все остальные, за малым исключением, исполнены мрачности и скептицизма. Иные же из них — раздирающие душу вопли страданий от переживаемых физических и нравственных мук. И хотя в письмах этих присутствуют свойственные Салтыкову преувеличения, мнительность и непримиримость к своему состоянию, они правдиво «документируют» не только со стороны субъективно-психологической, но и объективной обоснованность признания писателя, повторяемого им на разные лады множество раз: «Провидение послало мне ужасную старость» (XX, 59)**.

В первое время после прекращения «Отечественных записок» Салтыков, привыкший в течение десятилетий появляться в печати почти ежемесячно, был больше всего удручен насту-

* Ср. в «Пестрых письмах» («Письмо II»): «Жил он <герой рассказа Передрагин> на даче, на Сиверской станции Варшавской железной дороги <...>. Место это и сейчас довольно дикое. Нет в нем ни «Аркадии», ни «Ливадии» и вообще никаких распутив, которыми знаменует себя вступившая в свои права цивилизация. По всему правому берегу излучистой речки, на далекое пространство, тянется сплошной хвойный лес <...>. В этом лесу великое изобилие ягод, грибов, пернатых и ... зверей» (XVI-1, 236).

** В 1884 г., когда писались эти строки, Салтыкову было всего 58 лет. — С. М.

пившим прекращением своей литературной деятельности и опасениями, что ей не разрешено будет возобновиться. Переживаниями этого своего «литературного горя» пронизаны почти все его письма весны и лета 1884 года. Все они драгоценны для биографии Салтыкова как свидетельства его великой, но и драматической любви и преданности к литературе и к тем, для кого она предназначалась, — к читателям. Все они — одно из выражений символа его веры в литературу как в одну из форм высшего общественного служения и в читателей как непосредственных проводников в жизнь идей «убежденного писателя».

Таково, например, майское 1884 года письмо к К. Д. Кавелину, в котором есть такие признания: «...меня, прежде всего, поражает (и до сих пор не могу освоиться) то обстоятельство, что я лишен возможности ежемесячно беседовать с читателем. При моей старости и недугах, это только утешение и оставалось мне. Живу я совершенно нелюдимом, почти никого не вижу, никуда не выезжаю, чувствуя, что я везде буду в тягость. Один ресурс у меня оставался — это читатель. Признаться сказать, едва ли не его одного я искренно и горячо любил, с ним одним не стеснялся. И, — не припишите это самомнению, — мне казалось, что эта отвлеченная персона тоже меня любит, и именно потому любит, что и я для нее «отвлеченная персона». Может быть, придя в личное со мной соприкосновение, читатель был бы не совсем удовлетворен больным и брюзжащим стариком, но издали и при посредстве мысли общение выходило свободное и от болезней и от брюзжаний. Я даже убежден, что если бы меня запереть наглухо, оставив в моем распоряжении только «читателя», я был бы вполне счастлив, даже счастливее, нежели в обществе людей. Довольно я понатерся между ними, взяв от них, что мог, и, что мог, возвратил. Теперь у меня все это отняли» (XX, 22).

Как всегда и во всем, Салтыков был до конца искренен в этих признаниях, что, однако, не помешало ему с такою же искренностью, но в гневе и горечи написать Михайловскому примерно в то же время: «О читателе скажу Вам, что хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне понимать, что он великий подлец» (XX, 67). Корень этих противоречий — одних из многих у Салтыкова — в его взглядах на действительность и ее ценности, с одной стороны, с позиций просветительского идеализма («литература и читатель превыше всего»), а с другой — с позиций своего сурового житейского реализма и опыта («чуть что, — читатель в подворотню шмыг»).

Мысли о конце своей литературной карьеры и связанные с этим заботы о материальных источниках существования семьи присутствуют в большинстве писем лета 1884 года (с прекращением «Отечественных записок» Салтыков потерял 12—13 тысяч рублей годового дохода, ликвидация же издания

принесла ему при окончательном расчете всего 1550 руб.). Иногда эти мысли выражены в форме предположений и опасений, иногда же мнительность писателя придает им форму утверждения, будто бы уже совершившегося факта. Вот сколько относящихся сюда цитат из писем к Белоголовому, Михайловскому, Боровиковскому: «Очень возможно, что Вы и совсем читать моего ничего не будете <...>. В настоящую минуту ни один журнал даже сотрудником своим меня объявить не решится»; «Ничего не пишу и вряд ли буду. Слишком велик переполох, и я слишком стар»; «Ничего не делаю, ибо до сих пор не могу овладеть собою»; «Я здесь сижу и ничего не делаю — буквально»; «...с тех пор как у меня душу запечатали, нет ни охоты, ни повода работать. Вся суть заключалась в непрерывном общении с читателем. Для русского литературного деятеля это, покамест, единственная подстрекательная сила <...>. А надежд на восстановление общения очень мало. Так мало, что я и не думаю об нем <...>. Ужасно, как нелегко быть свидетелем своей собственной смерти и пережить ее...»; «С каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что литературное мое поприще закончено. А так как в последнее время литературная деятельность обнимала меня всего, то весьма естественно, что и самый интерес жизни становится для меня как бы несуществующим» (XX, 19, 38, 33, 53, 42—43, 46). Такого рода мысли и настроения усиливались вследствие одиночества. Никто из близких друзей и знакомых в Сиверскую не приезжал. Из бывших же сотрудников «Отечественных записок» Салтыкова посетили за все лето только Плещеев да Гаршин.

Последний писал 30 июля 1884 года своей матери об этом посещении «бывшего командира»: «На прошлой неделе, в воскресенье, я ездил на Сиверскую станцию с специальной целью посетить Михаила Евграфовича. Он принял меня очень хорошо и ласково и, казалось, был очень рад, что я приехал <...>. Он довольно бодр, но не пишет, кажется, ничего: по крайней мере говорит, что с закрытием «Отеч. записок» пропало желание работать...»³

Салтыков никого к себе не приглашал и ни к кому не выезжал. Данное обстоятельство объяснялось, главнейше, летним каникулярным временем, когда литературно-журнальный Петербург был пуст, но писатель объяснял это по-другому. «Вы не совсем раскусили всю прелесть моего положения, созданного манифестом 20 апреля, — писал он Белоголовому. — Во-первых, недостаточно того, что многие стали чуждаться меня, страха ради иудейска, но я сам обязываюсь избегать всяких проявлений симпатии ко мне, ибо, в противном случае, рискую, яко возмутитель, быть выслан. Во-вторых, теперь каждый редактор бога молит, дабы внушил ему, как бы от меня приличным образом отделаться, ибо в противном случае он рискует, что и с его журналом будет то же, что и с «Оте-

чественными» записками». Московский Долгоруков уже призывал редактора «Русской мысли» и предупреждал его (не от себя, конечно, а по поручению), что ежели в «Русской мысли» будут участвовать сотрудники «Отечественных записок», то журналу этому не суждено жить» (XX, 48).

Дошедший до Салтыкова слух о позиции московского генерал-губернатора Долгорукова был не точен, хотя и небезоснователен. Вот вкратце содержание этого эпизода⁴.

Узнав о передаче редакции «Русской мысли» части рукописей, принятых к печати «Отечественными записками», обер-полицмейстер Москвы А. А. Козлов обратился 1 мая 1884 года к кн. В. А. Долгорукову со специальным рапортом. В нем сообщалось: «Из агентурных источников получают сведения, что сотрудники прекращенного изданием журнала «Отечественные записки» будут участвовать в издающемся в Москве журнале «Русская мысль», и, таким образом, в этой редакции сгруппируются все лица, литературная деятельность которых всегда отличалась антиправительственным направлением (...). При таких условиях журнал «Русская мысль» явится новым революционным центром и с большим успехом заменит собой «Отечественные записки». Рапорт заканчивался такого рода свирепым предложением: «По моему мнению, в данное время более чем желательно, в интересах спокойствия государства вообще, а Москвы в частности, прекратить издание этого вредного журнала»⁵. Содержание рапорта было сразу же доложено в специальном донесении московского генерал-губернатора Феокистову как начальнику Главного управления по делам печати. Однако Долгоруков был более сдержан в своей бумаге. В ней, в частности, было опущено предложение не в меру ретивого обер-полицмейстера о желательности прекращения «Русской мысли». Но, послав донесение в Петербург, кн. Долгоруков пригласил к себе редактора журнала С. А. Юрьева для соответствующего разговора-внушения. Серьезность предъявленных ему политических предупреждений испугала крайне умеренного в своем либерализме Юрьева. Он дал генерал-губернатору ряд успокоительных заверений относительно неизменности направления руководимого им журнала. «Общий смысл документов и отдельных их деталей, — пишет исследователь данного эпизода Ю. П. Пищулин, — позволяют думать, что самой главной уступкой было обещание свести к минимуму участие Щедрина в журнале»⁶.

Кроме заверений, данных Долгорукову, Юрьев подтвердил — по просьбе ли Долгорукова или по своей инициативе — лояльность своего журнала в отправленном министру внутренних дел гр. Д. Толстому письме. В нем он отверг всякие опасения о возможности подчинения «Русской мысли» направлению упраздненных «Отечественных записок». «Почитаю необходимым в предупреждении возможности такого подозрения, — писал Юрьев, — заявить Вашему сиятельству, что с ре-

дакцией «Отечественных записок», кроме знакомства моего с Салтыковым, я не входил никогда ни в какие сношения, всегда расходился с этим журналом во многих воззрениях...» И дальше Юрьев сообщал, что с Салтыковым его связывает не общность мировоззренческих позиций, а старинное дружество («товарищ мой по воспитанию в детстве и по Дворянскому институту») ⁷. Как свидетельствуют документы, Юрьев не был инициатором обращения к Долгорукову. Генерал-губернатор сам пригласил его к себе, и Юрьев был правдив как в затребованных от него объяснениях, так и в письме к министру Толстому. Однако секретарем редакции «Русской мысли» Н. Н. Бахметьевым, человеком сомнительной нравственности, вскоре попавшим под уголовный суд, была пущена в ход фальшивая версия, будто «Юрьев сам полез успокаивать небеспокоившегося Долгорукова и затем много приврал» ⁸.

Неизвестно, узнал или не узнал Салтыков всю закулисную правду о тревоге властей по поводу передачи Юрьеву не только подписчиков «Отечественных записок», но и некоторых рукописей. Но и дошедшие до него слухи о переговорах и переписке «Русской мысли» с московской и петербургской администрацией взволновали его. Они не только содействовали его решению отказаться от сотрудничества в этом журнале ^{*}. Они усилили возникавшие у него опасения, что суровая политическая мотивировка прекращения руководимого им журнала может иметь своим последствием «изъятие» его самого из литературы, то есть запрещение ему появляться в печати. Но эти опасения были все же плодом его мнительности. Авторитет Салтыкова — или, лучше здесь сказать, Щедрина — достиг в духовной жизни страны своего апогея именно в эту полосу глубокой реакции восьмидесятых годов. Правительством Александра III не решилось посягнуть на литературный и моральный авторитет великого писателя-обличителя. Возобновив свою литературную деятельность, Салтыков писал и печатался затем до последних дней жизни, хотя и с прежними цензурными трудностями и со все более частыми перерывами, но уже объясняемыми не политикой, а быстро ухудшавшимся состоянием здоровья.

Однако возвратимся к истории возобновления Салтыковым литературной деятельности после нескольких месяцев вынужденного перерыва.

Время шло, и писательское «ничего неделание», вызванное шоком прекращения «Отечественных записок» и литера-

^{*} Однако сама редакция «Русской мысли» вплоть до начала 1885 г. допускала возможность ограниченного сотрудничества Салтыкова. В «Записке» от 6 февраля названного года редакция журнала, возглавлявшаяся уже не С. А. Юрьевым, а В. А. Гольцевым (при прежнем издателе В. М. Лаврове), заявляла о своем решении «из двух главнейших беллетристов «Отечественных записок» Салтыкова и Гл. Успенского дать преимущество второму, как писателю более далекому от политики» ⁹.

турным одиночеством на Сиверской, стало все более и более тяготить Салтыкова. Но только в середине лета 1884 года, спустя три месяца после катастрофы с журналом, его бывший редактор начинает подумывать о возобновлении своих прерванных ежемесячных бесед с читателем. Узнав, что Михайловский собирается возобновить выступления в печати, он приветствует это. «Будет трудно», — предупреждает Салтыков, а о себе пишет: «Если найдется возможность, буду кой-что кропать, а не то так и ухну в Лету без разговоров <...>». Но заканчивается письмо припиской, в которой выливается крик сердца: «Посоветуйте. Ведь, в сущности, писать все-таки надо. Не умирать же заживо» (XX, 43).

В письмах Салтыкова начиная с середины лета 1884 года, наряду с продолжающимися сетованиями о конце литературной карьеры, о том, что в будущее он пока не заглядывает, и жалобами на страдания, болезни, не позволяющие «держать пера в руках», стали, однако, появляться, и все чаще, строки, свидетельствующие о возникающих раздумьях и планах возобновления писательского труда. Они были двоякого рода. С одной стороны, нужно было найти издание, которое согласилось бы опубликовать «опального» писателя. С другой — Салтыков полагал (преувеличивая эту опасность), что цензура не позволит ему впредь выступать в его обычной резко обличительной, открыто публицистической манере и что нужно искать новые, более безопасные творческие пути.

Первый вопрос решался легко. За исключением отпавшей «Русской мысли», выбора для Салтыкова, в сущности, не было. Оставались лишь два издания, оба умеренно-либерального направления, которые были относительно приемлемы для него и редакторы которых, хотя и не без тайных опасений, соглашались его печатать. Это были московская газета «Русские ведомости» В. М. Соболевского и петербургский ежемесячник «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича. Салтыков недолго любил оба издания за их «умеренность и аккуратность», за склонность к компромиссам и не был сколько-нибудь близок с их редакторами. Газету Соболевского он называл за ее «академизм» «профессорской простыней», а журнал Стасюлевича, выходивший в красно-оранжевой обложке, «крашеным гробом» и не раз признавался в доверительных письмах к друзьям, как трудно и неприятно было ему печататься в этих изданиях, так и оставшихся для него «чужими». Но, повторим, другого выбора не было. И лишь за исключением двух эпизодических публикаций — в юбилейном сборнике Литературного фонда «XXV лет. 1859—1884» и в либерально-народнических «Книжках «Недели» П. А. Гайдебурова, — все остальные выступления Салтыкова последнего его шестилетия появились на страницах двух названных изданий. В «Русских ведомостях» были напечатаны пятнадцать «Сказок» Салтыкова и девять глав «Мелочей жиз-

ни»; в «Вестнике Европы» — «Пестрые письма», большая часть «Мелочей жизни» и вся «Пошехонская старина».

Труднее был для Салтыкова второй вопрос — убеждение, что возобновление литературной деятельности в «чужом журнале» непременно должно быть сопряжено с «ломкой» его писательской манеры. Этими тревогами он делится в переписке мая — июня 1884 года со всеми близкими ему корреспондентами: «Деятельность моя так сложилась, что переламывать ее на другой манер потребуется не мало времени, — пишет он Кавелину. — Хотя я давно задумывал написать большую бытовую картину (целое «житие»), но полагаю приступить к этому позднее <...>. Теперь приходится сделать ломку, а удастся ли она — не знаю. Голова до сих пор полна совсем другим и, между прочим, сказками, которых задумано, а отчасти и написано до 4 штук» (XX, 22—23). О том же — Боровиковскому: «Будет ли продолжаться моя литературная деятельность, где и как она сложится — ничего еще определить не могу. Предстоит такая ломка, что вскорости справиться с ней невозможно» (там же, 24). И все о том же — Михайловскому: «Чем больше я думаю о предстоящей литературной деятельности, тем более сомневаюсь в ее возможности <...>. Легко сказать: пишите бытовые вещи, но трудно переломить свою природу» (там же, 67).

В какой мере соответствовали обстоятельствам тревоги писателя, что для продолжения своей литературной деятельности ему необходимо «прокладывать новую дорогу», «ломать» свой творческий метод? Опасения эти не были вполне беспочвенными, но все же преодолимыми. Непревзойденный мастер сатирического цеха, искусства типизации посредством гротеска, гиперболы и других условных форм поэтики, Салтыков был в то же время полностью одарен главнейшими качествами великого художника-реалиста — способностью создавать не только сатирические маски и силуэты, но и мир живых людей, глубокие человеческие характеры. Доказательства тому — такие разные в своей поэтике вершины его творчества, как созданные почти в одно и то же время сатирически-гротескная «История одного города» и реалистически-бытовые «Господа Головлевы». Да и из приведенного выше признания Салтыкова видно, что замысел эпического произведения строго реалистического «письма», как «Пошехонская старина», возник у него еще до катастрофы с «Отечественными записками» («я давно задумал написать большую бытовую картину»). Так что, по существу, ни о какой «ломке» и выборе «нового пути», поисках «новой жилы» вопрос не стоял. Другое дело, что Салтыкову не хотелось возобновлять свою прерванную властями литературную работу с произведениями «бытового» жанра. Он надеялся избежать возможных выражений сожаления или, напротив, злорадства по своему адресу: «Заставили-таки его!» И нужно сказать, что, несколько успокоившись ле-

том на Сиверской, Салтыков возобновил свое творчество так, как хотел, не «бытовыми» вещами, а произведениями в своей преобладающей манере — острыми сатирико-публицистическими очерками «Пестрые письма». В данном случае он не послушался и советов своего друга Белоголового, уговаривавшего его, «так как на публицистику и сатиру наложена такая узда, принятая за роман, но только не сидеть сложа руки»¹⁰. Однако еще раньше, чем в «Вестнике Европы» появились первые «письма» из этого нового цикла, Салтыков прервал свое вынужденное молчание в печати изданием двух книг своих сочинений, вышедших в октябре и ноябре 1884 года. Первая из них (октябрьская) была сборником публицистических очерков и статей на разные темы. Большая часть их печаталась раньше в «Отечественных записках» под общим серийным заглавием «Между делом» и за псевдонимной подписью Dixi*. Последнюю, десятую главу этой серии или цикла Салтыков готовил в апреле 1884 года для майской книжки «Отечественных записок», которая уже не вышла. Глава осталась недоконченной. В таком виде она и была введена осенью 1884 года в сборник упомянутых статей, получивших теперь название «Недоконченные беседы», указывающее на произошедшую катастрофу. Вслед за «Недоконченными беседами» Салтыков издал в ноябре 1884 года книгу своих написанных раньше «Пошехонских рассказов».

Появление Салтыкова в печати, после вынужденного перерыва, с ранее неизвестными читателям произведениями состоялось чуть позже, но также в ноябре, когда вышел в свет юбилейный сборник Литературного фонда «XXV лет. 1859—1884». Здесь впервые в легальной печати появились три сказки Салтыкова — «Карась-идеалист», «Добродетели и пороки» и «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель». О первой из них — «Карасе-идеалисте» — Салтыков писал Елисееву, что она предназначалась для невышедшей майской книжки журнала, и затем добавлял: «По странному случаю она представляет как бы предсказание катастрофы» (в этой сказке щука, олицетворяющая зло и насилие, проглатывает «карася-идеалиста») (XX, 100).

Все эти издания содержали, таким образом, публикацию произведений, ранее написанных Салтыковым. Здесь следует сказать, что в конце 1884 года вышли еще три книги прежних произведений писателя: «Господа ташкентцы» (3-е изд.), «Дневник провинциала в Петербурге» (3-е изд.) и «Сатиры в прозе» (3-е изд.).

Подлинным же «дебютом» Салтыкова после закрытия «Отечественных записок» стал цикл художественной публицистики «Пестрые письма» и новые «Сказки». Одновременная работа над этими циклами заняла конец 1884-го, весь 1885-й

* Я сказал. (лат.).

и часть 1886 года, когда началось создание еще одного, предпоследнего произведения писателя — «Мелочей жизни». Параллельная работа над несколькими произведениями, как мы знаем, была одной из характернейших особенностей писательского труда Салтыкова.

Первый «дебютный блин» оказался, однако, «комом». В конце сентября 1884 года Салтыков послал в «Русские ведомости» небольшую статейку. Это и было начало нового цикла «Пестрые письма». Посланная статья была сразу же набрана. Но через несколько дней Салтыков узнал, что в Москве, на Страстном бульваре, напротив дома университетской типографии, резиденции Каткова и его «Московских ведомостей», состоялась крупная студенческая демонстрация, закончившаяся арестом 110-ти ее участников. Событие это, направленное против одного из лидеров политической реакции, которого Салтыков продолжал считать своим главным противником в литературно-журнальном мире, заставило его воздержаться от публикации статьи в Москве, где, по его словам, «все цензурное ведомство находится под пятой у Каткова» (XX, 82). И Салтыков поспешил обратиться к Соболевскому с просьбой о возврате посланного ему материала. Он писал редактору «Русских ведомостей»: «Это <московская история> заставляет меня думать, что для моей деятельности литературной время еще не наступило и что как ни малозначительна сама по себе моя статья, едва ли она может появиться в настоящий момент. Поэтому будьте так любезны возвратить ее мне» (XX, 80). В свою очередь и редакция «Русских ведомостей» нашла опубликование статьи «неудобным в настоящий момент» (XX, 81—82). Сам Салтыков опасался, однако, не вообще публикации статьи, а именно появления ее в московской прессе. И как только рукопись вместе с набранным текстом была возвращена в Петербург, Салтыков сразу же послал статью Стасюлевичу с таким сопроводительным обращением: «Посылаю при сем (в корректуре) статейку, которую «Рус<ские> ведомости» возвратили мне. Я изрядно ее почистил, как Вы увидите, а в некоторых местах даже и оскопил. Не желаете ли Вы напечатать ее в ноябрьской книжке?» (XX, 84). Стасюлевич «пожелал». Статья появилась в названном номере журнала. И Салтыков не без горечи писал накануне выхода этого номера Гл. Успенскому: «Это будет мой первый дебют на чужих людях. До сих пор мне как-то всегда удавалось работать в своем месте» (XX, 91). В «Вестнике Европы» появились и все остальные статьи «Пестрых писем», общим числом девять. Публикация их закончилась в октябрьской книжке 1886 года. Но Салтыков не был доволен своим сотрудничеством в журнале Стасюлевича. По этому поводу он писал Соболевскому, к которому относился с большей симпатией, чем к редактору «Вестника Европы»: «Признаюсь Вам откровенно, я очень-очень недоволен своим сотрудничеством в этом журнале, но

положительно не знаю, куда деваться. Сношения с редакцией — самые неприятные. Это не редакция, а что-то деревянное, необыкновенно глупое и притом напыщенное» (XX, 167). Следует, однако, полагать, что такая жесткая характеристика относилась если не исключительно, то преимущественно к Стасюлевичу и его техническим помощникам, а не к редактору «Вестника Европы» А. Н. Пыпину, к которому Салтыков относился с большим уважением.

Как во всех сериях или циклах, отдельные рассказы, очерки или статьи, их составляющие, были подчинены в «Пестрых письмах» одной *общей идее*. Это идея о «*пестром времени*» реакции, лишенном устремленности к высокому общественному идеалу, без чего «понять ничего нельзя», и о «*пестрых людях*» этого времени, не обладающих цельностью, убежденностью и последовательностью взглядов, то есть о беспринципных приспособленцах, «людях-флюгерах», изменяющих свои суждения и «практическое» поведение применительно к собственной выгоде и интересам. В «Пестрых письмах», как всегда у Салтыкова, предметом его критики и отрицания являются не только и не столько реакционный курс правительственной политики, сколько безропотное принятие этого курса и приспособления к нему общества.

Общие обличительные задачи нового цикла со всей ясностью сформулированы в начале последнего «Письма IX». «Пестрое время, пестрые люди, — читаем здесь. — Оттого и жить трудно стало; не на кого положиться, не во что верить; везде шатание, пустодушие, пестрота (<...>). Дурное, спутанное время. Проворовались людишки, остатки совести потеряли. Общий признак, по которому можно отличать пестрых людей, состоит в том, что они совесть свою до дыр износили. А взамен совести выросло у них во рту по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда — это еще постыднее — оба зараз. Жизнь их представляет перепутанную, бессвязную и не согретую внутренним смыслом театральную пьесу, содержание которой исключительно исчерпывается переодеванием. Всем они в течение своей жизни были: и поборниками ежовой рукавицы, и либералами, и западниками, и народниками, даже «сицилистами», как теперь говорят. Но нигде не оставили ни скрупула своей души, потому что оставить было нечего. Все их искусство всегда состояло в том, чтобы выждать потребный момент и как можно проворнее переодеться и загримироваться. Словом сказать, это вполне оголтелые, в нравственном отношении, люди, — люди, у которых что ни слово, то обман, что ни шаг, то вероломство, что ни поступок, то предательство и измена» (XVI-1, 376).

Приведенный текст — замечательная характеристика одного из наиболее отрицательных и вредных качеств в характере и поведении человека. Особо питательной почвой для развития таких качеств являются реакционные периоды, отме-

ченные идейно-общественным упадком и застоем, на какой бы национальной почве и в какое бы историческое время они ни возникали. Широта обобщений салтыковских социально-политических анализов охватывает и прошлое, и настоящее, и будущее. Сатирически-гротескный образ деятелей, у которых выросло во рту «по два языка, и оба лгут, иногда по очереди, а иногда <...> оба зараз», хорошо знаком и нашей эпохе с ее глубокими морально-общественными деформациями.

Но Салтыков писал о своей современности. Каждое из его «Пестрых писем» содержит на материале текущей или недавней русской общественной жизни художественно-публицистическую разработку разного рода типов приспособленцев — «пестрых людей», рабов служительских слов: «Чего изволите?», «как прикажете», «не погубите!». Эта психология и определяемое ею поведение воплощены в образах Передрягина, Архимедова, Покатилова, Стрелкова, Скорнякова, журналиста Подхалимова и Молчалиных всех родов и видов. Целая галерея людей сферы приспособленчества и беспринципности во всех их вариациях. Но в том же девятом письме содержатся весьма характерные для Салтыкова мысли о будущем. Иные из современников, в том числе из демократического лагеря, не раз упрекали писателя в отсутствии у него определенных идеалов. Это была критика с позиций догматиков и доктринеров. Салтыков, исходя из своего реалистического понимания чрезвычайно низкого уровня политической и гражданской сознательности народных масс, их темноты, утверждал: «Будущая форма общежития, наиболее удобная для народа, стоит еще для всех загадкою» (XVI-1, 380). Загадка эта может быть разгадана лишь в результате широкого обсуждения основных интересов народа самими массами, когда они будут к этому готовы в демократическом и общекультурном отношении. Решение такой задачи он относил к невидному пока будущему, к исторической дали.

Для современников появление Салтыкова в печати, после драматического перерыва, с привычными для читателя почти ежемесячными выступлениями глубоко критического, обличительного характера было истинным событием. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие слова П. В. Анненкова из письма его к Стасюлевичу, подтверждающего получение посланной ему в Берлин ноябрьской книжки «Вестника Европы»: «Тотчас же сажусь за «Пестрые письма» Салтыкова <...>: они прорезывают туман, который лежит теперь на русской жизни и мысли — и суть истинные *les bien-venus** в литературе. Так думают все, которые *умеют* читать — по-русски...»¹¹ Немало сочувственных оценок вызвало «Письмо I» и в печати.

Как почти каждое произведение Салтыкова, «Пестрые

* желанные гости (*фр.*) — С. М.

письма» содержат немало мест, прямо или опосредованно относящихся к биографии писателя. Главнейшим из них является начало «Письма I». В нем сообщается о пережитом писателем горе — закрытии «Отечественных записок» как журнальной трибуны свободного, смелого демократического слова. Вот это место, являющееся своего рода камертоном для того «скорбного настроения, достигающего высокого лиризма», которым, по словам одного из критиков, проникнуты многие страницы «Пестрых писем»¹².

«Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка. Не то чтоб дар слова совсем оставил меня, но язык мой сделался способен произносить только служительские слова: «Чего изволите?», «как прикажете», «не погубите!» — вот и все. А прежде я говаривал довольно-таки смело <...>. И вдруг, словно с цепи сорвался: «Не погубите!» <...>. Очевидно, это было новое и совсем особенное проявление внезапности, которого я еще не испытал...» (XVI-1, 229). Автобиографична и тема «читатель и писатель», столь часто присутствующая у Салтыкова. Выше было сказано, с каким глубоким, хотя объективно и не вполне оправданным драматизмом Салтыков воспринял равнодушное, пассивное — так казалось ему — отношение «публики», читателя к катастрофе, постигшей «Отечественные записки», когда в трудную для писателя минуту читатель «шмыгнул» в подворотню и «писатель увидел себя в пустыне, на пространстве которой там и сям мелькают одинокие сочувстватели из команды слабосильных» (там же, 235)*. Эти настроения отразились в известных горьких словах из того же «Письма I»: «Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература — сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего» (там же).

Конечно, Салтыков был не совсем прав, упрекая читателей и общество в равнодушии, с которыми откликнулись на новый «дебют» писателя не только читатели, но и печать. В известной «Библиографии литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине» Л. М. Добровольского зарегистрировано около 80-ти отзывов журналов и газет на появление «Пестрых писем»**. В большей своей части это были краткие заметки, иногда чисто информационного характера, но публиковались и критико-аналитические статьи — К. Арсеньева, А. Введенского, С. Герцо-Виноградского и др. За малым исключением — реакционно-консервативной и беспринципной «нововременской» печати, — отношение к новому циклу Салтыкова было весьма положительным. Особенно пристальное внимание привлек сатирический образ продажного журналиста

* См. об этом выше, с. 312—322.

** Речь идет о библиографии с 1884 по 1886 г.

Подхалимова. Он встречался и в предыдущих сочинениях Салтыкова, но здесь был разработан наиболее глубоко.

Как и подавляющее большинство произведений писателя, печатание «Пестрых писем» сопровождалось цензурными осложнениями.

История прохождения произведения через цензуру известна из уже опубликованных документов. Чтобы дать читателю представление о цензурных мытарствах, сопровождавших печатание «Пестрых писем», достаточно сообщить о двух эпизодах. Первый относился к «Письму IV». Об этом Салтыков писал Соболевскому: «Со мною <...> по поводу январ(ской) книги «В(естника) Евр(опы)» целая история произошла. Экстренно собирали Совет*, припомнили Персия и Ювенала и нашли, что даже они такой смуты в общественное сознание не вносили, какую я вношу (буквально)» (XX, 121). Второй эпизод относился непосредственно к последней статье цикла, а по существу ко всему произведению. «Статья «Пестрые письма», — писал по поводу «Письма IX» цензор В. М. Ведров в своем донесении в С.-Петербургский цензурный комитет, — характеризует настоящее положение нашего общества. «Проворовались людишки, остатки совести потеряли <...>». Это те люди, которые следуют направлению правительственному; их три сорта: 1) коноводы, 2) поддакиватели, 3) Молчалины (plebs) <...>. Это — физиологический очерк влияющих лиц и подчиняющихся государственной системе. Он дышит презрением и оплеванием этих тружеников государства <...>. По моему мнению, вся статья — протест против современного порядка и лиц, в нем действующих...»¹³

Политический подтекст такой оценки первого после закрытия «Отечественных записок» произведения его бывшего редактора был тот же, что и в правительственном решении о прекращении журнала. В глазах власть имущих Салтыков по-прежнему оставался «вредным писателем». «Вижу, что мое время прошло, — писал он Соболевскому, — и что так или иначе цензура вытеснит меня из литературы» (XX, 125). Этого не произошло. Но нельзя приписывать только повышенной мнительности Салтыкова его постоянную тревогу по поводу неизменной настороженности, а часто и открытой враждебности к нему органов политического контроля самодержавия в области печати. Можно лишь удивляться мужеству, силе и в конечном итоге победоносности борьбы крупнейшего писателя демократической оппозиции России XIX века с таким опасным противником, как царская цензура.

* Совет Главного управления по делам печати министерства внутренних дел под председательством Е. М. Феоктистова. — С. М.

**15. БОЛЕЗНЬ СЫНА.—ОБ «ИСПОВЕДИ» Л. ТОЛСТОГО.—
ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ: К УНКОВСКОМУ —
В РОДНЫЕ МЕСТА; К БЕЛОГОЛОВОМУ — ЗА ГРАНИЦУ**

Конец 1884 года и новый, 1885 год принесли Салтыкову новые волнения, отразившиеся на его физическом состоянии. Заболел его сын, 13-летний Костя, сначала ангиной, а потом скарлатиной. Мальчик от рождения был слабого здоровья, и болезнь приняла такое течение, что сам Боткин опасался за его жизнь. Шесть первых недель 1885 года стали тяжелейшим испытанием для Салтыкова. Этот суровый, а для многих, не знавших его близко, жесткий, даже грозный человек любил сына страстной, нежной любовью и говорил о нем (как увидим, драматически ошибаясь), имея в виду свою несложившуюся семейную жизнь: «Это единственное существо, которое меня любит» (XX, 174). «Вчера получили известие от Лихачевой, — писал П. Л. Лаврову Белоголовый, — с известием, что Костя Салтыков продолжает поправляться, одно время его считали безнадежным, и тогда на Михаила Евграфовича больно было смотреть, он плакал, как ребенок»¹.

После закрытия «Отечественных записок» Салтыков редко выходил из своей квартиры, мало кого видел и общался с жизнью главным образом через литературу, а под конец, когда зрение становилось все хуже, даже и читал мало. «Но, — по словам Михайловского, — он представлял собою нечто вроде чувствительного барометра: кажется бы и в четырех стенах заперт, а все отмечает — и бурю предсказывает, и тепло, и ясную и дождливую погоду. В этом отношении Щедрин был поистине изумителен. Не выходя из своей квартиры и видясь с очень ограниченным кругом людей, он чувл всякое течение в общественной атмосфере, и чем ближе к смерти, тем мрачнее и мрачнее были его показания»².

Доказательством удивлявшей всех, прежде всего лечащих врачей, творческой работоспособности Салтыкова при том состоянии, в котором находился его быстро разрушавшийся физический организм, может служить простая справка о его писательской работе за период с осени 1884 года до середины апреля 1885-го, когда резкое обострение болезни вновь, как

после закрытия «Отечественных записок», выбило из его руки писательское перо. За указанное время Салтыков написал и напечатал семь (из девяти) «Пестрых писем» и десять «Сказок». В общем объеме эти произведения составили около 15 листов. Сверх того, кроме названных в предыдущей главе пяти отдельных изданий своих сочинений, Салтыков выпустил в январе—феврале 1885 года еще две книги — «Невинные рассказы» (3-е изд.) и «В среде умеренности и аккуратности» (тоже 3-е изд.). Тексты обоих произведений прошли в корректурах авторский контроль.

На наиболее интересные с точки зрения Салтыкова явления текущей литературно-общественной жизни он по-прежнему откликался и в своих частных письмах, иные из которых представляют интерес не меньший, чем некоторые из его сочинений. В рассматриваемое время нельзя обойти два письма Салтыкова, посвященные критике толстовской «Исповеди».

В конце 1884 года в Москве вышла из печати книга М. С. Громеки «Последние произведения графа Л. Н. Толстого». Во второй ее части, написанной в форме бесед автора с вымышленными персонажами Ивановым и Левиным, речь шла о новых философско-моральных воззрениях Толстого, которые были изложены им в двух сочинениях начала 1880-х годов — «Исповедь» и «В чем моя вера?». Оба сочинения были запрещены цензурой. Но и не будучи изданными, они стали тогда же известны русскому обществу. Одним из источников этой популяризации стала книга Громеки. Цензура не досмотрела, что «вымышленные» беседы, которые ведут между собою «автор», «Иванов» и «Левин», заключали в себе публикацию больших отрывков запрещенного толстовского текста из «Исповеди» и частично из сочинения «В чем моя вера?». Это обстоятельство, обнаружившееся сразу же после выхода в свет книги Громеки, привлекло к ней повышенное внимание читателей и печати. Среди других отозвался на нее большой статьей Скабичевский (Русские ведомости, 1885, № 35, 6 февраля). Как мы помним, Салтыков недолюбливал Скабичевского как критика, но после закрытия «Отечественных записок» их отношения улучшились, может быть и потому, что Скабичевский, в отличие от многих других сотрудников упраздненной редакции, изредка посещал Салтыкова и выполнял некоторые его просьбы, что очень ценилось писателем.

В своей статье о книге Громеки Скабичевский встал на путь идеализации «нового учения» Толстого. Салтыков же, признавая могущество художественного и нравственного авторитета великого писателя, отрицательно относился к тем сторонам мировоззрения Толстого, из которых сложился, по определению Ленина, «исторический грех толстовщины». Михаил Евграфович не отвергал необходимости для человека работать над личным самосовершенствованием, хотя с тем существенным от Толстого отличием, что почвой и направле-

нием для такой работы были идеалы не только и не столько христианской морали, хотя бы и в ее внеконфессиональной форме, а всегда общественного содержания. Салтыков был не только великим писателем, но и великим моралистом, но *моралистом социальным*. С особенной резкостью критиковал он толстовское учение о «непротивлении». Удивляться тут нечему. Обличение смирения, покорности, пассивности, долготерпения народных масс и общества проходит генеральной темой всего творчества Салтыкова, начиная с его первой повести «Противоречия» и кончая предсмертной «Пошехонской стариной». Тут он кардинально противостоит учению Толстого, чем и объясняется крайняя резкость его критических оценок, содержащихся в письмах к Скабичевскому по поводу отзыва последнего на книгу Громеки.

Получив номер газеты со статьей Скабичевского, Салтыков сразу же отозвался на нее таким письмом (от 2 февраля 1885 г.): «Я с величайшим удовольствием прочитал сегодня в «Р<усских> вед<омостях>» Ваш этюд о гр. Толстом. Только мне кажется, что для того, чтоб быть совсем логичным, надо и игру в верования счесть *баловством*. Мне кажется, тот может назвать себя вполне хорошим человеком (хотя и не назовет, потому что ему это в голову не придет), кто живет честно и трудится как может. Все прочие, а в том числе и раскольники, и взыскующие вечного града, вроде Сюсляева, гр. Толстого и проч., суть досужие люди, баловни и кобени (от глагола кобениться). Право, литературное ремесло, ежели оно согрето убеждением, не так гнусно, чтобы на него смотреть как на блевотину сатаны» (XX, 137–138).

Для того чтобы содержание этих строк было в полной мере понятно, необходимо привести несколько высказываний Толстого из «Исповеди», которые (в устах Громеки – Скабичевского) непосредственно вызвали остроту и резкость полемического отклика на них Салтыкова.

Рассказывая историю «переворота» в своей жизни и верованиях, историю своего идейного разрыва с кругом людей, к которым он принадлежал по рождению и воспитанию, с кругом «богатых и знатных», Толстой писал: «Жизнь нашего круга не только опротивела мне, но потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, наука и искусство, — все это представилось мне одним баловством. Я понял, что искать смысл жизни в этом нельзя». «...Не найдя удовлетворения в вере людей моего круга, я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, со странниками, монахами, раскольниками и мужиками». Среди этих последних — Салтыков знал это — большое влияние на Толстого оказал крестьянин Тверской губернии Сютаев, основатель секты «сютаевцев», фамилию которого Салтыков переименовал в уничтожительную форму — Сюсляев. Этим темных людей, которые будто бы разгадали смысл жизни и смерти, так как обладали

«знанием веры» и потому «спокойно трудились», не протестуя против лишений и страданий, Толстой называл «хорошими людьми», а себя — великого писателя — «дурным человеком». «Я полубил хороших людей, возненавидел себя и — познал истину...»³

Можно себе представить, с каким гневом и сарказмом читал Салтыков (также идейно порвавший с родным ему по крови классом) эти «самобичевания» великого писателя, эту апологию отсталости, темноты и религиозно-сектантских предрассудков. Глубокий, искренний демократ, но демократ-просветитель, Салтыков отказывал Толстому в праве выражать эти взгляды от имени народа и, главное, во имя народа. Со всей глубиной он понимал, насколько они вредны для истинного просвещения и социального воспитания народных масс, для устранения их пассивности, бессознательности, их политической, гражданской неразвитости и темноты. Отсюда наименование религиозных мечтателей из народа и покровительствующего им Толстого щедрински суровыми словами «баловни и кобени».

Не менее остро реагировал Салтыков на толстовскую «анафему» литературе (всему искусству), на ее зачисление в рубрику «баловства». Известно — об этом не раз говорилось выше, — какой исключительной, страстной любовью к литературе была проникнута вся деятельность, сама личность Салтыкова, с каким чувством великой общественной ответственности нес писатель «звание литератора», предпочитая его всякому иному.

Получив письмо, Скабичевский справедливо усмотрел в нем не только критику «учения» Толстого, но и резкое осуждение собственной апологетической позиции по отношению к этому «учению». Он сделал попытку в чем-то оправдаться перед своим бывшим грозным редактором и что-то объяснить ему. Письмо это неизвестно. Но из ответа Салтыкова — он датирован 9 февраля 1885 года — видно, что, защищая главный тезис своей статьи: «...жизненность новой веры гр. Л. Н. Толстого заключается именно в том, что дело состоит здесь не в изменении каких-либо теоретических умозрений, а в стремлении изменить само содержание жизни, весь ее склад», Скабичевский сослался на пример известного революционно-демократического писателя и деятеля В. А. Слепцова.

Стремясь внедрить новые общественные идеалы в жизнь, Слепцов, под непосредственным воздействием социалистических идей романа Чернышевского «Что делать?», организовал в начале 1860-х годов в Петербурге общежитие для кружка демократической молодежи. Общежитие это, получившее у современников, по названию улицы, на которой оно находилось, название «Знаменской коммуны», очень скоро самоликвидировалось. Салтыков, бывавший в «Знаменской коммуне», пони-

мал всю утопичность надежд, возлагавшихся на нее Слепцовым⁴. Пример, приведенный Скабичевским, нимало не укреплял тезиса его статьи. С этого указания Салтыков и начал свой ответ ему, многозначительно сославшись на события Парижской коммуны как на попытку осуществления коммуны куда более серьезную, чем опыт бытового «социалистического общежития» Слепцова. «Мне кажется, — писал Салтыков, — что, привлекая пример Слепцова и его коммуны, вы только запутываете вопрос самым неожиданным образом. Это дело было совершенно ребяческое <...>. Примеры опыта осуществления коммуны были гораздо серьезнее, но и они совсем не идут к делу. Что касается до отрицания искусства для искусства, какое было в начале 60-х годов, то оно явилось, действительно, во имя отрицания баловства, тогда как теория Толстого — самосовершенствование для самосовершенствования — есть именно *продолжение* баловства.

Всего обиднее тут ссылка на народ; народ вовсе не думает о самосовершенствовании — об этом разговаривают Сюсляевы, Толстые, Успенские, Достоевские, — а просто верует. Верует в три вещи: в свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и вера, и в то же время *дело*, т. е. дело в форме, доступной народу. Если жизнь испытывает его, он «прибегает», просит заступничества и делает это в той форме, какая перешла к нему от предков, т. е. идет в церковь, взывает к Успленью-матушке, к Николе-батюшке и т. д. Но это не значит, что он верует в них по существу, а верует он в собственные слезы и в собственные воздыхания, которые и восстанавливают в нем бодрость. Подобие сему и культурный человек. Вера его тоже не иная, а вера в труд, вера в творчество природы и в жизнь. Он может применять эту веру ошибочно, но никак не может смотреть на честные свои убеждения, на свой честный труд как на блевотину» (XX, 139—140).

Продолжая в приведенном письме — одном из важных мировоззренческих документов писателя — критику религиозно-нравственного учения Толстого, Салтыков решительно отводит его утверждение, что учение это выражает подлинные верования народных масс России. В новых исторических условиях, по отношению к другому великому писателю, Салтыков как бы повторяет гневно-полемические слова Белинского, обращенные к Гоголю: «По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! <...> Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности»⁵.

Салтыковская критика религиозно-нравственных воззрений Толстого и его теории «непротивления» исходила из демократической идеологии. Для своего времени это была наиболее передовая критика, но она была исторически ограниче-

на как просветительским мировоззрением Салтыкова, так и тем, что учение Толстого — «толстовство» — в ту пору, о которой идет речь, еще полностью не сложилось и не выявило всего своего содержания.

Среди обстоятельств, благоприятно противостоящих трудным настроениям Салтыкова начала и весны 1885 года, упомянем два главных.

Первое из них — появление в «Русских ведомостях» в январе—апреле четырех больших серьезных и весьма положительных статей о «Пестрых письмах» известного литературного критика А. И. Введенского (Аристархова) под общим заглавием «Литературные беседы».

Второе обстоятельство — избрание 19 апреля 1885 года Л. Н. Толстого и Салтыкова почетными членами Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете (действительным членом Общества Салтыков был избран, по представлению И. С. Аксакова, еще в 1859 г.). Вот еще не бывшие в печати тексты двух документов, относящихся к этому избранию, являвшемуся в то время в России знаком высшего общественного признания писателя.

Документ первый. Выписка из Протокола заседания названного Общества (п. 17): «В предшествующих заседаниях Общества были предложены действительные члены граф Л. Н. Толстой и М. Е. Салтыков к избранию в почетные члены, а А. И. Эртель, автор «Записок степняка», — в действительные члены Общества. Результаты закрытой баллотировки шарами оказались следующими: избраны единогласно в почетные члены граф Л. Н. Толстой и М. Е. Салтыков, а в действительные члены О-ва А. И. Эртель. Определено: уведомить об этом избрании новых членов Общества». Заседание происходило под председательством временного председателя Н. И. Стороженко, в присутствии д. чл.: Н. фон Крузе, Е. С. Некрасовой, А. С. Пругавина, В. Е. Якушкина при секретаре Ф. Д. Нефедове».

Документ второй. Выписка из Протокола экстренного заседания названного Общества любителей российской словесности от 18 мая 1885 года: «Секретарем доложено письмом М. Е. Салтыкова*. Наш почтенный сатирик, извещенный об избрании его в почетные члены Общества любителей российской словесности, в письме своем от 6-го дня мая текущего года на имя временного председателя Н. И. Стороженко, принимая с глубоким уважением это избрание, просит засвидетельствовать перед Обществом о своей всегдашней и пристрастной готовности участвовать в его занятиях, «насколько», как он говорит, «слабые мои силы это позволяют».

* Письмо неизвестно. Его нет в архивном фонде Общества, хранящемся в ГБЛ. — С. М.

Заседание происходило под председательством Н. С. Тихонова, при секретаре Ф. Д. Нефедове»⁶.

Избрание Толстого и Салтыкова почетными членами Общества любителей российской словесности не прошло мимо внимания печати. В этой связи в ряде периодических изданий появились литературно-критические статьи и заметки. В одном из журналов, а именно в «Одесском вестнике», было сказано, что «гр. Л. Толстой и Щедрин — самые выдающиеся писатели современности»⁷.

После закрытия «Отечественных записок» у Салтыкова вновь, как это было несколько раз и прежде и позднее, возникла мысль о переезде на постоянное жительство в Москву и покупке подмосковного имения-дачи для летнего отдыха. Проект этот сильно занимал Салтыкова весной и в начале лета 1885 года. Об этом свидетельствуют его письма, в частности к Соболевскому. В одном из них он прямо пишет: «Простите, что я Вас беспокою, но, в сущности, я покупаю имение с намерением вовсе переселиться в Москву» (XX, 173). И в другом письме: «Я душою рвусь в Москву, но, вместо Москвы, конечно, попаду на тот свет» (там же, 182). Намерение Салтыкова покинуть Петербург, где, как ему представлялось, уже нечего было делать (после закрытия «Отечественных записок») и поселиться в Москве, близкой ему по детским и школьным годам, не осуществилось. Это был один из утопических проектов, каких — об этом уже говорилось — было несколько в жизни Салтыкова, хотя он и был в глазах современников суровым реалистом-практиком. Препятствием в осуществлении желания Салтыкова было не только состояние его здоровья, не позволявшее ему вести переговоры о покупке имения самому, а не через посредников, без личного осмотра предлагаемой усадьбы. Желанию Салтыкова противилась Елизавета Аполлоновна, совершенно не хотевшая расставаться с Петербургом. «Изверившись в возможность приобрести для себя угол в форме небольшого имения-дачи и упустив, вследствие многих самообольщений, время для найма сколько-нибудь удобного летнего помещения, — писал Салтыков 12 мая 1885 года все тому же Соболевскому, — я решился ехать за границу. Это единственная форма виллегиатуры*, при которой не может быть самообольщений. Взял, поехал — и конец» (XX, 179). Вместе с тем Салтыков заявлял: «Сборы за границу, предмет моей ненависти» (там же, 195).

Физическое и моральное состояние Салтыкова все ухудшалось. «Никогда я не был так болен, — писал он 17 мая 1885 года Соболевскому. — Сплю не больше 4-х часов в сутки, и то в разное время. Полагаю, что умру от истощения сил <...>. Смерть у меня не с косою, а в виде лисицы, которая долго с зайцем разговаривает и, наконец, говорит: ну, теперь давай

* летнего отдыха на даче или на курорте (*фр.* villégiature). — С. М.

играть» (XX, 182—183). И хотя эта жестокая «игра» продолжалась еще четыре года, парадоксально сочетаясь с великими взлетами творчества, сам носитель этого «парадокса» существовал в постоянном ожидании скорого конца своего литературного и жизненного пути. «Я думаю, — писал он 28 мая Белоголовому, — что летом непременно умру, ибо жизнь моя — мучение» (там же, 185). Уверенность в скорой смерти, вконец расшатанные болезнью нервы, повышенная до предела раздражительность, драматически сложившиеся семейные отношения, главным образом с женой, Елизаветой Аполлоновной, заставляют Салтыкова принять два решения относительно летних каникул. Чтобы несколько отдохнуть от тяжелой семейной обстановки, он отправляет (23 мая) Елизавету Аполлоновну с детьми и гувернанткой в Саксонию, в Бад-Эльстер, а сам в июне едет сначала на несколько дней к другу своего детства и школьных лет А. М. Унковскому, на их общую родину, в Тверскую губернию, в имение Дмитриюково Старицкого уезда, а затем — в Висбаден, к Белоголовому, куда просит приехать и Анненкова.

Обе эти поездки были, можно полагать, предприняты не без воздействия владевших Салтыковым мыслей о скорой смерти и желания «проститься» с оставшимися немногими наиболее близкими ему людьми. Не противоречит сказанному, а дополняет его и другая версия, объясняющая решение Салтыкова еще об одной поездке за границу. По словам Белоголового, оно возникло в результате определенной «уловки» врачей. «Врачи, — читаем в «Воспоминаниях» Белоголового, — находили полезным рассеять его слишком сосредоточенное на своем здоровье внимание поездкою за границу, но так как он для своего развлечения ни за что бы не оставил Россию, то они прибегли к такой уловке: детям его вначале было предписано провести лето с матерью в Гапсале, теперь же этот план был переделан, и им назначено было брать сначала железогрязевые ванны в Эльстере, а потом купаться в море, а при этом плане и Михаил Евграфович, чтобы не оставаться все лето одному в Петербурге, должен был тоже ехать за границу»⁸.

Все так и произошло. Но сначала — о предвещающей заграничное путешествие поездке в Тверскую губернию. Она совпала с одним, редким в это время, просветом в физическом и, соответственно, душевном состоянии Салтыкова. Об этом свидетельствуют воспоминания А. М. Унковского: «В последний раз в сносном виде я помню его лишь в моей деревне в июне 1885 года. Приехав туда дня на три*, он был весел и даже в последний раз в жизни играл в карты»⁹.

Краткость этой мемуарной записи может быть дополнена воспоминаниями старшей дочери Унковского Софьи Алек-

* Салтыков гостил в Дмитриюкове с 8 по 11 июня 1885 г. — С. М.

сеевны. Хотя ее воспоминания о посещении Салтыковым Дмитрюкова относятся к более раннему периоду, в них содержится ряд характерных штрихов и наблюдений для быта писателя, которые можно отнести к любому времени. Добавим, что Салтыков очень любил автора этих воспоминаний, сверстницу и подругу его дочери Лизы. Вот соответствующее извлечение из мемуарного очерка Софьи Алексеевны, написанного ею в 1926 году и доработанного, по моей просьбе, в 1933-м:

«Когда еще болезнь была в первой стадии своего развития, Салтыков не раз приезжал к нам в имение. Со станции железной дороги его привозили в закрытой карете на четверке. У нас он был обыкновенно в хорошем настроении духа: пил воды*, гулял с отцом по липовым аллеям сада, писал в кабинете. Вскоре по приезде обязательно посылал в село за батюшкой, любил с стариком попом потолковать о разных вещах, а также поиграть с ним и с моим отцом в «дураки». «У Вас поп преумный», — говаривал он, угощая его вином на террасе, и вообще благодушествовал. Салтыков был большой любитель животных, лошадей и особенно собак, а у нас в деревне было всегда не меньше пяти черных «водолазов» да еще несколько гончих собак. Обед наш обыкновенно происходил в липовой аллее, и после обеда Михаил Евграфович нес каждый раз на тарелке остатки обеда и угощал свою любимую собаку. Семья его в это время была за границей, и он ежедневно писал туда детям письма, где описывал свою жизнь в деревне и настоятельно требовал, чтобы они ему писали. Детей своих он так любил, что не мог долго жить без них...»¹⁰

По этой причине, вернувшись из Дмитрюкова в Петербург, Салтыков прежде поездки в Висбаден к Белоголовому сначала направился в Бад-Эльстер, в Саксонию, где находилась его семья.

О том, в каком физическом состоянии и с какими настроениями совершался последний заграничный вояж Салтыкова (в одиночку**), говорят его письма. Во-первых, из-за плохого знания немецкого языка Салтыков, по совету Лихачева, который его провожал, отправился в Германию с прикрепленной к своей одежде большой карточкой. На ней крупными буквами были написаны маршрут поездки и просьба к проводникам немецких вагонов и к пассажирам-спутникам помочь ему сообщениями, с каких вокзалов и на каких поездах ему нужно из Берлина доехать до Дрездена, а из Дрездена — до Эльстера в Саксонии. Во-вторых, Салтыков писал Белоголовому накануне отъезда из Петербурга: «Так как я беспримерно болен, то, может быть, и помру дорогой. Я уже написал насчет этого жене инструкцию, с описанием всех цен-

* Воды старичьих минеральных источников. — С. М.

** Надежда Салтыкова, что его будет сопровождать в поездке за границу д-р Руссов, по какой-то причине не осуществилась.

ностей, которые при мне будут находиться, потому что я везу с собой все капиталы, потребные на вояж» (XX, 190).

В Бад-Эльстер Салтыков приехал 21 июня/3 июля в таком положении, в каком, по его словам, еще «никогда не бывал» (XX, 191). О тяжести состояния Салтыкова летом 1885 года свидетельствует Белоголовый в своих «Воспоминаниях»: «По мере того как приближалось наше свидание, я видел со страхом, что ему делается все хуже и хуже: уже последние письма из Петербурга были писаны им сильно дрожащим и изменившимся почерком, а из Эльстера я стал получать коротенькие записки, написанные так, что с трудом можно было разобрать, с беспрестанным пропуском букв в словах, и наполненные самыми отчаянными жалобами на свое состояние»¹¹. Белоголовый не скрывал, что с определенной тревогой ожидал приезда своего друга, находившегося в состоянии крайней болезненной раздражительности. Он писал П. Л. Лаврову: «Салтыков, судя по письмам, едет лютый-распрелютый, и я с большим страхом его поджидаю, хотя и от души скорблю о таком состоянии его духа»¹².

Салтыков с семьей (и гувернанткой) приехал в Висбаден 29 июня/11 июля. Остановились они в том же пансионате, где и три года назад, в снятых Белоголовым заблаговременно четырех комнатах. Медицинское обследование, произведенное Белоголовым на другой же день, дало плачевные результаты. О них он писал Лаврову через несколько дней: «Сатирик приехал, дорогой Петр Лаврович, и в самом печальном виде какой-то еле передвигающей ноги руины: язык заплетается, постоянные истерики, а главное — меня поразило резкое ослабление памяти и совершенная невозможность написать даже простое письмо, не говоря уж о «пестром». Я в большой мере приписал это утомлению от поездки по железным дорогам, и мне кажется, что за 5 дней, которые он провел здесь, он стал и бодрее и свежее; не теряю надежды, что он еще порасскажет нам несколько «сказочек», но это будут лебединые его песни, ибо с таким ослабленным сердцем и с таким нарушением кровообращения в мозгу долго тянуть невозможно...»¹³

Салтыков знал о том, что болезнями его затронут также и мозг. Страх перед, возможно, угрожавшим ему безумием был самым трагическим и почти постоянным переживанием его последних лет и доводил его раздражительность до пределов, отпугивавших многих людей. Сам он это полностью сознавал и все чаще говорил, что «становится труден для общения с людьми, даже глубоко уважающими его». Подтверждений этому немало в мемуарных и эпистолярных источниках. В одном из писем поэта Надсона к Белоголовому лета 1885 года читаем: «Что-то у Вас поддельывает Салтыков и как Вы с ним ладите? Выберите, пожалуйста, солнечный день и минуту, когда он будет в хорошем настроении духа, и поосторожнее поклонитесь ему от меня...» И в следующем письме:

«Передайте, пожалуйста, мой поклон и наилучшие пожелания <...> Михаилу Евграфовичу (если он только за это на меня не рассердится)...»¹⁴

Через три недели пребывания большого в Висбадене Белоголовый писал П. Л. Лаврову в Париж: «Салтыков чуточку бодрее, хотя сам этого не признает и постоянно в самом мрачном настроении духа; главное, смущает его невозможность писать; мысли бродят в голове, и он мне передал содержание 3-х будущих «сказок» и следующего «Пестрого письма», но не может изложить их по недостатку выражений и т. п. И я сомневаюсь, чтобы такое мозговое угнетение не отразилось на последующих его творениях. Посмотрим, что будет после отъезда его семьи в Roan; она уезжает в воскресенье, и тогда он, вероятно, переберется в наш пансион. Вчера я от него узнал, что зять его (женатый на его свояченице) Tournier, живущий в Каркассонне, перевел, и очень недурно, три «сказки» («Карась-идеалист», «Добродетели и пороки» и «Недреманное око») и напечатал чуть ли не в Каркассонской газете*. Сообщаю это Вам к сведению, тем более что Салтыков очень хвалит перевод и только недоволен выбором для передачи «Недреманного ока»¹⁵.

Вскоре, а именно 14/26 июля, Салтыков отправил семью из Висбадена, через Париж, на морские купанья в Roan, близ Бордо, на берегу Бискайского залива. Возникшие у него колебания, вернуться ли ему сразу в Петербург или пожить еще в одиночестве в Висбадене, что его страшило, разрешились предложением Белоголовых перебраться в их пансионат

* В 1961 г., вместе с группой писателей, я побывал в Каркассонне, древнем городе-замке на юге Франции. Времени для библиографических поисков в местной библиотеке у меня, естественно, не было. Но оказалось, что женщина-гид, показывавшая нам замок, находилась в дальнем родстве с зятем Салтыкова Валентином Турнье, принадлежавшим к знатному роду местных «сеньоров», то есть к бывшим феодальным владельцам замка. У нее сохранилось отдельное издание французского перевода салтыковской сказки «Карась-идеалист», отпечатанное в Imprimerie de Pierre Polere в Каркассонне в 1885 г. Из текста обложки и титульного листа издания — оно было подарено мне — видно, однако, что перевод был сделан не зятем Салтыкова, а его свояченицей Анной Аполлоновной, бывшей, как сказано, замужем за В. Турнье. Вот этот текст: *Cht ch è d r i n e. Le Carassin idéaliste. Conte russe. Traduction de M-me V. Tournier <...> Carcassonne <...> 1885.* На титульном листе автографическая дарственная надпись Анны Аполлоновны: «Offert par la traductrice». Издание стоило всего 30 сантимов и было благотворительным. Это следует еще из одного текста на обложке и титульном листе: «Se vende au profit du Sou des Ecoles laïques <...>» («Продается в пользу немущих учащихся светских школ — *фр.*). Следует думать, что и переводы остальных двух «сказок» Салтыкова, названных Белоголовым, принадлежали также Анне Аполлоновне, а не ее мужу. Что же касается В. Турнье, то он в 1900 г. выпустил книгу, в которой содержался отклик на смерть Салтыкова. Автор солидаризируется с оценкой писателя французскими газетами как «колосса русской литературы», как «громадной литературной силы нашей эпохи», «источника, из которого будущие поколения будут черпать, но не смогут все исчерпать»¹⁵.

и жить вместе. Салтыков с радостью ухватился за это предложение, хотя и не без опасений и оговорок, что может доставить много неприятностей своим друзьям, в частности, громким и длительным кашлем по ночам и др. Отговорки были отвергнуты, и в тот же день, как уехала его семья, Салтыков, проводив ее, прямо с вокзала переехал в пансионат «Brüsselerhof» на Geisbergstrasse, где жили Белоголовые, и занял две соседние с ними комнаты. И хотя сама улица и комнаты не очень понравились ему («Очень плохая улица и весьма раскаленное помещение», — жаловался он в одном из писем — ХХ, 198), он был очень удовлетворен, что оказался под полной опекой своих друзей — бытовой, медицинской и дружеской. Последняя была в особенности необходима ему в это время. В письме Стасюлевича к Пыпину из Карлсбада от 7/19 июля 1885 года читаем: «Сейчас пришло письмо от Салтыкова, поистине трагическое, так что я начинаю верить в то, что он серьезно болен, и начинаю бояться за его близкое будущее...»¹⁷ И о том же в письме Стасюлевича к жене от того же числа: «...письмо Салтыкова: <...> это целый вопль и стон не только больного тела, но и очень наболевшей души»¹⁸.

«Жизнь наша сначала пошла так прекрасно, — читаем в «Воспоминаниях» Белоголового, — что мы с женою не могли нарадоваться, ибо, признаюсь откровенно, оба трусили немало этого сожительства, зная болезненную раздражительность и резкую нетерпимость Салтыкова. Но то ли прекращение вечных препирательств с женой и детьми, а вместо того наш внимательный уход за ним, то ли ему действительно это время стало немного полегче, но только на него нашел, как говорится, «тихий час», он стал чрезвычайно кроток и благодушен. И тут, ближе вглядываясь в этого человека, можно было легко заметить, что столь щедро одарившая его природа дала ему и прекрасное сердце, и весьма деликатную нравственную организацию, и только продолжительная болезнь да семейные невзгоды сделали то, что на фоне головлевской наследственности развился такой дикий и грубый человек, каким представлялся Салтыков для лиц, мало его знавших. Для нас он не только не был грубым человеком, а агнем доброты и кротости, в высшей степени деликатным во всех отношениях и горячо благодарным нам за дружеский уход, которым мы старались его окружить»¹⁹.

Это свидетельство мемуариста, написанное по памяти, о прошлом, хотя и недалеко. А вот полностью совпадающее с ним свидетельство жены Белоголового Софьи Петровны из ее письма к П. Л. Лаврову, относящееся непосредственно к дням совместной жизни с Салтыковым. «Сопансионер наш, Михаил Евграфович, — писала С. П. Белоголовая в Париж 3 августа 1885 года, — ведет себя донельзя мило, деликатен и кроток, — чего мы никак не ожидали. Так он не избалован своей супругой, вообще домашней обстановкой, что всякую

пустую о нем заботу, самую обыденную, что и замечать-то не следовало бы, он принимает как нечто необычное»²⁰.

Шесть недель, прожитых Салтыковым в Висбадене вместе с Белоголовым, — едва ли не последняя относительно спокойная и светлая полоса в столь мрачном и трагическом завершении жизненного пути писателя, хотя и она не была свободна от дней темных и трудных спадов. Среди людей, которых на закате своей «горькой жизни» Салтыков вправе был считать наиболее близкими себе, Белоголовый должен быть назван одним из первых, если не первым. «Вы единственный, быть может, человек, который не охладел ко мне», — писал Салтыков Белоголовому весной 1888 года (XX, 416). А полгода спустя, уже всецело находясь во власти предсмертных недугов, он сделал ему такое признание: «И письмо это пишу через силу, опасаясь, чтоб не произошло перерыва в общении с человеком, которого я люблю более, нежели кого-либо из друзей» (XX, 438). Любовь к человеку — «отличнейшему человеку» (XIX-2, 94) — соединилась у мучительно больного писателя с верой во врачебное искусство Белоголового. «Михаил Евграфович смотрит на Николу, — писала Софья Петровна Белоголовая, — как на спасителя во всех отношениях»²¹. Но главной основой их дружеских отношений были близость, хотя далеко не полная, их общественно-политических взглядов и высокая оценка Белоголовым писательской деятельности Салтыкова. Правда, подобно Елисееву и ряду других демократов-просветителей 1860—1870-х годов, Белоголовый больше ценил публицистическо-оппозиционную остроту в салтыковских анализах текущей общественной жизни, чем художественный мир его произведений. Не всегда правильно понимал Белоголовый и некоторые черты характера, суждений и поступков писателя, в частности его непримиримость ко всякого рода выражениям «монаршего благоволения» к общественным деятелям, шедшим на разного рода «делки» с властью имущими. В этом отношении любопытен враждебный Салтыкову и совершенно несправедливый отзыв Белоголового в одном из его писем к Лаврову о том, как писатель откликнулся на правительственные награды, полученные Боткиным и Лихачевым по случаю пасхальных праздников 1888 года.

Вот что писал по этому поводу Белоголовый Лаврову 13 мая 1888 года: «По случаю Пасхи много наград, и в числе награжденных Боткин и Лихачев: первый получил звезду Александра Невского, а второй — чин тайного советника, — и вообразите: это приводит в зависть М. Е. Салтыкова, — и эта зависть, по мне, неизмеримо противнее этих наград чуть не единственных его близких приятелей. Сегодня я получил от него такое злобствующее по этому поводу письмо, что читать было противно; вот бы я ему удружил, если бы сохранил это письмо для потомства...»²²

По счастью, Белоголовый не уничтожил письма и этим

действительно *удружил* Салтыкову для потомства. Письмо это от 26 апреля 1888 года. В нем, в частности, сообщается: «Поздравляю Вас с праздником. Я встретил его хуже, чем худо: еле дышащий, в каком-то положении и доднесь пребываю. Зато знакомцы наши: Боткин и Лихачев встретили радостно; первый получил Александра Невского, второй — чин тайного советника. Вероятно, теперь и тот и другой позабудут о моем грешном существовании, — и недосужно, да и компрометирует. По крайней мере, я предчувствую, что так выйдет, так как Лихачев уже начал с того, что не приехал ко мне в праздник, чего прежде никогда не бывало. Такое, впрочем, уж время, что необыкновенно благоприятствует благоразумию. Выходят люди на арену деятельности и говорят: это я не для карьеры, а для общей пользы, а потом потихоньку облаживают свои делишки, зная, что никто им даже не бросит укора. Г. З. Елисеев много тут виноват с своей пошлой теорией хождения об руку с начальством» (XX, 415).

Понимание Белоголовым салтыковской оценки правительственных наград деятелям, которых он считал людьми своего общественного лагеря, как «зависти» и «злобствования», просто удивительно. Возможно, что Белоголовый плохо прочитал письмо, написанное трудным почерком, но скорее его суждение свидетельствовало о неприятии такой черты в характере Салтыкова, как непримиримость ко всему, что, с его точки зрения, входило в сферу тщеславия, компромиссов и услужливости перед властями. Напомним, что сам Салтыков, несмотря на свое бывшее вице-губернаторство и генеральский (штатский) чин, *не имел ни одной правительственной награды* — случай едва ли не уникальный в истории царской орденосной бюрократии.

Существовавшие различия и расхождения по отдельным вопросам не препятствовали, однако, дружеской близости Салтыкова с Белоголовым. Она убедительно документирована их обширной перепиской, хотя, как мы помним, и дошедшей до нас односторонне (только письма Салтыкова), и «Воспоминаниями» Белоголового. Последние принадлежат к лучшим страницам мемуарной литературы о писателе.

В биографическом труде о Салтыкове фигура Белоголового, ныне почти забытая, должна быть представлена несколько подробнее. После Тургенева, Анненкова, Некрасова и Унковского это — наиболее лично близкий Салтыкову человек среди выдающихся деятелей современной ему русской жизни.

Один из лучших врачей-терапевтов своего времени, Николай Андреевич Белоголовый был весьма разносторонним человеком, с широким кругом общественных интересов. Не в виде комплимента, а вполне искренне писал ему Салтыков: «С Вами, кроме болезней, и о многом другом можно было посоветоваться...» (XIX-2, 242). С молодых лет и до старости Белоголовый жил передовыми социально-политическими и

литературными интересами. Его первыми учителями были ссыльные декабристы — П. И. Борисов, А. П. Юшневский и А. В. Поджов (детство и отрочество Белоголового прошли в Сибири). Юношей он учился в Московском университете. Это было в первую половину 1850-х годов, когда с кафедры старейшего русского университета еще звучало слово Грановского — «просветителя нации», по определению Чернышевского, оказавшее большое влияние на формирование взглядов Белоголового, как и (в несколько более раннее время) самого Салтыкова. По окончании университета Белоголовый работал практикующим врачом сначала в Сибири, а потом в Петербурге, испытывая сильное воздействие демократического подъема этого времени. Он не вступает в ряды действующих революционеров, но их идейный вождь Чернышевский навсегда остается для него «святым именем», «духовным маяком», и он пристально следит за его трагической судьбой. В начале 1870-х годов Белоголовый сближается с литературно-журнальной группой «Отечественных записок». Он становится лечащим врачом и другом всех руководителей журнала — Некрасова, Елисеева, Салтыкова. Еще раньше он заводит дружеские связи с другими выдающимися людьми эпохи — с Толстым, Тургеневым, как в России, так и среди русской революционной эмиграции — с Герценом, Огаревым, Лавровым, Лопатиным.

В 1881 году Белоголовый, получив скромное наследство, почти оставляет профессиональную медицинскую практику и, поселившись за границей, отдается полускрыто литературно-политической деятельности, не переходя, однако, на положение эмигранта. С 1883 года он становится одним из негласных редакторов женевской эмигрантской газеты «Общее дело», стремившейся создать широкий фронт всех антисамодержавных направлений русской общественной мысли. С газетой этой Белоголовый был связан со дня ее основания в 1877 году.

С начала 1880-х годов не медицина, а общественно-политические интересы становятся, как любил говорить Белоголовый, «движущим центром» его жизни и деятельности. Он превращается в анонимного неутомимого обозревателя русской общественной жизни: ведет два «обозрения». Одно, под названием «Хроника» — в «Общем деле», другое, не предназначенное к печати, в письмах к П. Л. Лаврову, которые с удивительной регулярностью через каждые три-четыре дня посылаются адресату на протяжении полутора десятков лет*.

И каких бы разнообразных вопросов ни касался Белоголовый в своей «Хронике» (анонимно) и в письмах к Лав-

* Письма Белоголового к Лаврову хранятся в ЦГАОР (ф. 1762). Полностью они еще не изданы. Но многие цитаты из них приводятся в настоящем труде, а еще раньше — в комментариях к письмам Салтыкова Белоголовому (XIX и XX, см. по указателю имен).

рову, всегда в них присутствовало биение политического пульса, всегда чувствовалось дыхание общественной злобы дня. Одним из постоянных источников для освещения вопросов русской общественной жизни служили для Белоголового сочинения и письма Салтыкова. Содержание многих из этих писем подробно и с большими выписками из них регулярно сообщалось Лаврову и, следует полагать (вопрос этот еще не исследован), использовалось последним, конечно без указания на источник, в издававшемся им вместе с Л. А. Тихомировым «Вестнике Народной воли» (журнал выходил в Женеве в 1883—1886 гг.). Здесь следует напомнить, что Лавров был глубоким почитателем Салтыкова. Имея в виду 1870—1880-е годы, он писал в одном из зарубежных изданий «Народной воли»: «Раздирающие душу стихотворения Некрасова и все более горькая сатира Щедрина стали единственным верным изображением общественного настроения»²³. А в отклике на смерть Салтыкова и Чернышевского — оба они умерли в одном и том же 1889 году — он уравнивал их выдающееся значение для русской общественной жизни. «После Тургенева и Достоевского, — писал Лавров, — Россия похоронила двух самых сильных деятелей своей мысли: того Щедрина, с которым и в сатире которого все мыслящее в России переживало надежды и разочарования, возмущения совести и перипетии борьбы последних трех десятилетий, того Чернышевского, который для нынешнего поколения был уже полумифическим героем предыдущего периода»²⁴.

Каковы же были, в главнейшем, общественно-политические взгляды Белоголового? Краткое ознакомление с ними поможет понять, в чем он и Салтыков были близки, а в чем разошлись.

Белоголовый крайне отрицательно относился к «порядку вещей» в современной ему России и ненавидел его государственную основу — самодержавие. Реформы 1860-х годов и последующие, по его мнению, были недостаточными. Они в должной мере не оживили страну и народные массы, мумифицированные веками монголо-татарского ига, крепостнического рабства и феодального застоя. Еще в 1861 году в одном из своих писем к родным, рассказывая о мерах предосторожности, принятых правительством в связи с предстоящим объявлением манифеста об отмене крепостного права, Белоголовый писал: «Или они там в Питере без смысла трусливы, или же хороша должна быть та свобода, которую иначе нельзя возвестить народу, как с пистолетом в руке...»²⁵

По его убеждению, решение всех главных проблем, стоявших на историческом череду развития страны, требовало проведения радикальных преобразований — политических и социальных. Но реальных путей к «полной смене декораций» (Чернышевский) он не знал. «Мы, как древние богатыри, — писал Белоголовый об исканиях русской демократической

и либерально-оппозиционной мысли, — стоим по-прежнему на перекрестке трех путей, которые открывает нам история»²⁶. Белоголовый имел тут в виду те пути, которые Бакунин в начале 1860-х годов персонально-метафорически связал с именами: «Пугачев, Пестель или Романов».

К «пути Пугачева» никогда не лежало сердце Белоголового. Вслед за Пушкиным («русский бунт — бессмысленный и беспощадный») он страшился всеобщего крестьянского восстания, «народной дикой революции», которая смела бы в кровавом хаосе и буре все завоевания национальной культуры и уничтожила бы значительную часть интеллигенции, принадлежавшую в большинстве к дворянству и другим привилегированным слоям общества²⁷. Таково было отношение и Салтыкова к тем ожиданиям всеобщего крестьянского восстания, которыми страстно жила русская революционная демократия на рубеже 1850—1860-х годов и которых он не разделял. В периоды демократических подъемов в стране, в начале 1860-х годов и в конце 1870-х, Белоголовый склонялся к «пути Пестеля» — к пути радикально-реформаторских и даже революционных преобразований, но без участия широких народных масс, не обладавших еще достаточным политическим и гражданственным сознанием для участия в таких далеко идущих преобразованиях. Этим определялась поддержка, которую оказывал Белоголовый на страницах «Общего дела» революционному движению народолюбцев, несмотря на то что оно в его глазах являлось «крайним и прискорбным проявлением упадка прогрессивного общественного самосознания»²⁸. Узнав о прекращении издания «Вестника Народной воли», Белоголовый писал Лаврову: «Хотя я и не Вашего прихода, — а жаль, что партия «Народной воли» сходит со сцены, все же это была организованная партия протеста»²⁹. Таково же было отношение к революционерам-народолюбцам — «людям самоотвержения» — Салтыкова, хотя и отрицательно отнесшегося к акту 1 марта 1881 года и другим террористическим действиям народолюбцев. К середине 1880-х годов, в связи с углублением реакции и падением общественного тонуса в стране, в политических настроениях Белоголового усиливаются настроения скептицизма. Он теряет и ту небольшую, нетвердую веру в активные силы русского общества, которая была у него раньше. «Наша интеллигенция, — пишет он Лаврову, — самым добродушным образом ковыряет у себя в носу, а Вы все ждете, что она вот-вот двинется на какие-то баррикады. Ну и ждите, Вы — блаженноверующие»³⁰. В сумеречные годы реакции 1880-х годов, когда, по слову Александра Блока,

В сердцах царили сон и мгла,

«повадливость» русского «культурного человека», с таким гневом заклеянная в «Пестрых письмах» и других произведе-

ниях Салтыкова этого времени, усиливает скептицизм Белоголового. «Ваша опара села и никогда не взойдет больше — дрожжи выдохнулись», — пишет он Лаврову. В революционную активность масс он по-прежнему не верит и боится ее. Все это приводит его к выводам, «опротестованным» спустя всего два десятилетия историей — первой русской революцией, — что реальным остается лишь «путь Романова», путь реформ сверху, проводимых существующею властью, если она поймет необходимость «просвещенного абсолютизма». «Революция, — утверждает в 1887 году Белоголовый, — если и может произойти, то во всяком случае только сверху, по царской инициативе, а никак не снизу»³¹.

Однако и «революция сверху» могла, по убеждению Белоголового, произойти лишь при условии внешнеполитического толчка большой силы. «Вообще, на какой-нибудь мирный прогресс (в России) нет ни малейшей надежды, — писал он Лаврову в 1887 году, — и только одна война может вызвать фундаментальную перемену в системе»³².

Было время, когда и Салтыков, в свои относительно еще молодые годы, создал теорию «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма» и пытался осуществлять ее на поприще своей государственной службы³³. Но он давно отказался от нее и был далек от надежд Белоголового на возможность «пути Романова». Надо полагать, что он подвергал в беседах с Белоголовым эти иллюзии его такой же суровой критике, как и возникшую тогда же оппортунистическую теорию Елисеева о «хождении под руку с генералом Дворниковым», то есть о сотрудничестве и соглашениях демократов с правительством, в надежде повернуть его политику на путь радикальных реформ*.

Таким образом, Белоголовый к середине 1880-х годов эволюционировал от бывшего активного просветительского демократизма и «попутнического» сотрудничества с революционерами к либеральному оппортунизму. Он и сам называл себя в это время «либералом» (и — уничижительно — «либералишкой»), «человеком умеренных взглядов», салтыковским «средним человеком», «постепеновцем».

Конечно, такого рода идейные позиции не могли не сказаться на отношении Белоголового к некоторым сторонам мировоззрения и творчества Салтыкова, которого в целом он ценил так высоко. Быть может, наиболее показателен здесь его отзыв о «Мелочах жизни», точнее сказать — о «проблемном» «Введении» к этому произведению. «Это уже не сатира, — писал Белоголовый Лаврову 21 ноября 1886 года, — а целый философско-социальный трактат, который Вам, вероятно, очень понравится, я же к основной идее его остаюсь хо-

* Об этой полемике с Елисеевым, возникшей по поводу сказки Салтыкова «Приключение с Крамольниковым», см. ниже.

лодным и потому одобряю в самой умеренной степени, но только еще больше поражен удивительно свежестью и силою его таланта...»³⁴ «Основной идеей» не одобренного Белоголовым «Введения» к «Мелочам жизни» являлась критика буржуазного общества с позиций социалистических идеалов, к неведомым далям которых Салтыков протягивал нити от разорванности, свары и смуты «мелочей жизни» частнособственнического антагонистического строя. Белоголовый и должен был, разумеется, остаться «холодным» к этим идеям. Не в том дело, что он не ценил высоты социалистических идеалов (усвоенных им, как и Салтыковым, в их донациональной, утопической форме). Но он не верил в их осуществимость в стране, народные массы которой не обладали еще политической и гражданской сознательностью и демократизмом (за исключением такой его специфической и ограниченной формы, как крестьянская община). Поэтому он называл социализм «страной с кисельными берегами»³⁵. Товарищ Белоголового по редактированию «Общего дела» А. Х. Христофоров писал о нем: «Он не был революционером, потому что в тогдашних условиях не допускал возможности народной революции в России; не верил он и в успех пропаганды идеалов социализма в темных массах простого народа, хотя и не отрицал морального значения этих идеалов и их властной роли в будущем»³⁶. Такого рода скептицизм был присущ и Салтыкову, но он уравновешивался в его сознании могуществом и страстностью его веры в неизбежность *какого-то* гармоничного общества будущего, и эта почти религиозная вера спасала его скептицизм от перехода к пессимизму.

Главнейшим итогом совместной жизни Салтыкова и Белоголового летом 1886 года в Висбадене стали написанные последним незадолго до смерти «Воспоминания». Но при оценке этих «Воспоминаний», к сожалению незавершенных и фрагментарных, нельзя не принимать во внимание, что, хотя они написаны человеком, которому Салтыков безгранично доверял, от которого не имел никаких тайн, и написаны с полной искренностью, в них все же нарисована не вся картина их взаимоотношений. Кое о чем, и как раз об очень важном, Белоголовый не мог рассказать по ряду серьезных причин.

Он принадлежал к тем немногочисленным деятелям демократической оппозиции в России 1870—1880-х годов, которых называли «либералами с бомбой». Органам политической полиции самодержавия осталось неизвестным многое в этой деятельности Белоголового. Но кое о чем там знали, о другом догадывались. «Этот Белоголовый — весьма подозрительная личность», — начертал директор Департамента полиции Плеве на представленной ему копии письма Белоголового к Салтыкову, попавшего в перлюстрацию³⁷. Определяя в 1887 году программу «Общего дела», Белоголовый писал, что «она заключается в борьбе с самодержавием посредством обнаруже-

ния во всей наготе его отживших форм и порядков и в призыве к содействию нам всех убежденных, как мы...»³⁸ К этому содействию Белоголовый объективно привлекал и Салтыкова. Он несколько раз печатал на страницах «Общего дела» его запрещенные цензурой произведения, правда, — в целях безопасности автора, — лишь те, которые уже ходили по России в списках и нелегальных гектографированных изданиях. Кроме того, Белоголовый нередко черпал обличительные материалы для своей анонимной «Хроники» из обращенных к нему частных писем Салтыкова, конечно, без ссылок на этот источник³⁹.

Когда реакция и «новременская» печать в России начинали особенно преследовать Салтыкова, «Общее дело» (персонально именно Белоголовый) не раз возвышало свой голос в защиту писателя и при этом почти всегда ставило его имя рядом с именем Чернышевского*.

В редакции «Отечественных записок», как уже было сказано, конспиративно (анонимно) сотрудничали некоторые революционные эмигранты, в их числе член I Интернационала В. А. Зайцев, член Исполнительного комитета «Народной воли» Л. А. Тихомиров и, регулярно, старейшина революционного народничества П. Л. Лавров. Главным посредником в сношениях последнего с редакцией «Отечественных записок» был, вместе с Г. З. Елисеевым, Белоголовый, связанный давней дружбой с автором «Исторических писем» (при всем расхождении их принципиальных позиций). По понятным причинам ничего не сказано в «Воспоминаниях» Белоголового и еще об одном конспиративном эпизоде в биографии Салтыкова. Речь о том, как в августе 1881 года Салтыков предупредил Кропоткина и Рошфора о террористических актах, замыслившихся против них «Священной дружиной»**.

Эти и некоторые другие конспиративные факты из истории отношений Салтыкова с Белоголовым остались, естественно, за пределами «Воспоминаний», писавшихся в расчете на подцензурную печать человеком, которому едва разрешили вернуться умирать в Россию.

Значительное место в «Воспоминаниях» Белоголового за-

* Вот несколько относящихся сюда примеров (автором всех приводимых анонимных текстов является Белоголовый).

В № 61: «Нынешнее поколение не имело смелости заступиться за талантливейших своих представителей Чернышевского и Салтыкова».

В № 62: «Всякий негодяй, доползший до властного местечка, может играть, как пешками, жизнью людей, хотя бы эти люди носили имена Чернышевских, Салтыковых, Тургеневых, Л. Н. Толстых».

В № 63: «Катков и Суворин, которых не должно бы терпеть среди себя ни одно уважающее себя общество (...), призваны руководить общественным мнением, в то время когда талантливейшие современные писатели — Чернышевский, Салтыков и Лев Толстой лишены возможности писать и права печатать свои произведения».

** См. об этом выше, с. 243—244.

нимает введенный в них биографический очерк, посвященный Салтыкову. Драгоценная особенность этого очерка заключается в том, что он создан на основании автобиографических рассказов писателя в Висбадене, тогда же записанных. Факт этот удостоверяется следующими словами Белоголового, предвещающими очерк в его поздней рукописной редакции, относящейся к предпринятой автором, незадолго до смерти, окончательной отделке «Воспоминаний», прервавшейся в самом начале. Вот эти слова: «К счастью, я тогда же (летом 1885 г.) набросал для себя на всякий случай его рассказы и, разыскав теперь эти старые краткие заметки, постараюсь <извлечь?> из них все то, что может впоследствии послужить руководящей нитью для составления более ценной и законченной биографии Салтыкова»⁴⁰.

Главными «событиями» висбаденского лета Салтыкова 1885 года, сверх сообщенного, являются его встречи и разговоры с близкими ему людьми, в первую очередь, конечно, с самим Белоголовым. Последний писал А. Х. Христофорову накануне приезда Салтыкова из Эльстера: «Салтыкова жду на днях, именно в воскресенье, хотя по письмам вижу, что он едет еле живой, и боюсь, чтобы он не помер в Висбадене; но так как агония эта тянется очень давно и не лишает его возможности относиться едко и остроумно к действительности, то я и не теряю надежды услышать от него его оригинальный и увы! предсмертный взгляд на совершающееся»⁴¹. Кое в чем эти надежды оправдались, хотя почти все сообщения Белоголового в письмах-отчетах Лаврову о совместной жизни и общении с Салтыковым сопровождаются печальными оговорками, напоминают скорее «бюллетени» о состоянии его здоровья. Вот несколько выдержек из этих еще не бывших в печати писем, а также из письма Анненкова о его висбаденском свидании с Салтыковым.

Письмо от 22 июля/3 августа: «...все время наполняет Салтыков; работать он все не может, а потому чуть не целый день проводит с нами; теперь уселся за «Пестрое письмо» для августовской книжки «Вестника Европы», не знаю, пойдет ли у него на лад; на вид же он немного бодрее и спокойнее и разговорчивее. Завтра должен приехать в Висбаден l'entrepreneur des pompes funèbres* на один только день, и надеюсь, кой-что порасскажет про Питер, хотя наперед можно сказать, что кроме дребедени там ничего не происходит. С диктатором** тоже видимся чуть не каждый день, то он к нам, то мы к нему».

Письмо от 28 июля/9 августа: «Мы здесь живем в истинном водовороте <...>. Больше всего времени берет Салтыков, которому за последнее время стало значительно

* устроитель торжественных похорон (фр.). Речь — о М. М. Стасюлевиче. Он был главным распорядителем на похоронах Тургенева. — С. М.

** С. М. Т. Лорис-Меликовым. — С. М.

хуже, как в физическом, так и в психическом состоянии, и я опять боюсь, чтобы он совсем не рухнул здесь. О писательстве не может быть и речи, и все попытки рассказать еще хоть одну «сказку» только раздражили его и доказали, что едва ли он что создаст. Это состояние бессилья действует на него самым угнетающим образом, и он теперь только и толкует о смерти и сам порывается в Россию, чтобы не умереть за границей. И при всем том с нами обоими он очень кроток и благодушен. Сегодня к нему приезжает на свидание старик Анненков; авось он его немного развлечет. Затем дня три, как в нашем же доме гостят у нас Надсон и Ватсон <...>. Позле-завтра приезжает ко мне погостить старый мой пациент и приятель Арцимович, да на днях был Ядринцев*, а там недели через 1½ — Лихачевы <...>. Стасюлевич уже отбыл, приезжал он сюда из Франкфурта всего на три часа <...>»⁴².

В этой последней выдержке названы имена всех главных собеседников Салтыкова в Висбадене. Наиболее дорогим среди них был, конечно, П. В. Анненков. Салтыков не без юмора и чувства некоторого физического превосходства над еще более, чем он, одряхлевшим старинным другом и почитателем рассказал об этой встрече в письме к Стасюлевичу. «Об Анненкове, — читаем в этом письме от 23 августа, уже из Петербурга, — я не сообщил Вам по забвению, так как я до того дошел, что забываю даже о совершившемся за пять минут. Но Павел Васильевич даже меня перешеголял в этом отношении. Во-первых, он, не доезжая Гейдельберга, вышел из вагона и пропустил поезд, вследствие чего обратился к нач(альнику) станции с просьбой телеграфировать в Гейдельберг, чтобы оставленные им в вагоне вещи отослали в Баден-Баден; затем сел на майнцкий поезд, жене не дал знать, а приехал к нам безо всего. Во-вторых, в Майнце или Кастеле он опять слез с поезда и прибыл в Висбаден уже на лошадях <...>. Я, после двукратной встречи на бангофе**, без успеха, обрел его самым оригинальным образом. Вышел я на балкон и вижу кого-то бродящим против нашей гостиницы. Вглядываюсь — Анненков. Окликаю. Отзывается: я Вас ищу в 9-м №. Говорю: да я Вам писал, что в 8-м; так идите же сюда. — Нет, я к попу иду; мне в 9-м № сказали, что Ваш адрес следует узнать у по-па. — Можете себе представить мое изумление! Не говоря худого слова, сбегая вниз и овладеваю дорогим гостем, который не может толком объяснить, каким образом он тут очутился» (XX, 211).

А вот неизвестный ранее в печати рассказ самого Анненкова о его висбаденском свидании с Салтыковым, оказавшем-

* Писатель-сибиряк, редактор газеты «Восточное обозрение» (Иркутск), был сотрудником «Отечественных записок». По его признанию, он испытал в своем художественном и публицистическом творчестве «сильное влияние великого Щедрина». — С. М.

** вокзал (нем.).

ся последним в их жизни. Рассказ содержится в письме Анненкова к В. П. Гаевскому из Баден-Бадена от 10/22 августа 1885 года: «Я успел побывать в Висбадене для того, чтобы навестить нашего больного Салтыкова. Ему не хорошо. Д-р Белоголовый, который живет в одном доме с ним, сказал мне потихоньку: «Это руина, для которой у нас нет достаточно железа, чтобы связать ее распадающиеся части». Я полюбил этого доктора за его душевную теплоту, за заботы его о Салтыкове, за готовность на услугу и любезность. К тому же Салтыков остался теперь и одиноким; жена его с детьми уехала во Францию на какие-то воды. Сообразите его несчастное положение. Ему хочется возвратиться в Россию и там умереть, а сделать этого один он не может. Надо нанимать лакея, который или обкрадет его, или бросит его где-нибудь. Но всего грустнее то, что он и работать не может. Трогательно жаловался он мне, что сцепление идей беспрестанно рвется в его голове — слова и фразы достаются с трудом. Вечером я сам был свидетелем, как нервная дрожь потрясала весь его организм. Это был несчастный человек в полном смысле слова. И вот наша жизнь и ее последнее слово <...>»⁴³

Сообщения о последних днях пребывания Салтыкова в Висбадене, его отъезде и возвращении в Россию, в Петербург, содержатся в трех следующих письмах Белоголового к Лаврову (приводимых в выдержках).

Письмо от <15>/27 августа <1885>: «Мы начинаем несколько успокаиваться, дорогой Петр Лаврович, потому что вчера приехала семья Салтыкова и, стало быть, мы сдали наше детище на законное попечение жены, а через два дня надеемся проводить их из Висбадена для водворения их в Россию, и, судя по ходу дела за последние дни, я почти уверен, что путешествие совершится благополучно; приезд семьи очень подбодрил и оживил старика, и он меньше толкует о смерти. Увидеться мне с ним в жизни более не придется, и я не раз вспомню об этих прожитых вместе 5 неделях, хотя подчас и бывало утомительно».

Письмо от <21 августа>/2 сентября <1885 г.>: «Наконец, дорогой Петр Лаврович, и на нашей улице кончился этот длинный праздник, к-рый держал нас в постоянном напряжении и боязни, чтобы вдруг не перешел он в печальную тризну. Наконец приехала семья Салтыкова, прожила здесь дня три, и в субботу мы их благополучно препроводили из Висбадена, а сегодня с утра М. Е. сидит уже в своем кабинете. Из Берлина он прислал нам благодарственное письмо, обращенное к нам обоим и в котором говорит, что «никогда и никому он не бывал так обязан, как нам, за эти 5 недель», а из Вержболова прислал телеграмму, что благополучно въехал в пределы России; вообще последние дни он был несколько бодрее, хотя, в сущности, дела это несколько не меняет,

а только немного затягивает, — и то слава богу! Мы же вздохнули свободно после его отъезда».

И, наконец, из письма от <26 августа>/7 сентября <1885 г.>: «От Салтыкова имели уже письмо, веселое и довольное, что благополучно добрался до своего кресла и письменного стола; веселый тон письма снова дает мне надежду, что потухающая медленно его творческая искра, может, еще вспыхнет и даст ему возможность по крайней мере написать те 3 сказки, которые у него были задуманы»⁴⁴.

Как это видно из «Воспоминаний» Белоголового, речь идет о замыслах трех сказок, которые Салтыков хотел написать в Висбадене: «Богатырь», «Солнце и свиньи» и «Забытая балалайка». Но обе последние сказки не были написаны. В «Забытой балалайке» Салтыков хотел еще раз подвергнуть сатирической критике И. С. Аксакова и его «замшелую» идеологию позднего славянофильства. Что же касается сказки «Богатырь», то Салтыков начал писать ее в Висбадене, но не закончил. Он завершил работу над ней через год, летом 1886 года, в Финляндии, продиктовав текст жене*.

* Об этой сказке речь пойдет дальше. См. с. 376—377.

**16. ПОСЛЕ ВИСБАДЕНА. — «СКАЗКИ». — ПРИГЛАШЕНИЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ В «ПОСРЕДНИКЕ». — САМОКРИТИКА
ПИСАТЕЛЯ И ПОЛЕМИКА С ЕЛИСЕЕВЫМ. —
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»**

«Диаграмма» последних трех с половиной лет жизни Салтыкова, после возвращения из Висбадена, по-прежнему отмечена двумя главными «линиями». Одна из них — постоянная нисходящая — свидетельствовала о неуклонном ухудшении здоровья писателя, быстро нараставшем разрушении его организма. Другая линия — прерывистая, образующая ряд высоких «пиков» — указывала, что вопреки всем своим болезням, мучениям и снижению, казалось, до предела жизненному тону, писатель удивительным образом сохранял огромную творческую силу. Врачи, в том числе С. П. Боткин, и близкие поражались этому «противоречию», но не могли дать ему объяснения. Сам Салтыков в какой-то мере дал его. Посылая в «Русские ведомости» с некоторым опозданием обещанную сказку «Здравомысленный заяц», написанную в счет ранее полученного гонорара (писатель был очень пунктуален в этих вопросах), он писал редактору газеты В. М. Соболевскому, принося извинения за опоздание и за слабое, как он думал, художественное качество посылаемого: «Правда, что я как-то необыкновенно болен, но в последние пятнадцать лет я так себя дисциплинировал, что, кажется, и умереть себе не позволю, не отработавшись» (XX, 179). Могучая творческая сила, редкая писательская самодисциплина и присущая ему с юных лет потребность постоянно работать не только противостояли давно сторожившей его смерти («мы уже не раз хоронили его», — писал в 1885 году Белоголовый), но и позволили Салтыкову создать в эти последние годы три крупных произведения — «Сказки», «Мелочи жизни» и «Пошехонскую старину».

Первым отдельным изданием «сказочный цикл» вышел в свет в 1886 году. Книга называлась: «23 сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина». Сейчас в Полных собраниях сочинений писателя этот цикл включает 32 произведения, то есть все, что было написано для него, но не могло в свое время появиться

в легальной русской печати по цензурным причинам. Кроме того, несмотря на название цикла, в него входит ряд небольших произведений, которые совсем не относятся к сказочному жанру. Таковы, например, начало незавершенного большого произведения «Игрушечного дела людишки», бытовые рассказы «Путем-дорогою», «Праздный разговор», «Деревенский пожар», автобиографическая «элегия» «Приключение с Крамольниковым», миниатюры в жанре «моралите» — «Рождественская сказка» и «Христова ночь» с подзаголовком «предание», наконец, своего рода «стихотворение в прозе» «Коняга». Все же, однако, большую часть цикла составляют произведения, написанные с использованием фольклорного сказочного жанра. Но независимо от жанровой принадлежности все эти «миниатюры» насыщены глубокой мыслью, едкой иронией или гневным сарказмом, а иногда за душу берущим лиризмом. И все они характеризуются художественным совершенством, в частности поразительным языковым мастерством. По содержанию же «Сказки» являются своего рода «микрокосмом» — «малым миром» всего творчества Салтыкова. Все, что было вложено в другие произведения писателя — громадный запас наблюдений над общественно-политической жизнью страны, огромная масса мыслей и чувств, которые Салтыков привел в движение своим творчеством, — все это в «Сказках» как бы собрано в одном фокусе, сильно и сжато «резюмировано». Если Михайловский, как мы знаем, перефразируя слова Белинского о Пушкине, называл творчество Салтыкова «критической энциклопедией русской жизни», то в «Сказках» можно сказать, что они являются «энциклопедией» всего созданного их автором. Это как мазурки Шопена, в которых в миниатюре содержится все творчество композитора.

Из созданного Салтыковым цикла «Сказок» три были написаны в конце 60-х, а все остальные — в 80-е годы прошлого века*. Три ранние «сказки» — «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик» — были напечатаны в 1869 году в «Отечественных записках» под общим заглавием «Для детей». К заглавию было дано примечание внизу страницы: «Автор настоящих рассказов предполагает издать книжку для детского чтения, составленную из прозаических рассказов и стихотворений (последние принадлежат Некрасову). Но предварительно он желал бы знать мнение публики, насколько намерение его осуществимо и полезно. С этой целью помещаются здесь образчики детских рассказов» (VII, 637). Некрасовские стихотворения, которые имелись тут в виду, — это опубликованные годом раньше «Дядюшка Яков», «Пчель» и «Генерал Топтыгин». Стихи эти бы-

* Считая и «сказку» «О ретивом начальнике...», введенную в «Современную идиллию».

ли действительно доступны детскому восприятию, чего нельзя сказать о «детских рассказах» Салтыкова. По этой ли причине или еще по какой, замысел совместного с Некрасовым «детского издания» не осуществился. Что же касается первоначального заглавия начатого Салтыковым сказочного цикла — «Для детей», то сам автор от него отказался. Но в нелегальных изданиях ряда произведений этого цикла, запрещенных к печати цензурой, им было присвоено другое, более подходящее название: «Сказки для детей изрядного возраста».

Действительно, как это уже следует из сказанного выше, салтыковские «сказки», по крайней мере те, которые писались в 80-е годы, отнюдь не рассчитаны на детское восприятие. Самое слово «сказка» не должно вводить в заблуждение. В салтыковских «сказках» много подлинно сказочных сюжетов, образов, событий, обстановки, заимствованных из одного из основных жанров устного народно-поэтического творчества. Салтыков блестяще использовал все эти элементы, в частности острую социально-сатирическую направленность большинства русских сказок. И тем не менее они отнюдь не художественные парафразы или тем более имитации народных сказок. Далеки они и от литературных, например Пушкина и Л. Толстого. «Сказки» Салтыкова — это совершенно особый, самостоятельно созданный им, на фольклорной основе, жанр в его творчестве. Глубоко переработанные элементы русской народной сказки, фольклорная наивность и условность блестяще, остроумно и органически сочетаются здесь с большими общественными темами современности Салтыкова — политическими, философско-историческими и моральными. Они разрабатываются на конкретном материале текущей действительности, но всегда с выходами к широкому обобщению, с глубоким осмыслением важнейших основ человеческой жизни вообще — социальных и личных. Художественные образы салтыковских «сказок» столь широкоохватны и глубоки, что приложимы для осмысления и критики многих явлений не только прошлого, но и настоящего. Обращены они и к будущему. Отсюда мировое значение этих произведений, чаще всего переводимых на иностранные языки. Далеко не все «сказки» можно отнести к сатирическому роду литературы. Некоторые из них являются своего рода «стихотворениями в прозе», но, конечно, не в тургеневской манере, а в характерной салтыковской. «Стихотворениями в прозе» называла некоторые «сказки» (например, упомянутого «Конягу») современная писателю критика.

Действующими лицами во многих «сказках» (а именно в 14-ти) выступают представители зоологического мира — домашние животные, звери, птицы, рыбы. Салтыков изображает их с присущими их обличию и характеру конкретными чертами. Для верности этих изображений Салтыков штудировал со-

ответствующие места из классического труда Брема «Жизнь животных»¹. Возьмем, например, изображение рыб из двух салтыковских «сказок». Карась лежит «на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия» (XVI-1, 80). А вокруг «пискаря» «в воде все большие рыбы плавают, а он всех меньше, всякая рыба его заглотать может» (там же, 30). Каждый рыболов узнает в описаниях названных «сказок» характерные признаки именно карася и пискаря. Но в то же время Салтыков наделяет своих рыб чертами, свойственными только человеку. Карась оказывается склонным к «вольнодумству» и именуется поэтому «карасем-идеалистом». Пискарь видит во сне, «что у него выигрышный билет, и он на него двести тысяч выиграл» (там же, 32), это — «премудрый пискарь».

Стирание граней между человеческими чертами и чертами животных соощало сказочным образом Салтыкова особую остроту. Вместе с тем это была и новая форма противоцензурной защиты, позволявшая писателю беседовать с читателем об очень больших и серьезных вопросах.

Политическая и общественная реакции 80-х годов определили драматический тонус большинства восьмидесятнических «сказок». Но вместе с гневом и презрением, которыми проинкнуты «сказки» по отношению к изображаемой писателем темной действительности, читатель заражался всегда присутствующей у Салтыкова верой в будущее. «Но что же означает вся эта история и с какой целью она написана?» — быть может, спросит меня читатель, — задается риторическим вопросом Салтыков в «сказке» «Гиена». И отвечает: — А вот именно затем я ее и рассказал, чтобы наглядным образом показать, что «человеческое» всегда и неизбежно должно восторжествовать над «гиенским» (XVI-1, 197).

Это убеждение присутствует и в одной из последних салтыковских «сказок», «Ворон-челобитчик». Она завершается такими словами мудрого коршуна, обращенными к старому ворону: «Посмотри кругом — везде рознь, везде свара; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет» (XVI-1, 218).

Такие и подобные им высказывания, а их немало в салтыковских «сказках», зримо обнажают главный нерв трагического противоречия всей жизни и творчества писателя: веры в неизбежность прихода царства правды, социальной справедливости и сознания неготовности народа и общества — на том

историческом этапе — не только к действенной борьбе за эти идеалы, но хотя бы к идейному приятию их. Однако вера в неизбежность победы добра над злом никогда не оставляла Салтыкова. Она была тем «балансом», который не позволял присущему ему скептицизму переходить в пессимизм, в отчаяние, хотя по временам он и был все же близок к нему.

Современники, естественно, воспринимали и ценили в салтыковских «сказках» прежде всего его беспощадный суд над текущей действительностью. А время было тяжелое, мрачное, унылое время жестоких разочарований, общественного упадка и государственно-полицейского насилия. Такое время никто лучше и бесстрашнее Салтыкова и не мог изобразить. И как современники, они, читая салтыковские сказки, «накладывали» на свое восприятие их злободневные явления и факты. Но «сказки» давали много больше, чем то, что замечали и могли заметить современники. Широко распространено мнение, что произведения Салтыкова, в том числе и его «сказки», нельзя понимать в наше время, столь изменившееся по сравнению с его эпохой, без обстоятельных комментариев — исторических, реально-бытовых и биографических.

Разумеется, хорошие комментарии к сказкам позволяют глубже осмыслить их исторически, что очень важно². Но «Сказки», как и другие высшие достижения творчества Салтыкова, представляют для нас, людей конца XX века, не только исторический интерес и ценность русской литературной классики XIX века. Их идейно-нравственное содержание и художественная сила сохраняют свое живое значение и сейчас. И это потому, что Салтыков в «Сказках», как всегда, писал о *коренных вопросах жизни*, об ее основах. Данное обстоятельство позволяет читателям наших дней понимать общее содержание «Сказок» и без обращения к комментариям. Главное и постоянное преобладает в них над частным и мимолетным. Можно даже сказать, что слишком полное «привязывание» сюжетов и отдельных мест текста к конкретному материалу фактов и событий давно изжитого времени, пафос которого утрачен, суживает и мельчит смысл «Сказок». Но в биографическом труде о Салтыкове нельзя не уделить внимания некоторым из разделов реального комментария, относящихся к новой разработке писателем тем всей его идейной жизни и творчества. Эти разработки являются итоговыми в салтыковском творчестве.

В феврале 1887 года Н. Ф. Даниельсон — соавтор Г. А. Лопатина в переводе на русский 1-го тома «Капитала» Маркса — писал Фр. Энгельсу: «Посылаю Вам «23 сказки» нашего сатирика Щедрин, где освещаются некоторые «проклятые» социальные вопросы. Я уверен, что многие из этих сказок доставят Вам большое удовольствие...»³

Одним из главнейших «проклятых вопросов» русской жизни, с позиций демократизма и социализма, был отече-

ственный абсолютизм и живое еще наследие крепостничества во всех сферах государственной, социальной и духовной жизни страны («пережитки крепостничества»). Смелое обличение самодержавия дано в трехчастной «сказке» «Медведь на воеводстве». В легальной печати России эта «сказка» 1884 года увидела свет лишь после революции 1905 года, а при своем появлении из-под пера писателя распространялась подпольно и в зарубежных изданиях. «Медведь на воеводстве» — обличение всякой автократии и тоталитаризма. Но непосредственно это был отклик писателя на политику российского самодержавия периода его ожесточенной борьбы с революционным движением. Салтыков обличает правительственную контрреволюцию с поразительным бесстрашием. Его сатира наносила прямые удары не только по курсу реакции в целом, но и конкретно по его верховным руководителям и проводникам. В безграмотных резолюциях Льва, приводимых в «сказке» («Не верю, штоп сей офицер храпр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел» — XVI-1, 55), современники без труда усматривали сатирическое издевательство над стяжавшими себе широкую известность своей орфографической безграмотностью и грубостью «высочайшими» резолюциями Александра III. В Осле — главном мудреце и советчике Льва — видели одного из идеологов и вдохновителей реакционного курса Победоносцева, ближайшего друга и учителя царя, и т. п.

Но эти портретные намеки — аллюзии — лишь один из элементов салтыковской «сказки». Другой — и важнейший — заключается в общем осуждении существующей государственной системы, не способной к установлению в стране порядка и устранению насилия («Куда ни обернутся — кругом, везде погром. Загородки поломаны, двор раскрыт, в хлевах лужи крови стоят» — XVI-1, 56). При этом Салтыков подчеркивает не только невежество высшей власти в области просвещения, но и вражду к нему (Топтыгин 2-й по прибытии на «воеводство» первым делом спрашивает подчиненных: «Нет ли в лесу, по крайней мере, университета или хоть академии, дабы их спалить» — XVI-1, 56).

Сатирическому обличению самодержавной и всякой другой абсолютистской власти в ее отношении к культуре посвящена не менее политически смелая сказка «Орел-меценат». Она так же, как и «Медведь на воеводстве», смогла появиться в легальной русской печати только после революции 1905 года, а до того была известна лишь в подпольных «списках», гектографии и в зарубежных изданиях. В дневнике Е. С. Некрасовой сохранилась следующая запись о первоначальной издательской судьбе «Орла-мецената»: «Сказка была написана Щедриным незадолго до его болезни 1885 года для новооткрывающегося журнала «Северный вестник». Евреинова (редактор) отвезла ее в цензуру. Через день ее туда вытребы-

вают и дают страшный нагоняй: «Неужели, — говорят, — Вы не знаете, *кого* Щедрин изображает под именем Орла?» Она отозвалась неведением», но о публикации сказки не могло быть и речи⁴.

Руководители политики абсолютистской власти, показывает Салтыков, считают необходимым соблюдать лишь декорум покровительства «наукам и искусствам». По существу они враждебны истинному развитию культуры. Своим вмешательством они только ставят здесь разного рода препоны. Отсюда вывод «сказки»: орлы «для просвещения вредны». Но в ней представлены не только руководители политики высшей власти, но и те силы, которые непосредственно такую политику проводят. Это беспринципные, холопствующие перед властью во имя своих карьеристских целей и материальных выгод деятели культуры. Они представлены в образах трех птиц — снегиря, дятла и соловья. Особенно беспощаден писатель к тем, кто, обладая истинным талантом, использует его в целях конформизма.

Таков соловей в «сказке» «Орел-меценат». «Весь мир его любил, весь мир <...> заслушивался, как он <...> сладкими песнями захлебывался. Но он был сладострастен и славолюбив выше всякой меры», и когда по приказу орла он запел, то «сразу же осрамился. Пел он про радость холопа, узнавшего, что бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был <...>, да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, беспрестанно на волю выпирало» (XVI-1, 74 и 76). «Искусство» выпирало, но «холопство», конформизм оставались и разрушали талант.

Критика самодержавия и всего отрицательного, что существовало, с точки зрения Салтыкова, в «порядке вещей» России, всегда совмещалась у него с исследованием социальных основ, помогавших держаться этому исторически изжившему себя строю. Главной силой этого строя были, в понимании писателя, власть дворян-помещиков («сказка» «Дикий помещик» и др.) и неразвитость народных масс, всего общества, отсутствие демократизма. Как уже не раз говорилось, тема пассивности, послушливости, гражданской несознательности народных крестьянских масс — одна из генеральных тем всего творчества Салтыкова. Присутствует она и в «сказочном цикле», особенно в трех «сказках», с совершенно разными сюжетами и тональностями. Первая из них, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», — это самая ранняя «сказка» Салтыкова. Она написана в 1869 году. Тогда он был еще здоров, и «сказка» написана в мажорной тональности. Это блестящая всеми красками салтыковской палитры юмореска, с первой строки вызывающая смех. Однако в своей сущ-

ности содержание ее совсем не юмористическое. Два общественных мира противопоставляет здесь Салтыков. «Генералы» (штатские) — мир крупночиновничий, дворянско-помещичий, мир господствующего класса. «Мужик» — мир трудящийся, мир эксплуатируемых и угнетенных народных масс. Мужик все умеет делать: и пропитание достать, и огонь добыть, и корабль построить. Генералы, напротив того, сами ничего не знают и ни к какой работе не способны. Предоставленные самим себе, они погибли бы. Но их спасает мужик. Он трудится, чтобы напоить и накормить их. Сам же не пользуется плодами трудов своих. Он покорно голодает. Больше того, он сам вьет веревку, которой генералы привязывают его к дереву, чтобы «не убежал». Так в шуточно-сказочной форме Салтыков выражает свой демократический протест против пассивности и послушности народных масс, при всей их потенциальной силе, по отношению к эксплуатирующим их социальным верхам. Эту «сказку» любил Л. Толстой, и она разыгрывалась в Ясной Поляне, что отразилось в «Плодах просвещения». В статье 1901 года «Крепостники за работой» образы рассматриваемой «сказки» использовал Ленин⁵.

В форме бытового сюжета народная пассивность обличается в самой миниатюрной «сказке-притче» «Кисель». Образ «киселя», который «был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал оттого, что его ели» (XVI-1, 176), входил в обширную серию салтыковских обличений бездельного страдательного перенесения народными массами кабалы векового гнета, принуждения. Переплетаясь полифонически с темой пассивности масс, звучит вторая тема «сказки» — о послереформенном разорении русской деревни. «И «господа» (помещики) и «свиньи» (новые «хозяева жизни» — кулаки-миродеды), евшие «кисель», ели его так нерасчетливо, что «от киселя остались только засохшие поскребушки» (XVI-1, 177).

«Над этой крошечной сказкой, — пишет в своих воспоминаниях С. Н. Кривенко, — Салтыков долго сидел и говорил о ней с не меньшим увлечением, чем о сказках «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк»⁶. Возможно, что толчком к созданию этой «сказки-притчи» послужила пословица: «Мужик простой — кисель густой». Вероятна и другая версия возникновения ее замысла. Салтыков был, несомненно, знаком с трудом известного русского географа, путешественника и этнографа М. И. Венюкова «Исторические очерки России со времени Крымской войны до заключения Берлинского договора. 1855 — 1878 гг.», вышедшим в 4-х томах в Лейпциге и Праге (1878 — 1880). Автор был большим почитателем Салтыкова и посвятил ему в названном труде целую главу. В 1877 году Венюков эмигрировал из России и сблизился с Белоголовым. Последний, вероятно, и познакомил Салтыкова с названным трудом Венюкова. В одной из его глав — «Борьба общества

с реакциею» — имеется такое место: «Очень недавно один английский писатель, довольно хорошо знакомый с Россиею, Митчель, говоря о терпеливо переносимых русским народом вековых притеснениях верховной власти, особенно сделавшихся сильными в последнее время, назвал этот народ *«кисельным»*, т. е. не имеющим упругости, неспособным мужественно стоять за свои человеческие права». Дальше Венюков называет этот эпитет «оскорбительным», но Салтыков, с его духовным бесстрашием, не боялся самых резких обличений недостатков народа, применяя их в интересах самого народа.

В глубоко трагической тональности тема бедствий народных звучит в одной из лучших «сказок» — «Коняга». В образе замученной непосильным, «каторжным» трудом и голодом крестьянской рабочей лошади Салтыков воплотил всю многовековую драму русской крестьянской жизни. Крайняя нужда, терпеливое перенесение всесторонней эксплуатации, сначала барско-помещичьей, потом кулацко-мироедской, — все эти постоянные страдания крестьянских трудовых масс, воспринимавшиеся Салтыковым глубоко драматически, вобрал в себя образ обыкновенного мужичьего коняги, замученного, побитого, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами.

Образ этот дан на фоне изумительного по захватывающей силе скорбного лиризма русского пейзажа, подчеркивающего все ту же беспросветность и тяжесть крестьянского труда.

«Пыльный мужицкий проселок, — живописует Салтыков, — узкой лентой от деревни до деревни бежит; юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там все поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вот он, человек, вдаль идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он все на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет, и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи» (XVI-1, 172).

Образу Коняги, изображенному с глубоким состраданием, противопоставлены в «сказке» «пекущиеся» о нем «пустоплясы», нарисованные в тонах презрительной иронии и сарказма. Высказывания «пустоплясов» о Коняге передают критическое отношение Салтыкова к спорам о народе, которые велись в семидесятых — восьмидесятых годах представителями различных социально-политических групп. Ни одно из предлагавшихся ими решений судьбы Коняги — судьбы крестьянства — не удовлетворяло писателя-демократа. «В сказке «Коняга», — писал современник Салтыкова критик Е. Гаршин, — с живостью и эпической силой былины о Микуле Селяниновиче воплощен в конкретный образ настоящий народный труд, около которого похаживают со своими суждениями и славянофилы, и западники, и народники, и мироеды, которым всем вместе сатирик бросил в лицо самый едкий сарказм, представив их речи в обиднейшей пародии и заставив их в конце сказки вопить на Конягу: «Но, каторжный, но...»⁷ А другой младший современник писателя поэт Иннокентий Анненский так отозвался о «сказке» и ее авторе: «Великолепен был <...> Салтыков скорбным певцом коняги...»⁸

Образ Коняги используется Лениным в полемике с народниками. В частности, в статье «Экономическое содержание народничества...» Ленин пишет: «...пробуждение человека в «Коняге» — пробуждение, которое имеет такое гигантское, всемирно-историческое значение, что для него законы все жертвы...»⁹

Царистские иллюзии народных масс были социально-психологической основой, на которой зиждилось существование российского самодержавия — строя, исторически уже исчерпавшего себя. Вера в «царя-батюшку», «помазанника божьего», надежды на него, веками воспитывавшиеся в массах русского населения господствующими классами и так называемым бытовым православием, церковью (особенно сельской), глубоко вошли в народную психологию. В них, в частности, исторические корни такого сурового явления нашей эпохи, конечно, капитально модифицированного «новыми временами», как «культ личности».

Критике царистских иллюзий Салтыков посвятил самую миниатюрную и самую смелую из всех своих сказок — «Богатырь». Содержание окончательной редакции сказки, опубликованной лишь после революции, радикально отличалось от первоначального, задуманного еще в Висбадене. В висбаденском замысле и набросках образ богатыря, залезшего в огромное дупло и там заснувшего «мертвым сном», означал не пробудившиеся еще силы народные. В окончательной же редакции образ богатыря, заснувшего на целую тысячу лет, олицетворяет, напротив, самодержавие как исторически сгнившую умершую силу, в которую напрасно «людишки» сохраняют еще какую-то веру¹⁰. «Богатырь», вопреки фольклорной

традиции, назван в окончательной редакции сыном «бабы-яги», то есть злой силы. Совершив ряд «подвигов», «богатырь» залез в дупло и заснул, чтобы, как думал народ, «еще больше залез в сие сил набраться». «Что же это за Богатырь такой?» — спрашивает Салтыков, оставляя сказочную манеру, и отвечает таким автокомментарием: «Многострадальная и долготерпеливая была она страна и имела веру великую и неослабную (в Богатыря). Плакала — и верила; воздыхла — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее» (XVI-1, 194). Но наступила другая минута, не та, которую ждали, а минута «бед народных», когда супостат ополчился на страну, и народ «возопил о помощи»: «Поспешай, Богатырь, поспешай!» Но ответа не было. Тогда «дурак» Иванушка, подойдя к дуплу, в котором уже «тысячу лет» спал «богатырь»*, перешиб его кулаком, и тут все увидели, что он давно сгнил и что гадюки туловище ему до самой шеи отъели.

В литературе оппозиционного лагеря Салтыков один из немногих устоял в годы восьмидесятичной реакции на своих демократических позициях. Его талант «жестокой правды» (Горький), его стойкость в защите своих взглядов позволили ему стать в отечественной литературе крупнейшей фигурой общественного протеста режиму победоносцевских «совиных крыл» (А. Блок). Это время стало апогеем популярности Салтыкова. Он был тогда истинным «властителем дум» всех прогрессивных сил России. Сатира Салтыкова в его «сказках» била метко, вскрывая самые злокачественные язвы общественно-политической жизни и заражая читателя гневом и презрением к критикуемым и отрицаемым явлениям.

Первыми в восьмидесятичных «Сказках» были уже упомянутые выше «Премудрый пискарь» и «Самоотверженный заяц». Глубокий кризис революционного и всего освободительного движения породил в среде либерально-демократической интеллигенции разного рода оппортунистические программы социального и личного поведения: «теории малых дел», «постепеновства», мирной культурной пропаганды «справедливой жизни для себя». Испуганный рядовой интеллигент создавал в эти годы философию существования, которую несколько позже будет проповедовать чеховский герой Иванов: «Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, богом данное дело...» Эту философию эгоистического ухода от действительности, жизни по принципам «тише воды, ниже травы» и «моя хата с краю» и обличает Салтыков в образе «премудрого пискаря», который хотел «так прожить, чтобы никто не заметил». Сатира становится в этой «сказке» злой, страстно отвергающей трусливую «мудрость» пискаря, который «жил — дрожал, и умирал — дрожал». «Неправильно

* В 1862 г. официально праздновалось тысячелетие России.

полагают те, — излагает писатель главное поучение сказки, — кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят» (XVI-1, 33). Суровость этой обличительной сентенции произвела большое впечатление на современников.

Сказка «Самоотверженный заяц» построена на традиционном сюжете, известном еще античной литературе, — о верности дружбе. Но древнюю легенду о юноше, приговоренном тираном к смерти, получившем отсрочку казни для свидания с любимой под залог оставшегося друга, вернувшегося к сроку и помилованном тираном, растроганным таким примером дружбы и верности клятве, Салтыков разработал применительно к русской общественно-политической жизни восьмидесятых годов, но, как всегда, и с выходами к более широким обобщениям. Тиран, способный оценить подлинную доблесть и геройство, превращен в жестокого, издевающегося правителя — волка. Заяц же, хотя и назван, следуя легенде, «самоотверженным», напротив того, изображен в русском фольклорном облики совестливого, но «трусливого», заигнотизированного страхом перед волком, покорно готовым погибнуть ради вынужденно данного слова, и не помышляющего о каком-либо активном способе борьбы за спасение себя и друга-заложника: преодолевая препятствия, прибежал заяц спасти оставленного в залог друга, и эта рабская трусость вызвала похвалу со стороны волка: «Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите, до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!» (XVI-1, 39).

Против «молчалинской» философии «умеренности и аккуратности» направлена «сказка» о «Вяленой вобле», у которой все «внутренности» вычистили и которая довольна этой процедурой, потому что: «Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести — ничего такого не будет!» (XVI-1, 62 — 63).

Одна из наиболее острых, в политическом отношении, салтыковских сказок — «Либерал». Для правильного исторического осмысления ее следует напомнить, что ни в восьмидесятые годы, когда создавалась «сказка», ни раньше в России не существовало организованной либеральной партии или партий, какие существовали на Западе. Но в прогрессивно-опозиционном крыле русской общественной мысли издавна существовали два направления — либеральное и демократическое. Долгое время они действовали в одном антифеодальном лагере и были едины (несмотря на различия в подходах) в таком капитальном историческом вопросе эпохи, как требование

упразднения крепостного права. В это время, на рубеже 1850—1860-х годов, вместе с либералами действовал и Салтыков. Достаточно напомнить о его позиции на вице-губернаторской службе и о его участии в так называемой «тверской оппозиции» 1861—1862 годов¹¹.

Процесс отделения демократизма от либерализма шел параллельно с двумя другими историческими движениями в России и был зависим от них: подъемом революционной борьбы и интенсификацией капиталистического развития в стране. К эпохе восьмидесятых годов, после и в результате второй революционной ситуации, наступило, хотя еще и не полностью, время отхода либералов от освободительной борьбы, что облегчило победу реакции. Демократ-просветитель, Салтыков верил в «рациональный ход истории», который он ставил в зависимость от активности народных масс, когда они поднимутся до политической, гражданской сознательности, и от успехов науки и разума. Он был решительным противником и либерально-буржуазной апологии «здравого смысла», и оппортунистической тактики малых дел — «по возможности». Современному ему либерала семидесятых — восьмидесятых годов, рядового российского прогрессиста, продолжавшего на словах заявлять о своей верности освободительным идеям, а на деле идущего на сделку с политикой самодержавия, он определял как «почтительно, но с независимым видом лающего человека». Исполненная сарказма сказка Салтыкова и посвящена сатирической интерпретации этой эволюции российского либерализма.

Полемизируя с либеральными народниками в своей работе «Что такое «друзья народа»...», приведя фразу народнического публициста Южакова: «80-е годы облегчили народное бремя (...) и тем спасли народ от окончательного разорения», Ленин пишет: «Тоже классическая по своему лакейскому бесстыдству фраза (...). Нельзя не вспомнить по этому поводу так метко описанную Щедриным историю эволюции российского либерала. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ «по возможности»; продолжает тем, что кланчит «ну хоть что-нибудь», и кончает вечной и незабываемой позицией «применительно к подлости». В статье «Еще один поход на демократию», Ленин также писал, что «Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеил их формулой «применительно к подлости». Ставшие «крылатыми» выражения из сказки «Либерал» — «по возможности» и «применительно к подлости» — приводятся и в других статьях Ленина: «Социал-демократия и выборы в Думу», «Плеханов и Васильев»¹².

Сатирический образ «либерала», созданный Салтыковым, как всегда у него, широкоохватен. В нем содержится не только критическое изображение политического характера и психологии типичного российского «прогрессиста» середины — вто-

рой половины XIX века, но также история либерального движения в России, прошедшего путь от сотрудничества с демократами до этапа все большего расхождения с ними, а затем и полного разрыва.

По свидетельству ряда современников, и прежде всего Стасюлевича, поводом для написания сказки «Либерал» послужила личность и поступки известного либерального деятеля В. И. Лихачева. Вот, в удостоверение сказанного, два отрывка из писем Стасюлевича, относящихся к выдвинутой им версии.

Летом 1885 года, когда Салтыков, на пути в Висбаден, некоторое время прожил со своей семьей в Эльстере (Саксония), там его посетил Стасюлевич. Сообщая об этом свидании жене Любови Исааковне, Стасюлевич писал ей 28 июня/10 июля 1885 года из Карлсбада: «Статью Салтыкова <«Либерал»> также получил, мне она вполне понятна: она написана в некотором оправдание Лихачева, который испортился благодаря испорченности общества и вследствие того был вынужден при всем своем либерализме «применить его к подлости». Мы с ним в Эльстере спорили на эту тему...»¹³ И о том же в письме к А. Н. Пышину от 30 июня/12 июля, также из Карлсбада: «В Эльстере я провел несколько часов в беседе с Салтыковым. Он сам ни о чем другом не говорил со мной, кроме как о Лихачеве, и вслед за тем прислал мне № 170 «Русских ведомостей» <...> с фельетоном «Либерал». После моей беседы с ним я мог уразуметь смысл этой статьи: она выражает усилия Салтыкова оправдать* настоящие и ожидаемые действия Лихачева — вот и все»¹⁴.

Публикатор последнего письма М. К. Лемке снабдил приведенный текст таким примечанием: «В № 170 «Рус. ведомостей» Салтыков поместил фельетон «Либерал», который должен был оправдать бывшие и предстоящие шаги В. И. Лихачева как петербургского городского головы». Чтобы быть понятными, высказывания Стасюлевича и примечание к ним Лемке нуждаются в комментарии.

Известный либеральный деятель Владимир Иванович Лихачев находился с середины 1870-х годов, как мы знаем, в дружеских отношениях с Салтыковым и был вместе с А. М. Унковским, а потом и со Стасюлевичем его душеприказчиком и опекуном детей. Близкие отношения не мешали, однако, писателю отрицательно относиться к некоторым сторонам личности и поступков Лихачева и резко отзываться о них в письмах и разговорах. Так, в «Дневниковой книжке» Л. Ф. Пантелеева замечание о противоречиях Салтыкова иллюстрируется такой записью: «Щедрин был очень дружен с В. И. Лихачевым, но в разговоре с Унковским отозвался о нем весьма дурно, как о пошляке»¹⁵.

* Здесь слово «оправдать» употреблено в смысле «понять». — С. М.

В письме к Елисееву от 11 июня 1884 года Салтыков писал: «С Лихачевым случился необыкновенный казус, о котором Вы знаете, конечно, из газет <...>. В мелкой прессе положительная сатурналия. Все над ним глумятся, и вряд ли он опять поднимется. Смешное — это всего страшнее. Я, впрочем, нимало не изменяю к нему отношений» (XX, 35).

«Казус», послуживший непосредственным поводом для громкого общественного скандала, заключался в том, что при подаче просьбы о получении кредита в Петербургском городском кредитном обществе, где Лихачев был членом ревизионной комиссии, он не указал, что одним из источников его доходов является доставшееся ему в наследство здание на Екатерининском канале, в котором помещался публичный дом. В поднявшихся в прессе «сатурналиях» Лихачева обвиняли в том, что он «взял куш с позорного промысла», и в других неэтичных поступках. «Я не отрицаю, — писал Салтыков Белоголовому 3 июля 1884 года, — что с его <Лихачева> стороны была допущена большая неловкость, но людям, которые вышли из крепостного права и пользовались им <...>, право, еще менее ловко говорить об этом <...>. Очень-очень печально, что из-за пустяков может прекратиться деятельность человека, несомненно честного и полезного» (XX, 49).

Салтыков, однако, ошибся. Скандал 1884 года не помешал Лихачеву стать через год (1885) петербургским городским головой. Он очень умело организовал выборную компанию, заручившись, в частности, поддержкой министерства внутренних дел и петербургского градоначальника Грессера. Михаил Евграфович очень неодобрительно отнесся к этой честолюбивой активности Лихачева и к тем методам, к которым он прибегал. Но Лихачев продолжал проявлять по отношению к большому и почти никем не посещаемому писателю дружеское внимание. И Салтыков не считал нужным и возможным для себя поддержать предпринятое по инициативе Елисеева разбирательство, в узком кругу, неэтичных поступков Лихачева, хотя, по свидетельству жены Боткина Екатерины Алексеевны, часто повторял в то время: «Как обманывал нас этот человек, это удивительно, право»¹⁶. «Разбирательство» все же состоялось. Обвинителем выступил Унковский. Салтыков отказался присутствовать на этом «суде», но в день, когда он происходил, — 15 декабря 1885 года, — испытывал столь сильное нервное возбуждение, что пережил, по словам С. П. Боткина, «опасные и угрожающие минуты для жизни», отчего здоровье его резко ухудшилось. В письме к Белоголовому от 26 декабря 1885 года, из которого взяты приведенные слова, Боткин объяснил, почему «разбирательство» дела Лихачева было столь болезненно воспринято Салтыковым. «Еще далеко до объяснений, — писал Боткин, — шли разговоры у Салтыкова о Лихачеве, поведение которого возмущало Мих. Евграфовича и тем более, что он не чувствовал себя в силах разорвать старые

дружеские отношения, складывавшиеся около 15 лет. «Я слаб и стар, — говорил он, — чтобы разрывать старые связи, и к чему же это объяснение, устроенное старым сплетником (Елисеевым); пусть лучше все дело пойдет на измор, а старого сплетника не принимать». Ему хотелось сохранить добрые отношения и с Лихачевым и с Унковским, а объяснение грозило опасностью расстаться с тем или другим, тем более что Лихачев раз заявил, что ему, Лихачеву, неудобно бывать там, где бывают его враги»¹⁷.

Из всего сказанного видно, что в сказке «Либерал», написанной в апреле 1885-го, отразились как скандал лета предыдущего года, связанный с Петербургским кредитным обществом, так и, еще более непосредственно, незтичные методы, применяемые Лихачевым для своего избрания петербургским головой.

Резкому ухудшению здоровья Салтыкова, вызванному переживаниями из-за разбирательства поступков Лихачева, предшествовал краткий период улучшения его состояния. Об этом Белоголовый писал Лаврову 6 декабря 1885 года:

«Спешу поделиться, дорогой Петр Лаврович, хорошими вестями о Салтыкове, от жены которого мы вчера получили письмо: он уже встал с постели, и это быстрое поправление показывает, как еще велик запас сил в этом, по-видимому, тщедушном теле. Даже мозговые припадки, развившиеся летом, настолько стали лучше, что можно надеяться на восстановление писательской деятельности, и авось все наши врачебные пессимистические предсказания, к великому благополучию, окажутся ошибочными, — и я первый желаю, чтобы медицина чаще ошибалась таким образом.

На мораль его живительно подействовала масса адресов, поднесенных ему, и тот живой интерес к его болезни, который обнаружила публика. Особенно тронул его адрес от московского Общества любителей словесности, подписанный и Львом Толстым, в котором сказано, что напрасно он считает себя забытым и одиноким и что тысячи его почитателей ждут его выздоровления. Подпись графа Толстого, после его ультраевангельских излияний, как-то странно встретить под таким адресом и показывает, что и этот человек едва ли совсем погиб для литературы.

Лихачевский пассаж очень неприличен и предосудителен, что я ему и высказал в письме, сгладив несколько резкость выражений»¹⁸.

Салтыков, по-видимому, отозвался на подпись Толстого письмом. Оно неизвестно, но что оно было, следует как будто из начальных строк письма Толстого к Салтыкову от самых первых чисел декабря 1885 года: «Очень был рад случаю, дорогой Михаил Евграфович, хоть в несколько официальной форме выразить вам мои искренние чувства уважения и любви...» А дальше Толстой просил Салтыкова о сотрудничестве

в издательстве «Посредник», которым непосредственно руководил его друг и единомышленник В. Г. Чертков. Издания «Посредника» предназначались для народа. Объясняя свою просьбу, Толстой писал Салтыкову: «...мне кажется, вспоминая многое и многое из ваших старых и теперешних вещей, что если бы вы представили себе этого мнимого читателя*, и обратились бы к нему, и захотели бы этого, вы бы написали превосходную вещь или вещи и нашли бы в этом наслаждение, то, которое находит мастер, проявляя свое мастерство перед настоящими знатоками. Если бы я сказал вам все, что я думаю о том, что именно вы можете сделать в этом роде по моему мнению, вы бы, несмотря на то, что не считаете меня хитрым человеком, наверно бы приняли за лесть. У вас есть все, что нужно — сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних <...> и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа...»¹⁹

Высокая оценка Толстым литературной деятельности Салтыкова в «адресе» и в письме были для него, разумеется, приятны, а предложение появиться перед читателями из народа отвечало его собственным заветным желаниям. Предполагался неслыханный для того времени стотысячный тираж и низкая, в копейках, цена. Салтыков сразу же принялся за работу. Об этом Чертков писал Толстому 20 декабря 1884 года: «С разных сторон мне говорят, что Щедрин очень занят мыслью писать для наших изданий и что ваше письмо произвело на него сильное впечатление. Кузмичинский говорил вчера, что Щедрин, несмотря на свою болезнь, проработал на днях целый день над рассказом для нас и что на следующий день он вследствие этого встал совсем больной, в нервном расстройстве»²⁰. О том же, но точнее, сообщил Унковский в письме к Соболевскому от 18 декабря 1885 года: «На прошедшей неделе в течение 2—3 дней он <Салтыков> занялся просмотром нескольких прежних своих произведений с целью отдать их гр. Льву Толстому для народного чтения и, прочитав листа четыре, так утомился, что эта работа имела следствием весьма длительный припадок, продолжавшийся несколько часов»²¹.

По причине ли болезни или в результате предложений Салтыкова, показавшихся Черткову — догматику толстовства — неприемлемыми для направления «Посредника», переговоры тогда прервались. Но через два года Салтыков уже по собственной инициативе возобновил переговоры. Обращаясь 12 марта 1887 года в издательство «Посредник», Салтыков писал: «Уже довольно давно Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков предлагали мне участвовать в изданиях «Посредника», но в то время у меня ничего подходящего не было. Теперь же кое-что набралось, и я препровождаю при сем в склад пять сказок, ко-

* То есть воображаемого народного читателя. — С. М.

торые я прошу издать, если это окажется удобным» (XX, 318).

Получив это письмо, Чертков отправился в Петербург для встречи с Салтыковым и соответствующих переговоров. Об этом он писал Толстому 19 марта 1887 г.: «Щедрин прислал нам несколько своих вещей. Я был у него. Он, по-видимому, сознает, что умирает... Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места, и никак не соглашается на пропуск»²².

По личным воспоминаниям В. Г. Черткова, сообщенным им в 1934 году М. М. Чистяковой — автору статьи «Л. Н. Толстой и Салтыков» во второй книге щедринского тома «Литературного наследства», из предложенных к напечатанию в «Посреднике» произведений особенное внимание Толстого обратила «Рождественная сказка», которую он считал во всех отношениях «изумительной», но которую «портил» «нехристианский» конец: по мнению Толстого, он был не мотивирован всем предыдущим изложением. Этот конец Чертков, от лица Толстого, просил Салтыкова переделать или опустить. «Вы хотите отрезать конец? — рассердился Салтыков. — Ну, так я вам скажу, что свои произведения я не отмериваю на аршин!» Он категорически отказался от каких бы то ни было переделок своих произведений: Толстой, со своей стороны, не захотел сделать уступки, и в результате, по словам Черткова, ни одно из произведений Салтыкова не было напечатано в «Посреднике»²³.

Уже по напечатании упомянутой статьи М. Чистяковой я, как редактор щедринского тома «Литературного наследства», обратился к В. Г. Черткову со своими сомнениями по поводу сообщенных им сведений. И Владимир Григорьевич признал допущенную им двойную ошибку памяти. Он ошибочно назвал «Рождественскую сказку» вместо нужной здесь «Христовой ночи», у которой действительно «нехристианский» конец (*гнев* воскресшего Христа и др.)*. В «Рождественской сказке» такого конца нет, и она, без всяких сокращений, была издана «Посредником» в 1887 году (но почему-то без имени автора). Кроме того, Толстой собирался включить «Рождественскую сказку» в свой «Круг чтения»**. Остальные три «сказки», посланные Салтыковым и не принятые «Посредником», были «Бедный волк», «Самоотверженный заяц» и «Пропала соевьсть».

Салтыков любил «Христову ночь». В «Дневниковой книжке» Л. Ф. Пантелеева сохранилась запись его впечатлений от чтения Салтыковым написанных им трех «сказок».

* См. об этом ниже, с. 385—387.

** 22 февраля 1905 г. Толстой сказал Страхову: «Щедрин — о мальчике, который слушал проповедь, — надо бы в «Круг чтения»²⁴.

Окончив чтение, Салтыков спросил Пантелеева: «Ну, как Вы их находите?» На это Пантелеев ответил: «Извините, Михаил Евграфович, последних двух я совсем не слышал, так я потрясен «Христовой ночью». Далее Пантелеев так записал испытанное им: «И я отнюдь не преувеличивал впечатления, произведенного этой сказкой. Прошу читателя, хоть несколько знакомого с портретами Михаила Евграфовича последнего времени, представить себе его изможденную физиономию, но всю возбужденную, голос, — то тихий, радостно-сокрушенный, когда Михаил Евграфович передавал слова трудящихся и обремененных, строгий, когда Христос обращается к богатым, и как громом поражающий в словах: «Будь проклят, предатель!» Ни одно чтение не производило на меня такого сильного впечатления, и вся сцена настолько осталась в памяти, что и теперь я, как живого, вижу Михаила Евграфовича, слышу его голос»²⁵.

«Хрестова ночь» и «Рождественская сказка» ставят вопрос об отношении Салтыкова к религии. Писатель не был религиозным человеком, ни в мировоззренческом, ни тем более в церковно-обрядовом отношении. Но он высоко ценил моральные, особенно социально-нравственные ценности христианства, усвоенные еще в детстве из Евангелия. Впоследствии влияние социального этизма, в его евангельской «оболочке», было закреплено увлечением юного Салтыкова учениями утопических социалистов. Так называемый христианский социализм не был чужд им, особенно Ф. Ламенне, который пытался в своем «переводе» Евангелия демократически истолковать христианство. Известно, что труд этот Салтыков брал из библиотеки Петрашевского²⁶.

Известна также высокая оценка Салтыковым социально-нравственного воздействия на народ и общество, на «рабов» и «господ» — особенно в крепостное время — так называемого бытового православия, в частности — церковных праздников, главнейшими из которых были Пасха и Рождество. Вспоминая о годах своей казенной службы, Салтыков писал в «Недоконченных беседах» о Пасхе: «Когда-то это был удивительно приятный для меня праздник. Я говорю не про детство <...>, а про позднейшее время, когда на первом плане стояли уже не яйца и куличи, а вся эта веселая, ликующая ночь. Я, крепостной до мозга костей, я, раб от верхнего конца до нижнего, в продолжении нескольких часов чувствовал себя свободным от уз <...>. И заметьте, что я ощущал это сладкое чувство, имея на плечах мундир, сбоку — шпагу и под мышкой — трехуголку» (XV-2, 283).

В «Христовой ночи», начинающейся изумительной пейзажной картиной пробуждающейся русской весны, Салтыков дал свою версию евангельскому преданию. Он до такой степени ненавидел предательство (а примеров ему было много в этой полосе реакции восьмидесятых годов), что заставил во-

скресшего Бога — благословляющего все и всех, природу и все живое в ней, указывающего путь спасения даже всем творящим зло и неправду — казнить лишь одного Иуду. Он казнит его высшей казною вечной жизни с клеймом предателя. Христос — вопреки Евангелию — воскрешает повесившегося Иуду и гневно говорит ему: «Живи проклятый!» и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство» (XVI-1, 210). Обращение Салтыкова к образу Христа было далеко не единственным в русской демократической литературе XIX века. Достаточно вспомнить хотя бы строки Некрасова, относящиеся к Чернышевскому:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте;
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

(«Пророк»)

«Христова ночь» произвела большое впечатление на П. Л. Лаврова. Он заказал кому-то ее перевод на французский и написал к этому переводу предисловие. И то и другое сохранилось в архиве Лаврова, но не удалось установить, появились ли они в печати. Предисловие начинается с представления французскому читателю Салтыкова:

«Легенда»*, перевод которой мы предлагаем вниманию французского читателя, — пишет Лавров, — одно из новейших произведений, принадлежащих перу г. Щедрина (Салтыкова), являющегося, несомненно, самой крупной и оригинальной фигурой современной русской литературы. В последнее время русское общество оказалось лишенным утешения слышать этот голос, который звучал, в течение четверти века, то в раскатах смеха, исполненных скрытого гнева, то в патетических задушевных нотах, как эхо совести страны». Дав затем оценку акции российского правительства о закрытии журнала и сообщив о тяжелой болезни Салтыкова, Лавров описывает далее обрядовую торжественность пасхального праздника в России и сообщает о его высоком моральном значении для масс. «Русский народ, — пишет (вслед за Белинским) Лавров, — будучи менее всего тем народом-христианином, каким его хотят видеть Тартюфы панславизма, и оставаясь даже, во многих отношениях, скорее язычником, чем христианином, — слишком несчастен, чтобы не поддаться впечатлению от всей этой «театральности», которая позволяет ему, пусть на минуту, пусть обманчивой ценою, выпрямиться, почувствовать себя свободным человеком. Сосредоточенный, глубоко растроганный, слушает он победные, ликующие песнопения, а заклю-

* У Салтыкова в подзаголовке — «Предание», а не «Легенда» (Légende), как у Лаврова. Текст приводится в моем переводе с французского. — С. М.

чительная сцена, когда по окончании службы («светлой заутрени») все присутствующие — мужчины и женщины, благоденствующие и обездоленные, чужие и близкие — обмениваются братскими поцелуями («христосуются»), производит впечатление на зрителя, даже менее всего расположенного принимать всерьез социальные декламации христианства». Свои оценки Лавров дополняет затем описанием русской весны, на которую всегда приходится пасхальный праздник. «Еще более поэтический характер русская Пасха приобретает благодаря времени, на которое она приходится. Весна в России обладает прелестью, которую тщетно стали бы мы искать в другом, более умеренном климате: в резком переходе от суровой, почти полярной зимы к распускающимся лесам и полям есть что-то волшебное. Этот избыток сил, расточаемых природой для того, чтобы наверстать то, на что в других краях ей потребовались бы недели, этот трепет и биение жизни ощущались под сугробами снега, залежавшегося в долинах и в тени деревьев, эти теплые, пьянящие испарения, насыщающие еще холодный воздух — все это действует на нервы и мозг людей. И вот, вопреки грустной социальной действительности, превратившей весну для русского крестьянина во время года, особенно исполненное материальных лишений, праздник Пасхи вызывает в его уме чистые, доброжелательные мысли...»²⁷

Мы привели столь обширные выдержки из предисловия П. Л. Лаврова к переводу «Христовой ночи» потому, что это произведение, принадлежащее перу одного из крупнейших деятелей русского революционного движения, является, на наш взгляд, лучшим «комментарием» к самой поэтической из салтыковских «сказок».

Автобиографические элементы, главным образом мировоззренческого характера, но также и фактического, присутствуют художественно преломленными и обобщенными в большинстве салтыковских «сказок». Не имея возможности подойти с этой точки зрения ко всем «сказкам», остановимся кратко на трех, наиболее важных для биографии писателя: «Карась-идеалист», «Бедный волк» и «Приключение с Крамльником». Все они входят, если можно так выразиться, в ту итоговую «самокритику», которой Салтыков подвергал свои взгляды, готовясь к предстоящему окончанию жизненного пути.

Основная тема сказки «Карась-идеалист», о которой уже была речь, — непримиримость социальных противоречий и неудачные попытки устранить их. Это одна из капитальных тем салтыковского творчества. Его дебютная повесть 1848 года так и называлась: «Противоречия». Салтыков критикует «каря-идеалиста», верящего в «бескровное преуспеяние», надеющегося пробудить «совесть» в щуке и тем заставить ее отказаться от причиняемого ею зла и насилия в рыбьем царстве. Однако возникшие «диспуты» закончились тем, что на устройство «об-

щественной гармонии» шука не пошла, а «карася-идеалиста» проглотила. В более широком историческом и биографическом (по отношению к Салтыкову) плане «сказка» о «карасе-идеалисте» представляет критику утопического социализма, одного из главных источников формирования мировоззрения писателя. И здесь еще раз уместно подчеркнуть одно из главных противоречий жизни и творчества Салтыкова. Он придавал огромное значение общественной активности в деле борьбы за радикальное переустройство социальной действительности, отрицая при этом революционное насилие. Большие надежды он возлагал на «убежденное слово», полагая, что именно оно воспитает сознательного гражданина. Конечно, это был просветительский идеализм, восходящий своими корнями еще к Платону, но непосредственно усвоенный Салтыковым из учений утопических социалистов. Выхода из этого драматического противоречия он так и не нашел, если не считать давно отвергнутой им теории «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма», которую он пытался реализовать в годы своей казенной службы.

Сказка «Бедный волк» посвящена другому важному вопросу в мировосприятии писателя — вопросу о детерминизме, о виновности или невиновности человека в социальной поведении и поступках. Это та же тема, что и в «Имяреке» (из «Мелочей жизни»). Там она сформулирована так: «Имярек вообще не признавал ни виновности, ни невиновности, а видел только известным образом сложившееся положение вещей» (XVI-2, 314). Этим взглядом объясняются многие поступки в жизни Салтыкова (его позиция по отношению к умиротворению крестьян, в годы вятской ссылки²⁸, «обручевская история» в период тверского губернаторства²⁹, отношение к выше рассмотренному «казусу» с Лихачевым и др.). В сказке о «Бедном волке» Салтыков механически переносит биологический детерминизм («не по своей воле он <волк> так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная; ничего он кроме мясного есть не может» — XVI-1, 39) на объяснения социальной жизни и сознания человека. Волк не может существовать, не творя насилия в животном мире, поэтому Салтыков, вопреки фольклорной традиции, присваивает ему эпитет «бедный». Этот механический перенос вступает в противоречие с многопричинностью и многосложностью, а главное — сознательностью поведения человека в социальной жизни. Салтыков не был историческим материалистом. Решения и этого вопроса он не нашел. Отсюда драматический финал «сказки». Волк зовет «смерть-избавительницу» и приветствует ее, когда она приходит к нему. В этом финале также явственно звучат настроения позднего Салтыкова. В его письмах последних лет призывы к «смерти-избавительнице» от непосильных страданий, болезни, но также от трудных переживаний социальной

действительности и драматизма семейной жизни звучат не раз и не два.

Прямее и ближе всего с биографией Салтыкова связаны две сказки — «Чижиково горе» и «Приключение с Крамольниковым». О первой из них разговор пойдет в следующей главе, в связи с характеристикой семейной жизни писателя.

А сейчас о «Приключении с Крамольниковым». Название сопровождается подзаголовком «Сказка-элегия». Действительно, произведение написано в лирической форме элегии. Вместе с тем это и сказка-медитация. Ее содержание — размышление писателя о пройденных путях и результатах уходящей жизни, размышления, исполненные глубокой и трагической «самокритики». Она присутствует во многих произведениях позднего Салтыкова, но из сказок сильнее всего — в «Приключении с Крамольниковым». Имя Крамольникова появляется здесь, как мы знаем, не впервые. Оно присутствует в рассказе «Сон в летнюю ночь» (1875), а затем в «Пошехонских рассказах» (1883). И там и тут это автобиографический близкий Салтыкову образ русского интеллигента, находящегося в оппозиции к существующему «порядку вещей», но протестующего против него не «действием», а только «словом». «Самокритика» Крамольникова открыто звучит уже в «Пошехонских рассказах» («Вместо того, чтоб идти широким вольным путем, я предпочел окольные тропинки; вместо того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольствовался заглядыванием в щелку... как раб!» и т. д. — XV-2, 79). Автобиографические элементы, в том числе и самокритические, присутствуют и в первом и, особенно, во втором случаях. Но эта автобиографическая близость — в идеологическом содержании образа. Впрямую автобиография Салтыкова проецируется на факты жизни и переживания реального Салтыкова лишь в «сказке-элегии». Конечно, и здесь Крамольников — не «фотография» писателя, а созданный им художественный образ самого себя. Характеризуя свое состояние последних лет, Салтыков пишет: «Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем (...). В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельной. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего, окончательно сделались для него безразличными, ненужными (...). Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке» (XVI-1, 199). Сейчас, так думал Салтыков после прекращения «Отечественных записок», эта «светящая точка» была погашена, и его со всех сторон обступила «зияющая пустота». Его «вчерашнее бытие каким-то волшебством превратилось в не-

бытие» и «душа его была запечатана» (XVI-1, 197, 198).

Такая страстно-исключительная привязанность к литературе была производной не только от просветительской идеологии писателя, но и от его глубокой, но драматической любви к своей стране, России, и к ее народу. «Крамольников, — читаем в «сказке-элегии», — горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности» (там же, 199—200).

Но по мере того, как приближался конец жизненного пути писателя, его все чаще посещали мысли, было ли правильным его служение интересам страны и народа, как он их понимал со своих позиций демократа, *только* путем писательским, путем слова? Крамольников — Салтыков приходил здесь иногда к весьма трудным для себя пессимистическим выводам. Он писал: «Из-под пера твоего лился протест, но ты облакал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста. Твой труд был бесплоден (...). Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли, — раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение» (XVI-1, 205).

Эти горькие размышления — в них основа трагического мирозерцания Салтыкова — весьма близки к той скорбной ноте, которая звучит в последних произведениях другого великого писателя русской демократии, Некрасова:

Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

(«Рыцарь на час»)

В свете всего исторического опыта революционного движения в России читателю наших дней ясно, насколько Салтыков (как и Некрасов) был неправ, адресуя себе разъедающие упреки Крамольникова. К. Маркс указывал в одном из писем к М. М. Ковалевскому на необходимость для писателя «различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что он дает только в собственном представлении»³⁰. И если в «собственном представлении» Салтыкова его «протест» казался ему иногда «мертворожденным», то в действительности объективная историческая правда заключалась не в этих укорах требовательной совести писателя-демократа, а в выдающемся значении его творчества для развития политического и социального самосознания русского общества. Произведе-

ния писателя будили и воспитывали гражданственную совесть, активизировали ее действенность. «Литературное давление» на существующий «порядок вещей» играло в освободительной борьбе России гораздо большую роль, чем в революционных событиях на Западе. Пройдет всего два десятилетия, и Ленин скажет в 1905 году: «Мы дожили до революции. Времена одного только литературного давления уже прошли»³¹. В этом «литературном давлении» Салтыков и как писатель и как редактор двух крупнейших демократически-оппозиционных журналов эпохи сыграл огромную роль.

«Приключение с Крамольниковым» привлекло большое внимание читателей. Салтыков получил много сочувственных писем. Автор одного из них обращался к нему со словами: «Святой старик»³².

Но позиция Салтыкова — Крамольникова не была принята его бывшим соредактором Елисеевым, эволюционировавшим, как мы знаем, к либерализму и оппортунизму. Обращаясь к Салтыкову из Ялты в октябре 1886 года, Елисеев писал: «Не очень мне понравился Крамольников или, точнее сказать, совсем не понравилась его исповедь, его самообвинения <...>. «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался?» — спрашивает Крамольников <...>. А то как же, спрашивается, мог бы он иначе? <...> Крамольников забывает, что наша страна по условиям своего исторического развития, живет не в XIX веке, а в XVIII, и наша литература есть только литература просветительная, учительная <...>. Она может протестовать только против того, против чего позволяет ей генерал Сидор Карпович Дворников*. Вся беда нашей литературы прогрессивной состоит в том, что она не может себе никак вполне усвоить, что она тогда только и постолыку только сильно, поскольку идет вполне с этим генералом и помогает ему бороться с его врагами <...> Учи его <...> и он пойдет с тобой куда угодно и потихоньку да помаленьку будет все делать, чего ты хочешь: только его не трогай»³³.

И Елисеев рекомендовал Салтыкову возвратиться к когда-то созданной последним теории «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма». Теория эта называлась еще по-другому: «Вождение влиятельного человека за нос». Салтыков, двигавшийся в своем идейном развитии «справа» «налево», давно отказался от этой «теории», которая нужна была ему в годы казенной службы отчасти по тактическим соображениям, главным же образом психологически. Впоследствии он не раз подвергал ее беспощадной критике. Отсюда жесткость его ответа Елисееву: «Взгляда Вашего на Крамольникова не разделяю и теории вождения Дворникова за нос за правильную не признаю» (XX, 296). И во втором письме, еще

* Персонаж из сатирического стихотворения Н. А. Добролюбова из «Свистка»: «Мысли помощника винного пристава». — С. М.

жестче: «С теорией этой я и лично никак согласиться не могу, а тем менее мог усвоить ее Крамольников *. Последний всего менее человек компромиссов и ежели создаст теорию, то для практики совсем иного рода. Для той практики, которой Вы некогда сами служили, которую теперь забыли и объяснить которую здесь не место» (XX, 307).

Это суровое поучение человеку, находившемуся в 1860-е годы в связи с революционным подпольем, а теперь призывавшему к сотрудничеству с самодержавием, важно как одно из прямых свидетельств, удостоверяющих, с одной стороны, глубокое уважение Салтыкова к революционному движению и к его участникам — «людям самоотвержения», а с другой стороны — его твердую непримиримость ко всякого рода оппортунизму и компромиссу.

В целом, однако, Елисеев дал высокую оценку «Сказкам» Салтыкова, называя их «баснями» и «притчами». Он писал автору: «По пластичности, рельефности изложения и наглядности нравочения, некоторые басни просто шедевры в своем роде, как, например, «Карась-идеалист». В других смысл не будет всем ясен с первого раза, но и они скоро будут поняты всеми. А краткость и сжатость изложения сделает то, что мысли, в них передаваемые, и самые названия сделаются ходячими в обществе. «Игрушечного дела людишки», «Верный Трезор», «Баран непомнящий» и т. п. — все это целые программы или картины известного порядка людей, мыслей и действий. Маленький рассказ «Праздный разговор», в той сжатой форме, как он передан, принесет, по моему мнению, более ущерба губернаторской власти в глазах тех, кому это ведать надлежит, чем многочисленные ваши сказания о помпадурах»³⁴. Последнее из названных произведений привлекло особенное внимание Чехова. «Прочтите в субботу (15 февраля) № «Русских ведомостей» сказку Щедрина, — писал он Н. А. Лейкину. — Прелестная штучка. Получите удовольствие и руками разведете от удивления: по смелости эта сказка совсем анахронизм»³⁵.

О «сказке» «Карась-идеалист» художник И. Н. Крамской, автор двух лучших портретов Салтыкова, писал ему: «...впечатление громадно. Никогда еще мне на столь малом пространстве не давали современные писатели так много содержания и такого глубокого интереса; мало того, это до такой степени высокохудожественно, что я не могу прийти в себя от удивления. Сказка не более как сказка, а между тем — высокая трагедия!..»³⁶

Высокую оценку глубине содержания и художественному мастерству салтыковских «сказок» дали многие выдающиеся

* Здесь Салтыков отделяет образ Крамольникова, понимая его как образ последовательного революционера, от своего биографического «я». — С. М.

современники, среди них Л. Толстой, Ф. Энгельс, Г. Лопатин, П. Лавров, Н. Белоголовый и многие-многие другие. Но и сам Салтыков любил свои «сказки». В 1886 году он хотел издать «для народного чтения» брошюрами, по 3 копейки, сказки «Премудрый пискарь», «Самоотверженный заяц», «Бедный волк», «Карась-идеалист», «Соседи», «Христова ночь», «Рождественская сказка». Но цензура не разрешила издания³⁷.

После возвращения из Висбадена в августе 1885 года жизнь Салтыкова протекала в становившейся все более суровой «схиме» замкнутости и отчуждения от внешнего мира. Писатель почти не выходил из своей квартиры и встречался лишь с врачами, в том числе с Боткиным, и с немногими людьми самого узкого круга друзей и знакомых. В декабре он перенес очередное сильное обострение своих многочисленных болезней, и врачи вновь (в которой раз!) уже теряли надежду на его жизнь. Но он преодолел и этот кризис и начиная с лета 1886 года возобновил свой писательский труд. И в каких масштабах. Он приступил к созданию такого крупного произведения, по значению и объему, как «Мелочи жизни». Вместе с тем это, пожалуй, самое цельное произведение писателя, если воспринимать его с точки зрения той общей идеи, которой оно подчинено.

Около половины рассказов и «этюдов», входящих в «Мелочи жизни», были написаны летом 1886 года на даче Красная Мыза в Финляндии, близ станции Новая Кирка. Завершилась же эта работа летом следующего, 1887 года, проведенного на даче Серебрянка по Варшавской железной дороге. Салтыков начал печатать «Мелочи жизни» отдельными «фельетонами» в московской газете «Русские ведомости», но затем, ввиду разраставшегося объема произведения и больших удобств сношения с редакцией, перенес публикацию в петербургский журнал «Вестник Европы». Здесь в редакции работал дружественный ему со времен «Современника» А. Н. Пыпин.

В «Мелочах жизни» Салтыков полностью отходит от поэтики сатиры. В содержании этой печальной, скорбной книги нет смеха и юмора, иронии и сарказма, гротеска и гиперболы. Нет, за некоторыми исключениями, в частности знаменитого «Введения», и прямой публицистики. Господствует реалистическое бытописание и медитации, сотканые из признания «трагического» в личной жизни обычных людей. В «Мертвых душах» Гоголь назвал «суровым» поприще писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь...» Салтыков «дерзнул» взяться за разработку этой темы. Получилась некая эстафета — от Гоголя к Салтыкову, затем к Чехову. Для разработки темы Салтыков обратился к тональности весьма сурового звучания.

В композиционном отношении «Мелочи жизни» предста-

вляют собой сборник. Он состоит из проблемно-публицистического и философско-исторического «Введения» и затем отдельных «рассказов», или «этюдов» (так называл их Салтыков).

Разъяснению *общей идеи* «Мелочей жизни» посвящено обширное «Введение» к книге. Это глубокая, многотемная статья, имеющая самостоятельное и важное значение. Она написана в своего рода жанре «свободного эссе». Ее философско-публицистическое содержание «инкрустировано» рядом автобиографических и исторических элементов, а также откликов на некоторые капитальные явления и тенденции текущей общественно-политической жизни — отечественной и западно-европейской. Понять во всей глубине эту сложную полифонию сопоставлений и противопоставлений философского и бытового, политического и личного не так легко. Но все же «основная идея» «Введения» ясна. Это идея «общего блага» (социалистического по своей сути), осуществление которого одно способно преодолеть «мелочи жизни» — разрозненность и дисгармоничность существования человечества. Содержание самого понятия «мелочи жизни» далеко выходит у Салтыкова за бытовые рамки. «Напрасно пренебрегают ими (мелочами жизни), — пишет Салтыков, — в основе современной жизни лежит почти исключительно мелочь. Испуг и недоумение нависли над всей Европой; а что же такое испуг, как не сцепление обидных и деморализующих мелочей?» (XVI-2, 11). И дальше, с одной стороны, конкретизирует, а с другой — еще шире обобщает свою мысль: «Добрые гении пролагают железные пути, изобретают телеграфы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают все, чтоб смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтоб обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу» (там же). Эти общие характеристики дополняются и конкретизируются «признаками времени»: для Запада — явлениями начинавшегося перехода монополистического капитализма в империализм; для России — продолжающегося укрепления буржуазного строя, разрушающего традиционные формы национальной психологии и быта.

Иначе говоря, крепостное социальное рабство сменилось другим — «чумазовским». И Салтыков видит лишь один выход из этих ненормальных условий, в которые поставлено человеческое существование, как в России, так и во всем мире: устремление всех жизнеустроительных общественных сил к социалистическому идеалу. Он знал этот идеал лишь по учениям Фурье, Сен-Симона, Консидерана, Оуэна. Не принимая ни их утопических методов воплощения этого идеала в жизнь, ни их произвольного конструирования («усчитывания») будущего, Салтыков, однако, с юных лет и до смерти сохранил верность

основополагающим положениям утопического социализма. «Великие основные идеи о привлекательности труда, о гармонии страстей, об общедоступности жизненных благ и проч. были заслонены провидениями, регламентацией и, в конце концов, забыты или, по крайней мере, рассыпались по мелочам. Тем не менее, — излагает Салтыков свое главное убеждение, — идея новых оснований для новой жизни, идея освобождения жизни, исключительно при помощи этих новых оснований, от мелочей, делающих ее постылою, остается пока во всей своей силе и продолжает волновать мыслящие умы» (XVI-2, 40).

Исходя из этой основной идеи, Салтыков подвергает социальному анализу и критике политику правящих классов. Он констатирует, что «народились новые подземные ключи, которые кипят и клокочут с очевидной решимостью пробиться наружу. Исконное течение жизни все больше и больше заглушается этим подземным гудением; трудная пора еще не наступила, но близость ее признается уже всеми. В особенности на Западе (во Франции, в Англии), — продолжает Салтыков, — попытки отдалить момент общественного разложения ведутся очень деятельно. Предпринимаются обеспечивающие меры; устраиваются компромиссы и соглашения; раздаются призывы к самопожертвованию, к уступкам, к удовлетворению наиболее вопиющих нужд; наконец, имеются наготове войска. Словом сказать, в усилиях огородиться или устроить хотя временно примирение с «диким» человеком недостатка нет» (XVI-2, 41).

Эзоповски называя «диким человеком» эксплуатируемые массы, в первую очередь участников поднимающегося рабочего движения на Западе, и подразумеваемая под «трудной порой», «моментом общественного разложения» и «смутой» революционные решения вопроса, Салтыков выражает свое скептическое отношение к такому ходу событий. «Спрашивается, однако ж: что делать, чтоб устранить грядущую смуту?» И отвечает: «Я выражаю здесь свое убеждение, не желая ни прать против рожна, ни тем менее дразнить кого бы то ни было. И сущность этого убеждения заключается в том, что человечество бессрочно будет томиться под игом мелочей, ежели заблаговременно не получится полной свободы в обсуждении идеалов будущего. Только одно это средство и может дать ощутительные результаты» (там же). Это устоявшиеся взгляды Салтыкова. Демократ-просветитель и утопический социалист, он все свои надежды на будущее возлагал на полную свободу в широком обсуждении идеалов общественного устройства, на рационалистическую историю и на успехи в раскрытии наукой тайн природы. К революционному насилию он, как не раз уже говорилось, относился отрицательно, полагая, что оно неизбежно должно порождать противостоящее ему другое насилие человека над человеком.

За «Введением» следует галерея индивидуальных и групповых «портретов» русских людей различных социальных групп и профессий. Но это не просто вереница отдельных образов и характеров. Все они подчинены, как всегда у Салтыкова, единой общей идее. Это печальные, более того, нередко скорбные и трагические рассказы о судьбах людей, не сумевших или не захотевших подчинить свое существование служению общественным идеалам и стремлениям. Все они не способны ответить на вопрос, во имя чего «высшего» они жили? Все оказались либо раздавленными силою сковавших их «мелочей жизни», либо завершившими свой путь в бездне духовной пустоты. Как всегда, Салтыков всюду историчен и социален. Он нигде не изображает людей и их судьбы в отвлечении от того исторического времени и той общественной среды, которой они принадлежат. Отсюда широта и аналитическая глубина русской «русловой» жизни последней четверти XIX века, данная в панораме «Мелочей жизни».

Начинается панорама с людей и картин деревенской жизни — с раздела, названного «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений». В первом рассказе, «Хозяйственный мужичок», Салтыков дал образ честного и разумного крестьянина, всю жизнь трудившегося для достижения единой цели — создания личного благосостояния. «Да! — заканчивает писатель свое повествование, — это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?» (XVI-2, 52). Образ «хозяйственного мужичка» — к нему не раз обращался Ленин — одно из преломлений в салтыковском творчестве драмы русского народничества, в частности такого крупного его движения, закончившегося неудачей, как «хождение в народ», выявившего всю трудность гражданского пробуждения и воспитания народных, крестьянских масс.

В основе второго рассказа, «Сельский священник», лежит та же мысль. У священника те же заботы, что и у хозяйственного мужичка; как обеспечить себя и семью от вторжения нужды. На это уходит вся жизнь. «Горькое начало, горькое существование, горький конец» (XVI-2, 60). Таково печальное резюме рассказа.

Герой третьего повествования о людях деревенской жизни — помещик средней руки. Он сам ведет свое хозяйство, сам занимается тяжелым сельским трудом. И достигает того, чего хотел: он сыт и здоров, — а больше ему ничего и не требуется. Он ничего не читает, ничем, кроме хозяйства, не интересуется, одичал, «потерял разговор» (там же, 70).

Не чужд на свой лад труда и «герой» последнего рассказа раздела «На лоне природы и сельскохозяйственных ухищрений». Это «паук» или «мирод» пореформенной деревни. За-

канчивается рассказ о нем, а вместе с тем и весь деревенский раздел таким обобщением: «Подобно хозяйственному мужику, сельскому священнику и помещику, мироед всю жизнь колотится около крох, не чувствуя под ногами иной почвы и не усматривая впереди ничего, кроме крох. Всех одинаково обступили мелочи, все одинаково в них одних видят обеспечение против угроз завтрашнего дня. Но поэтому-то именно мелочи, на общепринятом языке, и называются «делом», а все остальное — мечтанием, угрозой...» (XVI-2, 85).

Остальные четыре раздела панорамы «Мелочей жизни» посвящены людям интеллигентного мира и труда. Названы они: «Молодые люди», «Читатель», «Девушки» и «В сфере сеяния» (это о журналистах, адвокатах, земских деятелях и др.). Все, что было сказано писателем в заключительных словах первого, «сельскохозяйственного» раздела, относится и к «героям» последующих разделов. В них также изображены люди, затянутые, по разным причинам и обстоятельствам, в пучину «мелочей жизни», не имеющие ни сил, а иногда и желания выбраться из этой пучины и подчинить свое существование каким-либо идейным целям и устремлениям.

Галерея «молодых людей» начинается с общей типологической характеристики «шалопая» как одного из представителей светского общества Петербурга. Завершается эта характеристика, отнесенная к первому из героев рассказа Обноскову, словами: «Без думы, не умея различить добра от зла, не понимая уроков прошлого и не имея цели в будущем, он жил со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невежественностью». Таким сн и умер, приобретя в известных кругах репутацию «деятеля», хотя говорил он мало, «мыслил еще меньше, ибо был человек телодвижений по преимуществу» (XVI-2, 86). Далее идет более подробный рассказ о новейшем «шалопаяе высшей школы» Ростокине. «Никакой интерес его не тревожит, — характеризует Салтыков этого героя, — потому что он даже не понимает значения слова «интерес»; никакой истины он не ищет, потому что с самого дня выхода из школы не слыхал даже, чтоб кто-нибудь произнес при нем это слово» (там же, 95).

Еще одна фигура в галерее «Молодых людей» — Евгений Люберцев, сын чиновника из второстепенных, он прилежанием, трудом и деловой сметкой сделал неплохую бюрократическую карьеру. Но по мере того, как он «втягивался в службу, и по мере того, как он проникал в ее сердце, идея государственности заменялась идеей о бюрократии, а интерес государства превращался в интерес казны» (там же, 107—108). «Мелочи» бюрократической жизни задавили в Люберцеве все живое. «Он вполне усвоил себе идею главенства фактов и устранил вымысел и теорию навсегда» (там же, 108). «Канцелярщина» придавила его своей плитой.

Следующий портрет — семейный — «Черезовы, муж и жена». Оба молоды, честны, благородны, но бедны и, чтобы как-то удержаться на плаву жизни, вынуждены без усталости работать: она — в банковской конторе, он — чиновником на низкой должности; оба берут работу еще на вечер, домой. Труд их, направленный обстоятельствами исключительно к цели самосохранения, лишен какого-либо идейного содержания. Он заглушает в них все зачатки высших стремлений, и оба они, в конечном счете, попадают в пустоту неосмысленной, постылой жизни, — по правилу ходячей «мудрости»: «день прошел и слава богу». Лишь в предсмертные дни и часы к Черезову приходит трагическое осознание печальных итогов уходящего существования. Он говорит жене: «Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся...» (XVI-2, 121). Но этот луч света возник слишком поздно, и не только для самого Черезова, но и для его жены. «Она, — заканчивает Салтыков рассказ, — и теперь продолжает работать с утра до вечера <...> «каторга» остается в прежней силе» (там же).

Последний из рассказов раздела «Молодые люди» — «Чудинов». Это исполненное драматизма повествование об одном из тех молодых людей, которых революционное движение вымывало из помещичье-дворянской среды. Он верил в будущее счастье народное и хотел идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда не проникает еще луч сознательности. Но уже не бытовые мелочи, а болезнь, неумолимая биологическая закономерность встала на пути его стремления. «Умер человек, искавший света и обрешивший — смерть» (XVI-2, 132).

Третий раздел «панорамы» русской жизни — «Читатель». Он состоит из небольшого введения и характеристик четырех типов этой общественной рубрики — «Читателя-ненавистника», «Солидного читателя», «Читателя-простеца» и «Читателя-друга». Уже говорилось, какое огромное значение Салтыков придавал вопросу о том, есть ли у писателя читатели и кто они? Этой проблеме он уделял в своих произведениях большое внимание (особенно в «Круглом годе»). Разумеется, удволение ему приносили доходившие до него отклики не «читателя-ненавистника» и близкого к нему «солидного читателя» и не «читателя-простеца», то есть читателя «улицы», обывателя, а лишь «читателя-друга». Но посвященная последнему небольшая заметка, являющаяся ответом на многочисленные письма читателей, которые в последние годы своей жизни получал Салтыков, исполнена определенного скептицизма. «В последнее время, — пишет Салтыков, — я довольно часто получаю заявления, в которых выражается упрек за то, что я сомневаюсь в наличии читателя-друга и в его сочувственном отношении к убежденной литературе». Салтыков отводит этот упрек и заявляет, что в наличии читателя-друга

он не сомневается. Но его огорчает слабость этой общественной силы. «Покуда мнения читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания <...> — заключает он, — до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым» (XVI-2, 154). В этих строках отражено, в частности, то горькое чувство, которое он испытал от недостаточного, как ему представлялось, общественного протеста по случаю правительственного прекращения «Отечественных записок».]

В разделе «Девушки» — четыре женских портрета, четыре женских судьбы. Все они печальны, более того — драматичны, хотя драматизм положения осознается не всеми «героинями». Но его всюду видит автор этих повествований, предваряющих некоторые рассказы позднего Чехова.

Много горечи надо было накопить в душе, отчасти из опыта своей семейной жизни, чтобы создать в рассказе «Ангелочек» образ девушки светско-бонбоньерочного воспитания. С детских лет и до конца жизненного пути она находилась в духовной пустоте, заложенной воспитанием, не зная ни добра, ни зла окружавшей ее действительности.

Глубоким, нежным состраданием проникнут в «Христовой невесте» рассказ о девушке, обреченной судьбой на печаль одиночества, на разочарования в «деревянном сердце» того единственного, которого, как казалось ей, она полюбила. Рассказ заканчивается тем, что героиня его, войдя в возраст, сменила тишину и праздность помещичье-деревенской жизни на суету деятельности в благотворительных обществах Петербурга. Но жизнь ее не стала более счастливой! «Вот и у меня свои «крохи» нашлись...» (XVI-2, 186) — определяет она в заключение новый этап своего существования. Но «крохи» — это те же «мелочи» жизни, губительные для каких-либо выходов к ее широким горизонтам и высоким стремлениям.

Скорбным участием, состраданием к ненормальному положению женщины в русском обществе проникнут рассказ «Сельская учительница». Героиня его — девушка с богатыми моральными задатками. Она оказалась в глухой деревне без помощи и поддержки. Не выдержав темных, страшных условий деревенского быта, она кончает самоубийством. «Жизнь ее, — завершает Салтыков рассказ, — порвалась почти не начавшись. Порвалась бессмысленно, незаслуженно и жестоко» (XVI-2, 196). Без всяких идейных устремлений прошла жизнь Лидочки Варнавинцевой в рассказе «Полковницкая дочь». Отец ее погиб на поле сражений. Ее поместили на казенный счет в Институт благородных девиц. Гина традиционного институтского воспитания затянула ее. Она и по окончании Института осталась в нем на положении классной дамы. И это положение, и этот лишенный больших идеалов труд заслонили от нее всю широкую жизнь.

Если женщинам и их ненормальному положению в рус-

ской жизни Салтыков уделял в своем творчестве не слишком много внимания, то о «газетчиках», «адвокатах», «земских деятелях» и др., чьи «портреты» сосредоточены в разделе «В сфере сеяния», он писал много и более сильно, чем в «Мелочах жизни».

Отдельно от тематических разделов книги помещены три рассказа: «Портной Гришка», «Счастливец» и «Имярек». В первом рассказе Салтыков обратился к редко встречающемуся у него материалу — жизни мастерового в Москве, из бывших дворовых людей. Это — исполненная горечи и глубокого сострадания характеристика недостойной, по вине господствовавших социальных «порядков», жизни. Мрак несчастного существования Гришки ни разу не был освещен лучом сознания. Разрешением так и не понятой им загадки своего злосчастия становится самоубийство. Но и оно пришло бессознательно. Он выбросился с колокольни, не имея никаких определенных намерений сделать это, никаких предчувствий. «Все это, — пишет Салтыков, — заменилось непреодолимой силой рока. Тянет, влечет — только и всего» (XVI-2, 288).

Этюд «Счастливец» имеет, кроме своей художественной ценности, также и некоторое автобиографическое значение. В нем содержится воспоминание о лицейском периоде биографии Салтыкова. Валерушка Крутицын — обобщенный образ однокашников автора рассказа. Его родители по знатности и богатству принадлежали к социальным верхам общества. Салтыков называл их «питомцами славы». По выходе из «заведения» (лицея) Крутицын без всяких затруднений занял заранее предопределенное ему социальным положением и связями место в элите консервативной части общества. Но в конце своего жизненного пути он понял, что «знамя», которое он нес, не более чем «призрак». Еще ранее самого Крутицына убедился в ложности, пустоте «знамени» его восемнадцатилетний сын и не найдя другого выхода из сделанного им и потрясшего его открытия, застрелился. Рассказ о «Счастливец» заканчивается такими словами, обращенными Крутицыным к своему однокашнику, автору рассказа: «Ты, помнится, в былое время спрашивал меня о результатах, каких я достиг. Результаты — вот они! Дряхлая развалина и погибший сын!» (XVI-2, 312).

Посылая Белоголовому два очередных «этюда» из «Мелочей жизни», Салтыков пояснял в сопроводительном письме: «Только в последней, заключительной статье раскроется истинный смысл работы» (XX, 295). Последней статьей в рассматриваемом цикле была знаменитая элегия на автобиографической основе «Имярек». «Истинный смысл» всего произведения сконцентрирован в следующем абзаце этой элегии: «Старцы и юноши, люди свободных профессий и люди ярма, люди белой кости и чернь — все кружится в одном и том же омуте мелочей, не зная, что, собственно, находится в конце этой неусы-

пающей суеты и какое значение она имеет в экономии общечеловеческого прогресса» (XVI-2, 316).

Такова *общая идея* «Мелочей жизни», проходящая через все составляющие этот цикл рассказы, статьи или этюды. В аспекте этой «общей идеи» Салтыков захотел подвергнуть анализу и свою собственную жизнь, в ее идейном развитии и ее итогах. Отсюда автобиографическое значение и ценность «Имярека», давно всеми признаваемые, но не всегда правильно понимаемые. Первоначальное название произведения было в рукописи «Оброшенный (Притча)», потом «Оброшенный. Больные грезы больного человека». И действительно, физические и моральные страдания писателя, чуть ли не ежедневно звавшего к себе «смерть-избавительницу», внесли в его предсмертную, как тогда думал Салтыков, исповедь* и «самокритику», такие акценты, которые не соответствовали объективной биографической истине, хотя и были в субъективном отношении вполне искренними. «Жизнь его, — писал Салтыков об Имяреке, — была заурядная, серая жизнь человека, отдавшего себя известной специальности. Он был писатель по природе (...), но ничего выдающегося не произвел и не «жег глаголом сердца людей» (XVI-2, 320). Так высказывался о себе писатель, который был в эти годы истинным властителем дум всей прогрессивной русской интеллигенции; писатель, в котором, как мы помним, Островский видел «пророка», а Тургенев говорил, что на его плечах держится вся русская литература того времени, что, другими словами, подтверждал и Толстой. Однако нет оснований сомневаться в автобиографической искренности такого самоанализа Салтыковым итогов своего жизненного и творческого пути. Аналогичными настроениями и мыслями проникнуто большинство его писем этого времени к близким людям — своего рода настроениями Кассандры накануне предвидимой, но неотвратимой беды. В ряде писем, жалуясь на свое одиночество, он называет себя «*оброшенным*» — словом, предназначавшимся первоначально для заглавия «Имярека». Одно из писем он подписывает словами «Многострадальный М. Салтыков», заимствуя этот эпитет из библейской притчи о «многострадальном Иове», чей образ присутствует и в «Имяреке». Конечно, многое в элегическом повествовании писателя следует отнести к тому мучительному физическому состоянию, в котором он находился. Первоначальное название элегии «Больные грезы больного человека» подтверждает это.

Все эти оговорки и наличие определенного художественного задания не лишают «Имярека» автобиографических откровений, помогающих понять Салтыкова. Именно здесь сохранились авторские характеристики главнейших этапов идей-

* В «Имяреке» есть такие слова: «Лампада его жизни еще не угасла, но она и не горела, а только чадила» (XVI-2, 314).

ного и жизненного пути писателя: определяющей «школь» утопического социализма в юности, попыток использовать поприще государственной службы для прогрессивной деятельности, разочарования в этих попытках и обращения к литературе как единственно возможному в России того времени служению высоким общественным идеалам.

Но что было тем главным, что лежало в основе основ того сурового «самокритического» суда, которому Салтыков подвергал свой близившийся к закату жизненный путь и в «Имяреке», и в предшествующем ему «Приключении с Крамольниковым», и во многих письмах в России того времени служению высоким общественным идеалам? Ответ, думается, ясен в главнейшем.

Страстная, активно-общественная натура Салтыкова всегда и во всем влекла его к непосредственному участию в самой гуще текущей социальной жизни с целью изменить ее в направлении своих идеалов. В своей статье 1856 года о Кольцове — «литературном манифесте» писателя — он утверждал, что «каждое произведение искусства необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный и косвенный, а близкий и непосредственный». Конечно, Салтыков имел тут в виду не какие-либо результаты прямого общественно-политического значения, а идейно-нравственный, «внутренний переворот в совести его (читателя), который согласен с видами художника» (V, 13). Это был своего рода «идеализм» сурового реалиста, его просветительская переоценка значения литературы и искусства, как главных рычагов в радикальном переустройстве общества. С этим «идеализмом» Салтыков прожил всю жизнь. Им определялась высокая духовная устремленность его творчества. Сейчас, подводя итоги жизни, Салтыкову пришлось с великой горечью расплачиваться за эту веру в преобразующую мир магию литературы.

Такое разочарование владело не только Салтыковым. Вот, например, подтверждающая это наблюдение запись диалога Л. Н. Толстого с Н. Л. Оболенским из «Яснополянского дневника» Д. П. Маковицкого (от 3 ноября 1906 г.):

«Л. Н.: Читаю Фихте и Руссо и прихожу в ужас.

Н. Л.: Почему?

Л. Н.: Потому, что все это сто лет тому назад было высказано, а действия никакого»³⁸.

Салтыков с еще большей нетерпимостью и горечью относился к медлительности социально-нравственного прогресса в исторической жизни человека. «История сдирает с меня кожу», — говорил он, не видя осязаемого движения в направлении исповедуемых им идеалов социальной справедливости. «Где же найти основы для общежития? Откуда взяться элементам для жизненных результатов, для прогресса?» (XVI-2, 317) — спрашивал себя Имярек, всматриваясь в свое прошлое. Имярек — Салтыков не находит конкретных ответов на эти вопросы. Он лишь подтверждает, что навсегда остался

верным той «музе» критики темных сторон жизни и глашатаем тех идеалов, которые, озарив его существование в юности, уже не оставляли его*. Формулирует он эти идеалы в трех словах: «свобода, развитие и справедливость» (XVI-2, 324). Но у этих общих лозунгов идейной жизни Салтыкова — демократа-просветителя и утопического социалиста были и конкретные условия их осуществления. По его убеждению, красной нитью проходящему через все творчество писателя, новый общественный строй должен и может вырасти лишь на почве преодоления массами их политической бессознательности и пассивности. Пробуждению и воспитанию демократизма, гражданственности в народе и обществе были посвящены вся деятельность и творчество писателя. Но он понимал, что сколько-нибудь радикально изменить к лучшему положение исторически отсталой страны и ее народа одним «литературным натиском» было невозможно. В заключении «Имярека» есть загадочные в биографическом отношении слова: «Он <Имярек> чувствует, что сердце его горит и что он пришел к цели поисков всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезе правды...

Он простирает руки, ищет отклика, он жаждет идти, возглашать...» (XVI-2, 324). Какое содержание вкладывал Салтыков в эти слова — неясно. Может быть, это не более чем «больные грезы больного человека». Ведь трудно допустить, что перед писателем, в его последние годы, вдруг открылся какой-то ранее неизвестный ему путь к «храму» (используя образ нашего времени). Да и бросив этот луч света и надежды в приближающуюся темноту конца жизни, Салтыков тут же и гасит этот узкий луч трагическими (хотя и несправедливыми) словами: Имярек «сознает, что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности...» (там же).

Среди «вороха крох и мелочей», тяжело осложнивших жизнь реального Имярека — Салтыкова, большое место заняла семейная и бытовая обстановка писателя.

* Впрочем, скептицизм и болезненное состояние Салтыкова вносили иногда яд сомнения и в его признания верности «музе» критики и обличения. В воспоминаниях В. Р. Зотова о его последнем свидании с Салтыковым приведены такие слова писателя: «А я часто думаю, не ошибся ли, что сделал сатиру главной темой моих работ?»³⁹

**17. ЖЕНА И ДЕТИ. — «АД СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ». — БОЛЕЗНИ. —
«ОБРОШЕННЫЙ». — ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ**

Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало ему быть гражданином?

Салтыков. Приключение с Крамольниковым

Были ли когда-нибудь у него друзья? Кажется, что-то вроде этого было.

Салтыков. Имярек

В биографии Салтыкова, как уже не раз об этом говорилось выше, немало противоречий. По мнению ряда близких ему людей, они в какой-то мере питали и двигали его талант писателя-обличителя. «В сатире, — писал Фр. Шиллер, — действительность как некое несовершенство противопоставляется идеалу как высшей реальности». Именно такое резко контрастное мировосприятие было присуще Салтыкову и определяло многие его противоречия. Одно из них — биографически важное — относится к его семейной жизни, — к взаимоотношениям с женой, Елизаветой Аполлоновной, детьми — Костей и Лизой и с небольшим кругом людей, считавшихся друзьями писателя.

Напомним, что женился Салтыков сразу же после освобождения от вятской службы-ссылки, в 1856 году. Ему было тогда 30 лет, а его невесте едва исполнилось 17¹. Несомненно, что Салтыков любил жену в течение всей своей жизни. Но в последние годы любовь к ней сочеталась с ненавистью, иногда очень активной. Также и Елизавета Аполлоновна более двадцати — двадцати пяти лет с удивительным спокойствием выносила все резкие и грубые проявления взрывчато-импульсивного характера Салтыкова, у которого, по словам В. И. Та-

неева, «не только в сатире, но и во рту всегда таилось жало». И лишь в последние годы болезни писателя, ужесточившие грубые черты его характера — «наследие Пошехонья», — по собственному его признанию, до крайних пределов, а с другой стороны, отсутствие истинного сострадания к нему Елизаветы Аполлоновны, непонимание ею переживавшейся им трагедии человека, которому угрожало безумие, предельно драматизировали их отношения. В это непомерно трудное для писателя время угасавшей жизни Елизавета Аполлоновна не раз говорила ему, не стесняясь присутствия детей и посторонних: «Хоть бы ты умер поскорее!»² Такое, конечно, было трудно переносить и человеку с более спокойным характером.

На полях одного из листов рукописи «Пошехонской старины» — предсмертного произведения — есть запись, явно относящаяся не к тексту сочинения, а к биографии писателя: «Ад семейной жизни». Как будет видно из дальнейшего, крайности такой оценки соответствовала действительности последних лет жизни писателя. И она была тем более драматична для Салтыкова, что он придавал семье («семейному началу», по его словам) огромное значение. «Семья, — утверждал он, — это «дом», это центр жизнедеятельности человека, это последнее убежище, в которое он обязательно возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессия и долг» (XIV, 340). В гармонии «семейной ячейки», первоосновы общества, он усматривал один из элементов всего согласованного, справедливого его устройства. Да и по задаткам своей натуры и поведению он был прекрасным семьянином. Биография писателя не знает, после того как он женился, никаких других его любовных увлечений. Напротив того, известна его неизменная, несмотря на все, привязанность к жене до конца дней и страстная, нежная любовь к детям — сыну и дочери.

Конечно, «ад семейной жизни» возник не сразу. Но причина причин всего тяжелого неустройства семейной жизни писателя, как и всего тяготившего его бытового уклада, коренилась в совершенном несходстве характеров и духовного содержания этих людей. «Для всех друзей Салтыкова, — читаем в воспоминаниях М. А. Унковского, — было очевидно глубокое расхождение в склонностях и интересах мужа, жившего в сфере широких общественных вопросов, и стремления жены, все помыслы которой вращались исключительно вокруг различного рода источников развлечения и средств повышения ее красоты и внешней обаятельности. Такое глубокое расхождение не могло не приводить к повседневному домашнему расколу. Но, ежедневно раздражаясь каждым шагом и словом жены, Салтыков в то же время не мог прожить без нее даже двух-трех дней, не начав испытывать грызущую по ней тоску»³.

Мы мало знаем о Елизавете Аполлоновне. Упоминания о ней в эпистолярной и мемуарной литературе восходят, в основном, к суждениям о ней самого Салтыкова и ближайших

к нему людей — к суждениям субъективным и эмоциональным. Источники объективного характера почти отсутствуют, кроме нескольких сохранившихся писем Елизаветы Аполлоновны. Мы, в частности, не знаем ничего об ее детстве и юности. По-видимому, она получила только домашнее воспитание, в традициях провинциальной «светскости». Ее научили умению держать себя в «обществе», танцевать на губернских балах, участвовать в «живых картинах», говорить по-французски. Обучение французскому языку, возможно, было взято на себя ее матерью, Екатериной Ивановной — по происхождению полуфранцуженкой. О том, что во всем остальном ее развитие, так же как и сестры Анны, находилось на весьма низком уровне, косвенно свидетельствует то обстоятельство, что за образование сестер в Вятке решил взяться сам Салтыков. Известно, что он составил для них рекомендательный список книг для чтения, способствовал доставанию этих книг из Петербурга, занимался с ними русской словесностью, а может быть, и другими предметами и даже написал для сестер «Краткий курс истории России». Рукопись эта, хранившаяся у дочери Салтыкова, после ее отъезда из Петербурга за границу в 1917 году, по-видимому, погибла. Но с ней получил возможность бегло ознакомиться Арсеньев, и он привел из нее несколько цитат в своих «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова»⁴. Надо полагать, что Салтыков стремился не только к образовательным, но и к идейно-воспитательным целям. Однако усилия его не увенчались успехом. Защищая уже в 1870-е годы интеллектуально-идейную репутацию Елизаветы Аполлоновны от чересчур яростных нападок Салтыкова, В. И. Танеев, также знавший жену писателя с ее юных лет, писал в одном из набросков своей автобиографии: «Она была вовсе не глупее других женщин своего круга, которые охотно поддерживали и распространяли ее репутацию глупой женщины, завидуя ее красоте. Но Салтыков никогда не мог простить ей неудачи своих педагогических усилий, на нее направленных, которым он с такими надеждами предавался в пору жениховства и первых лет брака»⁵. Тем не менее он принял ее такой, какой она была и осталась, — сначала очаровательной девочкой-подростком, а потом красивой молодой женщиной, с незлобивым спокойным характером, но лишенной каких-либо идейных устремлений. Заботы о развлечениях, «празднике жизни», о своей привлекательности, которая вместе с молодостью долго не покидала ее, — дальше этого не шли ее «идеаль».

Характер отношений между Салтыковым и его женой, конечно, имел свое развитие. Следует, однако, полагать, что Салтыков очень скоро после женитьбы понял истинную натуру своей избранницы. Она принадлежала к тому типу безыдейной, сексуальной и всецело погруженной в «мелочи жизни» женственности, который сатирически разработан Салтыковым

в его образах разного рода «куколок» * и «ангелочков». Живой моделью для некоторых черт этих образов, несомненно, послужила Елизавета Аполлоновна.

Вряд ли можно сомневаться и в том, что, когда на склоне дней Салтыков писал бесподобную по своему языковому мастерству и юмору и вместе с тем очень грустную сказку «Чижиково горе», он думал о «горе» своей семейной жизни. В образе легкомысленной и бездушной «красавицы канарейки» присутствуют черты все тех же «куколок» салтыковской сатиры, присущие характеру и поведению Елизаветы Аполлоновны. Схожи с семейной биографией писателя и некоторые сюжетные элементы сказки. Такова, например, история сближения и свадьбы канарейки и чижа: «Страсть к красавице канарейке до такой степени овладела всеми его помыслами, что он, вопреки своей обычной осмотрительности, пренебрег даже справиться, что за птица была его невеста и есть ли за нею какое-нибудь приданое» (XVI-1, 119) (о том, что его невеста — бесприданница, Салтыков узнал уже после того, как сделал предложение и оно было принято). Или горькое окончание «сказки»: «И живут <они> с тех пор друг подле друга в одном дупле, молчат и все о чем-то думают <...>. Он: «Ах, разбила ты мою жизнь, кукла бесчувственная!» Она: «Ах, заел ты мою молодость, распостыльный майор!» (XVI-1, 130). Но таково было горькое осознание их семейной жизни в ее финале. В медовый же месяц брака, когда писались «Губернские очерки», Салтыков, в рассказе «Скука», воплотил свою Лизу в очаровательный эскизный образ Бетси. Да и в первые годы брака, падающие на время службы Салтыкова в провинции, на должностях сначала вице-губернатора, а потом председателя казенной палаты, жизнь супругов протекала без каких-либо видимых осложнений. Салтыков по-прежнему любил свою красавицу жену. А она с увлечением и немалым успехом играла роль «второй дамы» (после губернаторши) в дворянско-бюрократических «верхах» Рязани и Твери, Пензы и Тулы. Гроза всех губернаторских администраций названных городов, Салтыков, по-видимому, совсем не вмешивался в устройство своего домашнего быта, предоставив это дело целиком Елизавете Аполлоновне. Тут она была полной хозяйкой (за исключением рабочего кабинета мужа), строя этот быт в обычных традициях провинциальной «светскости». Салтыков же в это время, продолжая служить, писал на том же бытовом материале свои сказания о помпадурах и помпадуршах и другие исполненные сатирического яда картины провинциального «бомонда».

* «Куколкой» не раз называет Елизавету Аполлоновну в своей переписке с П. Л. Лавровым Н. А. Белоголовый, например в письме от 14 ноября 1885 г.: «...письмо от жены Салтыкова. Сам он давно не пишет, занят, как общает его куколка, продажей своих сочинений»⁶.

Несомненно, Елизавета Аполлоновна годилась в супруги одному из высших представителей российской губернской администрации в гораздо большей мере, чем писателю-демократу, руководителю крупнейшего в легальной печати страны оппозиционного издания, какими были «Отечественные записки». Вероятно, так же как и мать писателя, Елизавета Аполлоновна сожалела, что открывшейся перед Салтыковым возможности высокой служебно-государственной карьеры, вплоть до губернатора, министра, сенатора, он предпочел литературу и журналистику.

Трудности в семейной жизни Салтыкова начались со времени его окончательной отставки, переезда на постоянное жительство в Петербург и участия в трудах редакции «Отечественных записок», а затем и руководства ими.

В одном из писем к Белоголовому 1884 года, обобщая характер своих отношений с женой периода петербургской жизни, Салтыков писал: «Ни в чем мы с ней никогда не сходились, и ни одним своим капризом она никогда в мою пользу не поступила. Какая ужасная жизнь» (XX, 20).

В данном случае речь шла о заветном желании Салтыкова приобрести где-либо в средней полосе России небольшое имение-дачу, где он мог бы проводить с семьей летние месяцы (после того как он вынужден был продать Витенево и Лебязье). В письмах к Белоголовому со станции Сиверская Варшавской железной дороги Салтыков писал летом 1884 года: «Я ужасно болен. Лето у нас анафемское, холодное, а дача подобная леднику. Это меня Елизавета Аполлоновна угощает. Я рвусь что-нибудь приобрести, какой-нибудь теплый угол, а ей ничто не нравится, непременно нужно палаццо*. Я двадцать шесть лет на своих плечах несу обузу кормления, а не задушил, чтобы мой голос имел какое-нибудь значение. Это просто убийство. Она никак не может понять, что я не Шереметьев и не Самуил Поляков, и требует реку, парков, оранжерей и т. п. Я хотел купить усадьбу в Ржеве, и уверен, что было бы там отлично, — по милости супруги, ничего не удалось» (XX, 61).

Действительно, Елизавета Аполлоновна, прямо и косвенно, препятствовала желаниям Салтыкова провести последние годы жизни в деревне. Для нее сильнейшими магнитами были заграница и особенно Париж с его магазинами и развлечениями. Отечество же свое она называла «скучным». В одном из писем к жене Г. З. Елисеева, Екатерине Павловне, находившейся в столице Франции, Елизавета Аполлоновна писала: «Вы теперь в Париже, желаю Вам повеселиться. Где вы проведете зиму? Боже мой, когда-то мы из этой скучной России уедем?» В другом письме, 1885 года, читаем: «Милая Катерина Па-

* В Собр. соч. воспроизведена ошибка в прочтении рукописи: вместо «палаццо» — «пакости». — С. М.

вловна, мы едем за границу, а именно в Elster les bains, близ Франценбада. Я, дети и гувернантка-англичанка едем туда 22 мая, там, говорят, прелестно, 15 минут до Франценбада, где прелестные магазины, так что и в Париж не надо ездить <...>. Потом Карлсбад и Мариенбад близко, можно все осмотреть, в виде прогулки <...>. Мишель, как это его обыкновение, молчит и заранее нам не открывает своих планов личных на лето. Поэтому с ним так скучно <...>. Интересно было быть в Париже, когда вся суматоха была по случаю смерти Виктора Гюго. У нас не так важно хоронят великих людей. Вот, например, Кавелина Стасюлевич похоронил рядом с Тургеневым» и т. д.

И еще несколько выдержек из писем «Елизы Салтыковой» (так она подписывалась) к жене Елисеева за границу:

«Путешествуйте, веселитесь, старайтесь находить всегда хорошую сторону, побольше гуляйте, а главное — развлекайтесь. Я просто не понимаю, как это мужья не замечают, что им бывает весело, когда жена развлекается. Я теперь получила два бриллиантовых браслета, о которых мечтала давно, и так мне все теперь нравится в жизни, и занятия с детьми, и воркотня мужа, на душе веселее»; «До свидания, милая Екатерина Павловна, я от души желала бы быть на Вашем месте, т. е. вдали от родины»; «Летом <1883 г.> не знаю, где будем. После визита Боткина нам, кажется, грозит Финляндия. Вот скупа-то. Теперь у Вас <в Ницце> карнавал. Опишите, где Вы сидели, что Вам понравилось. Я же больше всего бываю в театрах. У Унковских на днях Зине 16 лет, и у них бал в 8 пар. Здесь балы начались при дворе и bal masqué* у Великого князя Владимира Александровича. Там будет 350 дам и на каждой даме костюм не менее 1000 рублей: вот Вам 350 тысяч в одних платьях»⁷.

Портрет «куколки» вырисовывается из ее писем с большой выразительностью.

А вот характеристика Елизаветы Аполлоновны, принадлежащая самому Салтыкову. Она содержится в одном из его писем к А. Л. Боровиковскому 1883 года. «У жены моей, — писал Салтыков, — идеалы не весьма требовательные. Часть дня (большую) в магазине просидеть, потом домой с гостями прийти, и чтоб дома в одной комнате много-много изюма, в другой много-много винных ягод, в третьей — много-много конфект, а в четвертой — чай и кофе. И она ходит по комнатам и всех потчует, а по временам заходит в будуар и переодевается» (XIX-2, 208).

Когда Салтыков стал редактором «Отечественных записок», он, вопреки обычаям руководителей других изданий и просто видных литературных и общественных деятелей, не устраивал у себя дома никаких приемов-общений в опреде-

* костюмированный бал, маскарад (фр.).

ленные дни, так называемых «журфиксов». Многие удивлялись этому и даже упрекали его, в их числе Тургенев. Однажды Салтыков сказал по этому поводу Белоголовому: «И Тургенев находит тоже, что среди молодежи — талантов немало, но все они — грубы, не выполированы, и он меня сильно бранит за то, что я не стараюсь сблизиться с ними и влиять на них частными беседами; даже уговаривает меня открыть для этого журфиксы, и я сам понимаю, что это, пожалуй, следовало бы устроить, но как, я ведь человек дикий, не общественный, на словах горяч, и выйдет только то, что мы все перессоримся; да и жена моя — дама не литературная: я заведу литературные журфиксы, а она назовет на них своих знакомых, гвардейцев всякого оружия, что же это будет такое?»⁸

Но не только «нелитературность» Елизаветы Аполлоновны и круг ее знакомств препятствовали «журфиксам» Салтыкова с разночинцами и малоимущими сотрудниками своего журнала и другими деятелями демократической части столичного общества. Препятствовал этому, нужно думать, весь бытовой уклад и сама квартира редактора «Отечественных записок». Сохранились два-три описания его последней девятикомнатной квартиры на Литейной. Они не противоречат, но кое в чем дополняют друг друга. Вот описание, принадлежащее дочери Унковского Софье Алексеевне: «Мы жили в то время (1870-е годы) на Литейной, в двух кварталах от Салтыковых, которые тоже жили на Литейной, но ближе к Невскому. Я часто бывала у них. Как сейчас, вижу я квартиру Салтыковых в доме Красовской: небольшая прихожая, налево — кабинет Михаила Евграфовича с большим письменным столом и зеленой мебелью, прямо — столовая, мрачная комната, с одним окном во двор; из столовой одна дверь вела в гостиную — большую комнату с мебелью, обитую синим шелком, а другая дверь — в узкий коридор, с левой стороны которого тянулась стена, а с правой — двери в спальню Салтыковых, в две детские, в ванную и в конце коридора — кухня, где жила кухарка-чухонка Мина, говорившая на ломаном русском языке. У этой Мины была еще помощница-прислуга. Кроме того была комната, где жили часто менявшиеся Елизаветой Аполлоновной гувернантки — либо француженка, либо немка, либо англичанка»⁹.

А вот несколько выписок из воспоминаний критика и литературоведа Н. А. Энгельгардта, сына автора «Писем из деревни». Воспоминания относятся к концу 1870-х — началу 1880-х годов, когда мемуаристу было 12—16 лет.

«Иногда к нам, — вспоминает Н. А. Энгельгардт *, — в калитке приезжала, разодетая в соболь, бархат и шелк, прелест-

* Энгельгардты жили тогда в Коломне, за Покровской площадью, в самом конце Садовой. — С. М.

ная кухня мамы, жена знаменитого сатирика Салтыкова-Щедрина, Елизавета Аполлоновна. Она увозила меня к себе на Литейную, в свою роскошно отделанную квартиру. Михаил Евграфович чрезвычайно любил, ценил и уважал моего отца и, когда мы приезжали, выходил из кабинета и медвежьим своим голосом, но ласково справлялся о его здоровье и о здоровье не менее им уважаемой матери моей. Потом я играл с хорошенькой Лизой и с Костей — детьми сатирика. Елизавета Аполлоновна приносила большой ларец и показывала свои наследственные и благоприобретенные, благодаря литературным трудам и редакторству мужа, драгоценности. Сверкали бриллианты, алы рублины, переливались аметисты. В одной из комнат, в углу, лежала гора связок книг. Это были отдельные издания сочинений Мих. Евграф., которые сам он называл своим «товаром» и самолично счетом отпускал приходившим за ними книготорговцам. А Елизавета Аполлоновна называла их «Мишелевы глупости» <...>. Посетители кабинета ее мужа, знаменитого писателя, начинающие бледные юноши или уже составившие себе большое литературное имя — Успенские, Златовратские, Шеллеры-Михайловы — нисколько ее не интересовали. Она не прочла из них ни строки и не раскрывала журнала своего мужа — «Отечеств. записок» <...>. У Елиз. Аполлоновны был свой салон, куда муж и не заглядывал, свое великосветское общество — кавалергарды, камер-юнкеры, конногвардейцы или светские старцы «в душистых сединах» и с звездой св. Станислава на груди или Владимиром на шее, светские, близкие к двору дамы, богатые, раздетые, с их милым легким французским разговором...»¹⁰

В приведенных воспоминаниях есть явные преувеличения. В них сильно повышен уровень «светскости» и «роскоши» в гостиной Елизаветы Аполлоновны. Никаких связей с «высшим светом» столицы, с «близкими ко двору дамами» у нее не было, быть может, за какими-то единичными исключениями. «Светскость» ее салона была в основном связана с перебравшимися в Петербург семьями сослуживцев ее мужа по высшей губернской администрации тех городов, где прошла его служба. Вряд ли верно и то, что она не раскрывала журнала «Отечественные записки». А если и не раскрывала, то некоторые произведения Салтыкова позднего периода она не могла не знать хотя бы потому, что иные из них переписаны для набора ее рукой. Болезнь испортила почерк Салтыкова, вообще довольно трудный, какой-то клинообразный, особенно в черновых редакциях и вставках. Наборщики затруднялись набирать столь неразборчиво написанный текст. Заслуги Елизаветы Аполлоновны в этом отношении очевидны и немаловажны. При всем том воспоминания Н. А. Энгельгардта дают в общем правильное представление о трех главнейших особенностях жены Салтыкова — о ее тяге к «светскости», хотя и в провинциальном варианте, пристрастии к туалетам и драго-

ценностям, наконец, о полном отсутствии близости к духовным и общественным интересам мужа.

Не будучи, разумеется, женоненавистником, находясь в глубоко уважительных, дружеских отношениях со многими выдающимися деятелями женского движения в России, писательницами, той же А. Н. Энгельгардт, Е. И. Лихачевой, Н. Д. Хвощинской-Зайончковской, М. С. Скребицкой, М. К. Цебриковой, А. А. Оболенской и другими, Салтыков делал иногда враждебные выпады против женщин-куколок, к типу которых и принадлежала его жена: «Надо бы устраивать для женщин особые дворцы с салонами и там их держать, чтоб не мешали. Утром они переболтают между собой все, что у них на душе, а вечером пусть принимают *les messieurs**, которые будут приносить им конфеты, букеты и брильянты. Тогда только мужчины узнают, что такое свобода» (XX, 24). Это было написано по поводу жены Елисеева Екатерины Павловны, но она близко подходила по своему типу к Елизавете Аполлоновне.

Все сказанное, вместе, разумеется, с болезнью писателя, достаточно объясняет отделенность его домашней жизни последних лет от сколько-нибудь широких писательских связей. Личные дружеские отношения Салтыкова этого времени принадлежали не литературе, а смешанному кругу людей его далекого школьного товарищества, деятелей либеральной бюрократии эпохи реформ 1860-х годов, членов Литфонда, участников бывлой «компании мушкетеров» и др. К ним нужно, и, быть может, прежде всего, присоединить лечащих его врачей и друзей — Н. А. Белоногового и С. П. Боткина. Вскоре после закрытия «Отечественных записок» у Салтыкова возникло близкое знакомство с Л. Ф. Пантелеевым, участником революционного движения 1860-х годов, членом первой «Земли и воли», отбывшим ссылку в Сибирь, а после освобождения и возвращения в Россию занявшимся книгоиздательской деятельностью. Пантелеев — автор небольших, но очень ценных воспоминаний о Салтыкове, в основе которых лежат записки, сделанные непосредственно после бесед с ним.

Все эти люди, за исключением, быть может, Пантелеева, не были в полном смысле этого слова друзьями-единомышленниками Салтыкова, как не были ими в более раннее время и другие близкие ему люди — А. В. Дружинин, В. П. Безобразов, С. А. Юрьев. В «Имяреке» Салтыков задает от имени своего автобиографического персонажа вопрос: «Были ли когда-нибудь у него друзья?!» И с горечью отвечает: «Кажется, что-то вроде этого было». Почему «что-то вроде этого»? Салтыков объясняет. Он пишет: «Говорят, будто и умственный интерес может служить связующим центром дружества; но вероятно, это водится где-нибудь инде, на «теплых

* мужчин (*фр.*).

водах)*. Там существует общее дело, а стало быть, есть и присущий ему общий умственный интерес. У нас все это в зачаточном виде. У нас умственный интерес, лишенный интереса бакалейного, представляется символом угрюмости, беспокойного нрава и отчужденности. Понятно, что и дружелюбие наше не может иметь иного характера, кроме бакалейного» (XVI-2, 319). Писательский и редакторский труд Салтыкова был «общим делом» всей современной ему русской демократии. И все же его «самокритика» отражала в определенной мере как общую историческую, так и частную правду биографии писателя. Его огромный литературный труд, поднимавший целые пласты новых мыслей и чувств, не доходил в полной мере до русского общества и тем более до народных масс вследствие культурной и демократической неразвитости страны в ее социальных низах. А его домашние, личные связи во многом (имея в виду более раннее время, когда он был отнюдь не здоров) имели действительно традиционный для русского столичного общества «бакалейный» или «ресторанно-гастрономический», а также «карточный» характер. Но истинно близких ему друзей у него действительно не было. Об этом, в частности, быть может, с излишней категоричностью свидетельствовала уже в свои зрелые годы дочь писателя Елизавета Михайловна де Пассано. На соответствующий вопрос посетившего ее газетного корреспондента она ответила: «Друзей у отца не было. Бывал он часто у Лихачевых, Унковских. Часто он жаловался, бранил себя, укорял себя за свой характер, который мешал ему сойтись ближе со своими товарищами»¹¹.

Вернемся к вопросу о семейной жизни писателя. Брак Салтыкова, как уже было сказано, долго оставался бездетным, а именно шестнадцать лет. Сын Константин родился в 1872 году, а дочь Елизавета — в следующем, 1873-м. Детей своих Салтыков любил страстно и нежно, особенно сына. Но, с одной стороны, он был уже «стар» для роли отца-товарища, которая так облегчает родительские заботы, когда молодое поколение начинает входить в возраст и приобретать сознательность. С другой стороны, как и во всех областях своей семейной жизни, он фактически был отстранен Елизаветой Аполлоновной от дела воспитания детей — дела, которому он, начиная со своих первых юношеских рецензий на педагогические книги и кончая замечательным очерком «Дети», введенным в «Пошехонскую старину», придавал такое огромное значение. Ведь в детях он видел «суд будущего», в том числе и над своей собственной жизнью. Сохранившиеся в отрывках, опубликованных К. К. Арсеньевым (подлинники утрачены), прелестные письма Салтыкова к находившимся вместе с матерью за границей девятилетнему сыну и восьмилетней дочери

* То есть в демократически развитом обществе Западной Европы. — С. М.

показывают, с какой любовью и вниманием он пытался вначале входить в самое малейшие интересы детей, воздействовать на их воспитание в направлении своих педагогических представлений и идеалов, усвоенных им все из того же первоначального источника — сочинений классиков утопического социализма*. Но преодолеть и в этом вопросе воздействие своей жены не удалось.

Оказавшиеся целиком под «педагогической» опекой Елизаветы Аполлоновны, дети воспитывались ею в согласии с ее представлениями о «хорошем», «светском» тоне и без всякой заботы о той нравственно-идейной подготовке формирования сознания и морали будущего человека, чему придавал такое большое значение Салтыков.

«Дети были очень избалованы», — свидетельствует в своих воспоминаниях С. А. Унковская и продолжает: «Я не могу себе их представить в раннем детстве иначе, как с мандаринами в руке, которые они поглощали десятками, и с шоколадными конфетками. При них была хорошенькая миниатюрная французенка, мадемуазель Мари, дети говорили с ней исключительно по-французски, совершенно забывая иногда свой родной язык, дорогими игрушками была завалена вся детская»¹².

О воспитательных интересах и заботах Елизаветы Аполлоновны дают представление хотя бы такие строки из одного из ее писем к Е. П. Елисейевой: «Так как князья Абашидзе уехали все в Италию на зиму, то дети теперь учатся танцевать у Игнатьева и собираются у Гогель. Я давно слышала, что Игнатьев первый учитель в Петербурге, и когда встречала на вечере грациозную барышню, то всегда слышала, что это не удивительно, так как эта барышня ученица Игнатьева. Вот вчера все мы, маменьки, собрались на урок, и действительно он просто идеально дает урок <...>. Ну, Лиза моя ему так нравится, он все ей говорит: «Ангел мой, хорошо». И я действительно не понимаю, откуда у нее берется столько грации. Дамы мне говорили, признайтесь, и Вы ей любуетесь <...>».

* Вот для иллюстрации одно из писем Салтыкова к Лизе и Косте, опубликованное К. К. Арсеньевым «почти целиком». Оно датировано 12 мая 1880 г., то есть всего через несколько дней после их отъезда за границу.

«Доношу вам, что без вас скучно и пусто. Когда вы были тут, то бегали и прятались в моей комнате, а теперь такая тишина, что страшно. И еще доношу, что куклы ваши здоровы и в целости. Им также скучно, что никто их не ломает. А еще доношу, что сегодня Арапка <кенарь>, когда я вошел в игральную, сел сначала мне на плечо, а потом забрался на голову, и не успел я оглянуться, как он уже сходил. Вот так сюрприз. Что же касается до Крылатки <канарейки-птенчика>, то она еще совсем голенькая, но мать начинает уже летать от нее. Ни конфет, ни апельсинов после вашего отъезда в Петербурге уже нет; все уехали следом за вами в Баден. Я думаю, что вы уже возобновили с ними знакомство. Будьте умники и учитесь. Пишите ко мне, что вздумается, но непременно пишите. Я буду прятать ваши письма, и когда вы будете большие, мы станем вместе их перечитывать. Целую вас обоих крепко-накрепко. Как только можно будет, прилечу. Не забывайте папу» (XIX-1, 149).

Мы все хотим убедить Мишеля присутствовать хоть раз на уроке...»¹³

А «Мишель» писал в это время своего «Ангелочка» («Мелочи жизни») и с горечью жаловался Белоголовому перед отъездом жены с детьми на морские купания во Францию: «...я думаю, что Елиз(авета) Аполл(оновна) будет чересчур экономить ради того, чтоб потом в Париже сделать несколько платьев. Представьте себе, она только 2 раза в неделю дает детям ужинать, а между тем поехала (из Эльстера) в Францесбад и купила Лизе платье в 90 марок. И заметьте, что она перед отъездом только что сделала Лизе два новых платья. Я недавно также узнал, что у Лизы 13 пар ботинок (...). Я не могу Вам выразить, до какой степени я несчастлив в семье. Жена просто ненавидит меня за мою болезненную старость, скрывает от меня все и делает всевозможные мне досады» (XX, 190). «Педагогика» Елизаветы Аполлоновны — «уродливая» по словам Л. Ф. Пантелеева * — была незаживающей раной Салтыкова: «Несчастливы будут мои дети, — писал он Елисееву, — никакой поэзии в сердцах; никаких радужных воспоминаний, никаких сладких слез; ничего, кроме балаганов», понимая под последними весь круг «светских» развлечений, к которым приобщала детей писателя Елизавета Аполлоновна (там же, 164). И еще о детях в письме к Белоголовому: «Что такое случилось со мной, — не знаю, но нечто в высшей мере ужасное. Главное: дети измучили. Такие афоризмы Константин уже выработал, что слушать страшно. Еще шесть лет учиться предстоит, а он о карьере и протекции говорит» (XX, 438—439).

Лето 1886 года Салтыков, как уже сказано, провел в Финляндии, где он нанял дачу у Е. А. Волковой, дочери кн. А. А. Оболенской, основательницы первой частной женской гимназии в Петербурге, где с 1883 по 1890 год училась дочь писателя. Дача — Красная Мыза — находилась вблизи дачи С. П. Боткина. Салтыков каждую неделю ездил к Боткину, главным образом в целях медицинского контроля над своим здоровьем. В воспоминаниях сына Оболенской Владимира Андреевича сохранилось несколько зарисовок, дающих, несмотря на их эскизность, не только внешнее, но и психологическое представление о всех членах семьи Салтыковых этого времени, об их домашней обстановке.

Начинает Оболенский с «портрета» жены:

«Елизавете Аполлоновне было тогда под сорок лет**.

* Из записи беседы В. П. Кранихфельда с Л. Ф. Пантелеевым: «Отношения в семье были ненормальными... Жена — франтиха и мотовка, крайне уродливо воспитавшая детей, баловавшая их, возившая их по театрам, увлекавшаяся нарядами»¹⁴.

** В 1886 г. Елизавете Аполлоновне, родившейся в 1839 г., было 47 лет, но, по единодушным свидетельствам всех, знавших ее, она долго сохраняла молодость. — С. М.

Склонная к тучности фигура, туго затянутая в корсет; лицо миловидное, но совершенно невыразительное, несмотря на красивые, слегка искусственно ретушированные серые глаза <...>. Несмотря на деревенскую обстановку нашей жизни, она одевалась по-городски и, когда ходила гулять в лес, надевала шляпку и перчатки. И разговаривала она не просто, а так, как, по ее представлению, должна разговаривать светская дама из высшего общества: как-то поверхностно скользила по теме разговора, перепархивая с одного предмета на другой, щебетала всякий наивный вздор, который мог бы показаться милым в устах шестнадцатилетней девочки, но совершенно не к лицу был женщине бальзаковского возраста, а тем более жене известного писателя».

Вот «портреты» дочери и сына: «Дочка <...> Лиза должна была собой изображать *un en fant comme il faut**. Несмотря на то, что ей было тогда уже лет четырнадцать, одевали ее *à la bébé*** , всегда с распущенными волосами, в коротеньком платьице выше колен, с неизменным *serceau**** в руках и с большим мячиком в сетке, перекинутой через плечи. Ну, словом, девочка с модной картинки. А рядом с ней гувернантка, без которой Лиза не отпускалаь из дому. Во всем этом чувствовалось стремление матери во что бы то ни стало достичь настоящего хорошего тона. А выходило нелепо и карикатурно. Хороший тон нарушался развинченным увальнем гимназистом Костей, грубоватым, балованным, но милым и умным мальчиком, огорчавшим мать своими дурными манерами»¹⁵.

Салтыков возлагал на сына большие надежды, но тяжелая домашняя обстановка не способствовала нормальному развитию мальчика. Он настолько плохо не только учился, но и вел себя в известной частной гимназии Я. Г. Гуревича, что Салтыков вынужден был взять его оттуда и перевести в 1885 году в Александровский лицей, где сам когда-то учился и где «строже следили за воспитанием»****.

В воспоминаниях В. А. Оболенского о летнем пребывании Салтыкова на даче в Финляндии имеется также эскизная, но весьма выразительная зарисовка самого писателя, которого он видел тогда впервые, но с которым потом стал часто встречаться и на даче и в Петербурге. Вот эта зарисовка:

«Салтыков с женой принял нас <В. А. Оболенского, его сестру и мать> в гостиной. В сером мягком пиджаке и с неизменным тяжелым пледом на плечах, он сидел в кресле неестественно прямо, положив руки на тощие колена <...>. Мрачно смотрели на нас с неподвижного желтого лица, изредка нерв-

* благовоспитанное дитя (фр.).

** как ребенка (фр.).

*** серсо (фр.).

**** В 1893 г., то есть уже после смерти писателя, сын его был исключен из лицея «за недостойное поведение». — С. М.

но подергивавшегося, огромные, строгие и какие-то бесстрастно отвлеченные глаза, а отрывочные злые фразы, прерывавшиеся тяжелым дыханием, производили впечатление скорее рычания, чем человеческой речи». Дальше Оболенский сообщает, что «Елизавета Аполлоновна часто говорила такие глупости, которые свежего человека совершенно ставили в тупик», а у Салтыкова вызывали пароксизмы гнева и ненависти. «И тем не менее, — делает вывод из своих наблюдений Оболенский, — у меня сложилось впечатление, что он глубоко был привязан к этой женщине, которая каждым словом, каждым жестом раздражала его...»¹⁶

Правильность приведенного впечатления подтверждается и всеми другими людьми, знавшими домашнюю жизнь Салтыкова. Ненавидя жену, он продолжал любить ее и болезненно переносил сколько-нибудь длительное отсутствие ее. Она же, со своей стороны, напротив того, стремилась при любом случае побыть вне общения с мужем. Летом 1886 года дважды уезжала с детьми в Гельсингфорс, оставляя Салтыкова лишь на попечении поварихи. А в 1887 году у нее был план уехать на лето с детьми за границу, а Салтыкова отправить одного в имение своей больной полусумасшедшей матери Яново Сергачского уезда Нижегородской губернии.

Постоянно «воюя» с Елизаветой Аполлоновной, высказывая в самой резкой, а иногда и очень грубой форме несогласие с ее решениями, касающимися домашне-семейного обихода и воспитания детей, Салтыков вместе с тем требовал от других полного к ней уважения. На этой почве у него случались столкновения даже с такими близкими ему людьми, как А. М. Унковский, одно из которых чуть было не закончилось их разрывом, хотя и по пустячному поводу. Искренность составляли Белоголовый и Боткин. Дружеская откровенность в эпистолярных и личных отношениях с ними, дополненная доверительностью пациента к лечащим врачам, позволяли им знать всю подноготную семейной жизни последних лет писателя. Обобщая свои впечатления от высказываний на эту тему в письмах к нему самого Салтыкова, Белоголовый писал Лаврову: «Домашний очаг его представляет подобие настоящего ада»¹⁷.

Несколько выдержек из писем к Белоголовому Боткина, регулярно навещавшего Салтыкова, и его жены Екатерины Алексеевны подтверждают оценку семейной жизни писателя (медицинские описания болезни и способов лечения Салтыкова, занимающие большую часть писем, опускаются).

Из письма С. П. Боткина от 9 мая 1885 года (Петербург): «...с прекращением издания «Отечественных записок» процессы старческого разрушения организма, физического и психического, чувствуются все больше и больше; к тому же он, по-видимому, сам начинает это сознавать, что, конечно, осложняет его положение. Жена его все та же Елизавета Апол-

лоновна, как была и прежде; сын стал после болезни как будто получше, но по-прежнему невоспитанный ребенок и донельзя избалованный матерью. Дочь будущая красавица, и больше я об ней ничего не могу сказать <...>. Сам он часто говорит о смерти и утверждает, что пора, что он более никому не нужен. Иногда <...> Елизавета Аполлоновна напоминает, что тебе, Мишель, пора умирать, ты стал очень раздражителен, Вы, дети, его не любите, он все Вашу маму обижает»¹⁸.

Из письма Е. А. Боткиной от 6 ноября 1885 года. «В воскресенье у него достало еще сил приехать к нам и просидеть у нас два часа <...>. Впечатление, которое он на нас произвел, было ужасное — хотя голова и была свежее обыкновенного, но он был слаб, задыхался, — тих, кроток, с лицом совершенно moribond* <...>. Намедни разыгралась у них следующая сцена. Костя возвращается домой с двойкой. Отец говорит ему: «Я тебя перестану пускать по циркам да по театрам». На это Лиза объявляет отцу — «какое ты имеешь право не пускать Костю в цирк и театры». На что Михаил Евграфович говорит ей довольно спокойно: «Ах ты дура!» — На это Лиза воскликнула: «Как ты смеешь говорить мне дура, ты сам дурак!» Мих. Евгр. только плюнул, а Елизавета Аполлоновна прибавила: «что! получил? Ge que tu as mérite!»** Подобного ужаса не сочинишь. <...> Бедный, бедный Салтыков, что за ад он себе устроил из своей жизни!»

Из письма С. П. Боткина от 26 декабря 1885 года (Петербург): «Во время острой болезни к больному приглашена была сестра-фельдшерница, какая-то барышня, к которой он очень привязался и которая умела его успокаивать. Но, вопреки пожеланию больного, как только Елизавета Аполлоновна заметила нежные чувства своего мужа к фельдшернице, она учинила сцену и настояла на том, чтобы сестра была удалена <...>***. Приступы раздражения против жены доходят иногда до бешенства, и не раз он умолял меня спасти его от нее. Но стоит ей исчезнуть на два часа, как он впадает в беспокойство и страх — где она, что с ней сделалось, уж не случилось ли чего-нибудь, почему она запоздала. Держит она себя с ним не только как глупая женщина, но даже как злая, наслаждающаяся его страданием. Избавление его от смерти вовсе ее не порадовало <...>. Он почти с религиозной верой относится ко всякому лекарству <...>, а она каждый раз, подавая лекарство, не упустит случая, чтобы сказать: «Ах, Ми-

* умирающего (лат.).

** То, что ты заслужил! (фр.)

*** Этой сестрой-фельдшерницей была Татьяна Андреевна Метисова. Судя по ее рассказу, записанному в конце 1925-го или в начале 1926 г., она ухаживала за больным Салтыковым вплоть до его смерти¹⁹. По-видимому, Салтыкову удалось настоять на возвращении Т. А. Метисовой, так как уход за ним Елизаветы Аполлоновны был невнимательным, неквалифицированным и только раздражал его.

шель, и зачем ты все это принимаешь, ведь ты все равно не выздоровеешь! Ведь ты умрешь» <...>. Обстановка его жизни ужасна; жена — нравственный урод, дети — как дикие звери, без всякого воспитания, в особенности Костя. Друзья — их, в сущности, нет. Кто его еще истинно любит — это Унковский, и ему нелегко бывать у него; с одной стороны, Елизавета Аполлоновна, с другой — Лихачевы, которые теперь не входят наверх, если узнают у швейцара, что наверху кто-нибудь есть из не симпатизирующих им людей. Да что бы могли сделать друзья в таком сложном деле, как семейные отношения, складывавшиеся в течение 30 лет. По временам М. Е. ненавидит, презирает свою сожительницу, по временам же он ее любит какою-то особенною любовью и в конце концов делает все так, как она скажет. Предпринять что-нибудь энергичное при таком положении дел, например расстаться — невозможно, он не вынесет ни одного дня. Мне кажется, что жизнь с такой особой, как Елиз. Апол., была физиологической потребностью характера Мих. Евгр., который, по-видимому, нуждался приходить в особое нервное возбуждение сожительством с таким нравственным безобразием...»²⁰

Из письма С. П. Боткина от 12 июня 1886 г.: «Работать он не может <...>. Дети и особенно жена составляют главный предмет его раздражения <...>. Вопрос, который теперь наиболее мучает и тяготит М. Е., это поездка за границу на зиму. Ехать с женой он не хочет, оставлять ее здесь без себя он также не решается, ехать всем вместе считает невозможным из-за учения Кости, которое необходимо должно идти в России. Словом, история волка, козы и капусты»²¹.

Приведенные суровые характеристики и беспощадные приговоры, вынесенные жене и детям Салтыкова, вместе с признанием определенного стимулирующего значения отрицательных фактов семейной жизни писателя для его характера и творчества, будут, как увидим, с еще большей убежденностью повторены Боткиным в письме к Белоголовому, извещавшему о смерти Михаила Евграфовича.

Конечно, «ад семейной жизни» Салтыкова возник не только по вине Елизаветы Аполлоновны, хотя вина ее велика. Но несходство характеров, жизненных интересов и целей этих людей не привели бы, надо думать, к столь драматическим результатам, если бы судьба не послала Салтыкову тех невыносимых страданий болезни, которые он приравнивал к «крестным мукам» и в поисках прекращения которых он не раз думал о самоубийстве.

Мучения болезни, семейный разлад, одиночество — «оброшенность» — постоянные темы поздней переписки писателя с Белоголовым и другими близкими ему людьми. Вот несколько выдержек из этих писем:

«Из старых знакомых вижу только с Лихачевым и Ун-

ковскими; из бывших сотрудников — очень редко с Скабичевским. Все остальные точно растаяли в воздухе. Одним словом, отчуждение полное»; «Хотелось бы спрятаться куда-нибудь, ничего не видеть, все забыть, да не знаю, куда деться <...>. Хорошо бы водку начать пить, да боюсь — мучительно»; «Всем я надоел и везде лишний — это я чувствую»; «Я нахожусь в положении оброшенного»; «Скуке, унынию и мраку нет границ. Целые дни сижу один, прикованный к креслу <...>. Даже обедаю розно с семьей...»; «Теперешнее мое существование может быть охарактеризовано двумя словами: живая смерть» и т. д. и т. п. (XX, 100, 115, 148, 305, 348, 381).

И как одна из заключительных оценок несчастий и зла своей семейной жизни — жестокие и несправедливые в своем обобщении слова одной записи, сохранявшейся в бумагах писателя, а затем, видимо, утерянной: «Брак — вот язва и ужас современной жизни, и ежели я ропщу на свою болезнь, то единственно потому, что она не дает мне работать и изображать во всех подробностях эту язву, которой я испытал все стадии. Брак — это погибель и людей и детей, и только одну пользу может принести — это познакомить человека с высшим мучительством, какое возможно испытать. Все болезни, все раздражения, все неудачи, все глупости, все измены и пошлости — все оттуда. Ежели я слажу когда-нибудь с собой, то напишу картину, перед которой побледнеют все атласы с изображением венерических болезней»²².

Салтыков, разумеется, не раз задумывался о путях выхода из своего невыносимого состояния. Но все рождавшиеся у него проекты были не только сложны в практическом отношении, но по существу и невозможны. Расстаться с женой и детьми при всей силе горечи и раздражения, которые они ему доставляли, он не мог.

Вот эти, сообщаемые в письмах к Белоголовому, Стасюлевичу и другим нереальные или «несообразные», по оценке самого Салтыкова, проекты. Писатель ощущает, что вокруг пустыня: «И это <...>, — заявляет он, — побуждает меня уединиться в деревню. Без меня семье моей будет веселее <...>. А я словно пугало тут сижу» (XX, 162). Вскоре возникает новый проект, деревня под Москвой: «Я решаюсь, ежели болезнь хоть несколько отпустит меня, навсегда переселиться в Москву» (XX, 233). Затем, вместо деревни и Москвы, появляется Царское Село: «Я просил В. И. Лихачева, чтоб <он> вошел в мое положение и переселил меня в Царское Село, но он, вероятно, находит, что это просто каприз больного человека» (XX, 438). Под влиянием усиливающихся страданий и все более сгущающегося мрака жизни в голове Салтыкова продолжают возникать все новые и новые «несообразные прожекты». Все они направлены к поискам выхода из домашней обстановки, ставшей непереносимой. Появляется идея отдельной от семьи квартиры. «Казалось, что если я перееду на особую

квартиру, — пишет Салтыков Белоголовому, — то будет лучше, поводов для раздражения меньше, и самый недуг, быть может, уступит, ежели жизнь потечет мало-мальски спокойнее. Но, увы! сам я устроить это не могу <...>. Много лет я живу на свете, а не нашол себе друзей, которые в тяжкую годину помогли бы мне. Наконец придумал я такую комбинацию: так как я не в силах управлять собой, ни руководить семьею, то просить об учреждении опеки. Оказывается, что я должен быть для этого освидетельствован и признан сумасшедшим...» (XX, 444). Затея об отдельной квартире и опеке отбрасывается и заменяется еще одним проектом, изложенным в другом письме к тому же Белоголовому: «В последнее время у меня созрел план. У жены есть сестра, которая замужем за французом и живет в гор(оде) Туре. Не переехать ли и мне туда. Только она не очень добрая и притом спиритка, — пожалуй, будет меня обращать в свою веру и каждоминутно раздражать. А другое обстоятельство — *на два дома жить нечем будет*. А переезжать придется, вероятно, навсегда, потому что Тур не купель Силоамская и не восстановит меня настолько, чтоб я мог мечтать о прежней деятельности. Если перемена климата и поможет, *то лишь под условием*, чтоб в этом новом климате и жить» (там же, 460). Очевидно, что и этот проект был нереален: вне России Салтыков постоянно не мог жить нигде. Наконец, в связи с одним драматическим эпизодом в семейной жизни, в потрясенном сознании Салтыкова мелькнул еще один, совсем уже «несообразный прожект». О нем он писал Стасюлевичу, свидетелю упомянутого эпизода: «Вчера я был доведен всякими дерзостями до такого иступления, что вне себя ударил сына. Каюсь в этом перед Вами и могу прибавить только одно: что был вполне вознагражден за этот звериный поступок, когда вслед за ним бросился просить у сына прощения. В ответ на мои просьбы я получил целую массу глумления <...>. Я доведен до крайности и могу решиться на что-нибудь неудобное. Иногда у меня мелькает мысль напечатать в газетах, в каком положении брошенности и презрения я нахожусь. Иногда я собираюсь писать государю... Ради бога, помогите. Нельзя ли меня общими силами спроводить куда-нибудь — в Крым, например?» (там же, 443).

Ни один из возникавших планов изменения жизни — отдельно от семьи, переезда в деревню, в Москву, в Крым, даже во Францию — не доходил хотя бы до самых первых попыток практического осуществления. Все это действительно были «больные грезы больного человека». Продолжавшиеся, с редкими перерывами, физические страдания все усиливались. Существование становилось невыносимым. Наряду с иллюзорными планами о попытках какого-то нового жизнеустройства все чаще в его письмах середины — конца 1880-х годов звучат призывы к «смерти-избавительнице» и мысли о самоубийстве: «Ежели Вы желаете мне добра, то пожелайте смер-

ти»; «Думал застрелиться, но и это сделать, кажется, не сумею. Представьте себе, рука так слаба, что курка спустить не могу. Пожалуй, только изуродуешь себя»; «Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться»; «Я уже давно <...> призываю смерть, как единственную избавительницу от мук жизни. Ужели же и теперь она замедлит? — Это было бы величайшею жестокостью судьбы»; «Недостает, чтобы я сделался сумасшедшим, и, кажется, похоже на то, что это случится. Эта ужасная мысль просто убивает меня, и я всегда всего больше этого боялся»; «Если не умру, то выброшусь в окошко, — сил моих нет больше» и т. д. и т. п. (XX, 216, 254, 258, 262, 364, 409).

В обстановке этих трагических настроений и моментов глубокой депрессии, в дни обострения «крестных мук» Салтыкова, следует рассматривать два странных эпизода его поздней биографии, доставивших ему дополнительные моральные страдания.

Эпизод первый изложен в следующей записке Салтыкова, по-видимому Унковскому, относящейся, надо полагать, к поздней осени или к концу 1885 года, когда в состоянии здоровья писателя наступило резкое ухудшение и врачи опасались за его жизнь. Записка без даты и обращения известна по копии, снятой В. П. Кранихфельдом с впоследствии уничтоженного подлинника, находившегося в бумагах А. М. Унковского. «Вот каково мое положение, — писал Салтыков. — Недели полторы тому назад был у меня сенатор Шульц и, увидев проявление моей болезни, бежал. Сегодня приезжала ко мне жена его <...> и без церемонии заявила, что мне следует не лечиться, а приобиться св. Тайн. Так как я ничего не ответил на это предложение, то она, посидев, побежала к жене <...> и сказала ей, что я равнодушно отнесся к ее совету, а жена ей в ответ, что я, напротив, очень благочестив и слежу за детьми. Теперь, того гляди, она побежит к Победоносцеву, и мне пришлют попа. Сделайте милость, посоветуйте, что теперь делать. Ведь хорошо, если только убеждать попа пришлют, а вдруг как прямо со св. дарами» (XX, 234).

Эпизод второй известен из нескольких источников, в том числе из письма свидетеля этого случая С. П. Боткина к Белоголовому от 6—7 апреля 1889 года. Письмо Боткина еще не было в печати. Вот его текст с исключением ряда медицинских подробностей:

«Недаром Питер боится вскрытия реки, которая вместе с собою немало уносит хроников, не выдержавших борьбы за существование. Кажется, в нынешнем году придется погнубить и Салтыкову. Теперь уже недели три, как состояние его стало постепенно ухудшаться, <...>; ухудшению предшествовал целый ряд тревог по поводу переговоров о продаже его издания, наконец забота об издании на свой счет; к этому присоединились семейные сцены с женой и с сыном. Лечению под-

дается плохо <...>. Прошлое воскресенье (2 апреля) только что мы сделали его осмотр, слышим звонок, который приводит в большое смущение нашего больного и его супругу; через несколько минут смущение это объясняется известием, что пришел отец Иоанн Кронштадтский; несчастный больной впал в самое жалкое положение; он хотел от нас скрыть эту новую консультацию и, попавшись, долго не мог найтись, чтобы прилично выйти из затруднительного положения, сваливая всю вину на жену, плакал на моем плече, умоляя его не бросать; одним словом, вел себя в высшей степени малодушно, лукавя и перед Богом и перед нами. Как я ни уверял больного, что я уважаю отца Иоанна, которого давно знаю и с которым нередко приходилось встречаться у больных, которых он умел утешать и подкреплять духом, но Мих. Евгр. продолжал свое двуличие, и смущение его не покидало; я поспешил убраться. Очевидно, после этого происшествия ухудшение наступило еще большее, на другой день <...> и ночь прошла без сна, в одышке. Сегодня, 7 апреля, надеюсь там побывать. — Ну вот и побывал у последнего пасынка семейства Головлевых. Не могу передать вам того тяжелого впечатления, с которым я вышел из этой неудачной семьи; больного застал за рюмкой молока, которое он пил и ругал, проклиная внутренне всех и все, он сидит в кресле с протянутыми на стул ногами <...>. Елиз. Апол. в каком-то особом настроении, не без нетерпения поджидает развязки, приготовляясь к новой роли вдовы, с трудом удерживает свое веселое настроение, не совсем подходящее к настоящему положению мужа, и с любопытством спрашивает меня, доживет ли он до Царского Села, куда он думал переехать на лето. Не могу сказать, чтобы лицо ее выражало радость, когда я ей ответил, что, может быть, и в будущем году предстоит пожить в Царском. Единственное симпатичное лицо, которое я видел у Салтыковых, была Таня, — помните эту камчадалку, которая прежде служила у вас, а потом с нами ездила за границу. Она действительно с самоотвержением и любовью ходит за этими несчастными остатками, бывшими когда-то человеком, и с ангельским терпением выносит все его выходки. Впрочем, я не вправе винить его, на его долю выпало тяжелое испытание в виде постоянного сожительства с Елиз. Апол. и его сыном Константином. Нельзя сказать, чтобы они его утешили, даже и в теперешнем его тяжелом положении пощады ему нет; жалуясь мне на молоко, он пожаловался и на своих — меня все раздражает, промычал он с особенным стоном. Может быть, впрочем, и на этот раз отдуют северные ветры, разнесут ледяную крышу нашей Невы, которая очистится от льда и поставит Петербург на летнее положение, а Михаил Евгр. благополучно переберется на дачу да еще, пожалуй, что-нибудь и напишет. Ведь мы уже не раз его хоронили, а сколько с тех пор убралось народа из среды его оплакивавших друзей и по-

читателей. Но будет о нем, и дай бог ему сто лет здравствовать, лишь бы только окончательно не лишился человеческого образа...»²³

Как следует понимать эти необычные для биографии писателя эпизоды? Уже говорилось, что Салтыков не был религиозным. Он не посещал церкви и не выполнял ее обрядов, за исключением гражданственно обязательных: венчания с Елизаветой Аполлоновной, крещения детей и других. По философским основам своего мировоззрения он был атеистом, но это не препятствовало ему признавать высокую нравственную ценность некоторых из положений, содержащихся в созданной человечеством «книге книг» — Евангелии, за исключением, однако, призывов к смирению и покорности — основам основ столь враждебной ему пассивности русского народа и общества. Дороги были ему и воспоминания о поэзии своего деревенского детства, относящиеся к дням больших церковных праздников — Рождества и Пасхи, Троицына дня и Спасова дня (Преображения), Покрова и Успения. Церковная обрядность этих и других праздников сливались с народными обычаями и традициями, питавшими его любовь к России и русскому народу.

Сказанное здесь и выше об отношении Салтыкова к религии не объясняет, однако, причины возникновения изложенных эпизодов. Можно лишь догадываться, почему согласие, данное Елизаветой Аполлоновной жене сенатора Шульца под фальшивой ссылкой на благочестие Салтыкова, так взволновало писателя. Отказ принять священника, пришедшего со «святыми дарами», то есть для причастия, с уже освещенными «в таинстве евхаристии» хлебом и красным вином, символизирующими тело и кровь Христа, был бы воспринят церковью и ее руководством — Синодом как неслыханное кощунство. Мы не знаем, кто такая была жена сенатора Шульца, когда-то, в бытность его управляющим III Отделения, оказавшего Салтыкову содействие в деле утверждения его главным редактором «Отечественных записок». Но из приведенной записки писателя видно, что она находилась в знакомстве с Победоносцевым — обер-прокурором Синода.

Также и во втором эпизоде, относящемся к посещению Салтыкова известным «чудотворцем» протоиереем Кронштадтского собора Иоанном, одним из столпов реакционно-бюрократического духовенства, инициативную роль сыграла Елизавета Аполлоновна, будто бы под влиянием советов О. Н. Мечниковой, жены И. И. Мечникова*. Правда, по свидетельству Боткина (человека верующего)** , Салтыков неоснова-

* Эта последняя версия о советах О. Н. Мечниковой, сомнительна. Она принадлежит сыну писателя²⁴.

** «О Боткиных <живших летом на своей даче в Финляндии> знаю одно, — читаем в письме Салтыкова к Белоголовому от 27 июля 1884 г., — что они по субботам служат в своей церкви всенощные, а по воскресеньям —

тельно «сваливал всю вину» приглашения Иоанна Кронштадтского на жену. По-видимому, он действительно либо дал согласие на это посещение, либо пассивно, молчаливо не отверг его. Как бы там ни было, нет сомнения, сознательное или полусознательное, молчаливое согласие на посещение Иоанном Кронштадтским Салтыкова было дано в момент крайней депрессии, упадка духа и воли и сильнейших страданий, когда «утопающий хватается и за соломинку».

Но в обоих этих эпизодах имелась, возможно, и другая, скрытая причина, хотя документальными доказательствами, подтверждающими такую версию, мы не располагаем. Не исключено, что по отношению к тяжело больному Салтыкову была задумана в кругах Синода такая же акция, как позднее по отношению к умиравшему Льву Толстому. Церковным идеологам и политикам было бы, разумеется, выгодно продемонстрировать предсмертное «благочестие» Салтыкова, крупнейшего лидера демократической оппозиции в стране, в сфере литературы. Однако этого не произошло. Выслушав молчаливо «знаменитую» молитву Иоанна Кронштадтского об исцелении от недугов, Салтыков отказался от предложенного ему затем «таинства причастия», заявив, что «сердцем» не может принять этот обряд.

Страдания болезни и семейная обстановка не только препятствовали писательскому труду Салтыкова, но и сильно ограничивали обычную интенсивность и широту его общественных и литературных интересов. Однако и те и другие сохранялись в нем буквально до последних дней жизни. И в его исполненных мрака письмах с жалобами на «крестные страдания» и постоянными призывами скорейшего прихода «смерти-избавительницы» нет-нет да и возникали строки, показывавшие, что главные интересы его жизни и деятельности живы. Об этом сообщал в одном из писем к А. Н. Пыпину 1885 года А. М. Скабичевский. «Я был у Салтыкова третьего дня, — читаем в этом письме, — очень он мне не понравился (<...>). Он представляет из себя такую развалину и производит очень тяжелое впечатление. При всем том все земное не перестает его занимать, и когда разговор переходит на посторонние предметы, он оживает, но, к сожалению, очень часто возвращается к жалобам на свое здоровье...»²⁵

Приведем несколько иллюстраций к сделанному Скабичевским наблюдению об интересах Салтыкова к «посторонним предметам».

«Вот вы не читаете «Московские ведомости», — пишет он в одном из писем к Белоголовому 1880-х годов, — а мы чи-

обедни, для чего приезжает к ним из Выборга поп. Совершенно по-старинному. В старину в Москве такие медики бывали. Доктор Мудров, например, который и телеса лечил, и к обедне ходил. Впрочем, тогда лечили больше пластырями, так еще можно было согласовать, а как согласует С(ергей) П(етрович), не знаю» (XX, 62).

таем. И узнаем оттуда, что у нас есть не только права, но и более того, — обязанности, и даже политические. И напрасно-де хлопочут об конституции — она давно у нас есть и заключается в присяге. Вот как прочтешь такую вещь и знаешь, какой она эффект производит в известных сферах, так и думается: как было бы хорошо ничего этого не читать, не слышать и даже букв этих не видеть. Серьезно Вам говорю, что когда я прочитал эту передовую статью <...>, то со мной почти припадок сделался. Не злобы, а безвыходного горя и отчаяния» (XIX-2, 109).

Среди «всего земного», что привлекло к себе заинтересованное внимание писателя и в период глубокого обострения его болезни, было появление в печати, впервые после многих лет каторги и ссылки, Чернышевского. Под псевдонимом «Андреев» он поместил в «Русских ведомостях» за 1885 год (№ 63—64 от 6 и 7 марта) две статьи под общим заглавием «Характер человеческого знания». Предупрежденный об этом событии письмом редактора газеты В. М. Соболевским, Салтыков писал ему 3 марта: «Статей Андреева ожидаю с величайшим любопытством» (XX, 151).

Весьма бурную реакцию вызвало у писателя сочувственное внимание части русской и западноевропейской печати к болезни, а затем и смерти в 1887 году Каткова. Среди идеологических противников, с которыми сражался Салтыков, редактор «Московских ведомостей» стоял, пожалуй, для него на первом месте. В одном из писем Белоголового к Лаврову, а именно от 31 июля 1887 года, читаем: «Все теперь заняты болезнью Каткова, и Салтыков в последнем письме ко мне приводит сравнение между заброшенностью и отчуждением, в котором он доканчивает свою старость, — и теми не только монаршими, но даже общественными симпатиями, которые отовсюду выражаются Каткову; параллель выходит действительно угнетающая!»²⁶

Получив такую информацию от Белоголового, Лавров ответил ему письмом, в котором доказывал преходящее значение, тщету такой апологии Каткова и просил довести это свое мнение до Салтыкова. На что Белоголовый отвечал Лаврову в письме от 7 августа 1887 года: «В овациях Каткову меня больше всего возмущает голос таких парижан, как Лакруа, Флокке* и всей печати, которые только подливают масла на алтарь обоготворения имени Каткова в России. А Вы хотите утешить Салтыкова и желали бы, чтобы Ваши утешения были доведены до сведения его. Очевидно, Вы знаете того идеального Салтыкова, которого создали в своем воображении, я же, зная его *au naturel*, могу Вас уверить, что на такие утешения он только рассердится и закричит: «А какое мне дело, что на

* Имена политических деятелей французской Третьей республики. — С. М.

луне самого превосходного мнения о моей деятельности?» О том, прав ли он или неправ — это другой вопрос, но слов Ваших Салтыкову я передавать не буду, не желая раздражать его»²⁷.

И все же бывали минуты, когда Салтыков сознавал, что преувеличивает свою «оброшенность», и не отрицал, что у него есть, помимо мало удовлетворявшего его круга домашних, личных знакомых, широкий круг друзей-единомышленников — его читателей. Он писал Белоголовому в мае 1887 года: «Я не могу пожаловаться на недостаток друзей, потому что мой письменный стол наполнен массою адресов, писем и телеграмм, доказывающих, что друзья у меня есть и что слово мое звучало не даром. Но где эти друзья и что значат заочные заявления больному человеку (понимаю, что говорю неясно, но делать нечего, яснее выразиться не могу)» (XX, 346). Последние слова, взятые в скобки, — эзоповские: Салтыков говорит здесь о гражданственно-политическом бессилии прогрессивных сил русского общества оказать писателю-демократу, в условиях авторитарного режима, не заочное («почтово-телеграфное»), а прямое и действенное сочувствие и помощь. Были, однако, и не заочные формы выражения общественного участия и сострадания больному писателю. Речь идет о нескольких студенческих депутациях, посетивших Салтыкова в 1884—1887 годы. Писатель не очень приветствовал такую форму публичных выражений внимания к нему. С одной стороны, он вообще недолго любил всякие виды и формы общественных «чествований» собственной персоны, с другой стороны — опасался их, зная, что в депутациях молодежи всегда присутствуют участники революционного движения и все депутатии находятся под контролем политической полиции. Тем не менее эти депутатии приносили ему удовлетворение. Об одной из них следует сказать подробнее. В ней участвовал брат Ленина народоволец Александр Ильич Ульянов, а также его сестра Анна Ильинична. Вот выдержки из рассказа об этой депутатии одной из ее участниц, писательницы З. А. Венгеровой. В то время, о котором идет речь, она была слушательницей Высших женских курсов в Петербурге, так называемых Бестужевских.

«Осенью 1886 года, — вспоминает З. А. Венгерова, — в Петербурге стали носиться вести о серьезной болезни М. Е. Салтыкова-Щедрина. Университетская молодежь, студенты и курсистки воспринимали эти вести в их общественном аспекте <...>. Больной был смелым врагом ненавистного политического режима и, всех охватывало желание проявить свою солидарность с ним, «пожать ему руку», под предлогом его болезни. Таким настроением была проникнута и та маленькая группа из трех студентов университета и двух слушательниц Бестужевских (Высших женских) курсов, отправившаяся 8 ноября 1886 года «поздравить писателя с днем ангела и пожелать

скорого выздоровления» (полицейски вполне легальный повод для того, что в действительности предназначалось быть политической манифестацией). Больной, еле держась на ногах, кутаясь в халат, Щедрин с явным напряжением принимал депутацию от молодежи, а не принять студентов было не в нравах того времени, когда писатель, как воин, должен был быть до конца «на посту», оставаясь учителем и выразителем дум и мечтаний интеллигенции...

Мы вошли в комнату, где, в сером халате, плотно стянутом шнурком на его длинной худой фигуре, стоял М. Е. Салтыков. Он глядел на нас расширенными от болезни большими, серыми глазами. В них было тяжкое страдание и глубокая тоска. В комнате, куда нас ввели, стояла у правой стены кровать; но это не была спальня, а кабинет, наскоро приспособленный для надобностей больного. Огромный письменный стол, стоявший вдоль широкого венецианского окна, был весь заставлен лекарствами. Слякки, бутылки стояли на этажерках. В комнате чувствовалась во всем больничная обстановка. Становилось не по себе, поднималось чувство, что мы в тягость больному, и мы стояли кучкой у дверей, не решаясь подойти к Щедрину, неподвижно стоявшему на некотором расстоянии от нас. Мгновение странного молчания, скрестившиеся взгляды двух поколений. Но вот, отделившись от нашей группы, выступил вперед высокий молодой бронет с красивым лицом, уже прославившийся кружковый оратор*, подошел к Салтыкову — и начал речь... Помню остро, как с первых же слов у меня упало сердце <...>. Он был действительно талантливый оратор. Но самая речь <...> была не нужна. Близкий к смерти великий писатель слишком выстрадал сам, в собственном духе свою правду, чтобы ее преподнести в упрощенном студенческом понимании <...>. Наконец оратор кончил и, схватив руку Щедрина, крепко потряс ее с горячностью искренне молодого чувства. Еще одно мгновение напряженной тишины. Что ответит Щедрин? С какими словами обратится к приветствовавшему его молодому поколению? Ждем. Писатель медленно высвободил свою руку из крепкого рукопожатия. Раздались тихие четкие слова: — Как крепко Вы жмете руку, молодой человек! — И столь же медленно, с тяжким напряжением он подошел к остальным членам депутации и попрощался за руку с каждым из нас <...>. Выйдя из подъезда, мы все вместе направились к Невскому, охваченные общим впечатлением от краткого, но глубоко запавшего в память свидания с большим писателем. Казалось, он дал нам бесконечно много своим забываемым взглядом, точно приобщи нас к своей тоске, точно завещал нам свой непримиримый гнев. Оттого так глубок и властен был его

* Им был студент М. Л. Манделъштам, впоследствии известный адвокат. — С. М.

больной взгляд, оттого слова, произнесенные одним из нас, показались в ту минуту недостаточными и ненужными. Но помимо ненужных слов был жест, было рукопожатие, рукопожатие Щедрина и одного из представителей того молодого поколения, которое дало Александра Ильича Ульянова...»²⁸

Вместе с А. И. Ульяновым в составе делегации, посетившей Салтыкова 8 ноября 1886 года, был его товарищ не только по Петербургскому университету, но и по созданию «террористической фракции» партии «Народная воля», готовившей покушение на Александра III, Петр Шевырев. Оба они были арестованы и вместе с еще тремя участниками покушения приговорены по делу второго 1-го марта к смертной казни. Их повесили на рассвете в Шлиссельбурге 8 мая 1887 года, ровно через шесть месяцев после посещения Салтыкова.

Одно из явлений, привлекшее к себе пристальное внимание уходящего из жизни Салтыкова, относится к самой дорогой для него сфере общественной жизни — литературной. Мученический ход болезни и резкое ухудшение зрения сильно ограничили в эти последние годы круг его чтения. Но, собираясь выступить с одной из своих ранее запрещенных сказок в журнале А. М. Евреиновой «Северный вестник», знакомясь с этим журналом, он прочитал в мартовской его книжке за 1888 год чеховскую «Степь». О том, какое впечатление произвело на него это произведение, сохранилось свидетельство в письме Плещеева к своему сыну, также писателю и театральному критику Александру Алексеичу²⁹. Об этом последний сразу же сообщил Чехову. В письме от 8 апреля 1888 года он писал: «Был отец у Салтыкова, который в восторге от «Степи». «Это прекрасно», — говорил он отцу и вообще возлагает на Вас великие надежды. Отец говорит, что он редко кого хвалит из новых писателей, но от Вас он в восторге»³⁰. Старый, многоопытный редактор не ошибся в своей оценке. Именно повестью «Степь», первым совершеннейшим произведением своего таланта, молодой Чехов вошел в большую русскую литературу.

Несмотря на постоянные и жестокие, в последние годы жизни, ссоры с женой и детьми, Салтыков был полон заботами и тревогой об их судьбе. В январе 1887 года он писал Белоголовому: «Что я не могу дальше жигь, — это для меня ясно, и лично я ничего, кроме смерти, не желаю. Но будущее моей семьи сильно беспокоит меня. Скучное состояние, без малейшей склонности к самостоятельности, без способности к домостроительности*, — вот будущее, которое угрожает детям и которое уже при мне осуществляется, несмотря на мою

* Тут имеется в виду пристрастие Елизаветы Аполлоновны к «широкой жизни» — к дорогим туалетам для себя и детей, приемам гостей (на своей половине квартиры), к найму дорогих дач на лето, к частой смене иностранных гувернанток, прислуги и т. д. — С. М.

упорную борьбу. Эта борьба, собственно говоря, и подтачивает мне жизнь» (XX, 312).

В поисках средств материального обеспечения своей семьи, но также, конечно, в заботе о сохранении для будущего созданного им литературного наследия, Салтыков принимает в 1885 году решение об издании собрания своих сочинений. Сначала, при посредстве Михайловского и Соболевского, он вступает в переговоры об издании с московскими капиталистами-книгоиздателями Солдатенковым и другими. В письме к Михайловскому от 4 сентября 1885 года он называет крайнюю сумму — 50 000 рублей, за которую согласен продать в полную собственность издателя «все» свои сочинения, и называет их. Список этот был крайне неполный, даже в отношении художественных произведений (не названы первая повесть «Противоречие», рассказы цикла «Для детей» и мн. др.), не говоря о совсем опущенных публицистических и литературно-критических статьях и рецензиях, печатавшихся без подписи автора.

К произведениям, не вошедшим в составленный им список, Салтыков выразил свое отношение в весьма грубой форме: «Все остальное мною написанное, яко дерьмо, желаю предать забвению» (XX, 220). Переговоры с Солдатенковым продолжались до февраля 1886 года, но закончились безрезультатно.

В марте 1887 года Салтыков составляет новый план издания собрания своих сочинений. Он также крайне неполон, но вновь сопровождается заявлением: «Хотя кроме этих сочинений и имеется еще достаточно рассеянных в разных изданиях, но они отчуждению не подлежат, и я *положительно воспрепятствую* их когда-либо перепечатывать» (там же, 325). На этот раз переговоры с книгоиздателями ведутся при посредстве и помощи Л. Ф. Пантелеева. Однако и эти переговоры с крупнейшими издателями, сначала с Сибиряковым, а потом с наследниками фирмы Салаевых, ни к чему не привели. В воспоминаниях Пантелеева содержится любопытное объяснение неудачи переговоров с Сибиряковым.

«Все уже было покончено с И. М. Сибиряковым, — вспоминает Пантелеев, — за пятьдесят тысяч рублей; по условию, Сибиряков не имел права выпустить полного собрания сочинений ранее двух лет со дня подписания условия. Оставалось только подписать условие; в это время приходит Г. З. Елисеев; Михаил Евграфович дает ему прочитать проект.

— Этого мало, — сказал Елисеев, — что Сибиряков не имеет права выпустить полное собрание сочинений ранее известного срока; надо его обязать, чтобы он непременно издал ваши сочинения в известный срок.

— Почему? — живо спросил Михаил Евграфович.

— Сибиряков — человек богатый, заплатить пятьдесят тысяч рублей ему ничего не значит. А вдруг ему придет фанта-

зия изъять вас из публики, или в этом смысле на него со стороны подействуют.

— Как, меня изъять из публики?

И Михаил Евграфович пришел в величайшее волнение; сейчас же полетели письма к посредникам, чтобы передали Сибирякову о необходимости дополнить условие еще пунктом, которым возлагалось на Сибирякова обязательство в известный срок выпустить полное собрание. К общему удивлению, Сибиряков не принял этого пункта (...). Что касается до Михаила Евграфовича, то одна мысль, что он может быть изъят из обращения, навела на него такой ужас, что он круто оборвал переговоры с Сибиряковым»³¹.

Переговоры с другими издателями, в том числе с Салаевыми, также расстроились, и в начале 1889 года — последнего года своей жизни — Салтыков принял решение *сам* приняться за издание полного собрания своих сочинений. На слова Пантелеева: «Отличная была бы вещь (...)». Но вот беда — вы себя в гроб уложите, так начнете волноваться этим делом. — Это правда, — ответил Михаил Евграфович»³². Но остался при своем решении. В осуществлении издания большую роль сыграл М. М. Стасюлевич. При жизни автора, а именно в апреле 1889 года, вышел из печати лишь один том. На титуле его значилось: «Сочинения М. Е. Салтыкова (Н. Щедрин) в девяти томах. Том I. СПб., 1889 г. Издание автора. Типография М. М. Стасюлевича». Остальные тома вышли уже после смерти писателя, последний, девятый том — в марте 1890 года. Но Салтыков не только сам выработал план издания, но и принял участие в корректировке текста некоторых произведений, в частности цикла «Культурные люди» и хроники «Пошехонская старина». Однако степень его непосредственного участия в редакторско-текстологической работе установить в ее конкретности невозможно. Известно лишь, что вследствие болезненного состояния писателя, помощь ему здесь оказывали не только М. М. Стасюлевич, но и К. К. Арсеньев*.

* Вот установленное Салтыковым содержание Собрания его сочинений «издания автора»: т. I — «Губернские очерки». — «Невинные рассказы»; т. II — «Сатиры в прозе». — «Признаки времени». — «Письма из провинции». — «Итоги»; т. III — «История одного города». — «Помпадуры и помпадури». — «В среде умеренности и аккуратности»; т. IV — «Господа ташкентцы». — «Дневник провинциала в Петербурге». — «Убежище Монрепо». — «Культурные люди»; т. V — «Господа Головлёвы». — «Благонамеренные речи»; т. VI — «За рубежом». — «Письма к тетеньке». — «Сборник»; т. VII — «Современная идиллия». — «Круглый год». — «Пошехонские рассказы». — «Недоконченные беседы»; т. VIII — «Сказки». — «Пестрые письма». — «Мелочи жизни»; т. IX — «Пошехонская старина».

Как уже сказано, за пределами этого списка осталось много произведений Салтыкова, некоторые из которых он не хотел включить в Собрание, а о других, по-видимому, просто забыл. Сейчас все они, а также эпистолярное наследие писателя вошли в его Собр. соч., изданное «Художественной литературой» в 20-ти томах (24-х книгах) в 1965—1977 гг., под редакцией А. С. Бушмина, В. Я. Кирпотина, С. А. Макашина (главный редактор), Е. И. Покусаева и К. И. Тюнькина.

18. «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА». — ЗАМЫСЕЛ ИДЕЙНОГО ЗАВЕЩАНИЯ: «ЗАБЫТЫЕ СЛОВА»

Я вырос на лоне крепостного права, вскормлен молоком крепостной кормилицы, воспитан крепостными мамками и, наконец, обучен грамоте крепостным грамотеем. Все ужасы этой вековой кабалы я видел в их наготе.

Салтыков. Мелочи жизни

Были, знаете, слова <...>, — ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить.

Салтыков — Михайловскому

«Пошехонская старина» — последнее произведение Салтыкова, появившееся в печати при его жизни. Ею завершился сорокалетний творческий путь писателя. В отличие от большинства других его сочинений, оно посвящено непосредственно не злободневной современности, а прошлому — жизни помещичьей семьи в усадьбе при крепостном праве. По своему материалу «Пошехонская старина» во многом восходит к воспоминаниям Салтыкова о детстве, прошедшем в родовом гнезде, селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии, в самый разгар крепостного права. Отсюда не только художественное, но также историческое и автобиографическое значение данного произведения, и во всех этих отношениях значение истинно выдающееся.

Первые главы «Пошехонской старины» появились в журнале «Вестник Европы» осенью 1887 года, последние две — там же, весной 1889-го, за полтора месяца до смерти писателя. Но замысел произведения возник много раньше.

Это было в конце лета 1883 года. Салтыков находился тогда на лечении за границей, в Баден-Бадене, что не мешало

сму пристально следить за общественно-политической жизнью на родине. Газеты и письма от друзей приносили известия о дальнейшем усилении реакции, в частности об ужесточении цензуры. Писатель опасался, что могут создаться условия, которые заставят его отказаться от публицистической остроты своих выступлений на общественно-злободневные темы. В этой связи он писал в августе 1883 года Г. З. Елисееву: «На меня современные российские порядки подействовали удручающим образом <...>. В другое время, даже неблагоприятное, я был бы готов переждать и приняться за что-нибудь бытовое (вроде «Головлевых»), а теперь не могу. Не то чтобы у меня матерьялов не было (давно уже я задумал), но досадно. Вот, скажут, заставили-таки мы его» (XIX-2, 221).

О том, что именно было давно уже им задумано, Салтыков еще раньше сообщил своим читателям. Он сделал это в главе XXIII «Современной идиллии», появившейся в январской книжке «Отечественных записок» за 1883 год.

Упомянув в самом начале главы о «помещичьем раздолье» времен крепостного права, Салтыков сделал к данному месту следующее примечание, открыто автобиографического содержания: «Я еще застал веселую помещичью жизнь и помню ее довольно живо <...> и в нашем, сравнительно угрюмом, Калязинском уезде прорывались веселые центры <...>. Когда-нибудь я надеюсь возобновить в своей памяти подробности этой недавней старины» (XV-1, 221).

Салтыков не любил откладывать осуществление раз возникших у него замыслов. И 18 декабря 1883 года он обратился к своему соредктору по «Отечественным запискам» Михайловскому с такими словами: «Имею к Вам большую просьбу: не задерживайте выхода 1-й книжки *. Я надеюсь выпустить ее совсем невинною и сам затеял рассказ, в котором идет речь об обстановке дворянского дома и воспитании дворянского сына в былые годы «Пошехонская старина»» (XIX-2, 258). Рассказ был не только «затаян», но и вчерне написан. Две сохранившиеся рукописи его первоначальной редакции озаглавлены: «Пошехонские рассказы. Вечер шестой. Пошехонская старина» (обе черновые и незаконченные)¹. Намерение писателя заключалось, по-видимому, в том, чтобы ввести в «Пошехонские рассказы», которые он писал тогда, — вслед за типичными фигурами пошехонских «реформаторов» (деятелей), пошехонской «толты», пошехонского «дела» и пошехонского «фантастического отрезвления» — также и показательную картину пошехонской «старины». В ней, в этой задержавшейся в исторической жизни страны «старине», и в ее пережитках Салтыков усматривал корень всех зол и бед русской жизни, насквозь проросшей чертополохом «пошлого и оголтелого Пошехонья».

* Январского номера «Отечественных записок» за 1884 г. — С. М.

Создавая в 80-м году вслед за Глуповом еще один интегрированный топонимический образ в своем творчестве — *Пошехонье*, Салтыков вновь, как и в «Истории одного города», отправлялся от фольклорно-сатирических сказаний и присловий родного ему Верхнего Поволжья. Там издавна бытовали рассказы и анекдоты о «пошехонцах» — олицетворяющих все виды отсталости и дикости, бестолковщины, бессознательности и темноты.

Однако написанный для «Пошехонских рассказов» очерк «об обстановке дворянского дома и воспитании дворянского сына в былые годы» не вошел в этот цикл. Салтыков, нужно думать, опасался тогда, что только автобиографическая, притом лишь в хронологии детства, разработка темы крепостной старины будет узка, немасштабна для тех задач, которые он перед собой ставил. Так или иначе, но дальнейшая работа над начатым произведением была тогда приостановлена.

Лишь после правительственного закрытия «Отечественных записок», когда Салтыкову пришлось идти «в чужие люди», а именно в «Русские ведомости» и «Вестник Европы», он вернулся к замыслу «Пошехонской старины», но уже как к самостоятельному произведению. По цензурно-тактическим соображениям Салтыков намеревался начать свое сотрудничество в органах умеренно-либеральной печати, в данном случае — в «Вестнике Европы», с сочинения «спокойного тона». Принятие такого решения далось ему не без труда. «Легко сказать: пишите бытовые вещи, — сообщал он в августе 1884 года Михайловскому, — но трудно переломить свою природу» (XX, 67). Тут уместно вспомнить один из вопросов, встававших и перед Достоевским: «Но что делать <...> писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему?»² Салтыков не в меньшей, а скорее в большей мере, чем Достоевский, был исполнен «тоской по текущему». Поэтому «ломка», «выход из колеи», разработка «новой жилы», хотя по существу уже давно найденной, не удалась и на этот раз. Салтыков опять откладывает в сторону «Пошехонскую старину» и обращается к работе над «Пестрыми письмами» и «Сказками». И в том и в другом цикле реалистическая живопись привычно для писателя слита с сатирической поэтикой.

Однако «давно» возникший замысел не устраняется из планов писателя. «Вы напоминаете мне о работе в характере семейства Головлевых, — пишет Салтыков в апреле 1885 года Стасюлевичу. — Очень бы рад выполнить эту работу и даже имею ее в виду, но в настоящее время обстоятельства так сложились, что я предварительно должен окончить серию «Пестрых писем», так как иначе у меня не выйдет книжки» (XX, 169). Проходит полтора года, и Салтыков оканчивает не только «Пестрые письма», но и «Сказки» и сразу же начинает... не «Пошехонскую старину», а серию «фельетонов»

для газеты «Русские ведомости». Вначале эти «фельетоны» представляются ему «журнальным делом», которое отвечало владевшей им потребности откликаться на события «текущей минуты». Исходя из привычной для себя практики вести три работы параллельно, Салтыков принимает наконец окончательное решение приступить одновременно с «фельетонами» (по существу это были рассказы) к созданию давно задуманного «бытового» произведения. На этот раз оно сразу же замышляется в крупной форме «хроники» или «целого жития».

В начале сентября 1886 года Салтыков извещает редактора «Вестника Европы», что для январской книжки 1887 года «начал большую вещь, которая будет длиться довольно долго» (XX, 277). Документальным свидетельством этого «начала» является датируемая августом—сентябром 1886 года переработка упомянутой выше рукописи «Пошехонские рассказы. Вечер шестой. Пошехонская старина». Переработка создала новую редакцию и перевела «рассказ» в зачин «большой вещи». Прежнее заглавие рукописи было зачеркнуто и заменено новым: «Старина (Первая часть неизданного сочинения «Житие пошехонского дворянина Никанора Затрапезного»)»³.

Однако начатая работа прерывается и на этот раз. Мешают болезнь и капитальные изменения, происшедшие с «Мелочами жизни». Они потребовали от автора много сил и времени. Закончив печатание «Мелочей жизни», Салтыков уезжает в конце мая 1887 года на дачу Серебрянка с твердым намерением сразу же, и на этот раз не отвлекаясь ни на что другое, заняться «Пошехонской стариной».

Но болезнь, а также усталость от только что законченного большого труда вновь и вновь встают препятствием на его писательском пути. «Вы указываете мне на автобиографический труд, — пишет Салтыков из Серебрянки Белоголовому в июне 1887 года, — но он и прежде меня уже заманивал. У меня уже есть начатая работа, и я с тем и уезжал на дачу, чтобы ее продолжать летом, как меня охватило полное бессилие. Но Вы, кажется, ошибаетесь, находя эту работу легкой. По моему мнению, из всех родов беллетристики это самый трудный» (XX, 352). И в следующем письме — июльском — к тому же адресату: «Увы! я не только для автобиографической, но и вообще ни для какой литературной работы не пригоден. У меня есть готовые три главы из давно начатой работы, я даже их в порядок не могу привести и переписать. Доктора мои (<...>) положительно запрещают мне не только заниматься литературой, но <требуют> избегать и переписки» (XX, 357).

Ближайшие дни и недели не меняют положения. Болезнь, сопряженная с физическими и нравственными страданиями, не отпускает Салтыкова. Пауза в творческой работе продолжается. «Литературная карьера моя кончилась: во все лето я не написал ни строки», — подводит Салтыков горестный для него

итог лета 1887 года в Серебрянке, в августовском письме к Пантелееву (XX, 363).

Но вот проходят еще две недели. Михаил Евграфович уже собирается с дачи в Петербург, как вдруг происходит одно из чудес в творческом состоянии тяжело, уже неизлечимо больного писателя. «В последнее время, — сообщает Салтыков тому же Пантелееву 24 августа 1887 года, — мной овладела страсть к писанию, и я кой-что настряпал из давно готового материала» (XX, 365). Такое же извещение направляется через два дня за границу Белоголовому: «...в последнее время меня обуял демон писания, и я кой-что накопал из старого материала. Но это ужасно меня измучило» (XX, 367). Ставится в известность о происшедшем долгожданном сдвиге и редакция «Вестника Европы» в лице А. Н. Пыпина: «...у меня готова для октябрьской книжки «В(естника) Е(вропы)» статья, и хотелось бы переговорить с Вами. Она начата мною давно, но только на сих днях случайно кончилась» (XX, 366).

«Случайно» закончившейся в конце августа 1887 года статьей были возникшие на основе несостоявшегося «пошехонского рассказа» три первые главы «Пошехонской старины» — «Гнездо», «Мое рождение и раннее детство. Воспитание физическое» и «Воспитание нравственное». Как и предполагалось, главы эти появились в октябрьской книжке «Вестника Европы». С этого времени Салтыков, уже не отвлекаемый больше от своей «хроники» ничем, кроме обострений недуга, писал ее, главу за главой, до января 1889 года, когда оказался вынужденным раньше, чем хотел этого, поставить в рукописи слово «Конец».

Особенно продуктивными для «Пошехонской старины» оказались летние месяцы 1888 года, проведенные на даче близ станции Преображенская Варшавской железной дороги. Посетивший Салтыкова после его возвращения с дачи А. Н. Плещеев писал Чехову в сентябре 1888 года: «Что достойно большого удивления — это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на шесть №№, то есть до февраля будущего года включительно, — так, что ему остается еще написать на две книжки журнала, и он кончит свою «Пошехонскую старину» (...). Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей»⁴.

История работы над «Пошехонской стариной» достаточно полно прослеживается по переписке Салтыкова и сохранившимся рукописям произведения⁵. Четыре особенности присутствия этой истории. Во-первых, недовольство писателя тем, что выходило из-под его пера, но это было обычное его недоверие к своему труду и таланту. Во-вторых, физические страдания тяжело больного человека и все обострявшееся семейное неблагополучие. В-третьих, трудные общественные переживания в связи с углублявшейся реакцией. В-четвертых, наконец, — па-

радоксально противостоящий всем этим отрицательным обстоятельствам и объективно побеждавший их подъем творческих сил писателя, созидавших шедевр.

Недовольство написанными главами, неверие в высокие оценки, которые давались им друзьями и печатью, сомнения в целесообразности продолжения работы — главенствующие мотивы писем Салтыкова этого периода: «Боюсь, что нескладно вышло и Стасюлевич откажется принять»; «Стоит ли продолжать?»; «...хотя в октябрьской и ноябрьской книжках «Вестн(ика) Евр(опы) и появятся мои статьи, но я сам знаю, что они до крайности плохи, нескладны и бесцельны»; «...я уже далеко не тот, что прежде, и хотя я готовлю продолжение, но кажется, это будет последняя статья, на которой я и покончу свое литературное поприще. Выходит нескладно, бесцельно и даже безобразно...»; «Здесь мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека»; «Пошехонская старина» выходит плохо — это, кажется, общее мнение...» и т. д. и т. п. (XX, 365, 370, 372, 373, 383, 403).

«Общее мнение» было, однако, совершенно противоположно приведенным развешивающим сомнениям и неудовлетворенности.

Творческим сомнениям сопутствовали, и во многом, конечно, определяли их, физические мучения. «Ах, если бы Вы знали, как я страдаю и какую ужасную жизнь я веду»; «Целое лето провел в неслыханных страданиях...»; «Полчаса пишу, полчаса в постели лежу — так с утра до вечера»; «Сяду писать, — не успею и несколько строк кончить, как в пот бросит и начинается задыхка; пальцы на руках воспалены...»; «Пропадает память, теряю слова, голова как пустая <...>. До такой степени несносно, что по временам плачу»; «...мне худо, как никогда, и от писания я, видимо, должен отказаться»; «...болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного: смерти» (XX, 361—362, 364, 428, 434, 394, 397, 407). Таков другой ряд жалоб, стонов и воплей, наполняющих письма автора «Пошехонской старины» в дни и месяцы ее создания.

Действительно, великое предсмертное творение Салтыкова создавалось в обстановке нестерпимых физических страданий, почти психопатической слезки за своим умирающим телом и угасающим мозгом, чуть не ежедневного ожидания последнего конца, глотания лекарств, совещаний с врачами и подготовки к таким совещаниям, обдумыванием предсмертной «оправдательной записки» (намерение это не осуществилось*) и т. д. Наглядное представление об этой обстановке

* В апреле 1888 г. Салтыков писал Белоголовому: «...хотелось бы настолько иметь сил, чтоб написать оправдательную записку с изложением последних лет моей горькой жизни, с тем чтобы напечатали ее после смерти. Но и это вряд ли удастся» (XX, 416).

агонии, непосредственное ощущение ее дают сами рукописи «Пошехонской старины». На полях черного автографа главы XXIX («Валентин Бурмакин») читаем, например, такую запись, сделанную карандашом: «Дергание ноги, бок болит, голова болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову». Тут же вопрос к врачу: «Вместе ли пилюли с микстурой?» На черновике главы XXX («Словущенские дамы и проч.») новый вопрос для врача: «Отчего трудно прислониться спиной и лечь на спину?» В другом месте той же главы: «Отчего все болит?» Еще в одном месте: «Когда же конец?»

«Скажу Вам откровенно, — писал Салтыков в июле 1888 года Белоголовому, — я глубоко несчастлив. Не одна болезнь, но и вся вообще обстановка до такой степени поддерживают во мне раздражительность, что я ни одной минуты льготной не знаю (...). Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди!» (XX, 424). И о том же Елисееву: «Хотелось бы «Пошехонскую» старину» кончить (...) и затем навсегда замолчать. Вижу, как волны забвения все ближе и ближе подступают, и тяжело старому литературному слуге бороться с этим. Негодяи сплотились и образуют несокрушимую силу, честные люди — врозь глядят. Вот с каким убеждением приходится умирать» (XX, 428).

Лица, близко наблюдавшие Салтыкова, когда он писал «Пошехонскую старину», в том числе лечившие его врачи, во главе с Боткиным, единодушно свидетельствовали, что писатель представлял в это время некую психо-биологическую загадку. В одном из писем осени 1887 года к Лаврову Белоголовый, живший тогда в Швейцарии, сообщал своему корреспонденту в Париж на основании известий, полученных из Петербурга, от Боткина: «Писем за последнее время было мало, и в них интересного только то, что Салтыков работает неутомимо и сам говорит, что его голова переполнена сюжетами и он мог бы наводнить своими работами все русские журналы. Просто непостижима эта способность несомненно затронутого мозга, да еще в 60-летнем возрасте»⁶.

Оставаясь наедине с самим собой, Салтыков и в самые тяжкие часы страданий уходил в мир образов, вызываемых его памятью из далекого детства с яркостью и конкретностью почти непосредственного видения. Он освобождался от этих миражей или призраков прошлого лишь после того, как силой своего творческого напряжения воплощал их в художественные образы и целые огромные картины. «Представлявшиеся ему в воображении образы, — писал об этой особенности последнего этапа творчества своего друга А. М. Унковский, — не давали ему покоя до тех пор, пока он не изображал их (...). «Как только напишу, — говорит, — так и успокоюсь».

В особенности жаловался он на такое состояние в течение последнего времени (<...>), когда он писал «Пошехонскую старину». Я и многие лица, навещавшие его в это время, часто слышали от него, что вызываемые его воображением образы из давно прошедшего не дают ему покоя даже и ночью»⁷.

Посетившему его Л. Ф. Пантелееву Салтыков также говорил: «Ах, поскорее бы кончить, не дают мне покоя <персонажи из «Пошехонской старины»>, все стоят передо мной, двигаются; только тогда и отстают, когда кто-нибудь совсем сходит со сцены»⁸.

Эти слова были сказаны в первые дни 1889 года, а 18 января Салтыков известил Белоголового: «Я кое-как покончил с «Пошехонской стариной», т. е. попросту скомкал. В мартовской книжке появится конец, за который никто меня не похвалит. Но я до такой степени устал и измучен, что надо было во что бы то ни стало отделаться» (XX, 460).

В мартовской книжке «Вестника Европы» за 1889 год появились две главы «хроники»: XXX «Словущенские дамы и проч.» и XXXI «Заключение». Последняя снабжена «постскриптумом» от автора. В нем Салтыков сообщал читателям: «Здесь кончается первая часть записок Никанора Затрапезного, обнимающая его детство. Появится ли продолжение хроники — обещать не могу, но ежели и появится, то, конечно, в менее обширных размерах, всего скорее, в форме отрывков» (XVII, 460).

Замыслу рассказать, хотя и фрагментарно, вслед за детством, также и о юности Никанора Затрапезного, а значит, и о своей собственной, не суждено было осуществиться. Корректурная заключительных глав была подписана автором 28 января 1889 года. Эта же дата стоит в конце их журнальной публикации. А ровно через три месяца, 28 апреля, долгожданная смерть прервала жизнь писателя. Она прервала ее в самом начале предпринятой работы еще над одним, последним, произведением — «Забытые слова».

«Пошехонская старина» — многоплановое произведение. Оно совмещает в себе три слоя: «ж и т и е» — повесть о детстве главного персонажа, Никанора Затрапезного, написанную на автобиографической основе; историческую «х р о н и к у» — картины жизни в помещичьей усадьбе при крепостном праве «господ» и «крестьян» — и «п у б л и ц и с т и к у» — суд писателя-демократа над крепостным строем и обличение духа крепостничества в идеологии и политике России 1880-х годов. Первые два слоя даны предметно (сюжетно). Последний заключается в авторских «отступлениях»; кроме того, он задан во всем «подтексте» произведения, заложен в идейной позиции автора.

Русская литература XIX века знает несколько автобиогра-

фических произведений о детстве, признанных классическими. «Пошехонская старина» — одно из них. Хронологически она занимает место после «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука» С. Аксакова *, «Детства и отрочества» Л. Толстого и предшествует «Детству Тень» Гарина-Михайловского. Не уступая названным произведениям в художественной силе композиции и красок (хотя и крайне суровых тонов), салтыковская «хроника» отличается от них глубиной своего социального критицизма, пронизывающего все повествование. С этой особенностью «хроники» связано и принципиально иное, чем у указанных писателей, отношение Салтыкова к автобиографическому материалу. Он используется не только и не столько для субъективного раскрытия собственной личности, душевного мира и биографии повествователя, сколько для объективного «исследования» изображаемой социальной действительности и суда над ней. «Хроника» ведется в форме рассказа (записок) пошехонского дворянского сына Никанора Затрапезного о своем «житии», — собственно, как сказано, лишь о детстве. В специальном примечании, начинающем произведение, Салтыков просит читателя не смешивать его личность с личностью Никанора Затрапезного и заявляет: «Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу» (XVII, 7).

В одной из первоначальных рукописей эти же указания даны более конкретно и развернуто. «Писать так называемую автобиографию, — читаем здесь, — я счел неудобным, во-первых, потому, что автобиографические подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому, что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюдать: свое и чужое, и то, что пережил, и то, что видел и слышал у других. Повторяю, что это не автобиография, а свод жизненных наблюдений, в котором немало места занимает и вымысел, согласованный с описываемым порядком вещей. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное»⁹. Салтыков, таким образом, не отрицает присутствия «автобиографических элементов» в своей хронике, но ограничивает их роль и значение, настаивая на том, что он писал *художественное произведение*, хотя и на материале своих воспоминаний.

Действительно, Салтыков отнюдь не ставил перед собой задачу «полного восстановления» — «*restitutio in integro*» —

* Салтыков не раз признавал и в письмах, и на страницах своих сочинений, вплоть до «Пошехонской старины», силу впечатления, испытанного им от эпически-бытовых полотен С. Т. Аксакова. Несомненно, они входят в генезис салтыковской «хроники».

всех образов и картин своего детства, хотя они предстояли перед его памятью «как живые, во всех мельчайших подробностях». Вместе с тем биографический комментарий к произведению, осуществленный при помощи материалов семейного архива родителей Салтыкова и других объективных источников, удостоверяет, что, вопреки заявлениям писателя, в «Пошехонской старине» присутствует *не мало, а много автобиографических* элементов, что писатель воспроизвел на ее страницах, и очень полно, значительное количество подлинных фактов, имен и эпизодов из собственного своего и своей семьи прошлого¹⁰.

Автобиографичность «Пошехонской старины», с оговорками, хотя и сильно преувеличенными, сделанными Салтыковым, подтверждают мемуарные свидетельства лиц, близко стоявших к нему, которым так или иначе пришлось критически сопоставлять повествование Никанора Затрапезного с изустными рассказами о себе самого писателя.

«Пошехонская старина», — утверждает земляк и друг детства Салтыкова А. М. Унковский, — это та самая среда и есть, в которой подрастал будущий сатирик. Действительно, этот уголок губернии (Тверской) был самым несчастным: крепостное право доходило в нем до ужаса (...). Помещики даже морили себя голодом из экономии»¹¹.

«Очень охотно любил он говорить о своем прошлом, — пишет Белоголовый, — вспоминать свое детство, и значительную часть этих детских воспоминаний я нашел впоследствии воспроизведенными в его «Пошехонской старине»¹².

«Едва ли можно сомневаться в том, — утверждает первый биограф сатирика К. К. Арсеньев, — что «Пошехонская старина» дает верную картину умственного и нравственного развития Салтыкова, доведенную, к сожалению, только до окончания домашнего воспитания, то есть до десятилетнего возраста»¹³.

То же самое доказывает другой биограф писателя — из его современников и лиц, близко его знавших, С. Н. Кривенко. По его словам, многое из того, что Салтыков лично рассказывал ему о себе, оказалось воспроизведенным с буквальной точностью в «Пошехонской старине»¹⁴.

Таким образом, насыщенность «Пошехонской старины» автобиографическими элементами несомненна. И все же даже наиболее «документированные» страницы «хроники» не могут безоговорочно рассматриваться в качестве мемуарных. Для правильного понимания «автобиографического» в «Пошехонской старине» нужно иметь в виду два важных обстоятельства.

Во-первых, биографические *realia* детства Салтыкова введены в произведение в определенной идейно-художественной системе, которой и подчинены. Система эта — типизация. Писатель отбирал из своих воспоминаний то, что считал харак-

терным для тех образов и картин, которые рисовал. «Теперь познакомлю читателя с <...> той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто типичное», — указывал Салтыков, начиная свое повествование (XX, 15).

Во-вторых, — и это главное, о чем нужно знать и помнить, — «Пошехонская старина» содержит одновременно «и корни, и плоды жизни» Салтыкова¹⁵ — удивительную силу воспоминаний детства и глубину итогов жизненного пути, последнюю мудрость писателя. С этим связана особая позиция автора, позиция двойной субъективности.

Автобиографическая тема в «Пошехонской старине» полифонична. Она двухголосна. Один голос — воспоминания маленького Никанора Затрапезного о своем детстве. При этом маска этого персонажа нередко снимается, и тогда повествователь предстает перед читателем в лице «я» самого Салтыкова*. Другой голос — суждения о рассказанном. Все они определяются и формулируются с точки зрения идейных позиций, общественных идеалов, существование которых в изображаемой среде и времени исключается. Оба «голоса» принадлежат Салтыкову. Но они не синхронны. Для примера прокомментируем сказанное.

В главе «Заболотье» автор пишет: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал; не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика» (XVII, 130). Это — *воспоминание*, одно из конкретных впечатлений детства. Но дальше следует позднейшее автобиографическое осмысление приведенного воспоминания, вывод из него: «Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сблизало меня с подневольной массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что, только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его» (XVII, 130—131). Это уже *суждение*, глубоко диалектическая оценка детского, а затем и юношеского опыта с позиций итогов всей прожитой жизни и всего идейного развития.

Другой пример — одно из интереснейших и важнейших признаний Салтыкова, сопоставимое лишь с аналогичными признаниями других великих социальных моралистов, Руссо и Толстого. Речь идет о главе V — «Первые шаги на пути к просвещению». В ней содержится удивительное свидетельство Салтыкова, совпадающего здесь с Никанором Затрапезным, об обстоятельствах своего *нравственного рождения*,

* Такие демаскировки осуществляются иногда прямыми ссылками на факты собственной биографии автора, то есть Салтыкова, выходящие за рамки детства Никанора Затрапезного. См., например, прямые воспоминания Салтыкова о своей жизни в Ницце в 1876 г. или о своем посещении «в зрелых годах» Заболотья, то есть Заозерья — имения в Ярославской губернии, принадлежавшего ему в общем владении с братом Сергеем Евграфовичем, и др.

о «момента» возникновения в его — почти ребенка — душевном мире сознания и чувства социальной несправедливости, в которой он рос. Салтыков считал таким «моментом» те весенние дни 1834 года (ему шел тогда девятый год), когда, роясь в учебниках, он случайно наткнулся на «Чтения из четырех Евангелий» и самостоятельно прочел книгу.

«Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот <...>, — свидетельствует Салтыков от имени Никанора Затрапезного. — Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня <...>. Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего мировоззрения» (XVII, 70—71).

В своих воспоминаниях Г. З. Елисеев рассказывает, что, прочтя в «Вестнике Европы» приведенное признание, он заинтересовался, «насколько это сообщенное Салтыковым сведение о таком раннем возникновении в нем самосознания может считаться несомненно подлинным материалом для его биографии». «Мне никогда не случалось видеть людей, — поясняет Елисеев, — или даже слышать о таких людях, в которых бы в таком раннем возрасте явилось такое определенное сознание самого себя и всего окружающего...»

При первом же посещении Салтыкова Елисеев высказал ему свои сомнения по этому поводу. «Но, — пишет он, — Салтыков отвечал мне <...>, что именно было все так, как он описал в своей статье». Через некоторый промежуток времени, по другому поводу, Салтыков повторил Елисееву, что «то, что он написал о своем раннем развитии в детских годах <...> действительно было именно так, как он написал»¹⁶. Другой современник, также давно и хорошо знавший Салтыкова, А. Н. Пыпин, в свою очередь, также замечал по поводу цитированного признания: «Едва ли сомнительно, что он рассказывает личный опыт»¹⁷.

Действительно, нет никаких оснований сомневаться в субъективной достоверности признаний Салтыкова. Но очевидно и другое. В этом признании отчетливо различимы два пласта, каждый из которых является, бесспорно, биографической реальностью.

Хронологически знакомство с евангельскими словами об «алчущих», «жаждущих» и «обремененных» принадлежат восьмилетнему мальчику с богатыми задатками духовного развития. Ему же принадлежат и воспоминания о том, как он само-

стоятельно приложил эти слова из социально-нравственных максим раннего христианства, закрепленных в Евангелии, к окружавшей его домашне-бытовой действительности — к «девичьей» и «застойной», «где задыхались десятки поруганных и замученных существ». Но оценка этих дней, как события, принесшего автору воспоминаний «полный жизненный переворот», имевшего «несомненное влияние» на весь дальнейший склад его мировоззрения, принадлежит уже не мальчику, а писателю, подводившему на склоне дней итоги своей жизни и деятельности. В этих словах, в этой оценке и формулировках очевиден отпечаток зрелой мысли Салтыкова, с ее крайним просветительским идеализмом, с ее страстной верой в могучую, преобразующую силу слова, убеждения, морального потрясения. Возникновение чувства социального протеста, первых эмбрионов его, Салтыков изобразил как результат «внезапного появления сильного и горячего луча», «извне пришедшего» и глубоко потрясшего его детский, «но уже привычный взгляд на окружающий мир» бесправия крепостного строя. Однако дальше Салтыков пишет: «В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, стоял главный и существенный результат, вынесенный мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года» (XVII, 71).

Биография Салтыкова не располагает объективными источниками об этом раннем этапе в духовном развитии будущего писателя, навсегда оставившем в его памяти такой светлый и благодарный след. Надо думать, однако, что не последнюю роль сыграло здесь то обстоятельство, что в первоначальном воспитании и обучении Салтыкова участвовали не столько дипломированные гувернантки и гувернеры, сколько люди из народа — крепостные мамки, крепостной живописец-грамотей, сельский священник и студент-семинарист¹⁸. В этой связи приведем слова, сказанные Толстым после чтения записок декабриста М. А. Фонвизина: «Как Герцен прав, отзываясь с такой любовью о декабристах <...> Как они относились к народу! Они, как и мы (Л. Н. вспомнил и Кропоткина), через нянек, кучеров, охотников узнали и полюбили народ...»¹⁹

Как *субъективное*, так и *объективное* содержание воспоминаний Салтыкова в «Пошехонской старине» о своем детстве, о той социальной действительности, в которой оно протекало, даются в «хронике» от имени «я» рассказчика — Никанора Затрапезного. Но если в первом случае (рассказ о своем духовном развитии) эта вымышленная личность почти полностью совпадает с личностью автора, то во втором случае (рассказ о внешней и социальной обстановке, окружающих людях и др.) такого совмещения не происходит. «Я» повествователя выступает здесь в значении и роли стороннего объективного

бытописателя. Значение этого второго «я» рассказчика хорошо раскрыл Гл. Успенский. «Салтыков пишет от своего я, — указывает он, — но обратите внимание, заслоняет ли он этим я то, что описывает? Нет. Его я едва заметно. Это я постороннее, это посторонний наблюдатель, и той средой, в которой это я живет, никоим образом самого Салтыкова объяснить нельзя...»²⁰

Такое ограничение субъективного вмешательства «я» рассказчика в повествование позволило Салтыкову придать произведению в целом эпическую структуру, хотя и прерываемую нередко авторскими отступлениями.

«Пошехонская старина» принадлежит художественной литературе. Но велико значение «хроники» и как исторического источника, правдиво воссоздающего самую суть крепостных отношений во всех многообразных их проявлениях. Это одно из наиболее обширных в нашей литературе полотен целой исторической полосы русской жизни.

В произведениях Пушкина и Гоголя, Тургенева и Толстого имеется немало изображений помещичьего и крестьянского быта при крепостном праве, признанных классическими. Но только Салтыкову удалось с позиций его глубокого и страстного демократизма показать «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми» (Белинский), со всей полнотой и беспощадностью исторической истины.

В одной из своих рецензий 1871 года Салтыков писал: «Мы помним картины из времен крепостного права, — написанные à la Dickens. Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая на самом деле была у этого благодушья ужасная подкладка!» (IX, 425).

В свете этого высказывания уясняется основной принцип подхода Салтыкова к изображению жизни в помещичьей усадьбе. В «Пошехонской старине», как и в других своих произведениях, он подходит к дворянско-усадебному быту не с его внешней идиллической стороны, как С. Аксаков, которого он имеет в виду в приведенных словах (хотя и автор «Семейной хроники» не остался в ней целиком в рамках идиллии). Он подходит к этому быту со стороны его «ужасной подкладки», хорошо известной людям крепостной неволи, потом и кровью которых обеспечивалось помещичье благополучие, создавался материально-экономический фундамент утонченности дворянско-усадебной жизни в ее элитном слое. Подход Салтыкова близок подходу позднего Толстого, писавшего по поводу изображения помещичьей жизни в дневнике Н. И. Кривцова (брата декабриста): «Пожалел я об одном, что не рассказано очень важное: *отношения к крепостным*. Невольно возникает вопрос: как, чем поддерживалась вся эта утонченность жизни? Была ли такая же нравственная тонкость, — чуткость

в отношениях с крепостными? <...> Это хотелось бы знать»²¹.

Задачей Салтыкова в «Пошехонской старине» было, по его собственному определению, восстановить «характерные черты» крепостного быта. Основными же типическими чертами быта являлись принудительный труд крепостных и отношение к ним как к существам полностью бесправным, всецело находящимся в «господской воле». Все другие «черты» имели частное, подчиненное значение, однако они отнюдь не игнорируются писателем. Средоточием, палладиумом всего крепостного «порядка вещей», где его можно было наблюдать во всех формах и проявлениях, являлась помещичья усадьба. С характеристики ее Салтыков и начинает свое повествование.

Помещичья усадьба Малиновец, списанная с главной усадьбы родовой вотчины Салтыковых — села Спас-Угол, — это прежде всего место, где непосредственно осуществляется хозяйственная и всякая иная эксплуатация крепостного люда. Именно в этом, по Салтыкову, подлинная суть любой помещичьей усадьбы. Следует, однако, иметь в виду, что предметом изображения Салтыкова была «пошехонская дворянская жизнь», то есть жизнь помещиков средней руки, которая была несопоставима с элитной и потому несопоставимо же показательнее, типичнее для русского оседлого дворянства в его массе, чем жизнь Ростовых и Болконских.

В помещичьих усадьбах глаз Салтыкова-обличителя — так уж он был устроен — прежде всего видел не парадные фасады барского дома, не парки и сады, а двор и людскую, ригу и конюшню — места, где непосредственно обнажалась «ужасная подкладка» усадебного быта, где творились «мистерии крепостного права», нередко кровавые.

Много внимания уделено в произведении картинам детства и воспитания дворянских детей в «пошехонской» помещичьей семье. «Весь тон воспитательной обстановки, — формулирует писатель свою позднейшую оценку господствовавшей здесь педагогики, через которую сам когда-то прошел и пагубные результаты которой потом преодолел, — был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный» (XVII, 25). Салтыков подводит читателя к выводу, что на почве изжившего себя крепостного строя трудно было сформироваться личности с высокими моральными и общественными задатками. Такая личность могла сложиться только в условиях сознательного отрицания крепостного бесправия и борьбы с ним. Биография самого Салтыкова является одной из наглядных иллюстраций к этим его мыслям и наблюдениям. И отсюда важное биографическое значение «Пошехонской старины» для ее автора.

Своего рода теоретическим обобщением конкретных воспоминаний о своем детстве и воспитании является глава VI — «Дети. По поводу предыдущего». Первоначально это

был самостоятельный очерк, лишь позднее включенный в «Пошехонскую старину». В этой главе Салтыков снимает с себя маску рассказчика Никанора Затрапезного и беседует с читателем от собственного своего лица. Глава начинается словами: «И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжимается...» (XVII, 72). И дальше следует знаменитое место, в котором Салтыков обличает фальшь и лицемерие семейной, школьной и социальной педагогики там, где существует «неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй», то есть в социально-расколотом, антагонистическом обществе. Затем инвектива переходит в страстную исповедь веры в неизбежность «грядущего обновления» человечества. Это место в главе VI об «идеалах будущего», социалистическая окраска которого очевидна, оказалось одним из последних высказываний Салтыкова этого рода.

В портретных галереях «родственников», «домочадцев» и «соседей», занимающих большую часть глав «Пошехонской старины», Салтыков создал изумительную, можно сказать — «рембрандтовскую» серию портретов-биографий «господ» и «рабов» (слуг), рисуя их на предметном, бытовом фоне. Жизнь помещичьей семьи и «дворовых» показана здесь с небывалой широтой охвата — от деталей хозяйственной практики и повседневного обихода до трагических судеб людей.

«Пошехонская старина», разумеется, — прежде всего крепостная Россия второй четверти XIX века, в мощной живописи салтыковского реализма. Однако, обращаясь к истории, Салтыков всегда исходил из насущных задач современности. «История, — указывал он еще в статье о Кольцове, — может иметь свой животрепещущий интерес, объясняя нам настоящее как логическое последствие прежде прожитой жизни» (V, 12). Эта формула, определившая существо замысла «Истории одного города», присутствует и в подтексте «Пошехонской старины». Обращаясь здесь к далекому прошлому, Салтыков не упускал из виду живые контакты с современностью, с ее актуальными проблемами.

Тема крепостного права, занимающая огромное место в творчестве Салтыкова, никогда не была для него только исторической. «Крепостничество <...> еще дышит, буйствует и живет между нами», — утверждал писатель в 1869 году (VII, 268). «Оно живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках» (там же, 135). Из этого источника «доселе непрерывно сочатся всякие нравственные и умственные оглушения, заражающие наш воздух и растлевающие наши сердца трепетом и робостью» (там же, 135). Десятилетием позже, в 1878 году, Салтыков писал: «Да, крепостное право упразднено, но еще не сказало своего

последнего слова. Это целый громадный строй, который слишком жизнен, всепроникающ и силен, чтоб исчезнуть по первому манию. Обыкновенно, говоря об нем, разумеют только отношения помещиков к бывшим крепостным людям, но тут только одна капля его. Эта капля слишком специфически пахла, а потому и приковала исключительно к себе внимание всех. Капля устранена, а крепостное право осталось. Оно разлилось в воздухе, отравило* нравы; оно изобрело путы, связывающие мысль, поразило умы и сердца дряблостью» (XII, 403).

Имея в виду эпоху 1861—1905 годов, Ленин писал: «В течение этого периода следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны (...). Политический строй России за это время был (...) насквозь пропитан крепостничеством»²². «В России много еще крепостнической кабалы», — указывал Ленин в 1903 году²³. «Крепостничество еще живо», — констатировал он в 1914 году, то есть всего за три года до Октября²⁴. Выявление и обличение крепостнических пережитков, крепостнического духа и привычек в русской жизни, борьбу с ними Ленин считал делом «громадной важности»²⁵.

Показывая в «Пошехонской старине» правдивую историческую картину крепостного права как целого «громадного строя», не ликвидированного полностью реформами 1860-х годов, Салтыков объективно участвовал в деле «громадной важности», стоявшем на историческом череду русской жизни.

В 1886—1889 годы, когда писалась салтыковская «хроника», правительственная политика знаменовалась разработкой ряда законодательных мероприятий, имевших своей задачей пересмотр и «исправление» в реакционном духе реформ 1860—1870-х годов. Подготовленные контрреформы (были введены в 1889—1894 гг.), все вместе и каждая в отдельности, имели реставрационный характер. В них откровенно возрождался дух крепостничества и восстанавливалась «отеческая опека» поместного дворянства над крестьянской массой. Положение о земских начальниках было призвано возродить в деревне «твердое, хотя и патриархальное управление помещиков» (из «Записки» министра внутренних дел гр. Д. А. Толстого).

Крепостнические устремления реакции не были неожиданностью для Салтыкова. Еще в начале 1880-х годов он предупреждал: «Стоит только зазеваться, и крепостное право осеит нас снова крылом своим». Теперь по прошествии ряда лет, почитатели Салтыкова могли еще раз убедиться в удивительной проницательности, прозорливости социально-политического видения писателя.

* В Собр. соч. опечатка: «осветило» вместо «отравило». — С. М.

В этой связи представляет принципиальный интерес свидетельство Г. З. Елисеева, написавшего в своих воспоминаниях: «Надобно сказать, что и свои чисто беллетристические вещи Салтыков писал не без задней мысли. По крайней мере, это должно сказать о его «Пошехонской старине». Мне и другим он говорил, что хочет посвятить это сочинение имени покойного Некрасова. Притом прибавлял, что «ныне вошло в моду плевать на шестидесятые годы и людей, в то время действовавших. Топчут в грязь всех и все. Начали лягать и Некрасова»²⁶.

В обстановке глубокой реакции Салтыков один из немногих в литературе сохранил верность заветам «шестидесятничества». Вспомним, что, посылая Ф. Энгельсу сочинения писателя, Н. Ф. Даниельсон назвал его в сопроводительном письме «единственным уцелевшим умным представителем литературного кружка Добролюбова»²⁷.

Такая позиция позволила Салтыкову стать главной в литературе восьмидесятилетия фигурой оппозиции крепостническому духу победоносцевской России и нанести своей «хроникой» мощный удар по всем и всяческим идеализаторам и апологетам крепостной старины.

Актуальный публицистический подтекст салтыковской исторической «хроники» был ясен современникам. Об этом свидетельствуют наиболее пронизательные отзывы критики. Обозреватель «Русской мысли» писал, например: «...у нас приобретают особенное значение те художественные сказания о прошлых временах, которые своими образами и типами глубоко залегают в ум и сердце. Пролывая много света на современные отношения и чувства, они являются глубоко поучительными для всего большинства интеллигентного слоя нации. Одно из первых мест в числе таких художественных бытописаний принадлежит «Пошехонской старине» (...). Понять, чтобы действовать, стыдиться и негодовать, чтобы воспитывать в себе лучшие чувства, наконец жалеть и восхищаться, чтобы почерпать любовь и веру в людей, — таковы общий смысл и значение этого замечательного произведения»²⁸. Другой критик «секрет огромной ценности» «Пошехонской старины» усматривал «в широком размахе мысли, которая в давно изжитом прошлом умеет отыскать живучие ростки, цепко хватающиеся за будущее и связывающие мертвое «было» с еще не родившимся «будет» через посредство волнующего нас «есть»²⁹.

Во время беседы, происходившей в мае 1889 года в Астрахани, Чернышевский спросил посетившего его Пантелеева: «Что это вздумалось Михаилу Евграфовичу поднимать такую старину, написать «Пошехонскую старину», да еще растянуть ее на десятки листов? Не понимаю, кому это может быть теперь интересно». Неизвестно, был ли задан этот вопрос Чернышевским после прочтения салтыковской «хроники»

или он судил о ней тогда по слухам и отзывам печати. «Лет десять тому назад, — ответил Пантелеев Чернышевскому, долгие годы изолированному каторгой и ссылкой от внешнего мира, — Михаилу Евграфовичу, вероятно, и в голову не приходило, что он сделается летописцем «Пошехонской старины». Но времена значительно изменились: что считалось навсегда похороненным да еще с печатью заклеяния, то вдруг стало предметом реабилитации, даже идеализации. *Ответом на это течение и явилась «Пошехонская старина»**. На это Чернышевский сказал: «Да, пожалуй, я этого не имел в виду...»³⁰

Пантелеев часто и дружески встречался в это время с Салтыковым. Был он у писателя и непосредственно перед отъездом в Астрахань для встречи с Чернышевским. Можно поэтому предполагать, что подчеркнутые слова прямо или косвенно передают мнение самого Салтыкова.

Обширная критическая литература о «Пошехонской старине» в большей части появилась уже после смерти Салтыкова. Были в этой литературе, как всегда по отношению к такому писателю с ярко выраженным демократическим направлением, и враждебные голоса (Б. Чичерин, К. Головин, Н. Говоруха-Отрок и другие литераторы дворянско-помещичьего лагеря). Они отказывали салтыковской «хронике», полностью или частично, в объективности, в правдивости, усматривая в этом произведении «ретроспективную» и потому «бессмысленную» сатиру (!) на изжитое прошлое. Но голоса эти были едва слышны почти во всеобщем хоре признания сурово-исторической правды, воссозданной писателем живой панорамы трагического прошлого русской жизни.

«Пошехонская старина» вошла в отечественную литературу и навсегда осталась в ней как крупнейшее произведение о крепостном строе и как великий художественный суд над этим строем писателя-демократа.

В последних главах «Пошехонской старины» Салтыков намеревался дополнить широко развернутое им полотно дореформенного помещичьего быта еще рядом типических картин, для которых не нашлось места в предыдущем изложении. Однако болезнь и утомление не позволили осуществить эти намерения. Материала было еще много, но для художественного воплощения его уже не было сил. Салтыков знал это и с присущей ему прямоотой ставил об этом в известность своего издателя Стасюлевича и своих друзей. «Многоуважаемый Михаил Матвеевич, — писал он 16 января 1889 года Стасюлевичу. — Я кончил, так что Вы можете прислать за рукописью когда угодно. Конец неважный, но я чувствовал такую потребность отделаться от «Старины», что даже скомкал.

Надеюсь на Вашу снисходительность и благодушие читателей» (XX, 458).

* Подчеркнуто мною. — С. М.

Однако фактическим финалом писательской работы Салтыкова оказалась не «Пошехонская старина» с необычным для его произведений заключительным словом «Конец», написанным и напечатанным отдельной однословной строкой.

Салтыков устал, был измучен и, сверх того, хлопотал об издании своих сочинений, о чем говорилось выше. «Мучение, мучение, мучение — вот и все, и, кроме того, почти полная разобщенность с внешним миром (...), — сообщал он Белоголовому в конце февраля 1889 года. — Вот уже почти 6 месяцев ничего не пишу, да и не думаю, чтоб творческая сила когда-нибудь восстановилась» (XX, 465—466). Действительно, жизнь его подходила к концу. Он знал об этом и уже собственноручно написал для газет текст объявления о своей смерти. И все же, пользуясь краткими паузами некоторого облегчения в своих страданиях, Салтыков приступил в апреле к работе над новым произведением под названием «Забывшие слова». По свидетельству Пантелеева, «они были совсем готовы, то есть обдуманы, оставалось только написать»³¹. Но «смерть-избавительница», так долго призывавшаяся Салтыковым, наконец пришла к нему и остановила навсегда руку писателя на первой же странице начатого произведения, ставшей его последней страницей.

Написанный в необычном для Салтыкова жанре своего рода «стихотворения в прозе», с помощью почти символистской поэтики, зачин нового произведения исполнен редкой даже для Салтыкова мрачности и щемящей тоски. Они внушены мыслями и переживаниями человека, уже обвитого «властной рукой» смерти, и вместе с тем порождены той «мучительной восприимчивостью», с какой писатель всегда относился к социальной современности и которая не покинула его и в предсмертные месяцы и дни. «Оголтелое царство» удручающего «безмолвия» и «серых тонов», царство беззвучно реющих «серых птиц» и клубящихся в болоте «серых гадов» — это еще одно, и самое жутко-зловещее, изображение реакции 1880-х годов. Здесь ее образ, ее осмысление расширяются и углубляются до космического масштаба — потухания «вселенской жизни» под игом «всеобщего омертвения». Все это звучало предельно траурно и казалось своего рода «апокалипсисом».

Однако написанная страница является лишь приступом к экспозиции задуманного нового большого произведения*. Как полагает Пыпин, близко стоявший к первоисточникам информации о жизни, трудах и замыслах Салтыкова в последнее пятилетие его жизни, вслед за картиной всеобщего умертвия «должна была явиться картина забвения идеалов в угасающем

* Указания на «большое произведение» и «большую работу», предпринятую Салтыковым в последние дни жизни, содержатся также в мемуарных свидетельствах С. Н. Кривенко и Н. К. Михайловского³².

нравственно обществе»³³. Эта последняя картина должна была объяснить первую.

О содержании и значении последнего и неосуществленного творческого замысла Салтыкова сохранилось еще несколько мемуарных свидетельств. Важнейшее среди них принадлежит анонимному автору заметки «От редакции», предпосланной первопечатной публикации «Забытых слов» в «Вестнике Европы» (этим автором скорее всего был Пыпин).

«Из бесед с ним <Салтыковым>, — читаем в названной заметке, — было видно, что в последнее время его посетила, так сказать, новая гостя-идея, осуществление которой в высшей степени заинтересовало его. Трудно с точностью формулировать этот новый и предсмертный замысел Салтыкова <...>. В беседах с близкими ему людьми Салтыков высказывался, но всегда кратко и отрывочно, относительно темы замышленного им труда <...>. Не раз, по поводу тех или иных явлений текущей общественной жизни или прочтенной им статьи в газете, он повторял как бы самому себе: «Да, это теперь все забытые слова, следует их напомнить <...>. Раз, — это было в ноябре или в декабре прошлого <1888> года, — он как будто точнее формулировал свой литературный замысел, и среди разговора о чем-то, наведшем его опять на мысль о «забытых словах», он вдруг прервал себя и обратился с вопросом: прожив столько лет и столько испытав, может ли он и имеет ли право и обязанность написать свое «завещание»? Из его же слов было видно, что дело тут идет не о духовном завещании, а все о том же новом его литературном замысле. Но попытка поддержать с ним разговор в этом направлении, как это часто бывало и в других подобных случаях, прервалась в самом начале жалобами его на болезнь и невозможность писать...»³⁴

Таким образом, незадолго до смерти Салтыков намеревался подняться на новую вершину. С нее он хотел не только еще раз обозреть свою печальную современность, но и обратиться к читателю со своим *идейным завещанием*. «Мне хотелось бы перед смертью, — говорил Салтыков Елисееву, — напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее словах: стыд, совесть, честь и т. п., которые ныне совсем забыты и ни на кого не действуют»³⁵. «Стоя одной ногой в гробу, — вспоминал со своей стороны Михайловский, — Щедрин мечтал о новой большой работе, которая должна была называться «Забытые слова» <...>. Были, знаете, слова, — говорил он мне незадолго до смерти, — ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...»³⁶

Значение, которое Салтыков придавал своему последнему замыслу, уясняется, сверх названного, еще очень важными, но и несколько загадочными словами, сказанными им Кривенко: «А вот о чем жалею <...>, — для этого стоило бы начать снова

жить. * я задумал новую большую вещь — «Забытые слова». — И он рассказал программу этой новой работы»³⁷.

Слова, напоминанием о которых Салтыков хотел оживить омертвевшее, в его восприятии, царство «восьмидесятничества», были все те же высокие, моральные, отражающие все те же социальные ценности, все те же идеалы демократизма и гармонического устройства человеческого общества, которые с юных лет вдохновляли жизнь и творчество писателя и которые прямо или в подтексте присутствуют во всем, что вышло из-под его пера. Теперь мы знаем, что в восьмидесятые годы под покровом торжествующей реакции в России возникали новые силы, вызревали ростки новых семян. Именно в эти «глухие годы» передовая общественная мысль страны сделала скачок от старого народнического демократизма и социализма к новым программам преобразующих действий, опирающихся не только на крестьянство. Но все это были уже «*новые слова*», которых не знал и не мог знать Салтыков.

* Подчеркнуто мною. — С. М.

19. СМЕРТЬ.—ПОХОРОНЫ.—ОТКЛИКИ СОВРЕМЕННИКОВ

Вот она — смерть-избавительница!

Салтыков. Бедный волк

Никто из великих писателей России не умирал так долго, мучительно и в такой жестоко-ненормальной семейной обстановке, как Салтыков. Об этой тяжелой обстановке было уже сказано выше. Но в заключительной главе нельзя не обратиться еще к некоторым авторитетным свидетельствам. Они дают наглядное представление об исполненных глубокого драматизма последних днях Салтыкова и тех условиях, в которых они протекали.

Первое приводимое свидетельство принадлежит упомянутому выше кн. В. А. Оболенскому. Вот соответствующая страница из его воспоминаний.

«Ярко запечатлелось в моей памяти мое последнее свидание с ним. Это было за несколько дней до его смерти. Моя мать, тоже больная, не могла его навестить сама и просила меня зайти справиться о его здоровье.

Салтыков в плеле сидел за письменным столом, бессильно положив на него свои желтые исхудавшие руки. Огромные глаза строго и отвлеченно смотрели куда-то в пространство.

— Спасибо, что зашли навестить меня, — сказал он, тяжело переводя дух после каждого слова. — А матушке Вашей передайте, что я... умираю.

Я робко стал говорить банальности, какие обыкновенно говорят в таких случаях: что напрасно он так мрачно смотрит на свое положение, что бог даст, еще поправится и т. д. Салтыков нервно задергался и перебил меня:

— Не говорите мне вздора! Я знаю, что умираю... Вот сижу за письменным столом, а писать больше не могу...
Конец...

Голос его задрожал и оборвался <...>

Писатель умер. Доживало последние дни лишь больное, изнуренное тело.

И я понял, что никакими словами утешения не облегчить страшной трагедии человека, уже сознающего себя мертвецом...

Наступило молчание. Салтыков тяжело дышал и глухо, угрюмо стонал.

А из гостиной через полуоткрытую дверь доносились обрывки веселой болтовни. Там Елизавета Аполлоновна с Лизой принимали визиты каких-то молодых людей.

Молодые люди отпускали остроты, дамы кокетливо смеялись: «Вы думаете? Ах, какой Вы злой!!», «Не смейте так говорить, я рассержусь...»

— У-у-у, — застонал Салтыков, — я умираю, а они...

Лицо его гневно задергалось, и вдруг со страшной ненавистью в голосе он закричал:

— Гони их в шею, шаркунов проклятых! Ведь я умираю!

В соседней комнате сразу затихли разговоры, послышался скреб отодвигаемых стульев и удаляющиеся шаги.

Через минуту в кабинет вбежала Елизавета Аполлоновна и, надув губки, хныкающим тоном обиженной гимназистки сказала:

— Ну вот, ты всегда, Мишель, такие грубости говоришь. К нам никто ходить не будет.

Мишель не ответил. Он устал от только что пережитого возбуждения, сидел молча, по-прежнему положив ладони на письменный стол и уставившись в одну точку своими отвлеченными глазами...»¹

Второе свидетельство принадлежит «сестре милосердия» Татьяне Андреевне Метисовой, приглашенной, как мы помним, для ухода за больным по настоянию и рекомендации Боткина. По словам сына писателя, своей «удивительной заботливостью» она в какой-то мере «скрасила» Салтыкову это трудное время. После революции, оказавшись в эмиграции, в Париже, она поделилась своими воспоминаниями о пребывании в доме Салтыкова и уходе за ним с литературоведом К. Саниной и с журналистом Б. Шалфеевым. Вот несколько извлечений из записи ее рассказа: «Застала я больного в тяжелом состоянии. У него бывали припадки бреда, причем постоянно в бреду он беседовал с Тургеневым и Некрасовым (...). Когда болезнь несколько отпускала его, он, несмотря на запрещение врачей, сразу же садился за работу. Жизнь его в эти последние три года протекала однообразно. Вставал он аккуратно в 8 час. утра. Ежедневно утром и вечером ему приходилось делать массаж. Ровно в 4 часа, ни минутой раньше или позже, он садился за обед, а в 9 час. веч. ложился спать. Все свободное время, когда очередные припадки не терзали его, он посвящал работе, никуда не выходил, но иногда выезжал на полчаса прогулку, в карете, с открытыми окнами. Почти единственными гостями его были петербургский городской голова В. И. Лихачев, известный своими связями в литературных кругах и близкий друг семьи, а также юрис-консульт Сената А. М. Унковский. Оба они были душеприказчиками Салтыкова, но вследствие возникшей между ними ссоры по какому-то вопросу, причинившей Михаилу Евграфо-

вичу много огорчений, сильно ухудшивших его здоровье, они посещали его всегда порознь. Вследствие данного обстоятельства Мих. Евгр. пришлось просить своего издателя Стасюлевича быть третьим душеприказчиком и опекуном его детей. Этим лиц он не стеснялся принимать запросто, в халате. Систематически приходили к нему также врачи: Боткин и его ассистенты, особенно часто д-р Васильев. За несколько месяцев до смерти Салтыков посторонних лиц почти никого не принимал, и когда ему о ком-нибудь из таких посетителей докладывали, он говорил: «Занят скажите... Умираю...»²

Дальше извлекаем из рассказов Т. А. Метисовой сведения, относящиеся непосредственно к смерти Салтыкова.

«В среду 26 апреля (1889 г.) с больным случился мозговой удар. С утра он был в повышенном нервном состоянии, сильно волновался по делам издания собрания своих сочинений и, как всегда, что-то писал. В 3 часа должен был приехать д-р Васильев, но опоздал на четверть часа. Это дало новый повод к волнению и беспокойству больного». Татьяна Андреевна убеждала его успокоиться, уговаривала и в это время заметила, что Михаил Евграфович падает со стула. Она схватила его за талию, стала поддерживать, и в этот момент в комнату вошел д-р Васильев. «Салтыкова посадили на диван, ему сделали дурно... Стали приводить его в чувство. Через некоторое время это удалось, но он потерял дар слова. Слабым движением руки больной указывал на письменный стол*. Его подвели туда, дали в руки перо, но писать он уже не был в состоянии. Переложили в левую руку, но и та уже не работала. Мих. Евгр. знаком попросил, чтобы его подвели к образу. Его подвели к дивану, и он все время с ужасом на лице продолжал указывать на правый угол комнаты. Присутствующие ничего там не видели. Так непонятным и остался этот последний жест. Больного положили на диван, и он потерял сознание. Весь день в четверг он не приходил в себя, а в пятницу 28 апреля его не стало».

Салтыков оставил очень подробное завещание. Там сделаны были все распоряжения, в том числе о гробе, о деталях похорон. Между прочим в завещании было сказано: «Желаю быть погребенным на Волковом кладбище, если можно, около Тургенева. Желая, чтобы тело мое было непременно вскрыто. На памятнике поставить мой бюст работы Бернштама»**. Это завещание было в точности исполнено***. Тело вскрыли на

* Последние месяцы своей жизни Салтыков проводил все время в своем кабинете, куда была перенесена и кровать. Здесь он и умер. Зарисовку этой комнаты, сделанную через несколько дней после смерти писателя, см. в альбоме настоящей книги. — С. М.

** Эта скульптура находилась в кабинете Салтыкова. — С. М.

*** Уже в наше время желание Салтыкова было нарушено и могила его перенесена в другое место. — С. М.

квартире покойного в присутствии Боткина, Соколова, Васильева. «Вскрытие производил прозектор из клиники. В ту же ночь тело покойного было набальзамировано. Изъятый мозг, поразивший Боткина глубиной своих извилин, был затем передан в Академию наук. Туда же были переданы маска с лица покойного и слепок с его правой руки. И маска и слепок были сняты скульптором Лаврецким...»³

Об этом вскрытии, вообще о болезни Салтыкова, о последних днях его и о значении, которое, по мнению Боткина, играла не только в жизни, но и в творчестве Салтыкова его жена Елизавета Аполлоновна, сохранилось большое письмо Боткина к Белоголовому. Оно было написано 18 мая 1885 года на даче Боткина в Финляндии — Культивле. Вот текст этого письма, еще не бывшего в печати (приводится с опущением некоторых медицинских подробностей):

«Вероятно, тебе известны все подробности жизни последних дней Мих. Ев. На мне лежит только обязанность передать тебе события с медицинской точки зрения. После посещения отца Иоанна одышка значительно усилилась <...>, ночи проходили без сна, в жажде воздуха, отеки ног стали значительнее. Назначено было строгое молочное лечение <...>; в несколько дней улучшение наступило весьма значительное, все проявления физического недуга уступили весьма резко, но недуг психический остался без улучшения; раздражительность дошла до высшей степени <...>; у меня хватило силы приехать к нему после отца Иоанна только раз до потери его сознания и, наконец, в последний раз за сутки до смерти, когда он был почти в полном бессознательном состоянии, никого не узнавал, едва глотал при полном параличе речи и правой половины тела; он сидел на кресле и имел вид глубокоумственного человека, сидел расталкивая его, можно было его вывести до некоторой степени из этого сна, он открывал глаза и угрюмо смотрел, очевидно нисколько не понимая, что около него делается, и тотчас же снова впадал в спячку; из этого состояния он не выходил и на другой день, но слышалось только его коматозное дыхание, которым и закончилась жизнь нашего друга 28 апреля в 3 ч. 20 м. Случайно к последним его вздохам съехались его друзья: Лихачев, Катя*, Н. Ив. Соколов**, дочь была все время подле умирающего, жена и сын по слабости нерв не выдерживали картины тяжелых минут жизни в борьбе со смертью, они пришли уже после смерти. Ночью того же дня было вскрытие и бальзамирование тела <...>. Вскрытие продолжалось до часа, и я с Сережей только во втором часу вернулся домой, оставя Ускова <?>, Н. И. Соколова и Васильева

* Жена С. П. Боткина, Екатерина Алексеевна (рожд. кн. Оболенская), большая почитательница таланта Салтыкова. — С. М.

** Соколов Нил Иванович, врач-терапевт, ассистент С. П. Боткина, профессор Военно-медицинской академии. С 1876 г. постоянно наблюдал и лечил Салтыкова, навещая его еженедельно. — С. М.

доканчивать вскрытие и бальзамирование. Последнее было очень удачно и вполне примирило Елиз. Апол. со вскрытием, которого она бы ни за что не допустила, если бы покойник не выразил желания сам в своем завещании произвести непременно вскрытие тела <...>. Сложное страдание сердца, развившееся, очевидно, под влиянием неоднократно бывших приступов ревматизма, достаточно объясняют его одышки, кашель <...>. Я полагаю, что мозговой процесс длился давно, выразившись <1 нрзб.> особенно резко 4 года тому назад после воспаления легкого, когда у Салтыкова было ослабление правой половины и расстройство речи, хотя полная потеря была ненадолго, но в течение нескольких недель замечались ясные следы <1 нрзб.> и в разговоре и в писании. Психика же была такова, что трудно было соединить в уме его произведения последнего времени с теми печальными остатками психической деятельности, которые пришлось наблюдать нам при его посещении. Почти безвыходное истерическое состояние с постоянными жалобами на свое здоровье, на свою жену и сына. Примириться с своим положением, привыкнуть к мысли о безвыходности своего положения Мих. Евграфович не мог да и не хотел, что значительно отягощало его положение как больного. Он был, по-видимому, вполне уверен, что если бы я захотел, да хорошенько им занялся, то он несомненно бы выздоровел. Конечно, такое убеждение не могло уменьшить его непомерной раздражительности, которая, конечно, сильным образом и проявлялась на жене и сыне. Я должен, впрочем, признаться, что требования М. Е. были обыкновенно основательны, трудно было спокойно относиться к тому образу жизни, который начинал вести Костя и к которому выражала сочувствие Елиз. Апол., нельзя было также сочувственно относиться к тем знакомствам, которые составляла и поддерживала Елиз. Апол., все это должно было быть противно Салтыкову, который это и выражал, не стесняясь ни формой, ни какими другими соображениями; он ругал ругательски и мать и сына, иногда и дочь, ругал также и их нескольких друзей, совсем не подходящих к его вкусам. Постоянно просил увести его от семьи, и, потеряв надежду на помощь в этом отношении со стороны друзей, он хотел действовать через градоначальника. Но тут, конечно, нового для нас ничего нет, так сложились и шли отношения этих супругов за все 30 лет их сожития, и, очевидно, мозг Мих. Ев. нуждался в этом постоянном раздражении, которое он получал в различных видах и формах <от> Елиз. Апол., которую покойник понимал и видел навзвось и глубоко презирал, но вместе с этим расстаться с ней он не мог, она стала ему необходимостью, без которой он долго бы не прожил <...> Презирая, по временам ненавидя Елиз. Апол., он ее, несомненно, любил очень сильно. Мне лично она была всегда несимпатична, но я полагаю, что она имела большое значение в творческой дея-

тельности Мих. Евгр., и нужно ей поставить в заслугу, что она не бросила мужа и без любви к нему все-таки продержалась около него, не убежав от него после той или другой весьма несдержанной сцены. Для меня несомненно, что Елиз. Апол., как фосфор, стимулировала мозг М. Ев. и <тем> немало способствовала его литературной деятельности. Что-то будет из Лизы? Очень красива, но капризна; Костя смотрит мальчиком странным, представляющим большую загадку относительно его будущности; он может быть и дурным и хорошим человеком, теперь же он рассеян, пуст, и вкусы его несимпатичны. Говорят, хорошо пишет по-русски, очень литературно описал своему товарищу печальные дни болезни М. Евгр. Перед окончательным инсультом М. Ев. чувствовал себя, по-видимому, хорошо, но много жаловался, без определенных указаний, очевидно, было самочувствие нехорошо, а вместе с тем был очень раздражителен и за несколько часов до апоплексии поругался с Елиз. Апол.; припадок апоплексии произошел на глазах Васильева, потеря речи, в плаче при сохранявшемся сознании и при полном параличе движений правой руки и правой ноги; с каждым часом сознание слабело <...>; на второй день появился снова отек ноги; сердце действовало плоховато, и пульс на левой руке одно время показался, а потом был едва ощутим, что заставило думать Васильева об эмболии, я же остаюсь при предположении тромбоза в артеросклерозных мозговых артериях, размягчения последовательного <?> ткани и, наконец, кровоизлияния»⁴.

Вскрытие показало, что болезнь Салтыкова действительно шла к тому страшному рубежу, которого он так боялся — к безумию. Но «смерть-избавительница», которую он столь настойчиво призывал, сжалилась над великим писателем и до самого конца не отняла у него главного сокровища — дозволила догореть его уму неомраченным. Утрата речи не сопровождалась полной потерей сознания.

Несомненно, самым интересным и важным в письме Боткина является его исполненное полной уверенности утверждение, не раз высказанное им и раньше, что «Елиз. Апол., как фосфор, стимулировала мозг М. Ев. и <тем> немало способствовала его литературной деятельности». Если бы такое суждение было вынесено кем-либо другим, то, вероятно, к нему следовало бы отнестись скептически. Но в данном случае мы не можем не принять это наблюдение со всей серьезностью и доверием при всей кажущейся его странности. Ведь оно принадлежит не только самому выдающемуся русскому медику своего времени, но и лечащему врачу и личному другу писателя, знавшему его организм, его психологию и его семейную жизнь без каких-либо утаек и на протяжении многих лет. Другое утверждение Боткина, связанное с первым, что, «презирая, по временам ненавидя Елиз. Апол., он ее, несом-

ненно, любил очень сильно», до последних дней, что подтверждается письмом А. И. Скребницкого к жене, собственнице дома, в котором жил и умер Салтыков.

Вот отрывок из этого письма от 5 мая 1889 года, то есть написанного на третий день после похорон Салтыкова:

«Дорогая Marie! Ты не удивишься на этот раз, что прежде чем взойти в свою квартиру, я, не раздеваясь, забежал к Салтыковым. Я нашел там то, что и ожидал: Е(лизавета) А(поллоновна) была, как кажется, больше поражена моим расстройством, нежели своим горем <...> Впрочем, в ней проявилось и раскаяние. Она на первых же порах заявила, что в это время она неоднократно упрекала себя в том, что не слушала меня. Теперь совесть упрекает ее в том, что своими взбалмошными и неблагоразумными выходками постоянно раздражала покойного Михаила Евграфовича и тем ухудшала его положение. *Простился он с нею нежно, обнимая одной рукой (другая была парализована), и поцеловал обе ее руки* *. Закупорка мозговых сосудов случилась вдруг, в среду, а через неделю после нее его уже не стало. Во все время болезни он лишен был возможности говорить (но понимал то, что ему говорили) — страшное положение человека, для которого живое слово составляло в течение всей жизни самое мощное оружие борьбы с ложью, неправдой, насилием, пороками общественными и частными»⁵.

Последнее прощание с Елизаветой Аполлоновной еще раз показывает, какое доброе сердце скрывалось под суровой, даже угрюмой внешностью писателя и грубостью некоторых его поступков.

О смерти Салтыкова газеты сообщили на другой же день, 29 апреля, скупыми строками, что соответствовало одному из предсмертных завещательных желаний писателя, выраженному в такой его записке: «Проект объявления (в «Новом времени», «Новостях» и «Русских ведомостях» — сообщить в Москву телеграфом): Такого-то числа и месяца скончался писатель М. Е. Салтыков (Щедрин). Погребение там-то и тогда-то»⁶.

К завещанию было приложено письмо Салтыкова к сыну, написанное в апреле 1889 года. Оно хорошо известно, но в завершающей главе этой книги оно должно быть приведено. Письмо еще раз подтверждает сохранившуюся, несмотря на все, любовь Салтыкова к жене, заботу о семье и его беспримерную приверженность литературе, выразившуюся, в частности, в том, что «звание литератора» он поставил здесь выше всякого другого. Вот текст этого предсмертного письма:

«Милый Костя, так как я каждый день могу умереть, то вот тебе мой завет: люби мать и береги ее; внушай то же и сестре. Помните, что ежели Вы не сбережете ее, то вся семья

* Подчеркнуто мною. — С. М.

распадется, потому что до совершеннолетия Вашего еще очень-очень далеко. Старайся хорошо учиться и будь безусловно честен в жизни. Вот и все. Любящий тебя отец.

Еще: паче всего любви родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому» (XX, 477).

Смерть Салтыкова не могла быть неожиданностью для общества, давно подготовленного к этому известию. О болезнях и тяжелом состоянии писателя знали не только из толков и слухов. Об этом часто писали газеты, как столичные, так и провинциальные. И все же произошедшее поразило многих. А похороны сопровождались в Петербурге публичными выступлениями разного рода, демонстрировавшими понимание широкими кругами значения утраты одной из выдающихся сил русской литературы и общественной мысли.

Вынос тела из квартиры на Литейной был назначен на 2 мая в 10 ч. утра. Об этом объявили все столичные газеты. Но накануне вечером было сделано негласное распоряжение петербургского градоначальника генерал-лейтенанта Грессера о том, чтобы похоронная процессия вышла не в 10, а в 9 часов. Этим распоряжением имелось в виду уменьшить процессию до возможного минимума. Было и еще несколько распоряжений, как бы продолжавших полицейскую борьбу и с умершим писателем. Так, накануне выноса в квартиру покойного прибыл пристав для того, чтобы «процензуровать» надписи на траурных венках, а их было около 150. Два венка были изъяты: один, как мы помним, с надписью «От благодарных евреев», другой — от неизвестных с надписью: «Великому борцу с мракобесием».

По свидетельству участников похорон, утро 2 мая было пасмурное и холодное; шел дождь. Но, несмотря на дурную погоду, уже к 7 часам у подъезда дома на Литейной стали собираться люди, преимущественно студенческая молодежь. Однако в квартиру посторонних не пустили. К удивлению собравшихся (среди них была жившая тогда в России английская писательница Э.-Л. Войнич), вскоре появился отряд вышших и низших чинов полиции и несколько конных жандармов. Панихида затянулась и окончилась около половины десятого. Гроб вынесли и поставили на один из двух катафалков, покрытых золотистой парчой. На втором катафалке были размещены венки, не поместившиеся на первом. Нести гроб на плечах, как хотели студенты и другая молодежь, полиция не разрешила. По негласному распоряжению все того же петербургского «помпадур» Грессера, кучера катафалков, выехав на Невский, пустили лошадей мелкой рысью (тротом), так что участвовавшей в церемонии толпе пришлось почти что бежать. И только в начале Николаевской улицы студентам удалось, несмотря на сопротивление полиции, в том числе и конной, опередить катафалки и напором всей толпы перевести движение лошадей на шаг. Лишь тогда процессия приняла бо-

лее стройный вид и образовалось два студенческих хора, певших по очереди во всю дорогу до самого кладбища «Святой боже...» и «Вечную память». По распоряжению все того же Грессера маршрут процессии проходил по таким глухим тогда местам, как Николаевская улица, Разъезжая, Литовский канал, и так до Волкова кладбища, хотя, не удлиняя пути, она могла бы проследовать по более широким и людным улицам. Все эти полицейские распоряжения имели одну всем понятную цель. Власти боялись повторения похорон Некрасова, превратившихся в крупную политическую демонстрацию⁷.

Однако того, чего боялась полиция, не произошло: не то было время. Некрасова хоронили, когда в стране начинался новый демократический подъем, вызревала вторая революционная ситуация, и оппозиционная молодежь Петербурга кипела страстями. Салтыкова хоронили во все еще продолжавшееся глухое время упадка общественного духа и все еще продолжавшегося господства политической реакции, хотя уже с некоторыми просветами будущего подъема новых сил.

После отпевания в кладбищенской церкви над открытой могилой были, как положено, выступления. Сначала прочитали стихотворение, присланное каким-то крестьянином, вторым говорил К. К. Арсеньев, затем студенты Иванов и Захарьин прочли стихотворения; потом выступали О. Ф. Миллер, Д. П. Сильчевский и другие. Один из ораторов прочитал отрывки из сказки «Пропала совесть». Разумеется, все признавали великие литературные и гражданственные заслуги Салтыкова. Но среди выступавших не было, да и не могло быть ораторов, по своему масштабу соответствовавших покойному писателю, как это было на похоронах Некрасова с речами Достоевского и Плеханова.

Тем не менее смерть и похороны Салтыкова стали выдающимся событием. Можно даже сказать, что они всколыхнули «спящее царство» восьмидесятничества и впервые позволили многим и многим осознать, насколько глубоко было значение Салтыкова в духовной жизни страны. Подъему интереса к ушедшему писателю в немалой степени содействовало и то обстоятельство, что в том же апреле 1889 года, который оказался последним в жизни Салтыкова, вышел из печати первый том подготовленного им девятитомного собрания сочинений, сразу же разошедшийся, что было совсем необычно для того времени.

Смерть писателя и начавшийся выход собрания его сочинений вызвали весьма обширные отклики в периодической печати всех существовавших тогда общественных направлений. Собранные вместе, все эти отклики-некрологи, статьи, информации, эпистолярные и мемуарные материалы и другие составили бы большую книгу⁸.

Как и в прижизненной Салтыкову критике, в «поминаль-

ной» литературе о нем отразилась острая борьба «за» и «против» него. Свое слово о писателе сказали представители всех общественных направлений страны, выступили почти все органы периодической печати. Промолчали лишь официальные круги, за исключением, впрочем, Петербургской городской думы (но ее возглавлял близкий Салтыкову В. И. Лихачев). Некоторые из выступлений, несмотря на свою краткость, лучше, нагляднее многих позднейших статей и книг дают читателю наших дней представление о том, как воспринимали и оценивали значение Салтыкова для русской жизни его современники.

В этом отношении существенный интерес представляют высказывания о нем не только его идейных единомышленников, но и противников. Среди последних с наибольшей политической определенностью выступили «Московские ведомости», с которыми так долго и упорно сражался Салтыков. В посвященной памяти писателя статье анонимного автора говорилось:

«В тяжелое смутное время конца семидесятых и начала восьмидесятых годов «сатира» Щедрина была таким же разрушающим и разрушающим орудием в руках наших террористов, как и их подпольные листки, заграничные брошюры и динамитные бомбы. М. Е. Салтыков знал это и не прекращал своих глумлений над теми мерами, которые правительству приходилось принимать в борьбе с революционным террором. Террористы того времени делились на нелегальных и легальных деятелей; Щедрин был, несомненно, самым ярким и самым даровитым представителем последней категории, принесшей России гораздо больше нравственного вреда, чем первая». «Не из сочинений ли Щедрина всего больше выносятся то фальшивое убеждение, будто все кругом нас скверно, гнило и глупо? Не сочинениями ли Щедрина зачитывалась и зачитывается, к сожалению, значительная часть нашей молодежи? Не на Щедрине ли поэтому лежит тяжелая доля ответственности за тех несчастных юношей, которые отданы были на съедение революционным теориям» *9.

Конечно, Салтыков не может быть назван «террористом», хотя бы и «легальным» (?!), поскольку он отвергал террор как метод политической борьбы. Но главный печатный орган охранительного лагеря самодержавия был прав, относя Салты-

* Как сообщила специалист из Франции по Салтыкову-Щедрину Кира Санина (Лион), она видела то ли в Парижской, то ли Женевской библиотеке экземпляр «Московских ведомостей» от 4 мая 1889 г. с надписью на полях против выступления о Салтыкове: «Статья Л. Тихомирова». Возможно, что указание это соответствует действительности. Бывший революционер, «народоволец», а потом ренегат, Л. Тихомиров вернулся из эмиграции в Россию как раз в 1889 г. Еще находясь за границей, он был анонимным сотрудником «Московских ведомостей», а позже — с 1909 г. — стал их редактором. Салтыкова он знал и в некоторых из своих писаний подражал его манере.

кова к крупнейшим в тогдашней литературе противникам существовавшего в стране строя. Такая оценка общественно-политического места и значения писателя была удостоверена, со своей стороны, во всех выступлениях представителей оппозиционных кругов. Выше говорилось об отклике на смерть Салтыкова и Чернышевского старейшины народовольческого движения П. Л. Лаврова (со своим словом об этих событиях он выступил и устно, на собрании революционных эмигрантов в Париже). Здесь же приведем еще два отзыва — демократа-шестидесятника Н. В. Шелгунова и народника-революционера С. М. Степняка-Кравчинского.

В «Очерках русской жизни» Н. В. Шелгунов писал: «Очевидно, что центр тяжести при разрешении наших общественных вопросов не в личном покаянии и не в допросе своей совести, к которому призывал оратор на могиле Салтыкова, а в допросе своей мысли. Так ли она работает и то ли она понимает, что ей нужно понимать? Вот к какой совести обращался Салтыков.

Салтыков обращался к совести общественного сознания. Он раскрывал те общие идейные причины, от которых именно идет человек на убыль; он говорил о том сознательном развитии, которое творит умственно самостоятельных и понимающих людей, и о тех общих причинах, которые этому развитию мешают. Никто так не преследовал ограниченность мысли и чувств, как Салтыков, и никто так не раздражал его, как глуповцы разных цветов, видов и положений.

Салтыков был истинный мудрец, которому были ясны все тончайшие нити и пружины личных и общественных отношений; он только об этих отношениях и говорил; только о них он и напоминал; только их закон он и отыскивал в каждой отдельной человеческой душе. Сила ума Салтыкова заключалась в редкой пронизательности, в способности вдруг, сразу, ментально проникнуть в самую суть человеческой души или в суть сложного явления, созданного множеством подобных душ.

Потому-то потеря Салтыкова так и громадна, что у нас нет другого, равного ему крупного человека, который бы мог настолько же помогать развитию общественного сознания, насколько помогал ему Салтыков: потому эта потеря и велика, что у нас нет другого писателя, который бы мог воздействовать на ту именно совесть, на которую воздействовал Салтыков.

Сравнительно с Салтыковым, этим истинным гигантом, остальные наши учителя-проповедники сущие младенцы. Хороня Салтыкова, думающая Россия чувствовала (сознательно или бессознательно), что теперь у нее уже нет центрального тела, нет того светившего всем маяка, которым был Салтыков для всей наиболее умственно-независимой части населения»¹⁰.

Выступление Степняка-Кравчинского, находившегося в эмиграции в Лондоне, предназначалось для английских читателей. Текст его сохранился в разрозненных листках статьи, относительно которой не удалось установить, для какого органа печати она предназначалась и была ли опубликована. Вот дошедшие до нас фрагменты этого выступления, в переводе с английского:

«Салтыков один из величайших писателей, когда-либо рожденных Россией. Смерть недавно отняла его у родины, которой он верно служил своим пером более сорока лет. Но еще при жизни он стоял в ряду бессмертных.

Это был русский Свифт с вечно молодым сердцем, не знавшим безнадежного пессимизма, который омрачил жизнь великого английского писателя.

С сорокапятилетнего возраста, когда его талант достиг зрелости, до самой смерти, происшедшей четыре года тому назад, он был фактическим вождем радикальной оппозиции в России, насколько можно быть вождем в такой стране, как Россия, и годы, не повлиявшие на его талант, казалось, были так же бессильны наложить печать угасания на его личность. Некоторые из лучших его произведений, самых свежих, самых смелых, были созданы им в последние годы жизни.

Безжалостный сатирик, наводивший такой ужас своим убийственным пером, при жизни имел репутацию человека, чья могучая личность так же интересна, как и деятельность, а жизнь — одна из благороднейших <...>.

Салтыков оставил России замечательное литературное наследие, целый созданный им мир, громадное полотно, на котором изображена вся Россия совсем под другим углом, чем у Толстого и Тургенева, но с не меньшим разнообразием, не меньшим проникновением в человеческую природу и с не меньшим талантом. Для России произведения Салтыкова — неисчерпаемая сокровищница. Но для иностранца — это запечатанная книга, и такой она и останется <...>» *11.

Немало было и писательских откликов, как в печати, так и в личной переписке. Из этой последней приведем два отзыва — Гл. И. Успенского и А. П. Чехова. Первый писал В. М. Соболевскому: «Смерть Михаила Евграфовича напомнила мне о «настоящем» писателе и возбудила желание «опомниться», не интересоваться мелкими литературными дрязгами и временной литературной суетой сует»¹². Чехов же так ото-

* Будущее лишь отчасти подтвердило это предсказание. Конечно, Салтыков более труден для восприятия иностранцами, чем другие русские классики. И все же главные произведения писателя — «Губернские очерки», «История одного года», «Господа Головлевы», «Сказки» и др. — переведены на ряд языков, и переводы продолжают появляться и в наше время. — С. М.

звался на событие в письме к А. Н. Плещееву: «Мне жаль Салтыкова. Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочный дух, который живет в мелком, измощенничевшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения»¹³.

Среди сочувственных памяти Салтыкова откликов были и принадлежащие людям, казалось бы, весьма далекого ему мировоззрения, например религиозному философу, поэту и критику В. С. Соловьеву. Обращаясь к М. М. Стасюлевичу, он писал: «О Салтыкове искренне пожалел и отслужил заупокойную обедню. Вот уже этого никем не заметишь»¹⁴.

В одном из писем историка Я. Л. Барскова 1889 года содержится такое заявление: «Я убежден, что многие способны заново переродиться после знакомства с Салтыковым <...>, так он велик, могуч, крепок...»¹⁵

Едва ли не самая выразительная и вместе с тем удивительная иллюстрация к сказанному относится к такой сложно-противоречивой и до сих пор все еще до конца не понятой нами фигуре, как В. В. Розанов, — своего рода «экзистенциалисту» до возникновения экзистенциализма, философу-идеалисту, публицисту позднеславянофильского толка и вместе с тем усердному сотруднику суворинского «Нового времени». В одном из своих эссеистических набросков, находясь в пути, в вагоне, он откликнулся на смерть Салтыкова такой «мыслью»: «Как «матерый» волк, он наелся русской крови и сытый отвалился в могилу». Чем навеян был этот отвратительный образ, мы не знаем. Известно лишь, что этой записи предшествовал ряд других, враждебных великому писателю. «Пренесносный Щедрин», — записывает он в своей тетради, «занимаясь нумизматикой». И затем еще одна запись в «Опавших листьях», удивительная своим признанием: «Я имел какой-то безотчетный вкус не читать Щедрина, и до сих пор не прочитал ни одной его «вещи» <...>. Думаю, что этим я много спас в душе своей». Это тоже интимная запись «во время занятий нумизматикой». Есть в книгах Розанова и другие беглые заметки о Салтыкове, собственно о его характере и биографии. В книге «Уединенное» читаем: «Этот ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление. И нужно было родиться всему безвкусию нашего общества, чтобы вынести его <...>. Он сделался знаменитым писателем. Дружбы его искал уже Лорис-Меликов, губернаторы же были ему «нипочем».

И вдруг наступает преображение. И какое! В один из более поздних дневников Розанов вносит такое свое «покаянное»

признание: «Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь *в своей полной истине*. Щедрин, беру тебя и благославляю»¹⁶. Анафема перешла в аллилуйю. Почему? И этого мы не знаем. Но надо полагать, что в конце жизни Розанов преодолел все же свой «безотчетный вкус не читать Щедрина», познакомился наконец с его произведениями и увидел бездонную глубину его мыслей и художественных образов. Можно добавить, что такого рода «открытия» Салтыкова, превращение не знавших его раньше читателей из Савла в Павла, по отношению к нему не были единичными. Продолжаются они и по сей день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В биографическом труде, который завершается настоящей книгой, впервые с такой полнотой и строго документально прослежен весь жизненный путь Салтыкова. Прослежен в единстве с «биографией» исторического времени, создавшего писателя и отразившегося в его произведениях. Вместе с тем предпринята попытка «заглянуть в душу» того, кто с таким бесстрашием боролся со всеми силами «тьмы» и «зла», окружавшими русскую жизнь.

«Я в русской литературе — изгой», — заявлял Салтыков (XIX-2, 165). Конечно, писатель ошибался. Он вовсе не был отверженным в отечественной литературе (если не иметь в виду ее реакционное крыло). Но он занимал в ней совсем особенное место, которое многим было чуждо. Он был в ней своего рода Аввакумом, суровым обличителем и пророком. С неистовым, гневным протопопом его сближали, с одной стороны, духовная мощь обличения, а с другой — страстная, несокрушимая, несмотря на все препятствия, проповедь идеалов, до конца идущее мужество в защите своей «веры» — веры демократа-просветителя.

Несмотря на всю присущую ему писательскую скромность, Салтыков определял свое значение в духовной жизни родной страны как «будителя общественного сознания» (XX, 411). «Неизменным предметом моей литературной деятельности, — заявлял он, — всегда был протест против произвола, двоедущия, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д. Ройтесь, сколько хотите, во всей массе мною написанного — ручаюсь, ничего другого не найдете» (XIV, 441). Определяющим же условием для достижения действительных результатов его «протеста» было требование *свободы*. «Ежели общество лишено свободы, — утверждал Салтыков, — то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы» (XVI-1, 162).

Имея в виду упразднение крепостного права, Салтыков писал: «Хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом но-

вую злобу дня» (XVII, 9). Это наблюдение применимо и к нашему недавнему прошлому. «Яд» пережитых исторических ошибок, трагических деформаций и преступлений проник во все поры государственной, общественной и личной жизни, проник в сознание, мышление и психологию людей. В борьбе со всеми отравками недавнего прошлого великий социальный критик и моралист Салтыков является нашим прямым действенным помощником.

Еще в 1928 году А. В. Луначарский говорил о Салтыкове: это «писатель чуть ли не на 9/10 наш <...>. Проницательность его, правильность оценки <...> событий изумительны»¹. Многие современники первого десятилетия послеленинского периода нашей истории разделяли этот взгляд на живое значение Салтыкова для «новой злобы дня». Это удостоверяют, в частности, ответы на предпринятую мною в 1931 году анкету «Советские писатели о Щедрина». Анкета предназначалась для помещения в «щедринском томе» «Литературного наследства», но была запрещена для печати Леопольдом Авербахом, тогдашним редактором издания. Некоторые из сохранившихся ответов анкеты² были опубликованы мною (не полностью) лишь через сорок лет, в № 1 «Нового мира» за 1976 год.

Общий интерес «анкеты» заключался, в частности, в том, что, при всем индивидуальном своеобразии каждого ответа-выступления, все они вместе взятые удостоверяли факт активного «присутствия» Салтыкова в нашей литературе и обществе 1920-х — начала 1930-х годов.

Наибольший интерес из сохранившихся материалов анкеты представляет ответ М. А. Булгакова. Он видит в Салтыкове «перворазрядного художника», сообщает, что с юных лет испытывал в своем творчестве «чрезвычайное влияние» его произведений. И дальше Булгаков пишет: «Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные Клемантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывший прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным». Часть анкеты Булгакова не попала в публикацию «Нового мира» и приводится здесь впервые. В ответ на вопрос о значении Салтыкова в связи с задачами «создания» советской сатиры Булгаков отвечал: «Я уверен в том, что всякие попытки создать сатиру обречены на полнейшую неудачу. Ее нельзя создать. Она создастся сама собой, внезапно. Она создастся, когда появится писатель, который сочтет несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит к художественному обличению ее. Полагаю, что путь такого художника будет весьма и весьма трудным». А в письме к Правительству СССР от 28 марта 1930 г. Булгаков называет «самой главной» особенностью своего творчества «изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-

Щедрина»³. Влияние на свое творчество Салтыкова признали также в своих ответах И. Ильф и Евг. Петров и А. Платонов. К сожалению, их «анкеты», равно как и ответы М. Зощенко, А. Луначарского и А. Толстого, по-видимому, утрачены.

Упомянутое выше значительное «присутствие» Салтыкова в советской литературе и читательских кругах 1920-х — начала 1930-х годов подтверждается еще такими сведениями. В очерке Горького 1930 года «На краю земли» приведены цифры тиражей издания классиков в СССР за десятилетие 1920-х годов. На первом месте стоит Толстой, на втором — Пушкин, на третьем — Салтыков (1188 тысяч). Значительную литературу вызвал юбилейный для Салтыкова 1926 год — столетие со дня рождения, в том числе и за рубежом.

Одним из неизвестных у нас откликов на юбилей было стихотворение Игоря Северянина. Оно было прислано мне через Ф. Ф. Раскольникову, одного из редакторов «Литературного наследия» (в начале 1930-х годов), и предназначалось для опубликования в упомянутом «щедринском томе» издания, но не было в нем помещено. Вот это стихотворение (сонет):

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Не жутко ли, — среди губернских дур
И дураков, туземцев Пошехонья,
Застывших в вечной стадии просонья,
Живуч неумертвимый помпадур?

Неблагозвучьем звучен трубадур,
Чей голос, сотрясая беззаконье,
Вещал стране бесплодые похоронье,
Чей смех тяжел, язвителен и хмур.

Гниет, смердит от движущихся трупов
Неразрушимый вечно город Глупов —
Прорусенный, повсюдный, озорной.

Иудушки из каждой лезут щели.
Страну одолевают. Одолели.
И нет надежд. И где удел иной?⁴

Начиная с середины — конца 1930-х годов общественное внимание к Салтыкову начало падать. Он стал мало читаемым и плохо известным классиком. Знакомство с ним в школе было сведено к минимуму, а на практике порою и во-

* Булгаков имеет здесь в виду национальную самокритику — глубокую и бесстрашную, которой пронизано все творчество автора «Истории одного города».

все устранено. Его имя, обращение к его произведениям и отдельным художественным образам все реже встречалось в печати. Лишь недавно положение стало меняться в пользу Салтыкова. В 1988 году осуществлено Собрание сочинений писателя в десяти томах, с почти фантастическим для этого автора тиражом в 1 700 000 экземпляров⁵. Все чаще его имя встречается в печати в разного рода выступлениях, в контексте осмысления и критики пережитого нами трудного времени и задач преодоления всего отрицательного, что камнем лежало на пути нашего развития. В качестве примера такого упоминания сошлось на одно из выступлений Василя Быкова. На обращенный к нему вопрос, мог бы он написать такие же правдивые книги о нашей современности, какие он написал о войне, последовал ответ: «Что касается недавнего прошлого и его поразительных проблем, то, будучи реалистом, не перестаю сожалеть об отсутствии у меня дарования бессмертного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, своеобразный талант которого с таким блеском изображал все степени алогичности многих общественных явлений, успешно просуществовавших до наших дней»⁶.

Известны слова Горького: «Невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи Щедрина»⁷. Это верно. Но верна и парафраза горьковских слов: нельзя понять Щедрина, не зная истории России второй половины XIX века (и шире). И это потому, что большинство произведений Салтыкова глубоко погружено в общественную жизнь того времени, когда они создавались. Без фонда исторических знаний, без конкретных представлений о русской жизни прошлого века и ее социально-политическом быте некоторые салтыковские сочинения и их отдельные образы трудны для понимания читателей нашей эпохи. Но все же это относительно немногие исключения. Быть может, как никто из своих современников, Салтыков был философом, социологом в литературе, всегда писавшим об «основах». Другими словами, он обладал широкой общей концепцией своего творчества и от частного, преходящего всегда стремился подняться к общему. Именно поэтому его отклики на события дня, давно забытые, воплощенные в образах, в которых художественное обобщение, социальный анализ и политическая оценка *слиты воедино*, теперь, в историческом аспекте, часто приобретают актуальный интерес и актуальное значение. С ранней молодости приучивший себя мыслить большими линиями общественного развития, он — «летописец минуты» — всегда старался улавливать в «злобах дня бегущего» элементы, которые связывают этот день со днями минувшими и в то же время дают возможность протягивать от них нити к будущему, улавливать «тени грядущего».

Салтыков был одним из тех редких писателей, которые умели «проводить» положительные идеалы в отрицательной

форме, умели тревожить мысль и совесть людей, страстно верили в способность их к совершенствованию, и заявлял: «Сказать человеку толком, что он человек, — на одном этом предприятии может изойти кровью сердце. Дать человеку возможность различать справедливое от несправедливого — для достижения этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъяснения громадны и почти непреступны, но зато какие изумительные горизонты! Какое восторженное, полное непрерывного горения существование!» (XIII, 282).

Этим «непрерывным горением», на службе делу социальной справедливости, хотя более трагическим, чем «восторженным», были исполнены и творчество и жизнь Салтыкова-Щедрина — великого писателя и гражданина России.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

А. ДЛЯ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Москва.

ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, Ленинград.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, Высших органов государственной власти и государственного управления СССР, Москва.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив, Ленинград.

Б. ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Цитаты из сочинений и писем М. Е. Салтыкова даются внутри авторского текста по изданию:

Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. <и писем> в 20-ти томах. М., Художественная литература, 1965—1977. Римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

Б и Боград — Боград В. Журнал «Отечественные записки». 1868—1884. Указатель содержания. М., Книга, 1971.

Герцен — Герцен А. И. Собр. соч. <и писем> в 30-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954—1966.

Достоевский — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Публицистика и письма. Т. 18—30. Л., Наука, 1972—1988.

Елисеев. Письма — Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину. М., Изд-во Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, 1935.

Кривенко — Кривенко С. Н. М. Е. Салтыков. Его жизнь и

литературная деятельность. Биографический очерк. Изд. 3-е. Пг., 1914.

Ленин — Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1958—1970.

Лит. наследство — Литературное наследство. М., Наука (ранее — Журнально-газетное объединение), т. 1—97 (изд. продолжается).

Макашин I — Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Биография. 1826—1856. Изд. 2-е. М., 1951.

Макашин II — Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. На рубеже 1850—1860 годов. Биография. М., Художественная литература, 1977.

Макашин III — Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Середина пути. 1860—1870-е годы. Биография. М., Художественная литература, 1984.

Михайловский. Воспоминания — Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута, т. I—II. СПб., 1900.

Михайловский. Сочинения — Соч. Н. К. Михайловского, т. I—VI. СПб., изд. журнала «Русское богатство», 1896—1897.

Михайловский. Щедрин — Михайловский Н. К. Критические опыты. Н. Щедрин. М., 1890.

Некрасов — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. 1—12. М., Гослитиздат, 1948—1952.

Салтыков в воспоминаниях — М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Изд. 2-е. В 2-х томах. М., Художественная литература, 1975.

Стасюлевич в переписке — М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. 1—5. СПб., 1911—1913.

Тургенев. Сочинения. Письма — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. I—XV. Письма, т. I—XIII. М.—Л., Наука, 1960—1968.

Успенский — Успенский Г. И. Полн. собр. соч. и писем в 14-ти томах. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1941—1954.

ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ 1875—1876

1. БАДЕН-БАДЕН

¹ *Тургенев. Сочинения*, т. XIV, с. 54.

² *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 280.

³ Оболенский Л. Литературные воспоминания. — Исторический вестник, 1902, № 11, с. 501.

⁴ *Новь*, 1888, № 20, с. 203: письмо А. Ф. Писемскому от 1/13 мая 1875 г.

⁵ Унковский М. А. М. Е. Салтыков и его семья по рассказам моего отца и личным воспоминаниям. Ораниенбаум, 1934 (рукопись, хранящаяся у автора наст. книги).

⁶ *ИРЛИ*, ф. 7, оп. 1, № 10, л. 47—48: письма от 20 апреля/2 мая и 8/20 мая 1875 г.

⁷ *Лит. наследство*, т. 51-52, с. 100—101. По словам жены Салтыкова, в ее первом письме из Баден-Бадена к управляющему витневским имением А. Ф. Каблукову: «Насилу доехали сюда, в лихорадке 41 град.» (XVIII-2, 344).

⁸ См. также: *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 309.

⁹ Макашин С. П. В. Анненков о Щедрине — *Лит. наследство*, т. 13-14, с. 505—508. Давно написанное предисловие к данной публикации не во всем выражает теперешние взгляды его автора. — С. М.

¹⁰ Некрасов, т. 11, с. 358—360. Оценка Некрасовым значения Салтыкова для «Отечественных записок» разделяли и другие работники редакции. «Утрата его, — читаем в одном из тогдашних писем А. Н. Плещеева, — равнялась бы гибели «Отечественных записок» (*Русская мысль*, 1913, № 7, с. 128).

¹¹ *Некрасов*, т. 11, с. 360.

¹² См. об этих полностью не изданных воспоминаниях: *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 213, 371.

¹³ *Лит. наследство*, т. 51-52, с. 101: письмо от 2/14 мая 1875 г.

¹⁴ Там же.

¹⁵ См.: Арсеньев К. К. Салтыков-Щедрин. СПб., 1906, с. 30.

¹⁶ Пыпин А. Из записных книг. — Вопросы литературы, 1986, № 12, с. 185—186. Об этом же эпизоде см. другие свидетельства:

Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 264 и 387; Незнакомец (А. С. Суворин). Наброски о современниках.— Новое время, 1875, 28 марта, № 29, с. 1—2.

¹⁷ Информация об этом появилась в одной немецкой газете. Вырезка из нее, без обозначения названия газеты, приколота к черновой рукописи поэмы Некрасова «Современники» (*ЦГАЛИ*, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 19, л. 39).

¹⁸ *ИРЛИ*, ф. 7, оп. 1, № 30, л. 83: письмо П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу от 21 июня/4 июля 1875 г.

¹⁹ В разных вариантах рассказ этот присутствует в воспоминаниях В. И. Танеева и М. А. Унковского. См.: *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 230, 322—323.

²⁰ См. о нем *Макашин III*, по Указателю имен.

²¹ *ИРЛИ*, ф. 7, № 10, л. 49—50.

²² *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 94.

²³ *ГБЛ*, ф. 196, к. 14, ед. хр. 2.

²⁴ *Лит. наследство*, т. 51-52, с. 256: письмо Г. З. Елисеева к Н. А. Некрасову от 18/30 августа 1875 г.

²⁵ Там же, т. 97, кн. 1, с. 448: письмо Ф. И. Тютчева к Д. Ф. Тютчевой от конца июля/начала августа 1862 г.

²⁶ *Тургенев. Письма*, т. V, с. 41: письмо к М. А. Маркович от 15/27 апреля 1862 г.

²⁷ *ГБЛ*, ф. 196: «Из дневника Е. С. Некрасовой. Записки за 1875 год» (листы не представлены).

²⁸ *Елисеев. Письма*, с. 22.

²⁹ Там же, с. 24—25. Письмо Салтыкова, на которое отвечает Елисеев, неизвестно.

2. ПАРИЖ

¹ *ИРЛИ*, ф. 7, оп. 1, № 10, л. 47—48: письмо П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу от 8/20 мая 1875 г.

² Белооголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. СПб., 1901, с. 226.

³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»), т. 47. М., 1937, с. 135.

⁴ См. *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 132: письмо к Анненкову от 18/30 сентября 1875 г.

⁵ Там же.

⁶ Русская литература, 1979, № 3, с. 185: письмо от 18/30 марта 1878 г.

⁷ *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 139: письмо к Ю. П. Вревской от 5/17 октября 1875 г.

⁸ Там же, с. 146: письмо к П. В. Анненкову от 25 октября/6 ноября 1875 г.

⁹ Там же, т. VIII, с. 181 и 498.

¹⁰ Там же, т. XI, с. 195.

¹¹ *Лит. наследство*, т. 97, кн. 1, с. 386: письмо Ф. И. Тютчева к А. И. Георгиевскому от 13/1 января 1865 г.

3. НИЦА

¹ Свидетельство Г. А. Джаншиева. Сообщено Б. П. Козьминым.

² *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 149.

³ Петров Ф. А. Неизвестная рукопись А. Н. Тверитинова. — В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 9, Саратов, 1983, с. 89.

⁴ Тверитинов А. Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. СПб., 1906, с. 82 и 87—90.

⁵ *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 165.

⁶ Там же, с. 205.

⁷ Там же, с. 164.

⁸ Там же, с. 149.

⁹ *Елисеев. Письма*, с. 25—26.

¹⁰ *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 187: письмо от 1/13 января 1876 г.

¹¹ *Елисеев. Письма*, с. 34—35.

¹² *ИРЛИ*, ф. 7, № 11: письмо к И. С. Тургеневу от 3 февраля 1876 г.

¹³ *Достоевский*, т. 24, с. 305.

¹⁴ *Лит. наследство*, т. 11-12, с. 183.

¹⁵ См.: *Макашин III*, с. 276—278.

¹⁶ *Лит. наследство*, т. 51-52, с. 530.

¹⁷ *Достоевский*, т. 25, с. 52, 383.

¹⁸ Из письма Н. Н. Страхова к Толстому от 1 января 1875 г. — Толстовский музей, т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, с. 57.

¹⁹ Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1962, с. 152.

²⁰ Наблюдение Б. Я. Бухштаба. См. его книгу «Литературоведческие расследования» (М., 1982) и в ней статью «История одного замысла Щедрина», с. 104—105.

²¹ *Достоевский*, т. 22, с. 107.

²² Цитата взята из статьи Б. Я. Бухштаба «История одного замысла Щедрина» (Литературоведческие расследования, с. 104—105).

²³ Имеется, однако, и другое мнение по данному вопросу. Б. Я. Бухштаб в статье «История одного замысла Щедрина» (Литературоведческие расследования, с. 116—122) полагает, что Салтыков впоследствии еще раз вернулся к своему замыслу, а именно в «Пошехонских рассказах» 1883 года, в повествовании майора Горбылева о деревенском быке, влюбившемся в корову «Красавку» (XV-2, 11—12). Мне это мнение не представляется сколько-нибудь доказательным.

²⁴ *Михайловский. Щедрин*, с. 39.

²⁵ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 262.

²⁶ *Герцен*, т. XVI, с. 153.

- 27 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 321—322.
 28 См. об этом подробнее: *Макашин III*, с. 347.
 29 *Елисеев. Письма*, с. 38.
 30 *Ленин*, т. 39, с. 64.
 31 *Герцен*, т. XX, с. 591.
 32 *Тургенев. Письма*, т. IX, с. 164.
 33 Там же.
 34 Русский альманах. Зинаида Шаховская. Рене Герра, Евгений Терновский. Париж, 1981, с. 420—421. Сообщено В. Я. Лакшиным.
 35 *ИРЛИ*, ф. 7, № 11, письмо от 18 февраля/2 марта 1876 г.
 36 Штенберг Б. С. Кризис самодержавной власти. Глава коллективной монографии «Россия в революционной ситуации на рубеже 1870—1880-х годов» (М., 1983, с. 90 и след.).
 37 *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 190.
 38 *Современные вести*, 1917, 24 декабря, № 22.
 39 См.: *Лит. наследство*, т. 67, с. 403—404.
 40 *Голос минувшего*, 1914, кн. XI, с. 243.

4. НА ПУТИ ДОМОЙ.—ВНОВЬ ПАРИЖ И БАДЕН-БАДЕН

- 1 *ИРЛИ*, ф. 202, т. 2, № 72. Сообщено И. Павловой. В отрывке, с введением собственного текста и с неверной датой, впервые опубликовано В. Евгеньевым-Максимовым в «Новом мире» (1929, № 5).
 2 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 163—164.
 3 *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 316.
 4 Там же, с. 249.
 5 Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1863—1887, т. I. М., 1963, с. 135.
 6 См.: Заурядный читатель. Мысли по поводу текущей литературы <...>. Г. Щедрин как современный гениальный писатель. В чем он уступает Гоголю и в чем превышает его. Прогрессивность таланта г. Щедрина.— *Биржевые ведомости*, 1876, 2 апреля, № 91.
 7 *Литературная мысль*, вып. 1. Пг., 1922, с. 199—200: письмо Анненкова Тургеневу от 28 ноября 1876 г.
 8 В письме к Некрасову от 17/29 мая 1876 г. описка Салтыкова: «25-го мая <...> в среду» (XVIII-2, 293).
 9 Это намерение Салтыков осуществил в очерке «В погоню за идеалами», о котором речь шла выше.
 10 *Достоевский*, т. 25, с. 228.
 11 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 280.

ПОСЛЕДНЕЕ ДВУХЛЕТИЕ С НЕКРАСОВЫМ 1876—1878

5. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ.—ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО В ВИТЕНЕВЕ.— НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ ЦЕНЗУРНОГО ВЕДОМСТВА.—В ЛЕБЯЖЬЕМ

- 1 Дата отъезда в Витенево устанавливается на основании слов из письма Елизаветы Аполлоновны к А. Ф. Каблукову из Баден-Бадена от 25 мая 1876 года: «Мы возвращаемся домой в Россию»

⟨...⟩ будем 30 мая в Петербурге, а к 6 июня в Витене» (XVIII-2, 345). Указание на гостиницу Демута содержится в письме Елизаветы Аполлоновны к тому же адресату от 2 июня 1876 г. (Московское отделение Архива АН СССР, ф. 174 (И. А. Каблукова), оп. 3, № 145).

² А. И. Скребицкий о квартире М. Е. Салтыкова-Щедрина. — В изд.: Записки ГБЛ, вып. 6. М., 1940, с. 81.

³ В издании Салтыкова (XIX-1, 7) записка датирована «До 8 июня», нужно — 5 июня (см. примеч. 1).

⁴ См. об этом: Макашин III, глава «Дело о Заозерском наследстве», с. 506 и след.

⁵ Лит. наследство, т. 51-52, с. 461.

⁶ Там же, с. 258: письмо к Некрасову от 27 сентября 1876 г.

⁷ Салтыков К. М. Интимный Щедрин. М., 1923, с. 54.

⁸ Об обстоятельствах покупки Витенево см.: Макашин II, с. 472 и след.

⁹ В 1879 г. имение было продано петербургскому оптику Мильку (см.: Салтыков К. М. Интимный Щедрин, с. 66).

6. СЛАВЯНСКИЙ ВОПРОС.—РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА.—
«ХОЖДЕНИЕ В НАРОД».—ТУРГЕНЕВСКАЯ «НОВЬ».—РАССКАЗЫ
1870-х ГОДОВ.—«СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ»

¹ Достоевский, т. 25, с. 67.

² Михайловский. Сочинения, т. V, стлб. 790.

³ Голос, 1876, 22 июня, № 201.

⁴ Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч., т. 34, с. 24.

⁵ Лит. наследство, т. 51-52, с. 257: письмо от 27 сентября 1876 г.

⁶ Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 239.

⁷ Рейнгардт Н. Из воспоминаний о Михайловском и его времени. — Неделя современного слова, 1910, 27 сентября, № 129.

⁸ Стасюлевич в переписке, т. 3, с. 330.

⁹ Достоевский, т. 26, с. 30.

¹⁰ Де-Воллан Г. А. Очерки прошлого. — Голос минувшего, 1914, № 4, с. 124.

¹¹ Лит. наследство, т. 63, с. 157.

¹² Михайловский. Сочинения, т. 6, стлб. 646.

¹³ Тургенев. Письма, т. XII, кн. 1, с. 83 и 97.

¹⁴ Там же, с. 91.

¹⁵ Там же, с. 315.

¹⁶ Луканина А. Мое знакомство с И. Тургеневым. — Северный вестник, 1887, № 3, с. 63—64.

¹⁷ Отечественные записки, 1877, № 2, с. 325.

¹⁸ Лит. наследство, т. 49-50, с. 192.

¹⁹ Тургенев. Письма, т. XII, кн. 1, с. 113.

²⁰ ЦГАЛИ, ф. 572, оп. 1, ед. хр. 113, л. 9—10.

²¹ Макашин III, с. 396.

²² Следует думать, что источником информации Салтыкова о «процессе 50-ти» был, кроме газет, один из защитников подсудимых, адвокат и поэт, печатавшийся в «Отечественных записках», А. Л. Боровиковский. Он находился в дружеских отношениях с Салтыковым и часто посещал его.

²³ Тургенев. Сочинения, т. XII, с. 219.

²⁴ Ленин, т. 1, с. 403. Подчеркнуто мною. — С. М.

²⁵ Кузнецова Галина. Грасский дневник. Вашингтон, 1967, с. 115.

²⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч., т. 1, с. 371.

²⁷ Литература партии «Народная воля». М., 1930, с. 28—30.

²⁸ Ленин, т. 24, с. 333—334.

²⁹ Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-х — начала 80-х годов XIX века. М., 1979, с. 219—220.

³⁰ Русская старина, 1899, № 2, с. 304.

³¹ Мысляков В. А. Салтыков-Щедрин и народническая демократия. Л., 1984, с. 160 (примеч.).

³² Успенский, т. VI, с. 195.

³³ Одним из частных проявлений такого сочувствия была предложенная Салтыковым и, вероятно, осуществленная безвозмездная посылка его книг в 1878 г. в Повенецкую общественную библиотеку. Ею пользовались почти исключительно политические ссыльные, которых было тогда много в Олонецкой губернии.

³⁴ В цензурно смягченной редакции и под новым названием рассказ «Чужой толк» появился в «Отечественных записках» лишь в 1880 г., в декабрьской книжке. Однако начало «Чужой беды...» было частично использовано в рассказе «Дворянские мелодии», опубликованном в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1877 г.

³⁵ ИРЛИ, ф. 7: письмо Анненкова Тургеневу от 27 апреля/9 мая 1877 г.

7. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД.—ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ.— БОЛЕЗнь И СМЕРТЬ НЕКРАСОВА

¹ «XXV лет. 1859—1884». Сборник, изданный Комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 120, 138, 154, 165 и 171.

² Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3. М.—Л., 1960, с. 445.

³ Там же, т. 7, с. 7.

⁴ ИРЛИ, ф. 155, л. 371: приложение к Журналам Комитета Литературного фонда за 1880 г., мая 12.

⁵ Стасюлевич в переписке, т. 3, с. 180.

⁶ ГПБ. Архив А. Н. Пыпина. Письма В. П. Гаевского, № 7, л. 9.

- 7 *ИРЛИ*, ф. 528, ед. хр. 21.
- 8 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 69.
- 9 Садовников Д. Н. Встречи с И. С. Тургеневым. — Русское прошлое, 1923, № 1, с. 74—75.
- 10 Голос (СПб.), 1879, 29 декабря, № 328.
- 11 Горький М. Полн. собр. художеств. произв. в 25-ти томах, т. 15. М., 1972, с. 555—556.
- 12 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 256.
- 13 *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 1, № 274: письмо Е. А. Салтыковой к М. М. Стасюлевичу от 3 декабря 1889 г.
- 14 Русская мысль, 1912, № 4: письмо А. Н. Плещеева к А. С. Гацискому от 28 декабря 1884 г.
- 15 *Достоевский*, т. 21, с. 276.
- 16 Там же, т. 14, с. 350.
- 17 Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, с. 376—377.
- 18 См., например: *Достоевский*, т. 15, с. 574; Салтыков-Щедрин М. Е., т. XIII, с. 729.
- 19 Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. М., 1981, с. 84. См. также: Туниманов В. А. Творчество Достоевского. 1854—1862. Л., 1980, с. 235—245 (раздел: Достоевский и Салтыков-Щедрин).
- 20 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 315.
- 21 *Достоевский*, т. 17, с. 345.
- 22 *Макашин III*, с. 509—511.
- 23 *Достоевский*, т. 29, кн. 2, с. 18.
- 24 Там же, т. 18, с. 170.
- 25 Литературный архив, вып. 6. Л., 1961, с. 267.
- 26 *Достоевский*, т. 24, с. 51.
- 27 Там же, с. 250, 311, 314.
- 28 Там же, т. 23, с. 144.
- 29 Там же, т. 24, с. 275, 283, и т. 23, с. 189.
- 30 Там же, т. 23, с. 144.
- 31 Там же, т. 24, с. 308.
- 32 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 262.
- 33 Имеется в виду рецензия известного критика Ф. Брюнетьера на французское издание «Что делать?» Чернышевского: *Revue des Deux Mondes*, 1876, 15 octobre, p. 949—958.
- 34 *Достоевский*, т. 25, с. 26—27.
- 35 Там же, т. 24, с. 303.
- 36 Там же, т. 29, кн. 2, с. 139.
- 37 Там же, с. 174.
- 38 Там же, с. 175.
- 39 Вопросы литературы, 1971, № 9, с. 190.
- 40 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 168—169.
- 41 *Достоевский*, т. 27, с. 52.
- 42 Голос минувшего, 1913, № 2, с. 235—236. Запись в дневнике А. И. Эртеля от 6 февраля 1884 г.

- 43 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 15.
- 44 Там же, т. 1, с. 331.
- 45 Евгенийев-Максимов В. и Рейсер С. Автобиография Некрасова. — *Лит. наследство*, т. 49-50, с. 133—138.
- 46 Там же, с. 171—172.
- 47 Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 467. Свидетельство П. И. Вейнберга.
- 48 Посвященное Некрасову некрологическое начало елисеевского «Внутреннего обозрения» было впоследствии перепечатано в книге «Пролетарские писатели — Некрасову» (Пг.—М., 1928).
- 49 Вопросы литературы, 1987, № 4, с. 189—197.
- 50 Во всяком случае некролог не указан в специальной работе, посвященной данной теме: Киселев А. К. Отражение смерти и похорон Н. А. Некрасова в периодической печати. — В кн.: Влияние творчества Некрасова на русскую поэзию. Республ. сб. научных трудов, вып. 53. Ярославль, 1978, с. 132—144.
- 51 *ИРЛИ*, ф. 283, оп. 1, ед. хр. 21. При описании некролога в справочнике Богграда о предположении Колосова ничего не сказано, хотя оно и было известно автору указателя.
- 52 *Лит. наследство*, т. 53-54, с. 188.

ВО ГЛАВЕ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» 1878—1884

8. НОВОЕ УСТРОЙСТВО РЕДАКЦИИ.—ТРИУМВИРАТ: САЛТЫКОВ — ЕЛИСЕЕВ — МИХАЙЛОВСКИЙ

- 1 *ЦГИАЛ*, ф. 776, оп. 3, 1865, № 139, 229 и след.
- 2 *Макашин III*, с. 310—312.
- 3 *Кривенко*, с. 51.
- 4 *Лит. наследство*, т. 61-62, с. 258.
- 5 См.: *Макашин II*, гл. 27, и *Макашин III*, гл. 22.
- 6 *Кривенко*, с. 51.
- 7 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 20.
- 8 Там же, т. 1, с. 312.
- 9 Там же, т. 2, с. 18—19.
- 10 Литературный архив, вып. 6. Л., 1961, с. 361.
- 11 Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, с. 269.
- 12 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 301.
- 13 *Кривенко*, с. 59.
- 14 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 279.
- 15 *ИРЛИ*, ф. 366, оп. 7, № 22: черновик письма Г. З. Елисеева к Н. А. Белоголовому, конец 1889 г.
- 16 *Михайловский. Воспоминания*, т. I, с. 505.
- 17 *Елисеев. Письма*, с. 30.
- 18 *Герцен*, т. II, с. 407.

¹⁹ Елисеев Г. З. Сочинения, т. 1. СПб., 1894. Цитируются слова из предисловия Н. К. Михайловского, с. 44.

²⁰ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 81, л. 97–100.

²¹ ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, ед. хр. 21, л. 16: черновик рукописи статьи Г. З. Елисеева о Салтыкове.

²² Там же.

²³ Елисеев. *Письма*, с. 163.

²⁴ Там же, с. 77.

²⁵ Там же, с. 163.

²⁶ Там же, с. 91.

²⁷ Лавров П. Л. Последовательные поколения. Женева, 1892, с. 3–4.

²⁸ ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, ед. хр. 20 и 21. Одна рукопись – автограф Елисеева, другая – список рукой его жены Е. П. Елисеевой.

²⁹ Некрасов и Салтыков (Из посмертных бумаг Г. З. Елисеева). – Русское богатство, 1893, № 9, с. 47–69; М. Е. Салтыков в письмах к Г. З. Елисееву. – Заветы, 1914, № 4, отд. II, с. 22–48.

³⁰ ИРЛИ, ф. 266, ед. хр. 290, л. 15–15 об. и 40 об.: письмо к С. Н. Южакову от 13 и 16 сентября 1903 г.

³¹ Михайловский. *Щедрин*, с. 115.

³² Из письма Салтыкова к Михайловскому от 15 марта 1885 г. (XX, 156–157).

³³ Михайловский. *Воспоминания*, т. 1, с. 58, и *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 136–137.

³⁴ Михайловский. *Воспоминания*, т. 1, с. 58.

³⁵ Имелась в виду статья В. Л. Кигна (без подписи) «На новый год» (Неделя, СПб., 1884, № 1, стлб. 25–30).

³⁶ Минувшие годы, 1908, № 1, с. 128. См. трактовку данного вопроса в кн.: Виленская Э. С. Н. К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-х – начала 80-х годов XIX века, с. 209.

³⁷ Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 118.

³⁸ ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 796, с. 52–53.

³⁹ Михайловский. *Щедрин*, с. 19.

⁴⁰ Такой вопрос-предположение высказала В. А. Твардовская в статье-рецензии на книгу Э. С. Виленской «Н. К. Михайловский...» (Вопросы литературы, 1985, № 8).

⁴¹ Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 240.

⁴² Искра, 1901, № 2. Цитируется по изд.: «Искра». Л., 1925, вып. 1, с. 36.

⁴³ ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. № 787.

⁴⁴ Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 7. СПб., 1912, с. 90 и 442.

⁴⁵ Михайловский. *Щедрин*, с. 16.

¹ Советская историческая энциклопедия, т. 9. М., 1956, стлб. 518: статья о Н. К. Михайловском И. К. Пантина. Но в т. 10 (М., 1967), стлб. 673, в статье С. С. Дмитриева о самом журнале дана более осторожная формулировка: «Отеч. записки» были *как бы* легальным органом народничества 70—80-х годов» (подчеркнуто мною. — С. М.).

² Ленин В. И. Тетради по аграрному вопросу. 1900—1916. М., 1969, с. 31.

³ Ленин, т. 48, с. 89.

⁴ Там же, т. 1, с. 413.

⁵ Михайловский. Сочинения, т. VI, с. 349.

⁶ Ленин, т. 2, с. 531.

⁷ Этой теме посвящена книга: Смирнов В. Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин. Саратов, 1964.

⁸ Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 224.

⁹ Редакторской работе над текстами произведений Гл. Успенского посвящена статья Н. И. Мордовченко в кн.: Глеб Успенский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1938, с. 420—425.

¹⁰ Глеб Успенский в жизни. Составил А. С. Глинка-Волжский. М.—Л., 1935, с. 354.

¹¹ Из письма Гл. Успенского к В. М. Соболевскому от 12 сентября 1893 г. (в кн.: «Русские ведомости». 1813—1913 гг. М., 1913, с. 268).

¹² Из черновика неоконченного письма в редакцию «Нового времени» (Голос минувшего, 1918, № 1, с. 216).

¹³ Успенский, т. XIII, с. 497.

¹⁴ Филимонова Л. В. И. Танеев. Библиографический очерк. — Неизданная рукопись, с. 67 (сообщено автором в начале 1930-х годов).

¹⁵ Островский. 1823—1923. К столетию со дня рождения. Юбилейный сборник. Под ред. А. А. Бахрушина (и др.). М., 1923, с. 23.

¹⁶ Лит. наследство, т. 13-14, с. 417.

¹⁷ Джаншиев Гр. А. М. Унковский и освобождение крестьян. М., 1894, с. 4.

¹⁸ Устное сообщение акад. Е. В. Тарле автору наст. труда в середине 1930-х годов.

¹⁹ Боград, с. 502.

²⁰ См.: Макашин III, с. 368—369.

²¹ Подробный обзор английских и американских художественных произведений, опубликованных в «Отечественных записках» 1868—1884 гг., см. в статье: Foote I. P. «Otechestvennye Zapiski» and English Literature. 1868—1884. — In: Oxford Slavonic Papers, № 5, vol. 6 (1973). Названия произведений упомянутых авторов, появившихся в русских переводах на страницах «Отечественных записок», см. Боград (по именному указателю).

²² Перевод письма Э. Ожешко с польского был сделан для Салтыкова по его просьбе Р. И. Сементовским. Ему принадлежит инициатива ознакомления Салтыкова с польской демократической литературой.

- 23 Макашин III, с. 354—355.
- 24 Русанов Н. С. На родине. М., 1931, с. 230—231; *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 240.
- 25 Смирнов В. Б. Н. Н. Златовратский и «Отечественные записки». — В кн.: Проблемы теории и истории русской литературы. Сборник, № 49. Свердловск, 1966, с. 41.
- 26 *Лит. наследство*, т. 51-52, с. 486—488.
- 27 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 182.
- 28 Лавров П. Последовательные поколения. Женева, 1892, с. 3.
- 29 См. *Лит. наследство*, т. 49-50, с. 495—506.
- 30 Макашин III, с. 372—373.
- 31 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Изд. 2-е. М., 1951, с. 306: письмо Ф. Энгельса к В. Засулич.
- 32 Там же, с. 293.
- 33 Подробнее о Ш.-Л. Шассене и его обозрениях см. в монографии: Kira Sanine. Les Annales de la Patrie et la diffusion de la pensée française en Russie. Paris, 1935, p. 114—119; *Лит. наследство*, т. 62, с. 478—484.
- 34 *Ленин*, т. 2, с. 508—521 и 603.
- 35 Тихомиров Л. Воспоминания. М.—Л., 1927, с. 159—161.
- 36 *Боград*, с. 778, Русская периодическая печать (<...>). Справочник под ред. А. Г. Дементьева и др. М., 1958, с. 473.
- 37 ЦГАЛИ, ф. 285, ед. хр. 38: письмо М. М. Ковалевского, 1912 г. к М. П. Негрескул (дочери П. Л. Лаврова).
- 38 *Герцен*, т. XXVII, с. 13.
- 39 Головин К. Мои воспоминания, т. II. СПб., 1910, с. 159.

10. ЗА РЕДАКТОРСКИМ СТОЛОМ

- 1 См.: Макашин III, с. 358—385.
- 2 *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 281.
- 3 Невский альманах. Пг., 1917, с. 45.
- 4 Михайловский. *Воспоминания*, т. I, с. 214.
- 5 *Лит. наследство*, т. 49-50, с. 591—592.
- 6 Автор посланной рукописи не установлен.
- 7 ИРЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 75: письмо П. Д. Боборыкина Н. К. Михайловскому от 1 октября 1880 г.
- 8 Михайловский. *Щедрин*, с. 169, и *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 118—119.
- 9 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»), т. 77-78, с. 105.
- 10 *Успенский*, т. VI, с. 427 и 429.
- 11 Там же, с. 430.
- 12 См.: Михайловский. *Сочинения*, т. IV, с. 947—967, и *Успенский*, т. VI, с. 431—445.
- 13 *Достоевский*, т. 26, с. 151 и 152.
- 14 Там же, т. 26, с. 139.
- 15 Там же, с. 150.

- ¹⁶ *Достоевский*, т. 30, кн. 1, с. 156.
- ¹⁷ Волгин И. Последний год Достоевского. М., 1986, с. 267 и 269.
- ¹⁸ *Достоевский*, т. 26, с. 130.
- ¹⁹ Там же, с. 441—492: обстоятельный комментарий к «пушкинской речи».
- ²⁰ Там же, т. 27, с. 46.
- ²¹ Там же, с. 49.
- ²² *Тургенев. Письма*, т. XI, кн. 2, с. 272.
- ²³ Северный вестник, 1888, № 10, с. 161.
- ²⁴ *ИРЛИ*, ф. 7, № 13, л. 7—8: письмо П. В. Анненкова к И. С. Тургеневу от 3 сентября 1880 г.
- ²⁵ *Достоевский*, т. 26, с. 460.
- ²⁶ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 271.
- ²⁷ См. об этом: Мордовченко Н. И. М. Е. Салтыков — редактор Г. И. Успенского. — В кн.: Глеб Успенский. Материалы и исследования, т. 1. Л., 1938, с. 744 и след.
- ²⁸ Непосредственная работа редакторского пера Салтыкова документально установлена в кн.: *Боград*, в примечаниях.

11. КОНЕЦ 1870-х — НАЧАЛО 1880-х ГОДОВ. — «КРУГЛЫЙ ГОД». — «УБЕЖИЩЕ МОНРЕПО». — «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». — «ЗА РУБЕЖОМ»

- ¹ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 271—272.
- ² *Елисеев. Письма*, с. 91.
- ³ Розанов В. М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюрократии. — *Новое слово*, 1910, № 11, с. 19.
- ⁴ Русское слово, 1908, 29 апреля, № 99, с. 2.
- ⁵ 1) Гинзбург Ф. Русская библиотека Маркса и Энгельса и К. Маркс как читатель Салтыкова-Щедрина. — В кн.: *Группа освобождения труда <...>*. Под ред. Л. Г. Дейча. Сб. 4. М.—Л., ГИЗ, 1926, с. 357—388 и 361—369. 2) Яковлев Б. Карл Маркс и русская литература. — *Дружба народов*, 1958, № 5, с. 3—9 и др.
- ⁶ Марков Евгений. Критические беседы. VII. Сатира и роман в настоящем году. — *Русская речь*, 1879, № 12, с. 241—287; Голловин К. (Орловский). Русский роман и русское общество. Изд. 2-е. СПб., 1904, с. 260—284.
- ⁷ См. сопоставительную таблицу очерков «Круглого года» в их журнальных публикациях и в отдельном издании — XIII, 751.
- ⁸ *Успенский*, т. XIII, с. 220.
- ⁹ Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932, с. 215—216.
- ¹⁰ *Лит. наследство*, т. 11-12, с. 474.
- ¹¹ Плансон А. А. Былое и настоящее. СПб., 1905, с. 261—267.
- ¹² Добровольский Л. М. Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1848—1917. М.—Л., 1961; Баскаков В. Н. Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1918—1965.

М.—Л., 1966; Баскаков В. Н. Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1965—1974. — В кн.: Салтыков-Щедрин, 1826—1876. М., 1976.

¹³ *Макашин III*, гл. 6: «Журнальная полемика».

¹⁴ Подробнее о статье Ткачева «Безобидная сатира» см.: Мысляков В. А. Салтыков-Щедрин и народническая демократия. Л., 1984, с. 149.

¹⁵ Дело, 1876, кн. 10.

¹⁶ Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. СПб., 1892, с. 3.

¹⁷ Письма Н. В. Шелгунова и С. Н. Кривенко. — *Вестник Европы*, 1911, № 4, с. 22—23.

¹⁸ Прохоров Г. Судьба литературного наследства Г. Е. Благоветлова. — *Лит. наследство*, т. 7-8, с. 316.

¹⁹ Русанов Н. С. На Родине. 1859—1882. М., 1931, с. 230—231.

²⁰ См.: *Макашин III*, гл. 4: «Современные призраки».

²¹ Утин Евг. Сатира Щедрина «Круглый год» <...>. — *Вестник Европы*, 1881, № 1, с. 303—327.

²² *Тургенев. Письма*, т. XIII, кн. 1, с. 266.

²³ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 264.

²⁴ *Тургенев. Письма*, т. XI, с. 190.

²⁵ Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., 1980, с. 458.

²⁶ Из письма А. И. Ремизова ко мне из Парижа, от 13 сентября 1949 г.

²⁷ *ГПБ* (Архив А. Н. Пыпина). Письмо М. М. Стасюлевича 1880 г., л. 25 об.—26.

²⁸ *ИРЛИ*, ф. 233, оп. 1, ед. хр. 14332, л. 24 об.

²⁹ Гаршин В. М. Полн. собр. соч. в 3-х томах, т. 3. М., 1934, с. 178. Письмо, относящееся, несомненно, к 1880 г., опубликовано с неверной редакторской датой «Конец февраля 1879 г.».

³⁰ Боборыкин П. Д. Иудушка в театре Пушкина. — *Русские ведомости*, 1880, 18 ноября, № 297, с. 1—2. Криптоним «К» принадлежит Н. Н. Куликову.

³¹ Горький М. Полн. собр. художеств. произв. в 25-ти томах, т. 15, с. 565—566.

³² *ЦГАОР*, ф. 1762, оп. 4, № 33, л. 30—31.

³³ Там же, л. 32—33.

³⁴ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 268.

³⁵ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х гг. М., 1964, с. 158.

³⁶ Салтыков К. М. *Интимный Щедрин*, с. 25—26.

³⁷ Во всяком случае никаких документальных следов такого обращения нет ни в архивных фондах Верховной распорядительной комиссии, ни в личных бумагах Лорис-Меликова. (Устное сообщение автору проф. П. А. Зайончковского.)

³⁸ К <артавцов> Е. Щедрин во Франции. — *Киевлянин*, 1881, 13 марта, № 58, с. 1.

³⁹ *Ленин*, т. 26, с. 143.

⁴⁰ Маркс К. и Энгельс Ф. *Соч.*, т. 17, с. 272.

- ⁴¹ Ленин, т. 14, с. 237.
⁴² Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, с. 68.

12. ПОСЛЕ 1-го МАРТА 1881 ГОДА. — ВСТРЕЧИ С ЛОРИС-МЕЛИКОВЫМ. — РАЗОБЛАЧЕНИЕ «СВЯЩЕННОЙ ДРУЖИНЫ». — «ПИСЬМА К ТЕТЕНЬКЕ». — «СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛИЯ». — «ПОШЕХОНСКИЕ РАССКАЗЫ»

- ¹ Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 332.
² ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 33, л. 30—31.
³ Пищулин Ю. П. М. Е. Салтыков и «Священная дружина...». — Русская литература, 1986, № 1, с. 182—183.
⁴ Там же, с. 181.
⁵ Там же, с. 182—183.
⁶ «Trois contes russes de Chtchédrine (pseud.)». Traduits par Ed. O'Farelle. Paris, Librairie des bibliophiles, 1881. В книгу вошли переводы «Сказок»: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик». Переводам предпослано предисловие переводчика, весьма высоко оценивающего творчество писателя.
⁷ Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 260—261.
⁸ Там же, с. 263.
⁹ Голос минувшего, 1915, кн. IV, с. 224: письмо от 12 сентября 1881 г.
¹⁰ ИРЛИ, ф. 293, оп. 1, № 812, л. 11.
¹¹ Феокистов Е. М. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929, с. 199.
¹² Литературная летопись (Сатирическая хроника г. Щедрина...). — Голос, 1882, 7 января, № 2, с. 1—2.
¹³ Гиппиус Вас. Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. — В кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти. Статьи и материалы. Л., 1939, с. 60—61.
¹⁴ Тургенев. Письма, т. XIII, кн. 2, с. 89.
¹⁵ ИРЛИ, ф. 7, ед. хр. 13: письмо к И. С. Тургеневу от 29 октября/10 ноября 1882 г.
¹⁶ Дневник Д. А. Милютин. 1881—1882. Под ред. П. А. Зайончковского, т. 4. М., 1950, с. 120.
¹⁷ Из письма И. В. Федорова к А. И. Эртелю от 6 августа 1881 г. — Записки ГБЛ, вып. 6. М., 1940, с. 79.
¹⁸ Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881—1914 гг. Прага, 1929, с. 152—155.
¹⁹ См. об этом: XIV, 679—680; Гиппиус Вас. Дополнительные письма к тетеньке. — В кн.: Звенья, т. III—IV. М.—Л., 1934, с. 739 и сл.
²⁰ Раннее утро, 1914, 27 апреля, № 97, с. 3.
²¹ Дневник Е. М. Феокистова. Запись от 22 февраля 1891 г. — ИРЛИ, ф. 9122, Пб, 54, л. 26.

- 22 Биржевые ведомости, 1882, 30 апреля. См. также: Всемирная иллюстрация, 1882, 15 мая, № 1.
- 23 Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 463.
- 24 Вестник Европы, 1883, № 1—4.
- 25 ГПБ, ф. 621, № 833, л. 10.
- 26 Вестник Европы, 1881, № 1, с. 303.
- 27 Календарь «Народной воли» на 1883 год. Женева, 1883; Лавров П. Последовательные поколения, Женева, 1892, с. 3.
- 28 Блок Александр. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 463.
- 29 Лит. наследство, т. 13-14, с. 357—358: письмо П. В. Анненкова от 1 октября 1880 г.
- 30 Тургенев. Письма, т. XIII, кн. 2, с. 50—51.
- 31 В. Г. Короленко о литературе. М., 1957, с. 363—364.
- 32 Русанов Г. А. Поездка в Ясную Поляну.—Толстовский ежегодник, 1912. М., 1912, с. 69—70.
- 33 Русская мысль, 1883, № 2, с. 61 (вторая пагинация).
- 34 Московская газета, 1883, 21 марта, № 76, с. 1.
- 35 ЦГАЛИ, ф. 40, оп. 1, № 28; Дневник К. К. Арсеньева, тетрадь № 146, л. 63.
- 36 ИРЛИ, 20408, л. 23 и ГПБ, ф. 621, № 181, л. 15.
- 37 Лит. наследство, т. 1, с. 203.
- 38 В письме от 30 сентября 1884 г. С. П. Белоголова писала П. Л. Лаврову в Париж: «Revue nouvelle» с фотографией Салтыкова, выходящего из леса, вчера получили. Очень благодарим» (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 33, л. 100—101).
- 39 Из дневника В. П. Гаевского.—Красный архив, № 100, т. 3. М., 1940, с. 230.
- 40 ЦГАОР, ф. 102, оп. 166, 1885, д. 5, л. 71—71 об. В донесении сообщается, в частности, что во время обеда производился сбор денег. Когда один из присутствующих спросил писателя Гаршина «на что собираются деньги», Гаршин ответил: «Конечно, в пользу «Народной воли».
- 41 Из дневника В. П. Гаевского.—Красный архив, № 100, т. 3, с. 231.
- 42 Лит. наследство, т. 76, с. 239.
- 43 Московские ведомости, 1883, № 261, с. 1.
- 44 Михайловский. Щедрин, с. 158—159; Елисеев. Письма, с. 160.
- 45 ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 37, л. 64 об.
- 46 Там же, ф. 32, л. 116—117.
- 47 Русь, 1883, 15 декабря, № 24.
- 48 ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 33, л. 4—5.

**13. ЦЕНзуРА. — ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК». — ОТКЛИКИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ**

¹ Документальные материалы, входящие в названные книги и в дополняющие их позднейшие публикации, в основном учтены в книге: Богград В. Журнал «Отечественные записки». 1868—1884.

Указатель содержания. М., 1971. В этой главе большинство ссылок на цензурную документацию дается по этому изданию, обозначенному внутри текста курсивной буквой «Б».

² *Тургенев. Письма*, т. XIII, кн. 2, с. 49.

³ Брошюра цензора Ф. Еленева «О злоупотреблениях литературы и действиях цензуры» была издана в 1896 г. малым тиражом, для служебного пользования. См.: Теплинский М. В. «Отечественные записки». 1868—1884, с. 383.

⁴ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 32, л. 18—19 и 21—22: письма Н. Е. Белоголового к П. Л. Лаврову от 14 и 18 февраля 1883 г.

⁵ *Лит. наследство*, т. 76, с. 302: статья С. К. Брюлловой о романе «Новь».

⁶ Теплинский М. В. «Отечественные записки». 1868—1884, с. 106.

⁷ Папковский Б., Макашин С. Некрасов и литературная политика самодержавия. — *Лит. наследство*, т. 49-50, с. 474—478.

⁸ Там же, с. 488—506.

⁹ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 44—45.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 274 (М. И. Семевского), ед. хр. 16, л. 166—167.

¹¹ Отечественные записки, 1880, № 3, с. 127.

¹² *Ленин*, т. 5, с. 46.

¹³ ГПБ, ф. 621 (А. Пыпина), л. 62: письма М. М. Стасюлевича 1882 г.

¹⁴ ЦГАОР, ф. 102 (Департамент полиции), 1-й секретный архив, № 1763, л. 257—258.

¹⁵ *Лит. наследство*, т. 49-50, с. 524—526, и т. 87, с. 442—460.

¹⁶ ЦГАОР, ф. 586 (В. К. Плева), оп. 1, ед. хр. 1156, л. 17—17 об.

¹⁷ Там же, л. 19—20.

¹⁸ Воспоминания Е. М. Феоктистова. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Л., 1929, с. 240—242.

¹⁹ Там же, с. 242.

²⁰ ГБЛ, ф. 120 (М. Н. Каткова), ед. хр. 6.31, л. 15—15 об. Сообщено Ю. П. Пищулиным.

²¹ ЦГАОР, ф. 586 (В. К. Плева), оп. 1, ед. хр. 1189, л. 1—1 об.

²² Тихомиров Л. А. Воспоминания. М.—Л., 1927, с. 81, и *Боград*, с. 517.

²³ См. Гиппиус Вас. Салтыков и русская нелегальная печать в 1884 г. — *Лит. наследство*, т. 13-14, с. 537—542.

²⁴ Правительственный вестник, 1884, 20 апреля, № 87.

²⁵ ГБЛ, ф. 230 (К. Победоносцева), карта 4393, ед. хр. 21.

²⁶ ЦГАОР, ф. 102 (Перлюстрация), 1883, оп. 265, ед. хр. 3.

²⁷ ИРЛИ, ф. (Н. К. Михайловского), 181, оп. 1, ед. хр. 768, л. 6 об.

²⁸ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 130.

²⁹ ЦГАОР, ф. 102 (Департамент полиции), д. 53, т. 1 («Вещественные доказательства»), л. 125.

³⁰ См. Колпенский В. М. Салтыков-Щедрин и «Общественный союз». — *Русское прошлое*, 1923, № 4; Анатольев П. А. К истории закрытия журнала «Отечественные записки». — *Каторга*

и ссылка, 1929, № 8—9; Воспоминания Н. М. Терешенкова.— *Лит. наследство*, т. 11-12, с. 487—488; Бурцев В. Л. Рассказы о Щедрина.— *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 185—198.

³¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Неизданные письма. М.—Л., 1932, с. 418—419.

³² Там же.

³³ *Лит. наследство*, т. 13-14, с. 540.

³⁴ ЦГАОР, ф. 102 (Перлюстрация), оп. 168, ед. хр. 6, 1884(1), л. 237. Сообщ. Ю. П. Пищулиным.

³⁵ Там же, л. 234—235 об.

³⁶ Там же.

³⁷ *Лит. наследство*, т. 13-14, с. 336. Здесь письмо Салтыкова к Н. И. Бахметьеву датировано 20 июня. В собр. соч.— 30 июня 1884 г. (XX, 42).

³⁸ ЦГАОР, ф. 102, VII делопроизводство, д. 553, ч. 1, 1884, л. 39.

³⁹ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 189—191.

⁴⁰ ЦГАОР, ф. 1167 (Вещественные доказат.), оп. 2, ед. хр. 3071. Сообщено Ю. П. Пищулиным.

⁴¹ Там же, ф. 102 (Перлюстрация), оп. 265, ед. хр. 10.

⁴² Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 10, с. 46.

⁴³ ИРЛИ, ф. 366, ед. хр. 21, л. 36—40.

⁴⁴ ЦГАОР, ф. 1741, ед. хр. 7893, л. 40—41.

⁴⁵ <Белоголовый Н. А.>. Реакционный террор.— Общее дело (Женева), 1884, № 61, с. 1.

⁴⁶ ГПБ, ф. 621 (А. Н. Пыпина), ед. хр. 181, л. 15: записка В. П. Гаевского.

⁴⁷ Гаршин В. М. Полн. собр. соч. в 3-х томах, т. 3, с. 329.

⁴⁸ Там же, с. 319.

⁴⁹ Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 года. Сост. А. И. Ульянова-Елизарова. М.—Л., 1927, с. 78—79.

⁵⁰ Русская литература, 1980, № 3, с. 220. Публ. Б. Черемисина.

⁵¹ ИРЛИ, ф. 285, ед. хр. 7, л. 268: запись в дневнике С. Смирновой-Сазоновой от 28 февраля 1884 г.

⁵² Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927, с. 19.

⁵³ ГБЛ, ф. 120 (М. Каткова), ед. хр. 23, л. 117. Сообщено Л. Р. Ланским.

⁵⁴ Головин К. Мои воспоминания, т. II (1881—1894 гг.). СПб., 1910, с. 158—159.

⁵⁵ Кауфман А. Оклеветанный сатирик.— Русская старина, 1914, № 4, с. 78—84.

⁵⁶ ЦГАОР, ф. 102, (Перлюстрация), оп. 265, ед. хр. 10: выписка из письма от 7 мая 1884 г. («А. Б.» к Н. М. Никольскому в Астрахань).

НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ

1884 — 1889

14. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЛ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК». — «БЕЗ СВОЕГО УГЛА». — ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: «ПЕСТРЫЕ ПИСЬМА»

¹ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 32, л. 64—65: письмо Белоголового к П. Л. Лаврову от 22 июня (1884 г.), в котором он излагает то, что сообщил ему С. П. Боткин.

² ЦГАЛИ, ф. 640 (В. М. Лаврова), оп. 1, ед. хр. 244, л. 4—4 об.

³ Гаршин В. М. Полн. собр. соч. в 3-х томах, т. 3, с. 333.

⁴ Подробно данный эпизод исследован на документальном материале в статье: Пищулин Ю. Г. М. Е. Салтыков и журнал «Русская мысль» в 1884 году. — Русская литература, 1974, № 2, с. 171—175.

⁵ Там же, с. 173.

⁶ Там же, с. 174.

⁷ Есин Б. Е. К характеристике журнала «Русская мысль» в 1880—1885 гг. — Сб.: «Из истории русской журналистики». М., 1953, с. 237—248.

⁸ Лит. наследство, т. 13-14, с. 336.

⁹ Есин Б. Е. К характеристике журнала «Русская мысль» в 1880—1885 гг. — Сб.: «Из истории русской журналистики», с. 243.

¹⁰ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 34, л. 49—50: сведения из письма Белоголового к П. Л. Лаврову из Висбадена от 10 июля (1884 г.).

¹¹ Стасюлевич в переписке, т. 3, с. 433.

¹² Северный вестник, 1886, № 12, отд. II, с. 159.

¹³ ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 2, 1865, ед. хр. 162, ч. 2, л. 100—101.

15. БОЛЕЗНЬ СЫНА. — ОБ «ИСПОВЕДИ» Л. ТОЛСТОГО. — ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ: К УНКОВСКОМУ — В РОДНЫЕ МЕСТА; К БЕЛОГОЛОВУМУ — ЗА ГРАНИЦУ

¹ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 34, л. 23—24.

² Михайловский. Сочинения, т. 6, с. 641—642.

³ Цитаты взяты в книге Громеки из разных мест «Исповеди» и «В чем моя вера?» Л. Н. Толстого (см. также: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»), т. 23).

⁴ Макашин III, с. 167—169 и 371.

⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М.—Л., 1956, с. 215.

⁶ ГБЛ, ф. 207 (ОЛРС), оп. 10, ед. хр. 1.

⁷ Одесский вестник, 1885, 29 июня, № 144, с. 1—2.

⁸ Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 251.

⁹ Там же, с. 310.

¹⁰ Там же, с. 330. Автографическая рукопись мемуарного очерка С. А. Унковской находится у автора настоящего труда. Из нее заимствованы некоторые уточнения, внесенные в цитируемый текст.

- ¹¹ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 252.
- ¹² *ЦГАОР*, ф. 1762, оп. 4, № 34, л. 45–46: письмо от 8 июля 1885 г.
- ¹³ Там же, № 32, л. 2.
- ¹⁴ *ГБЛ*, ф. 22 (Н. А. Белоголового): письма С. Я. Надсона от 1 июля и 6 августа 1885 г.
- ¹⁵ *La Philosophie du bons sens*, Tours, 1900, p. 668–669; *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 373–374.
- ¹⁶ *ЦГАОР*, ф. 1762, оп. 4, № 33, л. 70–71: письмо от 22 июля 1889 г.
- ¹⁷ *ГПБ*, ф. 621 (А. Н. Пыпина), 1885, л. 21 об.
- ¹⁸ *ИРЛИ*, ф. 233 (М. М. Стасюлевича), оп. 1, ед. хр. 105, л. 1.
- ¹⁹ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 255.
- ²⁰ *ЦГАОР*, ф. 1762, оп. 4, № 34, л. 62–63.
- ²¹ Там же, № 32, л. 21–22: приписка к письму Белоголового от 8 июля 1884 г.
- ²² Там же, № 36, л. 42–42 об.
- ²³ Календарь «Народной воли» на 1883 год. Женева, 1883, с. 97.
- ²⁴ Лавров П. Последовательные поколения. Женева, 1892, с. 3.
- ²⁵ Записки *ГБЛ*, вып. 2. М., 1939, с. 50.
- ²⁶ Общее дело, Женева, 1879, март, № 23, с. 3.
- ²⁷ Записки *ГБЛ*, вып. 2, с. 58–66.
- ²⁸ Там же, с. 67.
- ²⁹ *ЦГАОР*, ф. 1762, оп. 4, № 35, л. 64–65.
- ³⁰ Там же, № 34, л. 78–79, и № 36, л. 77–78.
- ³¹ Там же, № 36, л. 85–86.
- ³² Там же, оп. 4, № 86, л. 5–6.
- ³³ См. об этой теории: *Макашин I*, с. 417 и след.
- ³⁴ *ЦГАОР*, ф. 1782, оп. 4, № 35, л. 54–55.
- ³⁵ Там же, № 38, л. 23–24.
- ³⁶ Христофоров А. Х. «Общее дело». История и характеристика издания. Штуттгарт, 1903, с. 30.
- ³⁷ *ЦГАОР*, ф. Секретного архива Департамента полиции, № 23.
- ³⁸ Общее дело, Женева, 1887, № 97, с. 1.
- ³⁹ Борщевский С. Новое о Салтыкове-Щедрине. — *Новый мир*, 1938, № 7, с. 247–248.
- ⁴⁰ *ГБЛ*, ф. 22 (Н. А. Белоголового), п. 2/4. Запись Белоголового впервые опубликована мною в 1-м изд. «Салтыков в воспоминаниях современников» (М., 1957, с. 594).
- ⁴¹ Госуд. Исторический музей в Москве. Отдел письменных источников, ф. 282, ед. хр. 4696, А–460, л. 19 (копия письма Н. А. Белоголового); сообщено Ю. П. Пищулиным. В копии дата письма представлена неправильно — 8 июля. В это время Салтыков был уже в Висбадене.
- ⁴² *ЦГАОР*, ф. 1782, оп. 4, № 34, л. 62, и № 34, л. 68–69.
- ⁴³ *ГПБ*, ф. 171 (В. П. Гаевского).
- ⁴⁴ *ЦГАОР*, ф. 1763, оп. 4, № 34, л. 76–77; № 33, л. 92–93; № 34, л. 80–81.

16. ПОСЛЕ ВИСБАДЕНА. — «СКАЗКИ». — ПРИГЛАШЕНИЕ К
К СОТРУДНИЧЕСТВУ В «ПОСРЕДНИКЕ». —
САМОКРИТИКА ПИСАТЕЛЯ И ПОЛЕМИКА С ЕЛИСЕЕВЫМ. —
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»

- 1 Салтыков К. М. Интимный Щедрин, с. 15.
- 2 В советское время наиболее пристально занимались «Сказками» и комментированием их А. С. Бушмин, Б. Я. Бухштаб и В. Н. Баскаков.
- 3 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Изд. 2-е, с. 130.
- 4 ГБЛ, ф. 196 (Е. С. Некрасовой), ед. хр. 306 (1886 г.).
- 5 Ленин, т. 5, с. 87-92.
- 6 Кривенко, с. 58.
- 7 Г. (Е. М. Гаршин.) Литературные беседы. — Биржевые ведомости, СПб., 1886, 17 октября, № 283, с. 1.
- 8 Анненский И. Книга отражений. М., 1979, с. 231.
- 9 Ленин, т. 1, с. 403.
- 10 Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 253—254 и 377.
- 11 Макашин II, с. 385—397.
- 12 Ленин, т. 1, с. 268; т. 22, с. 84 и 268; т. 14, с. 240.
- 13 Стасюлевич в переписке, т. 5, с. 23.
- 14 ГПБ (архив А. Н. Пыпина). Письма к нему М. М. Стасюлевича, 1885 г., л. 20 об.
- 15 Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 332.
- 16 Записки ГБЛ, вып. 6, с. 75.
- 17 ГБЛ (архив Белоголового), п. 5, ед. хр. 16—18.
- 18 ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, п. 34, л. 98—99.
- 19 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»), т. 63, с. 307—308.
- 20 Лит. наследство, т. 13-14, с. 516.
- 21 Там же, с. 518.
- 22 Там же, с. 517.
- 23 Там же.
- 24 Там же, т. 90, кн. 1, с. 186.
- 25 Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 322—323.
- 26 Макашин I, с. 526.
- 27 ЦГАОР, ф. 1062, оп. 2, ед. хр. 410, л. 5 (подлинник по-французски).
- 28 Макашин I, с. 346.
- 29 Макашин II, с. 368.
- 30 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Изд. 2-е, с. 233.
- 31 Ленин, т. 11, с. 244.
- 32 Лит. наследство, т. 13-14, с. 412.
- 33 Елисеев. Письма, с. 180—181.
- 34 Там же, с. 179—180.
- 35 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма в 12-ти томах, т. 1. М., 1974, с. 198.
- 36 Лит. наследство, т. 13-14, с. 383—384.

³⁷ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, п. 35, л. 54—55.

³⁸ Лит. наследство, т. 90, кн. 2, с. 292.

³⁹ Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 334.

17. ЖЕНА И ДЕТИ.—«АД СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ».—БОЛЕЗНИ.—
«ОБРОШЕННЫЙ».—ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

¹ Макашин I, с. 393, и Макашин II, с. 70 и след.

² Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 218.

³ Там же, с. 320.

⁴ См. об этой рукописи и ее содержании: Макашин I, с. 431—433.

⁵ ЦГАЛИ, ф. 880, ед. хр. 4394/158, листы не нумерованы.

⁶ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 35, л. 50—51.

⁷ ИРЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского): переписка Е. А. Салтыковой с Е. П. Елисеевой.

⁸ Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 262.

⁹ Унковская С. А. Мои воспоминания о Мих. Евгр. Салтыкове. Рукопись хранится у автора настоящего труда.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 572, оп. 1, ед. хр. 343, л. 116—117.

¹¹ Двинский И. У дочери М. Е. Салтыкова. — Биржевые ведомости, утр. выпуск, 1914, 27 апреля, № 14123 (вкладной лист).

¹² Унковская С. А. Мои воспоминания о Мих. Евгр. Салтыкове.

¹³ ИРЛИ, ф. 181 (Н. К. Михайловского). Переписка Е. А. Салтыковой с Е. П. Елисеевой.

¹⁴ Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 332.

¹⁵ Там же, т. 2, с. 289—290.

¹⁶ Там же, с. 290—293.

¹⁷ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 34, л. 75. Письмо от 21 августа 1886 г.

¹⁸ Выдержки из писем С. П. Боткина и его жены Е. А. Боткиной приводятся по рукописям: ГБЛ, ф. 22, п. 5, ед. хр. 16—18 и 30—31.

¹⁹ Шалфеев Б. Последние дни М. Е. Салтыкова-Щедрина (По рассказу очевидца). — Газ. «Сегодня» (Париж), 1926, 31 января, № 24.

²⁰ ГБЛ, ф. 22 (Н. А. Белоголового), п. 5, ед. хр. 16—18.

²¹ Там же.

²² Запись приведена В. И. Семевским в примечаниях к его статье «Петрашевцы. Кружок Кашкиных» (Голос минувшего, 1916, т. IV, с. 187).

²³ ГБЛ, ф. 22 (Н. А. Белоголового), п. 5, ед. хр. 30—31.

²⁴ М. Е. Салтыков-Щедрин. Воспоминания К. Салтыкова. — Литературно-художественный сборник «Красная Панорама». Л., 1929, с. 39.

²⁵ ГПБ, ф. 621 (А. Н. Пыпина). Письма к А. М. Скабичевскому. Письмо от 17 сентября 1885 г.

²⁶ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 36, л. 67—68.

²⁷ Там же, л. 71.

²⁸ Венгерова З. А. Из записок современницы. Воспроизводится по рукописи, присланной мне из Парижа в 1934 г. Впервые, в несколько иной редакции, опубликовано в журнале «Звезда» (1930, № 9-10, с. 290—292).

²⁹ Плещеев писал сыну 6 апреля 1888 года: «Я сегодня был у Салтыкова. Он редко кого хвалит из новых писателей, но о «Степи» Чехова сказал, что это прекрасно и видит в нем *действительный талант*» (*Лит. наследство*, т. 68, с. 295).

³⁰ ЦГАЛИ, ф. 549, оп. 1, ед. хр. 312.

³¹ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 1, с. 326—327.

³² Там же, с. 327.

18. «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА».—ЗАМЫСЕЛ ИДЕЙНОГО ЗАВЕЩАНИЯ: «ЗАБЫТЫЕ СЛОВА»

¹ ИРЛИ, ф. 366, оп. 1, № 236.

² *Достоевский*, т. 13, с. 455.

³ ИРЛИ, ф. 366, оп. 1, № 236 и 237.

⁴ Записки ГБЛ, вып. 6, с. 73.

⁵ Яковлев Н. В. «Пошехонская старина» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Из наблюдений над работой писателя). М., 1968.

⁶ ЦГАОР, ф. 1762, оп. 4, № 36, л. 99—100. Письмо из Vevey от 24 октября (1887 г.)

⁷ *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 310—311.

⁸ Там же, т. 1, с. 321.

⁹ ИРЛИ, ф. 366, оп. 1, № 249.

¹⁰ См. об этом: Макарова Е. М. Семейный архив Салтыковых. Обзор.— *Лит. наследство*, т. 13-14, с. 445—462; она же. Реальные источники «Пошехонской старины» (рукопись, 1939 г.; хранится в ИРЛИ); *Макашин I* (главы о детстве Салтыкова).

¹¹ Записки А. М. Унковского.— *Русская мысль*, 1906, кн. 7, с. 187.

¹² *Салтыков в воспоминаниях*, т. 2, с. 263—264.

¹³ Арсеньев К. К. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова.— Полн. собр. соч. Салтыкова, изд. 5-е, т. 1, с. 16.

¹⁴ *Кривенко*, с. 9.

¹⁵ *Михайловский. Сочинения*, т. V, с. 235.

¹⁶ Некрасов и Салтыков. Из посмертных бумаг Г. З. Елисеева.— *Русское богатство*, 1893, кн. 9, с. 55—56.

¹⁷ Пыпин А. Н. Салтыков Мих. Евгр.— Статья в «Русском биографическом словаре», СПб., 1904, с. 87—100.

¹⁸ См. об этом: *Макашин I*, гл. 1: «В «Пошехонском гнезде».

¹⁹ *Лит. наследство*, т. 90, кн. 1, с. 443—444.

²⁰ Из письма к В. В. Тимофеевой-Починковской, около 30 мая 1889 г.— Успенский Г. Полн. собр. соч. в 14-ти томах, т. XIV, с. 302—303.

²¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»), т. 65, с. 133.

- 22 Ленин, т. 20, с. 38—39.
- 23 Там же, т. 7, с. 184.
- 24 Там же, т. 25, с. 90.
- 25 Там же, т. 1, с. 301.
- 26 Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 12—13.
- 27 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. Изд. 2-е, с. 92.
- 28 Русская мысль, 1889, кн. 1, с. 27.
- 29 Мир божий, 1904, № 4, с. 2.
- 30 Салтыков в воспоминаниях, т. 1, с. 330.
- 31 Там же, с. 321.
- 32 Там же, т. 2, с. 41 и 114.
- 33 Из статьи А. Н. Пыпина о Салтыкове в «Русском биографическом словаре».
- 34 Вестник Европы, 1889, № 6, с. 847—848.
- 35 Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 12.
- 36 Михайловский Н. К. Памяти Щедрина. — Русские ведомости, 1889, № 119, с. 3, и Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 114.
- 37 Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 69.

19. СМЕРТЬ.—ПОХОРОНЫ.—ОТКЛИКИ СОВРЕМЕННИКОВ

- 1 Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 296—297.
- 2 Такое же свидетельство содержится в воспоминаниях М. А. Унковского: Салтыков в воспоминаниях, т. 2, с. 324.
- 3 Содержание рассказа Т. А. Метисовой взято из письма ко мне конца 1950-х годов Киры Саниной, автора большой французской монографии о Салтыкове («Saltykov-Chtchédrine. Sa vie et ses oeuvres», par Kira Sanine. Paris, 1955). В несколько иной редакции приведенный рассказ появился впервые в публикации: Шалфеев Б. Последние дни М. Е. Салтыкова-Щедрина (По рассказу очевидца). — Газ. «Сегодня» (Париж), 1926, 31 января, № 24.
- 4 ГБЛ, ф. 22 (Белоголового). Из письма С. П. Боткина к Н. А. Белоголовому от 18 мая 1889 г.
- 5 Эльзон М. На Литейном, 62. Несколько новых страниц о последних годах и смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина. — В кн.: Белые ночи. Очерки, зарисовки, документы, воспоминания. Л., 1975, с. 368—375.
- 6 Лит. наследство, т. 13-14, с. 203.
- 7 Описание похорон Салтыкова взято из сообщения петербургского корреспондента парижского русского журнала «Социалист» («Le Socialiste»), 1889, № 1, с. 28—30.
- 8 См.: Эфрос Нат. Отклики на смерть Салтыкова. Библиография. — Лит. наследство, т. 13-14, с. 247—274.
- 9 Московские ведомости, 4 мая 1889 г.
- 10 Шелгунов Н. В. Очерки русской жизни. СПб., 1895, с. 795—796.
- 11 ЦГАЛИ, ф. 1158 (С. М. Степняка-Кравчинского), л. 78. Текст сообщен и переведен на русский М. И. Перпер.

¹² Успенский, т. XIV, с. 286—287.

¹³ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма в 12-ти томах, т. 3, с. 212—231.

¹⁴ Стасюлевич в переписке, т. 5, с. 349. Из письма к М. М. Стасюлевичу от 11 мая 1889 г.

¹⁵ ГБЛ, ф. 16 (Я. Л. Барскова), оп. 1, 4 об. Из письма к П. Ф. Преображенскому от 10 июня 1889 г.

¹⁶ Цитата приводится по кн.: Турков А. М. Ваш суровый друг. М., 1988, с. 312.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

¹ ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 2, ед. хр. 132, л. 33. Письмо к В. П. Полонскому от 3 ноября 1928 г.

² Рукописи ответов на анкету 32-х писателей считались мною утраченными. Но через много лет они поступили в ЦГАЛИ, хотя и не все.

³ Цитируется по статье Евг. Сидорова в «Литературной газете» (1988, 28 марта, № 12).

⁴ В сопроводительной записке сообщалось, что стихотворение было опубликовано в вышедшей в Риге русской газете «Сегодня», в номере от 26 марта 1926 г.

⁵ Издание 1988 г. «Библиотеки «Огонька» под редакцией С. А. Макашина и К. И. Тюнькина.

⁶ Огонек, 1987, № 19, с. 2.

⁷ Горький М. История русской литературы. М., 1939, с. 274.

УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абаза Николай Саввич — 75, 226, 298, 301, 302
- Абашидзе, князя — 414
- Абрамов (лит. псевд. Федосеев)
Яков Васильевич — 158, 172, 278, 328
- Аввакум, протопоп — 177, 468
- Авдеев Михаил Васильевич — 55
- Авербах Леопольд Леонидович — 469
- Аверкиев Дмитрий Васильевич — 68, 117, 118, 120, 168, 322
- Авсеев Василий Григорьевич — 42, 43, 168
- Аксаков Иван Сергеевич — 163, 168, 188, 207, 284, 285, 322, 348, 366
- Аксаков Сергей Тимофеевич — 218, 440, 445
- Александр II — 69, 83, 100, 128, 141, 146, 204, 225—227, 238, 239, 250, 252, 292, 294, 299, 300, 302
- Александр III — 243, 250, 260, 278, 292, 302, 306, 309, 316, 334, 372, 421, 429
- Алексеев Петр Алексеевич — 91
- Альбов Михаил Нилович — 278
- Анатольев П. А. — 492
- Андреев-Бурлак (наст. фам. Андреев, сценич. псевд. Бурлак)
Василий Николаевич — 103, 224
- Анненков Павел Васильевич — 8—12, 14, 16, 17, 22, 24—26, 28, 31, 36, 37, 40, 41, 45, 50—54, 63, 65, 83, 87—89, 91, 97, 98, 122—124, 193, 194, 206, 226, 229, 233, 254, 255, 264—266, 277, 303, 312, 313, 323, 340, 350, 356, 363—365, 477, 478, 480, 482, 488, 491
- Анненкова (урожд. Ракович)
Глафира Александровна — 364
- Анненский Иннокентий Федорович — 376, 496
- Антонов, сын И. И. Антонова — 34
- Антонов Иван Иванович — 34
- Анучин Дмитрий Николаевич — 318
- Арапетов Иван Павлович — 57, 225, 229, 245
- Арсеньев Константин Константинович — 208, 263, 271, 341, 406, 413, 414, 431, 441, 462, 477, 491, 498
- Арцимович Виктор Антонович — 364
- Ахшарумов Николай Дмитриевич — 184
- Байрон Джордж Ноэл Гордон — 170
- Бакунин Михаил Александрович — 29, 34, 35, 84, 161, 359
- Бальзак Оноре де — 4, 107, 191, 222, 233, 416
- Баранцевич Казимир Станиславович — 278
- Барбье Огюст — 170
- Бардина Софья Илларионовна — 91
- Барсков Яков Лазаревич — 466, 500

- Баскаков Владимир Николаевич — 207, 488, 489, 496
- Баталов Максим Андреевич — 77
- Батюшков, генерал — 34
- Бах Иоганн Себастьян — 202
- Бахметьев Николай Николаевич — 317, 329, 334, 493
- Бахрушин Алексей Александрович — 486
- Безобразов Владимир Павлович — 412
- Бекетов Андрей Николаевич — 100, 101
- Белинский Виссарион Григорьевич — 7, 26, 40, 96, 120, 137, 152, 154, 155, 280, 347, 368, 386, 445, 494
- Белинский Максим — см. Ясинский И. И.
- Белоголовая Софья Петровна — 353—355, 491
- Белоголовый Николай Андреевич — 8, 13, 21, 22, 24, 25, 32, 34, 44, 46, 56, 63, 66, 71, 104, 112, 125, 130, 139, 145, 173, 220, 224, 225, 227, 228, 240—245, 248, 257, 261, 270, 271, 275—277, 281, 282, 284, 285, 293, 297, 310, 313, 320, 326—328, 330, 332, 337, 343, 350—363, 365—367, 374, 381, 382, 393, 400, 407, 408, 410, 412, 415, 417, 419—422, 424—427, 429, 435—439, 441, 451, 457, 478, 484, 492—497, 499
- Берви-Флеровский Василий Васильевич — 173
- Бернштам Леопольд Адольфович — 456
- Бёрнет Фрэнсис Элиза — 170
- Бильрот Теодор — 122
- Бисмарк Отто фон Шёнхаузен — 232
- Благосветлов Григорий Евлампиевич — 208, 211, 489
- Блан Луи — 47, 52, 209, 269, 293
- Блок Александр Александрович — 4, 100, 156, 230, 251, 262, 265, 359, 377, 482, 491
- Боборыкин Петр Дмитриевич — 79, 167, 180, 185, 224, 245, 246, 487, 489
- Боград Владимир Эммануилович — 291, 292, 297, 304, 475, 484, 486—488, 491, 492
- Бодлер Шарль — 170
- Бойесен Хьялмар Хьерд — 169
- Болдарев Николай Аркадьевич — 322
- Болтина Екатерина Ивановна — 406, 417
- Борель, владелец ресторана в Петербурге — 88, 100, 261
- Борисов Петр Иванович — 357
- Боровиковский Александр Львович — 269—271, 274, 295, 332, 336, 409, 482
- Борщевский Соломон Самойлович — 104, 107, 495
- Боткин Сергей Петрович — 122, 228, 240, 261, 262, 327, 329, 343, 355, 356, 367, 381, 393, 409, 412, 415, 417—419, 422, 424, 425, 438, 455—457, 459, 494, 497, 499
- Боткина (урожд. Оболенская) Екатерина Алексеевна — 381, 417, 418, 424, 457, 497
- Брем Альфред Эдмунд — 370
- Брет-Гарт — см. Гарт Ф.-Б.
- Брызгалов Дмитрий Николаевич — 272
- Брюллова (урожд. Кавелина) Софья Константиновна — 294, 491
- Брюнетьер Фердинанд — 113, 483
- Булгаков Михаил Афанасьевич — 469, 470
- Буцин Иван Алексеевич — 92, 218
- Буренин Виктор Петрович — 208, 291, 466
- Бурцев Владимир Львович — 493
- Буткевич (урожд. Некрасова) Анна Алексеевна — 123, 124, 130
- Бутовский Александр Иванович — 34

- Бухштаб Борис Яковлевич — 479, 496
 Бушмин Алексей Сергеевич — 431, 496
 Быков Василь (Василий) Владимирович — 471
 Быков Петр Васильевич — 278
 Быховец, генерал — 31
 Вагнер Николай Петрович — 118
 Валуге Петр Александрович — 53
 Васильев А. В. — 456, 457, 459
 Васильев Николай Васильевич — 379
 Ватсон Эрнест Карлович — 364
 Введенский (лит. псевд. Аристархов) Арсений Иванович — 208, 263, 341, 348
 Ведров Владимир Максимович — 342
 Вейнберг Петр Исаевич — 484
 Венгеров Семен Афанасьевич — 208, 210, 211
 Венгерова Зинаида Афанасьевна — 427, 498
 Венюков Михаил Иванович — 374, 375
 Верга Джованни — 170
 Верховский Иоанн — 125
 Виардо Гарсиа Мишель Полина — 25
 Викторова Зинаида Николаевна — 125
 Виленская Эмилия Самойловна — 171, 482, 485
 Винницкая (псевд. Будзианик Александры Александровны) — 194
 Владимир Александрович, вел. князь — 243, 409
 Вовчок Марко (наст. имя и фам. Мария Александровна Виленская-Маркович) — 478
 Войнич Этель Лириан — 461
 Волгин Игорь Леонидович — 191, 488
 Волкова (урожд. Оболенская) Елизавета Андреевна — 415, 416
 Вольтер — 34
 Воронцов Василий Павлович — 172
 Воронцов-Дашков Илларион Иванович — 242
 Воропанов Федор Федорович — 101
 Вревская (урожд. Варпаховская) Юлия Петровна — 59, 88, 478
 Вяземский Павел Петрович — 298, 303
 Гагаринов Петр Петрович — 31
 Гаевский Виктор Павлович — 69, 100—103, 241, 246—248, 271, 277, 279, 321, 365, 482, 491, 493, 495
 Гайдебуров Павел Александрович — 101, 278, 335
 Гальперин-Каминский Илья Данилович — 51
 Гамбетта Леон — 28, 47, 48, 52, 53, 233, 269, 293
 Гарибальди Джузеппе — 29, 83
 Гарин Н. (наст. имя и фам. Николай Георгиевич Михайловский) — 440
 Гарт Фрэнсис Брет — 169
 Гаршин Всеволод Михайлович — 46, 92, 100, 167, 172, 180, 182, 224, 321, 332, 489, 491, 493, 494
 Гаршин Евгений Михайлович — 376, 496
 Гаршина (урожд. Акимова) Екатерина Степановна — 224, 321, 332
 Гаспер Александр Карлович — 142
 Гациский Александр Серафимович — 104, 483
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих — 49
 Гейлигенталь (Хейлигенталь), врач Салтыкова — 9, 13, 14
 Гейне Генрих — 170
 Георгиевский Александр Иванович — 478
 Герра Рене — 480
 Герцен Александр Иванович — 8,

- 15, 23, 29, 31, 40, 45, 49, 84, 145, 152, 155, 158, 177, 230, 253, 261, 280, 295, 357, 444, 475, 479, 480, 484, 487
- Герцо-Виноградский Семен Титович — 341
- Гете Иоганн Вольфганг — 191
- Гинзбург Ф. — 488
- Гиппиус Василий Васильевич — 104, 254, 490, 492
- Гирс Дмитрий Константинович — 167
- Глинка-Волжский Александр Сергеевич — 486
- Говоруха-Отрок Юрий Николаевич — 450
- Гогель — 414
- Гоголь Николай Васильевич — 27, 38, 40, 51, 60, 96, 107, 113, 168, 182, 192, 203, 208, 222—225, 251, 255, 281, 347, 393, 445, 480
- Голланд Джосия Гилберт — 169
- Головачев Алексей Адрианович — 173
- Головачев Аполлон Филиппович — 142
- Головачева Наталья Филипповна — 142
- Головин Константин Федорович — 177, 323, 324, 450, 487, 488, 493
- Головин Александр Васильевич — 25, 256
- Гольцев Виктор Александрович — 164, 278, 317, 334
- Гонкур Жюль — 51
- Гонкур Эдмон — 50—52, 57
- Гончаров Иван Александрович — 167, 177, 196, 222, 278, 289, 321, 489
- Горчаков Александр Михайлович — 12, 17
- Горчаков Михаил Иванович — 127, 128
- Горький Алексей Максимович — 18, 167, 224, 230, 251, 261, 262, 377, 470, 471, 483, 489, 500
- Градовский Александр Дмитриевич — 73
- Градовский Григорий Константинович — 190, 192
- Грановский Тимофей Николаевич — 152, 357
- Греков Николай Порфирьевич — 308
- Грессер Петр Аполлонович — 381, 461, 462
- Грибоедов Александр Сергеевич — 60, 111, 113, 319, 378
- Григорович Дмитрий Васильевич — 103, 277
- Григорьев Аполлон Александрович — 65, 289
- Григорьев Василий Васильевич — 69, 73—75, 133, 136, 298—301, 480
- Гринвуд Джеймс — 169
- Гриневицкий Игнатий Иоахимович — 238
- Громека Михаил Степанович — 344, 345, 494
- Грот Константин Карлович — 95
- Грот Николай Яковлевич — 282
- Гуревич Яков Григорьевич — 416
- Гурко Иосиф Владимирович — 84, 228, 294
- Гюго Виктор Мари — 29, 112, 170, 233, 409
- Даниельсон Николай Францевич — 175, 371, 449
- Данилевский Григорий Петрович — 117
- Данилова, хозяйка пансиона в Нище — 31, 33
- Двинский И. — 497
- Де-Воллан Григорий Александрович — 83, 205, 481
- Дейч Лев Григорьевич — 488
- Делянов Иван Давидович — 309
- Дементьев Александр Григорьевич — 487
- Демерт Николай Александрович — 20
- Демут Филипп Якоб — 69, 481
- Дерулед Поль — 170

- Джаншиев Григорий Аветович — 167, 278, 479, 486
- Дженкинс Эдвард — 169, 170
- Диккенс Чарльз — 39, 51, 169, 445
- Дильвин Е.-А. — 170
- Дмитриев Сергей Сергеевич — 486
- Дмитриева Валентина Иововна — 118
- Добровольский Лев Михайлович — 207, 341, 488
- Добролюбов Николай Александрович — 84, 154, 155, 165, 209, 263, 280, 360, 391, 449
- Доде Альфонс — 170
- Долгоруков Владимир Андреевич — 333, 334
- Долинин Аркадий Семенович — 483
- Домонтович Константин Иванович — 229
- Донон, владелец ресторана в Петербурге — 100, 103, 165, 271, 277, 321
- Достоевская (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна — 109, 110, 188, 194
- Достоевский Федор Михайлович — 19, 40—42, 52, 65, 68, 70, 78, 83, 84, 92, 99, 102, 104—120, 126, 129, 146, 147, 163, 167, 172, 175, 177, 180, 182, 186, 188—194, 196, 204, 219, 222—224, 230, 262, 267, 314, 347, 358, 434, 462, 475, 479—483, 487, 488, 498
- Дрентельн Александр Романович — 204
- Дружинин Александр Васильевич — 170, 412
- Дуббельт, помещик — 76
- Дуббельт, жена Дуббельта — 76
- Дубов Владимир Федорович — 90
- Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич — 120, 288, 480, 484
- Евреинова Анна Михайловна — 372, 373, 429
- Еленев (псевд. Скалдин) Федор Павлович — 173, 175, 293, 492
- Елизарова-Ульянова Анна Ильинична — 70, 321, 427, 493
- Елисеев Григорий Захарович — 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 37, 39, 48, 70, 74, 79, 82, 95, 121, 125—128, 130, 133, 134, 139—141, 143—149, 151, 154, 156, 158, 168, 171—174, 177, 180, 186, 188, 192, 197, 211, 226, 229, 239, 241, 244, 245, 258, 270, 271, 274, 276, 277, 288, 292, 295, 301, 302, 305, 319, 327, 328, 337, 355—357, 360, 362, 367, 381, 382, 391, 392, 408, 409, 412, 415, 430, 433, 438, 443, 449, 452, 475, 478—480, 484, 485, 488, 491, 496, 498
- Елисеева (урожд. Гофштетгер, по первому мужу Корбецкая) Екатерина Павловна — 408—409, 412, 414, 485, 497
- Ераков Александр Николаевич — 13, 39, 54, 55, 123, 125
- Ермолова Мария Николаевна — 318—319
- Есенин Сергей Александрович — 180
- Есин Борис Иванович — 494
- Жемчужников Алексей Михайлович — 7, 24, 133, 134, 167, 168, 185
- Жиль-Наза (наст. имя Давид Антуан Шапулад) — 229
- Жуковский Василий Андреевич — 57
- Жуковский Николай Иванович — 34
- Жуковский Павел Васильевич — 57
- Жуковский Юлий Галактионович — 174
- Заичневский Петр Григорьевич — 311

- Зайончковский Петр Андреевич — 226, 489, 490
 Зайцев Варфоломей Александрович — 176, 208, 211, 362
 Засодимский Павел Владимирович — 126
 Засулич Вера Ивановна — 70, 85, 134, 487
 Захарьин Сергей Александрович — 462
 Зибер Николай Иванович — 174
 Златовратский Николай Николаевич — 143, 161, 162, 411, 487
 Золя Эмиль — 29, 50—52, 57, 58, 71, 111, 219
 Зотов Владимир Рафаилович — 141, 403
 Зошенко Михаил Михайлович — 470

 Иванов, студент — 462
 Иванов-Разумник (наст. фам. Иванов) Разумник Васильевич — 157
 Игнатъев, учитель танцев в Петербурге — 414
 Игнатъев Николай Павлович — 177, 249, 250, 290, 298, 300, 302, 303
 Ильф Илья (наст. имя и фам. Илья Арнольдович Файнзильберг) — 470
 Иоанн Кронштадский — 423 — 425, 457

 Каблиц Иосиф Иванович — 278
 Каблуков Алексей Федорович — 11, 75—77, 477, 480, 481
 Каблуков Иван Алексеевич — 481
 Кавелин Константин Дмитриевич — 45, 95, 271, 277, 320, 321, 331, 336, 409
 Кавеньяк Луи Эжен — 23
 Калабин Сергей Иванович — 75
 Капуано Луиджи — 170
 Каракозов Дмитрий Иванович — 134, 144
 Карнович Евгений Петрович — 312
 Каронин С. (наст. имя и фам. Николай Еллидифорович Петропавловский) — 161
 Картавцов Евгений Епафродимович — 489
 Катков Михаил Никифорович — 28, 168, 188, 194, 206, 207, 225, 257, 259, 262, 270, 304, 307, 308, 310, 311, 322, 329, 338, 362, 426, 492, 493
 Кауфман Абрам Евгеньевич — 324, 493
 Кашкин Николай Сергеевич — 497
 Кетриц Бернард Эрнестович — 82, 83
 Кигн Владимир Львович — 485
 Кизеветтер Александр Александрович — 256, 490
 Кирпотин Валерий Яковлевич — 431
 Киселева А. К. — 484
 Китаев Ф. И. — 15
 Клемансо Жорж — 60, 61, 64
 Ковалевский Максим Максимович — 177, 225, 229, 390, 487
 Ковнер Аркадий (Авраам-Урия, Альберт) Григорьевич — 116
 Козлов Александр Александрович — 333
 Козлов Николай Илларионович — 241
 Козьмин Борис Павлович — 479
 Кок Поль Шарль де — 54
 Колосов Евгений Евгеньевич — 129, 484
 Колпенский В. В. — 492
 Кольцов Алексей Васильевич — 402, 447
 Комарович Василий Леонтьевич — 107
 Кони Анатолий Федорович — 166
 Консидеран Виктор — 22, 394
 Контский Аполлинарий — 55
 Коппе Франсуа Эдуард Жоакен — 170

- Короленко Владимир Галактионович — 182, 261, 266, 491
- Костомаров Николай Иванович — 286
- Кошелев Александр Иванович — 241, 242
- Краббе Николай Карлович — 141
- Кравчинский С. М. — см. Степняк-Кравчинский С. М.
- Краевский Андрей Александрович — 28, 55, 72, 101, 124, 128, 133, 134, 137—141, 147, 270, 304, 305, 311, 328
- Крамской Иван Николаевич — 59, 130, 392, 480
- Кранихфельд Владимир Павлович — 102, 415, 422
- Красовская — см. Скребицкая М. И.
- Крестовский В. — см. Хвоцинская Н. Д.
- Кривенко Сергей Николаевич — 102, 134, 141, 142, 145, 156, 158, 172, 180, 194, 196, 273, 239, 278, 308, 310, 311, 313, 328, 374, 441, 451, 452, 475, 484, 489, 496, 498
- Кривцов Николай Иванович — 445
- Кривцов Сергей Иванович — 445
- Кронеберг Станислав — 47
- Кропоткин Дмитрий Николаевич — 204
- Кропоткин Петр Алексеевич — 243, 244, 362, 444
- Крузе Николай Федорович — 348
- Крупская Надежда Константиновна — 158
- Кузминский Александр Михайлович — 383
- Кузнецова Галина Николаевна — 482
- Куликов Николай Николаевич — 489
- Курочкин Николай Степанович — 8, 29, 170, 171, 328
- Кутейников Николай Степанович — 141
- Лабуле де Лефевр Эдуард Рене — 61
- Лаверецкий Николай Акимович — 457
- Лавров Вукол Михайлович — 247, 329
- Лавров Петр Лаврович — 34, 58, 95, 145, 148, 151, 173, 174, 176, 224, 225, 235, 242, 244, 256, 263, 273, 277, 281, 284, 285, 293, 319, 334, 343, 352—355, 357—360, 362, 363, 365, 382, 386, 387, 393, 407, 417, 426, 438, 464, 485, 487, 491, 492, 494, 495
- Лазаревский Василий Матвеевич — 141, 173, 296, 297
- Лакруа Поль — 426
- Лакшин Владимир Яковлевич — 480
- Ламанский Евгений Иванович — 245
- Ламенне Фелисите Робер — 385
- Ланский Леонид Рафаилович — 493
- Лафарг Поль — 174, 175
- Лаффан Мей — 169
- Лебедев Николай Евграфович — 169, 263, 269, 291, 292, 295—299, 304
- Лейкин Николай Александрович — 392
- Лемке Михаил Константинович — 380
- Ленин Владимир Ильич — 48, 52, 70, 85, 91, 94, 143, 154, 157, 158, 161, 175, 177, 191, 231, 233, 251, 302, 307, 321, 344, 374, 376, 379, 391, 396, 427, 448, 469, 476, 480, 482, 486, 487, 489, 490, 492, 496, 499
- Леонтьев И. Л. — см. Щеглов Ив.
- Леонтьев Павел Михайлович — 259
- Леопарди Джакомо — 170
- Лепешинский Пантелей Николаевич — 158
- Лермонтов Михаил Юрьевич — 55
- Лесков Николай Семенович — 168, 196

- Лефрен Селина — 125
 Линтон Элиза Линн — 169
 Липа (Олимпиада), горничная и экономка Салтыковых — 75
 Лихачев Владимир Иванович — 20, 21, 25, 229, 240, 241, 248, 271, 274, 275, 343, 351, 355, 356, 364, 380—382, 388, 413, 419, 420, 455, 457, 463
 Лихачева (урожд. баронесса Косинская) Елена Иосифовна — 364, 412, 413, 419
 Лонгфелло Генри Уодсуорт — 170
 Лопатин Герман Александрович — 58, 357, 371, 393
 Лорис-Меликов Михаил Тариелович — 145, 159, 189, 225—228, 239, 241—244, 290, 298, 300—302, 363, 466, 489, 490
 Луженовский (лит. псевд. Л. Невский) Николай Николаевич — 166
 Луканина Аделаида Николаевна — 481
 Лукин (лит. псевд. Скромный наблюдатель) Александр Петрович — 278
 Луначарский Анатолий Васильевич — 40, 469, 470
 Любимов Николай Алексеевич — 308
 Люси Генри — 170

 Майков Аполлон Николаевич — 168
 Макарова Екатерина Михайловна — 498
 Макашин Сергей Александрович — 431, 476—479, 481—484, 486, 487, 489, 492, 494—500
 Мак-Карту Д. — 170
 Маков Лев Саввич — 228, 292, 298—300, 316
 Маковицкий Душан Петрович — 402
 Максимов Николай Васильевич — 324
 Макшеев, крупный госуд. чиновник — 316

 Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович — 167, 172
 Мандельштам Михаил Львович — 428
 Мари, гувернантка детей Салтыковых — 414
 Маркевич (лит. псевд. Б. Лесницкий) Болеслав Михайлович — 168, 206
 Марков Евгений Львович — 192, 488
 Маркович М. А. — см. Вовчок Марко
 Маркс Карл — 58, 94, 153, 173—175, 191, 200—203, 211, 232, 371, 390, 481, 482, 487—489, 496, 499
 Матвеев Федор — 243, 244
 Мегью Август — 169
 Мезенцов Николай Васильевич — 53
 Мелехина Елизавета Борисовна — 77
 Мередит Джордж — 170
 Метисова Татьяна Андреевна — 418, 423, 455, 456, 499
 Мечников Иван Ильич — 424
 Мечникова Ольга Николаевна — 424
 Милан Обренович — 82
 Миллер Орест Федорович — 208, 462
 Мильк, владелец магазина оптики в Петербурге — 481
 Милютин Дмитрий Алексеевич — 256, 490
 Мина (Минна), горничная Салтыковых — 410
 Минаев Дмитрий Дмитриевич — 278
 Митчел Джон — 375
 Михайловский Николай Константинович — 15, 18, 20, 37, 44, 70, 79, 86, 89, 94, 95, 108, 114, 119, 126, 129, 130, 132—134, 139, 140, 143—146, 148—158, 160, 162—165, 167, 171—174, 179—181, 183—185, 189, 190, 192, 193, 211, 229, 235, 239, 240,

- 243, 245, 268–271, 295, 296, 299, 304, 305, 310–312, 319, 327, 328, 331, 332, 335, 336, 343, 368, 430, 432–434, 451, 452, 476, 479, 481, 482, 484–487, 490–494, 497–499
- Мишле Жюль – 29
- Могилиянский Александр Петрович – 28
- Мольер (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен) – 60, 117, 386
- Мордовцев Даниил Лукич – 79
- Мордовченко Николай Иванович – 486, 488
- Мудров Матвей Яковлевич – 425
- Муравьев («Вешатель») Михаил Николаевич – 228
- Муромцев Сергей Андреевич – 278, 317
- Муррей Гренвиль – 170
- Мысляков Владимир Александрович – 152, 482, 489
- Мышкин Ипполит Никитич – 34
- Набоков Дмитрий Николаевич – 309
- Надсон Семен Яковлевич – 167, 168, 183, 278, 352, 364, 495
- Наполеон III – 23
- Наумов Николай Иванович – 161
- Негрескул Мария Петровна – 487
- Некрасов Николай Алексеевич – 3, 9–14, 17, 18, 20, 21, 24, 27–29, 31–33, 36–39, 41, 42, 46–48, 50, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 68, 70–74, 78, 79–81, 82, 89, 95, 97, 99, 104, 108–110, 116–118, 120–130, 132–134, 137–143, 148, 149, 158, 162, 164, 167, 168, 171–173, 175–177, 179–181, 183, 217, 276, 279, 280, 289, 296, 297, 305, 323, 324, 356–358, 368, 369, 386, 390, 449, 455, 462, 476–478, 480–482, 484, 485, 492, 498
- Некрасова Екатерина Степановна – 15, 19, 269, 295, 348, 372, 478, 496
- Немирович-Данченко Василий Иванович – 184
- Нефедов Филипп Диомидович – 185, 348, 349
- Нечаев Сергей Геннадиевич – 161
- Никитенко Александр Васильевич – 289
- Николадзе Нико Яковлевич – 269, 293
- Николай I – 54
- Николай Александрович, наследник-цесаревич, вел. князь – 26, 259
- Никольский Николай Михайлович – 493
- Нирод (урожд. Трепова) Нина Федоровна – 70
- Новодворский Андрей Осипович (псевд. А. Осипович) – 100, 161, 167
- Оболенская Александра Алексеевна – 276, 412, 415, 416, 454
- Оболенский Владимир Андреевич – 415–417, 454–455
- Оболенский Леонид Егорович – 477
- Оболенский Николай Леонидович – 402
- Обручев Владимир Александрович – 173, 388
- Огарев Николай Платонович – 84, 357
- Ожешко Элиза – 170, 171, 486
- Олифант Лоуренс – 169
- Ольминский (Александров) Михаил Степанович – 158
- Оржевский Петр Васильевич – 308
- Орлов (лит. псевд. Н. Северов) Николай Павлович – 247, 272
- Осипович А. – см. Новодворский А. О.
- Островский Александр Николаевич – 10, 41, 70, 76, 88, 134, 162, 164–167, 180, 181, 189, 193, 196,

- 217, 226, 248, 249, 278, 321, 401, 486
- Островский Михаил Александрович — 166
- Островский Михаил Николаевич — 165, 166
- Острогорский Виктор Петрович — 278
- Оуэн Роберт — 394
- Павлов (лит. псевд. Л. Опухтин) Иван Васильевич — 167
- Павлова Ирина Борисовна — 480
- Пален Константин Иванович — 53
- Панаев Валериан Александрович — 56, 126
- Панаева-Головачева Авдотья Яковлевна — 125
- Панов А. К. — 278
- Пантелеев Лонгин Федорович — 46, 54, 108, 121, 141, 173, 239, 380, 384, 385, 412, 415, 430, 431, 436, 439, 449—451
- Пантин Игорь Константинович — 486
- Папковский Борис Васильевич — 492
- Перпер Мира Иосифовна — 499
- Персий Флакк Авл — 342
- Пестель Павел Иванович — 359
- Петр I — 50
- Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич — 22, 109, 152, 385
- Петров Евгений (наст. имя и фам. Евгений Петрович Катаев) — 470
- Петров Ф. А. — 479
- Пикассо Пабло — 202
- Писарев Дмитрий Иванович — 208—211
- Писемский Алексей Феофилактович — 13, 129, 167, 255, 477
- Пищулин Юрий Петрович — 243, 333, 490, 492—495
- Плансон Антон Антонович — 206, 488
- Платон — 388
- Платонов Андрей Платонович — 470
- Плеве Вячеслав Константинович — 303, 304, 306, 308, 311, 315, 361, 492
- Плеханов Георгий Валентинович — 126, 128, 174, 205, 379, 462
- Плещеев Александр Алексеевич — 429, 498
- Плещеев Алексей Николаевич — 20, 68, 70, 72, 102, 104, 109, 110, 117, 126, 141, 167, 168, 183, 243, 273, 328, 332, 429, 436, 466, 477, 483, 498
- Победоносцев Константин Петрович — 70, 115, 191, 270, 304, 307—309, 311, 320, 322, 372, 377, 422, 424, 449, 488, 492
- Поджио Александр Викторович — 357
- Пожалостин Иван Петрович — 130
- Покровский Василий Иванович — 174
- Покусаев Евграф Иванович — 431
- Полетика Василий Аполлонович — 20
- Полонский (псевд., наст. фам. Гусин) Вячеслав Павлович — 500
- Полонский Леонид Александрович — 101, 300
- Полонский Яков Петрович — 102, 168, 289
- Поляков Самуил Соломонович — 259, 408
- Пономарев Степан Иванович — 130
- Потехин Алексей Антипович — 102
- Преображенский Петр Федорович — 500
- Прибылев Александр Васильевич — 239
- Протасов-Бахметьев Николай Алексеевич — 104
- Протопопов Михаил Алексеевич — 141, 171, 310

- Прохоров Григорий Васильевич — 211, 489
 Пругавин Александр Степанович — 348
 Прус Болеслав (наст. имя Александр Гловацкий) — 170
 Прюдом Сюлли — 170
 Пугачев Емельян Иванович — 359
 Пушкин Александр Сергеевич — 12, 27, 39, 100, 101, 118, 127, 155, 163, 167, 168, 186, 188 — 194, 218, 262, 280, 359, 368, 369, 401, 445, 470, 488, 489
 Пыпин Александр Николаевич — 10, 12, 46, 55, 89, 101, 102, 130, 159, 223, 263, 271, 278, 321, 339, 354, 380, 393, 425, 436, 443, 451, 452, 477, 482, 489, 492, 493, 495 — 499
 Пятковский Александр Петрович — 278
 Рабле Франсуа — 51, 54, 60
 Рагозин Евгений Иванович — 88
 Ралли-Арборе Земфирий Константинович — 34
 Раскольников Федор Федорович — 470
 Ратынский Николай Антонович — 25, 73, 74, 292, 296, 297
 Реберг Герард Альфредович — 56
 Редедя, князь адыгов — 83
 Рейнгардт Николай Викторович — 83, 481
 Рейнштейн Николай Васильевич — 204
 Рейсер Соломон Абрамович — 484
 Реклю Жан Жак Элизе — 30
 Рембрандт Харменс ван Рейн — 222, 447
 Ремизов Алексей Михайлович — 223, 489
 Рид Чарльз — 169
 Ритерсгаузен, доктор из Кобленца — 60
 Ришпен Жан — 170
 Родбертус-Ягецов Карл Иоганн — 174
 Розанов Василий Васильевич — 466, 467
 Розен Герман Оттонович — 13
 Розенберг Владимир Александрович — 244
 Розенблюм Лия Михайловна — 107, 483
 Романовы, императорская династия — 359, 360
 Рошфор Виктор Анри — 243, 244, 362
 Рубини Джованни Баттиста — 55
 Русанов Г. А. — 491
 Русанов Николай Сергеевич — 153, 154, 171, 211, 266, 267, 487, 489
 Руссо Жан Жак — 275, 402, 442
 Руссов Александр Андреевич — 351
 Сабатье, графиня — 33
 Садовников Дмитрий Николаевич — 102, 483
 Сажин Михаил Петрович — 34
 Сайма Вильям — 169
 Салаевы Николай Иванович и Федор Иванович — 430, 431
 Салов Илья Александрович — 278
 Салтыков Дмитрий Евграфович — 221
 Салтыков Константин Михайлович — 3, 8, 30, 99, 126, 227 — 229, 246, 271, 273, 276, 343, 350, 351, 354, 365, 380, 404, 405, 409, 411, 413 — 424, 429, 455 — 460, 481, 489, 496, 497
 Салтыков Сергей Евграфович — 72, 442
 Салтыкова (рожд. Болтина) Елизавета Аполлоновна — 3, 8 — 11, 13, 14, 30, 33, 76, 77, 120, 126, 136, 150, 228, 229, 246, 271, 273, 275 — 277, 329, 330, 349 — 351, 354, 365, 366, 382, 404 — 425, 429, 455, 457 — 460, 477, 480, 481, 483, 497
 Салтыкова Елизавета Михайловна, в первом браке баронесса Дистерло, во втором — мар-

- киза де Пассано — 3, 8, 11, 30, 75, 120, 126, 228, 229, 246, 271, 273, 276, 350, 351, 354, 365, 380, 404—407, 409, 411, 413—420, 422, 424, 429, 455—460, 497
- Салтыкова (урожд. Забелина) Ольга Михайловна — 8, 14, 69, 220, 408
- Самарин Юрий Федорович — 54
- Санд Жорж (наст. имя Аврора Дюдеван) — 22, 233
- Санина Кира Александровна — 455, 463, 487, 499
- Свифт Джонатан — 60, 233, 465
- Северянин Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев) — 470
- Семевский Михаил Иванович — 277, 278, 300, 492, 497
- Сементовский Ростислав Иванович — 486
- Сенкевич Генрик — 170
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа — 22, 96, 201, 394
- Сенявин, генерал — 34
- Сервантес Сааведра Мигель де — 45, 62
- Середа Николай Акимович — 315
- Сеченов Иван Михайлович — 261, 262
- Сибиряков Иннокентий Михайлович — 430, 431
- Сидоров Евгений Юрьевич — 500
- Сильчевский Дмитрий Петрович — 462
- Скабичевский Александр Михайлович — 20, 55, 60, 129, 130, 141, 156, 171, 172, 194, 243, 328, 344—347, 420, 425, 484, 497
- Скороходов И. Н. — 142
- Скребицкая (урожд. Юркевич, в первом браке Красовская) Мария Семеновна — 69, 70, 410, 412, 460
- Скребицкий Александр Ильич — 69, 70, 460, 481
- Скуратов Дмитрий Петрович — 292
- Слепцов Василий Алексеевич — 15, 100, 346, 347
- Смирнов Василий Александрович — 486
- Смирнов Виталий Борисович — 171, 487
- Смирнова-Сазонова Софья Ивановна — 493
- Соболевский Василий Михайлович — 318, 326, 335, 338, 342, 349, 367, 383, 426, 430, 465, 486
- Соколов Нил Иланович — 457
- Солдатенков Козьма Терентьевич — 430
- Соллогуб Владимир Александрович — 25, 26
- Соловьев Александр Константинович — 204, 294, 299
- Соловьев Владимир Сергеевич — 466
- Соловьев Михаил Петрович — 197, 488
- Соркин Иосиф Николаевич — 259
- Спасович Владимир Данилович — 47, 271
- Срезневский Измаил Иванович — 289
- Станюкович Константин Михайлович — 278
- Стасов Владимир Васильевич — 193
- Стасюлевич (урожд. Утина) Любовь Исааковна — 354, 380
- Стасюлевич Михаил Матвеевич — 25, 55, 71, 88, 101, 104, 123, 130, 165, 168, 169, 193, 206, 223, 224, 229, 241, 247, 263, 271, 277, 278, 303, 321, 335, 338—340, 354, 363, 364, 380, 409, 420, 421, 431, 434, 437, 450, 456, 466, 476, 481—483, 489, 492, 494—496, 500
- Степняк-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович — 34, 464, 465, 499
- Стороженко Николай Ильич — 348

- Страхон Николай Николаевич — 384, 478
 Суворин Алексей Сергеевич — 12, 20, 49, 50, 80, 123, 168, 181, 206, 322, 362, 466, 478, 493
 Сютаев (Сюсляев) Василий Кириллович — 345, 347
 Танеев Владимир Иванович — 11, 44, 49, 162, 164, 184, 255, 404, 406, 478, 486
 Танеев Павел Иванович — 10—11, 77
 Танеев Сергей Иванович — 11
 Танеёвы — 77
 Тарле Евгений Викторович — 167, 486
 Твардовская Валентина Александровна — 485
 Твен Марк (наст. имя Сэмюэл Клеменс) — 170
 Твритинов Алексей Николаевич — 34, 479
 Теплинский Марк Вениаминович — 305, 492
 Терешенков Николай Михайлович — 492
 Терешенков Сергей Михайлович — 318
 Терновский Евгений — 480
 Терпигорев (псевд. Атава) Сергей Николаевич — 167
 Тимашев Александр Егорович — 53, 133, 298, 299
 Тимирязев, мировой судья — 243
 Тимофеева-Починковская Вера Васильевна — 498
 Тихомиров Лев Александрович — 174, 176, 309, 358, 362, 463, 487, 492
 Тихонравов Николай Саввич — 349
 Ткачев Петр Никитич — 34, 161, 209, 211, 489
 Толстой Алексей Николаевич — 470
 Толстой Дмитрий Андреевич — 53, 70, 257, 270, 282, 292, 293, 298, 300, 301, 303, 304, 306—309, 311, 316, 317, 320, 322, 324, 333, 334, 448
 Толстой Лев Николаевич — 19, 23, 40—44, 55, 77, 86, 87, 92, 109, 110, 113, 115, 167, 168, 172, 176, 177, 182, 183, 186, 191, 196, 209, 218, 219, 221, 223, 247, 261, 266, 267, 269, 315, 321, 343—349, 357, 362, 369, 374, 382—384, 393, 401, 402, 425, 440, 442, 444—446, 465, 470, 478, 479, 487, 491, 494, 496, 498
 Трепов Федор Федорович — 70, 85, 134
 Третьяков Павел Михайлович — 59, 480
 Туниманов Владимир Артемович — 483
 Тургенев Иван Сергеевич — 7, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 25—29, 31, 32, 34—38, 40, 42, 44, 50—55, 57—60, 62, 63, 70, 71, 78, 80, 87—89, 91, 97, 98, 101, 102, 129, 165, 167, 168, 172, 177, 186, 189, 193, 194, 196, 197, 209, 214, 216, 218—220, 229, 233, 245, 254, 255, 258, 265, 276—280, 289, 303, 314, 320, 356—358, 362, 363, 369, 401, 409, 410, 445, 455, 456, 465, 476—483, 488—492
 Турков Андрей Михайлович — 500
 Турнье Анна Аполлоновна (урожд. Болтина) — 273, 274, 353, 406, 421
 Турнье Валентин — 273, 274, 353, 421
 Тьер Адольф — 60
 Тюнькин Константин Иванович — 431, 500
 Тютчев Николай Николаевич — 100
 Тютчев Федор Иванович — 17, 30, 88, 289, 478
 Тютчева Дарья Федоровна — 478
 Уайда, английская писательница — 170

- Ульянов Александр Ильич — 70, 321, 322, 427, 429, 493
- Ульянов Илья Николаевич — 177
- Ульянова А. И. — см. Елизарова-Ульянова А. И.
- Унковская Зинаида Алексеевна — 120, 409
- Унковская Софья Алексеевна — 120, 350—351, 410, 414, 494, 497
- Унковские — 409, 413, 419—420
- Унковский Алексей Михайлович — 13, 20, 54, 55, 120, 136, 142, 221, 246, 327, 343, 350, 351, 356, 380—383, 410, 417, 419, 422, 438, 441, 455, 486, 494, 498
- Унковский Михаил Алексеевич — 11, 142, 405, 477, 478, 499
- Уорнер Чарлз Дэдли — 170
- Урусов Александр Иванович — 245—247, 278
- Усков (?) — 457
- Успенский Глеб Иванович — 15, 92, 95, 100, 119, 125, 143, 149, 161—164, 172, 180, 184, 188—190, 192, 194—196, 205, 230, 247, 278, 328, 334, 338, 347, 411, 445, 465, 476, 482, 486—488, 498, 500
- Утин Евгений Исаакович — 114, 203, 208, 213, 223, 263, 271, 489
- Ухтомский Александр Александрович — 167
- Фадеев Ростислав Андреевич — 242
- Федоров И. В. — 256, 490
- Феокистов Евгений Михайлович — 165, 249, 270, 282, 298, 304, 307, 308, 311, 333, 342, 490, 492
- Фет (наст фам. Шеншин) Афанасий Афанасьевич — 168
- Фигнер Вера Николаевна — 239
- Филимоновна Лидия Федоровна — 486
- Фирсов (лит. псевд. Л. Рускин) Николай Николаевич — 141
- Фихте Иоганн Готлиб — 402
- Фишер, помещик — 31
- Флобер Гюстав — 57, 58
- Флокке Шарль-Томас — 426
- Фонвизин Михаил Александрович — 444
- Фотергиль Джесси — 169
- Фоусет М.-Г. — 169
- Фофанов Константин Михайлович — 322
- Фурье Жан Батист Жозеф — 22, 96, 114, 201, 394
- Халтурин Степан Николаевич — 225, 300
- Ханьков Николай Владимирович — 25, 57
- Хвощинская (по мужу Зайончковская; лит. псевд. В. Крестовский) Надежда Дмитриевна — 159, 167, 182, 226, 227, 295, 301, 312, 412
- Хемингуэй Эрнест Миллер — 22
- Христофоров Александр Христофорович — 361, 363, 495
- Цебрикова Мария Константиновна — 412
- Цитович Петр Павлович — 206, 295
- Чайковский Петр Ильич — 42
- Черевин Петр Александрович — 244
- Черемисин Б. — 493
- Черкасский Владимир Александрович — 54
- Чернышев, врач Салтыкова — 56
- Чернышевский Николай Гаврилович — 34, 40, 44—46, 58, 84, 101, 102, 114, 121, 144, 152, 155, 158, 173, 209, 253, 263, 280, 346, 357, 358, 362, 386, 426, 449, 450, 464, 479, 483
- Черняев Михаил Григорьевич — 82, 83
- Чертков Владимир Григорьевич — 383, 384
- Чехов Антон Павлович — 86, 172,

- 377, 392, 393, 399, 429, 436,
465, 496, 498, 500
- Чижов Егор Яковлевич — 142
- Чистякова Марина Матвеевна —
384
- Чичерин Борис Николаевич —
450
- Шаблыкин, генерал — 34
- Шалфеев Борис Николаевич —
455, 497, 499
- Шамиссо Альберт фон — 170
- Шассен Шарль Луи — 29, 61, 175,
245, 328, 487
- Шаховская Зинаида Алексеевна —
480
- Шевырев Петр Яковлевич — 429
- Шекспир Уильям — 111, 222, 274
- Шелгунов Николай Васильевич —
208—211, 268, 312, 464, 489, 499
- Шеллер (псевд. Михайлов) Алек-
сандр Константинович — 411
- Шереметевы, известные русские
магнаты — 408
- Шиллер Иоганн Фридрих — 404
- Шопен Фридерик — 368
- Шпильгаген Фридрих — 103
- Штенберг Борис Самуилович —
480
- Шульц Александр Францевич
фон — 133, 134, 136, 422, 424
- Шульц, жена А. Ф. Шульца —
136, 422, 424
- Щеглов Ив. (псевд. Леонтьева
Ивана Леонтьевича) — 141
- Щепотьева Ел. — 154
- Эзоп Клодий — 3, 19, 33, 80,
92, 97, 116, 156, 202, 203,
211, 215, 232, 234, 254, 257,
259, 265, 267, 268, 282,
285, 293, 294, 319, 395,
427
- Эйхенбаум Борис Михайлович —
42, 479
- Элиот Джордж (наст. имя Мэри
Анн Эванс) — 170
- Эльзон Михаил Давыдович — 499
- Энгельгардт Александр Николае-
вич — 90, 124, 173, 180, 186,
205, 249, 290, 299, 301, 313,
410, 411
- Энгельгардт (урожд. Макарова)
Анна Николаевна — 170, 410—
412
- Энгельгардт Николай Алек-
сандрович — 313, 410, 411
- Энгельс Фридрих — 81, 174, 191,
200, 371, 393, 449, 481, 482,
487—489, 496, 499
- Эртель Александр Иванович —
167, 256, 259, 310, 348, 483, 490
- Эфрос Наталья Давыдовна —
499
- Ювенал Децим Юний — 280, 342
- Южаков Сергей Николаевич —
148, 153, 158, 172, 184, 328,
379, 485
- Юзов И. И. — см: Каблиц И. И.
- Юрьев Сергей Андреевич — 186,
270, 329, 333, 334, 412
- Юрьевич Семен Алексеевич —
69
- Юшневский Алексей Петрович —
357
- Ядринцев Николай Михайло-
вич — 364
- Якимова Анна Васильевна — 205,
239
- Яковлев Борис Владимирович —
488
- Яковлев Николай Васильевич —
120, 498
- Якубович Петр Филиппович
(псевд. Л. Мельшин) — 279
- Якушкин Вячеслав Евгеньевич —
348
- Якушкин Евгений Иванович — 52
- Янжул Иван Иванович — 318
- Янковская Н. А. — 315
- Ясинский Иероним Иеронимо-
вич — 278
- Delesse G. — 224
- Foote (Фут) I. P. — 224, 486
- O'Farelle Ed. — 490
- Polonsky M. — 224

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЦИКЛЫ,
СБОРНИКИ, ЗАМЫСЛЫ, ГЛАВНЕЙШИЕ ОБРАЗЫ И ПЕРСОНАЖИ,
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЗАПИСКИ САЛТЫКОВА *

- «Ангелочек» («Мелочи жизни») — 399, 415
 Амалат-бек («Письма к тетеньке») — 244
 Арина Петровна («Господа Головлевы») — 59, 216, 220, 224
 «Архиерейский насморк» (не для печати) — 55
 «Баран непомнящий» («Сказки») — 392
 «Бедный волк» («Сказки») — 270, 374, 384, 387, 388, 393, 454
 «Благонамеренная повесть» («Благонамеренные речи») — 43, 44
 «Благонамеренные речи» — 29, 36—38, 43, 46, 49, 58, 59, 61, 63, 72, 86, 199, 204, 208, 209, 215—217, 266, 431
 «Богатырь» («Сказки») — 289, 366, 376, 377
 «Большое место» («Сборник») — 52, 86, 196
 Бородавкин («История одного города») — 159
 «В погоню за идеалами» («Благонамеренные речи») — 46, 48, 49, 480
 «В среде умеренности и аккуратности» — 19, 20, 73, 74, 81, 209, 344, 431
 «В сфере сеяния» («Мелочи жизни») — 397, 400
 «В трактире «Грачи» («Пошехонские рассказы») — 275, 283
 «Введение» («Мелочи жизни») — 360, 361, 393, 394
 «Верный Трезор» («Сказки») — 392
 «Вечерок» — см. «Первое декабря» («Круглый год») — 40
 «Влюбленный бык» (замысел) — 40
 «Ворон-челобитчик» («Сказки») — 370
 «Выморочный» («Господа Головлевы») — 60, 72, 216, 217

* Авторские названия произведений приводятся в кавычках; редакторские и описательные названия произведений и служебных записок, а также имена персонажей и групповых образов печатаются без кавычек.

- «Вяленая вобла» («Сказки») — 289, 304, 315, 378
- «Гиена» («Сказки») — 370
- Глумов («Недоконченные беседы», «В среде умеренности и аккуратности», «Современная идиллия») — 80, 267
- Глулов, город («Невинные рассказы», «Сатиры в прозе», «История одного города») — 215, 218, 267, 434, 470
- Глуповцы («История одного города») — 16, 208, 281, 464
- «Господа Головлевы» — 3, 12, 22, 37, 38, 52, 59, 72, 103, 110, 148, 196, 203, 204, 208, 215—225, 268, 336, 354, 423, 431, 433, 434, 465, 488
- «Господа Молчалины» («В среде умеренности и аккуратности») — 13, 19, 73, 193
- «Господа ташкентцы» — 39, 83, 105, 200, 337, 431
- «Губернские очерки» — 15, 38, 45, 72, 114, 155, 197, 218, 247, 262, 263, 407, 431, 465
- «Дворянская хандра» («Сборник») — 86, 90, 95, 127, 196
- «Дворянские мелодии» («В среде умеренности и аккуратности») — 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 196, 482
- «Девушки» («Мелочи жизни») — 397, 399
- «День прошел — и слава богу!» («В среде умеренности и аккуратности») — 80
- «Деревенский пожар» («Сказки») — 368
- Дерунов («Благонамеренные речи») — 160, 199, 261
- «Дети Москвы» («Сборник») — 39, 88
- «Дикий помещик» («Сказки») — 105, 368, 373, 490
- «Для детей» — 430
- «Дневник провинциала в Петербурге» — 218, 266, 337, 431
- «Дни за днями за границей» — см. «Культурные люди»
- «Добродетели и пороки» («Сказки») — 304, 315, 337, 353
- «Дополнительные письма к тетеньке» — 257 490
- Дыба («За рубежом», «Письма к тетеньке») — 192
- «Жизнеописание 1-й гильдии купца Онуфрия Петровича Парамонова» («Современная идиллия») — 266
- «За рубежом» — 3, 8, 22, 28, 48, 51, 52, 60, 61, 64, 65, 119, 155, 160, 190, 192, 196, 225, 229—233, 235—237, 239, 240, 302, 431, 488
- «Забытая балалайка» (замысел) — 366
- «Забытые слова» (незаконч.) — 12, 39, 432, 439, 451—453, 498
- «Запутанное дело» — 137, 271
- «Здравомысленный заяц» («Сказки») — 367
- «Злополучный пискарь, или Драма в Кашинском окружном суде» («Современная идиллия») — 266, 269, 291, 293
- «Игрушечного дела людишки» («Сказки») — 39, 214, 215, 257, 258, 368, 392
- «Имярек» (первонач. назв. «Оброщенный»; «Мелочи жизни») — 92, 96, 129, 388, 400—404, 412, 497
- «История одного города» — 28, 40, 60, 105, 112, 159, 167, 208, 215, 218, 221, 225, 248, 281, 286, 289, 336, 431, 434, 447, 465, 470
- «Итоги» — 431
- Идушка («Господа Головле-

- вы») — 38, 59, 72, 73, 103, 216, 217, 221—224, 470, 489
- «Июльское веяние» («Недоконченные беседы») — 171, 259, 261, 303
- «Как кому угодно» — 39
- «Карась-идеалист» («Сказки») — 304, 337, 353, 370, 387, 388, 392, 393
- «Кисель» («Сказки») — 374
- «Книга о праздношатающихся» — см. «Культурные люди»
- Колупаев («Убежище Монрепо») — 160, 199, 236, 237, 261
- «Коняга» («Сказки») — 91, 368, 369, 375, 376
- Крамольников («Сказки», «Пошехонские рассказы») — 92, 129, 283, 284, 323, 360, 368, 387, 389—392, 402, 404
- «Краса Демидрона» («Современная идиллия») — 266
- «Круглый год» — 33, 48, 77, 106, 118, 172, 196, 203, 204, 206, 207, 211—214, 225, 295, 299, 398, 431, 488, 489
- Крутогорск, город («Губернские очерки», «Невинные рассказы») — 218, 267
- «Культурные люди» (первонач. назв. «Дни за днями за границей», «Книга о праздношатающихся») — 38, 39, 43, 44, 158, 230—231, 431
- «Либерал» («Сказки») — 378—380, 382
- Мальчик в штанах и мальчик без штанов («За рубежом») — 190, 237
- «Мастерица» — 39
- «Медведь на воеводстве» («Сказки») — 289, 304, 315, 372
- «Между делом» — см. «Недоконченные беседы»
- «Мелочи жизни» — 3, 12, 52, 115, 197, 266, 288, 327, 335, 336, 338, 360, 361, 367, 388, 393, 394, 396—401, 415, 431, 432, 435, 496
- «Мои любовные радости и любовные страдания. Из записок солошего быка» (незаконч.) — 43
- «Молодые люди» («Мелочи жизни») — 397, 398
- Молчалины («В среде умеренности и аккуратности») — 284, 340, 342
- «Монрепо-усыпальница» («Убежище Монрепо») — 103, 106, 107
- «На досуге» («В среде умеренности и аккуратности») — 77, 82
- «Напрасные опасения» — 180
- «Наш губернский день» («Сатиры в прозе») — 109
- «Не весьма давно (Осенние воспоминания)» — см. «Вечерок»
- «Невинные рассказы» — 344, 431
- «Недавние комедии» («Сатиры в прозе») — 109
- «Недозволенные семейные радости» («Господа Головлевы») — 216, 222
- «Недоконченные беседы» — 18, 19, 29, 46, 103, 259, 287, 337, 385, 431
- «Недреманное око» («Сказки») — 353
- «Непочтительный Коронат» («Благонамеренные речи») — 29, 36, 37, 85, 86, 108
- Непреклонск, город («История одного города») — 105
- Ноздрев («Письма к тетеньке») — 244, 251
- «Обманщик-газетчик и легковёрный читатель» («Сказки») — 304, 315, 337
- «Он!!!» («Помпадурсы и помпадурши») — 35

- «Оправдательная записка» — 11, 437
- «Орел-меценат» («Сказки») — 289, 304, 372, 373
- «Отрезанный ломоть» («Недоконченные беседы») — 28, 46 — 48
- «Паршивый» (замысел) — 44, 45
- «Первое августа» («Круглый год») — 211
- «Первое апреля» («Круглый год») — 77
- «Первое декабря» («Круглый год») — 92, 213, 214, 299, 301
- «Первое марта» («Круглый год») — 33, 204
- «Первое мая» («Круглый год») — 77, 213
- «Первое ноября» («Круглый год») — 106, 204
- «Первое октября» («Круглый год») — 106
- «Первое февраля» («Круглый год») — 204
- «Первое января» («Круглый год») — 204
- «Перед выморочностью» («Племяннушка», «Господа Головлевы») — 37, 59, 216
- «Переписка Николая I с Поль де Коком» (фрагменты) — 54
- «Пестрые письма» — 90, 91, 323, 327, 330, 336 — 342, 344, 348, 353, 359, 363, 431, 434, 494
- «Письма к тетеньке» — 3, 192, 196, 214, 239 — 242, 244, 245, 249 — 257, 269, 292, 295, 297, 302, 431, 490
- «Письма о провинции» (первонач. назв. «Письма из провинции») — 431
- «Повесть о влюбленном быке» (замысел) — 43
- «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» («Сказки») — 88, 368, 373, 374, 490
- «Полковницкая дочь» («Мелочи жизни») — 399
- «Помпадуры и помпадурши» — 35, 266, 392, 407, 431
- «По-родственному» («Господа Головлевы») — 29, 37, 221
- «Портной Гришка» («Мелочи жизни») — 52, 400
- «По части женского вопроса» («Благонамеренные речи») — 105
- «Похороны» («Сборник») — 77, 99, 212
- «Пошехонская старина» — 3, 12, 39, 130, 148, 218, 219, 266, 275, 284, 327, 336, 345, 367, 405, 413, 431 — 451, 498
- «Пошехонские рассказы» — 97, 197, 239, 258, 275 — 277, 280, 282, 284 — 287, 337, 389, 431, 433 — 436, 479, 490
- «Пошехонские реформаторы» («Пошехонские рассказы») — 284, 433
- «Пошехонское «дело» («Пошехонские рассказы») — 282, 284, 285, 433
- Пошехонцы («Пошехонские рассказы») — 281, 287, 312, 320, 434
- Пошехонье («Пошехонская старина», «Пошехонские рассказы») — 267, 281, 286, 312, 323, 405, 433, 434, 470
- «Праздный разговор» («Сказки») — 368, 392
- «Предостережение» («Убежище Монрепо») — 200
- «Премудрый пискарь» («Сказки») — 270, 370, 377, 393
- «Привет» («Благонамеренные речи») — 61, 63
- «Признаки времени» — 394, 431
- «Приключение с Крамольниковым» («Сказки») — 92, 129, 323, 360, 368, 387, 389 — 392, 402, 404
- «Пропала совесть» («Сказки») — 368, 384, 462, 490

- «Противоречия» — 137, 345, 387, 430
- «Путем-дорогою» («Сказки») — 368
- Разуваев («Убежище Монрепо») — 160, 199, 236, 261
- Расплюев («Письма к тетеньке») — 244
- «Расчет» («Господа Головлевы») — 216
- «Рождественская сказка» («Сказки») — 368, 384, 385, 393
- «Русские гулящие люди» за границей» («Признаки времени») — 38
- «Самоотверженный заяц» («Сказки») — 270, 374, 377, 378, 384, 393
- «Сатиры в прозе» — 337, 431
- «Сборник» — 52, 431
- «Сельская учительница» («Мелочи жизни») — 399
- «Сельский священник» («Мелочи жизни») — 396
- «Семейные итоги» («Господа Головлевы») — 37, 39, 59
- «Семейный суд» («Господа Головлевы») — 15, 19, 29, 36, 37, 215, 216, 221
- «Сказка о ретивом начальнике...» («Современная идиллия») — 266, 368
- «Сказки» — 3, 12, 39, 52, 165, 196, 215, 246, 258, 270, 304, 315, 327, 335—337, 344, 352, 353, 364, 366—380, 382—393, 429, 431, 434, 465, 490, 496
- «Скука» («Губернские очерки») — 407
- «Современная идиллия» — 78, 83, 98, 102, 120, 196, 239, 244, 257, 258, 264—270, 281, 291, 293, 297, 303, 368, 431, 433, 481, 490
- «Солдатская ревизия» (не для печати) — 55
- «Солнце и свиньи» (замысел «сказки») — 366
- «Сон в летнюю ночь» («Сборник») — 14—16, 389
- «Соседи» («Сказки») — 393
- «Старческое горе, или Непредвиденные последствия заблуждений ума» — 197
- «Счастливец» («Мелочи жизни») — 400
- «Такса» («Современная идиллия») — 266
- Ташкент, топонимический образ («Господа ташкентцы») — 267
- Ташкентцы («Господа ташкентцы») — 83
- «Ташкентцы в действии» (замысел) — 39
- «Тревоги и радости в Монрепо» («Убежище Монрепо») — 291, 298
- «Тряпичкины-очевидцы» («В среде умеренности и аккуратности») — 77, 82
- «Тяжелый год» («Благонамеренные речи») — 49, 50
- «Убежище Монрепо» — 3, 6, 77, 103, 106, 196, 198—200, 202, 203, 211, 236, 295, 298, 300, 431, 488
- Угрюм-Бурчеев («История одного города») — 105, 159, 221, 469
- Удав («За рубежом», «Письма к тетеньке») — 192
- «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении» («Современная идиллия») — 266
- «Фантастическое отрезвление» («Пошехонские рассказы») — 282, 285, 286, 433
- Фердыщенко («История одного города») — 105
- «Хозяйственный мужичок» («Мелочи жизни») — 396

- «Христова невеста» («Мелочи жизни») — 52, 399
- «Христовая ночь» («Сказки») — 368, 384 — 387, 393
- «Чижиково горе» («Сказки») — 389, 407
- «Читатель» («Мелочи жизни») — 397, 398
- «Чудинов» («Мелочи жизни») — 398
- «Чужой толк» («В среде умеренности и аккуратности») — 28, 89, 197, 482
- «Чужую беду — руками разведу» (первонач. назв. «Чужого толка») — 28, 85, 87, 89, 90, 92 — 95, 97, 98, 264, 281, 482
- «Эксперсии в область умеренности и аккуратности» — см. «В среде умеренности и аккуратности»

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

В АЛЬБОМЕ:

- М. Е. Салтыков. Портрет работы И. Н. Крамского. 1879 г.
- Е. А. Салтыкова. Жена писателя. Фотография конца 1870-х гг.
- Д. Е. Салтыков. Старший брат писателя. Фотография 1882 г.
- Костя Салтыков. Сын писателя. Фотография начала 1880-х гг.
- Лиза Салтыкова. Дочь писателя. Фотография начала 1880-х гг.
- Ницца. Набережная Promenade des Anglais. В крайнем справа доме, в отеле «Windsor», останавливалась семья Салтыкова. Гравюра 1880 г.
- Париж. Улица Lafitte, 38. Здесь в отеле «Mecklembourgue» (теперь отель «Lafitte») жили Салтыков и его семья (апартаменты 3-го и 4-го этажей). Фотография 1976 г.
- Париж. Place de Madeleine, 31. Здесь в меблированных комнатах (бельэтаж второго от угла дома) жили Салтыков и его семья. Фотография 1976 г.
- Дом на Литейной (ныне Литейный проспект, 60). Последняя квартира Салтыкова (3-й этаж). Современная фотография.
- Кабинет Салтыкова в его квартире на Литейной. В этой комнате писатель умер. Рисунок М. Казмичева. 1889 г.
- «Круглый домик» в имении Салтыкова Лебяжье. Фотография 1912 г. Предоставлена Ю. А. Ливеровским.
- Остатки запруды и лав в имении Салтыкова Лебяжье. Рисунок Г. И. Шулепиной. 1977 г. Предоставлен А. М. Левенко.
- Петербург. Надеждинская ул., д. 18 (ныне ул. Маяковского), где после смерти Некрасова помещалась, с 1878 по 1883 г., редакция «Отечественных записок». Современная фотография. Предоставлена А. М. Левенко.
- Петербург. Спасская ул., д. 1, где помещалась редакция «Отечественных записок» в 1883—1884 гг. Современная фотография. Предоставлена А. М. Левенко.
- Салтыков. «Сказки». Обложка нелегального издания (литография). 1884 г.
- Автограф рассказа «Семейный суд» из «Благонамеренных речей», ставшего затем началом «Господ Головлевых».
- Аллегорическая картина Н. П. Орлова и Д. Н. Брызгалова: Салтыков выходит из «леса реакции». 1883 г.

«Проект» аллегорического памятника Салтыкову. Рисунок неизвестного художника. 1882 г.
Дача Шперера на станции Сиверская Варшавской железной дороги, где Салтыков провел лето 1884 г. Фотография 1977 г. Предоставлена А. М. Левенко.
Салтыков на смертном одре. Фотография К. А. Шапиро.
Похороны Салтыкова. Процессия во главе со студентами на Невском проспекте. Рисунок из «Всемирной иллюстрации». 1889 г.
Похороны Салтыкова. На Волковом кладбище. Рисунок из «Всемирной иллюстрации». 1889 г.

В ТЕКСТЕ:

Прошение Салтыкова в Главное управление по делам печати об утверждении его ответственным редактором «Отечественных записок». 1878 г., март (с. 135).

«Отечественные записки». Обложка первой книжки журнала, подписанной Салтыковым в качестве ответственного редактора (с. 186).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
--------------------	---

ГОД ЗА ГРАНИЦЕЙ 1875—1876

1. Баден-Баден	7
2. Париж	21
3. Ницца	31
4. На пути домой.— Вновь Париж и Баден-Баден	56

ПОСЛЕДНЕЕ ДВУХЛЕТИЕ С НЕКРАСОВЫМ 1876—1878

5. Возвращение в Петербург.— Последнее лето в Витеневе.— На приеме у главы цензурного ведомства.— В Лебяжем . . .	69
6. Славянский вопрос.— Русско-турецкая война.— «Хождение в народ».— Тургеневская «Новь».— Рассказы 1870-х годов.— «Современная идиллия»	78
7. Литературный фонд.— Встречи с Достоевским.— Болезнь и смерть Некрасова	99

ВО ГЛАВЕ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК» 1878—1884

8. Новое устройство редакции.— Триумвират: Салтыков—Ели- сеев—Михайловский	133
9. Направление журнала.— Содержание.— Авторы	157
10. За редакторским столом	179
11. Конец 1870-х — начало 1880-х годов.— «Круглый год».— «Убежище Монрепо».— «Господа Головлевы».— «За рube- жом»	196
12. После 1-го марта 1881 года.— Встречи с Лорис-Меликовым.— Разоблачение «Священной дружины».— «Письма к тетень- ке».— «Современная идиллия».— «Пошехонские рассказы»	239
13. Цензура.— Правительственное прекращение «Отечественных записок».— Отклики общественности	288

НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ
1884—1889

14. Ликвидация дел «Отечественных записок». — «Без своего угла». — Возобновление писательской работы: «Пестрые письма»	327
15. Болезнь сына. — Об «Исповеди» Л. Толстого. — Последние поездки: к Унковскому — в родные места; к Белоголовому — за границу	343
16. После Висбадена. — «Сказки». — Приглашение к сотрудничеству в «Посреднике». — Самокритика писателя и полемика с Елисеевым. — «Мелочи жизни»	367
17. Жена и дети. — «Ад семейной жизни». — Болезни. — «Оброщенный». — Издание собрания сочинений	404
18. «Пошехонская старина». — Замысел идейного завещания: «Забывшие слова»	432
19. Смерть. — Похороны. — Отклики современников	454
Заключение	468
Примечания	473
Условные обозначения, использованные в примечаниях . . .	475
Примечания	477
Указатели	501
Список иллюстраций	524

Макашин С.
M15 Салтыков-Щедрин. Последние годы. 1875—1889.
Биография. — М.: Худож. лит., 1989. — 527 с.
ISBN 5-280-00913-X

Новая книга С. А. Макашина — последний, завершающий том четырехтомной научной биографии великого М. Е. Салтыкова-Щедрина. На большом фактическом материале в рамках строго документированного исследования автор раскрывает трагизм самого трудного периода жизни (1875—1889) писателя и вместе с тем характеризует его крупнейшие произведения последних лет.

М 4603020101-274 192-89
028(01)-89

ББК 83.3Р1

Сергей Александрович Макашин

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
1875—1889.
БИОГРАФИЯ

Редакторы *С. Краснова, Л. Птушкина*

Художественный редактор *С. Биричев*

Технический редактор *Г. Такташова*

Корректоры *Н. Усольцева, О. Наренкова*

ИБ № 4857

Сдано в набор 01.12.88. Подписано в печать 12.09.89. Формат 60 × 90^{1/16}.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л.
33,0 + 1 вкл. + альбом = 34,06. Усл. кр.-отт. 35,12. Уч.-изд. л. 34,69 +
+ 1 вкл. + альбом = 35,64. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1854. Изд. № IX-2327.
Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.